

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
и ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЬ

LVII

1935

ПАРИЖЬ

ANNALES CONTEMPORAINES

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

при ближайшемъ участіи :

Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева

LVII

1935
ПАГКЖЪ

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Ив. Шмелевъ. — НЯНЯ ИЗЪ МОСКВЫ.	5
2. М. Иванниковъ. — САШКА.	80
3. М. Аадановъ. — ПЕЩЕРА.	132
4. З. Гиппиусъ. — ДРУГОЙ. — УСЛОВІЯ. — ОТЪБЪЗДЪ (Стих.).	232
5. Ант. Ладинскій. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	233
6. Ирина Одоевцева. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	235
7. Николай Оцупъ. — ТРИ СТИХОТВОРЕНІЯ.	236
8. Влад. Смоленскій. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	237
9. Марина Цвѣтаева. — СТИХОТВОРЕНІЕ.	239
10. Марина Цвѣтаева. — МАТЬ И МУЗЫКА.	241
11. А. Толстая. — ОТРЫВКИ ВОСПОМИНАНІЯ.	267
12. П. Милочковъ. — ЛИБЕРАЛИЗМЪ, РАДИКАЛИЗМЪ И РЕВОЛЮЦІЯ.	285
13. С. Гессенъ. — МИРОВОЗЗРѢНІЕ И ИДЕОЛОГІЯ.	316
14. М. Вишнякъ. — ЦЪТКИ И «МИСТИКА».	330
15. Я. Папоушскъ. — ЭЛУАРДЪ БЕНЕШЪ.	341
16. В. Войтинскій. — ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И СОВРЕМЕННОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНІЕ.	361
17. К. Поль. — БОЛЬШАЯ ВОЛГА, — В. Рудневъ. — Послѣсловіе.	381
18. Г. Федотовъ. — НОВЫИ ИЮЛЬ.	397
19. В. Рудневъ. — КОММУНИЗМЪ И НАЦИОНАЛИЗМЪ.	412

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.

20. П. Бицилли. — ДВѢ ЭПОХИ КРУШЕНІЯ СТАРАГО МІРА.	423
21. В. Вейдле. — ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.	429

22. М. Курдюмовъ. — РОМАНЪ ЧЕХОВА.	438
23. Б. Бирутскій. — КРИЗИСЪ ГЕРМАНСКАГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА И НАЦИОНАЛЬ-СОЦИАЛИЗМЪ.	451

24. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

В. Вейдле. — Собраніе сочиненій И. А. Бунина.	462
Н. Кузьманъ. — Ив. Шмелевъ: Богомолье.	464
Н. Кузьманъ. — Пушкинъ: Путешествіе въ Арзрумъ во вре- мя похода 1829 года.	466
К. Мочульскій. — Проф. П. Бицилли: Краткая исторія рус- ской литературы. Ч. 2-ая. Отъ Пушкина до нашего времени.	467
Г. Адамовичъ. — Jules Legras: «L'âme russe».	468
С. Гессенъ. — D. Syzevskij: Hegel bei den Slaven.	470
П. Бицилли. — В. Станкевичъ: Динамика міровой исторіи.	472
М. Алдановъ. — A. Kerensky: The Crucifixion of Liberty.	474
М. Осоргинъ. — Gén. Guerassimov: Tsarisme et Terrorisme.	477

Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ редакцію « Современныхъ Записокъ ».	479
---	-----

Няня изъ Москвы *)

XXXVIII.

Да какъ же не горевать-то, барыня... собака — и та къ дому привыкаетъ, на чужомъ мѣстѣ скучить, а человѣку..? Пѣрво прошибло словно, а какъ очухалась, сразу и поняла, — не видать мнѣ родной землицы! А вотъ... Старичокъ-поваръ въ мѣшочкахъ сталъ разбираться. Въ дырѣ-то у насъ тѣмно, онъ и шарить-елозить, охаетъ. -- «Что вы, говорю, батюшка, ай чего потеряли?» А онъ — «слава те, Господи, какъ же я напугался!» — и показываетъ кожаный кошель. Подумала — золото-серебро, пожалуй. А это землица, съ собой везеть! — «Помру на чужой сторонѣ, меня и посыплютъ родной землицей, въ своей, будто, и схоронюсь». Какъ сказалъ про землицу, такъ меня въ сердце вотъ... — не видать мнѣ родимой нашей! Гляжу на Катичку — платочекъ она кусаетъ. Да нѣтъ, барыня... сердцемъ чую, — не достучить. Строгая капля. Докторъ въ Америкѣ мнѣ: «ти-хо, говорить, стучится».

Ну, ѣхали мы... У каждаго горе, а надо всѣми одна бѣда. Изъ вышнихъ какіе, — имъ и жаютки... а кто пониже — тому полише. Да тамъ не одинъ былъ, этотъ вотъ... ям-то наша? да, трюмъ... а подъ нами еще была дыра, самъя преисподня. И дѣтишки кричатъ оттуда, и духоти-щей... — съ души воротить. Ше-есть тыщъ народу корабль за-

*) См. «Совр. Зап.», кн. 55 и 56.

бралъ, сказать немислимо. Проповѣдь какую батюшка говорилъ... — «глядите, говорить, куда попали... въ самую преисподню! и нѣту у насъ званія — документа, а есть одинъ документъ — грѣхонисаніе!..» И казаки были, и калмы-ки... два ихнихъ старика-калмыка, рядомъ съ нами валялись, икали все... и офицера больные, и хохлы были, хлѣбороды... всякаго было званія. И всенощную подѣ нами пѣли, вотъ я плакала! «Вышнихъ Богу» запѣли, барышневъ голоски слышно, изъ теми-то оттуда, изъ дыры, будто ангелы жалуются: «Го-споди, Боже нашъ... Го-споди, Царь Небесный!..» — до слезъ.

И всѣхъ позаписали. Стали говорить: про занятіе дознаются — это ужъ чего-нибудь съ нами сдѣлаютъ, — къ арапамъ, можетъ, отправить, золото копать. Они все такъ, съ людоедами своими, кнутьями даже бьютъ! — знающіе говорили: и насъ за людоедковъ посчитаютъ. Сироты, некому за насъ вступиться: небо надъ нами, вода подъ нами, — только и всего. Правда, не всѣ заграничные такіе. Сербушки вонъ пенсію нашимъ калѣкамъ положили, ихній царь такъ и указалъ: «всѣхъ подѣ крыло соберу-угрѣю». Помощникъ ходилъ-записывалъ, Катичкѣ и по-смѣйся: завеземъ васъ на пустыя земли къ людоедамъ. Она и сказала: не до шутокъ намъ. Очень на нее антересовался, бутенброты присылалъ, и шиколату, въ каюту все предлагалъ, да она забоялась: меня онъ не пригласилъ.

XXXIX.

Страшали-страшали, а что и взаправду вышло. Въ работу насъ не взяли, а пустили на острова, подѣ строгой глазъ. Да сколько у берега качались-маялись. А войска наша, вотъ натерпѣ-лись, Васенька намъ рассказывалъ! Сколько-то тыщъ казаковъ къ большевикамъ отправили, совѣсть потеряли... на муку смертную, хлѣбушка жалко стало. А вѣдь придетъ время, барыня, золотыми словами про все пропишутъ, отъ кого мы чего видали.

У берега и качались. У насъ въ ямѣ троиэхъ закачало, померли. Чего не забуду, барыня... — офицерикъ тотъ, на костыляхъ, неподалечку отъ насъ на полу сидѣлъ, колѣнки такъ обхватилъ, лежать ужъ не могъ, сердце не дозволяло. И говоритъ онъ другому офицеру-калѣкъ: «вотъ пистолеть, у нѣмца отбилъ... силъ нѣтъ, застрѣли меня». Отняли у него пистолеть и батюшку позвали, разговаривать. А у него рана была, подъ самое подъ сердце, съ нѣмецкой пули. Ну, подумайте: пуля у него такая, и такое случилось съ нами, — у здороваго сердце заболитъ. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катичка отлучилась, какъ на грѣхъ. На лепешечку смотритъ, слезы на нее капють, ля такъ вотъ — а-ахъ! — испугался будто, за сердце такъ, и повалился на спину, не дыхнулъ. Закрыли ему глаза, батюшка молитву прочиталъ, накрыли мы его шинелькой... докторъ сразу пришелъ, руку пощупалъ, — матросы его и унесли. И всѣ стали ужашаться. На что ужъ калмыки, вовсе степные-неправославные, а и тѣ глоткой такъ все — ыи, ыи, — икали, будто заплакали. Которые говорили: и безъ флагу, чисто собаку потащили, а онъ съ нѣмцами воевалъ. Катичка прибѣгаетъ, сама не своя, — видала сверху, какъ его на берегъ свозили. Вотъ тутъ мнѣ страшно стало: не дай, Господи, въ неподобный часъ помереть!.. Помошникъ пришелъ, велѣлъ щетками протереть. Катичка ему и отпѣла: чисто съ собаками обходитесь, а еще со-юзники! Ни слова не сказалъ, только какъ свекла сдѣлался, — ужъ ему стыдно стало. Калмыкъ-старикъ платице у ней поцѣловалъ, за правду что заступилась. Тоже человекъ, калмыкъ-то.

Провѣтривали все насъ, заразу. Все пріѣли, сталъ народъ голодать. А сверху сказывали: духъ какой на кухняхъ, говядину все жарють, и котлеты-биштексы, а у матросовъ борщъ — ложкой не промѣшать... и быковъ подвозять, и барашковъ, а сыръ колесами, прямо, катятъ, — отъ духу не устоятъ. Старикъ-калмыкъ, тощій-тощій, и говорить-икаеть: «бабушекъ, помирай моя, помирай

твоя». Легли оба набочокъ, глаза завели — стали помирать. А у нихъ сынки на военномъ кораблѣ плыли, казаки. Ну, отходили мы старичковъ, помогъ Господь — прокормили.

Дозволило начальство подѣзжать на лодкахъ. Греки, турки, азіаты — всего навезли: и хлѣбъ бѣлый, и колбаска, и... Хлѣбцемъ манятъ, сардинками, — «пиджакъ, бараслетъ давай!» А на нихъ сверху глядятъ, голодные. Часы, порсигары, цѣпочки... — на веревочкахъ опускали, а имъ хлѣбецъ-другой, —вытаскивай. Которые и смѣялись, съ горя: «во, рыбу-то заграничную какъ ловимъ!» Офицера всѣ шинельки промѣняли, нечѣмъ покрыться стало. Женщины обручальныя кольца опускали, со слезами. Плюють сверху на иродовъ, а имъ съ гуся вода, давай только. Въ два дня весь нашъ корабль обчистили. Казакъ одинъ сорвалъ съ себя крестъ, — «на, — кричитъ, — іуда, продаю душу, давай пару папиросокъ!» Батюшка увидаль, — «да что ты дѣлаешь-то, дурной?! да ты ирода того хуже, Христа на папироску мѣняешь!» Снялъ обручальное кольцо, смѣнялъ на коробку папиросокъ, сталь раздавать отчаяннымъ.

Да развѣ всего расскажешь. А то слухъ дошелъ — войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали, и хлѣба не даютъ. Ужъ наше начальство устыдило: Бога побойтесь, все добро съ пароходовъ себѣ забрали, и мы союзные вамъ были!..

А какъ намъ вылѣзть, попечительши пришли, безначальныхъ дѣвушекъ въ пріютъ звать: все вамъ, только Евангеліе читайте. Набрали пять барышневъ, увезли. И что же, барыня, потомъ узналось: паскуды оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышневъ... въ такіе дома! Хватились, а паскуды на кораблѣ уплыли.

XL.

Стали насъ выпускать, на зорькѣ было. Глядимъ, а на морѣ, чисто на облакахъ, башенки бѣлыя стоятъ, колоколенки словно наши, — Костантинополь въ туманѣ свѣтится. А это мечети ихнія, съ мѣсяцами всѣ. Поглядѣла — заплакала.

На разные острова насъ свели. Насъ на хорошій опредѣлили, и церковка тамъ была, грецкая. Отвели домъ, сарай вродѣ, мангалы мы все грѣли, жаровенки, а то зима тамъ лю-тая, не дай Богъ. А какъ же, и досмотръ былъ, ихній капитанъ доглядывалъ, мы его ежомъ звали, такой-то ненавистный. На общій котель давалось, жалости достойно. Мѣсяцъ протомились; и приѣзжаетъ вдругъ къ намъ полковникъ, главный ихъ левизоръ... трубку онъ все курилъ. Разговорился съ Катичкой — очень расположился: «давно, говоритъ, про васъ слышу, какъ вы моихъ офицеровъ отчитали... вы достойная барышня, какъ наша англичанская». Высокой-голенастый, лѣтъ ужъ за сорокъ, а такой молодець. Къ намъ въ комнатку зашелъ-посидѣлъ, будто знакомый. И велѣлъ въ Костантинополь ѣздить, купить чего. И вдругъ намъ цѣльную корзину привезли гостинцевъ, отъ полковника того, къ Рождеству. А на Крещенье — получаетъ Катичка золотую бумагу, пожаловать на балъ: приѣдетъ адъютанъ, забереть. А она умная, — поѣду, говоритъ, чего, можетъ, и схлопочу. Съ букетомъ воротилась. Самъ полковникъ, говоритъ, всѣ танцы съ ней танцевалъ. Она про Васеньку и закинула, гдѣ онъ. Недѣли не прошло, опять къ намъ, досматриваетъ. И даетъ Катичкѣ бумажку, про Васеньку. И спрашиваетъ, — «какъ вамъ полковникъ Коровъ приходится?» — коровой его назвалъ. А она прикинула, — умная, вѣдь, она! — «это мой дяденька», сказала. Обѣщала съ острова насъ спустить.

И влюбился онъ въ Катичку. Отвезли насъ на кораб-

лѣ, такой почетъ намъ. А онъ холостой. Объяснилъ Катичкѣ про себя, какое у него въ Англїи имѣнье-дворецъ, — сразу она и поняла — влюбился и влюбился. А съ Васенькой ужъ снеслась, и письмо отъ него пришло. Она и скажи полковнику: «не дяденька миѣ полковникъ, а знакомый». Такъ это посмотрѣлъ — сказалъ: «русскія женщины самыя коварныя, но я всегда готовъ вамъ услужить». Благороднѣй нельзя сказать. А его къ ихнему королю позвали, руку цѣловать, — на два мѣсяца онъ уѣхалъ, награды себѣ ждалъ. Она ему письмецо дала, мисъ-Кислой. Адресокъ мы забыли, а онъ большой человекъ, всѣ ходы ему извѣстны, онъ и общалъ дознаться. Такія намъ чудеса были отъ него... съ него слава-то наша и пошла.

XLI.

Въ гостиничкѣ комнатку мы сняли, лисій салопъ продала я. Васенька и приходитъ, одни-то кости. Тифъ у него былъ, а онъ съ англичанами говорить могъ, они его и приняли въ больницу. Комнатку снялъ неподалечку, вмѣстѣ гулять ходили. Вотъ онъ какъ-то и говоритъ: — «Поѣду въ Парижъ, дядю разыщу и пришлю вамъ...» Безъ чего не пускають-то никуда? Вотъ-вотъ, ви-зу пришлю. Она ему — «хорошо, пришлите... и приказъ надо исполнить, письмо передать». Онъ сталъ говорить — адреса нѣтъ, а то бы по почтѣ, а волю покойницы исполнить надо. Она ему — «да, надо приказанія исполнять». Сталъ ее молить — «не мучайте меня, я много мучился, ближе васъ у меня никого». Она его пожалѣла, онъ ей ручки цѣловать сталъ. Долго они шептались. Какъ она вско-читъ!.. — «уходи, уходи!» — будто чего-то испугалась. Онъ ее прогулять хотѣлъ, а ужъ ночь глухая, она и не согласилась, — «уходи, уходи», такъ все. Пошелъ, ъна ему — «дай миѣ письмо!» Гляжу, — а я задремала-притаилась, — вынуть

онъ изъ бумажника письмо, съ печатями. Вотъ она разсердилась!..

— «А, всегда у сердца, драгоценность бережете?»

Онъ даже за грудь схватился, — «что ты со мной, Катя, дѣлаешь?!» — въ голосъ крикнулъ. А она ему — «приди завтра, я тебѣ все скажу... можно оставить драгоценность?» Только онъ за дверь, она письмо на столъ кинула и давай по клѣткѣ нашей ходить, пальцы крутить. Подойдетъ, поворочаетъ письмо — бросить. Не стерпѣла я, и говорю: «а ты прочитай, и дѣло съ концомъ». Она мнѣ — «никогда я не распечатаю!» — «Такъ и будешь», говорю, себя дражнить? Лучше ужъ все узнать, Богъ проститъ». — «Что — все?!» — она-то мнѣ. И затрясла кулачками: «дура, ничего не понимаешь! онъ тогда въ меня плюнетъ! гадина жизнь нашу отравила...!» — прокляла ее, покойницу. Всю ночь не спала. Подержитъ письмо — швырнетъ. Совсѣмъ схватила, вотъ разорветъ... — за руку меня, исказила:

— «Спрячь, не давай мнѣ... себя погублю!..»

Чисто вотъ барыня-покойница. Стала я ее утишать, взяла письмо. И письмо какое-то нечистое, какъ свинецъ у меня въ рукахъ, зломъ полно. Сунула подъ тюфякъ, она за руку меня — «дай, не могу я..!» Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовыя, съ этимъ письмомъ крутились, до самаго до его прихода. Ра-но пришелъ, лица на немъ нѣтъ. Увидала его, какъ крикнетъ, — «а, боялся, все узнаю? не спать?.. берите вашу святыню, цѣлехолька!» Онъ такъ и ахнулъ. Бросился къ ней, ножки цѣловать сталъ, меня не постѣснялся. А она стоитъ, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруютъ. Она и говорить-шепчетъ: «радъ, что повѣрила тебѣ? или — что всего знать не буду?...» Онъ говоритъ — сейчасъ распечатай! Они и поцѣловались. И порѣшили: Васенька въ Парижъ поѣдетъ, визу намъ выправитъ. Денегъ навязывалъ, она не взяла. Онъ мнѣ и всучилъ, двѣ бумажки аглискія, — самъ безо всего поѣхалъ. Его въ кочегары взяли на ко-

рабль, уголь швырять. Машинистъ за ихняго солдата его призналъ, по разговорю. Сиротами и остались.

XLII.

Недѣля прошла — письмо отъ Васеньки: высадили его на островъ. А вотъ, начальство стало глядѣть бумаги, а онъ русскій полковникъ, правовъ и нѣтъ на ихнюю землю ѣхать, его и высадили,—Корчики называется, островъ-то. А мѣсто дикое, горы да лѣса. — «Не тревожьтесь, говорить, я тутъ бревна съ горъ скатывать нанялся, два мѣсяца прослужу — мнѣ права выдадутъ, въ Парижъ могу смѣло ѣхать». А нужда и насъ стала донимать. Чѣмъ намъ жить? Кто папиросками занялся, кто пирожки продаетъ, военный одинъ умныхъ мышей показываль... и стала Катичка мѣста искать, колечко продала. А изъ барака мы выбрались, — обокрала цыганка насъ. А какъ же, изъ гостинички въ баракъ мы опустили, а потомъ на чердакъ сняли. Старикъ-турка за дворника былъ, на порожекъ все туфли шилъ. По-нашему сказать могъ, старинный солдатъ былъ. Къ намъ нѣмка и прицѣпись. Бѣсихой такой разсыпалась, — генеральшей въ Москвѣ, говорить, была, а тутъ кофейную держитъ. Стала говорить — жалко мнѣ васъ, идите ко мнѣ нѣсни нѣтъ, у меня грекъ-богачъ дѣломъ орудуетъ, онъ васъ золотомъ засыптитъ. Затащила и затащила, поглядѣтъ. Страшенный грекъ, грязный, морда — пузырь живой, а пальцевъ и не видать, въ бралянтахъ всѣ. Заугощали насъ, грекъ деньги Катичкѣ за воротъ соваль, въ хоръ все упрашиваль. Пришли домой, а нашъ турка и говорить: «бабушекъ, береги барышню, плохой нѣмка!» А знакомый офицеръ справки навелъ, — это, говорить, притонъ развратный. Армянинъ тоже звалъ, а у него чумный табакъ курили. Куда ни подайся — яма. А тутъ и Пасха наша. А какая намъ Пасха — въ турецкомъ мѣстѣ да еще на вѣтру. Страстная подошла, пошли

въ нашу церковь, въ казенный домъ. А Васенька все на горѣ сидитъ, бревна скатываетъ. Выходимъ со двора — автомобиль, а въ немъ баринъ, спрашиваетъ у турка, турокъ на насъ и показалъ. Онъ къ намъ: «вы не миса-Катя?» Назвали мы себя. Онъ и даетъ письмо, и покатишь. Распечатали, а никакого письма, — аглицкія деньги, двѣ бумажки. Ничего мы не поняли, откуда намъ сто рублей. Пришли изъ церкви, а мальчишка и подаетъ письмо, отъ мисы-Кислой, — дилекторъ послалъ изъ банка. Тутъ и узнали, — отъ нее деньги. Она у графовъ живетъ, и у нихъ всѣ банки знакомы, она и написала дилектору, господу сказали. Самъ дилекторъ насъ разыскалъ, вотъ какіе господа-то ее были. У нихъ несмѣтные миліоны по всему свѣту... А погодите, что вышло-то... намъ эти миліоны сами въ руки давались, только Господь отвелъ.

Поговѣли мы, пасочку я купила, и куличикъ, греки торговали: нашей тоже они вѣры, греки-то. И опостылилъ намъ Костинтинополь этотъ. Катичка вся издергалась, — Васенька на горѣ сидитъ, бревна катаетъ, скорѣй ѣхать-вызволить... а мы чисто какъ въ мышеловкѣ. А городъ тотъ греки отвоевали, а у нихъ англичаны отобрали, себѣ подъ флагъ. Они и шумѣли, греки-то. Ватагами ходятъ, съ протуваровъ сиибаютъ, и туркамъ житья не стало. Греково войско за море погнало турковъ, въ самую эту... насупротивъ была? Вотъ-вотъ, Азія самая. А ихъ отседа турки назадъ погнали. Греки и зашумѣли. На самый на первый день Пасхи и случилось, расскажу вамъ.

Тамъ лѣстница ши-рокая-каменная, конца не видно. На лѣстницѣ намъ старичокъ-полковничекъ попался, на нашу церкву собиралъ. Это раньше онъ намъ попался, съ картоночкой на вѣтру стоялъ, одинъ глазъ выбить. Ну, пошли мы главный соборъ глядѣть, а онъ по-ихнему ужъ зовется, — ме-четь. Насъ турки и не допустили: сами обѣдню служимъ, послѣ приходите. Стоимъ-глядимъ, а на кумполѣ креста ужъ нѣту, а мѣсяцъ золотой, мѣсяцу они молятся. И старичокъ тутъ, на церкву-то собиралъ, и

картоночка на груди — Николъ-Угоднику на храмъ. Положила я ихнюю копѣечку, онъ меня и призналъ. А я въ тальмъ этой, стеклярускомъ обшита, и въ шали шерстяной... — онъ и призналъ меня:

— «И ты, горевая, съ нами! и тебя закрутило, горевая!» — и заплакалъ. — «Все потеряли, говорить, пропала наша Россія-матушка. Кончили бы войну, нашъ бы соборъ былъ, и крестъ бы на немъ сіялъ, и гордовыя бы наши тутъ стояли, не было бы такого безобразія».

И еще наши тутъ, на соборъ глядѣли. А греки шумятъ: ихній это соборъ будетъ! А старичокъ и крикни: «время придетъ — нашъ будетъ!» А греки на него: «нашъ! всѣхъ побѣдимъ, со всѣхъ денежки стребуемъ!» И казаки наши тутъ подошли. А старичокъ все кричить: «не быть тутъ грекамъ, придетъ наша Пасха!» Чумазый за воротъ его и схвати, и поволокъ отъ собора, — не смѣй на церкву собирать. Казаки какъ пд-чали ихъ лупить, по-гнали. А тутъ аглицкіе жандары наскакали, плетками разгонять. Казакъ одного за ногу и стащилъ, всѣхъ и поволокли въ участокъ, и насъ съ Катичкой, за свидѣтелей. А казаки маленько выпимши, и смѣются: «вотъ-дакъ увидали турецкую пасху, спра-вили!»

XLIII.

И поглядите, барыня, чего вышло! Казакъ съ нами за свидѣтеля сидѣлъ, пріятный такой лицомъ. И говорить Катичкѣ: «ахъ, барышня... на Лушу мою похожи какъ! такая же барышня и у меня росла, дочка». Съ офицеромъ-казачонкомъ сбѣжала, и гдѣ теперь — неизвѣстно. Разыскиваль ее все. И присовѣтоваль намъ въ «Золотую Кдѣтку» поступить: самый, говорить, благородный ресторанъ, графыни да княгини чашечки подають, а онъ сашлыки на ножѣ подноситъ. Катичку и устроилъ. А меня къ туркамъ, говорила-то я вамъ. И Катичку отъ пьяныхъ

оберегалъ, одного чуть не заporоля, ножомъ тѣмъ. Кутящѣ, извѣстно, — всего наслушаешься. И все богачи, товарами торговали, ну и ломались, выражались. А Катичка строгая, поглядить — каждый пьяница отлетить. Все ее недотрогой звали. А хозяинъ грекъ былъ. Вотъ и говорить ей грекъ: «одинъ человекъ про васъ дознается, сыщикъ... вы худого чего не сдѣлали?» Затревожилась она. А онъ двѣ недѣли все дознавался. Съѣлъ разъ за ее столикъ и неволить — пригубьте со мной. Она отказалась — непьющая. Ушелъ, а на столикѣ браліантовое кольцо! Она его и окликнула, взявъ кольцо. Выходить — пыталъ ее. И турка нашъ говорилъ ей: какой-то все про васъ справляется, какого поведенія. И пропасть, сыщикъ-то. И приходитъ вскорости въ ресторанъ важный такой старикъ, съ золотой набалдашиной, англичанинъ, вродѣ какъ графъ. Ничего не заказываетъ, сидитъ — глядитъ. А имъ извѣстно: несмѣтный богачъ, на своемъ кораблѣ пріѣхалъ. Опять приходитъ, за Катичкинъ столикъ съѣлъ, содовой воды потребовалъ. Сидитъ-попиваетъ, на Катичку глядитъ-наблюдаетъ, и спрашиваетъ: кто вы такая, да какъ суды попали? Она ему докладываетъ по ихнему языку, лучше сказать нельзя. Красавица, а онъ старый старикъ, ему и пріятно разговаривать. Завтра опять приходитъ, опять — содовой воды. Богатый-разбогатый, а не расходуется. Грекъ и говоритъ Катичкѣ: «растревожьте старичка на расходъ, вамъ отъ меня хорошая польза будетъ».

Заявляется опять — обѣдъ заказалъ, лучше нельзя. Рюмочку дорогого вина выпилъ, и Катичкѣ: поддержите компанію. Сразу ей тутъ вдомѣкъ, чего добивается, — короткой ноги. А грекъ ей мигаетъ — растревожьте! А она — извините, я... — сказать сумѣла. Онъ и говоритъ вдругъ:

— «Простите меня, графьяня...» — по фамиліи назвалъ! Она ему — «извините, я не графьяня...» — а онъ свое: — «не укрывайтесь, я досконально знаю, что вы выскогаго роду графьяня... и вотъ вамъ письмо».

И подаетъ изъ бумажника хорошее письмо. Отошла почитать, видить — мисино письмо, отъ Кислой нашей. Воротилась, а старика и нѣтъ, на столъ бѣлую бумажку выклалъ, — сразу ей капиталъ очистился. Всѣ барышни — «сахъ, счастье какое, влюбился въ васъ, свой у него корабль!» — то-се. И грекъ прибѣжалъ, — «ловите счастье, растрясите старичка и меня не забудьте!» А у нихъ случаи бывали: за богачей и замужъ вылетали, и такъ, въ незаконный бракъ, на поддержаніе, характеръ какъ дозволяется. Жизнь душу-то запутала. А онъ несмѣтный богачъ, и автомобиль свой, съ корабля спущень, вонъ какой. Показала имъ писмо, а онъ — «это онъ глаза отводить, смотрите, нѣ промахнитесь». А миса у этого старика жила, у графа, съ дочкой для компаніи, а она померла, они съ супругой и поѣхали горе размыкать, вотъ и пріѣхали. А она старику все про насъ... и въ какой мы нуждѣ, и боянать чего напдела, чуть мы не выше графовъ. А Катичка графова тоже роду, по мамочкѣ... Ну, можетъ, и маленькіе графы, вы-то какъ говорите, а въ коронахъ ходили... у нихъ и носовые платки въ коронахъ вышиты... Ну, извѣстно, вѣрно вы говорите, каждый можетъ себѣ корону вышить, да... у нихъ гусь въ коронахъ летѣлъ, грамотка-то была, и въ золотыхъ книгахъ писаны, — этого простой какой человѣкъ не можетъ. И такіе, говорить, лю-ди... ежели пондравитесь, они васъ, прямо, озолотятъ.

На другой день опять заходитъ. Покушалъ, — «хочу, говорить, на автомобиль васъ покатать». Понятно, запаласалась: ну, завезетъ куда? старикъ — старикъ, а другой старикъ молодого хуже. Сразу понялъ, и говорить: «не опасайтесь, я вамъ въ дѣдушку гожусь, и мнѣ надо съ вами говорить сурьезно». Поглядѣлъ гру-стно...--«на дочку, говорить, вы на мою похожи!» Ну, согласилась. А барышни ей строчать: «у него дворцы по всему свѣту!» А то завистовали-страшали: «онъ женатый, старуха у него на корабль безногая, требуйте обезпеченье зараньше». А

грекъ свое: «не слушайте никого, ловите счастье, мы съ вами тогда еще ресторанъ откроемъ».

Ну, по городу ее покаталъ, поговорили. Вынулъ бумажникъ, тыщу рублей бумажку и подаетъ: «бѣднымъ вашимъ раздайте!» И еще: «моя супруга желаетъ васъ самодично видѣть, поѣдьте сейчасъ на корабль». Она перепугалась: завезетъ на воду — ужъ не вырвешься, гордого не крикнешь. Она и говоритъ: никуда безъ няни не хожу. Похвалилъ: скромная вы, дайте мнѣ вашъ портретъ, супругѣ показать. Завезъ ее домой, дала ему портретъ. И уговорились завтра на корабль ѣхать, меня прихватить.

Ну, приодѣлись мы. Она черное платьице надѣла, — сиротка и сиротка. Взяла меня отъ турковъ на часокъ, и я прибралась, парадную шаль надѣла, и наколочку она мнѣ, кружевную, прилично такъ. Познакомила насъ со старикомъ. Старикъ — лучше и не сыскать: фасонистый такой, сразу видать — стариннаго роду графъ. Онъ за нами въ ресторанъ автомобиль подаль. Ужъ такъ всѣ завистовали!.. Грекъ старика подъ-ручку подсаживаетъ, а по мордѣ-то видно, будто насъ продаетъ. А я молилась все. Ну, чисто въ сказкахъ...

Ужъ и не помню, какъ мы на бѣлый корабль взошли. Лакеи насъ встрѣчаютъ, въ чулка-ахъ, въ синихъ курткахъ, пуговицы золотыя. Кланяются намъ низко-низко, подъ-ручку меня прихватили, а ее самъ графъ выводилъ, такая намъ честь была. И все цвѣты-букеты, и повелн по коврамъ въ парадные покои. Гляжу — сидитъ на креслахъ барыня, зубастая, въ шелку вся, сѣдая-завитая, и съ костылемъ... румяная, важная, и такъ вотъ... въ золотое стеклышко на насъ, стро-го!.. Катичка ей присѣла, ручку поцѣловала, — ну, самая что ни есть хорошо-воспитанная. А я, издаля, низко ей поклонилась... — стеклышкомъ мнѣ махнула, на кресла велѣла сѣсть. Страху я набралась, будто царица на меня смотреть. Ну, по-ихнему онъ поговорили, хорошо такъ, Катичка ни разочка не запнула. Ши-

калатъ съ пряниками пили, и потомъ намъ корабль показывали, — ума рѣшишься, какое же богатство. А барыня то на партретику поглядить, — дочкинъ, на столикъ у ней, хорошенькая такая, зубастенькая только, — то на Катичку на мою. И все ее такъ — «дитя моя», — Катичка говорила. Будто это у насъ смотрины. А на другой день графъ, его сіятельство, въ ресторанъ приходитъ и говоритъ: «желаемъ мы съ супругой въ дочки принять достойную барышню-сироту, и вы намъ по сердцу, поѣдете съ нами по морямъ, и потомъ вы скажете, можете стать намъ за дочку?» Какъ съ неба на насъ упало. А она къ Васенькѣ все рвалась, — ну, какъ ей фхаты! Поблагодарила, — дозвольте, говорить, подумать. Ну, старикъ ей — «мы черезъ мѣсяць воротимся, и будемъ на дачахъ жить тутъ, вы насъ узнаете досконально».

Уѣхали они. Стали мы гадать, какъ намъ быть. И счастье такое выпадаетъ, и страшно-то: отъ себя, будто, надо отказаться, по ихъ писатся, вѣру ихнюю принимать! А въ ресторанъ такъ всѣ и ахнули. Одни совѣтуютъ — нипочемъ не отказывайтесь, милѣны въ руки сами даются, а другіе завистуютъ — «разныя бывають дочки!» А грекъ меня отъ турковъ сразу забралъ и къ посудѣ поставилъ, хорошее жалованье положилъ. А тутъ отъ Васеньки письмо: къ Парижу подѣзжаетъ, скоро насъ выпишетъ. А тыщу рублей, графъ-то далъ, Катичка нашимъ бѣднымъ всю раздала: святые деньги-то. Ждемъ — вотъ воротятся, рѣшать надо. А они и не воротились... сномъ пришло — сномъ и вышло. А вотъ...

Двухъ недѣль не прошло, бѣжить грекъ, весь перекопился, какъ сатана, газетку суетъ — визжить: «а, шайтанъ... пропало наше счастье!» И что же, барыня, думаете... ихній корабль на ми-ну наскочилъ! съ войны на цѣпи сидѣла-плавала... сорвалась! Порохомъ его и разорвало. Съ другого корабля видали, — сразу они потопли, какъ камушекъ. Только скамейка выплыла. И ужъ плакала Катичка!.. Да не капиталовъ жалко, а лю-ди-то какіе... такъ

насть и освѣтили въ Костинтинополѣ этомъ страшномъ, будто они самые родные. Добрые-то всѣ родные... А было намъ это въ искушеніе. Ну, согласисъ мы тогда поѣхать..! Будто заманъ: отъ себя словно отказаться, а это грѣхъ. Вонъ, приписываются теперь, изъ корысти, — развѣ годится такъ? Все одно, что отъ бѣдной матери отказаться, на чужую-богатую промѣнить. Грекъ тутъ же меня въ судомойки, и на Катичку сталъ кричать. А тутъ самое страшное и началось.

XLIV.

Стали мы въ Парижъ собираться. А у Васенькина дяденьки дворець въ Ницахъ, и съ углю каждый годъ получалъ. Онъ годовъ двадцать въ Парижѣ, съ чего-то уѣхалъ изъ Россіи. А денежки ему подай. Холостой старикъ, кому же богатство-то получать? Ну, мадама, можетъ, была, фрунцузинка... домикъ какой откажетъ, за удовольствіе, а Васенька-то все своя кровь. Все и думала — къ концу, будто, жизнь наша горевая. А вышло-то..!

Приходить отъ Васеньки письмо. Разыскалъ онъ дяденьку въ Парижѣ, консклы наши его знали. Богатая квартира, и лакеи у него французскіе. Ну, приходитъ. А одѣтъ онъ — сапоги на гвоздяхъ, по пуду, брюки залатаны, а на шинельку и смотрѣть страшно. Ихніе гордовые его задерживали, по документамъ свѣрялись, не бродяжный ли. Его лакеи и не пускаетъ, за французскую попрошайку принялъ. Дяденька голову изъ двери, спрашиваетъ опасливо: «вы... Ковровъ?» — «Да, говоритъ, полковникъ Ковровъ». — «Полковникъ?!.. а вашего папашу какъ звать?» — такой невѣрный. Ну, сказалъ. — «Да, маленько похожи на Никашу». Велѣлъ впустить, въ кабинетъ повелъ, чаю имъ туда подали. А Васенька и не обѣдалъ: у дяди, молъ, покормятъ. А богатство!.. Небель шелковая, зеркала, ковры, карти-цы... — чистые музеи. Велѣлъ по

рюмочкѣ мадерцы подать, со свиданьемъ. Онъ-то думаль — ножить его дяденька оставить, а тотъ ему — «помогу тебѣ чѣмъ могу... до мѣста пока франковъ триста на мѣсяць положу, изъ одежи чего дамъ, пальтецо у меня драповое есть...» Велѣль лакею принести, и щиблетки желтыя... — Васенька тутъ и понялъ: скупой дяденька, сквалыга вовсе, другой рюмки и мадерцы не предложилъ. И неприятный такой съ лица, жирный, и губу все топырилъ, брезговаль словно имъ. И обидно, а пальтецо примѣрилъ: широковато, да что ужъ тутъ разбирать, теллѣй ходить. И шляпу ему дяденька пожаловаль, горшочкомъ. Велѣль завтракать заходить по воскресеньямъ. Про все разспросиль, какъ ограбили, сколько разъ ранень... И вдругъ и спрашиваетъ:

— «А ты за какое правленіе сражался съ большевиками?»

Сказаль ему — не за правленіе, а за Россію нашу. А тотъ опять — за какую Россію? А Васенька ужъ разглядѣль: въ кабинетѣ у дяденьки... эи-ти всѣ!.. А вотъ, какіе съ бонбами-то ходили, саца-листы, барыня! всѣ ихъ патретики навѣшаны, рядками... а какіе и написаны — «дорогому другу». Чисто, говорить, музеи страшные. Онъ и спроси: «вы что же, другъ съ этимъ... бонбы кидаль?» — «Обязательно, говорить, другъ!» — такъ и ошпариль Васеньку. И друзей энтихъ у него, — полны стѣны! Денежки имъ даваль. Много-то не даваль, скупой, а тыщенку-другую, можетъ, и выдавливаль изъ себя, отъ обиды. Ему како-то книжку не дозволили читать, не то писать... я этого дѣла не знаю, — онъ и уѣхаль въ заграницу. А ему каждый годъ больше миліѳна посылали.

Васенькѣ бы смолчать, хуже терпѣль, и старикъ-то вздорный, изъ ума выжилъ, такого словомъ не выбѣлишь. А онъ душой-тѣломъ поразбился, да голодный-то, и ласки не увидалъ... — онъ словечко одно и скажи. Онъ мудрѣй сказаль, я по ихъ не умѣю, а чѣго поняла. Такъ словно:

НЯНЯ ИЗЪ МОСКВЫ

— «Вы страху не видали, жили спокойно... А мы головы свои клали, чтобы дѣло поправить, и сколько насъ, молодыхъ, погибло! И жизни мы не видали, и калѣки... и вы еще спрашиваете, за какую Россію воевали! Одна у насъ она. Не видали ничего, ну вотъ, на меня глядите».

А у него рана на ранѣ, истерзанный, и руки побиты, и какъ на жулика на него глядятъ. Дяденька такъ и всполошился, слова не могъ, — такъ все: ка-ка-ка... — языкъ споткнулся. А Васенька въ прихожую выбѣгъ, шинельку свою схватилъ, а лакей его не выпускаетъ. Они по-нашему кричали, онъ только крикъ слыхалъ — перепугался. Тотъ лакея маханулъ, послалъ его, какъ полагается... а дяденька за нимъ: не сердчай, возьми пальто, шляпу! А Васенька, понятно, разстроился, все-то разворошилъ-припомнилъ... — «отдайте лакею вашему! отъ васъ ничего не надо, получили наслѣдство, довольно съ насъ!» И старикъ тоже разошелся; кулакамъ замахалъ... — «дакъ ты, кричить, за наслѣдствомъ ко мнѣ пожаловалъ? не новое пальто — обидѣлся? мало на мѣсяцъ положилъ?.. а, можетъ, я те пощупать думалъ..?» А тотъ, сердце-то загорѣлось, — «будетъ съ меня, пощупали!..» — и хлопъ дверью. Старикъ ему на другой день — триста прислалъ, за мѣсяцъ. Онъ деньги ему обратно. Старикъ къ нему самъ прикатилъ — давай мириться! На порогъ къ себѣ не пустилъ, сказалъ только: «больше себя не беспокойте!» — подъ носомъ и захлопнулъ дверь. Тѣмъ дѣло у нихъ и кончилось. Ужъ онъ въ американскій банкъ поступилъ: знакомаго анженера встрѣтилъ, у папашеньки на углу служилъ, онъ его и устроилъ. Прислалъ Васенька намъ денегъ и визу обѣщалъ выправить. Такъ и разстроилось. А Катичка все-то говорила: у дяденьки отдохнемъ, на тепломъ морѣ. Вотъ мы и отдохнули. Да что дальше-то вышло, барыня...

XLV.

И приходитъ къ намъ газетчикъ, — на улицѣ Катичкѣ попался. А онъ Катичку зналъ, какъ съматься ее возили, въ Крыму когда. И говоритъ: «вась и здѣсь на картинкахъ смотрѣли, — прямо, ломи-лась публика!» И у него ужъ, будто, дознавались дилехтора, гдѣ такая красавица, — изъ Крыма онъ загодя усклизнулъ. А онъ и въ ихнихъ газетахъ умѣлъ печатать. Поднесли мы ему винца, онъ и расположился: «да тутъ прачки съматься лѣзугъ, а вы самая главная звѣзда!..» — все ее такъ — звѣзда! — «да вась съ руками и съ ногами всѣ оторвутъ, цѣны вы себѣ не знаете!» Наговорилъ намъ съ три короба. — «Я, говоритъ, этого дѣла не оставляю, тутъ и для меня жаренымъ пахнетъ», — и укатилъ. Катичка такъ разстроилась, сама не своя. Вытащила свои патреты, и все передъ зеркальцемъ, глазки тарачила, красовалась. Пошли на службу, а барышни и показываютъ газетку, а тамъ про Катичку: прѣехала знаменитая звѣзда, ужъ ее американцы торгуютъ! Газетчикъ тотъ нахвасталъ. Такъ всѣ и подивились, и грекъ какъ-то... — и вѣрить, и не вѣрить: «можетъ, намъ, говоритъ, миліёны посыплются... меня не забудьте». Приходимъ домой — письмо отъ Васеньки. У той, горбатенькой, побывалъ, католичка которая, графини сестра-кузина. Она ужъ въ ихнемъ монастырѣ, и вѣру смѣнила. Да хроменькая еще, — ну, кто за себя возьметъ такую. А характеръ у ней — ангелъ чистый. Такъ и отписалъ. Письмо, то, страшное, прочитала монашка, перекрестилась, четки стала перебирать. И сказала, монашкѣ какъ полагается: «воля божія», — по-французскому сказала: по-нашему, можетъ, разучилась, ай ужъ ей такъ полагается, католичкамъ: «и желаю вамъ счастья, и вашей скорой супругѣ, и я ей напишу, въ благословленіе...» — адресокъ спросила.

Васенька нахвалиться не могъ, какая божественная.

Годковъ ужъ за тридцать, изсохла вся, живыя мощи. Катичка такъ и освѣтилась, письмо ужъ нестрашно стало, — нѣтъ на насъ зла у католички. Только порадовались, — черезъ три-дни заказное намъ, съ черной каемочкой и съ печатью съ черной, по упокойникамъ вотъ печатаютъ. Испугалась Катичка: померъ кто-то! Распечатала, — отъ нее, отъ католички, сверху иконка нарисована, Мадонна называется. Самая тутъ змѣя къ намъ и подползла, съ печатью-то. И словъ, барыня, немного, да другое слово ножа вострѣй. Она и наточила, нашла слова. А такъ — французское письмо, воспитанное. Значить такъ... — «желаю вамъ покой душѣ, и вашему жениху... какъ благородно поступилъ... и душа моей мученицы-сестрицы будетъ моа... .ся у Господя...» — про Господа помянула! — «у престола Господня... и пусть ее страданіе не мучаетъ совѣсть вашу... а я, говоритъ, буду молиться — прости намъ, Господи, согрѣшенія». И имя приписала: сестра Бетриса. А внизу, съ уголку, — была графиня Галочкина. И правда, Галицковская. Вотъ и монашка: зло-то чего не дѣлаетъ! А ее злая любовь въ католичку загнала, злость-то въ ней и кипѣла. И образованная какая... Да что, простому чело-вѣку въ умъ не взойдетъ, а образованные сумѣютъ написать. Съ Катичкой-то чего было? Да ужъ сами понимаете.

XLVI.

Сразу закаменѣла будто. За головку, вотъ такъ вотъ, стиснулась, помертвѣла... Я — «что съ тобой, что съ тобой?» — не Васенька ли померъ, подумала: похоронное письмо-то... - - послѣ ужъ она все сказала, не знала я. А она — «оставь, ничего». Утромъ было, не пошла она на службу, и я осталась. Легла на диванчикъ, и кушать не желаетъ. Ночь подошла, а она и спать не раздѣвается. Два дни такъ, воду только пила. Благодѣтель нашъ пришелъ, казакъ, — «чего не приходите, грекъ грозитъ, ты-

щи народу набиваются». Шепнула ему — барышня прихворнула, придется завтра. А она уж чемоданчикъ купила, деньги-то Васенька прислалъ, а то наши шибко ободрались, Парижу показаться совѣстно. А тутъ и Парижъ полетѣлъ, — «не поѣдемъ никуда!» Ничего я не поняла. Письмо отъ Васеньки! Печка у насъ топилась, баць въ печку, не распечатавши. Тутъ я и поняла: старья опять дрожжи. Дернуло меня, и говорю: «Чего изводишься? красивая, молодая... клиномъ, что ль, свѣтъ сошелся? Я вонъ и сонъ видала — собака къ намъ прибѣжала, другъ придетъ». Какъ она на меня гля-нетъ..! — глазами обожгла. Дня четыре такъ мы молчали. Жарынь, духота, дворъ вонючій, турецкой, и помойка невывозная... да мѣдники во дворѣ, по тазамъ стучать, голову простучали, и мухъ этихъ... терпѣнья нѣтъ, какъ жилили, — турецкія, что ль, злющія такія, — а она лежитъ — жалости смотрѣтъ, всю ее мухи изсосали, а она не чувствуетъ, какъ упокойница. Надумала-належала, какъ вско-читъ!.. — «Это я-то! въ ямѣ-то такой!..» — и давай хохотать-качаться. Подумала — съ ума она сошла. Глядитъ въ уголь, на метлу, будто чего тамъ видитъ, метлѣ головой киваетъ. Притихла я, не дышу, что будетъ. Одѣлась она, припудрилась, губки ружой этой навела — пошла. Сердце у меня упало: ну, въ море кинется! А тогда сколько бывало такъ-то. Дрожу — молюсь. Часа два я томилась, — приходитъ, редиски мнѣ принесла: покушай. И сама погрызла. Телеграмма намъ. Прочитала — порвала. Пришла намъ виза. Письмо за письмомъ, телеграмма... На службѣ отказалась, и меня взяла съ мѣста, замудрила: «довольно съ насъ», говоритъ. Вижу — съ голоду будемъ помирать. Встала поутру какъ-то, поглядѣла въ окошечко... а и глядѣтъ некуда, на вонючую помойку, да окно въ окно скорнякъ безносый кошачьи шкурки сушилъ... И говоритъ, будто кому грозитъ: «да что я, пылъ какая? это я-то!.. чего здѣсь торчу, чего жду?!..» — за голову себя схватила. Обрадовалась я, — «и въ-сам-дѣлѣ, говорю, чего намъ тутъ про-

живаться... и виза есть, и деньги на дорогу присланы, тамъ, можетъ, посвѣтлѣй намъ будетъ». Какъ она захохочетъ...! Деньги выхватила изъ сумочки... Васенька намъ прислала... въ клочки изорвала! Я потомъ ихъ подобрала, въ платочекъ завязала, мнѣ знающій человекъ въ Парижѣ ужъ обмѣнялъ, на хорошія, ничего мы не потеряли. Изорвала на клочки, оставилась въ меня... — глазъ свести не могу, будто меня заморозила, истинный Богъ. Съ пеленокъ ее знаю... — а она меня ликомъ обожгла! Чисто ее смѣнили, не Катичка. Я такой красоты и не видала, страшной. Глазищи стали — сожгутъ, прямо. Волосы разметались, личико разгасилось, рубашечка съ плеча спустилась... — будто не человекъ, не Катичка моя, а арха-ягелъ грозный. И такая красавица, — каждый съ ума сойдетъ. Заморозила — не оторвусь. И будто не своимъ голосомъ:

— «Обноски донашивать?!» — записочку-то ей графиня — «получите мои обноски»? — про Васеньку, будто, намекнула, — «чашечки подавать? грекъ грозитъ?! Довольно, сыты! Чего ты ревешь, дура?» — а я напугалась — заплакала, — «теперь смѣяться будемъ! Никому не покорюсь, мнѣ будутъ покоряться!»

И что же, барыня... все тутъ у насъ и перемѣнилось, дхнуть я не успѣла. А вотъ, сразу другія ужъ мы стали, такія чудеса начались..!

XLVII.

Дня три по горѣду она бѣгала. Пришелъ опять газетчикъ и еще съ нимъ, заморскій, допросъ ей дѣлалъ и въ книжечку писалъ. «Укладывайся, на новую квартиру!» Гляжу — мамочкина колечка на ручкѣ нѣтъ. Спросила ее — неужъ завѣтное продала? «Не твое дѣло, собирайся». Въ богатую гостиницу переѣхали, въ два покоя. Всѣ портреты разставила, и все мнѣ — «довольно, новое все бу-

дети!» Заплакала я, отъ горя: съ ума, будто, она сошла. Схватила меня за плечи, — ну, трясти! — «Ты что плачешь? чего боишься?» — «Нѣтъ силъ, — говорю, — помру — на кого ты останешься, такая?» Затревожилась она: «бѣдная моя, замучила я тебя, несмѣнная моя, иконка моя!» — стала цѣловать, заплакала. Ну, чисто ребенокъ малый: вскочила, прыгать давай по комнатѣ, — «все будетъ хорошо!» И показываетъ письмо: полковникъ тотъ прѣзжаетъ. Такъ это мнѣ — собаку-то я во снѣ видала! А она и платье новое, и шляпку, — изъ какихъ денегъ, думаю. Чай велѣла сельвировать, внизу, въ рестора-нѣ, — ничего не пойму: сошла и сошла съ ума. Попирова-ла съ какими-то, и приходятъ они всѣ къ намъ, и газетчикъ съ ними, трое мужчинъ, все гавкали, въ книжечки писали, на портреты глядѣли, англичаны. А газетчикъ руки потираетъ и по-нашему такъ ей все: «ну, наваримъ мы съ вами пива!»

И пошелъ у насъ короводъ: и въ телефоны ее требуютъ, и... никогда ее дома нѣтъ. Прибѣжить, какъ угорѣлая, посвиститъ, — свистать стала, какъ папенька покойный, — «обѣдала ты?» — вспомнить все-таки про меня. Велитъ лакеямъ, — на пяти подносахъ мнѣ принесутъ, глядѣть страсти, кусокъ въ глотку не лѣзетъ. Чайку съ хлѣбушкомъ попью, скажу — обѣдала. И прѣзжаетъ къ намъ полковникъ. А ужъ онъ въ генералы вышелъ, и ему высокое мѣсто, въ Эн-дию! губернаторомъ главнымъ, вонъ какъ. И Катичка уважительная съ нимъ, самая воспитанная. И все ему извѣстно, про Катичку, — звѣзда стала. И сталъ онъ ее прогуливать, какъ хорошій кавалеръ. А Кислая намъ двѣсти рублей прислала, разбогатѣла отъ старичковъ, какіе вотъ утопли: сколько-то отказали ей, и домикъ въ деревнѣ, съ матерью она жила. И къ себѣ зоветъ, отдохнуть. Какой ужъ отдыхъ, Катичка развертѣлась — удержу нѣтъ. Собирайся, перебираемся! Въ самую первую гостиницу и перебрались. Царскія хоромы, прямо, войти страшно. И са-лоны, и телефоны, и ванныя... и шви-

царя кланяются, и горничныя виляютъ, и лакеи.. Первое время въ ванную съѣсть боялась: ну-ка, обидится — воспретятъ? А ей — чисто и сроду такъ. Потомъ ужъ я я обykle: захочу чайку — прикажу. Ну, какъ мы такую квартиру оправдаемъ! А она все: «плыть имъ надо въ глаза пускаты!» И такіе туалеты пошила — принцессамъ только. Каки-то сѣточки надѣвать стала, какъ рыбка серебряная, склизкая, — дивлюсь только. Ручки-ножки растирать барышня ходила, ноготки править, какъ ужъ тутъ полагается... духи въ ванную дала, дѣлала воду голубую, а то розовую... и волосы обстригла, чисто мальчишка стала, заплакала я надъ ней. Паликмахеру каждый день — пять рублей, подумать страшно. И откуда берется?.. Знакомыя зайдутъ, по «Клѣткѣ», гдѣ мы служили, никогда ее дома нѣтъ. Со мной посидать, — какое, говорятъ, счастье вамъ выпало, полковника-богача нашли. Безстыжія... И казакъ-благодѣтель приходилъ: — «Завиствуютъ у насъ, какъ наша барышня хорошо устроилась... Я, говорить, не осужаю, все лучше, чѣмъ для забавки къ турку». Лѣгко ли, барыня, такое слышать! И я-то, правду сказать, тревожилась. Сказала ему, — это ей за картинки даютъ, бумаги съ дидехторами писать. Все, говорить, возможно, что и писать. Намкнула я Катичкѣ.

— «А что, — говорить, — можетъ, на миліёны промѣнялась, какъ думаешь?»

Поглядѣла на нее, — гдѣтъ, Катичка моя все такая, ягодка свѣженькая, нетронутая, безъ поминки. Да такъ, барыня, ужъ знаю... я каждую по глазамъ узнаю. А у Катички глазки — святая водица, чи-стые. И говорю ей: «а такъ и думаю, не промѣняешься». Василисой-Премудрой назвала, вонъ какъ.

XLVIII.

Пріѣзжаетъ разъ, упала на кресла, перчатки стаскиваетъ, -- стани, не могу! И улыбается: «кунили-таки меня,

до-рого купиди!» Я и заплакала. Разсерчала она: «въ «Клѣткѣ» наслушалась? а еще Богу все молишься! Вымолила... первый дилекторъ бумагу подписалъ, сымать будутъ... три красавицы было, всѣхъ побѣдила!» И теперь ужъ не Катичка, а звѣзда! Больше тыщи за недѣлю положили дилекторъ. Я такъ и ахнула. Она мнѣ тутъ цѣльную пачку сунула — попрячь, у тебя цѣлѣй будутъ. Я и купила у турковъ кошель сафьяновый, на грудь повѣсила.

Письмо намъ, лакей на серебряномъ подносѣ подаль. Гляжу — поблѣднѣла Катичка. Почуяла я — отъ Васеньки. А давно не писалъ. Прочитала, опустила ручку, задумалась. И шепчетъ: «ну, и пусть... конецъ...» Да какъ вскочить!.. — и засвистала. А генераль... да, вспомнила, — Гартъ, фамилія, — ему скоро въ дальнее мѣсто ѣхать. Говорю ей: не присватывается... хорошій человекъ, словно? Только поулыбалась. А служба ее тревожная, не дай Богъ. То въ море увезутъ, то по горамъ на верблюдахъ ѣздить, а то турки ее изъ башни крали, на канатѣ перетягивали, въ корзинкѣ... Воротится — Гартъ прикатить, наглядѣться никакъ не можетъ. А дили-катный... Много онъ для нее старался: съ Америки даже телеграммы слали. Думаю-молюсь: Господи, хоть бы этотъ-то не отбился, фамиліей бы ее прикрылъ, а то такіе все оторвы, артисты эти, сымальщики... да все ловкачи, красавцы, такъ и кружатъ. А ужъ годки-то ей подошли... Какъ не быть, бывали, барыня, искушенія...

Разъ проводилъ ее Гартъ домой, ручку поцѣловаль, уѣхаль. А ужъ ночь глухая. Только ушелъ — молодчикъ къ намъ, ихняя звѣзда, испанская. А какъ же, у нихъ и мужчина тоже звѣзда бываетъ. Такой черномазый, ухарь, — всѣ барыни съ ума сходили. И бутылку съ собой принесъ. И стали они въ соломинки сосать, пошло такое, для баловства. А я гляжу въ занавѣску: голова къ головѣ, сосутъ-смѣются, ушко объ ушко трутся. И ужъ онъ, чую, урковать сталъ, по голосу-то слышу. Да и обнялъ! Она вскочила... грозить ему, а у меня ноги отнялись, и голо-

су нѣтъ. А онъ на нее, нахрапомъ! Она какъ выхватить изъ серебряной сумочки пистолетъ, онъ сразу и назадъ, руку къ сердцу, пардонъ сказалъ. Будто такъ, представленіе такое. У нихъ барышнѣ безъ пистолета никакъ нельзя.

Зима пришла — къ грекамъ поѣхала-порядилась, а меня въ номерокъ устроила. Сижу-скупаю, вдругъ телеграмма мнѣ! Прочитали знающіе, — требуетъ меня къ грекамъ. И всѣ распоряженія дала, нашъ штасъ-капитанъ бумаги мнѣ схлопоталъ, и на корабль меня посадили — довели. Катичка встрѣла, кинулась цѣловать, шепнула: «безъ тебя неспокойно, не могу». Возила меня по грекамъ, старые дома показывала: не на что глядѣть, а всѣ глядятъ, обманное такое мѣсто. А потомъ на руки меня горничной сдала, въ номерахъ. Ну, я съ ней и сидѣла, съ гречкой, съ гречкой женщиной... не по нашему они говорятъ, греки-то, а словно нашей вѣры. А Катичка картинки дѣлала. Она въ простынь сымалась, — показывала мнѣ, — кру-ти-зана, называется... а, можетъ, крути-задка, хорошо-то не помню... и ее масломъ арапки натирали, и потомъ она ядъ пила, изъ чаши. И еще на спину къ лошади ее привязали, по полю все гоняли, много было.

И опять мы въ Костинтинополь пріѣхали. А ужъ ее къ нѣмцамъ порядили, за большія деньги. Опять мы въ ту гостиницу, и что-то Катичка невеселая. Я ее и попытала: «можетъ, стѣсняю я тебя, отдѣльно бы ужъ мнѣ лучше?» Годки-то ей подошли, а сами, барыня, говорили — каждой такой артисткѣ незаконный сожителъ полагается. Ну, можетъ, я не такъ говорю... вотъ-вотъ, для партектіи, какъ вы-то говорите... и дилехтора добиваются, правда, ужъ я это дѣло знаю. Въ душу-то къ ней не влѣзешь. Баринъ слово съ меня взялъ, не оставляла бы... да, вѣдь, слово-то мое, а дѣло-то ее. А она мнѣ: — «Надоѣла, отвяжись». А не по себѣ и не по себѣ ей, вижу. Забилась я въ уголокъ, на глаза ей не попадаться, три дни сидѣла. Она и учуяла, смиреніе-то мое. Разнѣжилась, за шею прихватила... —

«сахъ, ты, старенькая моя, нянюля моя, старый ты вѣкъ, древній человѣкъ...» — вспомнила, какъ писарекъ ругался, — «мытарю тебя по свѣту, а не могу... иконка ты моя, хранительница!» Обѣи мы и заплакали.

Какъ-то повезъ ее Гартъ къ главнымъ посламъ на балъ. Утромъ она и говорить: «мнѣ Гартъ предложеніе сдѣлалъ, рада?» — «Что жъ, говорю, человѣкъ обстоятельный, на что лучше». И стало мнѣ жалко Васеньку. Она и говорить: «поѣду въ Парижъ, а тамъ увидимъ». И сталъ онъ ее просить: «поѣдемте въ Эндю, всякія чудеса увидите», — хотѣлъ приучить къ себѣ. Ужъ такъ для насъ старался, оберегалъ отъ воровъ даже... воры вокругъ насъ вились... эти-вотъ, вотъ-вотъ, ивантю-ристы. Онъ и приставилъ сыщиковъ, казенныхъ. Одинъ жуликъ рядомъ съ нами номеръ снялъ, жемчугъ хотѣлъ украсть. А то меня изъ квартиры выманивали, будто по дѣлу спрашиваютъ, а я не пошла... а въ коридорѣ сыщикъ тронихъ и зарестовалъ, ужъ они съ коридорнымъ сговорились.

XLIX.

Въ Парижъ намъ ѣхать — проводы намъ Гартъ устроилъ, въ самомъ богатомъ ресторанѣ. Никогда она меня на пиръ не брала, — да и правда, куда горшку съ чистой посудой знаться. А тутъ, чего-то издергалась, на меня накричала, весь день со мной слова не сказала. И приходитъ къ намъ благодѣтель нашъ, казакъ, а онъ къ намъ запросто хаживалъ. Съ радостью пришелъ, маленько выпимши: дочка его, съ казочонокомъ - то, у сербовъ отыскалась, и они поженились, и его выписываютъ къ себѣ. Ужъ онъ у грека расшелся. Ну, пришелъ, а у насъ разстройство. Помялся-помялся, видитъ — угощенія не подаемъ. Я-то ее боюсь тревожить, а она въ уголокъ забилась, насупилась. Онъ и говорить: «ай загордѣли, барышня.. старого казака не признаете?» Катичка спохвати-

лась... — «нѣтъ, я вамъ рада, давайте чай пить». Скушный такой сидѣлъ. Она и стала его обласкивать, мадерцы ко-
дать велѣла, сардин-ковъ... сама ему наливаетъ: — «Ро-
дивонъ Артамовычъ, дорогой гость, кушайте, пожалуй-
ста». Такъ онъ растрогался, все извинялся, что обезпоко-
иль такихъ людей. Да еще мадерцы выпилъ, стала гово-
рить:

— «Вы божескаго роду, вамъ счастье Господь по-
шлетъ. Думаете, мы не видимъ? Мы все-о видимъ... ста-
рушку какъ уважаете, простого человѣка. Я графѣвъ не
люблю, они го-рды... а васъ я признаю-уважаю, наша
вы, рассейская барышня... не можете возгордѣть! Ка-
закъ — вольный человѣкъ, никому не обязаю. И вотъ
вамъ отъ стараго казака...»

Вынулъ изъ кошелька Тихона Задонскаго образокъ, съ
двугривенный, обь ушкѣ, серебряный, и даетъ Катичкѣ:

— «Этотъ образокъ завѣтный, святой человѣкъ мнѣ
далъ, на войну когда... не будетъ печали, говорить. Мнѣ
теперь нѣтъ печали, дочку нашель. А вы, барышня, ску-
чаете, я все вижу... всякую печаль разгонитъ!»

Приняла она образокъ, перекрестилась, — такъ ей при-
ятно стало. И поцѣловала нашего благодѣтеля въ голо-
ву. А онъ такъ растрогался: «не будетъ вамъ печали, по-
помните стараго казака...» И сразу намъ лѣгко стало. Ве-
черь подошелъ, на пиръ ѣхать, она и говоритъ: «соби-
райся, няня, хочу съ тобой». Я и такъ, и сякъ, куда мнѣ,
грошу, съ рублями... — нѣтъ и нѣтъ: «хочу такъ, мнѣ съ
тобой легче, хоть ты и допотопная». Особо неприлична-
го нѣтъ, понятно... всѣ ужъ ко мнѣ привышны, няня я ее
старинная.

Пи-ирь... — словами не сказать. Парадные намъ покои
отвели, въ огняхъ, и всѣ знакомые, и сымальщики, и ан-
гличаны, и итальянцы-ы... кого-кого только не было! А
Гартъ на главное мѣсто Катичку усадилъ, и букеты ей,
и... себѣ бѣлый цвѣточекъ прикололъ. И всѣ генералы бы-
ли... съ саблями даже были. И шинпанское вино въ се-

ребриныхъ ведрахъ приносили, и кре-мы, и пирожки... самый богатый пиръ. А я съ краюшку сидѣла, вязала. На мнѣ шелковое платье было, муваровое, и наколочку Катичка мнѣ приладила, — сижу, будто я образованная. И ужъ ночь. Они разговариваютъ-пируютъ, а я дремлю. Какъ мнѣ подѣ руку ктой-то!.. Глянула я, — уси-щи, чисто щетка сапожная, мо-рда-а... — самоваръ мѣдный. Итальянецъ это ко мнѣ присталъ, съ парохода капитанъ, на его пароходѣ хотѣли ѣхать. Присталъ и присталъ: желаю съ вами выпить! А я непьющая, да испугалась, сказать не умѣю, а онъ мнѣ въ губы суетъ, шинпанское вино. Я его подѣ локотокъ чуть, отвязался чтобы, бочка и бочка винная. Онъ и скажи, — послѣ ужъ я узнала: «красавица такая, и старый товаръ за собой таскаетъ», — про меня-то: «для охраны таскаетъ... строгой у вѣдьмы глазъ!» — Она и услышала! Да тревожная все, да шинпанскаго-то вина пригубила... она и загорячилась: «не хочу слушать дерзостей, просите у ней прощенья!» Скандаль такой, и Гартъ перепугался, успокаивать ее... сижу-дрожу, а она — чисто архангелъ грозный! А итальяшка — пьянѣй вина, бухъ на колѣни передо мной! — истинный Богъ. Страмота такая. — «Мадама, — говоритъ, — простите меня, грѣшнаго!» Руку мнѣ и поцѣловалъ, безобразникъ. И винищемъ-то отъ него, и табачищемъ, и чесночищемъ... И передъ Катичкой на колѣнки всталъ. А она развертѣлась вся, встала возля меня и давай кричать:

— «Старый товаръ она, вѣдьма она..? а лучше для меня всѣхъ!» — не могу, барыня, не плакать.

И выстерика съ ней случилась, Гартъ ее подхватилъ, нюхать ей соли вострой. Больше и не пировали. Гартъ насъ на автомобильъ домой привезъ, такъ безпокоился. Только отѣхалъ — она на меня топать!

— «Изъ-за тебя, дуры, такой скандаль! стыдно мнѣ!..»

Утромъ рано вскочила, въ телефоны Гарту посмѣялась. А я и глазъ сомкнуть не могла, все плакала. Подбѣжала — поцѣловала въ глазъ. А я притворилась, — сплю,

моль: стыдно мнѣ. Куда-то убѣжала. Прибѣгаетъ — чурекъ мнѣ горячій принесла, и сама жуешь... ← любила я ихъ, горяченькіе, будто калачъ нашъ.

I.

Поѣхали мы въ Парижъ. То по морю хотѣла, а тутъ сразу отмѣнила — по машинѣ. Цѣльный домъ съ собой повезли, се-зъмь сундуковъ, да чемоданы, да у меня на рукахъ сколько, — приданое, будто, набрала. Провожали съ почетомъ, и Гартъ провожалъ, — въ Парижъ обѣщался быть. Вотъ у ней рвали деньги, наша бѣднота! А она — сколько ни попроси, все отдасть. Я ужъ у ней деньги отняла. То рвалась — въ Парижъ скорѣй, а какъ поѣхали, ну... издергалась: успѣемъ въ Парижъ, сворачивай. Приѣдемъ куда — иѣтъ, въ другое мѣсто поѣдемъ. Закружила она меня. То ямы въ горѣ смотрѣтъ, то дворецъ ей занадобится... измаяла меня. Приѣдемъ въ какой городъ. — опять газетчики эти, и такъ, шлющіе, карточки съ насъ сьмаютъ... Вотъ, цыганъ венгерской и прицѣпился, — говорила-то я, — на гитарѣ намъ все звонилъ. Венгеры тамъ живутъ, ѣхали-то мы..? Наняла автомобиль, прорву какую-то глядѣтъ, самая-то глухая глушь. Будто намъ и въ Парижъ не надо, — все она мудровала. А къ ночи, мѣсто глухо-е... — автомобиль и поломайся, не можетъ ѣхать. И говоритъ, шоферъ, выльзайте. А онъ страшный венгеръ, живой разбойникъ, глазами на насъ такъ... — вылазьте! Думаю — ограбить насъ хочетъ, нарочно автомобиль сломалъ. А на насъ цѣльный капиталъ, жемчугъ одинъ большія тыщи стоитъ, на Катичкѣ, подъ мантой... а у жуликовъ глаза вострые, дастъ кулачищемъ — и обирай. Слышимъ — за нами скрипъ! пять подводъ, какъ вагоны, и машина ихъ волокетъ, и вой тамъ, будто грызня какая. А это цирки бродяжные, звѣрей везли. Рыкаютъ звѣри, грызутся тамъ... остановились вагоны. Хозяева по-

дошли, поантеросовались, и дѣвка выпрыгнула, цыганка вродѣ, лупоглазенькая, стала лопотать. И хозяйева кричать стали. Всѣ съ трубками, въ такихъ вотъ шляпахъ, чисто пастухи, а глаза самые разбойничьи. Промежъ двухъ огней и попали, — грабь и грабь. Катичка за ручку съ ними, и говоритъ миѣ: поѣдемъ со звѣрями! Насъ и посадили въ вагонъ, дѣвка вотъ гдѣ жила. Каморочка такая, и постелька у ней, чисто такъ, вонь только, отъ звѣрей. Дожили до чего! На переду двѣ клѣтки: тигра сидѣла, и еще полосатенька какая-то... а сбоку левъ головастый ѣхалъ, въ другой клѣткѣ. Она всю дорогу и дрались лапами, черезъ прутья, рыкали все. Дѣвка на нихъ визгнеть — гей! — они и поутихнутъ. Говорила — безъ глазу нельзя оставить: клѣтки могутъ разворотить. Схватятся черезъ прутья, такъ все и задрожитъ, вотъ-вотъ прутья посыпнутся, разорвутъ насъ звѣри. Остановились ночевать въ полѣ, огонекъ развели. Кости они все грызли, кровинья... рвутъ другъ у дружки, ры-гаютъ, изъ пасти у нихъ воня-еть... не дай-то Богъ. А Катичкѣ завятно. Все миѣ такъ: «гдѣ это, нянь, выдано... куда попали!» И сдружилась она съ той дѣвкой. Та нарядъ надѣла, почѣсть что голая, только въ сапожкахъ... въ висюлькахъ-бисерѣ, всѣ ляжки голыя у безстыжей... къ тигрѣ при насъ входила, съ однимъ хлыстомъ! Тигра на нее разявится, зашипить, а боится, на брюхо припадаетъ, глазищи дрему-чие... ни мигнуть. Я даже глаза закрыла, страсти. Катичка и говоритъ: «и я къ тигрѣ хочу!» Молила ее, — ни-какъ: хочу и кочу. А дѣвчонка еще задорить. Ни жива, ни мертва, сижу-плачу... а та вошла, хлыстомъ погрозила, — манить. Катичка и вошла. Уставилась на тигру, — тигра на лапы и припала... на Катичку такъ, только усы дрожать. И стали обѣи пятиться. А то, говоритъ, безпремѣнно кинется, съ глазъ только ее спусти. Съ недѣлю мы съ ними жороводились. Катичка такъ изъ цирковъ и не выходила, въ городкахъ они представляли, публикѣ. И тигру заворожила! Побранила я ее, она и говоритъ:

— «Глупая ты, какихъ ужъ мы людей видали — и цѣлы остались, а тигру чего бояться, она простой звѣрь».

Насилу-то Катичка разсталась, сдружилась очень. Катичка имъ подарковъ накупила, тру-бокъ... дѣвчонкѣ ятарныя бусы отдала, а та ей колечко серебряное, колдунское будто... для любви, отъ себя даже оторвала, вонъ какъ. Все Катичка говорила: «такъ бы съ ними и ѣздила... вотъ это настоящіе люди, не продадутъ». И мнѣ, правда, они пондравилась.

LI.

Ну, прѣехали мы въ Парижъ. И не въ гостиницѣ стали, а въ оте-лѣ... три покоя, ванны... — несмѣтныхъ денегъ стоитъ. Тутъ ужъ она и закружилась: и газетчики, и дилектора, и...

И приходитъ къ намъ человѣкъ, шустрый такой, а глаза хи-трые, какъ у вора. Говорила она ему, а онъ все кланялся. Я еще ей сказала: неприятный какой, на жулика похожъ. А это, барыня, сы-щикъ былъ, — въ Америкѣ ужъ узнала, — изъ воротской конторы, про Васеньку дознавался. Все она и знала. Это кто-нибудь ужъ научилъ, звѣзда, можетъ, какая. Онъ тоже, звѣзды-то, ухъ, какія прожженныя. Потомъ она и проговорила мнѣ: въ Америку давно уѣхалъ, Васенька нашъ... на инженера иликтрическаго учиться. Вотъ ей въ Парижъ-то и не особо хотѣлось... — такую она неприятность получила! А вотъ, до-скажу. Ужъ она все отъ сыщика узнала: изъ банка ушелъ — деньги каки-то папашенькины разыскалъ, машины они покупали въ Англіи, для углю... онъ и уѣхалъ доучиваться.

Какъ-то и говоритъ мнѣ, смѣется: «собаку во снѣ не видѣла? другъ придетъ», — упомянула мою прикѣту. — «Гартъ нашъ завтра прѣѣзжаетъ, рада?» Говорю — хо-рошему человѣку всегда рада. Ну, прѣехалъ, сталъ навѣ-

шать. Последніе онъ деньки догуливалъ, въ далекую ему службу ѣхать. Все въ театры съ ней ѣздилъ, прогуливалъ ее. Только пріѣхалъ, — дилекторъ американскій къ намъ, знакомый Гартовъ, — бумагу и подписали, въ Америку съматься, на другой годъ. И вотъ, что еще случилось.

Масляница была: Катичка гостей назвала, въ отель. А мнѣ изъ нашего ресторана блинковъ принесли, съ икоркой. Поѣла блинковъ, чайку съ апельсинчикомъ напилась, — прилегла. Катичка и входитъ съ Гартомъ, вся воздушная, въ жемчугахъ. А ей изъ юлирнаго магазина, несмѣтной цѣны жемчугъ принесли, американскій богачъ купилъ, изъ уваженія... на мигалкахъ ее видаль... въ три петли жемчугъ! и карточка приколоня: «прошу въ гости, въ Америку ко мнѣ». Самый идолъ и былъ, говорила-то и вамъ, вонъ когда еще ее углядѣлъ, въ Пари-жѣ. Да вотъ, дойдетъ дѣло...

А я въ комнаткѣ прилегла, мнѣ въ зеркало и видать. Сѣли они въ салончикъ, иликтрической каминъ калился. Прилегла Катичка на качалкѣ, Гартъ ей подъ ножки скамеечку подсунулъ, а самъ не садится. А ей холодно, будто, накидочкой мѣховой закуталась. Онъ и сталъ урковать, а она пальчиками закрылась. Я и поняла, — къ сурьезному ужъ пошло. Поурковалъ ей, стоитъ — дожидается, какое ему рѣшеніе. Она вынула изъ сумочки зеркальце, бровки направила — поулыбалась... такъ и просіяла ему. Онъ даже назадъ подался. Протянула ему ручку, — будто къ иконкѣ приложился. И опять они внизъ пошли, пировать. Воротилась вскорости, что-то ей нездоровилось. Апельсиноваго морсу выпила, и говоритъ: «Гартъ опять предложеніе мнѣ сдѣлалъ, только не приставай, голова у меня болитъ». Не стала ей докучать. Что жъ, думаю, двадцать пятый годокъ пошелъ, самая пора замужъ, перестарка кому нужна. Да только... — подумала, — онъ хоть и складный такой мущина, а годковъ ужъ подъ пятьдесятъ, что тамъ ни говори, ужъ съ надсадомъ. Легла она, кашлять стала, знобить ее... зелѣла иликтрической кругъ.

засвѣтитъ, ножки погрѣть. Ра-но встала, кофю пустого выпила. Я ей — куда ты, куда? — все она покашливала. Ни слова не сказала, укатила. Къ обѣду воротилась — прямо въ постель. И чѣмъ-то, вижу, разстроена. Щечки горять, жаръ сильный. Велѣда за докторомъ послать, — профессора нашего, знаменитаго, старичка. Приѣхалъ, а у ней со-рокъ градусовъ! Горчишники велѣлъ. А онъ простой, ласковый, все ей такъ: «вотъ, сударыня моя, напрыгали себѣ простудку, а болѣть нечѣмъ, тѣльца-то совсѣмъ и нѣту!» А она голодомъ себя морила, нельзя имъ располнѣть, звѣздамъ, а то и жалованье убавяетъ. На волоскѣ отъ смерти была, — воспаленіе оборвалъ, знаменитый-то. А наслѣдство у ней плохое, всѣ графы ихніе отъ чаотки поми-рала. Консилимы были! — выходили. На третью ночь, слышу, — бредить начала: «святоша, монашка горбатая... змѣя злая... ложь все... гдѣ письмо?..» Въ Америкѣ ужъ она мнѣ покаялась — у католички была. Та ее приняла — нельзя лучше. А про письмо сказала — нѣтъ письма, брату отослала. Ничего отъ нее не добилась Катичка, — живой камень, самая изуетка-змѣя. Понятно, не надо было ѣздить. Это ее болѣзнь погнала, не собралась.

Стала поправляться — велѣли ей на тепло ѣхать. Мы и поѣхали въ Ницы, и Гартъ съ нами. А ему послѣдніе сроки подошли, на службу ѣхать. Пожили мы съ мѣсяцъ на теплѣ, онъ и уговорилъ въ Эн-дію съ нимъ поѣхать, на морѣ отдохнуть полезно: хотѣлъ приучить къ себѣ. Мы и поѣхали на большомъ кораблѣ, до лѣта, — къ нѣмцамъ она порядилась, послѣ-то.

ЛП.

И повидали мы, барыня, чудесовъ! Кругомъ свѣта поѣхали, въ Эн-дію и попали. И все Гартъ намъ показывалъ, а съ нимъ стра-жа, въ бѣлыхъ шапкахъ, красавцы все, — а безъ стражи никакъ нельзя: на каждомъ шагу разбой-

ники-людоѣды, а то тигры, а то змѣи... самое змѣиное тамъ мѣсто. Мы такую змѣю, барыня, видали... не больше пальца, сѣренькая, головка съ ноготокъ, ну — злющая! Ее солдатъ сапогомъ убилъ, а то бы въ пять минутъ Катичкѣ смерть была: совсѣмъ подобралась къ ней. Глядѣли послѣ — не на что глядѣть, а вредная. По горамъ ѣздили, по лѣсамъ... и на носилкахъ носили насъ, тамошніе дикіе люди-людоѣды, — голые все тамъ ходятъ, а тутъ обвязочка, для стыда. Ну, только имъ хорошіе харчи идутъ, они и обошлись, человекъ не трогаютъ. И на качалкахъ катали насъ, людоѣды тѣ, замѣсто лошадей приучены... и меня катали! У насъ пятна-дцать душъ прислуги было, а у Гарта... тыща прислугъ, вонъ какъ. Тамъ казенные англичаны, чисто цари, у людоѣдовъ-то. Два людоѣда зонты надъ нами качали, вѣтеръ дѣлали, для прохладенія жары... ноги тонкія, чисто шоколатныя, головы въ простынь. А то еще змѣиный лакей былъ, всякую змѣю зналъ, какъ обойтись. Спать ложиться — онъ всѣ комнаты обойдетъ, и у него порошки курильные, духомъ ихъ выгоняетъ... а то на дудочкѣ подудить, она и выльзаетъ, на музыку погулять, — онъ ее цопъ щипцами, въ жаровню прямо, — такъ зло-то и зашипи-ить. Тамъ это дѣло стро-го, а то бы отъ нихъ и житья не стало. Пять верховыхъ лошадокъ было для Катички... и съ ней еще барышни-мисы были, дочки казенныхъ англичановъ, вотъ овѣ и гуляли вмѣстѣ.

Еще-то чего видали? Ихнія церкви видали, въ дремучемъ лѣсу, выше нашихъ. А лѣ-стницы тамъ... каменные, конца нѣтъ. А внутрѣ ихній богъ сидитъ, на пупокъ себѣ глядитъ, а ему цвѣточки кладутъ. А еще чего замѣчательно... — тамъ такъ не молятся, а столбы крутятъ-трудятся, кто больше накрутитъ. Каждый, вѣдь, по-своему молится, какъ умѣетъ. И еще мы обезьяновъ видали. Остановились ночевать въ пустомъ мѣстѣ, навѣсъ стоялъ. Кроваги намъ разложили, огни зажгли, а кругомъ стра-жа... мѣста тамъ строгія, не дай Богъ. А эти обезьяны, свадьбу,

что ли, справляли... — говорили тамъ знающіе, — набралось ихъ на деревьяхъ... крикъ, визгъ, будто нечистая сила поднялась. А подалѣе тигры ходили, за ними трафились. И слоны тамъ дикіе водятся. То городскіе, ушныя слоны есть, бревна таскаютъ, а та дикіе слоны. Ничего и они, ихъ только не тревожить. И огневныя мухи еще, чисто искры сигають! Пожара я все боялась, ночевали-то мы... — сигають и сигають, спалятъ! Только глаза завела — баць! — а это солдатъ въ обезьяну выпалилъ. Въ руку ей поранилъ, мы и кровь видали на коврикъ... — она на дерево! Съ хорошую собаку будетъ. А это какъ мы еще за ужиномъ сидѣли, она, стерва, на суку сидѣла, на Катичку глядѣла, цвѣткомъ въ нее попала. Всѣ смѣялись — пондравилась Катичка обезьянамъ. И забыли про нее. Уснули, она и забралась подъ навѣсъ, да съ но-жомъ! Зарѣзать, значитъ, хотѣла Катичку, бываетъ у нихъ тамъ. Какъ же, и ножъ нашли, въ крови, у коврика, истинный Богъ. Снизу ее иликтрическимъ фонаремъ какъ освѣтили, она выше запрыгала. Всю ночь не спали. Тамъ, говорятъ, обезьяны къ себѣ уносятъ, въ супру-ги, вонъ какъ!

А то еще... покойницкая рѣка тамъ, покойниковъ по ней возятъ, такой законъ: на бережку сожгутъ, а пепель на воду пустятъ. Вотъ царицу ихнюю и жгли. На высокихъ дровахъ она лежала — горѣла. И монахи въ трубы надъ ней трубили, вѣра у нихъ такая. А еще, забыла вамъ сказать... Одинъ ихній людодѣдъ въ лавочкѣ торговалъ. Какъ идешь — онъ руку на животъ положить, и мнѣ поклонъ. Пряникъ мнѣ подарилъ. Есть и изъ людодѣдовъ хорошіе, и одѣжи не имѣютъ, а... вонъ тотъ, морской, въ тесемкахъ, говорила-то намъ, за шиворотъ меня. Хуже обезьяновъ — образъ божій кто потерялъ. Два мѣсяца выжили тамъ. Бхатъ намъ, Гартъ заду-мчивый все ходилъ, скучалъ. Ну, она въ Америку его пригласила, черезъ годъ. Тамъ, говорить, дѣло и порѣшится. Съ музыкой насъ провожали, Катичку на умнаго слона посадили, въ часо-венку вродѣ, — какъ царевна лежала тамъ, въ золотыхъ

туфелькахъ, вся бѣленькая. А меня голоногіе на себѣ помчали. Ну, сонъ и сонъ. А мнѣ какъ-то, правду сказать, стыдно было: столько онъ для нее старался, а по его не вышло. Намекнула ей, а она мнѣ: «да онъ и такъ счастливый, два мѣсяца живую меня видѣлъ, а не на картинкахъ».

ЛІІІ.

Опять мы въ Парижъ пріѣхали. Ну, въ мои ли годы мотаться такъ! Хожу по комнатѣ — и качаюсь, на кораблѣ все ѣду. А она къ Кислой надумалась, не сидится: хочю тебя Кислой показать. А чего меня казать, — давно, небось, и забыла. — «Она тебѣ обрадуется... улитка наша къ ней приползла!» — «Какая-токая улитка?» Тутъ она и сказала: Кислая такъ прозвала меня — улитка. Вонъ съ кого она переняла-то, говорила-то я вамъ — все она меня улиткой обижала. А душа у ней добрая была, у Кислой нашей.

Ну, повезла меня, а она въ деревнѣ живетъ. Пріѣзжаемъ... полонъ-то дворъ собакъ, чуть насъ не разорвали. Не узнала я ее: и прежде костлявая была, а тутъ — однито зубы. Заплакали онѣ обѣи, и я заплакала: вспомнила, въ покоѣ-то какомъ мы жили. Недѣлку погостили, все онѣ не могли наговориться. А я съ мамашей ее сидѣла, вязала. Ее паларичъ разбилъ, виблию все читала. Скажеть чего, а я подакаю. Ужъ такъ хорошо, покойно, ни шуму, ни гаму... поглядишь въ окошечко — гуси по лугу гуляютъ, индюшечки. Чайкомъ меня поила, съ брусничнымъ вареньицемъ... душу я отвела. И угощали хорошо: и ветчина у нихъ своя, и индюшку намъ жарили, съ брусничнымъ вареньемъ, вотъ какіе кусищи клади. Такъ живуть, — позавидуешь, дочего же хозяйственно. Къ іюлю, пожалуй, были, а ужъ другой покось тамъ. За всѣ годы радости такой не было. На снѣгъ, на солнышкѣ, задремала, а теленокъ и подошелъ, подоль мнѣ жуеть! Такъ и запла-

кала, захватила его мордушку, поцѣловала... и пахнетъ такъ же, какъ нашъ.

А тамъ мы къ нѣмцамъ поѣхали. Въ хорошемъ пансіонѣ жили, у старушки. Тамъ я и отдохнула. Тихая у нихъ жизнь, и по-нашему готовятъ... — и пироги, и куличи, и гусь съ яблоками, съ капустой, и огурчики у нихъ. На Рождество Катичка на горы уѣхала, зиму глядѣть, а мы съ нѣмкой елочку убирали, развлекала она меня. И тамъ Катичку почитали, ихніе студенты ночью подь окошкомъ пѣли, а она имъ цвѣточковъ бросила. И портреты ее печатали: она лихую женщину представляла, всѣхъ мушницъ разоряла, и генераль ей бумаги украсть казенныя и застрѣлился. Видала я, — въ ванной она сидитъ, а генераль въ окошко бумагу ей даетъ. Отличали-то за что? Да за манеры... и глаза такіе у ней. Тамъ все глазами надо показывать. А она, дѣвочкой еще была, глазками красовалась все. Раньше за это за косы трепали, а нонче вонь деньги платятъ. Пожили у нѣмцевъ — въ Америку надо ѣхать, бумага у ней подписана. Ужъ такъ не желалось мнѣ, а нельзя Катичку оставить. А попросись — она бы, можетъ, меня оставила.

LIV.

Семеро мы сутокъ плыли, — помру, думала. Всю меня истошнило, ни крошечки въ ротъ не брала, лимончикъ сосала только. Стали къ Америкѣ подходить, говорятъ — глядите Америку! А не на что и глядѣть: дымъ и дымъ. Къ землѣ не подплыли, а къ намъ ужъ ихніе люди влѣзли, съ лодокъ, записываютъ-кричатъ, — прямо, собачья свора. И карточки щелкають, и... Одинъ шустрый присталъ, по-нашему меня спрашиваетъ, — исхитрился! — ндравится ли Америка. Ничего, говорю, не ндравится, дымъ одинъ. Заскалился. И про года спросилъ, все ему надо знать. Высадили насъ, дилехторъ цвѣты поднесъ. И

все-то щелкаютъ! Ужъ не помню, какъ посадили въ автомобиль... однѣ стѣны, неба не видать, свистить-гремятъ, — адъ чистый. Какъ меня подняли, какъ я въ номеръ попала, — и не помню. Катичка мнѣ — «гляди, куда попали!» Глянула я въ окошко — земли не видать, каки-то башни, и все окошечки, — на двадца-тый этажъ взвились! А ужъ къ намъ человѣкъ стучится: «я, говорить, вашъ землякъ, русской, всякое порученіе могу, извольте карточку». Самый и былъ Абрашка, тульской нашъ. — «Я, говорить, изъ Тулы, звоните мнѣ въ телефоны». Ужъ такъ-то пригодился..! Подумать, барыня: хавось такой, голову потеряешь, какъ сумашедчіе всѣ, а тутъ свой человѣкъ, и все-то знаетъ. Три-дни покою намъ не давали, газетчики. Такъ ужъ тамъ заведѣно: на свѣжаго человѣка накидываются, чисто клопы на постояльца. А это дилехтора ихъ насылали, мигалки-то изготовляютъ. Все они разужнали, не успѣли мы оглядѣться — намъ ужъ газеты подали. И ужъ Катичка тамъ во всю газету, и меня пропечатали, узнать нельзя, и дача наша въ Крыму... — про все прописно. А про меня наплели — девяно-сто мнѣ годовъ, и при Катичкѣ неотлучно. Чего узнали — все-то вывернули, антересу чтобы больше.

Да, забыла я сказать. Только пріѣхали, она ужъ и разстроилась. Въ газетахъ было про насъ: пріѣзжаемъ, молъ, — а Васенька и не встрѣтилъ. Прямо-то она не сказала, а я поняла. А жизнь тамъ такая оглашенная, одуматься не даютъ. И въ телефоны, и народъ всякій, и шмыгалы... Какой съ ней бумагу писалъ — Слонь, по фамиліи. Вѣрно, барыня, Слонь, и Катичка смѣялась, и похожъ на слона, толстый-толстый, — нарядный обѣдъ устроилъ, богачамъ ее показать, въ газетахъ чтобы печатали. Такое, говорить, было... — въ сказкахъ только. Во льду они пировали, а холоду не было, устроено такъ хитро... и во льду огни, и цвѣты, и она изъ лёду вышла, ледяная царица будто. И всѣ богачи были, и короли ихніе, невзаправдашные, а... то желѣзный король, а то карасиновый, весь ка-

расинь забралъ, и спичкинъ-король... по торговой части, американскіе короли. Она всѣхъ и завоевала. Одинъ такъ и не отходилъ, сто у него газетъ, и всѣ его бояся: всякаго можетъ загубить, плохое пропечатаетъ. А лядящій вовсе старикъ, — увидалъ лядяную-то ее, глазъ съ нее не сводилъ, даже непріятно стало. И что сказала, подхалима! — «Вы небесная звѣзда, ослѣпили насъ!» Такое богатство, говорить, — съ ума сойдешь. А она ужъ всего видала, — значить, въ самый мы въ адъ допали, въ золотое царство. Повидала я... Го-споди! золотомъ у всѣхъ тамъ глаза завѣшаны, только его и видятъ. Папаша Абрашкинъ, Соломонъ Григорьичъ, все такъ вотъ говорилъ: — «Это не въ Тулѣ у насъ. Я небогатый былъ, а меня почитали, а тутъ мнѣ грошъ цѣна, тутъ по капиталу почитаютъ». Абраша вотъ все и хлопоталъ, капиталы нажить. И пакеты клеилъ, и порошокъ какой-то отъ поту стряпать, на лавочки, и при насъ крутился, а ни колѣчки съ Катички не бралъ. Она скажетъ, а онъ смѣется: «не безпокойтесь, я на васъ денежки зашибу!» У-у, такой-то оборотистый... въ короли, говорить, достигну.

LV.

Катичку, прямо, замотали. А тотъ, лядящій, въ театры билеты все присылалъ. А обидѣть нельзя, можетъ загубить: пропечатаетъ во всѣхъ вѣдомостяхъ — плохая, молъ, звѣзда стала! Да глупости нашѣпчиваетъ, Катичка опасаться стала. А онъ, говорятъ, ни одной звѣзды не пропустилъ! Уберегъ Господь, нахаричъ его стукнулъ, ноги и отнялись. Чего-чего не наслушалась я тамъ, Абрашка всѣ тамъ дырки облазилъ, и все ему извѣстно: эти звѣзды... содержантовъ-богачей имѣютъ, и съ дилехторами путаются, для славы... — вотъ куда моя Катичка попала. Чѣ кругомъ ячѣ эти страшенныя, — во снѣ-то мнѣ, раки-то, вотъ-вотъ занатаютъ.

Про Васеньку? Нѣтъ, думала она. Нашла у ней подъ подушкой сафьяновый складничекъ, а тамъ карточка его, въ Севастополѣ еще сымался, и незабудочки засушены, вѣнчкомъ такъ. А ночью, слышу, чего-то плачетъ. А я знаю: горько ей, что не встрѣтилъ насъ. Спросила ее, тихая она сидѣла, — «Васенька-то тоже въ Америкѣ?» Насупилась на меня, срыву такъ: «не плачь, ему хорошо живется, анженеръ онъ». А онъ по этимъ вотъ, поють-то безо всего... вотъ-вотъ, радin. И у него, будто, ламбалоторія, ланпочки все съѣдить, и большое ему жалованье идетъ. Ну, все-то знала, сыщикъ ей разыскалъ.

Заходить къ намъ Абраша, а ее дома не было. И человекъ съ собой привелъ. Сталъ просить — допустите человекъ съ вами поговорить, ему надо рубликъ заработать. Вы, говоритъ, много повидали, скажите чего-нибудь страшнаго, онъ будетъ рассказывать для скуки, а ему за это рубликъ дадутъ. Пожалѣла я человекъ. Ну, сказала, какъ грабили насъ въ Крыму, про Якова Матвѣича, скрючило его какъ... кой-чего набрала. И про Васеньку, какъ насъ спасъ. Онъ, говорю, въ ламбалоторіи тутъ служить, анженеръ онъ... про насъ, должно, не знаетъ, а то бы безпремѣнно насъ разыскалъ. Они мнѣ — мы его вамъ разыщемъ! Стали кричать: «онъ звѣзду спасъ! мы тутъ много рубликовъ зашибемъ... фамиліе какъ ему, чѣмъ занимается?» Сказала, чего знала. Да пришло въ голову, сказала: онъ бы мнѣ такъ обрадовался, няня изъ Москвы, моль... повидаться желаетъ. Они мнѣ — обязательно мы его разыщемъ. А Катичкѣ я ни слова, супризь будетъ. Дня не прошло, читаетъ она газету — смѣется, слышу. А намъ всѣ газеты подавали, чуть гдѣ про насъ. И говоритъ мнѣ, изъ газеты. А тамъ про все: и какъ садовника скрючило, а Катичка-звѣзда ходила за нимъ, на рукахъ у ней померъ... подумали такъ. И какъ буу матросы у меня ввали, и про полковника Коврова... анженеръ, тамъ-то служить... и какъ отъ злодѣевъ спасъ... и такъ обрадовался — няня его изъ Москвы приѣхала, сироту воспитала... —

наплели! А онъ дѣловой, газетъ не выдалъ, въ ламбалоторіи сидитъ только, ланпочки разыскиваетъ... и говоритъ, такую ланпочку разыскалъ — безо всего поетъ! Катичка строго мнѣ: «откуда это? ты наболтала-наплела?» Сказала ей — человѣка пожалѣла, а они наплели бо-звать чего. А тутъ Абраша съ тѣмъ человѣкомъ къ намъ, газеты принесли. Говорятъ — такъ всѣ интересуются, нѣтъ ли еще чего... тутъ про страшное очень любятъ. И у Слона побывали, и онъ доволенъ, — шумите какъ можно больше, — сказалъ. Чего-нибудь и съ него сорвали, — газетчики, ужъ извѣстно. Ничего Катичка, не серчала. Я имъ и про татарина сказала, мѣсяцу молится, какъ насъ спасалъ... и про обезьяну, ножикомъ насъ запоротъ хотѣла, и какъ Катичка тигру покорила, — такъ-то довольны были! А вечеромъ — телеграмма намъ, отъ Васеньки, — можно зайти провѣдать? Велѣла Катичка лакею позвонить: въ воскресенье, молъ, вечеромъ.

Воскресенье пришло, простенько такъ одѣлась, велѣла чаю подать, сухариковъ, а сама уходитъ. Я ей — куда ты, куда ты, — а она мнѣ: «онъ тебѣ обрадовался, няня изъ Москвы пріѣхала, вотъ и поговорите», — смѣшкомъ такъ, — «а я успѣю». Опять за свое. Сижу, жду гостя. А квартира у насъ богатая, салоны, цвѣты, портреты ее наставлены... Приходитъ Васенька, не узнала я его. Усы сбиты, въ пенснѣхъ, франтъ такой, и не военный ужъ, а какъ всякій хорошій господинъ. Сразу меня узналъ:

— «Ня-ня... милая, какъ я радъ... и вы въ Америкѣ очутились!..»

Поцѣловались съ нимъ, родные будто. И все, говоритъ, вы прежняя, въ платочкѣ, моды не признаете... — пошутить. Оглядываетъ салоны, а ее нѣтъ и нѣтъ. Говорю — сейчасъ должна быть. Ну, поговорили мы... Ихъ коннанія, говоритъ, заводъ у французовъ ставить, и его, пожалуй, пошлютъ съ дилекторомъ, къ лѣту, можетъ, уѣхать. Все на часы заглядывалъ. А ее нѣтъ и нѣтъ.

Арагъ намъ чай принесъ на подносахъ... охъ, не любила я ихъ, съ глазу на глазъ боялась оставаться. Чисто собачка грязная. По чашечкѣ выпили, она и входитъ.

— «А, здравствуйте... повидались съ няничкой?..» — такъ это, запыхалась.

А онъ такъ вытянулся, сразу видно — военный онъ офицеръ. А я и вышла, а сама слушаю. Доложился ей — такъ и такъ, въ Америкѣ живеть, газетъ не читаетъ, дѣла все. Ну, чай пили, разговаривали, какъ кавалеръ съ барышней говорятъ. Часикъ посидѣлъ, просилъ дозволенія навѣщать. Дозволила ему: приходите, только скоро съматься ѣдетъ. А тутъ къ намъ идошь и прицѣпился.

LVI.

Самый тотъ, въ Парижѣ жемчугъ ей подарилъ. Сталь цвѣты присылать, во дворецъ къ себѣ приглашать. И къ намъ заѣдетъ, и... И Слонь что-то зачистилъ, дилехторъ. Пріѣхала я изъ церкви разъ, Абраша меня на автомобилѣ отвозилъ, гляжу — Слонь у насъ горячится, бумагой трепить. А это сбивать стали Катичку, идошь тотъ, отъ Слона отказаться. Новаго дилехтора привезъ. А онъ несмѣтный богачъ, всѣхъ можетъ загубить. Сидятъ они, Абраша и прибѣгаетъ, Катичка его куда-то посылала, — изъ прихожей и увидать, идола-то. Такъ и ужахнулся. Спрашиваетъ меня: да неужто онъ вамъ знакомъ? А какъ же, говорю, не знакомъ: вонъ сидитъ — трубку сосетъ. Онъ даже за голову схватился. — «Это такой человѣкъ, такой человѣкъ... на всю Америку двое только такихъ, половина всѣхъ денегъ у него!» И Слонь прибѣжалъ, все они бумага на столѣ трепали. Абраша и говоритъ: «захочеть Шалашъ...» — фамиліе его такая — Шалашъ-Шалашъ..? — «отъ Слона только перья полетятъ». И сбили Катичку. Шалашъ большой штрафъ Слону заплатилъ, а на своемъ поставилъ. И сталь къ намъ бывать, будто свой человѣкъ

сталь. Охъ, не любила я его, — бугай страшный. Морда бурая, кирпичомъ, а зубы не золотые, а желѣзные буд-то, темные. А она ни чуточки не боится, такъ все: сумочку подайте, перчатки подержите! И вотъ какіе партреты ее въ газетахъ печатать стали, царей такъ только печатаютъ. Скажешь — «глядить на тебя нехорошо, зубами жуешь... плохая примѣта, какъ человѣкъ все жуешь». А она — «надоѣла, отвяжись... тутъ всѣ жуютъ». Своеволка такая стала, издергалась, такъ вотъ и рветъ, и мечетъ, и что такое съ ней — не пойму. Двадцать шестой пошелъ, а судьбы нѣтъ и нѣтъ. И всѣ на нее глаза пялютъ, а идолъ — такъ вотъ и хочетъ съѣсть. Ну, подписала новую бумагу, и ей еще два мѣсяца отдыхать. А Васенька къ намъ и къ намъ, старое поднялось. А тутъ Шалашъ приглашаетъ-заѣзжаетъ, знакомство большое стало, временемъ ужъ и не собрался. Скажетъ Васенькѣ зайти, а ее дома нѣтъ. И у него время занятое, ему и горько. И такой тоже беспокойный сталь, сурьезный. Спросила какъ-то — нездоровится, можетъ? — «Да такъ, говорить, съ войны, въ голову вступаетъ». А онъ откровенный со мной-то былъ... —

— «Ахъ, няня-няня... лучше бы мнѣ не видать Катерину Костининову, спокойнѣй. Все, будто, кончилось, а вотъ...» — губы закусила, гру-устный сталь.

Ушелъ, съ недѣлю не приходилъ. Она его въ телефоны возволила:

— «Вы что, обидѣлись... перепутала я? Меня на части рвутъ, ничего не могу подѣлать. Приходите проститься, скоро я улетаю».

Ну, пришелъ. Ничего, ласковая была.

— «Хочу съ Салашомъ васъ познакомить, слышали о немъ?»

— «Какъ не слышать, хамъ извѣстный», — Васенька-то ей.

Она ихъ и свела у себя, въ гостяхъ. А послѣ и говорить:

— «Пондравились вы Шалашу. Хотите, на первый за-
водъ васъ опредѣлить?»

— «Не хочу, говорить, я ужъ опредѣлилъ себя».

— «А-а, го-р-дый вы!» — посмѣялась, любила его драж-
нить.

А то вызвала какъ-то, — «приходите, что-то мнѣ не-
здоровится». Пришелъ, хорошихъ конфетъ принесъ, лю-
бимыхъ ее, трюхельковъ... а она на балъ собирается, мо-
дистка ее убираетъ. Съелъ, коробку на столикъ положилъ.
Выбѣгла она, плечики голыя, платье серебряное, камуш-
ки горять, — такъ и обомлѣлъ. А она ему, удивилась
будто: «а вѣдь я спутала, на балъ мнѣ надо! или вы спу-
тали?» — «Я — говорить — никогда не путаю», — оби-
дѣлся. Ну, ласковая стала... — «простите, переодѣньтесь-
поѣзжайте, будете моимъ кавалеромъ на балу!» Помялся
онъ, — «извольте, — говорить, — ежели вамъ пріятно...»
Велѣла ему прямо на балъ ѣхать, а за ней кто-то объ-
щаль заѣхать. Онъ, прямо, отшатнулся даже. А тутъ
аравъ огромную коробку, чисто корыто, конфетъ при-
несъ, и ландышки, въ серебряномъ кувшинѣ. А это отъ
Шалаша, онъ каждый день присылалъ гостинцы. Расте-
рялся Васенька — и коробочку свою взялъ, пошелъ. А
идоль ему навстрѣчу, въ прихожей они столкнулись,
другъ дружкѣ помычали. Провожаю Васеньку, а онъ мнѣ
коробочку даетъ: «вамъ, няня». Сказала я послѣ Катич-
кѣ, на другой день, — она, словно, разстроилась, закуси-
ла губку. Въ телефоны ему: «чего на балъ не пріѣхали?»
а я васъ ждала, обѣщали! придите, мнѣ надо вамъ ска-
зать что-то». Пришелъ. Только вошелъ — она ему... кри-
комъ, прямо!

— «Вы что, на это корыто обидѣлись?!» — на Шала-
шову коробицу, — «трюхельки мнѣ принесли... сладко-
ѣжкѣ отдали?!» — и губка у ней дрожить. — «Говори-
те!»

Ну, покаядся онъ, сказалъ — смутило что-то. Она на
него кричать!

— «Корыто васъ смутить можетъ?! Вотъ какъ! Дай, нянь, трюхельки, а тебѣ Шалашовы!»

Онъ и слова не могъ сказать. Да много она такъ съ нимъ, крутила: то притянетъ, то швырнетъ. А то, велѣла ему въ театры притти, а сама на еропланахъ улетѣла, дилехторъ ее повезъ поглядѣть чего-то. Черезъ три-дни вернулась. А онъ ее въ театрахъ не нашель, къ намъ пришелъ. Говоритъ — улетѣла, велѣлъ дилехторъ. А онъ все голову потиралъ. Сказалъ такъ: «надо все это кончить!» Сказала я ему — «и она сама не своя, разстроена...» — а онъ мнѣ прямо, начистоту:

— «Засѣла въ нее заноза, ничего не поможетъ. Прощайте, милая няня, мнѣ здѣсь не надо бывать... я ей все напишу».

Я его уговаривать, — нѣтъ, ушелъ. Вернулась она, я ей и сказала. Она въ телефоны: «ошибка вышла, придите!» Ну, пришелъ — блѣдный, глаза нехорошіе такіе... Она ему — «вы сами напутали!» Онъ голову потеръ, смотритъ, и голосъ у него не свой: — «я, говорить, не пойму... что напутали?» Она его растерехой назвала, вывернулась: «на той недѣлѣ, говорить, велѣла притти въ театры, а вы вонъ какъ!»

— «Чего вы такой разсѣянный, а? влюблены въ кого?..»

Онъ даже и не поглядѣлъ на нее, отворотился: «не влюбленъ», говорить.

— «Очень рада, — говорить, — можете уходить, у меня голова съ ероплановъ кружится, хочу прилечь».

Ну, ушелъ. А утромъ письмо прислалъ. Прочитала она — разстроилась. Сѣла сама писать, все рвала. Въ спальную заперлась, такъ и не написала. Три-дни не звонилась въ телефоны. Я ей и сказала все, какъ онъ говорилъ, про занозу. Она мнѣ — «не лѣзь не въ свое дѣло!» Обидно мнѣ стало, накричала я на нее:

— «Какъ такъ, не мои дѣла? Всю жизнь съ тобой мыкаюсь, по свѣту меня таскаешь, а — не мои дѣла!..»

Не желѣзная я, всамдѣлѣ, всякое терпѣнье лопнетъ. Не повѣрите, барыня; я и про Рождество забыла. Ихнее Рождество, наше Рождество... — голова вся запуталась. И въ церквѣ не была, чисто я бусурманка. Пять день прошло, писала все — рвала. А тутъ дилехторъ прѣѣхалъ. Велѣла сказать — больна. Сидитъ — кутается въ мѣхъ, одинъ носъ видать. Въ телефоны звонять! Вскочила... а это дилехторъ: завтра на службу летѣтъ, въ мигалки. Она ему — больна я. А у нихъ строгій штрафъ, чуть что. Шалашъ прикатилъ, сталь гавкать; она на него какъ крикнетъ, онъ головой боднулъ — уѣхалъ. На другой день они двое прикатили, — не приняла. Отсрочку ей дали, изъ уваженія. А то бумагу грозилась разорвать, это ужъ потомъ узналось, Абраша миѣ рассказалъ. Онъ тутъ тоже сколько мотался съ нами. А ей четы-ре дилехтора бумагу подписывать давали!

Уѣхали они, она сразу за телефоны, чисто ее укусило что. На кресла упала — побѣлѣла. Я — Катичка, Катичка... — она не дышитъ! И дома никого. Выбѣгла я на лѣстницу, а человекъ бѣжитъ сверху, перо на ухѣ, конторщикъ. Кричу ему, а онъ не слушаетъ. Я его за руку, и потащила къ намъ, а онъ вырваться сталь, напугался. Все-таки я его втащила, показала на Катичку. Побѣжалъ доктора позвать. А тамъ ихъ, на каждой лѣстницѣ, какъ собакъ. До доктора еще она обошлась. Тутъ и началось страшное. А вотъ...

LVII.

А это Васенька заболѣлъ, ей въ телефоны сказали. За руку меня схватила, дрожить, зубами стучить... — «няничка, ѣдемъ... опасно боленъ... проклятая я!»

Покатили мы за городъ. Подѣхали къ заводу, а насъ не пропускаютъ. Она кричать..! Велѣли пропустить. А его ужъ въ больницу свезли, дилехтора. Мы въ больницу, въ другомъ концѣ, сады гдѣ... — его въ мозговую

больницу положили, за голову-то онъ все хватаяся. Да, на фабрику еще намъ сказали: «онъ для насъ нужный слуга, мы его на хорошее леченіе послали». Ну, въ конторѣ намъ отыскали мѣсто: въ саду, флигелекъ, дача будто, въ елкахъ, мѣсто самое тихое, бѣлая вся больница. Вышла смотрительша, записала нашу фамилію, — «я, говоритъ, васъ очень хорошо знаю... только наврядъ васъ докторъ допустить, опасно боленъ». Пришелъ докторъ, тоже все чего-то жуесть... какъ вскинется на насъ, строгой очень: «ни-какъ, безъ памяти лежитъ инженеръ, я за него отвѣчу компаніи! у него воспаление мозговъ, сотрясеніе отъ войны, не могу допустить!» Закричала на него Катичка — «взглянуть хоть дайте!» — въ разстройствѣ такомъ, по-нашему ему крикнула, а онъ не понимаетъ, выпучился на насъ. Ну, сказали мы ему по-ихнему, — дозволилъ. Повели насъ. Чистота, сестрицы-синаторки, бѣленькія, хорошенькія всѣ, туфли велѣли мягкія, не шумѣтъ. Привели въ палату, а тамъ тѣмно, — въ темноту его держали! — чу-тошный огонечекъ синий, будто тамъ упокойникъ лежитъ. А близко не допустили, а то испугать можно. Леченіе такое, американское, мозги вотъ когда горять. И ти-ишь.. подъ простынькой онъ, какъ упокойникъ, и на головѣ ледъ въ пузырьѣ, и сестрица неотлучно, за руку держать. Колѣны у него стойкомъ, только и видѣли. Третій день безъ памяти. Спросила Катичка доктора, а онъ рукой такъ, — ничего не могу сказать. Катичка такъ и закаменѣла. Обѣщали намъ позвонить, что — какъ. Тогда и въ соборъ ѣздили — молебень Скорбящей-Радости служили. Артистъ тотъ и прицѣпился, говорила-то я вамъ. Два дни все не звонили намъ, а мы знали, что хорошаго нѣтъ, Абраша намъ все справлялся. Приѣхали изъ собора, а насъ онъ и дожидается, руки потираесть: «радость вамъ, докторъ знакомый мнѣ въ больницѣ, самъ мнѣ сказалъ — инженеръ вашъ въ сображеніе пришелъ, черезъ два дни можно повидать!» Владычица-то услышала, просіяло намъ солнышко. И артистъ тутъ-какъ-тутъ: «это я

вамъ счастье принесть, позолотите ручку!» Дала ему Катичка на радостяхъ бумажку. А онъ —хи-и-трый, и говорить, грустно такъ: «что деньги, миліёны черезъ руки проходили, а одинъ пеполъ остался! мнѣ теперь деньги — что мертвому греку пивки ставить». А только давай. И къ Шалашу прицѣпился, все у Катички дознавалъ про Васеньку. Думатся мнѣ такъ, ужъ не нанялъ ли его идолъ слѣдить за нами. Да что, барыня, — благородный! Былъ благородный, а теперь чучель огородный, совѣсти-то нѣтъ.

Ну, доктору позвонили, а Абрашка напуталъ, — раньше недѣли нельзя, говорить, тревожить. А ей летѣть срокъ подходитъ, дилекторъ требуетъ. Шалашъ прикатилъ, серебряный самоваръ привезъ, по квартирѣ ходитъ, хозяйинъ будто. Гляжу — Катичку по плечу, — такъ это мнѣ не пондравилось. А Катичка — все про Васеньку въ телефоны. И идолъ, гляжу, тоже въ телефоны, хозяйинъ чисто. Сталъ кричать, а потомъ ощерился, и говорить Катичкѣ, — она мнѣ послѣ сказала: «я сейчасъ для васъ миліёнъ сдѣлала!» — самъ, будто, дѣлаетъ! А она ему такъ: «что мало? сто бы миліёновъ!» Сказала — по дѣлу нужно, и шмыгъ. Онъ выпучился на меня — не ждалъ, какъ она обошлась-то съ нимъ, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вамъ тутъ, лучше бы домой шли». Съѣсть меня хотѣлъ, прямо. Онъ ей вотъ какіе бриліанты прислалъ, при карточкѣ, солидный господинъ привозилъ, съ ихнимъ городовымъ, а то все тамъ жулики стерегутъ, какъ бы кого ограбить. Она и не приняла. Господинъ такъ ротъ и разинулъ. Шалашъ пріѣхалъ... — «почему отказали? жемчугъ мой приняли въ Парижѣ..?» — «А капризъ у меня такой, тутъ не Парижъ!» — вонъ какъ. Даже поклонился ей, шелковый совѣтъ сталъ. Артистъ тотъ все ей говорилъ — «вы изъ него золотыя веревки вить можете!» — извѣстно, въ карманъ заглядывалъ, шантрапа.

LVIII.

Позвонили намъ изъ больницы: можете прѣхать. Прѣехали мы. Его ужъ въ свѣтлую комнату положили, въ садъ окошки, воздухъ такой прѣятный, и цвѣты, и аквариумъ съ рыбками, совсѣмъ на больницу непохоже. Ужъ онъ въ подушкахъ сидитъ, лимонъ желтый. Винограду привезли, полезно ему. Сестрица намъ говорила — все война ему видѣлась, голову ему жгло, все кричалъ: «сорвите эту коробку!» — про голову. Обрадовался намъ, зубы още-рились, будто изъ гроба только. Ягодку взялъ — пососалъ. А руки — косточки какъ играютъ, видно. Заплакала я отъ жалости. Не до разговору ему, языкъ еще не налачился, съ губами не совладеетъ. Сказалъ мнѣ:

— «Знаете, няня... вы меня изъ огня вывели... за руку меня взяли, и воздухъ я услышалъ, кончился мой огонь, черный».

Ишь, черный огонь видѣлся ему! Велѣли намъ уходить. Катичка все за руку его держала. Сказала — «поправляйтесь, а завтра я на работу уѣзжаю». А это онъ во снѣ меня видалъ, изъ огня я его подняла, — молилась за него. Она еще у него была, безъ меня. Прѣехала, говорить: «на квартиру его перевезутъ, ты съ нимъ побудь». Ея воля, а я рада родному человѣку пособить. Только непривычна я при мужичиѣ-то, засомнѣвалась, угрожу-ли. Стали мы съ ней прощаться, все ей и отчитала:

— «Долго, говорю, у васъ мытарничанье это будетъ? Чуть до смерти не довела... онъ мнѣ сказалъ — кончить лучше».

Она на меня — что ты мелешь? А я, сердца не удержу, все ей и выложила:

— «Заноза въ тебѣ засѣла! Въ Москвѣ сама ему отдала, а если чего было, его воля. А онъ тебя любитъ».

— «Не ври! — она мнѣ. — Не отказывала я... какая

была, такая и осталась, романовъ не было... и хочу вѣрности!»

— «Сама, говорю, не знаешь, чего хочешь, сумасбродь ты. Письмо смѣртное тебѣ давалъ, не пожелаала читать, отъ гордости. Все онъ мнѣ печалился — зачѣмъ письмо не распечаталъ! Весь свѣтъ за занозу свою отдашь, а не покоришься. Всѣ вы гордые, самодоводы, образованные... И папочка съ мамочкой всю жизнь себя и другихъ терзали... все мы да мы, все передѣлаемъ по насъ! Вотъ и передѣлали, мызгаемъ... отъ гордости навертѣли. И ты, отъ гордости, человека не проникаешь. Ужъ у меня съ тобой силъ не хватаетъ, уѣду я отъ тебя!» — заплакала я, барыня, ужъ у меня жилочки здоровой не осталось. — «Всѣ вы ненастоящіе, — говорю, — подъ людей только притворяются, на себя радуются только. Самодоволка ты, уѣду отъ тебя, не могу!...»

Сердце тутъ у меня схватило. За докторомъ она, а я и себя не помню, по полу ерзаю. Докторъ-мальчишка прибѣжалъ, далъ каплевъ, а мнѣ хуже отъ каплевъ. Повезла она меня въ клинику, къ ихнему первому профессору, а тамъ за недѣлю прописаться надо. Дала секлетаршѣ сто рублей, насъ и допустили. Четверо меня глядѣли, хорошаго не сказали. Строгя капли велѣлъ, лежать въ постели. Сидѣлку мнѣ взяла. Абрашъ велѣла въ телефоны ей говорить, а сама улетѣла.

Въ голову тогда мнѣ: уѣхать надо! — дума такая одолѣла. Подумала — соскучится, приѣдетъ ко мнѣ скорѣй, а то будутъ канитель плестъ, да и Шалашъ пристаеетъ, въ кабалу ее заберетъ. И страшно стало: ну, помру я тутъ, въ страшной землѣ! Спать не сплю — надо ѣхать, лучше будетъ. А сидѣлка, сидитъ — зѣваеетъ, а деньги ей плати, и разговоры отъ нее нѣтъ. Абраша прибѣжить — хоть въ дурачки съ нимъ сыграемъ, поговоримъ. Полегчало маленько съ каплевъ, я и велѣла сидѣлкѣ уходить: плати ей два-двадцать пять рублей на день да еще харчи наши. А она не желаетъ уходить, присосалась: не вы меня нани-

мали! — Абраша мнѣ разсказалъ ее разговоръ. Онъ тогда за нее взялся, уломалъ, слава Богу, дали ей сто рублей — только отступись. И сталъ меня утѣшать:

— «И чего вамъ одной расхотѣлось тутъ, мамаша дорогая...» — все онъ меня такъ: мамаша дорогая... мать-то у него померла, — «къ намъ перебирайтесь, у насъ и воздухъ легкой, и въ садикѣ посидите, и папаша съ вами поговорить можетъ... а тутъ съ барышни дерьмя-деруть, а мы бы и щи варили вамъ...»

А тутъ Васеньку на квартиру перевезли. Абраша сундуки наши куда-то свезъ, а меня къ Васенькѣ перевезъ. Да недолго я пожила при немъ.

LIX.

Пріѣхала я, въ креслахъ ужъ онъ сидитъ. — «Вотъ, говорю, докторъ наказывалъ за вами походить...» — Катичка такъ сказать учила, — «все-таки свой человекъ, повеселѣй вамъ будетъ». Обрадовался: «спасибо доктору... очень радъ, милая няня, погостите у меня». Хорошую комнату мнѣ дали, теплую, и постель раскладную, изъ шкапа могла дѣлаться. Главный инженеръ зашелъ, на меня поинтересовался, за руку поздоровался. Недѣлку пожила — въ синаторію Васеньку послали, на поправку. Много-то мы съ нимъ не говорили, онъ больше свое думалъ. Разсказала ему про Гарта, какъ насъ возилъ. Онъ и сказалъ:

— «Катеринѣ Костининовнѣ не скучно теперь, много возлѣ нее народу».

— «Да крутится народъ, говорю, а какая была, такая и осталась, какъ хрусталекъ чистый... ягодка свѣженькая, безъ поминки».

Поулыбался даже, сощурился.

— «Люблю, говоритъ, васъ слушать, няня... говорите, говорите...»

Говорю — «надо бы ужъ какъ-нибудь разобраться вамъ, порѣшить, а то что хорошаго, чисто вы журавъ съ цаплей». А онъ мнѣ, какъ надъсь, сказалъ:

— «Нѣтъ, заноза засѣла, все она будетъ мучиться. Не захотѣла тогда прочитатъ, а теперъ поздно».

Съ языка у меня и сорвалось: «она и у той католички-змиѣ была, ничего только не добилась». Онъ словно и не повѣрилъ: «не можетъ этого быть, гордая она такая, и пошла къ такой..!» Да, говорю, больная была, въ жару. Такъ онъ разстроился, и я-то разстроилась — обезпокоила его. Ну, увезли его въ синаторію. Абраша къ себѣ перевезъ меня, и осталась я сиротой. Дали мнѣ комнатку-уголокъ, и старикъ мнѣ поцдравился, завѣтный такой, бороды по грудь, Соломонъ Григорьичъ. Такой развлека-тельный, все разговаривали съ нимъ. Кой-чего я ему сказала, довѣрилась. Все разобралъ, по ниточкѣ... у-мный старикъ: — «По всему вижу — лучше вамъ уѣхать въ Парижъ отсюда, Дарья Степановна». Подумала и про васъ — совѣта попрошу... вы эти дѣла лучше другого знаете, про романы. Старикъ только безпокойный, къ старшему сыну рвался, Абрашу все корилъ: «закону не соблюдаете, глядѣть на васъ — глаза слѣпнуть». А онъ стариннаго завѣту, правильный. По новому у нихъ все, -- старикъ и скучалъ. Четверо дѣтей, ихъ къ машинкѣ сажали, бумагу совать; пакеты они клеили. И невѣстка подлиживала, и старикъ помогаль, и меня для скуки обучили. И порошокъ потный сыпали мы въ коробки, а Абраша все по дѣламъ, тыщи дѣловъ у него. Да каку-то бумагу сталь покупать... биржи, что ли. Старикъ все ему: «пролетишь, Абрашка, съ этими биржами!» А Абрашка все Катичку просилъ: «дознайте у министра Шалаша, какую вамъ биржу купить, а про меня не поминайте». Шалашъ ей и говорилъ, доставить удовольствіе. Онъ и сталь въ деньги играть, шевровыя подсапожки мнѣ подарилъ! — «Вы для меня золотое дно, мамаша дорогая!» — такъ все. Ничего, спокойно жила. Машинка только стучала, да клей

они разводили, вонючій очень. Въ садикѣ сидѣла, снѣжокъ потаялъ. А старикъ начнеть поминать — жаловаться: «нѣтъ лучше нашей Тулы, я тамъ на офицерей шиль, спокойно жилъ». А какъ Прѣсною изъ пушекъ били, и въ Тулѣ у нихъ шумъ былъ, онъ и напугался, къ сыну въ Америку уѣхалъ. А тамъ женина родня въ палестины свои сына-то сманила, онъ и звалъ старика къ себѣ, а Абрашкз еще на ноги не всталъ, старикъ при немъ и жилъ. А старшій правильно законъ соблюдалъ, старикъ и рвался къ нему. Весной собирался ѣхать. И у него карточка висѣла, любилъ глядѣть: Тула наша, и солдаты съ барабанами стоятъ. Все говорилъ: «на Московской улицѣ магазинъ у меня былъ, вывѣска золотая, — «портной Соломонъ»... а что я тутъ? селедкинъ хвостъ я тутъ». И мнѣ все, бывало, говорилъ:

— «Вы по колоколу — звону, Дарья Степановна, скачете, я знаю. Вы къ порядку привыкли, вамъ тутъ негодится, тутъ жизнь другого покрою, безпardonная».

И въ соборъ меня провожалъ. Доведеть, а самъ въ свою пойдетъ, а то такъ погуляетъ, подождетъ. Вотъ, думаю, и попутчикъ мнѣ, въ Парижъ ѣхать, на что лучше. Спать вовсе перестала, надумываю всего: ну, помру, — меня и сожгутъ! А тамъ покойниковъ все жгутъ, земля дорогая, за мѣсто цѣльный капиталъ отдать надо, да на сро-окъ, вѣдь, а не будешь платить — и выкинуть. Это не какъ у насъ, на вѣчное владѣніе, а будто за квартиру платишь. Думаю — сожгутъ, и крестика надо мной не будетъ, чисто собака я. А и зароютъ — забудетъ Катичка заплатитъ, косточки мои и выкинуть, а то на заводъ отправятъ, пуговики точить... — Абраша меня пугалъ все. И апетиту нѣтъ. А они хорошо кушали. Старикъ и щи уважалъ, и поклеваннй доставалъ, анисовый... и селедку копченую, и ки-льки... И хлѣбъ они подавали вкусный, шафрановый, а въ душу не идетъ. Стали сумѣлывать: брезгую можетъ, ими. Все говорили: «не брезговайте нами, у насъ чище кого другого».

LX.

Приѣхала Катичка отдохнуть, увидала меня... — «что съ тобой, няничка, похудѣла какъ?!» Да что со мной... жизнь такая, веселая. Опять мы въ домъ переѣхали, на высоту. И все не сплю. все думки мои — надо мнѣ въ Парижъ ѣхать. Не вытерпѣла, сказала: «сердись — не сердись, а отправь ты меня въ Парижъ, не хочу въ землѣ въ этой страшной помирать, сожгутъ тутъ меня». Она даже испугалась:

— «Да ты что, съ ума ты сошла? Лучше я тебя въ сумашедчій домъ отвезу».

— «Чего меня отвозить, — говорю, — тутъ и такъ сумашедчій домъ».

Стала кричать на меня: «что ты своеволка какая стала, скандалищица? чѣмъ ты, чумовая, недовольна?» — «Спокою у меня нѣту, — говорю, — весь свѣтъ наскрозь прошли, а все мало... довольно съ меня, и чугунокъ когда-нибудь лопається».

— «Нѣтъ, ты больна, чушь городишь, въ Парижъ тебѣ захотѣлось! ишь, какая парижская... по трясуцкѣ своей соскучилась, по Марѣ Петровнѣ? косточки не съ кѣмъ перемывать? Нѣтъ, ты больная».

— «Надо же когда-нибудь и заболѣть, — говорю, — не желѣзная я, жилки во мнѣ здоровой не осталось. Отпусти меня въ Парижъ, и знакомые у меня тамъ, будто свое ужъ мѣсто, и въ церкву дорогу знаю...» — много я ей сказала.

Нѣтъ и нѣтъ мнѣ покою, думы одолѣли: ну-ка, нашъ домъ завалится! И сердце заливаешь, не продохну, — капли все пила. Катичка ночью, бывало, встанетъ, считать ихъ надѣ, строгія очень капли. И съ тѣла спала, юбка не держится, — она и затревожилась: «ты страшно, нянь, похудѣла... ужъ не сурьезное ли что?» — глазками заморгала-заморгала, — «поѣдемъ, одѣвайся». Къ первому док-

тору повезла, отъ всѣхъ болѣзней. Онъ меня всѣми машинками смотрѣлъ — пыталъ, и пальцы свои топырилъ, въ глаза мнѣ тыкалъ, все спрашивалъ — сколько пальцевъ? Будто я ему дурочка, двухъ его пальцевъ не считаю. И хребѣтъ становой давилъ, и подъ колѣнки стучалъ, и молоточкомъ по косточкамъ пробиралъ, а Катичка меня выпрашивала, чего я чувю... докладывалась ему. Двѣ еще докторицы его со мной старались, раздѣться велѣли, повели на ступеньку встать и каку-то доску приставили къ животу, и выпить приказали, такую вотъ банку, сметана, будто... — такое леченіе, американское. Изжога, говорю, бываетъ, — они и стали меня томить, въ огромные очки на меня глядѣли, на доску на ту, а черезъ нее, будто, все видать. И темно, и гудить чего-то... ну, иликтричество, ужъ извѣстно. Больше часу меня томили. Главный руки помылъ и все Катичкѣ и доложилъ про меня: и сердце, говорить, хорошее, нельзя лучше, и мозги ничего, хорошіе, и всѣ суставы мои хорошіе, и самое главное хорошее, нутро мое... какъ у молодой, все равно, даже и невидано никогда, истинный Богъ... а ни одной-то жилки здоровой нѣтъ! Ей, говорить, долгой спокой требуется, а то обязательно съ ума сойдесть. Такъ и сказалъ — подписалъ. Она ему и скажи: да вотъ, заладила въ Парижъ ѣхать... нѣтъ ли чего въ головѣ у ней. Строго такъ поглядѣлъ, помычалъ... —

— «Отправьте ее въ нашу сиваторію, на цѣльный годъ, она спокою хочетъ!»

Сказала мнѣ Катичка — «вотъ, требуютъ въ сиваторію отправить къ нимъ, на цѣльный годъ», — я и заплакала. Ну, онъ какъ узналъ, не хочу-то я... — хошь на мѣсяць ее отдайте, мы ее всю разсмотримъ, развлечемъ. Повезла она меня домой, я плачу-разливаюсь: вотъ, заслужила... въ сумашедчій домъ хотятъ засадить. Ну, она меня успокоила, — не отдастъ, молъ. А тутъ Соломонъ Григорьичъ провѣдать меня зашелъ. Узналъ про сиваторію, и говорить:

— «Они вамъ на синаторію насчита-ютъ! Лечили такъ вотъ банкира одного, онъ и лопнулъ. Дарья Степановна мнѣ извѣстна... пустите ее въ Парижъ, а то ее тоска убьетъ тутъ».

Умнѣй не скажешь. А Катичка свое: «съ ума надо сойти, ѣхать ей... она и на улицу-то боится выйти!» Артистъ пришелъ, про пивку-то все... тоже заступился, напугалъ: «Она, говорить, на моихъ глазахъ, какъ спичка стала. Тутъ всѣ старушки, какъ мухи, помираютъ, воздухъ вредный!» Ну, поняли мы — насмѣхъ онъ, балахвость, не взлюбилъ меня. Досматривала за нимъ, никогда одного въ покояхъ не оставляла, безъ Катички какъ зайдетъ, онъ и фыркалъ. Ну, правда, барыня, что артистъ... да нонче онъ артистъ, а завтра въ острогъ отъ него отмахиваются. Вонъ бѣсъ-то, тоже какой артистъ, а сразу жуликомъ сталъ, дачи чужія грабилъ... а этому, колечко безпризорное приглядѣть — и не вздохнетъ. Да, вѣдь, совѣсти-то у нихъ нѣтъ, барыня... подъ человѣка притворяются. Ста-ла она тревожиться: «что ты въ голову забрала... еще погибнешь, заблудишься!» Повезла въ синаторію меня. Да нѣтъ... Васеньку провѣдать: будто соскучилась я объ Васенькѣ. Поправился онъ, узнать нельзя. На горѣ мѣсто, снѣгъ... на санкахъ они катаются, отъ болѣзни. Хорошо говорили, ни спору, ни... И говорить ему:

— «Новости у насъ, няничка наша съ ума сходитъ, въ Парижъ собирается».

Онъ даже не повѣрилъ, призадумался... — «что-жъ, — говорить, — значить, по ней такъ лучше». И онъ, буд-то, за меня вступился.

LXI.

Ужъ она меня уговаривала, а я свое: «я, говорю, всегда покорная была, а тутъ ты меня послушай: каяться вѣкъ будешь, ну-ка я тутъ помру! а тамъ я съ людьми посоветуюсь». — «О чемъ тебѣ совѣтоваться, какія у те-

бя дѣла такія?» — «У меня душевныя дѣла, и поговѣю тамъ... а ты по мнѣ соскучишься, скорѣй изъ этого ада вырвешься». Билась-билась со мной... — «Ну, что мнѣ съ тобой, съ чумовой, дѣлать! въ больницу тебя отправить, а мнѣ жалко тебя...» — заплакала. И я заплакала. — «Катюньчикъ, — говорю, — сдѣлай ты хошь разокъ по мнѣ, сама скоро ко мнѣ прїѣдешь, сердце мнѣ говорить...» Прижалась ко мнѣ, какъ рыбка затрепыхалась, дѣткой вотъ какъ была. — «До зимы я пробуду тутъ, бумага меня связала...» — «А ты, говорю, возьми и выпиши меня, какъ соскучишься!» — весело ей сказала, сердце такъ заиграло, съ чего — не знаю. Такъ она заглянула мнѣ въ глаза... — «Ня-ничка!.. какъ же я тебя измучила!» — будто тутъ только увидала, — «прости меня за все, ня-ничка... прости!..» И заплакала-захлюпала, какъ маленькая когда была. Не могу, барыня, говорить. Вспомню, какъ на меня глядѣла... не могу.

Отпустила она меня. Всего-то мнѣ накупила... и бѣлья, и платьѣ новое, синелевое, и часики мнѣ на руку, непривышно такъ, а время все при мнѣ будетъ, отъ скуки погляжу, — ну, всего-всего, будто она меня замужъ отдасть. И сласти всякія, винны-ягоды я уважаю... и монпассе любимой, банбарисовой, кисленькой. А она новыя мнѣ зубы поставила... — глядите, барыня, какіе у меня зубы-то, бѣ-лые, хорошіе... все теперъ ѣсть могу, — орѣшковъ мнѣ въ дорогу. Абраша бумаги мнѣ выправилъ, и ви-зу, и сундучокъ отправилъ, — садись только, поѣзжай. Да, забыла сказать... Анна Ивановна, милосердая сестрица, святая душа, письмо Катичкѣ прислала, разыскала. Уѣзжать мнѣ, а утромъ письмо намъ подали, изъ Филь... вотъ-вотъ, изъ Фильляндіи, убѣжала отъ большевиковъ. По газетамъ узнала про Катичку и написала на Америку. Такая намъ радость... хорошій это мнѣ знакъ былъ. Помнить меня: жива ли няничка наша милая, — спросила. А я жива.

И Соломонъ Григоричъ со мной поѣхалъ. Старики

ихиѣ пришли проводить, и Абраша... и со мной хорошо простился, даже и не думала, какой душевный. — «Скучно будетъ безъ васъ, мамаша дорогая, привыкли къ вамъ... такой ужъ не будетъ больше у насъ, въ Америкѣ», — вонъ какъ, будто родные мы. Да, вѣдь, съ одной стороны-то... А супруга его меня поцѣловала, связочку на дорожку сунула, шафрановыя булочки. На корабль всѣ взошли, прощались. А мы съ Катичкой только другъ дружкѣ въ глаза глядѣли, говорить не могли. Загудѣлъ свистокъ — велѣли имъ уходить, платочкомъ все Катичка махала, и всѣ махали... и не видать ужъ стало, дымъ только. А скоро я и тошниться стала, Соломонъ Григорычъ заботился, все меня развлекалъ... даже насъ за сунруговъ принимали.

Вотъ вамъ все и сказала, барыня. Напишите, можетъ, ей, поласковѣй какъ, присовѣтуете чего... не мнѣ вамъ говорить, сами лучше другого кого сумѣете. Два денька у васъ нагостила, ужъ такъ довольна. И барину отъ меня низкій поклонъ скажите, дай ему Богъ здоровья, въ дѣлахъ успѣха. Покорно благодарю, ужъ безпремѣнно васъ навѣщу, хорошаго чего узнаю.

Здравствуйте, барыня-голубушка... опять къ вамъ въ гости, Господь привелъ. Въ вашихъ краяхъ была, у генеральши Ширинкиной, — слышали, можетъ. Вотъ-вотъ, хорошая такая дача... только она комнатку сьмааетъ, у знакомыхъ. Просвирку поручили мнѣ передать, другой мѣсяць она лежитъ. А я слободная теперь, всѣ дѣлишки подѣлала, но знакомымъ вотъ и хожу, дома не усiju. Ну, что вы шутите — помолодѣла! Помолодѣть не помолодѣла, а какъ-то я растряслась, въ Америку бы сейчасъ поѣхала... ѣздить ужъ обучилась, народу не боюсь. Есть, голубушка-барыня, какъ не быть новостямъ... у меня новостей со всѣхъ волостей, полонъ коробъ, въ себѣ не

удержу. Да ужъ такія, давно такихъ не было, на-люди просятся. А вотъ, ужъ по череду все, а вы и разсудите... а я-то ужъ не знаю, какъ и думать. Да, похоже, хорошо все.

Покорно благодарю, у генеральши пила, и закусила, а отъ чаю не откажусь. Палка на палку плохо, а чай на чай — прѣсенская качай, въ Москвѣ у насъ говорили, бауточка такая. Да вотъ, расскажу. Кому и разсказать-то, какъ не... Генеральшѣ я ужъ не стала разсказывать всего, она нашихъ дѣловъ не знаетъ, такъ кой-чего поразсказывала, порадоваться. А вы ужъ про все знаете, и разсказывать интереснѣй вамъ. Спать не могу, чѣмъ-свѣтъ вскочу — куда-нибудь и надумаю пойти, на мѣстѣ не усiju... сама съ собой разговариваю, на бульварѣ посижу, воровушки слушаютъ.

Ну, вотъ... маленько задохнулась... какъ и начать, не знаю. А вѣдь я къ вамъ каяться пришла, истинная правда, барыня... вѣдь я всего вамъ не сказывала, все-то правды, про себя держала... примѣта у меня такая, разскажешь чегó раньше — спугнешь наладку. Задумалъ чегó... на-люди не кажи, про себя сторожи. Грѣхъ на душу взяла, утаила отъ васъ маленько... самага-то главнога и не сказала, ужъ простите. А теперь, дѣло прошлое, все скажу. Я вѣдь не попусту сюда пріѣхала, въ дорогу такую пустилась, не изъ капризу... оставила бы я Катичку! Ни въ жѣ... бы не покинула, а вотъ, рыскнула. А скажи ей всю правду, нипочемъ бы не отпустила. А вотъ, расскажу... Узнай она — веревкой бы меня привязала, я, вѣдь, ее какъ знаю... гордая она, нипочемъ бы не согласилась. А ужъ такъ мнѣ Господь, на мысли послалъ — поѣхать. Я ужъ какъ сумашедчая тогда стала, не ѣла — не пила, ночей не спала... на страсти какія ѣду! Да не то что дороги я боялась... смерти я не боюсь, потопну ли, воры ли меня оберутъ-зарѣжутъ, — это мнѣ ничего не страшно. Другое страшно... — къ человѣку итти такому... а онъ и насмѣется, все на-пустоту и выйдетъ, сердце не

выдержать, на страшный судъ словно бы иду. А вотъ тутъ самое и есть главное.

Вотъ я все и скрывала, отъ Катички, а она меня къ докторамъ все. Ну, болѣтъ — болѣла, да болѣзнь-то моя не тѣломъ, а сказывается, понятно. А онъ меня какъ напугалъ, въ синаторію хотѣлъ запретить! Ахъ, забыла васъ поблагодарить-то, барыня... Да нѣтъ, я самое главное по череду вамъ, а тутъ, чтобы не забыть я... Дай вамъ Господь здоровья, каждый день поминала васъ. Авдотъ-Васильевна-то... сыска-ласъ! Какъ вы тогда въ газету напечатали, черезъ два дни сыскалась. Сыскалась, милая барыня... знакомые показали ей, печатали-то вы... — тутъ она оказалась! Не въ Парижѣ, а... какъ это мѣсто... забвды тамъ, забываю ихъ слова? Мортаны, что ли... ржи..? Вотъ-вотъ, Мотаржи, самое это, верстѣ сто за Парижъ нашъ. Какъ же, была у меня, двѣ ночи ночевала. Комнатка ослобонилась подъ Марѳой Петровной, взяла я комнатку, по-барски живу, и гости все у меня... и батюшка святой водой кронилъ, а то тамъ агамить жилъ... лицо желтое-желтое, глаза косые... — онъ мнѣ и освятилъ. Желанную мою приласкала, душу отвели съ ней, наговорились. А супругъ у ней въ Бѣлградѣ померъ. А сынъ безъ ноги, офицеръ, новую ему сербы придѣлали, на пружинѣ. Лавочку тамъ держали, отъ сердца супругъ и померъ, замаялся. Они сюда и перебрались къ намъ, мѣсто сынку за сторожа знакомые схлопотали. А она бѣлошвейка, золотыя руки. Два платья ей подарила, сколько сама отъ нее видала... а она стѣснительная такая — не надо и не надо! Катичка вотъ пріѣдетъ — на ноги ихъ поставитъ, попрошу. А она по курочкамъ съ ума сходитъ. И сынку бы способнѣй, при домѣ-то, при хозяйствѣ. На курочекъ и копятъ. Да что еще... ро-манъ-то какой выходить... — французъ-лавошникъ въ Авдотью Васильевну влю-бился! Романъ и романъ страшный. Сынку двадцать семь ужъ, а ей сорокъ пять вотъ стукнетъ, да ей, правда, и сорока не дашь, — бѣлая, глазастая, важеватая такая, и пополнила

она, разсыпчатая такая стала, — а въ поѣздѣ тогда встрѣтила, она худая совсѣмъ была, не узнать, — и ростомъ вышла, и ротикъ форменный, не размякся, и морщинокъ ни одной нѣтъ... — онъ въ нее и влюбись! Вдовецъ, и богатую ему сватаютъ, а онъ и слышать не хочетъ, все добивается. Хоть въ лавочку, говорить, не ходи. Хотятъ ужъ перебираться оттуда, — проходу не даетъ, обмираетъ. Да что еще-то..! Казакъ увязывается, тридцати лѣтъ нѣтъ, чумовой дуракъ, полторы тыщи въ мѣсяцъ выгоняетъ... ходитъ къ нимъ каждый вечеръ, образованныя книжки все читаетъ, придетъ и сидитъ — глядитъ. Да чего сказаль-то: не выйдете за гоня — застрѣлюсь! Не знаетъ, что и дѣлать. По секрету она мнѣ, каюлась: удравитъ ся ей казакъ, да сына стыдится. А казакъ ей — «успокою васъ и сына вашего, будете курочекъ водить, а я за вами буду ходить... красавица ты моя, выйди замужъ за меня!» Два креста геройскихъ, собой красавецъ, всѣ французскія дѣвки съ ума сходятъ. Хочетъ въ Парижъ отъ него спастись, ее въ ресторанъ зовутъ, къ закусочному столу, аппетитная она такая, и съ каждымъ обойтись можетъ, расположить. Триста поклоновъ каждую ночь кладетъ, мысли гонить... -- а все не худѣю, говорить.

И что это я разговаривалась, ненужное все болтаю. Ну, рассказала ей про все, она меня и укрѣпила, въ заботѣ-то моей. Разложила-разобрала... а она умная-разумная, умнѣй нѣтъ... —

— «Идите, говорить, Дарья Степановна, съ Господомъ, не бойтесь. А напередъ молебень отслужите Купивъ Неопалимой, гнѣвъъ васъ и не опалить...» — а вотъ, послушайте, какой гнѣвъъ... — «и Владычицѣ-Страстной отслужите, страха вамъ и не будетъ».

И погадала она мнѣ. Хорошо выходило, только не скоро... въ постели она лежитъ, больная. Да нѣтъ, не Катичка, слава Богу, а эта... самья католичка-монашка. Ужъ теперь скажу, барыня... правду я дознавать прѣѣхала, узель нашъ развязать, графыня-то намъ запутала, а гор-

батенькая, кузина, накрѣпко затянула. Да, барыня, поняли теперь... вотъ зачѣмъ я сюда попала. Все ужъ вы знаете, какъ истерзались мы... думы меня и одолѣли. Не выйдетъ у нихъ, такъ и будутъ другъ-другу мучить, заноза ее замучаетъ... съ горя бо-знать чего и выкинетъ, только себя погубить. Вѣдь она надрывная, въ мамочку, и пистолетикъ вонъ завела. И молилась я, а дума меня точить, страсти все представляются. И надумала — надо до католички дойти.

Вы ужъ не торопите, милая барыня... сладко мнѣ говорить, сразу-то неутѣшно будетъ. Чисто я кошка вотъ. А какъ же — не повалявши, куска не съѣсть. Радуюсь-то..? А терзалась я сколько, не помню — когда смѣялась. Сколько у меня новостей... Анна Ивановна прѣзжаетъ, Господь устроилъ, и Авдотья Васильевна со мной... и думаю такъ я, барыня, — все хорошее повернется къ намъ, сердце вотъ достучить ли только. Ну, что ужъ Господь дастъ.

Адреска я ее не знала, а спросить у Катички не могу, — ну-ка, пойметъ она! А фамиліе у ней съ графьней одинакая. Подумала — найдутся въ Парижѣ люди, графъ Комаровъ всѣхъ князей знаетъ, а то въ адресномъ столѣ справочку наведутъ. Прѣехала къ Марѣ Петровнѣ, говорю фамилію... Галочкина-графыня, — и графъ Комаровъ не знаетъ: такой, говорить, у насъ нѣтъ. Ну, разобрался онъ... Галицкая она, какъ вы вотъ говорите. Сталь справки наводить, да старый, забывалъ все... — и очень она забила-то далеко, а подъ Парижемъ. А адреснаго стола, говорить, здѣсь нѣту, здѣсь только каждый свой адресъ знаетъ. Я и терзалась все, и у васъ-то была намерени, — не знала адреска-то. Авдотья Васильевна счастье и принесла: только сыскалась, вскорости Марѣ Петровна адресокъ отъ графа Комарова и принесла: узнала я католичкинъ домъ, монашки ихнія живутъ гдѣ. А ей не сказала, а такъ — занадобилось, говорю, родные изъ Америки поклонъ прислали, снести надо. Единой Авдотѣ

Васильевнѣ сказала, — какъ себѣ вѣрю. Она меня и поѣхала проводить, а то запутаюсь, безъ языка-то.

Ну, пріѣхали мы съ ней, — высоченный заборъ кругомъ, и ворота глухія, а въ нихъ калиточка, а въ ней окошечко открывается. Богатое-разбогатое имѣнье, сады все, старыя деревья, ужъ распускаться стали, апрѣль мѣсяцъ. На монастырь непохоже, а вродѣ какъ богадѣльня, колоколовъ не слышать. Позвонились. Подошла монашка, окошечко открыла, оглядѣла насъ... — видитъ, хорошіе мы люди, калиточку пріоткрыла. Чисто такъ одѣта, въ синемъ платьѣ, бѣлый корабликъ на головѣ, трахмальный, — нарядъ ихній, мнѣ идривится. Спрашиваетъ насъ, по-своему, а я не знаю, какъ говорить, и Авдотья Васильевна тоже немного подучилась, все-таки поздоровалась. А она скромная такая, краснѣетъ все, у ней слова-то и не находятъ. Мы и подали бумажку: прописано званіе ея, католички, — сестра Бетриса. Авдотья Васильевна хорошо ей сказала — «мамзель рюсъ»! Она закачала корабликомъ, махнула за насъ, — ничего мы не поняли. Поѣхали назадъ. Позвала я шофера, подѣ нами жилъ, Николай Петровичъ, офицеръ... онъ хорошо понимать умѣетъ. Поѣхали. Побезпокоили опять монашку, онъ съ ней и поговорилъ, дозналъ. Она зимой заболѣла, католичка-то, ее въ синагогѣ послали, обѣщались въ май-мѣсяцѣ вернуться. Больше мѣсяца ждать. Погоревали — поѣхали.

Такая незадача. А тутъ письмецо отъ Катички, прочитали. Идола того пистолетомъ прогнала, — пишетъ, — очень наглый, и даже ей трюму разбилъ трубкой, очень горячъ. Она его и выгнала пистолетомъ. А про Васеньку хоть бы слово. А тутъ и отъ Васеньки открыточку получила, съ «Христось Воскресе», въ Парижъ скоро общается, съ дилекторомъ. Не знала и не знала, что ужъ будетъ. Ну, поговѣла, встрѣтила Свѣтлый День, а Праздника нѣтъ и нѣтъ. Истревожилась, ослабѣла. Три раза мы ѣздили къ монашкамъ, — все лечится. Просили монашку -- письмецо прислать, пріѣдетъ когда, и на марку

оставила. Пасха у насъ девятинадцатаго числа была, по ихнему считать, а я какъ разъ на Вознесенье Господне открыточку получила, французскую... — у меня руки затряслись. Прочитали знающіе, — пріѣхала католичка. Только я отъ обѣдни, не ѣла, не пила — поѣхала. Повезъ меня Николай Петровичъ. Какъ я доѣхала, не помню. Вылѣзла изъ автомобиля, ноги отказываются, чуть иду. Николай Петровичъ мнѣ: «на вась лица нѣтъ, Дарья Степановна, что съ вами?» Дыхнуть не могу, сердце вотъ подкатилося. Какъ я пойду... не дойду до нее, пожалуй? Позвонился онъ, слышу — стучить монашка по камушкамъ. Смотрить на меня — признала. Сказала шоферу — спрошу сестру Бетрису, приметъ ли она. А у ней была записочка моя, кто такая сестрицу спрашиваетъ. Посадилъ меня Николай Петровичъ на лавочку у воротъ, а у меня губы дергаются-дрожать, плакать я принялась. Онъ мнѣ — что съ вами, что съ вами?.. — а я выговорить не могу. А онъ зналъ, что я сюда все ѣзжу: сказала ему — монашка тутъ католичка, наша русская, провѣдать мнѣ наказали. Онъ еще сказалъ: «отъ вѣры отказалась! это все алистократы мудрують... она не изъ алистократовъ?» — сразу угадалъ. А тутъ та пришла — позвала меня. Насилу я поднялась. Они меня оба подымали. А у нихъ сукъ рубили надъ воротами, чуть меня не убило, упалъ сукъ... монашка на рабочаго закричала. Думаю — не къ добру, сукъ упалъ, за платокъ меня зацѣпилъ. Прямая дорога, плиты все, черезъ садъ, къ большому дому... много тамъ домовъ, старинные, сѣрые. Лѣ-стницы..! Буду я помнитъ лѣстницы эти ихнія, ступеньки каменные... пудовики въ ногахъ. Меня ужъ монашка подъ руку подымала. И все-то лѣстницы, темныя, старинныя... холодокъ, а съ меня потъ льетъ. Вверхъ, а тамъ внизъ, а тамъ черезъ другой садъ, напуга-но... и опять лѣстница, по колидорамъ шли, посадила она меня духъ перевести... а навстрѣчу монашки, тишь такая, только одѣянія шуршать. А въ колидорѣ ка-вареечки пѣли. Повела опять, наверхъ... будто меня за-

мотать хотѣть. А я все Богородицу читала. Дверь высокая, черная, старинная... крестъ на ней бѣлый-косяной, арванъ такъ. Постучалась она, ти-хо... слышу — антре!

Открыла она дверь — дерева я увидала, садъ... окна громадныя, раскрыты, и кусты тамъ, на солнышкѣ, жасминъ, пожадуй, — бѣлые все цвѣточки. И воздухъ легкой такой, духовный, дорогими цвѣтами пахнетъ. Осталась я одна, ушла монашка моя. Комната большая, высокая, синяя вся... чисто-та!.. полы паркетные, коврики... бѣлая постелька, ангельская, а надъ ней большой черный крестъ, въ терновомъ вѣнцѣ Спаситель, налѣпленный, и ланпадочка теплится... и столикъ, кружевцами накрытъ, у изголовья... убрано хорошо такъ, и статуички на немъ, святые... и картинки все по стѣнѣ ихнія, святые-мученицы. И еще столикъ у окна, раскрышной, а у столика на креслахъ она, книжку святую доржить, вся бѣлая, будто въ сарафанѣ полотняномъ, голова платочкомъ бѣлымъ повязана... же-о-лтая-желтая лицомъ, личико длинное, востренькое... волосъ не видать, а болондиночка словно, годовъ за тридцать. Ужь потомъ разобрала я: маленькая-горбатенькая, и похрамываетъ. А собой миловидная, ничего, тонкая-то-растонкая, сушеная, прямо... ручка изсохла, восковая, глядѣть страшно, и губы сѣрыя, поблеклыя. Сразу мнѣ бросилось, минутки не прошло... — она на меня глядитъ! Глаза черные, острые, такъ въ меня и впились. Я ей съ порожка ни-зко такъ поклонилась, на полъ чуть не упала, ноги не слушаютъ. Посмотрѣла на меня...

— «Что вамъ угодно?» — по-нашему меня спросила, — голосъ осиплый, слабый.

А я просто одѣта, какъ мы все ходимъ, русскія настоящія, — а праздникъ былъ, Вознесеніе Господне, — на мнѣ сѣренькое платьѣ было, шерстяное, московское, и легкая у меня накидочка, черная, шелковая... не со стеклярускомъ; сѣренья, а дружел, попараднѣй. Ну... что, молъ, вамъ, угодно. А я слова не выговорю, только — «барышня... милая барышня...» — больше не подберу, и слезы у

меня. Поняла она — плохо мнѣ, — подошла ко мнѣ, за локотокъ взяла-поддержала... —

— «Вы такая слабая... садитесь, говорить, вотъ тутъ».

На стульчикъ мнѣ показала, у дверей. Ничего, ласково такъ глядитъ, ждетъ, чего скажу. Усадила меня, а сама на свое мѣсто сѣла, четки стала перебирать... длинныя у ней такія, чуть не до полу. Сидитъ и считаетъ-перебираетъ.

— «Я, говорю, Дарья Степановна, Синицына, изъ Москвы... къ вашей милости...»

Она молчитъ, ждетъ. А я не могу дальше-то, подкатило.

— «Ну, госпожа Синицына, чего же вы отъ меня желаете? — спрашиваетъ меня. — Можетъ, вы нуждаетесь?»

Сдавило мнѣ, у глотки, головой покачала, сама плачу.

— «Простите, барышня... ваше сѣятельство... — говорю, — ослабла я, духъ не переведу. По дѣду къ вашей милости...»

Пошла она къ камину, водицы налить. А на каминѣ крестики на горочкахъ стоятъ, и статуички, и большое сердце виситъ, матерчатое, тугое, будто огонь красный изъ него, шелками сдѣлано по камину, очень искусственно. Налила водички, дала выпить, а вода словно мяткой пахнетъ. Поперхнулась я, забилъ меня кашель. А она глядитъ — ждетъ. А я все кашляю, сердце вотъ выскочить, дыхнуть не могу, въ глазахъ мушки. Пошла она на свое мѣсто. И слышу, въ туманѣ будто... —

— «Да вы кто такая, по какому дѣлу?» — чисто такъ говоритъ, маленько только съ запиночкой.

— «А я няня изъ Москвы...» — говорю. Она будто удивилась:

— «Чья няня, какая няня?.. отъ нашихъ родныхъ вы?..»

А я заладила, словъ все не подберу:

— «Няня изъ Москвы я... ваше сѣятельство...»

— «Такъ я и думала, говорить, что вы няня. У насъ

такая же няня была, очень похожа, только она давно померла».

Ласково такъ сказала, прояснилась... вспомнила, можетъ, какъ она тоже русская была, а теперь католичка стала.

— «Вамъ, пожалуй, — говорить, — много лѣтъ... и больны вы, милая няня».

Даже я подивилась, какъ она меня пожалѣла. И все Богородицѣ молюсь, Страстной: умягчи сердце, утоли страхъ.

— «Какъ же, барышня, ваше сѣятельство... — говорю, — семьдесятъ пятый мнѣ, и сердце у меня неправильное, боюсь всего...»

Ни съ чего ей — боюсь-то. А она вострепнулась такъ... —

— «Да чего же вамъ бояться, тутъ вороговъ нѣтъ... тутъ у насъ добрые люди живутъ, успокойтесь, милая няня...» — ласково такъ, заплакала я съ ласки.

— «Знаю — говорю, — добрые тутъ люди, святой жизни... къ нимъ и пришла, Господь меня наставилъ... къ вамъ, милая барышня... не къ кому мнѣ больше...»

Хорошо такъ сказала, Господь навелъ. А самое страшное и подходитъ. А сказать не умѣю, какъ... покладвѣй бы, ее бы не обидѣть, въ гнѣвъ не ввести.

— «Видите, — говорить, — сами знаете, какіе люди тутъ...» — чисто съ малымъ ребенкомъ. — «Ну, что я для васъ могу сдѣлать, чего вамъ нужно? или у васъ порученіе какое, послали васъ ко мнѣ?..»

— «Ни одна душа, говорю, меня не послала... ни одна душа не знаетъ, зачѣмъ и до васъ дошла, я два мѣсяца васъ ждала, съ гнѣвъ и изъ Америки прїѣхала...» — складно такъ ей сказала. Такъ она удивилась!

— «Какъ, вы изъ Америки?!.. нарочно, ко мнѣ?!.. Вы же сказали — няня изъ Москвы, а говорите теперь — изъ Америки прїѣхали??..»

А я и говорю, языкъ развязался... —

— «Это меня судьба носить, и я вездѣ была... мѣста такого нѣтъ, гдѣ бы я не была. Я, говорю, и въ Эн-дін была, судьба моя такая, бродяжная-горевая... безпричальная... а сама я ту-льская, Тульской губерни, Крапивенскаго уѣзду... коли слыжали. Рѣка Упа у насъ тамъ, съ той рѣки я и буду».

— «Какъ же, говорить, мы сосѣди съ вами, имѣнье наше было...» — мѣсто одно сказала... погодите, барыня, вспомню..? — «Сосѣди мы, Орловской губерни, Болховскаго уѣзду, и у насъ рѣка Ока...» — сказала-улыбнулась. — «Ока у насъ...»

— «Какъ не знать, — говорю, — большая рѣка, а у насъ махонькая, Упа. Я про ваше мѣсто очень хорошо слыжала».

А не могу сразу-то сказать. А она ждетъ.

— «Ну, вы меня ждали. Что же вамъ нужно?»

— «Милости вашей, ваше сятельство... правды божіей нужно, душевной милости. Ослобоните мою душу, милая барышня!..» — сказала, изъ себя вырвала.

— «Ми-лости..?!» — такъ это, на меня, удивилась слово. — «Я не понимаю, что вы говорите, какой милости?..»

— «Душевной, — говорю, — вся истомилась-истерзалась, не сплю — не ѣмъ, на свѣтъ бы не глядѣла... съ вашей милости подымусь, къ одному бы ужъ концу, по правдѣ только. Въ себѣ утаю, въ случаѣ чего... ни единая душа не узнаетъ, по правдѣ только... можетъ, Господь по мысли вамъ дастъ..?»

Вытаращилась на меня, не понимаетъ, опасается меня словно. И правда, барыня, послѣ-то я подумала, небось она меня за сумашедчую приняла.

— «Успокойтесь, няня, — говорить, — скажите просто, не плачѣте. Какой вамъ отъ меня правды надо, какой милости? Скажите, что я могу — я сдѣлаю».

Тутъ самое это и подошло: всю правду надо сказать. И говорю:

— «Я, говорю, Катичкина няня, и Васеньку вотъ како-

го еще знала, и вашу сестрицу знала... она меня обласкала, царство небесное, вѣчный покой...» — грѣхъ на душу взяла. Ну, какое ей царство небесное, мучается тамъ, такой грѣхъ...

Она такъ это... съ кресловъ поднялась, къ окошку оборотилась... Тутъ я и увидала — горбатенькая она. И вижу — глазомъ все, дергаетъ, и губами такъ, — на щечкѣ у ней жевачки играютъ. Оборотилась ко мнѣ:

— «Вы гдѣ же мою Валентину видали?»

— «А въ Крыму видала... она меня, говорю, поцѣловала, въ самый тотъ день, какъ кончилась... оступилась нечаянно въ оврагъ...»

Грѣхъ на душу взяла, неправду сказала, ее бы не тревожить. А она затревожилась, къ окошку отворотилась, четками зашумѣла. А я молчу, себя не чую. Она и говорить, на садъ:

— «Такое несчастье...» — по-ихнему стала говорить, не разобрала я... можетъ, молиться стала, четки задергала, а я молчу, затаилась. — «Такое несчастье... А какъ она васъ видала, гдѣ видала... у кого вы жили?»

Я тутъ и предалась ей, раскрылась... — ну, что ужъ будетъ, одинъ конецъ.

— «Барышня, говорю, ваше сіятельство... помиуйте, окажите божецкую милость... и васъ няня жалѣла, при васъ бы была, коли бы жива была. И я всю жизнь при барышнѣ своей, при Катичкѣ моей...»

Такъ и настражилась! цвѣточки на окнѣ стала тереть... —

— «Вы у кого служили, при какой барышнѣ?...» — строго такъ.

Стала ей говорить, слезы потекли, не вижу ничего... сползла на половичокъ, не помню какъ... она меня подымаетъ, слышу...

— «Что вы, зачѣмъ... не надо, успокойтесь...»

— «Не серчайте, говорю, милая барышня, ваше сія-

тельство... простите меня, глупую... не къ слову чего скажу, душу ослобоню...»

Посадила меня на стуль, по плечу такъ, милостиво... —
— «Ничего, ничего... все говорите, не бойтесь».

Пошла отъ меня, на кресла сѣла, книжечку открыла .. и опять закрыла.

— «Я, — говорю, — не сказалась имъ... измучилась на ихъ терзанья глядѣть, собралась — къ вамъ поѣхала, одинъ конецъ. Скажете что — такъ и повѣрю, вѣчно Бога буду за васъ молить... все вы знаете про сестрицу...»

Все и выложила, какъ Господь навелъ. Какъ каменная она сидѣла. Откинулась на спинку, ручки такъ, крестъ-накрестъ. ножки вытянула, гру-устная-разгрустная. Ничего меня не перебивала, ни словечка. Всего гдѣ же сказать, а сказала — все она поняла. У-мная, по глазамъ сразу видно, — въ себя глядится.

— «Я поняла», — говоритъ, — спокойно такъ, не ждала я. — «И вы хотите всю правду... всю?..»

— «Какъ вашей милости угодно, что Господь вамъ на душу положить, — говорю, — мнѣ помирать скоро, правду вамъ говорю — самовольствомъ я все, надумала къ вамъ... ни одна живая душа не знаетъ».

Она, можетъ, минуту пять молчала, четки перебирала. А я по стѣнамъ оглядываю... увидала Господень Крестъ, а на Крестѣ Спаситель, и на главѣ терновый вѣнецъ, настоящій колючій... и Спаситель не написанъ, а настоящее Тѣло Христово, и колючки-шипы, и по главѣ кровь текеть, отъ колючекъ. Я и перекрестилась. А она на меня глядитъ! И она туда обернулась, на Спасителя. Потомъ встала, подошла ко мнѣ, положила ручку на голову мнѣ, на платокъ... —

— «Няня... вы за правдой ко мнѣ пришли...» — въ глаза мнѣ поглядѣла, въ слезы мои поглядѣла... и вздохнула, — жалко даже мнѣ ее стало.

А я ей про то письмо помянула, говорила когда... — правды, молъ, мы не знаемъ, чего въ письмѣ, и она его

не печатала, и мучается, а волю покойной не нарушала... а сумѣннѣе въ ней... они и мучаются. А горячее слово сказано, заноза и заѣла, му-ка... И про письмо не просила, правды только просила.

Ну, все она поняла, будто въ душу мою глядѣла. Пошла къ столу, открыла ящичекъ. Старинный столъ, все-то въ немъ ящички. И вынимаетъ... самое то письмо, съ печатями, какъ власти припечатали, пять печатей! Признала я его, трепаное оно. Вспомнила, какъ трепали, и по полу-то валяли, и подъ тюфакъ его прятала, руинъ оно мнѣ жгло.

— «Вотъ, — говоритъ, — вся тутъ правда. Дозволяю вамъ, прочитайте».

А я неграмотная. Сказала ей — заплакала. Подумала она, въ окно поглядѣла:

— «Хорошо, возьмите... пусть мнѣ возвратятъ. Ничего больше не надо?»

— «Ничего, ваше сіятельство, — говорю, — покорно благодарю за милость вашу».

Не помню всего, закачалась я, упала со стульчика... Она меня подняла, въ колокольчикъ позвонила. Гляжу — монашки мнѣ чашечку даютъ, тепленькаго питья, липоваго чайку. Двѣ чашечки выпила, отдышалась. Она, милая, и говоритъ:

— «Желаю вамъ, няня, спокой души. А какъ успокоитесь, навѣстите меня, рада буду».

Ангельской доброты она. Ручку поцѣловать хотѣла, она не далась.

— «До свиданья, няня...» — сказала, ласково.

Вывели меня монашки, довели до воротъ, — меня Николай Петровичъ ждетъ. Солнышко такое, птички поютъ, — ну, самое Вознесеніе на небеса! Довелъ онъ меня на шестой этажъ, обезножила я совсѣмъ, дрожу вся... — не знаю, въ письмѣ-то чего написано. Марѳа Петровна прибѣжала, — «что съ вами, Дарья Степановна, на себя не похожи!» Лихорадка, говорю, треплетъ. Къ Авдотѣ Ва-

сильвнѣ силъ нѣтъ ѣхать, а письмо меня жгеть, правда со мной вся тутъ. Попросила оказать божественную милость; телеграмму Авдотѣ Васильевнѣ послать, — пріѣхала бы, плохо мнѣ. А не сказываю Марѣ-то Петровнѣ, чисто краденое храню. Она на языкъ невоздержная, пойдетъ трясти по городу, сказать-то ей про письмо... — вотъ я и притворилась будто. Да и правда, больная вове.

Думаю про письмо, дрожу. Ночь не спала, письмо подъ подушкой, спокою не даетъ. Подумать, чего слово человеческое можетъ! письмо-то. И не говорить, а... Поутру Авдотья Васильевна прилетѣла, напугалась. А тутъ Марѣя Петровна вертится, чего-то чувствуетъ, хочется ей узнать. Шепнула я желанной моей, она сразу поняла, — къ доктору ѣдемъ! Мы и поѣхали, на бульварчикъ. Съли на лавочку, стала она мнѣ письмо читать... а письмо-то французское! Она и не понимаетъ, буквы только можетъ прочитать. Ну, что намъ дѣлать? Къ вамъ, барыня... близкій ли конецъ, къ вамъ! А у меня сердце горитъ, правду-то узнать. Надумала я: къ графу Комарову, все можетъ прочитать. А я у нихъ бывала, помнила мѣсто хорошо, неподалечку живетъ. А онъ ужъ блаженный сталъ, всѣмъ услужить радъ. Купила ему гостинчику — халвы четверку, халву онъ любитъ... осьмушечку чайку, лимончикъ... наняли таксю, въ двѣ минутки насъ подкатилъ. Денегъ ужъ не жалѣла. Застали мы графа Комарова, куколки сидить-красить. Поклонились ему гостинчикомъ. Усадилъ насъ на ящики, — бѣдно живетъ, — на Авдотью Васильевну мою залюбовался. А она такъ графовъ уважала... въ Москвѣ всѣ книжки про графовъ прочтала, антересовалась такъ, — а тутъ живой графъ, въ гости къ нему пришли. А она застѣнчивая такая, сидитъ — разгорѣлась, розанчикъ живой стала, графынѣ не уступить... и шляпка у ней горшочкомъ, — ну, парижская красавица, прямо, стала. Подали ему письмо — такъ и такъ, сдѣлайте такое ваше одолженіе, ваше сіятельство. Онъ и посмѣялся Авдотѣ Васильевнѣ моей: «А еще въ Парижѣ жи-

вете, какъ же такъ! Французъ какой-нибудь вамъ пріятное написалъ, про чувства, а вы не можете прочитать. Давайте, въ мѣсяцъ васъ обучу, сами будете пріятныя письма писать».

Любовался все на нее, шутилъ. А намъ ужъ не до шутокъ, едва сижу. Ну, сталъ онъ читать прямо по-нашему, — ничего я не поняла. Авдотья Васильевна ужъ растолковала... а я и смѣюсь, и плачу, хорошее письмо-то очень. Не выпустилъ насъ безъ чаю, Авдотья Васильевна куколку подарилъ — русскаго молодца, пошутилъ: «лучше француза будетъ, какъ разъ по васъ!» Она, прямо, со стыда сгорѣла: казака, вѣдь, ей подарилъ! блаженный-то онъ... прочу-ялъ! Ну, попросили мы его сіятельство, графа Комарова, — ужъ будьте такъ добры, никому не сказывайте, это секретъ нашъ тайный. А онъ смѣется:

— «Какъ можно, я дѣйствительно-тайный генераль», — вотъ-вотъ, такъ и сказала, вы-то какъ говорите, — со-вѣтчикъ я тайный, — «я, говоритъ, всѣ тайны держу-храню и совѣты подаю... вы въ самое мѣсто попали, пріѣхали ко мнѣ».

Ножкой даже Авдотья Васильевна пошаркала, такой любезникъ. Она такъ и законфузилась. Ну, думалось ли когда, въ Москвѣ-то жили... вотъ и довелось, за ручку съ графомъ поздоровалась, чайку попила. Ну, хорошо. Все она мнѣ растолковала, все я поняла, — камень съ души свалился. А письмо-то вовсе коротенькое было, вотъ такое, вершочка три буковокъ. А вотъ чего написала, какая была правда... Значить, такъ: она, графиня та, не посмѣла сестрѣ-кузинѣ неправду написать... католичка-монашка она, да смѣртное, вѣдь, письмо... самый послѣдній человекъ не можетъ неправду въ смѣртной написи допустить... вѣдь, правда, барыня? — она и не осмѣлилась солгать. Она всю правду истинную написала, горькую правду всю. Значить, такъ... — я, говоритъ, самая несчастная, и любовь моя была безотвѣтная, а я все на жертву принесла... Она, можетъ, и думала, — женится на ней Васенька,

а онъ и разговоры не начинать. Узнала она, — Катичка его невѣста старинная, и опять у нихъ дѣло сладилось, она и поняла: не на что ей рассчитывать теперь, и жить надоѣло ей, и вотъ она самовольно и кончаетъ жить. И все, и больше ничего. Такъ и написала: «прощай, сестрица-кузина, силъ моихъ нѣтъ».

Свѣтъ мнѣ тутъ и открылся. На почту мы съ ней на таксъ покатили, ужъ она командовала. Стойкомъ тамъ написала письмо Катичкѣ, я ей говорила, чего надо. А она начитана хорошо, складно очень написала, какъ въ книжкахъ пишутъ. А вотъ чего писала: «пошлю тебѣ смѣртное письмо... была я у католички, выпытала письмо, и вотъ тебѣ посылаю... ругай не ругай, а не повернешь... измучилась я, мнѣ Господь навелъ мысли, съ тѣмъ и поѣхала, всѣ муки приняла, всю правду нашла... и ни одинъ человѣкъ про то не знаетъ, и Василь Никандрычъ не знаетъ, и теперь будешь знать, какой онъ вѣрный тебѣ женихъ былъ...» Все ей сказала. Толстый пакетъ купили, и то письмо, католичкино, туда положили, послали штраховымъ, не пропадетъ. И чтобы безпремѣнно католичкѣ возвратить, она очень благородно поступила, подалась на правду.

И смотрите, барыня... подалась, вѣдь, на правду! И словъ у меня... ну, какія у меня слова, — а подалась. То же и у ней няня своя была, и съ одной стороны мы съ ней... Господь ее и наставилъ. Не пожалуюсь, барыня, все-таки ко мнѣ люди снисходили. Всякаго человѣка ласка беретъ.

Сколько-то дѣнь прошло — телеграмма мнѣ! Отъ Катички. Такъ руки и затряслись. А никого дома нѣтъ. Ночью ужъ, — а я сколько безъ памяти лежала, сердце совсѣмъ зашло... — ночью ужъ, Марѳа Петровна воротилась съ дачи, позвала сосѣдскую барыню, она мнѣ и прочитала. А то — лежу на полу, силъ нѣтъ подняться... — думаю: помру — не узнаю! Ну, барыня капельвѣ давала, положили меня на постелю, она и прочитала. А вотъ че-

го написано, на телеграммѣ... Охъ... что-то, барыня, мнѣ... охъ... въ глазахъ тѣмно.. мухи все... охъ, Господи... Вотъ, покорно благодарю... водички... выпью... — — — — Да не могу не... успокоиться-то... какое дѣло-то! Маленько отдышалась, лучше... Написала она, Катичка моя... — «милая моя ня-ничка... цѣлую твои ручки... и глазки... старенькія ручки... скоро прїѣдемъ оба... пишу тебѣ письмо... все хорошо». Больше ничего. Все...

Ничего это, барыня... отплачусь — легче будетъ. Не горевыя слезы... всѣ дни плачу... зарадуюсь — и заплачу. Ну, вотъ ѣ все. На скатерку пролила, простите... руки какія, трясутся все. Покорно благодарю, не надо капелекъ, ничего. Вотъ и хорошо стало, чисто вижу.

Съ недѣлю тому — письмо. Сладилось у нихъ. И слава Богу. И Васенька написалъ мнѣ, и... рядушкомъ написали, дружки. Ну, и слава Богу. А вчера телеграмма пришла... перенугала... — на корабль садятся! Сегодня у насъ что... четвергъ?.. Значить, вчера... въ среду, на корабль садятся. Ну, и слава Богу.

Вотъ и хожу, расхаживаю себя... силъ нѣтъ сидѣть-ждать. Другую ночь не засну, сердце подкатываетъ, вотъ сюда вотъ... какъ комъ стоитъ. Смотрю на часики на ее, вонъ какіе хорошіе... минуточки считаю, какъ тикаютъ, стрѣлочка ползетъ. И все мнѣ куда-то надо... все куда-то спѣшу-спѣшу... Ну, что ужъ Господь дастъ. Поминать вотъ все стала, лежу ночью... какъ она, Катичка моя... что ей, двѣнадцатый никакъ годокъ шелъ?.. говорила она мнѣ все, разумная такая, умильная... —

— «Вотъ, няничка, погоди... выйду я замужъ... я тебя успокою, не покину, въ богадѣльню не отдамъ... сама глазки тебѣ закрою... похороню тебя честь-честью... какъ Иванъ-Царевичъ... сѣраго волка хоронилъ...»

Ив. Шмелевъ.

Сашка

I.

Дядьку своего Матвѣя Семеновича впервые и уже навсегда Сашка возненавидѣлъ давно, лѣтъ шесть тому назадъ, когда дядька жестоко отодралъ его за разбитое футбольнымъ мячемъ окно въ кухнѣ.

Дралъ дядька казацкой ногойкой молча, почти равнодушно и только все крѣпче и крѣпче какъ обручемъ сжималъ ногами тѣло Сашки, вывшаго тонкимъ отъ боли, стыда и бѣшенства голосомъ. Все крѣпче сжимались колѣни — Сашкѣ нечѣмъ стало кричать. И тогда онъ, изогнувшись крестелемъ, дотянулся до дядькиной ноги и съ упоеніемъ впился въ нее зубами.

— Паршивый чортъ! — закричалъ дядька слоновымъ голосомъ и разжалъ ноги. Сашка, придерживая штаны, бросился изъ комнаты. На порогѣ ему стало дурно. Онъ наклонился къ плевательницѣ и его всего покорчило въ тошной судорогѣ.

Послѣ этого Матвѣй Семеновичъ больше не трогалъ Сашку — махнулъ рукой. И на все, что бы ни продѣлывалъ потомъ Сашка, онъ смотрѣлъ съ угрюмымъ равнодушіемъ, будто бы даже довольный нѣсколько, что тотъ растетъ именно такимъ подлецомъ, какимъ онъ и представлялъ его себѣ, — весь въ покойнаго своего родителя.

И когда Матвѣю Семеновичу докладывали о томъ, что Сашка подорвалъ порохомъ курятникъ или выкрасилъ въ зеленую краску копыта лошадей, и приводили самого

Сашку, растрепаннаго и угрюмага, онъ брезгливо и внимательно разсматривалъ его черезъ пенсэ, вскидывалъ крупными плечами и говорилъ почти весело:

— Чудаки! Чего же другого вы хотите отъ этого фрукта? Ну, что я могу съ нимъ сдѣлать? Удавить? Ха! То ли еще будетъ, когда онъ вырастетъ...

И уходилъ къ себѣ, сверхъестественно огромный, ухмыляющійся. Сашка цѣплялся ему въ спину кукишемъ, какъ пистолетомъ.

Но иногда Сашка уставалъ отъ вѣчнаго напряженія быть всегда на чеку, быть бодрымъ, злымъ и нелюдинымъ, и ему хотѣлось стать чистымъ и добрымъ мальчикомъ. И какъ можно поскорѣе.

Нѣсколько дней онъ ходилъ съ кроткими помаргинающими глазами, молился на ночь Богу и говорилъ тихимъ, мягкимъ голосомъ, но это только неприятно пора жало домашнихъ — не довѣряли. Онъ обижался, падалъ духомъ и чувствовалъ, что гибнетъ.

И точно: въ него опять вселялся безпокойный и мучительный бѣсъ озорства, и онъ, самъ ужасаясь своему паденію, откалывалъ какую-нибудь ужь совсѣмъ невѣроятную штуку. Въ домѣ ахали, разводили руками. Дядька похохатывалъ, хотя и не совсѣмъ отъ души.

— Это цвѣтики, ягодки впереди, говорилъ онъ.

А Сашка думалъ:

— Я погибшій мальчикъ!

И ему было грустно.

Къ девяти годамъ семинаристъ Іона Сіонскій выучилъ Сашку счету и письму и съ нѣкоторой опаской доложилъ Матвѣю Семеновичу, что племянникъ его вполне подготовленъ для поступленія въ корпусъ. И не совралъ: экзамень Сашка съ трудомъ, но выдержалъ и остался въ Тифлисѣ. Впервые за эти годы Матвѣй Семеновичъ вздохнулъ съ облегченіемъ и занялся своимъ заводомъ и любовницами.

Женщинъ обычно мѣнялъ онъ ежегодно, но относилъ

ся къ нимъ хорошо и денегъ не жалѣлъ. Были всякія: и изъ шантановъ, и изъ прислугъ, и изъ приличныхъ семей; но всѣ молодыя, тихія и обязательно съ каштановыми волосами. — «Горѣлыми сливками пахнутъ» — въ добрую минуту пошучивалъ съ пріятелями Матвѣй Семеновичъ.

Годы шли, женщины мѣнялись, Матвѣй Семеновичъ былъ все такъ же несокрушимъ, жаденъ къ работѣ, ѣдѣ, любви и только передъ самой революціей началъ подкрашивать жидкіе калмыцкіе концами книзу усы надъ широкимъ и крѣпкимъ какъ лошадиное копыто подбородкомъ. Онъ полилъ и становился все важнѣе и молчаливѣе. Дѣла его на заводѣ шли отлично.

Сашка учился въ корпусѣ и домой пріѣзжалъ только на лѣто и каждый годъ вырасталъ до неузнаваемости. Нравомъ же онъ почти не измѣнился — хулиганилъ по прежнему.

Узкоплечій, долгоязыкій, съ дѣвически нѣжнымъ лицомъ, онъ все болѣе и болѣе, особенно чудесными глазами распутнаго херувима, походилъ на своего покойнаго отца.

Учился онъ скверно, изъ класса въ классъ переходилъ съ передержками и относился къ этому вполне равнодушно, мечтая только о томъ, чтобы какъ нибудь кончить шестой и опредѣлиться въ юнкерское училище. Въ этомъ дядька подерживалъ его вполне, ибо полагалъ, что военная служба какъ разъ создана для такихъ, какъ Сашка, оболтусовъ и лѣнтыевъ.

Говорилъ съ ядовитымъ соболѣзнованіемъ:

— Какъ разъ по твоему уму саблемахательный этотъ факультетъ!

Каждое лѣто Сашку репетировалъ похожій на умную рыжую гориллу, сутулый отъ застѣнчивости и ураганныхъ мыслей юноша съ огромными плоскими ступнями, синеватыми, почти до колѣнъ, ручищами, мистикъ и пьяница, сынъ мѣстнаго протоіерея студентъ богословъ Іона

Сіонскій, единственный человѣкъ, котораго Сашка любилъ, хотя грубовато и капризно, но любилъ. Онъ былъ дѣтъ на шесть старше Сашки, очень ученъ, но обидной разницы между собой и имъ Сашка не ощущалъ и вѣшнѣ не уважалъ его мало.

Выпивши Сіонскій былъ очень веселъ: танцевалъ индѣйскій танецъ и сдавленнымъ голосомъ, будто подавившись, пѣлъ шаловливыя французскія пѣсенки о любви, выговаривая слова какъ по латыни: всѣ буквы. На похмѣлье же былъ онъ мраченъ, постился и все вздыхалъ:

— Охъ-хо-хо. Искушеніе. Прости Господи...

II.

Этой зимой Сашка впервые узналъ женщинъ, узналъ въ срамномъ домѣ на азіатской сторонѣ Тифлиса, гдѣ улочки по восточному кривы, вонючи, путанны и полны персовъ съ крашенными бородами, кинтошекъ, босяковъ и гдѣ каждую ночь рѣжутся ножами, пьютъ араку и съ какой-то дьявольской обезьяней похотью мучать паршивенькихъ черномазыхъ дѣвченокъ, одѣтыхъ пестро и грязно.

Ее звали Сиранушъ, она была армянка. На другой день въ памяти отъ нея остались замученные глаза, вялые бугорки груди, браслетъ на маленькой волосатой рукѣ и еще осталась мгновенная неглубокая жалость. Какъ къ раздавленной собаченкѣ.

Но въ общемъ это прошло какъ-то незамѣтно, и Сашка былъ даже нѣсколько разочарованъ, ибо въ разговорахъ въ кадетской уборной все это представлялось ему значительно занимательнѣе.

Угрызеній совѣсти и мукъ, какъ нишуть въ книгахъ, онъ тоже не испытывалъ, не испытывалъ вообще ничего кромѣ страха заболѣть дурной болѣзною, а потомъ, когда всѣ сроки для заболѣванія прошли, забылъ и объ этомъ.

А кромѣ того было дѣло и поважнѣе — футболъ. Кадетская футбольная команда готовилась къ матчу съ гимназистами, и Сашку, какъ центръ форварда и всю надежду команды, цѣлыми днями тренировали на плацу, и онъ вытянулся, какъ глиста, носъ его заострился, но пасы, шуты и бѣгъ его вызывали общее восхищеніе. Только преподаватели были сухи и суровы и щедро лѣпили колы.

И если бы не революція и не боязнь наставниковъ, что ихъ поколотятъ Сашкины поклонники, распустившіеся на свободѣ кадеты, — не видать бы ему шестого класса, какъ своихъ ушей. Теперь же его все-таки перевели.

Матчъ былъ великолѣпенъ: Сашка игралъ, какъ чортъ, вбилъ четыре гола, и гимназисты ушли съ поля нахмуренными барбосами, подъ свистъ и улюлюканье.

И въ тотъ же день на радостяхъ Сашка опять попалъ на уличку, надъ Курюю.

Сиранушъ тамъ уже не было, — кажется, заболѣла. Въ комнату съ нимъ пошла другая широкоплечая немолодая женщина съ юродивыми глазами, и послѣ этого вечера Сашка началъ думать о женщинахъ подолгу съ мутнымъ наслажденіемъ, и какъ-то сразу голосъ сталъ у него пониже и погуще.

Недѣли двѣ, пока были деньги, онъ шлялся по кабакамъ и пьяный умолялъ широкоплечую женщину бѣжать съ нимъ въ Америку.

Женщина вяло отмахивалась:

— Безумный челавакъ!

А Сашка лѣзъ въ карманъ за бульдогомъ, самъ хорошо не зная, палить ли въ женщину или въ себя.

Потомъ деньги кончились.

Тутъ въ довершеніе всѣхъ бѣдъ, не то большевики, не то грузины, не то тѣ и другіе вмѣстѣ забрали корпусъ подъ какое-то учрежденіе, а неразъѣхавшихся еще на лѣто кадетъ пообѣщали вырѣзать. Оставалось одно — ѣхать къ дядькѣ. Спорѣвъ кадетскіе погонь, Сашка зайцемъ погрузился на уходившій на сѣверъ составъ.

Бхать ему пришлось дня два, на крышѣ, держась за какую-то трубу съ колпачкомъ, и домой онъ пріѣхалъ съ обвѣтреннымъ до крови лицомъ, съ закопченными ноздрями, и видъ у него былъ дикій, разбойничій и жалкій. Впавшіе глаза его слезились.

Дядька оглядѣлъ его съ ногъ до головы понимающимъ взглядомъ, будто отлично зналъ и про женщинъ, и про винишко, и про проигранные въ «двадцать одно» часы-браслетку, но не сказалъ ничего и только подумалъ про себя, какой онъ все-таки умный и дальновидный человекъ — не ошибся въ Сашкѣ: подлецомъ растеть! Впрочемъ ему казалось, что онъ никогда и ни въ чемъ ошибиться не можетъ.

И онъ сказалъ только:

— Очень хорошъ!

Сашка махнулъ рукой и пошелъ отмываться.

И потомъ, уже вымытый, сразу ослабѣвъ, трогая тыломъ ладони горячее лицо свое, подумалъ:

— Эхъ! И пожалѣть-то некому!

И какъ всегда, дома онъ чувствовалъ себя, какъ человекъ, котораго едва терпятъ, надъ которымъ можно и посмѣяться и сказать грубость, и котораго въ одно прекрасное время могутъ просто вытолкать въ шею. Прежде это было не такъ замѣтно — малъ былъ. Но теперь холодная неприязнь дядьки, его знакомыхъ и даже прислуги была мучительна.

Кругомъ были одни враги, и Сашка привычно настроивался, былъ то слишкомъ задорно веселъ, то подавленно-грустенъ, то ненавидѣлъ всѣхъ до судорогъ, то хотѣлось ему пойти къ дядькѣ въ кабинетъ, гдѣ тотъ съ вонючей сигарой въ зубахъ составлялъ хитроумныя записки въ фабричный комитетъ, доказывая необходимость оставить его директоромъ его же собственного, теперь отобраннаго властью завода, сѣсть рядомъ съ нимъ на ручку его кресла и хорошо и душевно поговорить о покойной матери, о заводѣ, поговорить такъ, чтбы потомъ

при встрѣчѣ дружески улыбаться другъ другу и чтобы ясно было потомъ на душѣ.

Но сдѣлать такъ духа, конечно, не хватало, и онъ угрюмо горбился, журавлиными шагами ходилъ по садику или у себя въ комнатѣ и думалъ о томъ, какъ дьявольски трудно жить на свѣтѣ.

Съ легкой враждебностью отнеслась къ нему послѣдняя дядькина любовница — бѣженка съ сѣвера, дочь замученнаго въ Чекѣ генерала, Глаша.

То, что она, бывшая институтка, генеральская дочь, живетъ съ Матвѣемъ Семеновичемъ, этимъ недобрымъ и страшнымъ ей человѣкомъ, живетъ только потому, что, поступивъ къ нему въ контору, не могла разобратъся въ толстыхъ разграфленныхъ и тяжелыхъ, какъ дубовыя доски, книгахъ, и онъ хмуро предложилъ ей стать его любовницей или убираться на всѣ четыре стороны, и у нея не хватило силъ поступить такъ, какъ должна была бы поступить на ея мѣстѣ гордая и чистая дѣвушка, — все это, казалось ей, должно было вызывать у всѣхъ прервѣніе и жалость. И у Сашки, разумѣется, тоже.

И оба они ходили надутые и важные, ожидая другъ отъ друга всяческихъ подвоховъ и пакостей.

III.

Однажды послѣ урока Сашка въ разстегнутой на груди рубашкѣ лежалъ на диванѣ и съ потнымъ и строгимъ лицомъ пускалъ судорожно плывущія кверху табачныя кольца, а Сіонскій, мотая штанинами и спотыкаясь на все одинъ и тотъ же ненужно стоявшій посерединѣ комнаты стулъ, весь погруженный въ свои мысли, шатался изъ угла въ уголъ. Онъ былъ чѣмъ-то возбужденъ, озадаченъ, покручивалъ головой и потиралъ руки.

Быль іюль.

Въ дальнемъ углу комнаты, желтомъ отъ заходящаго

солнца, въ широкомъ лучѣ изъ окна пыльно и знойно что-то кружилось, поблескивало.

Внизу въ садикѣ кучерь Антипъ поливалъ цвѣты, и было слышно, какъ шипитъ и потрескиваетъ кипка, и какъ онъ волочить ее по песчаной дорожкѣ. Въ окно пахло мокрой травой и сладковато цвѣтами.

Какъ вдругъ этажемъ выше, гдѣ жила Глаша, тоненько забулькалъ рояль, оборвался на крутомъ и звонкомъ поворотѣ, потомъ, вѣроятно подумавъ, Глаша заиграла что-то очень длинное, безпокойное и громкое. Сіонскій остановился посерединѣ комнаты возлѣ стула и замеръ на полусогнутыхъ ногахъ, прислушиваясь. Лѣвая припухшая щека его поползла въ дурацкой улыбкѣ.

А потомъ, когда рояль замолкъ, а Антипъ оглушительно заоралъ кому-то: — Гей, крантъ завернуть, та изъ въ ту сторону, разява, — Сіонскій подошелъ къ Сашкѣ, сѣлъ возлѣ и, положивъ ему на плечо тяжелую руку, сказалъ стыдливо:

— Саша, я влюбленъ!

И скосилъ оба глаза на конецъ носа — подавленный.

Сашка сжалъ губы, схватился за голову и затрясся, какъ въ рыданіи. Сіонскій дико посмотрѣлъ на него, разомъ шагнулъ на подкомнаты и исчезъ за дверью.

Успокоилъ его Сашка съ трудомъ, дня черезъ два. И тогда, раскиснувъ, со слезами въ маленькихъ добрыхъ и умныхъ медвѣжьихъ глазахъ своихъ, Сіонскій сказалъ, что влюбленъ онъ въ Глашу, влюбленъ давно, и что, какъ какъ только кончитъ Академію, несмотря на теперешнее Глашино положеніе въ домѣ, предложитъ ей руку и сердце, и что Сашка, какъ другъ, долженъ помочь ему въ этомъ.

Сашка кивалъ головой, пред. н. хмурился и раздувалъ ноздри.

— Иона, можешь рассчитывать на меня, — говорилъ онъ.

А Сіонскій, заикаясь, путаясь въ словахъ, и красный, какъ индюкъ, тянулъ:

— Конечно, я понимаю, что я не красивъ... но, съ другой стороны, такъ сказать, симпатиченъ и дже-дже-джен-тельменъ.

А къ вечеру они оба напились въ Антиповой комнатѣ за кухней, гдѣ називались часто.

И какъ всегда, напившись, Сіонскій танцевалъ индѣйскій танецъ, размахивалъ ручищами и пѣлъ французскія пѣсенки на латинскій ладъ, какъ всегда помалкивалъ и хитрѣлъ съ каждой рюмкой Антипъ, чудесно горѣли озорные глаза Сашки.

Обхвативъ прижатая къ груди колѣна, онъ съ ногами сидѣлъ на стулѣ и, улыбаясь пьяно и нѣжно, думалъ о томъ, что скоро жизнь его какъ-то измѣнится, что, можетъ быть, его полюбитъ какая-нибудь чудесная дѣвушка, и что тогда они уѣдутъ или въ Крымъ, или въ удивительную страну, что за океаномъ — Америку, куда онъ еще позпрошлымъ лѣтомъ собирался бѣжать вмѣстѣ съ третьеклассникомъ Тиле..

— Я умираю, — вдругъ грустно сказала Сіонскій, схватился за грудь и рухнулъ на Антипову койку, какъ подстрѣленный.

Ему подложили подъ голову подушку, онъ повелъ безумными глазами по стѣнкѣ, открылъ ротъ и сейчас же захрапѣлъ.

Тогда Сашка далъ Антипу три рубля и попросилъ его осѣдлатъ Кабура, и Антипъ, подомавшись и похамивъ немного, задулъ свѣчку и пошелъ въ конюшню. Онъ тоже былъ пьянъ и ненавидѣлъ весь свѣтъ. Ругаясь сквозь зубы, онъ съ трескомъ распахнулъ двери конюшни и пропалъ въ теплой и вонючей мглѣ.

Черезъ минуту въ углу конюшни ало-желтой кляксой зашипѣла спичка, изъ тьмы показалась Антипова рука, борода, все лицо его блѣдное, злое, онъ потыкалъ спичкой въ фонарь, и вдругъ все мгновенно озарилось неяр-

кимъ и бѣднымъ свѣтомъ — стали видны навѣшенные на стѣнахъ хомуты, шлеи, вожжи, грубые пыльные балки наверху, вороха сѣна, круто повернутыя къ огню прекрасныя и безпокойныя морды лошадей.

Красавецъ Кабуръ изумленно бѣшенными глазами посмотрѣлъ на Антипа, крѣпко ударилъ въ деревянный полъ копытомъ и весь затрясся, задрожалъ въ рыдающемъ ржаніи.

— Танцуй, танцуй, стерва, — закричалъ Антипъ и, опасаясь конскаго зада, зашелъ въ станокъ.

У Сашки больно колотилось сердце, когда онъ помогаль Антипу затягивать подпруги и поглаживалъ тугую и гладкую, какъ резина, шею жеребца. Жеребецъ дышалъ взволнованно, легко и пахнувшими овсомъ губами ловилъ Сашкино ухо. И тутъ Сашка почему-то подумалъ о Глашѣ — стало тревожно. Онъ засмѣялся и поцѣловалъ Кабура въ храпокъ.

Осѣдланнаго жеребца осторожно, черезъ задній дворъ, чтобы не слышали въ домѣ, вывели на улицу.

Ухватившись за высокую казацкую луку, Сашка сунулъ ногу въ стремя, махомъ сѣлъ въ сѣдло, но не успѣлъ нащупать ногой второго стремени, какъ Антипъ пьяно гикнулъ, огрѣлъ жеребца спрятаннымъ за спиной кнутомъ, и Кабуръ далъ свѣчку, выскѣкъ подковами огненныя брызги и рванулъ вдоль по темной улицѣ. Сашка мотался у него на боку.

И топящіеся у городского сада солдаты, гуляющія дѣвки, слобожане шарахнулись въ разныя стороны, когда какой-то юноша безъ шапки, съ задранными до колѣнъ штанами, согнувшись въ сѣдлѣ, видѣніемъ мелькнулъ на расластавшемся въ бѣшенномъ скокѣ конѣ мимо освѣщенныхъ воротъ. Одинъ солдатъ выхватилъ огромный револьверъ и выстрѣлилъ, словно ляпнулъ дубиной по забору. Другой засвисталъ соловьемъ-разбойникомъ.

Только за кладбищемъ Сашка совсѣмъ справился съ жеребцомъ и пустилъ его шагомъ, и Кабуръ, чихая и ше-

веля твердыми ушами, бокомъ заплясалъ по густо пыльной дорогѣ къ желѣзнодорожной станціи, гдѣ ежились маслянистые и тонкіе лучики рѣдкихъ огней. Туда же, весь въ дыркахъ свѣтлыхъ окошечекъ, легко и быстро ползъ ночной поѣздъ. Какъ игрушечный потѣшно и голосисто гукать паровозъ, и изъ-подъ брюха у него сыпался красный жаръ.

Огромной рыжей лысиной лѣзла изъ-за стариннаго кургана поздняя луна, и все туманно-серебряннѣе, все мертвѣе, все глуше становилось въ степи, все ярче холоднымъ и влажнымъ блескомъ наливались крупныя звѣзды.

У Сашки между лопатокъ текъ восторженный холодокъ, онъ щурился на звѣзды, помахивалъ ногойкой, и казалось ему, что и Кабуръ, и онъ самъ, ангельски легкій и строгій, какъ плывутъ въ безкрайнее ночное небо. И вхвать такъ хотѣлось безконечно.

Вернулся домой онъ поздно, часа въ два. Огней въ домѣ уже не было, розовѣло только одно въ Глашиной комнатѣ, и черная тѣнь дядьки въ халатѣ и ночномъ колпакѣ колыхалась на занавѣскѣ. Во рту у него была сигара — казалось, что дядька стоитъ съ высунутымъ языкомъ, и конецъ языка дымится.

Дядька взбрасывалъ плечами и то поднималъ, то опускалъ лѣвую мохнатую руку, а потомъ вдругъ, разозлясь, выдернулъ сигару изо рта и сердито, съ поднятыми локтями, шагнулъ вглубь комнаты. Вѣроятно, онъ ссорился съ Глашей.

И опять, какъ давеча въ конюшнѣ, Сашка подумалъ о ней, и опять ему стало тревожно и радостно, опять трепыхнулось сердце. Онъ поднялъ голову, но окна уже видно не было — свѣтъ потухъ.

И онъ, тяжело задышавъ, представилъ себѣ, какъ дядька грузно приваливается къ Глашѣ, и какъ она, морщась въ темнотѣ, отпихиваетъ его слабыми руками.

IV.

Какъ всегда, утромъ за чаемъ дядька съ угрюмой внимательностью привыкшаго ко всякимъ письмамъ дѣлового человѣка читалъ свою корреспонденцію, толстымъ двухконцовымъ красно-синимъ карандашомъ помѣчалъ на листкахъ дату полученія, посапывалъ, тянулъ черезъ усы янтарный чай и не говорилъ ни слова.

У бѣлаго самофара, уродливо отражаясь въ его начищенномъ боку блѣднымъ лицомъ, хозяйничала Глаша. На ней былъ розовый халатикъ и изъ-подъ небрежно застегнутаго на груди отворота бѣлѣла ея тонкая шея, кружево рубахи, голубая ленточка. Бѣлая косынка на головѣ дѣлала ее больной, чистой и печальной.

Она рисовала длиннымъ и бѣлымъ пальцемъ по мокрому подносу зигзаги, круги, носатыя рожи, и ротъ ея, розовый и дѣтскій, былъ сжатъ внимательнымъ бантикомъ. Скошенные на палецъ глаза ея были печальны, и строги.

Сегодня впервые Сашка разсмотрѣлъ ее хорошо, и она блѣднымъ нѣжнымъ лицомъ своимъ съ бровями въ разлетѣ, дѣвичьей ясностью и печалью взора напомнила ему ту единственную въ мѣрѣ женщину, овальный портретъ которой висѣлъ у него надъ кроватью — мать.

Уже подростки, Сашка отъ дядьки слышалъ, что отецъ его былъ страшный пьяница и женолоубъ, и что онъ и былъ виноватъ въ ранней смерти матери — выпила судемы отъ хорошей жизни. Это такъ поразило отца, что онъ едва не постригся въ монахи. Но тутъ началась японская война. Онъ поѣхалъ добровольцемъ и гдѣ-то въ Манчжуріи погибъ въ стычкѣ съ японскимъ разбѣдомъ.

И даже дядька, угрюмый дядька, о матери вспоминалъ съ грустью.

— Да, это былъ человѣкъ — угрюмо и вѣско говорилъ онъ. Не для моего покойнаго брата.

И кончалъ съ сухойтой злостью:

— Да и ты не въ нее пошелъ. Въ папенку. Вылитый.

И сегодня, болтая въ стаканѣ ложечкой, Сашка влажными глазами смотрѣлъ на Глашу и улыбался разсѣянно и грустно.

Окончивъ рисовать на подносѣ, Глаша быстро повела пальцемъ по самовару, обожглась, охнула, широко раскрыла глаза и сунула палецъ въ ротъ. Сашка фыркнулъ въ стаканъ, Глаша сердито повела глазами въ его сторону, и онъ покраснѣлъ. И на нихъ обоихъ, нагнувъ, по бычьей голове, черезъ пенснэ глядѣлъ дядька, и этотъ угрюмый недоумѣнный взглядъ его какъ-то сразу сблизилъ ихъ.

— Точно маленькіе, — пробурчалъ онъ, снялъ пенснэ и съ пачкой писемъ въ рукахъ, тряся припухшими за ночь щеками, вышелъ вонъ.

Сашка допилъ чай, скрутилъ папироску и, вставъ, вѣжливо приставилъ одну журавлиную ногу къ другой, кланясь Глашѣ. Она отвѣтила невнимательно и гордо. «Задается», — подумалъ Сашка, надулся и вышелъ въ садикъ.

Тамъ было зелено, знойно. Двѣ желтыхъ бабочки лепестками порхали надъ фонтаннымъ амуромъ, пухлолицымъ мальчишкой, непристойно бившимъ кверху дробящейся алмазной струей.

Сашка, посвистывая маршъ «Старые друзья», походилъ по душнымъ въ солнечныхъ просвѣтахъ аллеякахъ, искусно вырѣзалъ на спинкѣ скамьи свои инициалы А. Д. — Александръ Добровъ, и почувствовалъ, что послѣ вечерняго пьянства его мутить, и вкусъ во рту гадкій.

— Эхъ, эхъ, — покрывалъ онъ и легъ въ гамакъ, подвѣшанный между двумя акаціями. Длинные ноги его торчали кверху, и онъ въ короткомъ гамакѣ казался сломянымъ посерединѣ. Густыя шевелящаяся тѣни вѣтокъ и листьевъ испятели его рубаху. Косой ослѣпительный лучъ жегъ високъ, какъ огнемъ.

Сашка закрылся отъ проклятаго луча локтемъ и на-

чалъ покрываться испариной и пофукивать губами, засыпая.

Немного спустя, заскучавъ отъ жары и бездѣлья, Глаша съ плоскимъ китайскимъ зонтикомъ, въ бѣлыхъ туфелькахъ, тоже вышла въ садъ и еще издали увидала начищенные, съ солнечными шариками на носкахъ, сапоги Сашки. Она подошла ближе, — Сашка спалъ крѣпко и неразборчиво бормоталъ сонный вздоръ. Острый безволосый и нѣжный, какъ у дѣвушки, подбородокъ его смуглѣлъ изъ-подъ рукава рубахи. Глашѣ стало его отчего-то жаль.

Какъ вдругъ надъ ухомъ ея туго, какъ брошенный камень, прожужжала огромная желтая пчела и кругами начала спускаться къ Сашкѣ, словно приноравливаясь половчѣе ужалить его. Гудѣла она все яростнѣе, все басовитѣе, злющая и старая.

И когда плеча золотой пулькой уже совсѣмъ близко висѣла надъ Сашкинымъ лбомъ, Глаша, боявшаяся пчелъ такъ же, какъ змѣй и таракановъ, поблѣднѣла отъ гадливой ярости, взмахнула зонтомъ и хотѣла изо всей силы ударить по пчелѣ, но потомъ бросила зонть подъ кустъ, зажала уши и закричала страшно:

— Саша... проснитесь, миленькій, укусить...

Потомъ явственно увидала, какъ пчела сѣла ему на лобъ и даже, показалось ей, переплела ножки отъ кровожаднаго восторга. Сашка покорчился въ гамакѣ.

И потомъ, когда Сашка, растерянный, съ пересохшимъ отъ жары ртомъ, сидѣлъ на гамакѣ, а Глаша прикладывала мѣдную пряжку отъ своего пояса ему на лобъ, они разомъ подумали о томъ, что напрасно до сихъ поръ дичились и поглядывали другъ на друга съ опаской.

Глаша стояла совсѣмъ близко, ея платье касалось колѣнъ Сашки. Отъ нея пахло хорошими сладковатыми духами— Сашкѣ почему-то представился Версальскій паркъ, который онъ видалъ недавно на картинкѣ, бархатная зелень подстриженныхъ газоновъ, прудъ, змѣиноголовые

лебеди, дама въ кринолинѣ и склонившійся въ поклонѣ передъ ней съ подогнутой ножкой кавалеръ въ камзолѣ и со шпагой.

И тутъ на гамакѣ Сашкѣ впервые стало совѣстно и гадко думать о Тифлисѣ, о Сиранушѣ и о той плечистой, съ юродивыми глазами, женщинѣ, у которой онъ бывалъ передъ отъѣздомъ. И, какъ въ дѣтствѣ, ему захотѣлось быть кроткимъ и чистымъ.

Одно потомъ мучило его — Сіонскій: вмѣсто того, чтобы помочь ему, онъ сталъ его соперникомъ, и впервые милый и нелѣпый другъ его былъ ему непріятель.

Сашка думалъ:

— Любовь къ женщинѣ сильнѣе всего!

И счастливо и горько усмѣхался.

Послѣ обѣда пришелъ Сіонскій — заниматься російской словесностью.

Какъ всегда послѣ кутежа, онъ былъ подавленъ, грустенъ, и рожа его подъ рыжими вздыбленными волосами была припухшая.

Онъ потрясъ своей огромной говьягаго цвѣта лапшей руку Сашки, выпилъ полграфина воды, подумалъ и началъ ходить по комнатѣ, натываясь на стулья и сплевывая въ плевательницу, когда доходилъ до угла. Обыкновенно несвязная рѣчь его была сегодня совсѣмъ ужасна. Онъ кашлялъ, махалъ руками и говорилъ о томъ, что романтизмъ полагается разсматривать съ трехъ точекъ зрѣнія, а Сашка не слушалъ его и думалъ, что, конечно, Глаша полюбить его, а не Сіонскаго, такую уродину.

Разсказавъ о романтизмѣ съ точки зрѣнія психологической, Сіонскій допилъ вторую половину графина, опять помялъ руку Сашки и, мотая штанинами просиженныхъ чесучевыхъ брюкъ, ушелъ домой, — клонило ко сну. Сашка его не удерживалъ.

Послѣ ухода Сіонскаго, онъ досталъ изъ письменнаго стола бумагу получше, окунулъ перо въ чернила, взялъ конецъ ручки въ зубы и задумался, точь-въ-точь какъ

безнадежно задумывался на урокъ русскаго языка, когда весь классъ усердно строчилъ что-нибудь вроде «Прототипы Тургеневской дѣвушки въ русской литературѣ». Какъ и тогда, накопало раздраженіе и злость.

Черезъ полчаса онъ отчаялся, въ десятый разъ клюнулъ перомъ въ чернильницу и съ маху жирно написалъ:

— Я васъ очень люблю, Глаша.

Потомъ неувѣренно и пожиже приписалъ:

— Умоляю отвѣтить.

И олять твердо съ выкрутасомъ: А. Добровъ.

Потомъ помучился, порвалъ письмо въ клочки, опять помучился и написалъ то же самое, только безъ расчерка подъ фамиліей.

V

Съ завода вечеромъ Матвѣй Семеновичъ пришелъ пѣшкомъ, весь оборванный, въ лыли, съ трясущейся головой.

Произошло дикое: рабочіе едва не убили его, его—Доброва, отъ одного взгляда котораго еще не такъ давно даже у самыхъ буйныхъ пропадало желаніе бастовать, выбирать какіе-то комитеты, ходить съ идиотскими пѣснями по улицамъ. И даже послѣ реквизиціи завода главою тамъ былъ все-таки онъ — умѣлъ ладить, съ кѣмъ надо. И была непоколебимая увѣренность, что рано или поздно все образуется и пойдетъ по старому.

Но сегодня ему стало ясно, что ничего не образуется, и одному Богу извѣстно, что ждетъ его впереди.

Началось съ пустяковъ: Матвѣй Семеновичъ приказалъ оштрафовать опоздавшаго на работу мастера Пинько. Пьяный со вчерашняго Пинько заплакалъ, пошелъ въ свое отдѣленіе — жаловаться товарищамъ. Былъ поне-дѣльникъ. У многихъ трещала голова, и хотѣлось хоть на комъ-нибудь сорвать похмѣльную злобу.

Рабочіе поломали два станка, выбили французскимъ

ключемъ зубы главному мастеру и, разъярясь окончательно, повалили къ конторѣ съ воплями:

— Бей паука! Въ турбину гада пузатаго!

Матвѣй Семеновичъ глянулъ внизъ во дворъ, гдѣ колыхались картузы, кепки, лохматые головы, и сердце его оледенѣло.

— У-у — бѣшено завывалъ гудокъ.

Ополоумѣвшій отъ страха кроткій старичекъ-бухгалтеръ, съ очками на кончикѣ носа, подбѣжалъ къ шкапу, выгребъ оттуда вороха бумаги и все пытался потомъ улечься на полку и закрыть за собою дверь — и не могъ. Лицо у него было дѣловое, строгое и совсѣмъ бѣлое. Матвѣй Семеновичъ мертво смотрѣлъ на него. Толпа грототала сапогами уже въ корридорѣ.

Отдѣлялся Матвѣй Семеновичъ только испугомъ и позоромъ.

Оттого ли, что былъ онъ теперь, обычно величественно-невозмутимый и холодный, очень жалокъ, оттого ли, что всѣхъ разсмѣшилъ улегшійся наконецъ въ шкапу старичекъ-бухгалтеръ, но его не убили и даже не ударили ни разу, а только свели внизъ, посадили на угольную тачку, вывели за ворота и вывалили тамъ въ канаву. Онъ полетѣлъ кувыркомъ, черезъ голову, но сейчасъ же всталъ, нашарилъ на животѣ болтающееся пенснэ, вскинулъ его на носъ и съ жалкимъ упорствомъ началъ карабкаться наверхъ. Глаза его были выпучены, ротъ открытъ, пенснэ поблескивало и трепыхалось на потномъ носу.

Матвѣя Семеновича нѣсколько разъ спихивали обратно въ канаву, онъ падалъ, надѣвалъ пенснэ, лѣзъ на четверенькахъ наверхъ — такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, его не вытащили за шиворотъ, оборваннаго, пыльнаго, всѣмъ противнаго.

Дальше мучить его не хотѣлось — надоѣлъ. Кто-то надѣлъ ему шляпу, какъ Наполеоновскую треуголку, концами къ ушамъ, кто-то легонько поддалъ ему въ задъ коленомъ, и онъ пошелъ по дорогѣ въ городъ, поматыва-

ясь, какъ пьяный. Вслѣдъ ему не зло, больше для порядка, ругались послѣдними словами. Онъ не слыхалъ ничего, отупѣвъ.

Бѣлая и пыльная дорога передъ нимъ то упрямо дыбилась кверху, то опала книзу, и онъ растерянно то присѣдалъ, то пятился назадъ и взмахивалъ руками, чтобы не упасть.

Окончательно очнулся Матвѣй Семеновичъ у себя въ кабинетѣ на диванѣ, весь разбитый, съ противно мокрой тряпкой на лбу. Правая рука его была забинтована, но боли не было. Въ ухахъ ровно, какъ въ телефонной трубкѣ, шумѣло.

На ночномъ столикѣ, перенесенномъ изъ спальни, стоялъ керосиновый ночникъ съ абажуромъ грушей, полный стаканъ воды, а возлѣ него термометръ, сигара и спички — все знакомое, домашнее, связанное съ легкими, вродѣ отдыха, болѣзнями.

Но все-таки чего-то не хватало, и Матвѣй Семеновичъ прикрылъ глаза и сталъ медленно и тяжеловато думать, чего именно.

И вдругъ вспомнилось: широко открытыя заводскія ворота, блѣдная высь знойнаго неба въ ихъ пролетѣ, гоготь, толчки тачки на крупныхъ булыжникахъ, которыми былъ вымощенъ дворъ, самъ онъ навзничъ на тачкѣ съ прижатыми къ животу колѣнями, край канавы, безпомощно позорное кувырканіе — тутъ какъ-то извнѣ ощутилъ онъ грузность и немощность своего тѣла, и это было самое страшное, — когда въ глазахъ, мѣшаясь, мелькало то небо, то чьи-то ноги, то рыхлая въ вялой травѣ покатошь канавы, боль въ шеѣ, солоноватая кровь во рту отъ прикушеннаго языка, потомъ дыбящаяся дорога, блѣдное съ огромными и свѣтлыми глазами лицо Глаши, влажное и плотное прикосновеніе компресса — все, что было въ этотъ сумасшедшій день.

Онъ приподнялся на локтѣ и вдругъ замѣтилъ, что го-

лова его мелко трясется, и впервые въ жизни ему стало жалко себя — одинокаго.

— Глаша, — немощнымъ басомъ, самъ умиляясь своей кротостью и жадностью, позвалъ онъ, — Глаша...

И тутъ понялъ, что не хватаетъ ему Глаши, и что когда она придетъ, все будетъ хорошо.

И онъ опять закричалъ, уже злясь:

— Глаша, Глаша!

И мелко трясъ головой.

А въ это время въ столовой Глаша, похрустывая пальцами, строгимъ и дрожащимъ голосомъ говорила растерянному Сашкѣ:

— Нѣтъ, Саша, я слишкомъ грязна для васъ. Это увлеченіе, повѣрьте мнѣ. Это пройдетъ.

Она задохнулась, глаза ея покруглѣли, и мусть мучительнаго восторга была въ нихъ.

Сашка смирно, съ опущенной головой, стоялъ передъ ней, разглядывалъ на коврѣ рыжаго оленя съ чудовищными рогами и глоталъ слюну.

— А кромѣ того, — продолжала Глаша, поднимая къ нему милое барское, съ дрожащими уголками губъ, лицо, — я не могу бросить Матвѣя Семеновича въ такомъ положеніи. Вы вѣдь знаете, что я его любовница...

Она повернулась въ креслѣ, прижала скомканный въ шарикъ носовой платочекъ къ переносицѣ и взбросила и опустила сутулившіяся плечи.

— Глаша, — слюнявымъ голосомъ промямлилъ Сашка, собираясь сказать о вѣчной любви къ ней. — Глаша...

— ...аша, — вдругъ донеслось до нихъ невнятно и слабо, будто изъ колодца.

Глаша перестала поводить плечами, прислушалась.

— ...аша...а

— Зоветь! — сказала она, сжимая ротъ. — Зоветь. Спокойной ночи, Саша.

И быстро пошла по ковру, чуть склонивъ голову на бокъ, возбужденная своей строгостью и порядочностью.

А Сашка рѣшилъ:

— Застрѣлюсь къ чертовой матери!

Потомъ покусалъ губы, поскучалъ и пошелъ въ кухню, — хотѣлось людей.

Въ кухнѣ пахло борщемъ, свѣжимъ хлѣбомъ и немного мертвечиной.

За столомъ сидѣли трое: горничная — востроглазая полька Зося, кухарка Митревна и Антипъ — злой и пьяный. Онъ рассказывалъ, какъ на заводѣ мучали хозяйна, рассказывалъ подробно, привиралъ, съ хмурымъ удовольствіемъ. Митревна и Зося ужасались, цокали языками, но имъ, видимо, тоже было пріятно, что Матвѣй Семеновичъ такъ осрамился, и охали онѣ только потому, что такъ полагалось.

Молодецки, ладонью наружу уперевъ руку въ колѣно, Антипъ говорилъ:

— Почалы слисаря, воны и станки поразбывали, воны и взбудоражили всихъ.

Сашка сѣлъ верхомъ на табуретъ, сгорбился и съ вялымъ любопытствомъ взглянулъ на Антипа.

Антипъ покосился на него холодными мутноватыми глазами и, еще болѣе озлясь, продолжалъ:

— Злякався Матвѣй Семѣнычъ, прямо сказать, до отказу. Якъ почали его мордовать, якъ почали...

— Ой! — какъ отгавкнулась Митревна, древняя и бодрая старуха со втянутымъ ртомъ и родинкой съ горошину на носу, — настоящая Яга.

— Какой ужась! — сказала Зося.

Потомъ Антипъ началъ говорить, что его зовутъ въ большевицкую партію, и что онъ, можетъ быть, и запишется.

— Буду дѣ набудь у колѣгги робыть, — сказалъ онъ, невольно улыбаясь злой морденкой своей надъ огромной кучерской бородой вѣтникомъ.

Сашка поднялся и пошелъ къ себѣ наверхъ, страдая.

Ночью спалъ онъ скверно, часто просыпался, много курилъ и прожегъ папирсой простыню и рубаху.

А утромъ, не успѣлъ еще онъ, вялый и несчастный, расчесать передъ зеркаломъ мокрые отъ умыванія волосы, — пришли реквизировать квартиру и лошадей.

Веселый, рыжій, страшно костлявый человекъ ходилъ по комнатамъ, закрывалъ ихъ на ключъ, ключи клалъ къ себѣ въ карманъ солдатскихъ шароваръ, на дверяхъ писалъ мѣлкомъ:

— Тов. Подъяремный.

— Тов. Бергъ.

— Тов. Дудкинъ.

И вездѣ приписывалъ:

— Съ обстановк.

За нимъ, скользя по паркету, какъ лошади на льду, ходили мелкорослые солдаты — человекъ пять. Лица у нихъ были напряженныя.

Добровымъ оставили двѣ комнаты: одну Матвѣю Семеновичу съ Глашей, другую Сашкѣ.

Увидавъ Матвѣя Семеновича забинтованнаго и въ постели, рыжій искренно огорчился и велѣлъ принести изъ новой комнаты товарища Дудкина, гдѣ прежде жила Глаша, умывальникъ и подушки, чтобы удобнѣе было лежать больному.

Такъ и сказалъ:

— Не огорчайтесь, старичекъ, и поправляйтесь!

Матвѣй Семеновичъ трясъ головой, ротъ его былъ вяло полуоткрытъ.

А рыжій былъ уже у конюшни.

— Выводи, — оралъ онъ, — товарищъ кучеръ, замѣчательнаго буржуйскаго жеребчика!

Кабуръ вынесъ повисшаго у него на поводу съ раздутой бородой Антипа на дворъ.

Рыжій восхитился:

— Ай конекъ, будь ты проклятъ!

И хлопнулъ себя по тощимъ ляжкамъ.

Кабура осѣдлали Сашкинымъ сѣдломъ и не замѣтили, что хитрый жеребецъ, когда затягивали подпругу, раздулъ брюхо, чтобы она была послабѣе.

Изъ толпы солдатъ вразвалку вышелъ курносый парень съ огромными шпорами и полѣзъ на жеребца, какъ на заборъ, неуклюже и невнимательно. Кабуръ повелъ на него горящимъ глазомъ, но стоялъ смирно. А солдатъ, держась обѣими руками за луку, ерзая, устраивался въ сѣдлѣ, сопѣлъ, искалъ ногами стремяна и, наконецъ, пробурчалъ:

— Вожжи подайтя.

Но тутъ Кабуръ вздыбился, потомъ палъ на переднія ноги и такъ поддалъ задомъ, что солдатъ дугой, съ раскоряченными ижицей ногами, взлетѣлъ вверхъ и шлепнулся возлѣ конюшни навзничь. Одна шпора его глубоко вонзилась въ землю. Онъ дуракомъ сидѣлъ на землѣ, отдувался и все никакъ не могъ поднять ногу — мѣшала шпора.

Кабуръ съ завалившимся подъ брюхо сѣдломъ бѣсновался по двору.

Солдаты держались за животы и оглушительно хохотали.

Потомъ Кабура и остальныхъ лошадей увели подъ уздцы.

Вмѣстѣ съ солдатами ушелъ и Антипъ — вѣроятно, записываться въ партію.

Весь этотъ переполохъ немного отвлекъ Сашку отъ мучительныхъ мыслей, но когда солдаты, еще похихотавъ и погорланивъ у воротъ, ушли, опять сердце его безпокойно заняло, онъ опять насунился и, потирая радужновышневою шишку на лбу, началъ безъ толку бродить по двору, по корридору, зѣвать до ломящей боли подъ подбородкомъ и думать, что жизнь его кончена, и не застрѣлится ли ему взаправду.

Раза два въ корридорѣ онъ встрѣтилъ Глашу, — она несла какіе-то аптечные пузырьки съ ярлычками для Мат-

вѣя Семеновича. Она мелькомъ съ сестринской любовью, какъ показалось ей, посмотрѣла на него, и онъ вдругъ возненавидѣлъ ее и за этотъ взглядъ, и за озабоченный видъ, и за микстуры съ ярычками, и еще за что-то, — за что, и самъ не могъ понять.

— У-у, — лахудра! — рыкнулъ онъ себѣ подъ носъ кадетское словцо и сжалъ кулаки въ облегчающей веселой злости.

VI.

Къ вечеру во дворъ на двухъ подводахъ, гдѣ лежали тюки съ бумагами, перевернутые ножками вверхъ стулья и Ундервуды въ чехлахъ, прибыла канцелярш культипросвѣта.

Всѣмъ: и разгрузкой, и распаковкой бумагъ завѣдывала рослая, тяжеловатая, въ круглой артистической полумужской шляпѣ, женщина, — это была Бергъ, — и дрогали, огромные люди въ пропотѣвшихъ въ подмышкахъ рубахахъ, первые въ городѣ хамы и матершинники, покорно слушали ее.

Дудкинъ, бородатый, длинноволосый и щуплый человекъ въ русской рубахѣ, въ очкахъ, не то мужикъ, не то профессоръ, и тихій, очень прямой, съ прямымъ длиннымъ носомъ, должно быть страшно упрямый Подъяремный все время стояли въ сторонѣ, крутили другъ другу луговицы на рубахахъ и толково спорили о террорѣ.

Подъ бокомъ у Дудкина былъ зажатъ маленькій луженый, перелуженный самоваръ грушей. Какъ узналъ потомъ Сашка, самоваръ этотъ былъ единственнымъ утѣшеніемъ въ дудкинской жизни и тридцать лѣтъ путешествовалъ вмѣстѣ со своимъ безпокойнымъ хозяиномъ по Россіи и по этапамъ, когда Дудкина за вредныя идеи ссылали въ мѣста не столь отдаленныя.

Когда Сашка нашелъ ему углей и помогъ раздуть самоваръ, Дудкинъ почувствовалъ къ нему расположеніе и

пригласилъ его выкушать чашечку чайку. Дѣлать Сашкѣ было нечего, и онъ согласился. Чай пили въ садикѣ, въ бесѣдкѣ, густо обвитой дикимъ виноградомъ.

Вечерѣло по августовски поздно, съ холодкомъ. На западѣ сквозь деревья мглисто и кроваво въ полнеба пылало закатное пламя, выше сводъ былъ густой, влажный и лиловый, еще выше небо было весенне-сиреневое, и въ немъ рѣдкими легчайшими паутинками надипали облака.

И тутъ же въ бесѣдкѣ Сашка познакомился съ Бергъ, — пожимая ея неожиданно маленькую и слабую руку, онъ чуть не задохнулся отъ предчувствія сближенія, скората и нечистаго.

Послѣ второго стакана чая Дудкинъ и Подъяремный опять сдѣлились въ яростномъ спорѣ, а Бергъ, откинувъ назадъ на плетенную спинку кресла стриженную и курносую голову, зябко поводя плечами, нехотя, какъ давно извѣстное всѣмъ умнымъ людямъ, говорила Сашкѣ:

— Миръ, молодой человѣкъ, спасетъ коммунистическая революція. Новое христіанство... А эти идиоты эсеры...

Она приставила ко рту кулакъ, какъ дудку, и подвигала скулами — зѣвала. Сашка почувствовалъ досаду.

— Эти идиоты эсеры, — вяло, сдавленнымъ голосомъ, въ кулакъ продолжала она, — думаютъ, что э-э-э...

И вдругъ, закрывъ глаза, бросила руки на плетенные подлокотники кресла и потянулась безстыдно, разводя подъ юбкой колѣни въ стороны.

Дышать Сашкѣ стало трудно, онъ разстегнулъ воротъ рубахи, потеръ ледяной рукой горло, опять застегнулся и почувствовалъ, что больше не можетъ смотрѣть на Бергъ, на ея грудь, на упертыя носками въ перекладину подъ столомъ ея длинныя, въ шнурованныхъ сапогахъ, ноги.

Будто понявъ это, Бергъ поднялась, позѣвывая и ежась.

И сказала:

— Идемъ, пройдемся... Тутъ холодно.

Она взялась рукой за столбъ бесѣдки и осторожно, словно ступала въ воду, нащупала ногой ступеньку въ тихій, уже темный садъ. Сашка шагнулъ за нею. И сейчасъ же, что-то яростно крича Подъяремному, сорвался со своего мѣста Дудкинъ и щелкнулъ выключателемъ,— садъ мгновенно наполнился мракомъ, а въ бесѣдкѣ стало убого, какъ на нагой сценѣ.

Ничего не видя, Сашка и Бергъ прошли нѣсколько шаговъ по хрустящей песчаной дорожкѣ, потомъ подъ ногами хрустѣть перестало, и Сашка плечомъ уперся въ дерево. По щеку его першаво мазнулъ упавшій листъ. Онъ потыкалъ руками вправо, гдѣ должна была стоять Бергъ, и она сама торопливо прижалась къ нему, потомъ поцѣловала въ губы и повела по нимъ языкомъ.

— ...вы неизбежно упретесь въ индифферентизмъ массы... — оралъ Дудкинъ на весь садъ изъ бесѣдки, стоя подъ лампочкой съ жестянымъ дискомъ, блѣдный отъ электрическаго свѣта и ярости.

Подъяремный барабанилъ пальцами по столу и язвительно улыбался.

Гдѣ-то далеко и бойко пострѣливали. — будто попались некрѣпкіе резиновые шарики.

И съ этого дня началась у Сашки сумасшедшая, сумбурная жизнь, еще болѣе сумбурная и сумасшедшая, чѣмъ въ началѣ лѣта въ Тифлисѣ.

День проходилъ скучно: Бергъ была занята. Она писала доклады, звонила по телефону, тяжело и быстро бѣгала съ тугимъ портфелемъ подъ мышкой и въ дѣловомъ азартѣ своемъ была совсѣмъ непохожа на ту женщину, которая наемни ночью посвящала Сашку въ тайны парижской любви и учила нюхать кокаинъ изъ металлической, очень похожей на гробикъ, коробочки.

Ночью, голая и возбуждающе податливая, она казалась еще крупнѣе и въ минуты пресыщенія была почти ненавистна Сашкѣ. Положивъ ему ухомъ на грудь свою

тяжелую, съ жидкими подстриженными волосами, голову, она говорила:

— Въ наше время, Сашенька, нужно жить, не раздумывая, на полный ходъ. Хочешь пить — пей, хочешь любить...

И прозрачные отъ кокаина глаза ея влажно сіяли.

И Сашка, словно кому-то на зло, пилю, нюхаль кокаинъ, отъ котораго холодѣло сердце и мечты были стремительны и великолѣпны, и чувствовалъ, что гибнетъ.

Послѣ вина, кокаина и любви по парижскому альбому, Бергъ, прижимая къ бѣлому огромному животу гитару и рвя струны, кричала, пѣла высокимъ царапающимъ голосомъ:

— Спи, моя дѣвочка,
Коканномъ распятая,
На мокрыхъ бульварахъ Москвы...

И Сашкѣ чудилось: тьма, низкое небо, рѣдкія звѣзды въ охлопьяхъ летящихъ облаковъ, пустынная аллея, мотающіяся мокрыя вѣтви деревьевъ, скамейка и на скамейкѣ дѣвушка въ бѣломъ платочкѣ съ блѣдными губами. Дѣвушка чѣмъ-то напоминала ему Глашу. Воспоминаніе о ней было тревожно, и онъ гналъ его, кривясь.

А днемъ Сашка, съ блѣдно-голубыми дугами подъ глазами, весь разбитый и скучный, бродилъ по двору, по саду, уже заваленному ворохами легкихъ, пыльно рассыпающихся въ пальцахъ листьевъ, томился, ждалъ ночи, и на душѣ у него было пусто.

Однажды Бергъ встрѣтила его у воротъ и дѣловито сказала, что, если онъ хочетъ, она можетъ устроить ему службу у себя въ канцеляріи — писать статистическіе листы. Сгоряча Сашка согласился, но пописавъ два дня и почувствовалъ, что дальше писать не можетъ. Особенно ужасно было послѣ объѣда, когда сами собою слипались глаза, голова шла мутнымъ кругомъ и не хватало силъ

окунуть ручку въ чернила. На третій день на службу онъ не пошелъ.

Бергъ, дневная, дѣловая, съ химическими точками на лбу, отрѣзала:

— Въ тебѣ, мой другъ, много барства!

И тяжело, потряхивая бедрами, пошла по корридору.

Съ Матвѣемъ Семеновичемъ и Глашей встрѣчался Сашка только за обѣдомъ и ужиномъ, скудными и дурно приготовленными неумѣлыми Глашинными руками, ибо Митревну дядька расчиталъ — закупились. И оба они, не только дядька, но и Глаша, были теперь враждебны ему.

Оба они очень измѣнились: Матвѣй Семеновичъ сгорбился, грязновато побѣдѣлъ въ вискахъ, трясъ все время головой, и глаза у него были удивленно-прислушивающіеся, а Глаша перестала пудриться, ходила въ старомъ гимназическомъ платѣ и говорила строгимъ и тихимъ голосомъ. Ротъ ея былъ сжатъ страдальчески. Недавно Сіонскій принесъ ей житіе Маріи Египетской, и она, проплакавъ надъ нимъ всю ночь, рѣшила стать монахиней.

Вообще Сіонскій теперь часто заходилъ къ нимъ и какъ-то отдалился отъ Сашки и даже не очень защищалъ его, если Матвѣй Семеновичъ поругивалъ племянника.

— Это-же форменный большевикъ, — трясъ головой Матвѣй Семеновичъ, — такой и убить можетъ и ограбить. И жреть много, дармоѣдъ.

— Искушеніе, — брался за подбородокъ Сіонскій и скашивалъ глаза на конецъ рыжаго и унылаго своего носа. — Не судите, Матвѣй Семеновичъ, строго.

Онъ вставалъ и, расхаживая по комнатѣ, говорилъ о всепрощеніи, о любви къ ближнему, говорилъ основательно, долго, путанно, какъ когда-то Сашка о романтизмѣ. Онъ кончилъ свою докторскую работу и рѣшилъ заняться миссіонерствомъ. Матвѣй Семеновичъ и Глаша были его первыми слушателями.

Воспринимали они разнo: Глаша съ жадностью, востор-

гомъ и трепетомъ, Матвѣй Семеновичъ съ ухмылочкой и часто своими едихными вопросами ставилъ ненаходчиваго Сіонскаго въ тупикъ.

Глаза его переставали быть прислушивающимися, онъ поднималъ бѣлый налитой жиромъ палецъ и говорилъ по купечески, важно и плутовато:

— Ну, скажемъ, я поисповѣдывался и причастился. Потомъ, скажемъ, скончался. Такъ что же, всѣ грѣхи съ текущаго долой, что-ли? Неосновательно, братъ Сіонскій, что-то, а? Путаешь!

— Э, видите ли, Матвѣй Семеновичъ, — мучился Сіонскій, — тутъ вы неправы дважды...

— Да ну? — простодушничалъ старикъ. — Объясни, объясни, милый.

И глядѣлъ черезъ трепещущія стекла пенсне — буд-доподобный.

Утѣшала Сіонскаго Глаша.

Мысль свою жениться на ней онъ не оставилъ и часто со сладостными слезами на глазахъ думалъ о томъ, какъ они рука объ руку будутъ сѣять дѣло любви и спасенія.

Но иногда на него нападали плотскія, нечистыя мысли, онъ приходилъ въ ужасъ, нѣсколько дней питался одной картошкой и хлѣбомъ, а при встрѣчѣ съ Глашей багровѣлъ до ворота рубахи и опускалъ глаза. Но потомъ искушеніе проходило. И они опять читали Евангеліе, вмѣстѣ ходили въ церковь, и однажды, когда Глаша призналась ему, что хочетъ принять постригъ, онъ понялъ, что всѣ мечты его о женитьбѣ на ней вздоръ, и что у нея другая, мучительная и славная дорога.

И онъ, мотнувши лохматою рыжей головой, сказалъ только:

— Съ Богомъ, Глафира Александровна!

И послѣ уже никогда не думалъ о ней нехорошо.

VII.

Вскорѣ потянулись свѣтлые, холодные, съ горьковато-землянымъ запахомъ прѣющихъ листьевъ и еще съ какимъ-то удивительнымъ запахомъ легкаго, не страшнаго отчаянія, осенніе дни, а потомъ сразу въ небѣ, доселѣ яснымъ и блѣдномъ, дымно и густо клубами набухли туманные, валящіяся набокъ бабы, косматые лѣшіе, горбатые верблюды, и студено заморосило.

Дурно мощенныя улочки городка покрылись жидкой, зеленовато мерцающей въ колеяхъ грязью, совсѣмъ непролазной на окраинахъ и возлѣ водокачки, гдѣ надолго застрѣвали въ базарные дни казацкіе и мужицкіе возы съ картошкой, капустой, молокомъ. Густая вода несла по сточнымъ канавамъ окурки, сѣмячки, вѣтки, бумажные кораблики улочныхъ мальчишекъ.

Совсѣмъ загрузившій Сашка дурно и много спалъ днемъ, часами валялся на несвѣжей, засыпанной табачнымъ пелломъ постели, читалъ неприличные романы, которые ему давала Бергъ, а когда лежать съ книжкой становилось не въ моготу, одурѣло бродилъ по скользкимъ пустымъ и туманнымъ улочкамъ и еще болѣе, чѣмъ дома, томился отъ бездѣлья, одиночества и ночныхъ воспоминаній.

Послѣ Бергъ къ дѣлу его попробовалъ было пристроить Дудкинъ. Случайно поймавъ его въ корридорѣ, онъ долго своей круглой, съ растопыренными пальцами, синеватой ручкой крутилъ свои и Сашкины луговки на рубашкахъ, сдвигалъ въ скобку надъ очками густыя сѣдые брови и говорилъ о социаль-демократіи, Ленинѣ, строительствѣ новой жизни.

Говорилъ Дудкинъ скучно: глаза Сашки тупѣли, онъ тихо посапывалъ, покачивался на длинныхъ ногахъ и послѣ этого разговора люто возненавидѣлъ и Ленина, и социаль-демократію.

Еще разъ Дудкинъ заходилъ поговорить съ Сашкой объ «Азбукѣ коммунизма», которую онъ далъ ему напередъ, и опять неудачно: книгу Сашка не прочиталъ. Угрюмый и заспанный, онъ молча сунулъ брошюру Дудкину и повернулся къ нему длинной спиной съ перекрещенными на ней фіолетовыми подтяжками. Дудкинъ взялся за бороду и сдвинулъ брови:

— Вы вполне дефективный типъ, — сказалъ онъ огорченно.

На томъ дѣло и кончилось.

— Т-ты опускаешься, Александръ, — говорилъ ему и Сіонскій. — Т-ты духовно гніешь!

— А ты поменьше съ Глашей акафисты пой, — бѣшено и жалко оскалился Сашка. — Тоже святитель!

Сіонскій затрясъ головой, судорожно раззявилъ нѣмотный ротъ, и на глазахъ у него отъ желанія сказать что-нибудь быстрое и обидное выступили слезы.

— Глу-глу-глупый, — наконецъ выдавилъ онъ и ушелъ.

Все чаще, то со злымъ удовольствіемъ, то съ холодомъ въ сердцѣ, то почти равнодушно Сашка думалъ о самоубійствѣ, но въ глубинѣ души считалъ себя неспособнымъ на это трусомъ.

Но чтобы не было ужъ такъ очень совѣстно, онъ увѣрялъ себя, что къ жизни его влечетъ что-то большое и важное, и чаще всего казалось — любовь къ Глашѣ.

И однажды вечеромъ, выходя изъ церкви, Сіонскій и Глаша повстрѣчались съ нимъ: онъ поджидалъ ихъ за церковными воротами.

Какъ-то по старчески сгорбившись, онъ стоялъ подъ фонаремъ и читалъ приклеенную къ столбу прокламацію Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ — длинный, въ шинели, въ надвинутой на ухо кубанской шапочкѣ. Тѣнь его, широкая въ ногахъ и все сужающаяся къ головѣ, протянулась черезъ улицу.

Косо и густо сѣкъ дождь, подъ тепло-оранжевымъ фонаремъ струи его казались проволочно тонкими и свѣт-

лыми, и будто снѣжинками были покрыты плечи Сашки, курпей его папахи.

Когда Глаша и Сіонскій вышли за ворота, онъ быстро, на каблучкахъ, повернулся къ нимъ, и одна сторона его лица была въ тѣни, а другая, мокрая, со втянутой щекой и горящимъ глазомъ, блестяла и страдальчески улыбалась. Былъ онъ немного пьянъ — на Глашу пахнуло виномъ. Онъ хлопнулъ Сіонскаго по плечу и дурашливо предложилъ Глашѣ согнутую калачикомъ руку.

— Мнѣ очень хотѣлось увидеть васъ, Глаша, — сказалъ онъ глуховато.

Не подумавъ, Глаша оперлась на его локоть, и когда Сашка нѣжно и больно сжалъ ея обмерзшіе пальцы въ горсть, почувствовала что сегодня онъ можетъ сдѣлать съ нею все, что захочетъ. Она попробовала было выдернуть руку, — Сашка только усмѣхнулся сердито и недовѣрчиво. Сіонскій, трубно сморкаясь и чиркая подошвами, шелъ сзади.

— Ты можешь идти домой, Іона, — не оборачиваясь, сказалъ ему Сашка, — я провожу Глашу.

Сіонскій покашлялъ и ждалъ, что скажетъ Глаша, но она шла молча. И ему, хоть онъ видѣлъ только ея спину, показалось, что лицо у нея сейчасъ виноватое и жалкое, и что она очень мучится. Онъ почувствовалъ себя дуракомъ, обозлился и пошелъ дальше.

Тогда Сашка вдругъ остановился, что-то сказалъ Глашѣ, — она умоляюще потянулась къ нему, — сунулъ руки въ карманы и въ развалку, какъ всегда подходили другъ къ другу кадеты передъ дракой, подошелъ къ Сіонскому. Сіонскій тоже сунулъ руки въ карманы и независимо выставилъ впередъ ногу въ уродливомъ, словно самодѣльномъ, сапогѣ съ задраннымъ носкомъ. Ему было противно и за себя, и за Сашку и жутковато.

Вначалѣ ему показалось, что Сашка только обругаетъ его, но теперь, глядя на его неясное въ темнотѣ худое и чужое лицо, съ гнуснымъ холодкомъ въ сердцѣ подумалъ,

что, пожалуй, напрасно затѣялъ онъ эту ссору: ударить Сашка!

Уйти теперь, однако, было невозможно — совѣстно Глаши. И онъ, стараясь разъярить себя, сталъ кашлять горломъ и сжимать въ карманахъ вспотѣвшіе кулаки.

— Хочешь, дерну по ноздрямъ? — какъ-то особенно хамски предложилъ Сашка.

Почувствовалъ, что надо же что-нибудь отвѣтить, Сіонскій началъ было глухимъ отъ стыда и страха голосомъ:

— Какъ бы я тебя, братъ, самъ не дер...

Но тутъ Сашка двинулъ ему кулакомъ въ носъ, и Сіонскій вытянулъ впередъ голову, пошире разставилъ ноги и началъ плеваться густой и кислой кровью, а потомъ, когда кровь идти перестала, ни Сашки, ни Глаши на улицѣ уже не было, и стало совсѣмъ темно. Онъ бросилъ липкій отъ крови платокъ, сошелъ на мостовую и поплелся домой — тихій.

Улица была темная, дурно вымощенная, въ ямахъ, онъ спотыкался, поплевывалъ на сторону кровью и шенталь:

— Вотъ искушеніе-то, Господи... А-яй.

И этимъ вечеромъ Глашѣ стало ясно, что всѣ ея мечты о монашествѣ, все ея смиреніе, всѣ ея заботы о Матвѣѣ Семеновичѣ — ложь, и что теперь нельзя уже больше читать житіе Маріи Египетской, быть кроткой, терпѣливой, умиленной своимъ страданіемъ и своей несчастной жизнью. Ей казалось, что она не переживетъ своего паденія и отравится. И, можетъ быть, даже сегодня.

Передъ тѣмъ, какъ войти въ комнату, она долго стояла въ закуренномъ культпросвѣтчиками корридорѣ и только тогда повернула ручку и открыла дверь, когда въ другомъ концѣ показался Дудкинъ въ футбольной полосатой рубахѣ съ метелкой и картонкой, на которой сѣрымъ холмикомъ лежалъ многодневный соръ изъ его комнаты. Онъ строго взглянулъ на Глашу — будто зналъ про нее все. И только тогда, перепугавшись и затосковавъ еще больше, она распахнула дверь.

И если бы Матвѣй Семеновичъ пристально посмотрѣлъ на нее, она навѣрное не выдержала бы и рассказала бы про встрѣчу съ Сашкой и про его драку съ Сіонскимъ, а главное, рассказала бы о томъ, какъ только что въ бесѣдкѣ Сашка, больно кусаясь, цѣловалъ ее, и какъ она, со всѣмъ потерявъ голову отъ этихъ поцѣлуевъ и отъ запаха вина и табака, который шелъ отъ него, обѣщалась встрѣтиться съ нимъ сегодня послѣ полуночи. Но Матвѣй Семеновичъ былъ занятъ — читалъ «Коммуниста».

Онъ проворчалъ больше для порядка, почему-то со всѣмъ по простонародному:

— Ты все шляиси, шляиси. Не нравится мнѣ все это.

И до макушки закрылся газетой.

А Глашѣ сразу стало легче.

Все шло обычно, какъ вчера, позавчера, недѣлю тому назадъ. Какъ обычно, она зажгла примусъ, — горѣлка бухнула, и оттуда зашипѣло, полилось круглое плямя, — подогрѣла на немъ какое-то, стготовленное ею самой, странное, отдающее дымомъ кушанье, вскипятила чай и хозяйски сказала Матвѣю Семеновичу:

— Оставьте вашу газету, ужинъ готовъ...

Матвѣй Семеновичъ тотчасъ же опустил газету, снялъ пенснэ и потеръ мѣшки подъ глазами.

— А дѣлишки у нихъ тово, бьютъ сволочей. Деникинъ, — сказалъ онъ, накалывая вилкой рыжій сочащійся кусокъ мяса и нюхая его. — Воняетъ чѣмъ-то, — сказалъ онъ и растерянно посмотрѣлъ на Глашу. — Собакой воняетъ.

Такая растерянность нападала, теперь на него часто.

— Ышьте, — сердито сдвинула брови Глаша, — ничего не воняетъ.

Онъ вздохнулъ, успокоился и началъ сопѣть и чавкать.

Черезъ минуту въ дверь дважды крѣпко стукнули и дверная ручка выжидательно поднялась мѣднымъ концомъ къверху: стучался Сашка. Глаша ниже къ тарелкѣ на-

гнула голову. Матвѣй Семеновичъ опустилъ вилку, и въ глазахъ его былъ ужасъ.

Глаша сказала холодно:

-- Войдите!

Дверь рывкомъ распахнулась, и на порогѣ, въ новой бѣлой гимнастеркѣ, въ галифѣ и сверкающихъ сапогахъ, чувствуя себя молодцомъ и самъ слегка смущенный своей ладностью и привлекательностью, показался Сашка.

Мелькомъ тревожно взглянувъ на Глашу, онъ поклонился дядкѣ и сѣлъ за столъ противъ него. Дядька трясъ головой неодобрительно.

— Ты все шляиси, все шляиси, — сказалъ онъ точно такъ же, какъ и Глашѣ. Не нравится мнѣ все это. Вотъ что.

Сашка сапнулъ носомъ.

— Дуракъ, — бабьимъ голосомъ закричалъ дядька, и глаза его стали острыми, какъ у разозленной собаки. — Дуракъ ты и въ Бога не вѣруешь. Когда я уже отвязусь отъ тебя. Дармоѣдъ.

Потомъ какъ-то сразу успокоился и опять началъ чавкать и ссасывать жиръ черезъ усы. Сашка брезгливо и жалковато морщился.

Къ дядькиной ругани онъ привыкъ давно и почти не замѣчалъ ея, но отъ слова дармоѣдъ, какого-то круглаго, хамски безпощаднаго слова, по лицу у него пошли красныя пятна, и ему вдругъ страстно захотѣлось схватить со стола бутылку съ прованскимъ масломъ — на мгновеніе онъ почти ощутилъ въ ладони маслянистое холодное горлышко ея — и бить ею по трясущейся головѣ Матвѣя Семеновича. Но какъ-то дядька былъ все-таки правъ, и это бѣсило и раздражало Сашку еще больше.

— Погоди, братъ, — неувѣренно думалъ онъ, — будетъ и на моей улицѣ праздникъ. Дармоѣдъ-то дармоѣдъ, да только...

Что «только» онъ и самъ толкомъ не зналъ и почувствовалъ къ себѣ презрѣніе.

Отужинавъ, Сашка для приличія посидѣлъ немного,

поболталъ ногой и, особенно небрежно пожелавъ дядкѣ покойной ночи и «пріятныхъ сновидѣній», — тотъ только отфыркнулся, — ушелъ къ себѣ.

Глаша должна была придти къ двѣнадцати — такъ было условлено. Въ томъ, что она придетъ, онъ не сомнѣвался. Какимъ-то чутьемъ онъ понималъ, что такъ любить, какъ любить его Глаша, никто и никогда его любить не будетъ. И опять, какъ когда-то въ столовой, онъ остро ощутилъ ея нѣжность и безпомощность, опять она напомнила ему мать.

Вдругъ на глазахъ у него выступили слезы, онъ, растроганно улыбаясь, утеръ ихъ кулакомъ, стиснулъ челюсти, и слезы похились еще обильнѣе.

Чтобы успокоиться, онъ легъ на кровать и взялъ со столика «Фрину» Петрушевскаго, всю въ туманныхъ замѣткахъ, восклицательныхъ и вопросительныхъ знакахъ, сдѣланныхъ рукою Бергъ. Это была ея подарокъ. Книгу она считала замѣчательной — лучшее, что написано о трагедіи женской души.

Но сегодня Сашкѣ не читалось, даже подчеркнутыя соленыя мѣста не возбуждали его, и онъ, пропустивъ изъ-подъ большого пальца щеделящимъ валомъ всѣ полтора листа страницъ замѣчательной книги, швырнулъ ее къ ногамъ. И къ книгѣ, и къ Бергъ онъ почувствовалъ отвращеніе. Страстное желаніе стать бодрымъ, чистымъ, достойнымъ любви Глаши мгновенно охватило его. И это нужно было сдѣлать немедленно, сегодня же, сейчасъ же.

Вскочивъ съ кровати, онъ бросился въ корридоръ и едва не сбилъ съ ногъ Дудкина съ самоваромъ.

Дудкинъ отшатнулся къ стѣнкѣ, взбѣсился ужасно и проскрежеталъ ему вслѣдъ по кацапски на «о»:

— Оболдуй!

Въ комнатѣ у Бергъ все было розовое: диванъ, кресла, кровать, одѣяло, занавѣски, огромный подъ потолкомъ абажуръ юбочкой, ея халатъ, даже туфли, — обожала этотъ цвѣтъ. Надъ кроватью вѣеромъ были приколоты

непристойныя открытки. Все это было теперь Сашкѣ отвратительно до тошнаго кома въ горлѣ.

Морщась и кривя губы, онъ остановился передъ ней, — она, уже накрашенная, напудренная, сидѣла на низенькомъ диванѣ подѣ фотографіями и бѣленькими, медленно и хищно позѣвывающими ножницами подрѣзала ногти на слабыхъ, какъ-то отогнутыхъ кверху пальцахъ.

Она подняла на него знакомые ясные и нечистые свои глаза и улыбнулась туно и широко до верхнихъ арбузно-красныхъ, съ большими зубами, десень. Такъ же улыбалась и широкоплечая женщина въ Тифлисъ.

Сашка покривился еще мучительнѣе и сказалъ:

— Бергъ, я не люблю васъ. Я васъ презираю.

И сжалъ руки на груди, не зная, куда дѣвать ихъ.

У Бергъ надъ носомъ легла морщинка, она опустила некрасивую узкую, какъ тыква, ясно и гадко лысющую на макушкѣ голову книзу.

Чувствуя тяжесть и отвращеніе, Сашка, не отрываясь, смотрѣлъ на ея лысину.

Какъ вдругъ Бергъ быстро поднялась, — Сашка отвелъ глаза въ сторону, — усмѣхнулась и пребольно ударила Сашку по щекѣ.

— Идіотъ! — какъ на сценѣ выдохнула она. — Мальчишка!

Сашка отступилъ назадъ, взялся за щеку и, корчась отъ стыда, съ облегченнымъ сердцемъ вышелъ вонъ.

VIII.

Года полтора тому назадъ Сашка, попавъ за что-то въ карцеръ, нашелъ тамъ пухлую, съ сквознымъ черезъ всѣ страницы маслянымъ пятномъ тургеневскую «Первую Любовь», прочелъ ее и былъ слегка разочарованъ: у Арцыбашева объ этомъ писалось куда смачнѣе. Конецъ «Первой Любви» онъ читалъ уже съ зѣвками. И любовь и Зи-

наида казались ему выдуманнми, книжными, а герой повѣсти просто жуткой шляпой.

Однако, послѣ походовъ надъ Курою, онъ и впрямь готовъ былъ повѣрить Тургеневу: не такой ужъ заманчивой оказалась обычная земная любовь, о которой очень много и залихватски говорили на переѣздахъ въ уборной, дымя «Ласточкой» и поплеывая, и онъ самъ, и зятянутые съ вобранными во внутрь животами молодчаги пріятели. Можетъ быть также думали и другіе, но говорить объ этомъ въ корпусѣ не полагалось — засмѣяли бы. Объ этомъ можно было только мечтать на урокахъ, въ корпусномъ саду, за геометрической задачей — и Сашка мечталъ. И даже написалъ вольнымъ размѣромъ безъ рифмъ два стихотворенія.

И въ этотъ вечеръ, когда Глаша, блѣдная отъ страха и грѣховныхъ, совсѣмъ какъ у Маріи Египетской въ молодости, желаній, съ туфлями, чтобы не шумѣть, въ рукахъ, пришла къ нему, онъ съ нѣжностью, ему доселѣ незнакомой, цѣловалъ ея руки, глаза, матовыя съ впадинами у ключицъ худенькія плечи и едва не плакалъ отъ умиленія: вотъ она настоящая любовь!

Но вдругъ Глаша по дѣтски коротко и горестно вздохнула, припала къ его губамъ и поцѣловала такъ, какъ когда-то цѣловала Бергъ — мокро, жарко, больно.

И сказала хриплымъ шепоткомъ:

— Ахъ, Саш-ша...

И Сашку, хотя онъ и самъ втайнѣ желалъ и ждалъ этого послѣдняго, до конца сближающаго, и поцѣлуя и шепота, внутри всего передернуло.

Часа въ два ночи она, скорѣе подавленная и встревоженная, чѣмъ счастливая, опять съ туфлями въ рукахъ, какъ то по мышиному, шмыгнула въ корридоръ, а онъ легъ навзничь на кровать и началъ тереть себѣ лобъ: случилось что-то неладное. Прежней нѣжности, какъ онъ ни старался вызвать ее въ себѣ, къ Глашѣ уже не было — стала близкой, скучной, враждебной.

Ужь засыпая, Сашка, словно мстя себѣ за что-то, долго, путанно и непристойно думаль о самомъ сокровенномъ и гадкомъ, что связывало Матвѣя Семеновича и Глашу, и они потомъ приснились ему въ жутко-омерзительномъ объятіи съ закатившимися глазами, голые и страшные. Онъ ахнулъ, проснулся и до разсвѣта просидѣлъ на подушкѣ съ подогнутыми подъ себя ногами. И опять на душѣ было знакомо легко и пусто.

Первое время, однако, онъ съ трудомъ, но сдерживался и Глаша только смутно догадывалась, что съ нимъ что-то творится, и это, и ласки его и нѣжность, не настоящія, вымученныя. И также смутно ощутила она какую-то вину передъ нимъ. И чѣмъ внимательнѣе, заискивающе и кротче старалась онъ, тѣмъ труднѣе было Сашкѣ сдерживаться.

Все теперь раздражало въ ней: и милая прежде улыбка, и слишкомъ большой носъ, и растерянность, и покорность, и стоптанные на бокъ каблуки.

— Господи, какая же ты неряха!.. — давился онъ рыдающимъ смѣшкомъ, — прямо противно!

А къ горлу подкатывало круглое и твердое, какъ бильярдный шаръ.

Потомъ Сашка уже по настоящему нагрубилъ ей, она приняла это съ покорностью и страхомъ — и съ тѣхъ поръ пошло: злой, нетерпѣливый и измѣнчивый въ желаніяхъ, часто не трезвый, онъ былъ противенъ самому себѣ, но была во всѣхъ тѣхъ издѣвательствахъ надъ растерявшейся, ни въ чемъ неповинной Глашей какая-то мучительная, ни съ чемъ ни сравнимая, сладость.

— Знаемъ мы васъ, — совсѣмъ какъ Матвѣй Семеновичъ, загадочно шурился онъ, — всѣ вы на одинъ ладъ вертикавостки...

А разъ даже скрипнулъ зубами и полезъ ее бить — пьяный.

Но какъ то все-таки Глаша была теперь самое важное въ его жизни, онъ безъ ужаса не могъ подумать о томъ,

что вдругъ она полюбитъ другого или уйдетъ въ монастырь или съ тупымъ и кроткимъ лицомъ опять станетъ говорить, что не можетъ обманывать Матвѣя Семеновича.

И онъ, охваченный страхомъ одиночества, въ дни покаянной горести молилъ ее:

— Глашенька, я ужасный типъ, страшная сволочь. Но, Глашенька, кто же меня пожалѣетъ, если не ты?

И улыбадся по-дѣтски широко, искательно и просто.

Глаша вздыхала:

— Ахъ, если бы былъ всегда такимъ...

Но уже на слѣдующій день онъ въ чудесномъ почти такъ же, какъ и кокаинъ, охлаждающемъ сердце бѣшенствѣ вытолкалъ ее, вонъ за то, что она опоздала на полчаса и недѣлю не говорилъ съ нею ни слова, и глаза у него были сумрачные, тоскливые, волчьи.

Съ самаго ранняго дѣтства Глаша жила въ постоянномъ ожиданіи грядущихъ несчастій и бѣдъ и теперешнюю мучительную и безпокойную любовь къ Сашкѣ приняла, какъ обычно принимала все ужасное, что случалось съ нею: какъ неотвратимое, уготовленное ей суровымъ и далекимъ Богомъ.

Но когда становилось уже совсѣмъ не вмоготу, она съ недоумѣніемъ и страхомъ спрашивала себя, что собственно влечетъ ее къ этому длинному развращенному парню съ угловатыми движеніями и солдатскими словечками, — и понять ничего не могла.

Такъ, однажды, послѣ того, какъ Сашка обозвалъ ее гулящей дѣвкой, ей показалось, что дальше терпѣть она не можетъ и просто напросто выгнать зазнавагоси мальчишку, если тотъ чего добраго опять полѣзетъ съ извиненіями.

Увѣривъ себя въ этомъ, она бодро стояла въ очередяхъ за крупной и хлѣбомъ, бодро съ удовольствіемъ готовила обѣдъ, убирала въ комнату, стирала Матвѣю Семеновичу бѣлье и чувствовала къ себѣ, такой бодрой, простой, съ поглубѣвшими отъ стирки, пахнущими мас-

ломъ и лукомъ руками, ласковую, ободряющую, чуть насмѣшливую нѣжность. И называла себя грубовато и нѣжно лошадкой.

— Ну, лошадка, на базаръ пора, — усмѣхаясь, говорила она себѣ и съ корзинкой бѣжала на грязную всегда вѣтрянную площадь, гдѣ грубые казаки и мужики изъ подгорныхъ станицъ и сель, не боясь ничего, матерно крыли совѣтскую власть, презирали горожанъ за голодный видъ и драли безбожныхъ цѣны.

— Последнія деньги доживаемъ, — горестно и тупо говорилъ Матвѣй Семеновичъ.

И, кряхтя, отколупывалъ ножомъ паркетную плитку въ углу, гдѣ въ промасленной бумагѣ, туго перевязанныя бичевкой, лежали николаевскія деньги.

Отъ природы недоувѣрчивый, Матвѣй Семеновичъ теперь не довѣрялъ даже Глашѣ, — такъ ему показалось, что она расходуетъ слишкомъ много и онъ, несмотря на боязнь попасться на глаза кому-нибудь изъ бывшихъ своихъ рабочихъ, самъ пошелъ на базаръ, долго бродилъ тамъ среди телѣгъ и спрашивалъ про цѣны на картошку и молоко. И хоть цѣны оказались точно такими, какъ говорила Глаша, онъ все-таки рѣшилъ, что она часть денегъ присваиваетъ.

Дома онъ устало плевался, шипѣлъ, потирая ребра — тамъ пугающе и тяжело колотилось сердце — и говорилъ помертвѣвшей отъ обиды Глашѣ:

— Ты эти фигли-мигли брось. Каждый день представляй списочекъ. Купила, молъ, то-то и то-то. Платила столько-то. Да. Будьте любезны...

И поматывалъ передъ ея носомъ пальцемъ, какъ маятникомъ.

А вечеромъ за ужиномъ, едва Матвѣй Семеновичъ вернулся къ окну, Сашка, воровски на него покосившись, бросилъ Глашѣ на колѣни розовую треугольникомъ записку и ей не оставалось ничего другого, какъ записку спрятать. Позже, будто бы нехотя, она прочла ее.

Записка была путанная и нѣжная:

«Миленькая Глаша. Жду сегодня. Не обижайся. Я больше не буду грубымъ. Я такъ тебя люблю».

Глаша сурово сдвинула брови, вздохнула — и пошла.

И опять Сашка цѣловаль ея руки, каялся, говорилъ о своемъ одиночествѣ, о любви къ ней и жалко и широко улыбался.

— Если бы ты всегда былъ такимъ... — печально говорила Глаша.

А потомъ ночью уже у себя за ширмой, закинувъ за голову руки, она думала, что недалекъ тотъ день, когда кончится эта путанная какая-то неправдоподобная жизнь и начнется иная, быть можетъ, совсѣмъ мучительная, но иная. Но страха теперь не было — устала.

IX.

Однажды она не доглядѣла и Матвѣй Семеновичъ прочелъ въ «Коммунистѣ» списокъ разстрѣлянныхъ, по приказу недавно присланнаго изъ Москвы комиссара Краснаго, горожанъ.

Городокъ былъ маленькій, почти всѣхъ разстрѣлянныхъ Матвѣй Семеновичъ зналъ хорошо. И то, что людей этихъ, съ которыми онъ когда-то встрѣчался въ клубѣ, игралъ въ карты, ссорился, шутилъ, то, что людей этихъ убили гдѣ-то у Сафроновскаго лѣса, было такъ неправдоподобно, что онъ вначалѣ просто не обратилъ на это вниманія и туго подумалъ, что газетчики по обыкновенію брешутъ. Онъ потеръ лобъ, посидѣлъ съ открытымъ ртомъ и легъ спать. Уснулъ онъ быстро и тихо.

А Глаша, взглянувъ на его большое обрюзшее лицо со складками у рта, оставила недоштопанный чулокъ, предостерегающе подняла палецъ и тихонько вышла изъ комнаты.

Сашка, сгорбившись, сидѣлъ у себя на тощей пролежанной койкѣ, сопѣлъ и игралъ скулами — злился.

— Наконецъ-то, — воскликнулъ онъ ломкимъ басомъ, когда Глаша прикрыла за собой дверь и жалко посмотрѣла на него.

Глаша хотѣла возмутиться и уйти, но не возмутилась и не ушла, а только заплакала, вбирая воздухъ сквозь стиснутые, какъ отъ боли, зубы. Носъ ея помалиновѣлъ.

И какъ всегда, когда Глаша начинала такъ мучительно и безобразно всхлипывать, Сашку охватывала изстуженная нѣжность къ ней.

— Ну, ну, — пробормоталъ онъ, — довольно, довольно...

И со вздувшейся на лбу синей жилой поднялся съ кровати.

Потомъ они долго лежали, тихіе и близкіе, и молчали. И Глашѣ казалось, что все это — и отраженный чуть задранный кверху въ наклоненномъ зеркалѣ уголь комнаты, и золотистая гроздь электрической лампочки во влажно-темномъ стеклѣ окна, и мерзкіе раздавленные окурки на полу, и этоѣтъ, теперь такой родной и чѣмъ-то до слезъ жалкій, юноша, — все это было уже когда-то.

Оттопыривъ губу, Сашка подумалъ и сказалъ важно и правдиво:

— Я очень люблю тебя, Глаша.

Лицо у него было кроткое.

И въ эту минуту Глаша опять простила ему все.

Онъ приподнялся, чтобы поцѣловать ее, и какъ окаменѣлъ на локтѣ: на порогѣ въ длинной ночной рубахѣ стоялъ дядька — огромный, брюхатый, темно-красный. Обросшая путанными сѣдыми волосами голова его тряслась. Онъ потиралъ лобъ и круглыми глазами смотрѣлъ на Глашу и на Сашку. У нихъ одинаково вытянулись и позеленѣли лица.

— Убили, — тугимъ и тонкимъ голосомъ сказалъ Матвѣй Семеновичъ, — убили... и Сваридова, и Фоменку... и Морозова Николая... Вотъ...

Глаша поднесла къ лицу ладони и закрылась ими, дрожа.

Дядька переступилъ жирными синими ногами порогъ, хотѣлъ схватиться за притолку, но вдругъ лицо его стало тупымъ, онъ уродливо вытянулъ впередъ правую съ опущенными книзу пальцами руку и въ бѣшенствѣ гаркнулъ:

— Глашка, оманываешь!

Затѣмъ промычалъ — мму — и, раскинувъ руки, медленно навзничъ повалился въ корридоръ. Глаша тонко завизжала, потомъ гласъ ея сорвался на хрипъ, она смолкла и закачалась на кровати, какъ китайскій болванчикъ.

А по корридору, словно тамъ только и ждали этого, сейчасъ же забѣгаи какіе-то полураздѣтые и страшно знакомые Сашкѣ люди.

Безтолково и молча потолкавшись надъ Матвѣемъ Семеновичемъ, Сашка, Дудкинъ и Подъяремный съ трудомъ подняли его еще теплое, но уже гадко податливое и страшно грузное тѣло и, шатаясь, потѣя, топоча ногами, понесли его въ комнату.

У дверей своей комнаты въ халатѣ и безъ чулокъ, съ тупымъ заспаннымъ и старымъ лицомъ, стояла Бергъ и рука ея, придерживающая халатъ, тряслась, будто она сбѣжала себя исподтишка мелкими крестиками.

Когда Матвѣя Семеновича положили на кровать, голова его на мягкой шеѣ отвернулась въ сторону и изо рта, какъ изъ опрокинутой чашки, вылилась густо-вишневая кровь. Всѣ попятились назадъ. Оправившись, Дудкинъ взялъ Глашино зеркальце и приложилъ его къ оскаленному лицу покойника. И хотъ было очевидно, что Матвѣй Семеновичъ мертвъ, всѣ смотрѣли на зеркальце выжидательно. Оно осталось яснымъ.

Дудкинъ отчеканилъ:

— Дыханія нѣтъ...

Послѣ чего поклонился Глашѣ и вышелъ вмѣстѣ съ невозмутимымъ Подъяремнымъ.

Впервые Сашка видѣлъ смерть такъ близко и она поразила его своей простотой и безобразіемъ.

Отвратительно было все: предсмертное мычаніе дядьки, гадкая податливость его тѣла, сукровица на подбородкѣ, запачканная кровью простыня, и онъ, припоминая все это и кривясь отъ ужаса и омерзения, всю ночь проходилъ по корридору съ тлѣющей вверху экономической лампочкой, то и дѣло крутя цыгарки, косясь на страшную комнату, гдѣ горой, желтѣя изъ-подъ одѣяла пятнами, лежалъ трупъ и на скамеечкѣ возлѣ кровати сидѣла опять такая далекая ему Глаша.

Несмотря на его уговоры, она не ушла и осталась съ покойникомъ — только усмѣхнулась упрямо. Что-то тупое и непреодолимое было теперь въ ней.

Сашка вспомнилъ, какъ она сказала ему:

— Мы виноваты въ его смерти.

И глаза у нея были ненавидящіе и упрямые.

— Сумасшедшій домъ! — бормоталъ Сашка и волосы у него на головѣ явственно вдругъ встали дыбомъ.

Утромъ Дудкинъ взялъ его за рукавъ и молча привелъ къ себѣ.

— Вы мнѣ не давали спать всю ночь? — строго и вопросительно сказалъ онъ.

— Виновать, — вяло сказалъ Сашка.

— Ну, ничего, это я такъ, — сразу подобрѣлъ Дудкинъ.

На столѣ стоялъ самоваръ, чуть пахло угаромъ, осеннее солнце до подбородка просвѣчивало дудкинскую борду. Дудкинъ былъ важенъ и задумчивъ.

Онъ налилъ Сашкѣ чая — Сашка въ одинъ глотокъ, молча и жадно, выцѣдилъ его — и, старчески добро шурясь на ослѣпительное окно, сказалъ:

— Впечатлѣніе, произведенное на васъ смертью, вполне понятно и научно объяснимо... Но...

Тутъ онъ улыбнулся еще чудеснѣе и непонятно заговорилъ о томъ, что каждый человѣкъ долженъ имѣть идею и что въ этомъ залогъ безсмертія.

Конца Сашка не слыхалъ: онъ положилъ тяжелую голову на столъ и сладко заснулъ, а, проснувшись къ полудню, уже безъ ужаса, но со скукой подумалъ о томъ, что, когда въ домѣ кто-нибудь умираетъ, надо звать попа и чтеца, а главное обмытъ покойника — такъ на урокахъ Закона Божія говорилъ злой и остробородый кадетскій попъ, отецъ Алексѣй. Все это было неприятно и скучно, особенно обмывать.

Волновался однако Сашка напрасно: все сдѣлали безъ него.

Обмытый, причесанный, съ подвязанной салфеткой челюстью, въ новомъ сюртукѣ, дядька уже давно деревянно и важно чернѣлъ на двухъ составленныхъ покрытыхъ простынями до пола столахъ и на высоко бугромъ вздушемся животѣ его одна на другой застывшими ковшниками лежали зеленныя со скрюченными пальцами руки.

У изголовья въ церковномъ подсвѣчникѣ жарко пылалъ прѣсно и сытно пахнуцій воскомъ пукъ свѣчей и скользкіе отсвѣты метались на широкомъ смѣломъ лбу дядьки, на его стянутыхъ салфеткой щекахъ, на манишкѣ съ черными круглыми пуговками.

Но теперъ большое съ пепельными неплотно сжатыми чуть припухшими губами и заострившимся короткимъ калмыцкимъ носомъ лицо дядьки не было такъ ужасно, какъ давеча — просвѣтлѣло. И была въ немъ будто затившаяся подъ салфеткой добро насмѣшливая улыбка.

А у ногъ покойника спиною къ дверямъ, листая передъ собою на аналоѣ книжку, часто и низко кланяясь, бубни важныя славянскія слова, въ длиннополомъ съ оттопыренными карманами пиджакѣ въ узенькихъ коротенькихъ брюкахъ стоялъ Сіонскій и рядомъ съ нимъ Митревнз. Глаза ея были закрыты, она пошлепывала губами — мо-

лилась. Это она сдѣлала съ покойникомъ все, что надо, такъ быстро и толково.

Услыхавъ шаги Сашки, Сіонскій и Митревна обернулись къ нему и Сіонскій, обросшій рыжимъ пухомъ, повелъ длиннымъ носомъ книзу въ смиренно-холодноватомъ привѣтствіи, а Митревна подошла — Сашка растерянно наклонилъ къ ней голову — и зашептала ему на ухо что-то о проклятыхъ большевикахъ, загнавшихъ Матвѣя Степановича въ гробъ, и о новыхъ своихъ хозяевахъ.

— Ну и храпидолы жь... То не такъ, это не такъ... — шипѣла Митревна. — Хучь уходи... А я надясь и говорю самой то...

Х.

И въ тотъ же сухой, морозный и предсѣнный день Матвѣя Степановича на дрѣгахъ отвезли на старое кладбище, что за городскимъ садомъ.

Ослѣпительное и холодное солнце то проглядывало, то скрывалось въ клубящихся низкихъ и быстрыхъ облакахъ и дорога вся въ кочкахъ и мерзлыхъ колеяхъ то мгновенно свѣтлѣла, то опять откуда то сбоку, черня деревья, столбы, землю, напозала, накатывалась легкая и стремительная тѣневая полоса. Морщились студеныя, промерзшія на краяхъ шершавымъ ледкомъ лужи. Съ базарной площади несло пучки соломы.

За гробомъ шли Сашка, Глаша и Митревна, а впереди за шевелиющимися лошадиными ушами рыжѣла вздыбленная копна волосъ Іоны и камилавка отца его, священника, такъ же, какъ и Іона, носатаго и рыжаго, но пониже и побойчѣе.

Вдвоемъ съ Іоной они тянули одинаковыми горловыми голосами вразбродъ:

— Святый Бо-же, Свя-тый Крѣпкій.

И все далеко уходили впередъ — увлекались.

Сашка теръ замерзшее ухо, втягивалъ голову въ пле-

чи, косиль глаза на Глашу, закутанную въ черный пла-токъ, какую-то простоватую и совсѣмъ некрасивую те-перь и не находиль у себя ни жалости ни нѣжности къ ней. Митревна пристойно хмурилась.

Когда дроги доѣхали до воротъ кладбища, на коло-кольнѣ грубо, дребезжаще и медленно забили въ колокола, а изъ-за крестовъ чернымъ огромнымъ серпомъ взлетѣ-ли къ осеннему убогому небу оружія вороны и закружи-лись надъ свѣтло-голубой луковкой церкви. Теперь онѣ почти не шевелили широко распластанными крыльями: кружилъ ихъ тамъ вѣтеръ.

И только, когда забухали, какъ въ гулкую пустую боч-ку, комья земли на гробъ, впервые за всю жизнь Сашка пожалѣлъ дядьку, впервые по настоящему ощутилъ онъ страшную человѣческую жалкость и немощность въ этомъ огромномъ и суровомъ мірѣ — и, весь дернувшись и по-холодѣвъ, опустилъ голову и быстро и неумѣло закре-стился.

Тутъ же рядомъ стояли и крестились Митревна, Иона, отецъ его и Глаша. У всѣхъ у нихъ были каменная чуть-туповатая лица, какъ у людей, дѣлающихъ очень важное и понятное только имъ дѣло. Что-то неясное и непреодолимое отдѣляло ихъ отъ Сашки, очень похожее на то, что давно въ дѣтствѣ отдѣляло его отъ хорошихъ, холодноватыхъ и благонравныхъ дѣтей. Ближе всѣхъ была ему почему то Митревна.

Но она, какъ только гробъ закопали, заторопилась домой и, сунувъ Сашкѣ черную и твердую руку, сказала:

— Ну, вотъ похоронили и слава Богу. А ты сопни не распускай, не то еще въ жизни будетъ.

И сейчасъ же, видимо позабывъ о Сашкѣ, задрала до коленъ юбку и, мелькая красными вязанными чулками на сухихъ и ровныхъ безъ икръ ногахъ, зашагала по дорожкѣ къ выходу.

Сіонскій съ отцомъ, еще разъ одинаково взметнувъ задами кверху, перекрестились и пошли за Митревной.

Вѣтеръ поднялъ захлостанную полу поповской рясы, — показались голенища сапогъ гармонией и сибирския отянутыя красныя ушки — и полъ совсѣмъ по-женски со стыдливимъ ужасомъ во взорѣ схватился за свой подолъ. Глаша пошла было за ними, но Иона, жердью хлящійся подъ вѣтромъ, что-то сказалъ ей и она отстала, поджидая Сашку. Онъ несчастными настороженными глазами посмотрѣлъ на нее.

— Саша, думали ли вы когда нибудь о Богѣ? — спросила она видимо заранѣе приготовленное.

И Сашкѣ стало ясно, что разговоръ будетъ тяжелый, путанный, раздражающій.

— Вали! — махнулъ онъ рукой.

Глаша скорбно и высоко подняла брови и начала говорить о томъ, что жить прежней жизнью она не можетъ, что прежняя жизнь ея была отвратительна и что у нея одинъ путь — монастырь. Вначалѣ она говорила гладко, но подъ конецъ запуталась и все повторяла:

— Вы понимаете, Саша?... понимаете?

Сашка пофыркивалъ, старался идти съ нею въ ногу и то сменилъ, то шагаль журавлемъ — принаравливался.

У воротъ они остановились и тутъ Сашка, сверху внизъ глядя на Глашу, опять насторожившуюся, со свѣтлой капелькой на кончикѣ вытянувшася отъ безсонной ночи носа, сказалъ ей зло и съ наслажденіемъ:

— А катись ты къ своему Господу Богу...

И легко — вѣтеръ дулъ ему въ спину — пошелъ къ дому.

Навстрѣчу ему по срединѣ улицы рядами по трое на заморенныхъ ребристыхъ лошадяхъ покачивались всадники: всѣ съ чубами до бровей и молодые. За всадниками, дребежжа щитами и тыкаясь въ стороны короткими хоботками, прыгали по булыжникамъ мостовой горныя пушечки. Густо, ровню, сухо пересыпалось цоканье лошадиныхъ подковъ.

Передъ самой калиткой Сашка столкнулся съ Антипомъ, очень разстроеннымъ: глаза его такъ и бѣгали.

— Бачите? — сказалъ онъ и поднялъ короткій и нечистый палецъ кверху. — И сейчасъ же гдѣ-то далеко за городомъ не громко, но мощно прогремѣло, рухнуло что-то. «Денькинська атылэрія», — опустил палецъ Антипъ и помрачнѣлъ, какъ чортъ. «Дэныка идэ, шобъ винъ сказався»...

Обычно насмѣшливый и недобрый, Антипъ былъ и сегодня гнусенъ и неприятенъ Сашкѣ, но разговаривать съ нимъ, сочувствовать ему было все-таки легче, чѣмъ остаться одному и думать о смерти, о Глашѣ. И онъ, сочувствуя хмурясь, долго спрашивалъ Антипа, гдѣ тотъ служилъ и могутъ ли денкиинцы повѣсить его. Выходило, что могутъ: служилъ онъ въ отдѣлѣ пропаганды, а кромѣ того партіецъ. Онъ бѣгалъ глазами и густо плевался.

И когда онъ разстроился окончательно и заплевалъ всю землю подъ ногами, Сашка, смертельно боясь отказа, сказалъ ему съ нарочитой бодростью:

— Эхъ, братъ Антипъ, можетъ выпьемъ, пробалакаемъ!

И Антипъ, словно только и ждалъ этой затаенно-униженной просьбы — даже просвѣтлѣлъ лицомъ.

И отрѣзалъ почти весело:

— Яки таки могутъ быть разговоры... Тикать треба, а не балакать. Яки тамъ разговоры у такой моментъ.

И, не прощаясь, бойко на каблукахъ побѣжалъ внизъ по улицѣ. Сашка закусилъ губу и вошелъ во дворъ.

А въ домѣ творилось странное: во всѣхъ комнатахъ, несмотря на то, что было еще свѣтло, горѣло электричество, по корридору бѣгали мелкіе культпросвѣтчики съ ноганами на ляжкахъ, какіе-то солдаты въ черныхъ бумажныхъ подлущубкахъ шпагатомъ перевязывали бумаги — похоже было на то, что собираются уѣзжать. Съ длиннымъ мундштукомъ во рту металась Бергъ.

У телефона приплясывалъ Дудкинъ: онъ то бѣшено

крутилъ ручку звонка, то съ трескомъ вѣшалъ трубку на крючекъ и трясся отъ ярости.

Потомъ опять хваталъ трубку и оралъ:

— Алло, барышня... Дайте Реввоенсовѣтъ... Реввоенсовѣтъ говорю, чортъ васъ возьми.

Такъ онъ и не дозвонился.

И Сашкѣ какъ то сразу стало легче отъ этой суеты, чужого безпокойства и онъ почти весело вошелъ къ себѣ въ комнату.

Тутъ все было по прежнему: пахло табакомъ, сѣрымъ удавомъ лежало сбитое къ стѣнѣ одѣяло, вся въ застывшихъ стеариновыхъ слезахъ бѣлѣла короткая, прилѣпленная прямо къ краюшку ночного столика свѣчка, и сегодня этотъ обычный безпорядокъ показался Сашкѣ особенно ужаснымъ, свинскимъ. Онъ живо въ бодромъ рабочемъ остервененіи сбросилъ шинель и началъ искать вѣшникъ, но когда наконецъ нашелъ его подъ подушкой, убирать уже не хотѣлось — усталъ. И комната такъ и осталась неубранной.

— Къ чорту... — угасая, рѣшилъ Сашка.

На дворѣ, за крестовидной перекладиной окна, съ кнутомъ въ поднятой рукѣ, съ рокотомъ колесъ по асфальту, какъ проплылъ видный по грудь солдатъ, подавая подводу къ крыльцу: тамъ грузились культпросвѣтчики.

И Сашка, хоть его ни мало не занимала укладка тюковъ и чемодановъ, до позднихъ сумерокъ сквозь протертую рукавомъ въ потномъ стеклѣ прогалину глядѣлъ, какъ солдаты грузили подводу, а Бергъ въ своей круглой шляпѣ и кожаной курткѣ кричала на нихъ слышнымъ даже тутъ противнымъ бабьимъ голосомъ и горестно замирала вдругъ съ опущенной головой и упертыми въ бока руками, будто окончательно подавленная ихъ, солдатской, безтолковостью.

Совсѣмъ въ сумеркахъ въ комнату зашелъ Дудкинъ — проститься. На немъ было старомодное съ огромными глазастыми пуговками пальто, мягкая корабликомъ шля-

па, черезъ плечо висѣла офицерская походная сумка. Онъ былъ мраченъ, двигалъ бровями и все разглядывалъ свои ладони. Онъ сѣлъ на кровать, мелькомъ, какъ въ записную книжку, еще разъ взглянулъ на ладонь, поднялъ очки, помолчалъ, потомъ всталъ съ кровати и съ очками на лбу — глаза у него были рыхлые, стыдливые и добрые — потрясъ руку Сашки.

— Въ пятьдесятъ шесть лѣтъ, дорогой юноша, путешествовать на подводахъ утомительно и не интересно, — усмѣхнулся онъ и свелъ пальцемъ свои очки на переносицу. — Прощайте, мой другъ! Желаю счастья.

И Сашка, до сихъ поръ равнодушный къ этому челобѣку, едва не заплакалъ отъ жалости къ нему и еще острѣе почувствовалъ, какъ самъ онъ одинокъ и непоправимо несчастенъ.

— А «Азбуку Коммунизма» все-таки прочтите, — уже въ дверяхъ рѣзко и чудновато крикнулъ Дудкинъ.

Но и самъ только рукой махнулъ.

Уѣхали они поздно: какъ Сашка ни щурилъ глаза, онъ уже не могъ различать лицъ на подводѣ и только догадывался, что сидѣвшій слѣва со сверткомъ подъ мышкой — самоваръ! — былъ Дудкинъ, а рядомъ съ нимъ, съ малиновой трясущейся во тьмѣ ягодкой папироснаго огня — Бергъ.

Электричества въ спѣшкѣ и суетѣ не погасили и сегодня оно въ пустыхъ вѣвѣтренныхъ сквозняками комнатахъ сияло какъ то особенно ярко, строго, мертвенно-величольно, такъ что Сашка, побродивъ по корридору, вдругъ страшно и мгновенно оробѣлъ, съ сумасшедшей яркостью и быстротой вспомнилъ все вздорное и путанное, что зналъ о покойникахъ, важной и неземной поступью разгуливающихъ по скрипящимъ подъ ними доскамъ половъ — и весь покрылся гусиной кожей, лякнулъ зубами. Потомъ на цыпочкахъ подбѣжалъ къ двери, рванулъ ее на себя и бокомъ вырвался на тихій, холодный, непроглядно черный дворъ.

И тамъ во мракѣ, въ садикѣ, подъ сіяющими окнами, онъ, дуя въ озябіе кулаки, хлипая носомъ и сутулясь, бродилъ до поздней ночи. Попрежнему было тихо, только на слободкѣ въ тонкомъ, еле слышномъ тутъ плачѣ заливались собаки.

А потомъ вдругъ потеплѣло, вдоль сіяющихъ оконъ легко и стремительно полетѣли крупныя лохматыя снѣжинки и не прошло и часу, какъ прохладно и матово забѣлѣла земля, побѣлѣли съ одного бока деревья, округлыми наростами покрылись чугуныя пики забора, а свѣтъ въ окнахъ сталъ по зимнему желто-медовымъ.

Ужъ безъ ужаса, истомленный, продрогшій и тихій, Сашка остановился возлѣ задрвшася отъ непогоды высоко отъ земли гамака, ладонью нажалъ его упругую, веревочную, запорошенную грудь и поднялъ къ бѣлѣсому, косматому небу — оттуда густо и мокро сыпалось — замученное, дѣвичье лицо свое съ заснѣженнымъ курлемъ на лбу одѣтой набекрень кубанской шапочки.

Мих. Иванниковъ.

Пещера *)

ДЕВЕРУ *).

I.

Въ Регенсбургѣ, въ 1630 году, былъ назначенъ имперскій сеймъ для разрѣшенія многочисленныхъ важныхъ дѣлъ. Война шла двѣнадцать лѣтъ, и конца ей не было видно. Грабежи, налоги, поборы разорили Германію. Между тѣмъ, дѣло все запутывалось, и никто уже не могъ бы толкомъ объяснить, изъ-за чего собственно воюютъ князья: были лютеране на сторонѣ императора Фердинанда, были католики въ лагерѣ сторонниковъ реформы. Говорили, что курфюрстъ баварскій, ревностный католикъ, вступилъ въ тайныя сношенія съ французскимъ дворомъ; между тѣмъ, Франція оказывала поддержку князьямъ лютеровой вѣры. Мира хотѣли почти всѣ князья, но большая часть ихъ находила, что для умиротворенія страны прежде всего необходимо имѣть мощную армію.

Всѣмъ, впрочемъ, было извѣстно, что главное, первое, самое важное дѣло сейма: какъ угодно но во что бы то ни стало, избавиться отъ Валленштейна. Онъ стоялъ во главѣ императорской арміи, и кормилъ ее будто бы на

*) По случайнымъ, техническимъ причинамъ, главы новеллы «Деверу» печатаются въ этой книгѣ «Совр. Записокъ» одна за другой, выдѣленные изъ романа «Пещера» и предвосланныя его послѣднему отрывку. Въ дѣйствительности же, онѣ «въ разбивку» проходятъ черезъ весь романъ, перемежаясь съ его главами, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ имъ соответствуя. — Авторъ.

свои средства, т. е. не требовалъ на это денегъ изъ вѣн-ской казны. Въ дѣйствительности же, все бралъ у князей и у населенія тѣхъ земель, по которымъ проходили его войска: говорилъ, что такъ и быть должно, ибо кормить войну война, — и всѣхъ извелъ поборами, а еще больше своей гордостью, нышностью своего двора, подобнаго которому не было у самыхъ богатыхъ курфюрстовъ. Одни князья хотѣли назначить главнокомандующимъ венгерскаго короля, другіе — курфюрста баварскаго, но на одномъ всѣ стояли твердо и единодушно: императоръ долженъ уволить герцога Фридландскаго въ отставку. При этомъ, у всѣхъ было сомнѣніе: подписать приказъ объ увольненіи легко, но уйдетъ ли въ отставку Валленштейнъ, если приказъ и будетъ подписанъ? Армія же его стояла совсѣмъ близко: въ Меммингенѣ.

Курфюрсты и князья, прелаты и графы, благородные люди и городскіе совѣтники начали сѣзжаться въ Регенсбургъ въ іюнѣ. И такъ было всѣмъ грустно и безпокойно, что немного времени заняли сложные вопросы этикета: кому гдѣ сидѣть? Вѣдавшіе этимъ старики, помнившіе не одинъ сеймъ, съ двухъ-трехъ засѣданій порѣшили, что рядомъ съ майнцскимъ курфюрстомъ въ первый день сидѣть курфюрсту трирскому, а во второй — курфюрсту кельнскому. Остальное пошло совсѣмъ гладко.

Въ среду 29 іюня съ часу дня стали проѣзжать, по пути ко дворцу архіепископа, разныя повозки и коляски. Населеніе города дивилось обилію и роскоши багажа, числу императорскихъ слугъ, — ихъ было до трехъ тысячъ. Къ вечеру горю, сталъ накрапывать дождь. Совѣтники въ черныхъ шелковыхъ костюмахъ, съ золочеными цѣпями, заволновались, — какъ теперь сойдетъ приемъ, вѣдь они ни въ чемъ не виноваты! Стрѣлка городскихъ часовъ уже подходила къ тремъ, когда показался отрядъ венгерскихъ тѣлохранителей императора, — у ихъ сѣрыхъ коней хвостъ, грива и копыта выкрашены были въ красный цвѣтъ. За ними слѣдовали коляски, одна лучше дру-

гой, и, наконецъ, квадратная, раззолоченная, запряженная шестерикомъ карета. Въ ней на почетномъ мѣстѣ сидѣлъ императоръ Фердинандъ, а противъ него императрица Элеонора, оба въ шелковыхъ одѣянiяхъ итальянской моды, одного серебрянаго цвѣта.

Поѣздъ остановился у кордегардіи. Пажи, въ черныхъ бархатныхъ костюмахъ, отворили дверцы. Бургомистръ, съ должнымъ числомъ поклоновъ въ поясъ и до земли, приблизился къ каретѣ и, по обычаю, поднялъ императору ключи города и подарки: кусокъ сукна, вино, сѣно и рыбу. Жена бургомистра произнесла выученное на зубокъ привѣтствіе императрицъ и не сбилась даже въ концѣ его, хотъ очень замысловатый конецъ выдумалъ старый совѣтникъ; знавшій придворные обычаи: «...И если не могу я, недостойная, поцѣловатьъ вашему величеству руку, то да будетъ мнѣ дозволено поцѣловатьъ ногу вашего величества». Оказалось, однако, что старый совѣтникъ не такъ ужъ зналъ обычаи вѣнскаго двора и только осрамилъ Регенсбургъ, ибо полагалось женѣ бургомистра прикоснуться губами не къ рукѣ и не къ ногѣ, а къ подолю платья императрицы. Встрѣча не очень удалась. Императоръ былъ въ дурномъ настроеніи — изъ-за дождя, изъ-за утомительной дороги, изъ-за того, что у заставы его не встрѣтили курфюрсты. Улыбался совѣтникамъ въ обрѣзъ, — видомъ своимъ показавъ, что доволенъ Регенсбургомъ, но не слишкомъ доволенъ. Пажи захлопнули дверцы кареты, поѣздъ двинулся дальше.

Сеймъ же открылся не скоро. Послѣ молебствiя въ соборѣ св. Петра, императоръ, въ тяжелой отороченной мѣхомъ мантии и въ коронѣ, держа у плеча, какъ ружье, скипетръ, оглядываясь по сторонамъ, вытирая бархатнымъ платкомъ лобъ, щеки, короткую сѣдоватую бороду, прошелъ въ залъ, сѣлъ на крытый краснымъ бархатомъ тронъ и, чуть наклонивъ голову направо и налево, открылъ первое засѣданіе: имѣлъ къ своему дѣлу боль-

шую привычку. Камерарій сдѣлалъ перекличку лицамъ духовнымъ и свѣтскимъ.

Императорское посланіе было туманное, ибо сочинившій его канцлеръ Верденбергъ зналъ толкъ въ политикѣ: ничего въ посланіи не сказалъ. Говорилось въ немъ, что императоръ всей душой жаждетъ мира, но это его желаніе не у всѣхъ находитъ откликъ. А потому о сокращеніи арміи, къ несчастію, не можетъ быть и рѣчи, какъ ни искренно миролюбіе его величества. Первый съ отвѣтомъ выступилъ курфюрстъ майнцскій Ансельмъ-Казиміръ, и такъ какъ онъ тоже былъ опытный политикъ, то ничего не сказалъ и курфюрстъ, зная, что не на засѣданіи въ большомъ залѣ, передъ сотнями людей, рѣшаются важныя дѣла: засѣданія же и посланія, да и весь сеймъ, нужны больше потому, что это очень пріятно благороднымъ людямъ и городскимъ совѣтникамъ. О герцогѣ Фридрихскомъ не было сказано ни слова, точно его и не существовало на свѣтѣ. И только позднѣе, въ покояхъ архіепископа, гдѣ остановился императоръ, началось настоящее политическое дѣло: переговоры, торгъ, вѣжливый шантажъ и контръ-шантажъ пяти-шести человекъ, отъ которыхъ все зависѣло на сеймѣ.

Потомъ городъ далъ обѣдъ въ честь императора Фердинанда. Сошелъ обѣдъ невесело. Императоръ, человекъ нездоровый, печально права, почти ни къ чему не прикоснулся изъ поданныхъ тридцати блюдъ, даже къ уткѣ, утопленной въ старомъ венгерскомъ винѣ, за жаренной съ гвоздикой и съ ароматами, начиненной трюфелями и посыпанной золотой пылью. Многие гости, особенно дамы, замѣтили, что послѣ утки и рыбныхъ блюдъ императоръ и императрица, и венгерскій король, и эрцгерцогини не облизывали пальцевъ, а вытирали ихъ о скатерть; тѣ изъ гостей, что побойчѣе, тутъ же переняли эту новую французскую моду, Государственные же люди обратили вниманіе на то, что послѣ десерта былъ къ его величеству позванъ и долго съ нимъ бесѣдовалъ непобѣдимый ба-

варскій полководецъ графъ Тзеркласъ Тилли—маленькій, сухенькій, остроносый старичокъ, который за обѣдомъ ѣлъ только хлѣбъ и овощи, къ вину не притрагивался и поглядывалъ на обѣдавшихъ исподлобья съ злымъ презрѣніемъ. Государственные люди тотчасъ сдѣлали выводъ, оказавшійся вполнѣ правильнымъ: такъ какъ императоръ не хочетъ назначать главнокомандующимъ баварскаго курфюрста, а курфюрсты не желаютъ императорскаго сына, то, вѣрно, всѣ сошлись на графъ Тилли: именно онъ и будетъ назначенъ преемникомъ герцога Фридландскаго.

Императоръ же былъ грустенъ и послѣ разговора. Ему и нужно, и страшно было разстаться съ Вадельштейномъ. Не хотѣлось и уступать желанію сейма. И видъ его показывалъ, что онъ недоволенъ Регенсбургомъ, но не слишкомъ недоволенъ. Грусть же императора передалась курфюрстамъ и князьямъ, прелатамъ и графамъ, благороднымъ людямъ и городскимъ совѣтникамъ.

II.

Отрядъ католиковъ, направлявшійся въ Регенсбургъ для вступленія въ армію графа Тилли, послѣднюю остановку сдѣлалъ недалеко отъ Меммингена. Гостиницы въ городкѣ были, навѣрное, переполнены, хозяева вездѣ драли немилосердно, погода стояла жаркая, и рѣшено было въ Меммингенѣ не заѣзжать, а весь остатокъ дня и ночь провести въ лѣсу вблизи большой дороги. Съѣстные припасы были на исходѣ. Драгунъ Деверу — родомъ ирландецъ, много поѣздившій по Европѣ и знавшій разные языки (понималъ даже и по-латыни), — взялся съѣздить въ городокъ и привезти все нужное. Отрядъ составилъ въ пути, изъ случайно встрѣтившихся людей; въ большинствѣ, они не знали другъ друга, однако Деверу повѣрили: деньги не очень большія, а подсыпать отраву въ вино ему расчета нѣтъ. Ѣхать же въ одиночку, или даже вдвоемъ, да еще лѣсомъ, никому не хотѣлось.

По дорогѣ въ Меммингенъ Деверу подкрѣплялъ себя водкой; но съ нимъ ничего не случилось. Только на опушкѣ лѣса увидѣлъ онъ дерево, увѣшанное людьми. Казненныхъ было человекъ пятнадцать, — очевидно, все провинившіеся солдаты, такъ какъ разбойниковъ и дезертировъ никогда на зеленомъ деревѣ не вѣшали, а не иначе, какъ на сухомъ или на висѣлицѣ. Не то, чтобы Деверу испугался, но смотрѣть было непріятно, — провиниться могъ каждый, — онъ выпилъ еще водки и хлестнулъ лошадь.

Свое порученіе выполнилъ онъ въ Меммингѣ вполнѣ честно: ни о, ни за, ни про что, ни за чѣмъ товарищей не попользовался, съ лавочниками торговался долго и жестоко, а мяснику велѣлъ поклясться памятью матери, что колбаса не изъ человекьяго мяса, — его теперъ подсовывали всюду, — и въ дополненіе къ клятвѣ ясно намекнулъ, что въ случаѣ какого обмана зарѣжетъ. Угроза была непозволительная и не очень страшная: герцогъ Фридландскій подерживалъ порядокъ въ городкѣ, не церемонясь съ преступниками. Но лицо у драгуна было такое, что связываться съ нимъ никому не хотѣлось. Мясникъ, впрочемъ, человекъ чистымъ мясомъ не торговалъ, велѣ дѣло честно и слачу заплатилъ правильно. Деверу долго ее провѣрялъ. Одна монета вызвала въ немъ сомнѣніе: былъ на ней изображенъ самъ герцогъ, а на оборотѣ вокругъ гербоваго орла вилась надпись крупными буквами: «Dominus protector meus». Деверу не зналъ, что Валленштейнъ чеканить свою монету. «Вотъ куда зашелъ человекъ!» — съ завистью подумалъ онъ, — «а, вѣдь, былъ простой солдатъ, какъ я!» Вина онъ купилъ разныя, и каждое пробовалъ въ интересахъ товарищей. Подъ конецъ онъ сталъ очень веселъ и булочнику сообщилъ, что въ Регенсбургѣ ждуть его очень важныя особы, и что, по всей вѣроятности, онъ скоро приобрѣтетъ капитанскій патентъ въ арміи графа Тилли. На что булочникъ, недовѣрчиво, но почтительно, отвѣтилъ: «Дай Богъ! дай Богъ!»

Выѣхалъ Деверу изъ Меммингена уже часу въ вось-

момъ вечера, стараясь не думать о неприятномъ возвращеніи черезъ лѣсъ. На окраинѣ городка онъ еще остановился въ кабачкѣ, — какъ разъ оставалось одно свободное мѣсто у вынесеннаго за ворота стола. Но только онъ сѣлъ и заказалъ пива, какъ раздались трубные звуки, всѣ повставали съ мѣсть. Въ Меммингенѣ вѣзжалъ пышный поѣздъ: были тутъ и драгуны, и кирасиры, и мушкетеры, за ними трубачи, лакеи, пажы, дальше коляски одна за другой и, въ концѣ поѣзда, хорваты съ кривыми саблями наголо. Легко было догадаться, кто такъ ѣздитъ въ Меммингенѣ. И дѣйствительно, въ первой раззолоченной коляскѣ, съ видомъ величественнымъ и хмурымъ, сидѣлъ подтянутый и строгій, тотъ самый человекъ, который былъ изображенъ на монетѣ. Деверу никогда до того не видалъ герцога Фридландскаго и такъ и впился въ него глазами: коляска проѣхала медленно, совсѣмъ близко. Лицо у Валленштейна было надменное, какъ ему и полагаюсь. Изъ-подъ шляпы на бѣлый кружевной воротникъ падали длинные, вьющіеся свѣтло-рыжеватые волосы. Увидѣвъ вытянувшихся солдатъ, герцогъ прошелся по нимъ неприятно-внимательнымъ взглядомъ и встрѣтился глазами съ Деверу...

«Вотъ кому служить бы!» — подумалъ драгунъ и пожалѣлъ, что уже подписалъ договоръ съ вербовщикомъ графа Тилли. — «Принялъ бы этотъ меня на службу, не было бы у него человека вѣрнѣе, чѣмъ я... Онъ грустно расплатился и сѣлъ на коня. Не встрѣтилъ Деверу разбойниковъ и на обратномъ пути. Мимо того дерева онъ проскакалъ галопомъ, стараясь на него не смотрѣть, но не удержался, взглянулъ и опять подумалъ, что все можетъ случиться съ воиномъ и ни отъ чего отказываться напередъ нельзя. На привалѣ всѣ заждались.

Тотчасъ начался шлафтрункъ. Какъ человекъ деликатный и воспитанный, Деверу первый пробовалъ все имъ привезенное: понималъ, что у другихъ могутъ быть хорошія мысли. Онъ и самъ зналъ, что такіе случаи бы-

вали: грабители переодѣвались солдатами. Однако, подозрѣніе было ему обидно: грѣховъ на совѣсти было у него немало, но товарищей или даже случайныхъ попутчиковъ не убивалъ и не грабилъ. Скрывая обиду, онъ прикасался къ ѣдѣ акулинымъ зубомъ, который, по обычаю, при себѣ носилъ: такимъ образомъ уничтожалась сила заговора, — хоть только дуракъ или совершенный разбойникъ могъ предположить, что онъ закладъ колбасу! Отъ обиды Деверу и разговаривалъ за шафтрункомъ мало. Говорили о предстоящей войнѣ, рассказывали о походахъ: онъ угрюмо молчалъ. Разъ только горячо вмѣшался въ бесѣду, — одобрялъ, что драгунамъ платятъ больше, чѣмъ мушкетерамъ.

Потомъ, впрочемъ, Деверу смягчился, и когда съѣли играть въ карты, ясно всѣмъ показалъ, что онъ человѣкъ образованный, знающій обычай хорошаго общества: при каждой сдачѣ привставалъ, — хоть прямо съ земли было неудобно, — и, по французской модѣ, съ легкимъ поклономъ, дѣлалъ жестъ рукою.

Въ 12-мъ часу легли спать. Раздѣвшись, Деверу вытеръ тѣло сухимъ полотенцемъ: воды не употреблялъ, зная, что отъ нея портятся глаза и появляется зубная болѣзнь. Провѣривъ заряженные пистолеты, онъ положилъ ихъ рядомъ съ собой. Затѣмъ, оглянувшись на товарищей и убѣдившись, что никто не видитъ, снялъ и спряталъ въ пороховницу странный предметъ: маленькую золотую розу, висѣвшую у него на груди на синей лентѣ.

III.

Одновременно съ имперскимъ сеймомъ, но въ глубокой тайнѣ, была созвана въ Регенсбургѣ большая ложа розенкрейцеровъ. Называли ихъ невидимыми, и много о нихъ говорили, особенно съ той поры, какъ разоблачили ихъ и опозорила книга, неизвѣстно кѣмъ выданная

во Франціи: «Effroyables pactions faites entre le Diable et les prétendus Invisibles avec leurs damnables instructions, perte de leurs Escoliers et leur misérable fin». Страшно было непонятное слово «розенкрейцеры», страшно опредѣленіе «невидимые», но гораздо страшнѣе было то, что сообщалось въ книгѣ. Автору ея было достоверно извѣстно, что въ городѣ Ліонѣ, въ ночь на 23 іюня 1623 года, состоялся капитулъ 36 главныхъ розенкрейцеровъ и закончился онъ великимъ колдовскимъ шабашемъ. Разсудительные люди допускали, что не всякому слову надо вѣрить, даже если оно и печатное. Но все же о невидимыхъ говорили больше по вечерамъ, когда за окнами былъ мракъ и холодъ, говорили, понижая голосъ и расширяя глаза, такъ, какъ разсказывали о гнусныхъ продѣлкахъ Каспара Чернаго или о вѣдьмѣ Клодинѣ Удо, сожженной на кострѣ въ Везулѣ за устройство грозы. Собирались невидимые, по слухамъ, изрѣдка, въ большихъ городахъ, всегда на восточной окраинѣ и передъ самымъ разсвѣтомъ, узнавали же другъ друга по особымъ словамъ, значкамъ и примѣтамъ. Созывалъ ихъ тайнымъ образомъ ихъ невидимый императоръ, и будто бы хвастали они, что первымъ розенкрейцерскимъ императоромъ былъ Адамъ, а за нимъ слѣдовали Ной, Авраамъ, Моисей, Соломонъ и другія всѣми почитаемыя лица.

Однако почти никто не зналъ (развѣ жена его, ибо какъ отъ жены утаишь?), почти никто не зналъ, что въ пору регенсбургскаго сейма императоромъ невидимыхъ розенкрейцеровъ состоялъ Іоганнъ-Карлъ фонъ-Фризау, человекъ весьма почтенный: если бы знали это въ его городѣ, то усомнились бы въ мрачныхъ слухахъ о невидимыхъ, ибо кто жѣ могъ допустить, что Іоганнъ-Карлъ фонъ-Фризау поддерживаетъ сношенія съ дьяволомъ? И еще больше было бы общее удивленіе, когда бы стало извѣстно, что въ розенкрейцерскомъ капитулѣ состоятъ или состояли очень знатные люди и даже владѣтельные князья, какъ Морицъ, ландграфъ Гессенъ-Кассельскій, или Хри-

стіанъ, князь Ангальтскій. Вмѣстѣ съ владѣтельными князьями, былъ въ капитулѣ ученый, голландскій профессоръ Іонгманъ, нисколько не знатный и не родовитый. А какъ разъ передъ сеймомъ, къ великому своему счастью, попалъ въ капитулѣ и совѣтъ простой человекъ, старый магдебургскій печатникъ Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ.

Выбрали его потому, что это былъ человекъ праведной жизни и свѣтлой души, вдобавокъ, большой мастеръ своего дѣла: онъ работалъ и у Джунти, и у Жанъ Мара, и у Эльзевировъ, потомъ открылъ мастерскую въ своемъ родномъ городѣ, въ протестантскомъ Магдебургѣ (хоть самъ былъ вѣрующій католикъ), и по ночамъ, скрываясь отъ подмастерьевъ, печаталъ бумаги, дипломы, грамоты невидимыхъ, несмотря на свою бѣдность, совершенно бесплатно, рискуя, быть можетъ, костромъ. Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ тоже ни за что не согласился бы вступить въ сношенія съ дьяволомъ и даже вѣрилъ въ дьявола плохо, ибо трудно ему было допустить, что существуетъ въ мірѣ столь злобное и вредное существо. Да вѣрно (такъ позднѣе казалось многимъ) и другіе члены капитула, за самыми рѣдкими, быть можетъ, исключеніями, никогда съ дьяволомъ дѣла не имѣли и только грустно удивлялись, слыша, съ какой ненавистью и съ какимъ страхомъ говорятъ люди объ ихъ орденѣ. Настоящая же цѣль розенкрейцеровъ была совершенно иная: они хотѣли положить конецъ войнамъ, казнямъ, пыткамъ и прочимъ страшнымъ и бесполезнымъ для человека вещамъ, найти способъ лѣченія всѣхъ болѣзней, установить равенство и дружбу между гражданами, а равно миръ и любовь между всѣми народами, кромѣ развѣ какихъ-нибудь турокъ. И, навѣрное, они этой цѣли достигли бы, если бы не мѣшали имъ разныя случайныя обстоятельства, а всего больше козни враговъ.

Въ Регенбургѣ же должны были невидимые обсудить главные вопросы, интересовавшіе образованныхъ людей.

Нужно было поговорить о томъ, правъ ли престарѣлый Галилей, занимавшій должность перваго философа при дворѣ великаго герцога Тосканскаго: вслѣдъ за давно умершимъ польскимъ каноникомъ, этотъ знаменитый и почтенный старецъ утверждалъ, что не солнце вращается вокругъ земли, а земля вокругъ солнца. Второй же вопросъ былъ политическій, связанный отчасти съ регенсбургскимъ сеймомъ: необходимо было выяснить, какъ относятся невидимые къ Валленштейну, и должно ли ему сочувствовать въ его тайственныхъ и великихъ замыслахъ. Были также и другіе вопросы: о странномъ братѣ Андресъ, о несерьезной и непристойной книгѣ «Химическая свадьба Христіана Розенкрейца» и о томъ, что должно предшествовать при изготовленіи философскаго камня: нигредо, альbedo или рубедо? Однако, эти давніе, хоть волнующіе, вопросы могли подождать и до слѣдующей ложи.

Торжественное засѣданіе было назначено на послѣдній вечеръ іюня. Но часть невидимыхъ уже съѣхалась въ Регенсбургъ, ибо всѣмъ было интересно посмотрѣть и на имперскій сеймъ. Вновь пріѣхавшіе должны были являться къ мѣстному розенкрейцеру, почтенному врачу Майеру, который имѣлъ свой домъ, и, по достатку своему, могъ принимать друзей безъ стѣсненія для себя, не возбуждая ни въ комъ подозрѣній.

Въ первый день сейма собралось въ домъ Майера семь или восемь невидимыхъ, и они, безъ малѣйшаго церемоніала, за пивомъ бесѣдовали и о важныхъ, и о суетныхъ предметахъ. И всѣмъ было очень приятно: иноземельнымъ, что благополучно пройдена ими опасная дорога, мѣстнымъ, что пришли вѣсти изъ разныхъ земель, а всѣмъ вообще, что встрѣтились они въ гостепріимномъ домѣ, въ своей дружеской средѣ. Особенно же радовался чистой душою своею членъ капитула, печатникъ Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ: были въ столовой почтеннаго врача Майера и католики, и сторонники Лютера, и ученые люди, и только любившіе просвѣщеніе, и знатные дворя-

не, и простые ремесленники, какъ онъ самъ. Нужно ли было лучшее доказательство того, что всѣ люди братья, и что не по грѣховности ихъ природы, а по невѣжеству, творится зло, которымъ полонъ міръ?

Больше всѣхъ говорилъ, сіяя радостной улыбкой, голландскій профессоръ Ионгманъ, ибо профессоръ любилъ поговорить, былъ ученѣе всѣхъ другихъ и видѣлъ очень много: постоянно ѣздилъ по разнымъ странамъ, — какъ только хранилъ его жизнь Господь? — и всячески служилъ дѣлу розенкрейцеровъ, поддерживая между ними связь. Кромѣ науки и этого дѣла (да и были они одно), ничто въ жизни не интересовало профессора: не имѣли жены, ни дѣтей, средства же были у него достаточныя. Какъ весьма ученаго человѣка, невидимые его разспрашивали о взглядахъ Галилея и просили прочесть на торжественномъ собраніи докладъ, дабы имъ, наконецъ, стало ясно, что именно обо всемъ этомъ думать. Однако, отъ доклада профессоръ отказался (хоть очень доклады любилъ), а на вопросы отвѣчалъ уклончиво. Понять можно было такъ, что во обращеніе земли онъ не вѣритъ, но лучше пока не высказываться, ибо Галилей весьма мудрый старикъ и не сталъ бы говорить на вѣтеръ. А, главное, передъ самымъ отъѣздомъ изъ Амстердама, профессоръ встрѣтился тамъ съ Декартомъ, — «да, съ тѣмъ самымъ», — многозначительно добавилъ онъ, намекая на давнія, хоть запутанныя, сношенія Декарта съ невидимыми: не то онъ самъ былъ невидимый какого-то иного толка, не то надъ ними надъ всѣми потѣшался, — нелегко разобрать душу этого человѣка. И при встрѣчѣ, зная, что Декартъ Галилея недолюбливаетъ, профессоръ, хоть нерѣшительно, но съ неодобреніемъ отозвался о новой теоріи мірозданія. Однако, собесѣдникъ его, помолчавъ и не вступая въ споръ, сказалъ только, что если Галилей ошибается, и солнце вращается вокругъ земли, то, значить, и онъ, Декартъ, ничего въ устройствѣ вселенной не смыслить, и лучше ему бросить научныя занятія. И этимъ отвѣтомъ

смутить профессора, который, какъ всѣ знавшіе Декарта, имѣлъ чрезвычайное довѣріе къ силѣ его ума.

Потомъ заговорили о политическихъ дѣлахъ, о томъ, что, вмѣсто Валленштейна, главнокомандующимъ назначается Тилли. Объ этомъ пожалѣли, ибо всегда обидна замѣна умнаго человѣка тупымъ, — такъ сказалъ почтенный профессоръ Юнгманъ, и всѣ съ нимъ согласились: графъ Тзеркласъ Тилли былъ, по общему мнѣнію, и тупой, и невѣжественный, и жестокій человѣкъ. Только Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ, не любившій дурныхъ отзывовъ о людяхъ, напомнилъ, что и Тилли имѣетъ добрыя свойства: очень храбръ, не пьяница, не развратникъ и никогда солдатскими деньгами не пользовался. За Валленштейномъ же всѣ невидимые признавали и великій умъ, и дарованія, и сильную волю, — очень много дано ему, вплоть до звучнаго красиваго имени. Лишь въ томъ, они думали, вопросъ: къ чему направлена воля герцога Фридрихсбургскаго? Ибо правильно сказалъ профессоръ: важно не то, что человѣкъ ищетъ власти, а то, для чего онъ ее ищетъ. И если иные и Валленштейна считаютъ розенкрейцеромъ, то никакихъ основаній для этого вѣдь нѣтъ: ибо желающій найти путь къ розенкрейцерамъ рано или поздно найдетъ его. Амулеты же и астрологическія занятія герцога ни о чемъ не свидѣтельствуютъ, кромѣ суетвѣрія и томленія духа. Но человѣкъ онъ большой, объ этомъ и спорить невозможно. Идетъ молва, будто онъ хочетъ стать богемскимъ королемъ, а потомъ, пожалуй, выставитъ свою кандидатуру на императорскій престолъ. Да и правду сказать, если бъ, по розенкрейцерскому ученію, полагалось одному человѣку управлять полновластно милліонами другихъ, то нельзя было бы, пожалуй, подыскать достойнѣйшаго цезаря, чѣмъ герцогъ Фридрихсбургскій. И много еще разумныхъ и справедливыхъ словъ сказалъ, сія радостной улыбкой, всѣми уважаемый профессоръ Юнгманъ.

А затѣмъ сообщилъ онъ невидимымъ, что докладъ

свой на торжественномъ собраніи сдѣлаеть о важномъ предметѣ, грозящемъ многими бѣдами и наука́мъ, и розенкрейцерамъ, и всѣмъ честнымъ людямъ. Въ Парижѣ не такъ давно образовалось тайное общество. Оно называетъ себя просто «La Compagnie»; люди же, о немъ прослышавшіе, именуютъ его «La Sabale». Стремится это общество къ счастью человѣчества, но для этого хочетъ установить въ мірѣ единую вѣру и мысль, такъ чтобы всѣ обо всемъ думали совершенно одинаково и такъ же одинаково жили, ни въ чемъ никуда не уклоняясь. Страшна цѣль этихъ людей, но еще много страшнѣе ихъ способности работы. Общество имѣеть агентовъ во всѣхъ классахъ и сословіяхъ, обзавелось ячейками въ разныхъ странахъ міра, даже на далекомъ востока́. Средства у него большія, дѣйствуетъ оно беззастѣнчиво и безсовѣстно: каждому члену общества прямо вмѣняется въ обязанность идти на любое преступленіе, если только оно можетъ быть обществу полезно. И чѣмъ больше кто преступленіе совершитъ, тѣмъ больше этимъ гордится, ибо служить счастью человѣчества. Основаль компанію Вентадуръ, человѣкъ мрачный, жестока́й, фанатическа́й, — попросту другой, французска́й Тилли. Окружаютъ же его всевозможные мошенники и злодѣи. И если вначалѣ еще можно было подавить это общество въ зародышѣ, то теперь чрезвычайно трудно, и очень этимъ во Франціи напуганы и розенкрейцеры, и всѣ вообще просвѣщенные люди. «Однако», — добавилъ профессоръ Лонгманъ, — «для потери надежда́ никакихъ основаній нѣтъ: свѣтъ науки и благородная работа розенкрейцеровъ преодолѣють, конечно, и эту новую бѣду»...

Не успѣли невидимые обсудить это странное и печальное извѣстіе, какъ раздался стукъ въ дверь. Кое-кто изъ невидимыхъ вздрогнулъ, но хозяинъ пошелъ отворять почти безъ робости, ибо ничего противнаго законамъ ни онъ, ни его гости не дѣлали. На порогѣ стоялъ незнакома́й драгунъ. Спросивъ вѣжливо хозяина о фамилии и оглянув-

шись въ сѣняхъ, драгунъ раздвинулъ камзолъ и показалъ подъ нимъ золотую розу на синей лентѣ. — «Ave Frater», — прошепталъ хозяинъ недověрчиво (ибо не понравилось ему лицо гостя). — «Roseae et Aurgae», — шепнулъ драгунъ. И такъ какъ слово было въ совершенномъ порядкѣ, то хозяинъ произнесъ: «Benedictus Dominus qui vobis dedit signum» и пригласилъ вошедшаго въ свой кабинетъ. Тамъ драгунъ, сообщивъ, что зовутъ его Деверу, показалъ, кромѣ розы, пергаментъ за подписью Роберта Флудда, главы англійскихъ невидимыхъ. Сомнѣній больше не оставалось, хозяинъ обнялъ брата, повелъ его въ столовую, познакомилъ съ другими розенкрейцерами и налилъ ему кружку пива. И хоть другимъ тоже не очень понравился новый гость, откровенная бесѣда продолжалась. Драгунъ же больше молчалъ, слушалъ и оглядывался по сторонамъ.

IV.

Графъ Тзеркласъ Тилли говорилъ своимъ друзьямъ, что никогда въ жизни не проигрывалъ сраженія, не пробовавъ вина и не прикасаясь къ женщинѣ. Повторялъ онъ это часто и этимъ немного друзьямъ надобѣлъ. Знали, что говорить онъ чистую правду, но инымъ казалось, что не всѣмъ тутъ слѣдовало бы ему похвалиться: вѣдь не такъ ужъ много радостей дано въ земной жизни человѣку. У графа Тилли была только одна страсть: славолубіе, — и понималъ онъ славу по-своему, а вѣрно ли, объ этомъ судить потомству. Думалъ же онъ, что потомство окружаетъ почетомъ и восхищеніемъ лишь тѣхъ людей, которые умѣютъ проявлять непреклонную и суровую власть. Поэтому въ послѣдствіи и вырѣзалъ, для своей славы, все населеніе города Магдебурга.

Былъ ли онъ уменъ или глупъ, — и о томъ нелегко было судить людямъ, близко его знавшимъ. Тѣ, что по-

смѣлѣе, думали иногда, что Господь не щедро одарилъ разумомъ графа Тзеркласа Тилли. Но увѣренности у нихъ въ этомъ не было, ибо шель онъ отъ успѣха къ успѣху и считался непобѣдимымъ до тѣхъ поръ, пока его не побѣдили. Лишь послѣ того, какъ въ борьбѣ съ Густавомъ-Адольфомъ, на Брейтенфельдскихъ поляхъ и на берегахъ Леха, оставилъ онъ свою военную славу, стали говорить люди, что на бѣду Германіи, за ся грѣхи, посланъ былъ ей этотъ человекъ, и что много лучше было бы для всѣхъ, если бъ графъ Тзеркласъ Тилли пилъ вино и любилъ женщинъ, но не занимался ни войной, ни государственными дѣлами.

Самъ же онъ и въ молодости, и до послѣдняго дня думалъ совершенно иначе, и счастливейшимъ днемъ его жизни былъ тотъ день, когда императоръ ему сообщилъ, что назначаетъ его главнокомандующимъ всѣми вооруженными силами имперіи, вмѣсто герцога Фридландскаго. Въ этотъ день, ложась на свою жесткую постель, графъ Тзеркласъ Тилли долго и радостно смѣялся, думая, что, быть можетъ, въ эту самую минуту посланецъ императора, канцлеръ Верденбергъ, сообщаетъ Валленштейну о немилости и отставкѣ.

V.

Въ этотъ же вечеръ, рожденный въ пещерѣ Меркурій, благосклонный къ ворами и поэтами, зловоще показался въ седьмомъ небесномъ домѣ, заградивъ путь Марсу. День былъ не Меркуріевъ: не среда, а четвергъ. Но и сердце говорило то же, что звѣзды: быть бѣдѣ. Тоска и бѣшенство томили душу Валленштейна. Склониться передъ рѣшеніемъ сейма, передъ мелкими завистливыми князьками, передъ маленькимъ человекомъ, который правилъ Германіей, ибо родился Габсбургомъ! Чувствовалъ въ себѣ нерастраченныя большими дѣлами, еще почти безграничныя силы, — кто другой могъ отразить Густа-

ва-Адольфа, кто могъ прекратить нелѣпую междоусобную войну, кто могъ спасти германскую землю? Неправъ лукавый Сократъ, говорившій радостно: «какъ много въ мірѣ вещей, которыя мнѣ не нужны!» — Все нужно чело-вѣку съ ненасытной душою.

Не открытая герцогская корона, когда-то волновавшая воображеніе, такъ давно надоѣвшая, — закрытая корона императора, съ золотымъ полукругомъ, съ изображеніемъ міра, съ крестомъ, корона Карла Великаго, все тревожила сердце. Объ этомъ нельзя было говорить даже съ астрологомъ. Объ этомъ нельзя было говорить ни съ кѣмъ. Но кто могъ бы читать, какъ въ книгѣ, въ сердцахъ людей, тотъ, при видѣ Альбрехта Валленштейна въ пору его занятій звѣздами, навѣрное, сказалъ бы, что одна сокровенная, неотступная мысль гложеть, томить и, наконецъ, разорветъ душу этого чело-вѣка.

Двинуть же армію на Регенсбургъ было трудно, очень трудно, ибо велика надъ людьми власть породы, еще крѣпче власть привычки, и много ли офицеровъ пойдетъ за простымъ дворяниномъ противъ потомка Рудольфа Габсбургскаго? Итальянецъ-астрологъ робко спорилъ: Меркурій непостоянень, въ четвергъ онъ ничего означать не можетъ. Заглянули въ пророческій календарь. На его обложкѣ значилось, что составленъ онъ Юганномъ Кеплеромъ, честнымъ математикомъ герцогства Штирійскаго. На 1630 годъ предсказаній, какъ на бѣду, не было, — были на другіе годы. Можно, правда, заказать: старичокъ принималъ заказы, — только этимъ и жилъ.

Сени молчалъ съ видомъ достойнымъ и обиженнымъ: ужъ если ему предпочитаютъ шарлатана! Достали другіе инструменты, принялись составлять гороскопъ. Непостоянный Меркурій стоялъ на своемъ: быть бѣдѣ. Сени согласился съ герцогомъ, — его свѣтлость всегда правъ, большихъ дѣлъ теперь начинать не должно; но дальше звѣзды связываются превосходно: только переждать, и счастье вернется. Валленштейнъ тщательно провѣрилъ.

Въ самомъ дѣлѣ, было такъ. И въ это самое время ему доложили о прїѣздѣ изъ Регенсбурга посланца императора, канцлера Верденберга.

Отъ столь отчаяннаго человѣка можно ждать всего. Канцлеръ очень безпокоился: вдругъ прикажетъ арестовать и двинетъ свои войска на Регенсбургъ! Нѣтъ въ Германіи ни такой арміи, ни такого полководца. Узнавъ же отъ мажордома, что у его свѣтлости сидитъ итальянскій плуть, Верденбергъ и совсѣмъ испугался: не любилъ, чтобы звѣзды вмѣшивались въ государственныя дѣла, плутовъ предпочиталъ обыкновенныхъ, — не звѣздныхъ, — а сумасшедшихъ боялся, какъ огня. Канцлеръ давно привыкъ прятать чувства подъ спокойную улыбку, но на этотъ разъ они изъ виду поды улыбки выскользнули, и въ глазахъ мелькнулъ ужасъ при видѣ герцога Фридландскаго у стола съ приборами. Валленштейнъ понялъ и усмѣхнулся. Александръ, Помпей, Цезарь вѣрили звѣздамъ, — старый хитренькій чиновникъ не вѣритъ! Нѣтъ людей недоувѣрчивѣе глупцовъ, нѣтъ никого глупѣе скептиковъ.

Цвѣтистая же рѣчь канцлеру не понадобилась. Герцога прервалъ его съ первыхъ словъ и чуть было не обнялъ отъ радости. Неужели правда? Неужели его величество надъ нимъ сжалился и всемилостивѣйше освободилъ отъ дѣлъ, во вниманіе къ разстроенному здоровью. Верденбергъ тотчасъ успокоился: слава Господу Богу! Значить, звѣзды на этотъ разъ пригодились.

Узнавъ же, что преемникомъ его будетъ графъ Тилли, Валленштейнъ почти утѣшился и вправду: гдѣ старому дураку справиться съ Густавомъ-Адольфомъ! Герцогъ Фридландскій весело сказалъ, что его величество не могъ сдѣлать лучшаго выбора.

Къ ужину пригласили генераловъ. Ужинъ былъ такой, какого канцлеръ не помнилъ и въ императорскомъ дворцѣ, — оцѣнилъ, хоть страдалъ катарромъ желудка. Потомъ сѣли играть въ эсперансъ, въ три жетона. Партія затянулась, никто не выходилъ въ мертвецы. Канцлеру

везло: у другихъ оставалось по одному жетону, а у него два. И вдругъ выбросилъ онъ изъ рожка сразу и туза, и шестёрку. Всѣ захохотали.

— Вы безславно умерли, господинъ канцлеръ! — сказала, смѣясь, герцогъ.

— *Il me geste l'espritance*, — отвѣтилъ Вердецбергъ, отдавая свои жетоны. Онъ любилъ говорить по-французски.

Послѣ игры канцлеръ простился съ хозяиномъ такъ цвѣтисто, что всѣ гости заслушались, и вышелъ на крыльцо. Передъ крыльцомъ стояла великолѣпная карета, запряженная кровными лошадьми рыжей масти. Пышно одѣтый человекъ, снявъ шляпу съ перьями и низко поклонившись гостю, сказалъ торжественно и важно, что его свѣтлость Альбрехтъ, Божьей милостью, герцогъ Мекленбургскій, Фридландскій и Саганскій, князь Венденскій, графъ Шверинскій, Ростокскій, Штаргардскій и другихъ земель, главнокомандующій всѣми арміями и флотомъ его императорскаго величества, просить его превосходительство господина канцлера принять на память, въ дружескій даръ, коней, карету и все то, что его превосходительство найдетъ въ каретѣ.

И долго еще на обратномъ пути, радуясь подарку, канцлеръ думалъ, что же такое онъ получилъ бы, если бъ привезъ не злую, а добрую вѣсть этому загадочному человеку.

VI.

Патенты офицеровъ, наборныя свидѣтельства солдатъ были давно провѣрены. Но полка синихъ драгунъ еще не было. Воины держались по націямъ: баварцы съ баварцами, поляки съ поляками, испанцы съ испанцами; были и хорваты, и венгры, и московиты, увезенные въ неволю турками и бѣжавшіе или выкупленные изъ плѣна. О прошломъ, о родинѣ, даже о вѣрѣ спрашивать никого не по-

лагалось. Ежедневно палатки обходили вербовщики и вели съ драгунами бесѣду. Говорили, впрочемъ, лишь они сами и все объ одномъ предметѣ: о графѣ Тзеркласѣ Тилли, о томъ, какой онъ великій, мудрый, справедливый человекъ, и какая честь служить подъ его начальствомъ. Въ первый разъ это удивило Деверу, на второй его раздражило, но съ десятаго раза онъ повѣрилъ. Служилъ онъ уже не первый годъ, и нигдѣ такого обычая не было. Можетъ, графъ Тзеркласъ Тилли и въ самомъ дѣлѣ на другихъ вождей ни въ чемъ не походилъ, если о немъ говорить такъ много?

Плату же выдавали исправно, кормили хорошо, а женщины при арміи было тысячь пятнадцать, не меньше. Нельзя было пожаловаться и на одежду: Тилли не любилъ новшества, -- однообразныхъ мундировъ. Но одѣваль своихъ солдатъ отлично, въ одежды, шитыя серебромъ и золотомъ; на рукавѣ у всѣхъ была бѣлая повязка, чтобы въ бою могли отличать своихъ отъ непріятеля. Полкъ же все не было: говорили, что спѣшить некуда, и объясняли воинамъ, какое выпало Германіи счастье, что есть у нея графъ Тзеркласъ Тилли. Ходили слухи о предстоящемъ походѣ на Магдебургъ -- гнѣздо сторонниковъ Лютера. Потомъ стали поговаривать и о томъ, что на сѣверѣ высадился съ немалой арміей шведскій король Густавъ-Адольфъ, -- но бѣды въ этомъ никакой нѣтъ: Тилли живо ему укажетъ дорогу на родину. И, наконецъ, вскорѣ послѣ высадки шведскаго короля, объявили драгунамъ, что полкъ будетъ основанъ на слѣдующій день, въ шесть часовъ утра, а потомъ состоится большой парадъ, въ присутствіи самого императора.

Синіе драгуны, числомъ до двухъ тысячъ, выстроились въ полѣ позади вбитаго въ землю высокаго древка, у котораго стоялъ знаменосецъ, семи футовъ ростомъ. Не слышно было ни шутокъ, ни разговоровъ, -- не каждый день записываешься въ полкъ, а что ждетъ тебя въ немъ, неизвѣстно! Ровно въ шесть часовъ заиграла музыка, и

на регенсбургской дорогѣ показался отрядъ офицеровъ. Впереди ѣхалъ, на сѣрой въ яблокахъ лошади, старикъ въ зеленомъ кафтанѣ. Съ перваго взгляда, Деверу съ волненіемъ призналъ въ немъ графа Тзеркласа Тилли. Видъ у него былъ скорѣе невзрачный, — не то, что у герцога Фридландскаго. Старикъ подъѣхалъ къ древку, оглядѣлъ драгунъ и сдѣлалъ знакъ рукой, — музыка тотчасъ перестала играть.

Графъ Тилли заговорилъ, — онъ умѣлъ говорить съ солдатами. Объяснилъ имъ, какая честь выпала на ихъ долю, поздравилъ, выразилъ надежду, что изъ всѣхъ его полковъ лучшимъ будутъ синіе драгуны. И только онъ сказалъ эти слова, какъ забили барабаны, знаменосецъ что-то развернулъ, дернулъ веревку, и на древко медленно поднялось синее знамя, — по его цвѣту и назывался полкъ.

Сердце у Деверу дрогнуло. И знамени нигдѣ такъ не поднимали, какъ у графа Тилли. Въ оранжевомъ полку, гдѣ онъ прежде служилъ, все было просто, буднично, некрасиво, — полкъ этотъ былъ въ прошломъ году безславно разбитъ. «Можетъ, и вправду, вся моя жизнь до сихъ поръ была ни къ чему?», — подумалъ онъ, рѣшивъ никому никогда о своей прошлой жизни не рассказывать, и нехитрой душою почувствовалъ, что, начиная съ этого дня, будетъ служить не ради платы, не отъ бездѣлья, а за совѣсть, вѣрой и правдой. И тотчасъ ему стало легко, какъ бываетъ легко всякому, надъ кѣмъ есть твердая власть любимаго вождя. Онъ самъ удивлялся, что могъ прежде служить другимъ людямъ, и еще больше тому, что недавно, — правда, лишь на мгновеніе, — увлекъ его душу герцогъ Фридландскій, — только что, по заслугамъ, немилостиво уволенный отъ должности императоромъ. И ужъ совсѣмъ странно, и смѣшно, и совѣстно казалось ему, что въ іюнѣ мѣсяцѣ понесла его нелегкая къ какимъ-то розенкрейцерамъ, и что онъ цѣлый вечеръ слушалъ ерунду, которую несли болтливые лѣкаря, хилые ремесленни-

ки, неслужащіе дворяне. Напрасно соблазнилъ его тотъ старый англійчанинъ, намелавшій, что имъ извѣстны великія тайны. Ничего имъ, навѣрное, не было извѣстно, ибо, если бъ знали они секретъ изготовленія золота и элексира вѣчной юности, то иначе одѣвались бы, не имѣли бы ни лысинъ, ни морщинъ, и говорили бы другъ съ другомъ о предметахъ болѣе занимательныхъ.

Дальнѣйшее же проходило передъ Деверу, какъ въ сказкѣ: императоръ въ золотой каретѣ, непобѣдимый графъ Тилли верхомъ на сѣромъ въ яблокахъ конѣ, музыка, барабаны, пальба. Потомъ былъ пиръ. И въ настоящемъ снѣ послѣ пира больше ничего не было, кромѣ новой жизни, полка синихъ драгунъ и стараго вождя въ зеленомъ кафтанѣ.

VII.

У жены нейштадтскаго капрала въ Магдебургѣ родился трехлѣтній ребенокъ, вышедшій изъ чрева матери въ каскѣ, въ латахъ и во французскихъ модныхъ сапогахъ кожи настолько тонкой, что походила она на бумагу. Были городу и другія тяжкія предзнаменованія. Послѣ ужина у бургомистра, городской совѣтникъ Шульцъ, возвращаясь къ себѣ домой, на площади Стараго рынка вдругъ остановился въ ужасѣ: стѣны домовъ были кроваво-краснаго цвѣта. А 26 ноября пронеслась надъ Магдебургомъ буря, подобной которой никто не помнилъ: обвалились двѣ башни, мельница и нѣсколько домовъ. Вольнодумцы смѣялись: ничего это означать не можетъ, — и буря не такая ужъ рѣдкость, и совѣтникъ, вѣрно, былъ пьянъ, и не всѣ тайны природы извѣстны: мало ли какія рождаются дѣти, да кто былъ при родахъ! Между тѣмъ, предзнаменованія говорили тяжкую правду. Въ самый день бури, въ Гамельнѣ, на совѣтѣ у графа Тилли, было рѣшено двинуться на Магдебургъ и разорить это гнѣздо враговъ.

И дѣйствительно, вскорѣ послѣ того къ стѣнамъ горо-

да подошел Паппенгеймъ съ авангардомъ имперской арміи. Жители вначалѣ не безпокоились: стѣны крѣпкія, а король Густавъ-Адольфъ со своей арміей не за горами. Отъ него въ Магдебургъ прибылъ искусный вождь Дитрихъ Фалькенбергъ; къ шведскому офицеру вскорѣ само собой перешло и руководство защитой города, ибо среди городскихъ правителей не было энергичныхъ военачальниковъ. Фалькенбергъ же былъ воинъ доблестный, и, когда, по обычаю, Паппенгеймъ подослалъ къ нему челоуѣчка, — не согласится ли за приличное вознагражденіе сдать городъ безъ боя, — отослалъ этого посланца безъ разговоръ и пригрозилъ, что слѣдующаго повѣсить.

Затѣмъ къ Магдебургу стала подходить и вся имперская армія, во главѣ съ самимъ Тилли. Лазутчики доносили, что ей нѣтъ числа. Въ городѣ наступила тревога, особенно послѣ того, какъ Фалькенбергъ очистилъ предместья — Нейштадтъ и Сюденбургъ, — взорвалъ мосты и снесъ множество домовъ. Десятки тысячъ людей остались безъ крова. Городской совѣтъ кое-какъ размѣщалъ ихъ по частнымъ домамъ, и отъ этого произошло много неудобствъ, непріятностей и споровъ: бѣдные говорили, что совѣтники покровительствуютъ богатымъ, — вселяютъ не къ нимъ, а къ бѣднякамъ. Говорили также, что богатые службы подъ ружьемъ не несутъ, поставляютъ за деньги замѣстителей, и что въ городѣ есть предатели, все сообщающіе графу Тилли. Въ апрѣлѣ часть имперскихъ войскъ переправилась черезъ Эльбу. Городъ былъ обложенъ со всѣхъ сторонъ, началась бомбардировка раскаленными ядрами, и настала ужасъ въ Магдебургѣ.

Чтобы поднять духъ населенія, администраторъ выпускалъ слухи, будто шведскій король Густавъ-Адольфъ уже двинулся имъ на выручку изъ Шпандау. Для короля, на виду у всѣхъ, готовились богатые покои. Дозорные ежедневно поднимались на колокольню: не видны ли вдали шведскія войска? А въ своемъ кабинетѣ администра-

торъ показывалъ всѣмъ къ нему приходившимъ письма изъ королевскаго штаба съ вѣстями о близкомъ освобожденіи. Подложныя письма эти изготовлялъ, по заказу администратора, адвокатъ Куммиусъ, большой мастеръ такихъ дѣлъ.

Не очень весело было, однако, и въ штабѣ имперскихъ войскъ. Шведскій король былъ не за горами и въ самомъ дѣлѣ. Правда, молодые генералы за бутылкой вина хвалились, что разнесутъ и Густава-Адольфа, — пусть только покажется! Но графъ Тзеркласъ Тилли не слѣшилъ сразиться съ этимъ знаменитымъ полководцемъ; имѣя же въ тылу всю шведскую армію, не рѣшался штурмовать хорошо укрѣпленный городъ: Дитрихъ Фалькенбергъ зналъ свое дѣло, защитники Магдебурга дрались лучше, чѣмъ можно было ждать. Вдобавокъ, дѣло было и не безъ колдовства. По крайней мѣрѣ, Паппенгеймъ божился, что при штурмѣ редута «Тротцъ-Кайзеръ» пули не брали враговъ — ихъ приходилось убивать прикладами.

На одномъ изъ военныхъ совѣтовъ въ ставкѣ тотъ же Паппенгеймъ предложилъ хитрый планъ: бомбардировать городъ непрерывно три дня и три ночи; на четвертый же день прекратить огонь, убрать пушки съ передовыхъ позицій и сдѣлать видъ, будто уходимъ: «что, молъ, дѣлать, ваша взяла!» Конечно, городскія власти рѣшатъ, что графъ Тилли получилъ тревожныя вѣсти о Густавѣ-Адольфѣ и потерялъ надежду взять городъ. На радостяхъ, всѣ эти вооруженные мѣщане, вѣрно, разбѣгутся по домамъ къ женамъ и дѣткамъ, — вотъ тогда-то и начать настоящій штурмъ, особенно съ сѣвера, гдѣ валы покатые, и воды во рвахъ почему-то нѣтъ.

Генералы были отъ выдумки въ восторгѣ, но графъ Тилли ворчалъ: ужъ очень все это просто. Разумѣется, можетъ и выйти, да что, если не выйдетъ? Молодымъ все равно, а онъ ставилъ на карту свою военную славу. Все же, въ концѣ концовъ, старикъ согласился попытать счастья и даже потрепалъ ласково Паппенгейма по плече.

чу. Велѣлъ завтра, 7 мая, и начать бомбардировку, а въ день штурма, 10-го, выдать солдатамъ тройную порцію водки и сказать имъ: если возьмутъ городъ, то три дня могутъ дѣлать тамъ что угодно, — ни спроса, ни слѣдствія не будетъ, — городъ же богатѣйшій. Молодымъ генераламъ это не очень понравилось, но старики одобрительно улыбаются: знаетъ графъ Тзеркласъ человѣческую природу.

И все сбылось, какъ предсказалъ Паппенгеймъ. Въ первый день бомбардировки магдебургскіе горожане трепетали, — видно, пришелъ послѣдній часъ. На второй день стало легче, а на третій — произошелъ въ сердцахъ переломъ: что-жъ, въ средину города ядра не долетаютъ, убитыхъ мало, пожары тушимъ. Городской совѣтъ изъ старичковъ все еще подумывалъ о переговорахъ и о капитуляціи, но большинство горожанъ уже думало иначе: посмотримъ, кто кого побьетъ!

Когда же, въ полдень 10-го мая, бомбардировка вдругъ прекратилась, и дозорный закричалъ съ колоколни, что у проклятыхъ имперцевъ пушки увозятся съ позицій, настали въ городѣ радость и торжество: Густавъ-Адольфъ подходитъ къ Магдебургу, пришелъ конецъ графу Тилли! Предчувствуя недоброе, Фалькенбергъ разрѣшилъ уйти съ валовъ лишь половинѣ бойцовъ, — остальнымъ велѣлъ дежурить всю ночь. Но не всѣ послушались его приказа, много людей ушло съ позицій самовольно.

VIII.

Печатникъ Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслеинъ, какъ человѣкъ очень добросовѣстный, никогда не ушелъ бы съ поста безъ разрѣшенія начальства. Но ему шелъ шестой десятокъ, и толку отъ него было немного. Его отпустили подъ вечеръ, въ числѣ первыхъ. На валу онъ былъ приставленъ къ мушкету. Это оружіе, изобре-

тенное въ далекой Московіи, было длиннѣе самаго длиннаго человѣка, стояло на вилкѣ, и обращаться съ нимъ было не очень трудно. Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ, однако, тяготился своимъ дѣломъ, ибо не любилъ оружія. Шпагу онъ носилъ и въ мирное время; еще императоръ Фридрихъ приравнялъ къ благороднымъ людямъ цехъ печатниковъ, и эту честь Газенфусслейнъ считалъ заслуженной: не было, по его мнѣнію, ремесла болѣе чистаго, разумнаго и полезнаго людямъ, чѣмъ печатаніе книгъ. Но мушкета своего онъ лобанвался и, хоть отъ всей души желалъ пораженія врагамъ, все же, поднимая зажженный фитиль, втайнѣ молился Богу, чтобы никто не былъ убитъ его выстрѣломъ. И желаніе его всегда сбывалось.

По улицамъ, при свѣтѣ фонарей и факеловъ, шла восторженная толпа. Но едва ли въ ней кто радовался концу боевъ сердечнѣе, чѣмъ Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ. Когда онъ подходилъ къ печати, показалось ему, что въ толпѣ молодыхъ людей мелькнула его племянница Эльза-Анна-Марія, она же попросту Эли. Газенфусслейнъ женатъ не былъ; племянница была имъ воспитана, обучена; въ печати она вѣдала правкой набора: по обычаю, шедшему отъ Эльзевировъ, правка поручалась женщинамъ, ибо онѣ не мудрятъ, не считаютъ себя ученѣе авторовъ, не исправляютъ, кромѣ опечатокъ, ничего, опечатки же исправляютъ внимательно и за совѣсть. Недурно справлялась съ работой и Эльза-Анна-Марія. Но съ 16 лѣтъ она отъ рукъ дяди отбилась, — отъ его рукъ отбиться было и нетрудно, — и все бѣгала съ какими-то мальчишками, къ великому его огорченію: Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслейнъ очень любилъ свою племянницу. Личико у нея было хорошенькое, а выраженіе — какъ у лисы, другого слова и не выдумашь. Въ этотъ радостный вечеръ Газенфусслейну особенно хотѣлось побыть дома съ Эли, поужинать съ ней, обмѣняться впечатлѣніями. Было и безпокойно: бомбардировка, правда, кончилась, — а

вдругъ начнется снова. Правда, отъ ядра не спасетъ и крыша печатни, но Эли могла бы не уходить изъ дому въ такой день.

И все же, несмотря на это огорченіе, сердце отдало у Газенфусслеина, когда онъ вошелъ въ печатню и увидѣлъ знакомыя, привычныя, милыя вещи: станки, талеры, кассы, рашкеты, книги на полкѣ. Въ углу комнаты находился его собственный столъ, — здѣсь была главная радость: Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслеинъ собственно-ручно набиралъ, нарочно для того отлитыми буквами, Священное Писаніе по рѣдчайшему старинному образцу: по 36-строчной Библии, выпущенной въ Майнцѣ Пфистеромъ. Рядомъ лежали и книга, и послѣдняя страница набора, кончавшаяся словами: «*Recreat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo. Dies illa vertetur in tenebras*». Газенфусслеинъ только вздохнулъ, въ тысячный разъ полюбовавшись образцомъ: дивнымъ исполненіемъ листа, красотой буквъ, буквой і съ полукружкомъ, вмѣсто точки, знаками препинанія не внизу строчки, а повыше, на уровнѣ середины буквъ. Подмастерья ему говорили, что онъ и самъ набираетъ не хуже Пфистера, но Газенфусслеинъ только съ досадой слушалъ столь неслѣпую похвалу: зналъ, что секретъ великихъ мастеровъ потерянь. Онъ сѣлъ у стола и засмѣялся отъ радости: скоро можно будетъ совсѣмъ вернуться отъ мушкетовъ къ любимому дѣлу, столь милому и полезному людямъ.

Въ сосѣдней комнатѣ, подъ кастрюлей съ супомъ изъ овощей, лежала записочка отъ Эли. Она поздравляла дядю съ великой радостью, сообщала, что мяса, къ сожалѣнію, достать не удалось, и очень просила простить ее: у нея разболѣлась голова, и какъ разъ за ней зашли Марта съ Магдой, — дядя не будетъ ни сердиться, ни беспокоиться, правда? а въ Аугсбургскомъ Петраркѣ для дяди лежитъ письмо, а ждать ее не надо, дядя, вѣрно, очень усталъ. Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслеинъ расчувство-

вался: въ самомъ дѣлѣ, послѣ этихъ трехъ ужасныхъ дней, бѣдная дѣвочка могла немного погулять съ друзьями.

Письмо было отъ профессора Юнгмана, и говорилось въ немъ о рѣшеннѣйшихъ дѣлахъ. Въ «справочникѣ» темныхъ для непосвященнаго профессоръ извѣщалъ Газенфусслеина, что слѣдующій съѣздъ состоится въ Италиі или въ Прагѣ, но когда, еще не извѣстно, во всякомъ случаѣ, не очень скоро. Юнгманъ собирался въ Римъ, а на обратномъ пути разсчитывалъ побывать въ богемскихъ и въ нѣмецкихъ земляхъ, быть можетъ, и въ Магдебургѣ. Письмо было очень бодрое. Профессоръ не скрывалъ отъ себя, что нерадостно положеніе въ мѣрѣ, особенно въ Германіи, но онъ отнюдь не терялъ надежды и вѣрилъ все крѣпче: невидимые спасутъ мѣрѣ, и торжество правды близко.

Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслеинъ былъ душевно радъ письму профессора Юнгмана. Въ тяжелое время особенно пріятно было, что — немъ не забыли друзья, и что столь ученый человекъ нашелъ часъ, — послалъ ему вѣсточку. Въ самомъ дѣлѣ, ужасы пройдутъ, близится торжество правды. Непонятно было, кто доставилъ письмо? Впрочемъ, вѣсти въ городъ проскальзывали, несмотря на осаду.

Послѣ ужина Газенфусслеинъ съ жаромъ помолился Богу и легъ спать. Сквозь сонъ онъ слышалъ молодые голоса, веселый смѣхъ на улицѣ: Эльза-Анна-Марія прощалась у дверей съ друзьями. Тихо отворилась дверь, Эли на цыпочкахъ скользнула въ свою комнату. Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфусслеинъ собрался было ее окликнуть, но раздумалъ, чтобы не конфузить дѣвочку: вѣрно, часъ уже поздній. И очень хотѣлось ему спать послѣ трехъ тяжелыхъ ночей. Онъ тотчасъ снова заснулъ. Было уже совершенно свѣтло, когда его разбудили страшные крики, шумъ, выстрѣлы...

IX.

Герольдъ, въ черномъ шелковомъ костюмѣ, съ вышитымъ на груди гербомъ графа Тилли, остановился передъ полкомъ синихъ драгунъ и прочелъ приказъ: на утро назначенъ генеральный штурмъ, — въ немъ участвовать и драгунамъ, оставивъ лошадей въ обозѣ.

Волненіе было и радостное, и тревожное: всѣ понимали, что такое штурмъ Магдебурга, — ужь изъ пяти человекъ быть одному мертвецу. Большая часть драгунъ провела ночь безъ сна: одни молились, другіе точили оружіе или писали письма, третьи пили до поздняго часа. А Деверу легъ спать какъ ни въ чемъ не бывало и даже выпилъ за ужиномъ не больше обычнаго. Онъ былъ очень смѣлый человекъ, съ характеромъ счастливымъ и беззаботнымъ. Въ палаткѣ, ложась на солому, подумалъ было, что могутъ завтра убить, и рѣшилъ, что не страшно: значить, прямо попадетъ въ рай. Представлялъ онъ себѣ рай неясно, да и размышлялъ о такихъ предметахъ мало и неохотно, но зналъ, что въ раю будетъ хорошо. А вотъ, если тяжело ранять? Вообразилъ на мгновеніе худшія изъ ранъ, — бываютъ и такія, что подобны насмѣшкѣ надъ человекомъ, — но и на этихъ мысляхъ онъ не остановился: почему же ранять? Нѣтъ, не ранять.

Разбудили драгунъ странно, — безъ трубы, безъ барабаннаго боя. Было еще совершенно темно, — вѣрно, шелъ третій часъ. Вздрагивая отъ холода, Деверу наскоро привелъ себя въ порядокъ: почистилъ кафтанъ, къ которому пристала солома, провѣрилъ оружіе, убѣдился, что амулеты на мѣстѣ. Висѣла подъ камзоломъ и роза на синей лентѣ: онъ носилъ ее попрежнему, хоть давно не имѣлъ никакого дѣла съ розенкрейцерами: вещица золотая, цѣнная, да кто знаетъ, можетъ, и въ ней есть какая-нибудь сила? Хмурый капитанъ пересчиталъ драгунъ и одного отставилъ: четное число приносить въ бою несчастье. Къ

палаткѣ подкатили боченокъ водки; всѣмъ велѣно было выпить по чаркѣ. Затѣмъ драгунъ повели. Идти было приказано тихо. Долго-долго они шли, безъ фонарей, безъ факеловъ, въ черную беззвѣздную ночь. Остановливались, шли снова, остановились совсѣмъ. Отъ темноты и безмолвія было страшно, несмотря на выпитую водку.

Стало разсвѣтать. Они стояли за холмомъ. Осторожно отойдя влѣво, къ дорогѣ, Деверу передъ собой, совсѣмъ близко, увидѣлъ высохшій ровъ; за нимъ шли валы, кое-гдѣ настолько покатые, что можно было на нихъ подняться и верхомъ. Но за валами была высокая каменная стѣна съ башнями и съ бойницами. На нее смотрѣть было непріятно. Деверу прикинулъ взглядомъ: вотъ оттуда сверху очень просто могутъ и кипяткомъ облить, и просто столкнуть лѣстницу, когда уже будешь наверху. Однако, ни на стѣнѣ, ни на валахъ не было видно никого, не было даже часовыхъ и дозорныхъ. Офицеры смѣялись: хорошо же поставлено военное дѣло у купцовъ! Многіе изъ драгунъ осмѣлѣли и больше за холмъ не прятались. Становилось все свѣтлѣе. Капитанъ съ раздраженіемъ пожималъ плечами, — чего ждутъ, зачѣмъ упускаютъ время? Прошелъ часъ, другой, люди начинали злиться.

Задержка объяснялась тѣмъ, что у графа Тзеркласа Тилли въ послѣднюю минуту снова возникли колебанія: не лучше ли отказаться отъ штурма? Проворочавшись безъ сна всю ночь, онъ передъ разсвѣтомъ велѣлъ созвать генераловъ. Военный совѣтъ продолжался болѣе часа, — генералы просто не узнавали своего начальника: Тилли упрямо твердилъ, что дѣло рискованное: если отобьютъ, бѣда и позоръ, а если штурмъ и удастся, потери будутъ такъ велики, что ужъ какое сраженіе съ Густавомъ-Адольфомъ! Да и весь планъ несерьезный: никогда Фалькенбергъ, опытный воинъ, не оставитъ стѣны безъ охраны, — вѣрно, Паппенгеймъ начитался «Иліады», но теперь не древнія времена! Брюзжалъ, брюзжалъ и, наконецъ,

уступилъ, какъ и въ прошлый разъ. Ничего рѣшительно не измѣнилъ сумбурный совѣтъ.

И такъ дивно устроенъ міръ, что именно изъ-за этого совѣта, изъ-за нерѣшительности старика, изъ-за задержки дѣла, и былъ взятъ городъ Магдебургъ. До разсвѣта шведскіе офицеры еще кое-какъ держали караулы на позиціяхъ. Но съ разсвѣтомъ всѣмъ стало ясно: дѣло кончено, никакихъ боевъ не будетъ. И съ позицій радостно побѣждали въ городъ послѣдніе защитники Магдебурга. На сѣверной стѣнѣ осталось человѣкъ пятнадцать, пожилыхъ и старыхъ горожанъ, которые не хотѣли возвращаться домой на разсвѣтѣ, — зачѣмъ будить своихъ? Они потушили фитили, прилегли и задремали.

Прямо съ военнаго совѣта, въ сопровожденіи ординарца, примчался къ сѣверному валу Паппенгеймъ. На лбу у него обозначились два красныхъ меча: съ этой примѣтой онъ родился, но выступали мечи на лбу Паппенгейма лишь тогда, когда онъ очень волновался, и знавшимъ его стало ясно, что сейчасъ начнется штурмъ. Генераль выѣхалъ изъ-за холма, — все выходило такъ, какъ онъ рассчитывалъ, — радостно оглянулся на солдатъ, словно говоря имъ: «мы-то съ вами другъ друга знаемъ, болтать незачѣмъ». Однако, у солдатъ видъ былъ угрюмый. Паппенгеймъ вполголоса спросилъ, есть ли водка, и велѣлъ всѣмъ выпить еще по чаркѣ. Затѣмъ отдалъ приказъ, безшумно прошедшій по рядамъ. Солдаты, съ лицами рѣшительными и блѣдными, быстро прошли мимо апрошей и спустились въ ровъ. Впереди тащили длинныя лѣстницы. Было ужъ совсѣмъ свѣтло, дулъ вѣтеръ. Поднялись на валь, — точно вымерли тамъ всѣ за стѣной или перепились до безчувствія? Деверу не спускалъ глазъ съ башни, вотъ-вотъ сейчасъ польется отуда расплавленный свинецъ! Капитанъ съ нахмуреннымъ лицомъ шопотомъ отдавалъ приказанія. Солдаты, тяжело дыша, приставляли лѣстницы къ стѣнѣ. «Вотъ по этой», — думалъ Деверу. Сердце у него страшно стучало, но страха не было, — лишь бы

только скорѣе! Первая лѣстница чуть пошатывалась наверху стѣны, — тамъ попрежнему все было непостижимо тихо. Деверу оглянулся въ послѣдній разъ: «вдругъ никогда больше не увижу»... Капралъ плюнулъ на руки и, подбѣжавъ со стороны стѣны къ лѣстницѣ, виѣпился въ нее, чтобы не шаталась. Капитанъ выхватилъ саблю, грозно оглянулся на солдатъ, — «попробуй-ка кто не пойти за мной!», — и вдругъ, изогнувшись, едва держась за бортъ, бросился вверхъ по ступенямъ. За нимъ ринулись другіе. Кто-то дико заоралъ, хотъ было запрещено, позади раздался выстрѣлъ, — это Паппенгеймъ подалъ сигналъ, — и въ ту же секунду все потонуло въ дикомъ ревѣ.

Деверу на стѣнѣ оказался четвертымъ; на мгновеніе онъ остановился, задыхаясь, — теперь самое страшное, лѣстница, осталась позади. Грядетъ нимъ вдали блеснулъ великолѣпный городъ, храмы, дворцы, залитые утреннимъ солнцемъ. «Что же теперь? Кого бить?» — мелькнула у него мысль. Капитанъ бѣжалъ внизъ по откосу съ поднятой саблей. Деверу бросился за нимъ и вдругъ увидѣлъ передъ собой на землѣ кучку людей. Одинъ изъ нихъ, пожилой человѣкъ, сидя, откинувшись назадъ, упершись лѣвой рукой въ разостланный на землѣ плащъ, поднимая правую руку, смотрѣлъ на подбѣжавшихъ драгунъ остановившимися отъ ужаса глазами. Онъ, видимо, только что проснулся. — «А-а-а!», — звѣринымъ голосомъ прокричалъ Деверу и, подбѣжавъ къ сидѣвшему человѣку, изо всей силы ударилъ его по головѣ саблей. Кровь хлынула потокомъ, человѣкъ слабо вскрикнулъ тонкимъ голосомъ и повалился на плащъ. Это былъ первый человѣкъ, котораго Деверу пришлось убить въ жизни холоднымъ оружіемъ: стрѣльба въ счетъ не шла. Никакого волненія онъ не почувствовалъ. Потомъ, вспоминая, Деверу думалъ, что убить человѣка, въ сущности, очень просто: почти такъ же просто, какъ зарѣзать курицу.

X.

Лѣтописцы же всё сходятся на томъ, что ничего равнаго по ужасамъ взятію Магдебурга не было въ исторіи міра. За исключеніемъ тысячи людей, которой удалось укрыться въ уцѣлѣвшемъ чудомъ соборѣ, истреблено было все населеніе большого, прекраснаго города, такъ что до самаго конца мѣсяца мая нанятые люди ежедневно сбрасывали въ Эльбу сотни и тысячи обезображенныхъ, разложившихся тѣлъ. Рѣзали и разстрѣливали магдебургскихъ гражданъ, истязали ихъ, чтобы найти золото, три дня и три ночи. Но самое страшное происходило въ первое утро, во вторникъ 10 мая. Хуже всего было женщинамъ, — почти всё онѣ были изнасилованы. Прозванъ былъ этотъ день магдебургскою свадьбой.

А кто зажегъ городъ, этого лѣтописцы не выяснили: быть можетъ брандскугели Паппенгейма, быть можетъ, люди графа Тилли, быть можетъ, Дитрихъ Фалькенбергъ, не желавшій отдавать врагу городъ съ его огромными богатствами. Самъ онъ погибъ въ числѣ первыхъ. Тѣло его сгорѣло, и не осталось ничего, кромѣ славы, отъ главнаго защитника Магдебурга.

Къ полудню усилился вѣтеръ, къ вечеру же превратился городъ въ пылающій костеръ. Низко стелился черный дымъ, а надъ нимъ уходили въ небеса высокіе огненные столбы, — это горѣли церкви: св. Ульриха, св. Николая, св. Юанна, св. Себастіана, св. Петра, св. Екатерины, и много еще другихъ старыхъ, величественныхъ храмовъ. На многія-многія мили видно было страшное магдебургское зарево. Въ Шпандау, въ шведскомъ лагерѣ, вышелъ изъ палатки король Густавъ-Адольфъ и, съ ужасомъ глядя на далекое кроваво-красное пятно въ небесахъ, прослезился и сказалъ одному изъ своихъ соратниковъ: — «Свыше мѣры полна теперъ чаша зла»...

XI.

А Деверу до полудня не догадывался, что можно грабить и насиловать женщинъ. И какъ только узналъ, что можно, тотчасъ попалась ему хорошенькая блондинка, совсѣмъ молодая. Она вбѣжала въ подворотню, онъ бросился за ней, она на лѣсенку, и онъ туда же. Старикъ въ мастерской, молившійся Богу, вскочилъ съ перекосившимся лицомъ, но не успѣлъ и пикнуть: Деверу подбѣжалъ къ нему и перерѣзалъ ему горло. Теперь это было очень просто: позднѣе Деверу пробовалъ подсчитать по памяти, сколько человекъ онъ убилъ въ этотъ день, — выходило не то десять, не то двѣнадцать. Противно было лишь то, что они почти не сопротивлялись.

Въ печатной онъ оставался долго. Денегъ не искалъ, -- тоже было противно, — и какія деньги у ремесленника? Деверу даже отъ себя подарилъ талеръ Эльзѣ-Аннѣ-Маріи и прикрикнулъ на нее, чтобъ взяла. Дѣвчонка все плакала, — трудно понять, откуда берется у женщинъ столько слезъ. Ему было очень ее жаль. «Что-жъ дѣлать, вѣдь война», — сказалъ онъ смущенно и, чтобы оказать вниманіе ея горю, покрылъ голову печатника лежавшими на столѣ большими листами бумаги. На одномъ изъ нихъ было набрано: *«Pereat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo. Dies illa vertetur in tenebras»*. Лицо старика показалось Деверу знакомымъ, но не могъ онъ вспомнить, гдѣ видѣлъ этого ремесленника. Спросилъ Эльзу-Анну-Марію, какъ ихъ зовутъ, — фамилія Газенфусслеинъ была ему незнакома. Онъ думалъ, что это отецъ дѣвочки. Когда узналъ, что дядя, ему стало легче. «Что же съ ней дѣлать?» -- спросилъ себя Деверу. -- «Оставить здѣсь? Другіе придутъ, подлый пошелъ народъ. А то взять ее съ собой?» Эта мысль ему понравилась: въ арміи Тилли чуть не всѣ, кромѣ главнокомандующаго, возили съ собой женщинъ. «Надо бы ей что-ни-

будь подарить»... Онъ вдругъ радостно вспомнилъ о своей розенкрайцерской розѣ: «вотъ и она пригодилась». Надѣлъ на шею дѣвочкѣ и велѣлъ ей идти за нимъ.

XII.

И такъ много злодѣяній совершенно было въ этотъ день, что потрясли они даже душу графа Тзеркласа Тилли. Угрюмо вѣхкалъ онъ въ городъ, — «*Tillius de tanta caede paucisabundus*», — говоритъ о немъ свидѣтель. На площади Новаго рынка главнокомандующій остановился: съ крестомъ въ рукѣ, въ бѣломъ облаченіи, приблизился къ нему католическій священникъ, патеръ Сильвій, и именемъ Господа Бога заклиналъ его положить конецъ злымъ, страшнымъ дѣламъ, которыя творятся въ побѣжденномъ городѣ. Старикъ долго смотрѣлъ на священника. Вдругъ на землистомъ лицѣ его промелькнулъ ужасъ; патеръ Сильвій напомнилъ о неминуемой Божьей карѣ.

— Да, да, отецъ, спасайте всѣхъ, — сказала графъ Тилли. Узнавъ, что въ соборѣ укрылось до тысячи чело-вѣкъ, помиловалъ ихъ и велѣлъ поставить у собора охрану, а увидѣвъ грудного ребенка, ползавшаго на землѣ у тѣла убитой матери, тяжело слѣзъ съ коня, поднялъ дитя на руки и проианесь: — «*Das sei meine Beute!*». Приближенные же умилились и добротѣ графа Тзеркласа, и великому его безкорыстію. Ибо всѣмъ было извѣстно, что онъ не попользуется ни единымъ талеромъ изъ бывшаго въ городѣ несмѣтнаго богатства.

Но ни графу Тилли, ни приближеннымъ его не было извѣстно, что подъ площадью Новаго рынка, на которой они стояли, вѣтся длинное темное подземелье, съ ходами во всѣ концы Магдебурга. Большое число бочекъ съ порохомъ тайно заложилъ въ этомъ подземельѣ Дитрихъ Фалькенбергъ. Къ первой бочкѣ шелъ просмолен-

ный шнуръ. Въ должное время рукой мстителя былъ приложенъ фитиль къ концу шнура; сильна въ душѣ чело-вѣка жажда мщенія. Взрывъ же порохового погреба унич-тожилъ бы и графа Тзеркласа Тилли, и его штабъ, и боль-шую часть его арміи, а съ ними весь городъ Магдебургъ. Но огонекъ добѣжалъ лишь до первой галлерей, заши-лѣлъ и погасъ шагахъ въ двадцати отъ бочки. И столь странно устроенъ міръ, что та магдебургская кошка, ко-торая накануне ночью, гоняясь въ подземельи за крыса-ми, съ разбѣга наскочила на шнуръ и порвала его, оста-вила большій слѣдъ въ міровыхъ судьбахъ, чѣмъ самъ Тилли, и Валленштейнъ, и Ришелье, и императоръ.

XIII

...Торговались же они упорно. Бутлеръ предлагалъ ты-сячу имперскихъ талеровъ, съ уплатой тотчасъ послѣ дѣ-ла, — а потомъ будетъ много больше. Деверу изобра-жалъ на лицѣ полное пренебреженіе: — «Тысяча талеровъ! Много больше, — что такое «много больше»? И кто бу-детъ платить?» — «Въ Вѣнѣ», — таинственно отвѣчалъ Бутлеръ. Деверу только сердито смѣялся. — «Что такое: «въ Вѣнѣ»? Вѣроятно, его считаютъ дуракомъ?» Однако, загадочный отвѣтъ интриговалъ его: почему за дѣло бу-дутъ платить въ Вѣнѣ? Корректность не позволяла прямо спросить, о комъ идетъ рѣчь. Бутлеръ сказалъ: «объ од-номъ челонѣкѣ». — «Да безопасно ли еще дѣло?» — «Вполнѣ безопасно». — «И повышеніе по службѣ?» — «Твердо обѣщано». — «Кѣмъ обѣщано?» — «Сначала на-до получить отвѣтъ». — «Да можетъ, что противное че-сти?» — «Напротивъ, совершенно напротивъ!» — «Да въ чемъ же все-таки дѣло?» — спрашивалъ Деверу, — «кто такой?» — «Сначала нужно дать отвѣтъ». — «Да какъ же дать отвѣтъ, когда не знаешь, о комъ идетъ рѣчь!» — «Сначала нужно дать отвѣтъ», — упорно твердилъ Бут-

лерь. Деверу понималъ, что онъ правъ. Думалъ, думалъ: Бутлерь честный человекъ, повѣрить ему можно. Кому-то нужно отъ кого-то освободиться, дѣло житейское. За послѣдніе три года Деверу видѣлъ не одно такое дѣло, кое въ чемъ и участвовалъ. Онъ согласился, поклялся честью, что никому не проговорится ни единымъ словомъ, — и обомлѣлъ: дѣло шао о герцогѣ Фридландскомъ!

Правда, дурной слухъ ходилъ давно. Много крови утекло со дня паденія Магдебурга. Погибъ въ сраженіи графъ Тилли, два раза разбитый на голову Густавомъ-Адольфомъ. Императору пришлось пойти на униженіе, обратиться за спасеніемъ къ Валленштейну, принять всѣ его условія. Дѣла поправились: подъ Люценомъ палъ шведскій король. А потомъ и поползли эти слухи: герцогъ сердится на императора, герцогъ намѣняеть императору, герцогъ хочетъ стать императоромъ!

Бутлерь положилъ руки на плечи Деверу, посмотрѣлъ на него глубокимъ взглядомъ, — какъ полагается: «больше хитрить съ тобой не буду; не такой ты человекъ, такъ и быть, скажу тебѣ всю правду». И вынулъ изъ кармана документъ, императорскую грамоту. Тамъ все было сказано. Нѣтъ, не зналъ Бутлерь толка въ душѣ человека, и не такъ подошелъ къ дѣлу, и обоимъ теперь было стыдно вспоминать объ ихъ торгѣ. Если герцогъ измѣнилъ присягѣ, то убить его должно, и не о деньгахъ тутъ надо говорить, — и не о тысячѣ талеровъ. — «Императоръ дастъ за это дѣло тридцать тысячъ гульденовъ», — прошепталъ Бутлерь. — «Что деньги!» — вскрикнулъ Деверу. И долго они еще обсуждали дѣло со всѣхъ сторонъ: и можно ли, и должно ли, и удастся ли, и какъ сдѣлать, и куда бѣжать, если не удастся? Но, къ досадѣ Бутлера, Деверу окончательнаго отвѣта не далъ, — хоть именно сегодня вечеромъ и нужно было убить герцога Фридландскаго. Условились черезъ два часа встрѣтиться въ томъ кабачкѣ, что наискось противъ дома аптекарской вдовы Пахгельбель.

Однако, Бутлеръ уже ясно видѣлъ, что этотъ глухой человѣкъ согласится на дѣло, — и, по всей вѣроятности, доведетъ его до конца. И хоть философскими думами Бутлеръ никогда себя не утруждалъ, было ему и странно, и забавно, что мудрый, дальновидный, проницательный Валленштейнъ думалъ обо всемъ, а одно забылъ: забылъ, что онъ смертенъ, и что можетъ его убить человѣкъ ничтожный, котораго онъ отроду и не видѣлъ: герцогъ Фридрихъ ландскій предусмотрѣлъ рѣшительно все, — кромѣ Вальтера Деверу.

XIV.

А тотъ и самъ не зналъ, зачѣмъ попросилъ два часа на размышленіе. Размышлять онъ не умѣлъ. Человѣкъ онъ былъ не очень ученый, политикой никогда не занимался, и не его ума дѣло было судить, кто тамъ правъ: императоръ или герцогъ?

Валленштейна онъ не зналъ, только разъ его и видѣлъ тогда въ Меммингенѣ. На службу къ герцогу попалъ вмѣстѣ съ остатками арміи графа Тилли, когда ихъ разгромилъ шведскій король. Этотъ разгромъ былъ для Деверу большимъ горемъ и внесъ въ его жизнь смятеніе, — до того все было для него ясно, почти все ему нравилось: и полкъ, и ихъ синее знамя, и жизнь вольная въ своемъ подчиненіи, и особенно то, что былъ у него признанный вождь, которому онъ вѣрилъ, котораго боготворилъ, любя больше собственной своей славы геній графа Тзеркласа. Такими людьми, какъ онъ, а не жуликами и не разбойниками, Тилли и держался. И, когда впервые Деверу услышалъ, какъ назвали его вождя старымъ дуракомъ, чуть не заплакалъ отъ горя; но въ драку не полѣзъ, ибо самъ больше не зналъ, что ему думать. И съ той поры многое въ душѣ его и въ жизни измѣнилось: служилъ тѣмъ, кто платилъ ему, служилъ, пока платили; пока платили, служилъ честно, но безъ радости. Теперь же надо

было пойти еще дальше. Нелегко солдату убить своего главнокомандующаго, хотя бы тотъ и измѣнилъ присягѣ.

Въ сѣняхъ его точно случайно встрѣтила Эльза-Анна-Марія: ей было безпокойно, ходила тревожная молва. Герцогъ Фридландскій наканунѣ прибылъ въ Эгеръ почти безъ арміи, почти безъ обоза. А съ утра только что пріѣхавшій изъ Праги маркитантъ шопотомъ на рынкѣ рассказывалъ, что герцогъ предался шведамъ, ихъ въ Эгерѣ и поджидаетъ, и вмѣстѣ съ ними двинется на Вѣну, — такъ въ Прагѣ говорили со вчерашняго дня всѣ открыто, — объ этомъ на площади объявилъ императорскій герольдъ.

Взглянувъ же на Вальтера, Эльза-Анна-Марія поняла, что ни о чемъ спрашивать нельзя, хоть, вѣрно, и случилось недоброе: лицо у него было почти такое, какъ въ тотъ день, какъ она въ первый разъ его увидѣла. О днѣ этомъ вспоминать она не любила, — очень было горько и страшно; иногда тайкомъ плакала, думая о дядѣ, и, въ простомъ умѣ своемъ, утѣшала себя тѣмъ, что былъ онъ, несмотря на плачевный свой конецъ, человекъ очень счастливый. И втайнѣ мечтала: когда-нибудь, не скоро, на томъ свѣтѣ помирить его съ Вальтеромъ, котораго очень любила. Что-жъ дѣлать: война!

Деверу только посмотрѣлъ на нее тусклымъ взглядомъ, не поздоровался и велѣлъ подать вина. Эльза-Анна-Марія ни о чемъ его не спросила, — отхлещетъ хлыстомъ, — послѣшно вышла, принесла бутылку и опять ушла, точно ничего не замѣчая. Онъ оставался дома недолго, выпилъ все вино, не оставивъ ни капли, взялъ аллебарду и ушелъ.

Деверу направился къ тому дому, въ которомъ остановился герцогъ Фридландскій. Ужъ если идти на такое дѣло, то все заранѣе обдумать. Бутлеръ предлагалъ: въ десятомъ часу съ шестью вѣрными драгунами проникнуть въ домъ черезъ дворъ, по внутренней лѣстницѣ взбѣжать на галерею, затѣмъ броситься внизъ: спальня Валлен-

штейна въ первомъ этажѣ, первое окно справа отъ вѳротъ.

Домъ былъ трехъэтажный, съ покатою крышею, — хоть и лучший въ городкѣ, но обыкновенный домъ: не въ такихъ домахъ жила въ герцога Фридландскій. У вѳротъ стоялъ караулъ изъ драгунъ Бутлера. «Да, хорошо налажено», — подумалъ Деверу, — «должно выйти»... Пропуска у него не спросили: свой. «Неужели и они въ дѣлѣ?» — съ ужасомъ спросилъ себя онъ, зная, какъ опасно посвящать людей въ такое дѣло: очень много заплатилъ бы за эту тайну щедрый Валленштейнъ. — «Нѣтъ, быть не можетъ»... Онъ вошелъ въ вѳрота, не посмѣвъ съ улицы бросить взглядъ въ окна спальной. Дворъ былъ непривѣтливый, темный, замысловатый: на высотѣ второго этажа вокругъ всего дома вилась галлерей, — «вотъ, та самая»... Сердце у Деверу застыло: «неужто черезъ нѣсколько часовъ?..»

Зимній день кончался, уже темнѣло. На дворѣ никого не было. Не смотря ли изъ оконъ? Нѣтъ, точно вымеръ домъ! Деверу небрежно прошелъ по двору, поближе къ лѣстницѣ, увидѣлъ дверь. «Если такую дверь замкнуть на засовъ, то ее и въ часъ не выбьешь! Экой болванъ Бутлеръ!.. Такъ ему и сказать: нельзя»... Онъ пошелъ къ вѳротамъ. Внезапно силы оставили Деверу, голова у него закружилась: вѣрно, очень старое было вино. Онъ поспѣшно поставилъ аллебарду къ стѣнѣ и сѣлъ на скамью, завернувшись въ плащъ и дрожа мелкой дрожью.

Въ прошломъ году старый мушкетеръ, долго прослужившій во Франціи, рассказывалъ ему, какъ казнили Равальяка, убійцу французскаго короля Генриха. И хоть многое видѣлъ Деверу на своемъ вѣку, подробности этой ужасной казни навсегда отѣлились у него въ памяти. Однако, не только это теперь тревожило его душу. Большой грѣхъ измѣнить данной императору присягѣ. Но убить своего главнокомандующаго!..

И долго такъ сидѣлъ онъ, опустивъ голову на руки.

Степнѣло совѣмъ. Ламповщикъ, съ огонькомъ на длинной палкѣ, вошелъ во дворъ и сталъ зажигать фонари, съ недоумѣніемъ поглядывая на драгунскаго офицера. Въ глубинѣ двора зловѣще чернѣлъ проходъ еще не освѣщенныхъ воротъ. Деверу дрожало отъ холода и страшной тоски.

Вдругъ за воротами прозвучала труба, и мгновенно ему вспомнился Меммингенъ, июньскій вечеръ, кабачокъ на окраинѣ города, длинный, пышный поѣздъ: то ли особья трубы были у Валленштейна, то ли одинъ нагѣвъ всегда игралъ трубачъ. Деверу сорвался со скамьи, схватилъ аллебарду, оправилъ плащъ. Огни стали быстро зажигаться за окнами дома. Дворъ наполнился людьми.

Валленштейнъ, тяжело страдая отъ подагры, медленно входилъ въ ворота, опираясь на трость. У перваго фонаря онъ остановился, чтобы передохнуть: боль была адская, и не слѣдовало, чтобы люди это видѣли. очно осматриваясь во дворѣ, плотно сжавъ губы, герцогъ такъ простоялъ съ минуту. Съ той поры, съ Меммингена, онъ очень измѣнился: лицо его осунулось, голова совершенно посѣдѣла. Онъ подозвалъ кого-то изъ свиты, и словно небрежно опираясь на палку, отдалъ какія-то распоряженія. Деверу вытянулсѣ въ трехъ шагахъ отъ Валленштейна, не сводя съ него глазъ. Почувствовавъ этотъ упорный взглядъ, Валленштейнъ съ досадою взглянулъ на драгунскаго офицера и подумалъ, что гдѣ-то, когда-то, кажется, очень, очень давно, видѣлъ этого человѣка...

Ему показалось также, что лицо у драгуна звѣрское, лицо преступника, перешедшаго или переходящаго преграду. По мнѣнію Валленштейна, всѣ люди были отъ природы преступниками: лишь преграды, разныя преграды, и останавливали ихъ отъ преступленій. Мудрость же государственнаго дѣла именно въ томъ и заключалась, чтобы умножать число преградъ и увеличивать ихъ крѣпость.

Валленштейнъ отдалъ честь и, превозмогая тяжкую боль, медленно пошелъ къ лѣстницѣ. За нимъ слѣдовала

свита. Взойдя на три ступеньки, онъ, точно опять о чемъ-то вспомнивъ, остановился, еще поговорилъ съ секретаремъ и, давъ отдохнуть ногѣ, поднялся на площадку. Деверу, какъ въ оцѣпенѣніи, смотрѣлъ вслѣдъ герцогу. «Вотъ сейчасъ задвинуть запоры», — съ надеждой подумалъ онъ. Паждъ отворилъ дверь, — запоровъ на ней не было!

Герцогъ Фридландскій вошелъ въ домъ.

«Значить, судьба!» — подумалъ Деверу. Мысль эта его успокоила, — «теперь будь что будетъ!..» Онъ еще походилъ по двору, соображая, какъ все нужно будетъ сдѣлать. Затѣмъ отправился въ кабачокъ и тамъ сказалъ Буглеру, что за сорокъ тысячъ гульденовъ готовъ взять на себя это грустное дѣло.

XV.

Впослѣдствіи же всѣ спрашивали, какъ провелъ герцогъ Фридландскій свой послѣдній день: ибо такъ ужъ устроено человѣческое сердце, что всего больше волнуется его разставаніе съ этой жизнью, даже тогда, когда нѣтъ въ немъ ничего вѣщечковеннаго. Но люди, которыхъ Валленштейнъ видѣлъ 25 февраля, не имѣли ни охоты, ни привычки къ ремеслу писанія; а такъ какъ наиболѣе ему близкіе погибли въ одинъ день съ нимъ, то не все дошло до потомства изъ чувствъ и мыслей, которыя онъ, вѣрно, въ этотъ вечеръ высказывалъ.

Извѣстно лишь, что былъ онъ спокоенъ и даже веселъ болѣе обычнаго (веселымъ характеромъ никогда не отличался). Скорѣе всего — изъ-за звѣздъ. Или нарочно поддерживалъ бодрость въ другихъ, такъ какъ положеніе ихъ было трудное; а, можетъ быть, особенно бодръ былъ оттого, что къ вечеру оставивъ его приступъ господской болѣзни, — *morbis dominorum*: помогли сорокъ восемь рюмокъ теплой воды и настойка на Суринамо-

вомъ деревѣ, излѣчивавшія тогда отъ подагры. Одѣлся, какъ обычно, вмѣстѣ величественно и просто; не должно выходить къ подчиненнымъ въ шлафрокъ больного, — только сапоги надѣлъ мягкіе, съ тупыми носками; вышелъ въ парадныя комнаты и велѣлъ позвать на ужинъ главныхъ своихъ военачальниковъ: Илло, Терцкаго, Кинскаго и Неймана. Они тотчасъ явились, но принесли извиненія: приглашены на ужинъ въ замокъ, съ Бутлеромъ и другими драгунами. При словѣ «драгуны», что-то непріятное вдругъ вспомнилось Валленштейну.

Но до ужина въ замкѣ еще оставалось немало времени; герцогъ приказалъ подать гостямъ вина, и сѣли они играть въ кости. Партія сложилась странно: чуть кто останется съ однимъ жетономъ, тотчасъ выбрасывалъ туза со съдъ справа и отдавалъ ему свой жетонъ, — такъ что, въ м е р т в е ц ы не выходилъ никто, и всѣ очень этому смѣялись. А жить имъ оставалось менѣе трехъ часовъ, — ибо на этомъ ужинѣ драгуны ихъ и зарѣзали, — и только герцогъ прожилъ еще часа четыре.

За игрою говорилъ онъ и о политикѣ, утверждалъ, что дѣла идутъ не худо: скоро соберутся войска, и можно будетъ двинуть ихъ на Прагу и на Вѣну, и все будетъ вѣрнымъ его сторонникамъ: слава, власть, чины, богатство, титулы: звѣзды ему благоприятны, какъ никогда до того не были. Всѣ заслушались Валленштейпа. Илло же замѣтилъ, что жизнь подобна игрѣ въ кости, — какъ разъ на этихъ словахъ герцогъ выбросилъ изъ рожка дублетъ: такимъ образомъ, получалъ онъ сразу все, — везло ему счастье. Игра кончилась.

Когда генералы ушли, Валленштейнъ поужиналъ одинъ, — изъ-за болѣзни почти ничего не ѣлъ и не пилъ. А затѣмъ велѣлъ позвать астролога.

Снова — въ который разъ! — вынули приборы, раскрыли книги и стали изучать седьмой солнечный домъ. Остановка теперь была за Сатурномъ: Сени нерѣшительно говорилъ, что какъ будто Сатурнъ преграждаетъ до-

рогу звѣздѣ его свѣтлости. Валленштейнъ сердито отрицалъ это, и астрологъ пересталъ спорить. Въ заставкѣ же ученой книги былъ изображенъ богъ Сатурнъ, пожравшій собственныхъ дѣтей, — бородатый силачъ съ длинными волосами, съ длинной косой въ рукѣ. Что-то непріятное опять проскользнуло въ памяти герцога, — и онъ теперь вспомнилъ, что такое: на Сатурна былъ похожъ тотъ драгунъ, котораго онъ гдѣ-то, когда-то видѣлъ, очень давно, а гдѣ и когда, онъ не могъ вспомнить... Сени, приглядѣвшись къ констелляціи неба, согласился съ его свѣтлостью: да, все, какъ будто, благополучно.

Кровожадный Сатурнъ и погубилъ Валленштейна. Но не одна астрологія можетъ ошибаться. Вѣрно, бываютъ отступленія отъ того, что называютъ законами природы ученые люди. Могла также, въ тотъ вечеръ, пронестись мимо Сатурна и отвлечь его своей тягой съ обычнаго пути другая, еще неизвѣстная міру, звѣзда. Мѣняются, наконецъ, и законы природы, и по-разному въ разное время толкуютъ ихъ ученые. А потому нельзя сказать съ полной увѣренностью, обманули ли звѣзды Валленштейна: быть можетъ, герцогъ Фридландскій погибъ оттого, что не разгадалъ движенія Сатурна; а можетъ быть, Сатурнъ въ ту ночь прошелъ не обычной своей дорогой, такъ какъ герцогъ Фридландскій погибъ.

XVI.

Въ это самое время въ Эгерскомъ замкѣ убивали генераловъ Валленштейна. Левору не принималъ участія въ ихъ убійствѣ. Зарѣзали ихъ другіе люди, вѣрно, очень походившіе на него. А онъ, со своимъ пріятелемъ Макдональдомъ и со своими драгунами, стоялъ у двери зала, чтобы, въ случаѣ надобности, отрѣзать отступленіе генераламъ герцога. Затѣмъ вышелъ къ нему смертельно блѣдный Бутлерь, что-то сказалъ трясущимся голосомъ и

взглянулъ на Деверу молящимъ взглядомъ: «Теперь твое дѣло! Не выдай же!» Слова были не нужны. Насталъ тотъ часъ, изъ-за котораго перешелъ навѣки въ исторію драгунскій офицеръ, почти ничѣмъ не отличавшійся отъ другихъ людей.

Еще за нѣсколько минутъ до того разныя видѣнія тревожно-беспорядочно пробѣгали въ умѣ Деверу: сверкающая куча золота, — сорокъ тысячъ гульденовъ! — свободная, независимая, обеспеченная жизнь, свой домъ, лошади варварійской породы, толедское оружіе, алмазныя серьги въ ушахъ Эльзы-Анны-Маріи, — и тутъ же колесо, огонь, раскаленные щипцы палача. Теперь больше этого не было. Онъ не думалъ ни о карѣ, ни о наградахъ, думалъ только о дѣлѣ, какъ ѣздокъ на скачкахъ не думаетъ, зачѣмъ, собственно, скачетъ: надо одолѣть препятствія. Какая сила руководила дѣйствіями убійцы? Въ чемъ въ мірѣ высшая, направляющая, творческая сила зла? Почему торжествуетъ оно надъ добромъ? Почему столько ума, воли, храбрости, не въ примѣръ служащимъ добру, проявляютъ творящіе зло люди? И почему именно къ нимъ благоволитъ то непостижимое, что называется счастьемъ?

Они пробѣжали вдоль заборовъ, подкрались къ дому, сосѣдному съ домомъ Валленштейна, перескочили черезъ первый заборъ, — никто ихъ не замѣтилъ, — затѣмъ черезъ второй, — тамъ тоже никого не было. Дворъ былъ освѣщенъ тускло, ночь была мутно-темная. Деверу не сразу нашелъ лѣстницу, у которой сидѣлъ нѣсколько часовъ тому назадъ, — сталъ лицомъ къ полуovalнымъ воротамъ, — въ нихъ теперь горѣлъ фонарь, — и, ориентируясь по нимъ, наконецъ, разобрался: лѣстница слѣва, въ углу. Ступая на цыпочкахъ, поднялись они по ступенькамъ, попробовали дверь, — она отстала и отворилась, только скрипнулъ замокъ. Они пробѣжали по галлерей.

Въ комнатѣ никого не было. Тускло-печально горѣла свѣча. Деверу побѣжалъ по направленію къ спальній гер-

цога, — такъ же увѣренно, какъ если бы много разъ бывалъ въ домѣ. Умъ у него работалъ ясно: лѣстница, еще двѣ комнаты, а тамъ спальня. Вдругъ откуда-то показался лакей съ подносомъ. Увидѣвъ драгунъ, онъ вытаращилъ глаза и отшатнулся въ сторону. Что-то свалилось и зазвенѣло, разбиваясь. Деверу бросился впередъ. Въ слѣдующей комнатѣ два пажа играли въ шахматы. Одинъ изъ нихъ такъ и остался на стулѣ, — оцѣпенѣлъ. Другой вскочилъ, закричалъ дикимъ ребячьимъ голосомъ: «Rebellen!.. Rebellen!..» — и повалился отъ страшнаго удара. Кровь хлынула на синій коверъ, Деверу подбѣжалъ къ двери, откинулся, уткнувъ въ коверъ рукоятку аллебарды, и ударилъ изо всей силы ногой въ дверь...

XVII.

Валленштейнъ задремалъ минутъ за десять до того. Передъ настоящимъ сномъ грезилось ему все то же: корона, закрытая корона съ золотымъ полукругомъ, съ изображеніемъ міра, съ крестомъ, — корона Карла Великаго... Она теперь была ближе, чѣмъ когда либо прежде.

Трезвое разсужденіе говорило не то. Вотъ ужъ много лѣтъ онъ все взвѣшивалъ шансы: взвѣшивалъ и тогда, когда императоръ уволилъ его въ отставку, по требованію Регенсбургскаго сейма, взвѣшивалъ и на покоѣ, и въ пору войны, подъ Нюрнбергомъ, наканунѣ Лютцена; взвѣшивалъ и теперь, по пути изъ Пильзена сюда въ Эгеръ. И хоть соратниковъ своихъ онъ, естественно, убѣждалъ въ противномъ, трезвое разсужденіе говорило, что шансы сейчасъ невелики, меньше, чѣмъ годъ, чѣмъ полгода, чѣмъ три недѣли тому назадъ. Но это не имѣло значенія: только теперь, впервые въ его жизни, звѣзды заняли въ седьмомъ домѣ солнца то положеніе, которое обѣщало успѣхъ.

Валленштейнъ зналъ, что люди благочестивые отно-

сятся къ предсказаніямъ звѣздъ съ тревожнымъ недоумѣріемъ, а вольнодумцы просто надъ ними смѣются. Это совершенно его не интересовало, какъ зрячаго человѣка не можетъ интересовать мнѣніе слѣпца о красотахъ природы. Чтобы дойти до звѣздъ, надо было пережить ту жизнь, которую пережилъ онъ. Въ большихъ дѣлахъ его не было ни нравственнаго, ни разумнаго смысла. Онъ видѣлъ на своемъ вѣку безконечное количество зла и самъ много зла сдѣлалъ; лишь случайныя виѣшнія обстоятельства давали ему возможность осуждать и карать преступниковъ: они были не хуже и не лучше, чѣмъ онъ самъ. Того же, что вольнодумцы называли разумомъ, въ его бурномъ существованіи не было и слѣда: ужъ онъ-то зналъ, что на три четверти слагалось оно изъ дѣлъ и обстоятельствъ случайныхъ, которыхъ никто не могъ ни обдумать, ни предусмотрѣть, ни осуществить. Люди кабинетные, люди свѣтскіе, вольнодумцы, монахи просто этого не видѣли, потому что съ ними въ жизни почти ничего не происходило. Открывалось же это лишь такимъ людямъ, какъ онъ, или Александръ, или Цезарь. Это означало судьбу. Тому, кто видитъ важность собственныхъ своихъ земныхъ дѣлъ, не можетъ быть чужда мысль о связи ихъ съ основнымъ въ мірѣ, съ небомъ и звѣздами. Все остальное, — навѣрное, ложь; это, можетъ быть, правда. Но людямъ, которымъ вообще незачѣмъ было рождаться, незачѣмъ и знать, подъ какой звѣздой они родились.

Затѣмъ сонъ смѣшалъ его мысли. Ему снилось, что Сатурнъ входитъ въ седьмой солнечный домъ и плыветъ по небесному полю, открывая, — наконецъ-то! — дорогу его звѣздѣ. И за звѣздой его шель спутникъ, на немъ же вырисовывался золотой полукругъ. И точно это раздражило Сатурна: онъ ускорилъ ходъ, и лицо его стало звѣрскимъ, и сузилась борода, точно онъ подстригъ ее по драгунской модѣ, и выпала изъ рукъ его, зазвенѣвъ, коса, и, вмѣсто нея, появилась аллебарда. Звѣзда герцога Фридландскаго остановилась въ ужасѣ. Раздался дикій

крикъ: «Rebellen!», за нимъ громовой ударъ. Валленштейнъ проснулся.

И въ ту же секунду, — съ непостижимой быстротой, — онъ понялъ все. Съ непостижимой ясностью понялъ, откуда идетъ ударъ, и кто его выполняетъ. Понялъ, что не успѣетъ добѣжать до стѣны и схватиться за мечъ, да если бъ и успѣлъ, то это не спасетъ. Все сорвалось на пустякъ: во дворѣ не была поставлена стража. Понялъ, что кости выброшены, что выпалъ тузъ, что игра сыграна, что не будетъ ни похода на Вѣну, ни короны Карла Великаго, ничего не будетъ.

Оставалось только одно, необходимое: послѣдняя картина для потомства. Герцогъ Фридрихъ спокойно поднялся съ постели и съ усмѣшкой сталъ у стола. Дверь сорвалась съ петель и упала съ грохотомъ. На порогѣ показался драгунъ. — Тотъ жалкій, съ звѣрскимъ лицомъ, похожій на Сатурна. Онъ на мгновеніе замеръ, что-то прокричалъ срывающимся голосомъ и, бросившись впередъ, вонзилъ аллебарду въ грудь Валленштейна.

XVIII.

Профессоръ Юнгманъ совершилъ большое путешествіе. Желая приготовить всемірный съѣздъ невидимыхъ, онъ сначала посѣтилъ германскія земли. Но тамъ дѣло не налаживалось. Въ Германіи лилась кровь и царило огорченное профессора зло. О съѣздѣ никто не говорилъ и не слушалъ. Иные братья, правда, соглашались, что слѣдовало бы какъ-нибудь собраться и сообща обсудить разные волнующіе вопросы: о спасеніи міра отъ бѣды, о вращеніи солнца, о несерьезной и непристойной книгѣ «Химическая свадьба Христіана Розенкрейца» и о томъ, что должно предшествовать при изготовленіи философскаго камня — нитредо, альbedo или рубедо. Но говорили они это глядя въ сторону, вполголоса, вскользь.

и весьма неохотно. Профессоръ съ горькимъ чувствомъ убѣждался, что нѣмецкіе братья думаютъ больше о томъ, какъ уцѣлѣть, какъ не ввязаться въ бѣду, какъ прокормить себя, жену и дѣтей. Настоящей потребности въ сѣздѣ не было и у лучшихъ. Другіе же слышать не хотѣли о розенкрейцерахъ и даже начисто отрицали свою къ нимъ принадлежность: «никогда невидимымъ не былъ, а если куда-то какъ-то меня затащили, то вѣрно въ пьяномъ видѣ, и я давно объ этомъ и думать забылъ, да и время теперь другое». Въ Кельнѣ же одинъ изъ братьевъ, прежде весьма усердный, интересовавшійся наукой, особенно увлекавшійся вопросомъ о превращеніи свинца въ золото, въ словахъ самыхъ неприятныхъ попросилъ профессора Юнгмана тотчасъ убраться по-добру по-здорову. Все это весьма огорчало профессора, хоть онъ и писалъ бодрія письма братьямъ, которые остались вѣрны завѣтамъ невидимыхъ.

Весну онъ провелъ на водахъ, ибо чувствовалъ себя усталымъ. Но не отдохнулъ и не успокоился духомъ. Случилась въ то время съ профессоромъ Юнгманомъ и неприятность: онъ вдругъ очень потолстѣлъ. Самъ было сначала не замѣчалъ, но шутливо сказалъ ему объ этомъ владѣлецъ дома, гдѣ онъ жилъ, старый его знакомый и доброжелатель. Какъ на бѣду, хозяинъ собиралъ старые зеркала, стеклянныя, серебряныя, полированного камня, и они у него въ домѣ находились вездѣ: висѣли на стѣнахъ, стояли на высокихъ табуретахъ, и даже, по древнему обычаю, вдѣланы были въ блюда, чашки, бокалы. Профессоръ сталъ приглядываться: въ самомъ дѣлѣ, двойной подбородокъ! И съ той поры зеркала съ утра до ночи напоминали профессору Юнгману, что онъ обложился жиромъ, что появилось у него брюшко, что плѣшь стала самой настоящей лысиной. Ему казалось также, что молодыя женщины на него больше и не смотрятъ. Это было неприятно, хоть занимался онъ главнымъ образомъ наукой.

На водахъ застала профессора Юнгмана страшная вѣсть о гибели Магдебурга. Много зла принесла людямъ эта война, но такихъ ужасовъ еще никогда не было. Въ городѣ, очевидно, погибъ и Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфуслейнъ, одинъ изъ самыхъ лучшихъ людей и наиболее ревностныхъ розенкрейцеровъ, встрѣчавшихся въ жизни профессору. Попытался онъ навести справки, но долго не могъ ничего узнать. Лишь много поздне получилъ онъ отъ шведскихъ братьевъ сообщеніе: несчастный Тобіасъ-Вильгельмъ Газенфуслейнъ дѣйствительно погибъ. Случайно удалось выяснить, что зарѣзалъ его драгунскій офицеръ Деверу; онъ же увелъ съ собой, обезчестивъ ее, племянницу Газенфуслейна Эльзу-Анну-Марію; дальнѣйшая участь ея осталась неизвѣстной братьямъ; никто изъ нихъ этой дѣвушки не зналъ. Не зналъ ея и профессоръ Юнгманъ. Не одну ночь провелъ онъ безъ сна, думая о своемъ пріятелѣ, объ его еще болѣе злосчастной племянницѣ, и спрашивая себя, какъ допускаетъ Провидѣніе столь вопіющія дѣла.

Между тѣмъ военныя событія шли; шведскій король Густавъ-Адольфъ искалъ мщенья за Магдебургъ. Говорили, что война распространится по всей средней Европѣ. Профессору Юнгману нужно было побесѣдовать съ итальянскими розенкрейцерами; онъ сталъ понемногу продвигаться на югъ, останавливаясь, гдѣ слѣдовало остановиться въ интересахъ дѣла невидимыхъ. Ничего худого съ нимъ не случилось въ его долгомъ, опасномъ путешествіи.

Въ Римѣ профессоръ Юнгманъ оживился. Здѣсь было совершенно спокойно. Правилъ мудрый Урбанъ VIII, по счету 244-ый папа, человѣкъ характера властнаго и твердаго. Жизнь въ городѣ была легкая, радостная и праздная. Профессору казалось даже, что никто здѣсь ничего не дѣлаетъ и что всѣхъ кормить и поить веселое итальянское солнце, поставляя, точно безъ человѣческаго труда, и хлѣбъ, и вино, и фрукты, и масляныя ягоды и всѣ земныя плоды.

Невидимые встрѣтили въ Римѣ профессора любезно и привѣтливо, совсѣмъ не такъ, какъ нѣмецкіе братья. Мысль о съѣздѣ они очень привѣтствовали, но находили, что лучше бы его отложить: съѣздъ не убѣжить, торопиться некуда, вотъ зимой пріѣдетъ братъ Контарини, тогда обо всемъ можно будетъ поговорить, какъ слѣдуетъ, а до того отчего же дорогому и знаменитому нидерландскому брату не пожить у нихъ въ Римѣ? Профессору Юнгману казалось, что эти братья недостаточно заняты серьезными розенкрейцерскими вопросами: правда, слушали они его какъ будто съ интересомъ, но трепетнаго волненія у нихъ не было, а безъ душевнаго жара ничто цѣнное создано быть не можетъ. Немного страннымъ ему казалось ихъ отношеніе къ съѣзду: какъ можно ждать чуть не цѣлый годъ пріѣзда брата Контарини! Однако онъ цѣнилъ чарующую любезность римскихъ братьевъ. Вышло такъ, что послѣ первой встрѣчи разговаривалъ онъ съ ними больше о постороннихъ предметахъ, чаще всего о предметахъ второстепенныхъ и легковѣсныхъ.

Говорили впрочемъ и о политикѣ. Римскіе невидимые ворчали: народъ коснѣетъ въ невѣжествѣ и въ предрасудкахъ, семья Барберини забрала слишкомъ много силы, найдутся вѣдь семьи и не хуже, а папа сталъ такъ гордъ, что и подступиться къ нему нельзя — *una salda tenacia dei propri pensieri!* Кромѣ того ужъ очень онъ тянетъ къ Франціи; кончится это дѣло еще, чего добраго, войной съ императоромъ. И хоть отчего же съ проклятыми вѣщцами при случаѣ и не повоевать, все-таки политика эта неосторожная. Говорятъ вѣдь, что герцога Фридрихъ-дандскій давно совѣтовалъ императору двинуться походомъ на Римъ: цѣлое столѣтіе не бралъ Рима приступомъ непріятель и будетъ, молъ, чѣмъ поживиться, — Валленштейнъ же ни въ Бога, ни въ черта не вѣритъ; по слухамъ, предлагалъ онъ оттянуть отъ Польши казаковъ и двинуть въ Италію это дикое, воинственное, свирѣлое племя.

Слухи такіе дѣйствительно упорно ходили въ Германіи. Но въ Римѣ профессору казалось, что никакой войны здѣсь не будетъ, никакіе казаки не придутъ, а если и придутъ, то Римъ поладитъ и съ казаками, ибо и на нихъ хватить того, что безплатно даетъ итальянское солнце, — самое свирѣпое племя, вѣрно, здѣсь повеселѣтъ и станеть мирнымъ. Ничто въ Римѣ измѣниться не можетъ, теперь править 24-ый папа, а будетъ и 1244-ый.

Понемногу стали мѣняться и намѣренья профессора Юнгмана. Первоначально онъ предполагалъ пробыть въ Италіи мѣсяца три, не болѣе, — желалъ обсудить съ извидимыми планъ сѣзда, узнать, что дѣлается въ разныхъ частяхъ міра, — нигдѣ этого не знали лучше, чѣмъ въ Ватиканѣ, — а затѣмъ отправиться въ другія земли. Но теперь думалъ онъ, что уѣзжать ему нѣкуда и незачѣмъ. Сѣзды очевидно надо было отложить. А жизнь здѣсь была необыкновенно пріятная. Профессоръ Юнгманъ самъ этому удивлялся: вѣдь свободы нѣтъ и народъ коснѣтъ въ невѣжествѣ. Но уѣзжать отъ веселаго солнца ему не хотѣлось, и пробылъ онъ въ Римѣ полтора года.

Какъ-то ученые люди показали ему Галилеевы стекла, при помощи которыхъ сдѣлалъ на небѣ столько открытій престарѣлый философъ герцога Тосканскаго. Чудо науки привело профессора въ восторгъ. И тотчасъ у него всплыла мысль о давнемъ научномъ изслѣдованіи: учась въ молодости въ Германіи (мать его была нѣмка), онъ много занимался вопросомъ о томъ, какого пола звѣзды; теперь можно было довести это изслѣдованіе до конца, пользуясь для наблюденій великимъ изобрѣтеніемъ Галилея. Мысль эта увлекла профессора. Къ лѣту 1633 года онъ перебрался въ Тиволи, пилъ цѣлебную воду, отъ которой спадаль жиръ и возвращались волосы, а все свободное время посвящалъ научнымъ изысканіямъ.

Работа его подвигалась успѣшно: Галилеевы стекла очень ему помогли. Выяснилось, что большинство звѣздъ — женскаго пола. Съ увлеченіемъ читалъ профессоръ вы-

шедшій незадолго до того трудъ мудраго философа: «*Dialogo intorno ai due massimi sistemi del mondo*» и, хоть трудно было ему рѣшить, кто именно правъ: Сагредо или Симплиціо, онъ все больше склонялся къ мысли, что, вѣрно, правъ Сагредо и, какъ это ни странно, земля вращается вокругъ солнца: очень бойко отвѣчали Сагредо и его другъ Сальвиати на всѣ доводы Симплиціо, и такое имя было дано стороннику вращенія солнца вокругъ земли, что даже неловко было бы соглашаться съ нимъ. Для выясненія же пола звѣздъ Галилеевъ діалогъ далъ профессору немного; однако кое-какія мысли онъ изъ діалога использовалъ.

Ученый трудъ его былъ почти законченъ, когда пришло тяжелое и грустное извѣстіе: созданная въ Римѣ чрезвычайная комиссія признала еретическими взгляды Галилея, философъ долженъ былъ колѣнопреклоненно отречься отъ своей ереси. Извѣстіе это очень потрясло профессора Юнгмана. Онъ увидѣлъ въ случившемся тяжелое оскорбленіе для ума и достоинства человѣка. Вдобавокъ, при такомъ фанатизмѣ властей, легко могла быть признана опасной его собственная работа о полѣ звѣздъ. Тиволи вдругъ пересталъ нравиться профессору: слишкомъ много тутъ развалинъ, и не такъ ужъ хороша вилла кардинала д'Эсте, и немало есть въ природѣ зрѣлищъ прекраснѣе водопадовъ Тевероне. Воды же рѣки этой упорно отражали его фигуру. Веселое солнце больше не радовало профессора Юнгмана. При видѣ забытыхъ могилъ людей, прожившихъ жизнь шумную и славную, приходили ему въ голову тѣ мысли о бренности человѣческаго существованія, которыя всегда приходятъ въ подобныхъ случаяхъ. Зачѣмъ такъ устроенъ міръ, что разваливается и самъ человѣкъ, и каменные дѣла его, и исчезаетъ о немъ память? Одна надежда, что какой-либо не родившійся еще розенкрейцеръ великаго ума въ самомъ дѣлѣ составитъ эликсиръ жизни. Но удастся ли тогда воскресить уже умершихъ людей? И думая обо всѣхъ

этихъ важныхъ предметахъ, профессоръ Ионгманъ рѣшилъ, что теперь, закончивъ свой ученый трудъ, онъ долженъ усердно заняться розенкрейцерской работой: съѣздъ совершенно необходимъ, а созвать его можно будетъ только въ свободныхъ Нидерландахъ. Съ умилениемъ и гордостью вспоминалъ профессоръ свою родину, гдѣ можно мыслить и печатать ученые труды спокойно, подъ защитой мощныхъ бастионовъ Амстердама.

Онъ простился въ Римѣ съ друзьями. Къ его скорби, они отнеслись къ осужденію Галилея почти равнодушно, — для вида ворчали и бранили ирравительство, но тотчасъ переходили къ другимъ, легкомысленнымъ дѣламъ. Нѣкоторые, порочному, и не знали объ осужденіи или на слѣдующій же день о немъ позабыли. Коснѣвшій же въ невѣжествѣ народъ не слыхалъ и имени мудраго философа. Впрочемъ, римскіе невидимые соглашались съ профессоромъ Ионгманомъ въ томъ, что такъ оставить дѣло нельзя: нужно созвать съѣздъ, вотъ только пріѣдетъ братъ Контарини. На прощанье въ честь профессора устроили большой обѣдъ, пили за его здоровье мускатное вино съ Везувія, названное именемъ язычскимъ, и въ самыхъ лестныхъ рѣчахъ желали успѣха его ученому труду, — предмета же этого труда профессоръ Ионгманъ римскимъ невидимымъ не сообщилъ.

Затѣмъ профессоръ выѣхалъ въ Парижъ для дальнейшей работы по созыву съѣзда. Но къ глубокому его изумленію, въ Парижѣ ни одного невидимаго не оказалось. Люди, которые, по его свѣдѣніямъ, были розенкрейцерами, рѣшительно ничего не понимали, когда онъ обращался къ нимъ съ условными словами. Онъ показывалъ золотую розу на синей лентѣ, они съ любопытствомъ ее разсматривали, но видимо совершенно не знали, что это такое и зачѣмъ имъ это показываютъ. Такъ не разу онъ и не услышалъ: «Ave Frater». Когда же въ обществѣ, гдѣ, по его мнѣнію, должны были находиться невидимые, профессоръ осторожно заводилъ рѣчь о таинственномъ брат-

ствѣ, всё весело хохотали: никакихъ невидимыхъ на свѣтъ нѣтъ, это ерунда, скорѣе же всего выдумываютъ такія басни, для своихъ цѣлей, изувѣры и мошеники изъ La Cabale, — общество, такъ именовавшееся, приобрѣтало все большую силу и не было мѣры злу, которое имъ творилось. Не нашелъ въ Парижѣ профессоръ Юнгманъ и должнаго вниманія къ своему ученому труду. Услышавъ о женскомъ полѣ звѣздъ, одни ученые умолкали и поспѣшно отходили, другіе трепали профессора по плечу, а то и по животу, и съ игривой улыбкой говорили слова, которыя онъ понималъ плохо, ибо не владѣлъ всѣми топкостями французскаго языка.

Здѣсь же узналъ профессоръ, что какіе-то темные люди убили въ Эгерѣ герцога Фридландскаго. Много воды утекло со времени Регенбургскаго сейма; невидимые больше не возлагали особыхъ надеждъ на Валленштейна. Все-же со скорбью принялъ профессоръ это извѣстіе, ибо трудно человѣку разставаться со старыми надеждами. Въ Парижѣ объ убійствѣ герцога говорили очень много, но путали все чрезвычайно. Фамилію же Валленштейна не могъ ни правильно выговорить, ни правильно написать и самъ кардиналъ Ришелье.

Не подвинувъ дѣла во Франціи, профессоръ Юнгманъ вернулся на родину. Въ Соединенныхъ провинціяхъ онъ опять воспрянулъ духомъ. Подышалъ роднымъ воздухомъ, повидаль старыхъ друзей, говорилъ свободно, что хотѣлъ и о чемъ хотѣлъ, — одно было неспрiятно: всѣ изумлялись его полнотѣ. Сдѣлалъ онъ, разумѣется, и докладъ у невидимыхъ. Какъ вождь и наставникъ опытный, профессоръ предостерегъ братьевъ отъ ушнiя: говорилъ имъ, что положеніе въ мiрѣ тяжелое, но для потери надеждъ никакихъ основаній нѣтъ: свѣтъ науки и благородная работа розенкрейцеровъ преодолѣютъ всѣ бѣды, косность, невѣжество и предразсудки.

Докладъ профессора Юнгмана вызвалъ у невидимыхъ большое вниманіе. Рѣшено было еще усилить работу и

попытаются привлечь въ братство новыхъ полезныхъ и достойныхъ уваженія людей. Тутъ же распредѣлили, кому съ кѣмъ поговорить. Кто-то не безъ робости предложилъ: что, если снова побесѣдовать съ Декартомъ? Обсудили и признали, что надежды мало, но отчего бы въ самомъ дѣлѣ не попробовать? Къ общему удовлетворенію, попытку эту согласился сдѣлать самъ профессоръ Юнгманъ. Онъ сказалъ, что на дняхъ встрѣтилъ Декарта въ печатной мастерской, — «тамъ печатается мой новый трудъ», — застѣнчиво вставилъ онъ, всё одобрительно кивали головами, — «и Картезіи звалъ меня погостить у него въ замкѣ»...

XIX.

Декартъ лѣтомъ 1634 года снималъ замокъ, расположенный часахъ въ четырехъ ѣзды отъ Амстердама. Профессоръ Юнгманъ выѣхалъ утромъ съ расчетомъ, чтобы, не очень торопясь, поѣхать къ обѣду. Для поѣздки онъ нанялъ телѣжку, безъ кучера, — любилъ править лошадьми. Въ другой странѣ непременно потребовали бы залога за экипажъ; здѣсь владѣльцу это и въ голову не пришло, хотъ онъ не зналъ профессора Юнгмана. По дорогѣ профессоръ съ гордостью думалъ, что живетъ въ чистѣйшей странѣ. Еще пріятнѣе было то, что путешествовать можно было совершенно безопасно. Въ Германіи разбойники хозяйничали на милѣ разстоянія отъ большихъ городовъ. Безпокойно было и на французскихъ дорогахъ. Только въ римской землѣ былъ порядокъ. И профессоръ въ пути удивлялся: разный строй даетъ одни результаты, — подъ властью папы Урбана VIII такое же спокойствіе, какъ въ свободныхъ Нидерландахъ.

Большая часть дороги уже была позади. Но попался уютный постоялый дворъ въ сторонѣ отъ пыльной дороги. Сбоку отъ домика былъ маленькій садъ, въ немъ стояли два стола, съ чистенькими клѣтчатыми скатертя-

ми. Профессоръ остановился, отдалъ слугѣ лошадь и спросилъ бутылку пива.

Къ постоялому двору подъѣхала богатая коляска. Изъ нея вышли господинъ съ дамой, одѣтые весьма нарядно, не по дорожному. Дама была совсѣмъ молода и очень хороша собой. Они сѣли за сосѣдній столъ. Профессоръ Юнгманъ оглядѣлъ ихъ незамѣтно, точно смотрѣлъ мимо стола на крыльцо: зналъ свѣтскія правила и нескромнымъ никогда не былъ. Дамой онъ полюбовался, ибо любилъ красивыя женскія лица. Спутникъ же дамы, человѣкъ не первой молодости, въ синемъ атласномъ плащѣ, при шпагѣ и кинжалѣ, не понравился профессору Юнгману. Лицо этого человѣка показалось ему знакомымъ, но профессоръ не могъ вспомнить, кто такой: по всему видно, военный. Знакомыхъ же военныхъ было у профессора Юнгмана не много.

Такъ какъ коляска была очень богатая, то къ новымъ гостямъ, кромѣ слуги, вышла и сама хозяйка постоялаго двора. Однако объясниться съ нею гости не могли, они были иностранцы. Господинъ въ синемъ плащѣ заговорилъ сначала по французски, — видимо для важности, потому что говорилъ онъ на этомъ языкѣ плохо, — затѣмъ перешелъ на нѣмецкій языкъ; по нѣмецки заговорила и дама. Но хозяйка ни одного иностраннаго языка не знала и беспомощно оглянулась на профессора. Военный человѣкъ, видимо, начиналъ сердиться: каковъ постоялый дворъ! Профессоръ предложилъ свою помощь. Господинъ привсталъ и съ легкимъ поклономъ сдѣлалъ жестъ рукою. Заказалъ онъ цѣлый обѣдъ, при чемъ о цѣнахъ не спрашивалъ, и потребовалъ самаго лучшаго французскаго вина. Хозяйка почтительно доложила, что у нея есть красное горное вино изъ Шампани, и бѣлое сладкое, и то, и другое очень хорошия. Ёда же есть всякая: можнэ зарѣзать и курицу, если гости согласятся немного подождать? Оказалось, что гости не спѣшатъ. Дама все ахала и восторгалась: «Горное французское вино? Ахъ, какъ

хорошо! Яичница? Ветчина съ грибами? Курица? Ея любимыя блюда! И какой милый садикъ!..» Говорила она безъ умолку, глядя вѣжно-восторженно на своего спутника. Профессоръ съ легкой грустью догадался, что это молодожены: хотъ занять онъ былъ высшими интересами науки и розенкрейцерскихъ дѣлъ, все чаще сожалѣлъ, что не женился въ ту пору, когда еще не было у него двойного подбородка и были волосы не хуже чѣмъ у молодыхъ людей.

Гостямъ принесли вино. Военный человекъ опять всталъ, прикоснулся къ стакану акульимъ зубомъ (чего въ Нидерландахъ никогда не дѣлали) и предложилъ профессору выпить съ нимъ. Профессоръ Ионгманъ вѣжливо поблагодарилъ и, чтобъ не остаться въ долгу, велѣлъ принести три рюмки настоянной на травахъ, голландской водки. Господинъ съ синемъ плащѣ видимо не прочь былъ поболтать. Тутъ же рассказалъ, что онъ офицеръ имперской арміи, родомъ ирландецъ и ѣдетъ на побывку къ себѣ на родину, послѣ чего вернется въ Вѣну, гдѣ ему обѣщанъ императоромъ полкъ. Профессоръ сказала «Oh!» съ почтительной интонаціей, относившейся къ имени императора и къ высокому служебному положенію собесѣдника. Но въ душѣ, — хотъ былъ вообще довѣрчивъ и плохо понималъ, зачѣмъ люди лгутъ, когда гораздо проще и легче говорить правду, — немного усомнился, дѣйствительно ли ирландецъ имѣеть чинъ полковника: по возрасту это было вполне возможно, однако въ обликѣ ирландца было что-то грубое, неотесанное, — можно ли въ имперской арміи получить полковничій чинъ, не имѣя должнаго воспитанія?

Видъ ветчины съ грибами пробудилъ аппетитъ у профессора Ионгмана. Онъ не зналъ въ точности, когда именно объѣдаетъ Декартъ, — да еще кто его знаетъ, какъ онъ угощаетъ гостей? Профессоръ велѣлъ хозяйкѣ принести другую порцію ветчины. Полковникъ ѣлъ и пилъ очень много и жадно. Голландская волка ему понравилась, но

заказывать по рюмкѣ было скучно: онъ велѣлъ подать цѣлый графинъ и опорожнилъ его такъ быстро, что профессоръ Йонгманъ только дивился, — эти военные люди! Дама тоже пила недурно, раскраснѣлась и весело хохотала при шуткахъ Вальтера (такъ знала полковника): а когда въ словахъ его ничего шутилаго не было, приглашала профессора оцѣнить ихъ справедливость, — по всему видно, была чрезвычайно влюблена въ мужа. Замѣтивъ, что профессоръ смотритъ на ея колечко съ изумрудомъ, сняла его съ пальца и сообщила, что это подарокъ Вальтера: онъ въ концѣ зимы получилъ большія деньги...

— Много ты врешь! — сказалъ пьянымъ голосомъ ирландецъ. — Помолчала бы, а то смотри!. Помнишь, что было въ среду?

Дама смущенно-весело засмѣялась. Полковникъ пояснилъ профессору, что держитъ жену строго: слишкомъ ее избаловали въ дѣтствѣ. Профессоръ Йонгманъ сочувственно спросилъ даму, откуда она родомъ. Узнавъ, что изъ Магдебурга, тяжело вздохнулъ. У него, сказалъ онъ, былъ въ этомъ городѣ пріятель, но погибъ при тѣхъ ужасныхъ событіяхъ... Профессоръ хотѣлъ было узнать, не слышали ли его собесѣдники о Газенфуслейнѣ. Но не успѣлъ назвать имени своего пріятеля: жена полковника поблѣднѣла и перевела разговоръ на другой предметъ.

Такъ они бесѣдовали еще съ полчаса. Профессоръ съ интересомъ спрашивалъ ирландца о послѣднихъ событіяхъ въ германскихъ земляхъ: полезно было поговорить съ человѣкомъ, который прямо оттуда прибылъ. Полковникъ видѣлъ немало, но рассказывалъ пристрастно, точно совершенно забывъ, что находится онъ все-таки въ странѣ лютеранской. Такъ, на вопросъ профессора, кто, по его мнѣнію, побѣдитъ, католики или лютеране, расхохотался и сказалъ, что тутъ и спрашивать нечего: разумѣется, побѣдятъ католики. Это замѣчаніе и особенно грубый смѣхъ полковника не понравились профессору Йонгману. Онъ замѣтилъ, что у нихъ, въ Сосединенныхъ

провинціяхъ, военные люди думаютъ иначе. Правда, великаго Густава-Адольфа больше нѣтъ въ живыхъ, но вѣдь и у императора нѣтъ другого Валленштейна. Жена полковника снова измѣнилась въ лицѣ. Полковникъ же расхохотался еще громче и заявилъ, что проклятый Валленштейнъ былъ измѣнникъ: онъ предался шведамъ, но, къ счастью, Господь Богъ покаралъ его вотъ этой рукою. При этихъ словахъ онъ, впрочемъ безъ всякой злобы, показалъ огромный и страшный кулакъ, почему-то засучивъ рукавъ шелковаго кафтана.

Профессоръ Юнгманъ остоленѣлъ: не могъ понять, что это такое, — если шутка, то какая глупая, если же правда... — но профессоръ и позднѣе не могъ рѣшить, что же онъ долженъ былъ сдѣлать, если правда: не звать же было полицію для ареста человѣка, который называлъ себя убійцей герцога Фридландскаго.

Къ общему облегченію, въ эту минуту къ столу подошла хозяйка постоялаго двора. Она съ улыбкой попросила профессора Юнгмана перевести господину и дамѣ ея почтительную просьбу: ей было бы очень пріятно, если бъ они согласились расписаться въ книгѣ для почетныхъ гостей, съ давнихъ поръ существующей въ ея домѣ. Профессоръ такъ былъ радъ концу непріятной бесѣды, что и не почувствовалъ обиды: расписаться хозяйка просила лишь полковника съ женой, о немъ же ничего не было сказано. Онъ перевелъ просьбу хозяйки, обращаясь, въ знакъ протеста, преимущественно къ женѣ полковника Ирландецъ, видимо, былъ польщенъ: тотчасъ согласился и, въ сопровожденіи хозяйки, направился къ дому.

Жена проводила его счастливымъ взглядомъ. Затѣмъ объяснила профессору, что Вальтеръ, конечно, немного вспыльчивъ, но самый милый человѣкъ на свѣтѣ. Грѣхи найдутся у всякаго воина, — горячо сказала она, — на то они воины и мужчины. Сердце же у Вальтера золотое, и начальство очень его цѣнитъ. Вотъ и теперь въ Вѣнѣ онъ получилъ награду за службу, такъ что они стали

богатые люди. Вальтеръ хочетъ купить имѣніе въ Ирландіи, чтобы обезпечить себѣ покойную старость. Но она рѣшительно противъ этого: до старости имъ еще очень далеко. Сейчасъ, правда, въ Германіи не спокойно, но не всегда же это будетъ такъ; зато все продается очень дешево. А въ Богеміи, гдѣ конфискованы земли разныхъ измѣнниковъ, можно купить отличнѣйшее имѣніе совсѣмъ за безцѣнокъ, и хоть чеховъ она не очень любитъ, все же это не такъ далеко, какъ Ирландія. Вальтеръ все равно пока долженъ служить, ему и отпускъ данъ только на три мѣсяца, гораздо было бы лучше на время отпуска уѣхать въ Парижъ, гдѣ, всѣ говорятъ, такъ весело, правда? Она, впрочемъ, надѣется убѣдить Вальтера на обратномъ пути побывать во Франціи, тамъ можно будетъ заказать и платья. Правда, платья и въ Вѣнѣ хороши, она кое-что купила, но въ Парижѣ они еще лучше. А Вальтеръ, хоть иногда и горячъ, въ концѣ концовъ всегда ей уступаетъ: какіаго любящаго вѣрнаго мужа нѣтъ, и это теперь надо особенно цѣнить, и немало денегъ онъ истратилъ на подарки ей изъ тѣхъ сорока тысячъ, что они недавно получили... Тутъ жена полковника смутилась: ей не велѣно было говорить о сорока тысячахъ.

Профессоръ Ионгманъ угрюмо мычалъ. Очевидно, сомнѣваться не приходилось: онъ только что дружелюбно пилъ вино съ убійцей Альбрехта Валленштейна. Убійца же, ясное дѣло, ни малѣйшихъ угрызений совѣсти не испытывалъ; былъ веселъ, спокоенъ, счастливъ. И странныя мысли встревожили душу профессора. За ними не разслышалъ онъ вопроса дамы. Ей хотѣлось знать, къ какому ювелиру въ Амстердамъ обратиться: Вальтеръ въ свое время подарилъ ей одну золотую штучку, теперь же въ Вѣнѣ онъ купилъ еще три отличныхъ большихъ брилліанта: хорошо было бы ими украсить первый подарокъ Вальтера. А то безъ драгоценныхъ камней роза не имѣетъ вида, не правда ли? Съ этими словами достала она изъ сумки золотую розу на синей лентѣ. Свѣтъ погасъ въ

глазахъ профессора Юнгмана: передъ нимъ была священная эмблема невидимыхъ! И въ ту же минуту онъ съ ужасомъ вспомнилъ: этого убійцу онъ видѣлъ когда-то въ Регенсбургѣ, въ домѣ почтеннаго врача Майера!

Профессоръ Юнгманъ лобагровѣлъ. Выпучивъ глаза, онъ съ минуту въ упоръ глядѣлъ на удивленную даму, всталъ, снова сѣлъ, затѣмъ сорвался съ мѣста и, мимо возвращавшагося къ столу полковника, почти бѣгомъ прошелъ въ домъ. Потребовавъ счетъ, онъ заглянулъ въ лежащую на столѣ открытую книгу почетныхъ гостей. Тамъ по нѣмецки было написано: «Вальтеръ Деверу, полковникъ службы Его Императорскаго Величества, съ женой Эльзой-Анной-Маріей».

Лакей съ изумленіемъ и безпокойствомъ смотрѣлъ на профессора Юнгмана, пока тотъ расплачивался по счету. Профессоръ былъ смертельно блѣденъ, руки его дрожали. Съ ужасомъ оглянувшись въ сторону сада, онъ поспѣшно сѣлъ въ свою телѣжку и, расправивъ вожжи, сильно хлестнулъ кнутомъ по лошади, чего никогда не дѣлалъ, ибо былъ очень добръ и въ отношеніи животныхъ.

XXXIII.

Мудрый Картезіи при встрѣчѣ позвалъ къ себѣ профессора Юнгмана, но дня не назначилъ и не ждалъ гостя. По своему обычаю, чуть не до полудня оставался онъ въ постели, лежалъ съ закрытыми глазами, изрѣдка приподнимался на локтѣ, бралъ со столика листокъ бумаги, карандашемъ, нѣсколькими словами, записывалъ приходившія ему мысли и снова опускалъ голову на подушку, погружаясь въ размышленія. Это были его лучшіе часы. Затѣмъ онъ одѣлся и перешелъ въ тѣ комнаты, которыя служили ему лабораторіей. Но только взялся за работу, какъ слуга доложилъ ему о пріѣздѣ профессора Юнгмана. И хоть это означало потерю доброй части дня, Де-

картъ встрѣтилъ профессора какъ самаго дорогого друга; привыкъ скрывать всѣ свои чувства и видѣлъ въ этомъ необходимѣйшую изъ добродѣтелей.

Тотчасъ распорядился объ особыхъ блюдахъ къ обѣду; не думалъ какъ многіе, что для гостей никакихъ измѣненій быть не должно, — пусть, молъ, ѣдятъ то самое, что каждый день ѣстъ хозяинъ дома. Онъ повелѣлъ профессора по своей усадьбѣ, показалъ садъ, видъ на каналъ и на рощу, показалъ лучшія комнаты замка, показалъ лабораторную залу. О своихъ же въ ней трудахъ сказалъ ровно столько, сколько было нужно изъ вѣжливости: не говорилъ съ посторонними людьми о дѣлахъ своихъ такъ подробно, точно дѣла эти должны были интересовать ихъ, какъ его самого. Ибо во всемъ зналъ мѣру мудрый Декартъ, и хорошо была ему извѣстна, въ большемъ и въ маломъ, трудная наука жизни. Изысканья его заинтересовали профессора Юнгмана, — заговорилъ въ профессоръ о своемъ научномъ трудѣ, о томъ, какого пола оказалось большинство звѣздъ. Картезіи же помолчать, затѣмъ съ ласковой улыбкой одобренья пожелать труду его успѣха, но о своихъ работахъ больше не сказалъ ни слова и увелъ гостя въ столовую.

За обѣдомъ, закуски, блюда, вина, все было хорошо, хоть безъ чрезмѣрнаго обилія и роскоши. Только они двое и были за столомъ: хозяинъ и гость. И видно, подѣйствовало на профессора Юнгмана духъ дома мудраго Картезія, или развязало ему языкъ старое вино, или былъ онъ такъ взволнованъ встрѣчей съ людьми, съ которыми свела его судьба въ саду постоялаго двора, — но говорилъ профессоръ долго, взволнованно и задумчиво. Разказалъ о поѣздкѣ своей по Европѣ, изложилъ впечатлѣніе отъ событийъ въ германскихъ земляхъ, перешелъ къ Риму и остановился на дѣлѣ Галилея. И когда разказалъ о колѣнопреклоненномъ отреченіи старца, голось его задрожало и на глазахъ показались слезы: такъ было тяжело ему оскорбленіе ума и достоинства великаго

человѣка. Не менѣе его былъ взволнованъ этой частью разсказа Картезій, хотъ не любилъ Галилея и хотъ еще съ зими зналъ всѣ подробности римскаго процесса.

Послѣ обѣда они вышли въ садъ и сѣли на скамейку у ключа, который шутливо называлъ хозяинъ ключемъ мудрости: здѣсь размышлялъ онъ о предметахъ высокихъ и важныхъ. Въ саду профессоръ Юнгманъ закончилъ разсказъ: сообщилъ подробно о своей встрѣчѣ на постояломъ дворѣ съ убійцей Альбрехта Валленштейна, полковникомъ Вальтеромъ Деверу, и съ женой его, племянницей имъ же убитаго праведнаго человѣка. Вкратцѣ разсказалъ онъ объ этомъ еще раньше, какъ только прѣхалъ; теперь же высказалъ и свои скорбныя мысли. Отчего, спросилъ онъ, торжествуетъ зло надъ добромъ? Почему благоволяетъ судьба къ творящимъ зло людямъ? Почему горды они и счастливы и находятся въ почетѣ? И не нужно ли, не нужно ли срочно, объединеніе лучшихъ людей для побѣдоносной борьбы со зломъ?

И тутъ профессоръ Юнгманъ перешелъ къ тому дѣлу, ради котораго прѣхалъ въ гости къ Декарту. Трудное это было дѣло, ибо, по закону невидимыхъ, ничего нельзя было сообщать о братствѣ людямъ, еще не принятымъ въ его среду, — а какъ заинтересовать ихъ братствомъ, ничего о немъ не сообщая? Приходилось начинать издалека, говорить темно и двусмысленно, чтобъ можно было отступить благопристойно, когда-бы мысль о братствѣ не увлекла того, кого надлежало опросить, или когда-бы оказался онъ при разспросахъ неподходящимъ для братства человѣкомъ. Но, къ счастью, все понималъ собесѣдникъ профессора Юнгмана и такимъ же намекомъ далъ онъ понять, что объяснять больше ничего не надо и что онъ теперь, какъ и раньше, не намѣренъ идти въ братство невидимыхъ розенкрейцеровъ. Говорилъ же онъ лѣтливо, медленно, раздѣльно, точно разговаривалъ съ малымъ ребенкомъ.

Вотъ что сказала профессору Гюнгману мудрый Картезий:

.....

«Объединеніе лучшихъ людей для побѣдной борьбы со зломъ? Да, это великое дѣло, величайшее изъ всѣхъ дѣлъ. Но нужно заранѣе обо всемъ договориться. Что есть зло? Можно ли съ нимъ бороться? Есть ли хоть малая надежда на побѣду? Какое объединеніе людей должно способствовать побѣдѣ?

Вы отвѣчаете: всякій знаетъ, что такое зло. — Это неизвѣстно дикарямъ. Твердо это знаютъ люди, переставшіе быть дикарями. Но тѣхъ изъ нихъ, что умудрены жизнью, снова тревожить сомнѣнье. Васъ потрясло: какой ничтожный человѣкъ убилъ великаго Валленштейна! Въ этомъ лишь одна сторона истины. Многимъ ли отличался герцогъ Фридрихъ отъ своего убійцы? Пораженіе наше воображеніе: темная ночь, потайная лѣстница въ замкъ, окровавленный трупъ человѣка, долго наполнявшего міръ шумомъ своего имени, блескомъ титула и богатствъ. Поройтесь же въ жизни Валленштейна, — сколько человѣкъ было разстрѣляно или повѣшено по его приказу? За преступленія? Чаще всего за то, что они называютъ дезертирствомъ, — за неповиновеніе насилію ихъ набора или, быть можетъ, за нежеланіе убивать лютеранъ. Но людей этихъ казнили безшумно, и не было ничего въ ихъ судьбѣ, что могло бы встревожить неразумно-восприимчивую душу поэта.

Не спрашиваю васъ, за какую правду боролся погибшій герцогъ. Моря крови пролиты подобными ему людьми для славы, для власти или просто для удовольствія. Въ этомъ Валленштейнъ не отличался отъ другихъ владыкъ міра. И будетъ доля истины, если я скажу: ничтожный Деверу убилъ Деверу покрупнѣе, — это все. Воображеніе, опаснѣйшее изъ человѣческихъ свойствъ, выдѣлило одно убійство изъ множества повседневныхъ зло-

дѣяній, съ которыми нечего дѣлать трупѣ бродячихъ скормороховъ.

Не говорите мнѣ о добрыхъ дѣлахъ Валленштейна: вы не знаете добрыхъ дѣлъ Деверу. Не всегда онъ насилывалъ женщинъ, не всегда рѣзалъ стариковъ и, вѣрно, не даромъ полюбила его племянница убитаго имъ челоуѣка. Увѣрены ли вы, что ни разу въ жизни Деверу не накормилъ голоднаго, не подарилъ игрушки ребенку, не плакалъ ночью, вспоминая свою грѣшную жизнь? Богатство же герцога Фридландскаго позволяло ему всѣ виды роскоши, въ томъ числѣ и роскошь душевную.

Однако я не отрицаю: есть доля правды и въ вашихъ словахъ о немъ. Что-то выдѣляло Валленштейна изъ немалой толпы ему подобныхъ. Порою дѣлалъ онъ то самое, что дѣлалъ графъ Тзеркласъ Тилли, — безъ этого не былъ бы возвеличенъ людьми, — но на Тилли онъ все же не походилъ, и нѣтъ въ числѣ его подвиговъ Магдебурга. Въ пору мысли лѣнивой и стадной, окруженный людьми, не имѣвшими никогда обычной размышлять, герцогъ Фридландскій думалъ по своему, тронутый тѣмъ же сомнѣнемъ, въ которомъ и мы видимъ главную особенность нашего дѣла. Валленштейнъ былъ игрокъ и жизнь свою проигралъ въ кости. Погибъ онъ, повидимому, потому, что не хотѣлъ вѣрить въ случай; въ звѣздахъ онъ искалъ закона для того, въ чемъ законы нѣтъ и быть не могутъ. И такъ ли ужъ само по себѣ малоцѣнно впечатлѣнне, произведенное имъ на души людей? Вотъ передо мной не юноша — немолодой, пожившій, занимающійся наукой челоуѣкъ умиляется надъ участью герцога Фридландскаго. Что-жъ, есть своя правда у поэтовъ и скормороховъ: пусть до конца время и занимаются они Валленштейномъ, какъ занимались Цезаремъ, Аннибаломъ, Александромъ, усердно истреблявшими ихъ предковъ.

Нѣтъ, нѣ ясно и не безспорно, что такое зло. Предвижу ваше возраженне. Тайное братство лучшихъ людей, о которомъ вы говорите, просвѣтитъ мнръ новой, безкров-

ной, разумной правдой, — въ мірѣ вашемъ отличіе добра и зла никакихъ сомнѣній вызывать не будетъ. Пусть такъ! Но для установленія вашего міра не понадобятся ли долгія столѣтія, исполненная зла, подобнаго которому не сохранила человѣческая память? Съ легкимъ, очень легкимъ сердцемъ принимаетъ на себя за это отвѣтственность братство лучшихъ людей. Не скрою отъ васъ: въ трудныхъ человѣческихъ дѣлахъ я побаиваюсь въ всякой новой правды. Но та правда, которая при первомъ своемъ появленіи выражаетъ намѣреніе осчастливить міръ, внушаетъ мнѣ смертельный, непреодолимый ужасъ. Палачей всегда приводили за собой пророки. Ибо всѣ они были и лжепророками — для значительной части людей.

Вы хотите передѣлать Деверу? Въ самомъ дѣлѣ это главная наша задача. Но подумайте о томъ, какъ ее рѣшить, и не говорите, что рѣшите ее скоро. Деверу ходилъ когда-то въ звѣриной шкурѣ, теперь ходитъ въ латахъ, — каковъ будетъ его слѣдующій нарядъ? За три тысячи лѣтъ онъ не очень измѣнился, — ведите же на тысячелѣтъ счетъ и вы, надѣющіеся на измѣненіе нашего душевнаго состава. Говорю «нашего»: ибо и во мнѣ, и въ васъ, повѣрьте, сидитъ Деверу.

Борьба со зломъ! Не будемъ заблуждаться: зло, творимое человѣческими руками, лишъ песчинка въ общемъ злѣ міра. Пусть Деверу палачъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и жертва: Деверу умереть, какъ умеръ Валленштейнъ. Чего стоятъ его преступленія, чего стоятъ звѣрства всѣхъ историческихъ преступниковъ взятыхъ вмѣстѣ по сравненію съ нашимъ общимъ основнымъ несчастьемъ! Вы отвѣчаете на это: элексиръ вѣчной жизни. И я еще недавно надѣялся, что проживу пятьсотъ лѣтъ. Но для научныхъ поисковъ не нужно входить ни въ какое братство. Теперь я больше этого не ищу. Вотъ лучъ солнца отражается въ водѣ моего ключа. Мнѣ известны законы его отраженія. Черезъ тысячу лѣтъ любой школьникъ будетъ знать въ тысячу разъ больше меня. Міръ же станетъ тогда

еще непонятнѣе, — даже если не спрашивать, зачѣмъ онъ существуетъ. Немного поняли мы въ мірѣ до сихъ поръ и немного поймемъ еще. Чѣмъ больше будемъ знать, тѣмъ понятнѣе все будетъ глауцамъ, тѣмъ непонятнѣе умнымъ и тѣмъ тяжелѣе. Быть можетъ, мы и откроемъ эликсиръ вѣчной жизни. Но нѣкоторымъ изъ насъ тогда придется искать отъ него противоядія. Этихъ признаемъ вольноотпущенниками смерти.

Вы со мной не согласны. Это естественно: никому въ мірѣ не по пути ни съ кѣмъ, нѣтъ дорогъ совершенно параллельныхъ. Ограничьте же задачу и уставъ общества, которое вы хотите создать, или не зовите меня въ это общество. Говорю безъ гордыни и безъ пасмѣшки. Никто изъ жившихъ до меня людей не вѣрилъ крѣпче, чѣмъ я, въ мощь и въ права разума. Я не отказываюсь и сейчасъ отъ этой вѣры, но фанатикомъ разума я не буду.

Кто посмѣетъ смотрѣть свысока на великаго Галилея? Миѣ ли не сожалѣть объ его участи: мысли его и мои мысли. Но то, что онъ сказалъ, онъ сказалъ либо слишкомъ рано, либо слишкомъ шумно. Осудившіе его люди невѣжды передъ нимъ въ наукѣ о звѣздахъ. Но онъ передъ ними невѣжда — въ наукѣ о людяхъ.

Земля вращается вокругъ солнца, это важно. Но еще гораздо важнѣе то, что вращается она очень скверно. Какъ бы въ концѣ концовъ не вращалась вокругъ солнца одна грязная кровавая лужа! И Галилею, и миѣ пріятно разгадывать безчисленныя тайны звѣздъ. Однако, если, вслѣдствіе разгаданныхъ нами тайнъ, Деверу ворвется сюда въ садъ, перерѣжетъ миѣ горло и швырнетъ мой трупъ въ этотъ ключъ, я признаю свою жизнь не слишкомъ удачной. Что-жъ дѣлать: вдругъ, благодаря открытіямъ Галилея, окончательно рехнется Деверу?

Почему рехнется? Эта связь не обязательна, но вполне возможна. Скажемъ правду: Галилей подкопался не только подъ ученье Птолемея. Его преемники отберутъ у Деверу главное и не дадутъ ему взаменъ ничего. Вы не-

годуете? Нѣтъ, я не предлагаю прекратить изученіе тайнъ вселенной. Знаю, что на каждую разгаданную тайну появляется десять неразгаданныхъ. Но слишкомъ велики эта радость, это счастье, чтобы мы съ Галилеемъ могли отъ нихъ отказаться! Отрицать же я не могу: Деверу безъ нашихъ открытій обошелся бы, какъ и они обходятся безъ него. Галилей имъ интересовался чрезмѣрно.

.....

Я сердечно благодаренъ каждому человѣку, который не собирается меня зарѣзать. Деверу не исключеніе, а правило. Въ насъ живутъ черныя души нашихъ предковъ. Силь, хоть немного обуздывающихъ Деверу, хватить на вѣка, но ихъ не хватить на тысячелѣтья. О нѣтъ, я говорю не о кострахъ и не о карахъ! Мудрость, правда, предписываетъ обращаться къ худшимъ побужденіямъ человѣка. Однако это отнюдь не значитъ, что у него нѣтъ побужденій лучшихъ. Повѣрьте, и у Деверу есть высшая правда. На нее посягать мнѣ запрещаетъ совѣсть. И если придется сдѣлать выборъ, я скажу: пусть лучше солнце и дальше вращается вокругъ земли...

.....

...Милліоны людей живутъ въ той вѣрѣ, въ которой, по волѣ случая, родились, и считаютъ ее единственной истинной вѣрой. Быть можетъ, это не дѣлаетъ чести ихъ уму; это дѣлаетъ большую честь ихъ сердцу. Вы хотите создать новую религію. Какъ республиканцы въ политикѣ, вы въ области неизмѣримо болѣе трудной желаете замѣнить наслѣдственное начало выборнымъ. Знайте же твердо: вы начинаете великую вѣковую войну, по сравненію съ которой покажутся безкровными войны, вызванныя пугливой крошечной реформой Лютера. У крови съ мыслью нѣтъ общаго мѣрила, поэтому и спорить здѣсь не приходится. Я примкнулъ бы къ вамъ, если бъ вы по времени были первые. Я примкнулъ бы къ вамъ, если бъ

за вѣрой вашей было триста лѣтъ жизни. Такъ какъ ихъ у васъ нѣтъ, разрѣшите мнѣ держаться вѣры моего короля. Передѣлывать мѣръ наскоро у меня нѣтъ охоты, — ве люблю спѣшной работы.

О, тяжелы, тяжелы великія, вѣками неподвижныя тѣла! Грузно и страшно ихъ внезапное паденье! Знаю, что Галилей, его преемники, и ваше братство создаютъ мощный таранъ. Чувствую, что и съ моимъ именемъ будутъ связывать начинающуюся у нашихъ глазахъ борьбу. Между тѣмъ, я не хотѣлъ ея, я считалъ ее гибельной, я предостерегалъ гонителей вашихъ, какъ предостерегаю васъ. Не скрывайте же хоть отъ себя: для борьбы, только для борьбы и создается ваше братство. Но подкапываясь подъ чужую вѣру, вы подкапываетесь и подъ вашу собственную: Деверу долго разбирать не станетъ. Борьба эта самоубійственная для обѣихъ сторонъ, — для васъ, быть можетъ, больше чѣмъ для вашихъ противниковъ, и не потому, что во всемъ, отъ возраста до размѣра и увѣренности обѣщаній, они имѣютъ преимущество передъ вами: нѣтъ, и сдержавъ полную побѣду, на стотысячномъ по счету преемникѣ Галилея вы погибнете отъ равнодушія и скуки.

.....

Мнѣ не по пути ни съ вами, ни съ вашими ненавистниками. Вы спрашиваете о выходѣ. Онъ былъ бы для руководителей міра въ единеніи честныхъ людей всѣхъ вѣрованій, въ прочномъ, искреннемъ союзѣ для работы, которой всѣмъ хватитъ надолго: для вѣковой работы надъ медленнымъ, очень медленнымъ улучшеніемъ черной природы Деверу. Союзъ предполагаетъ взаимныя уступки, онъ допускаетъ для каждой стороны возможность держать кое-что про себя, онъ ставитъ обязанность бороться и съ застоємъ, и съ разрушеніемъ. Истинный, чуждый фанатизма, разумъ разрушаетъ мало и неохотно, твердо знаа, что имѣетъ возможность разрушить рѣшительно все.

Но, разумѣется, я себя не обольщаю: это иллюзія, чистая иллюзія. Въ вопросѣ же о каждомъ изъ насъ въ отдельности общаго рѣшенія нѣтъ. Мой выходъ вы видите: вотъ передъ вами ключъ. Кто можетъ, долженъ спастись бѣгствомъ на высоты, подальше отъ Деверу и даже отъ Газенфуслейна. *Vene vixit bene qui latuit*. Предлагаю свой выходъ и вамъ: вспомните, что вы еще не рѣшили вопроса о полѣ нѣкоторыхъ звѣздъ.

Вижу, что этотъ выходъ вамъ не нравится. Вы нашли свою опасную игрушку: грозный братскій таранъ для разрушенія того, что разрушать не надо. Вамъ скученъ мой совѣтъ, и тишина высотъ не прельщаетъ васъ. Я сожалею объ этомъ. Въ пещерѣ пророкъ Илья услышалъ голосъ, призывавшій его взглянуть на лицо Господне. И была буря, раздирающая горы и скалы, но не въ бурѣ былъ Господь. Потомъ было землетрясеніе, но не въ землетрясеніи былъ Господь. Послѣ землетрясенія былъ огонь, но не въ огнѣ былъ Господь. А затѣмъ услышалъ Илья вѣяніе тихаго вѣтра. И въ вѣяніи тихаго вѣтра былъ Господь! Только тогда Илья закрылъ лицо плащемъ своимъ и вышелъ, наконецъ, изъ пещеры»...

XXXIV.

.....

Огонекъ злоѣще дрожалъ, надвигаясь все ближе. По этому огоньку ориентировался аэропланъ съ шведскимъ флагомъ, летѣвшій на очень большой высотѣ. Всѣмъ хотѣлось, чтобы онъ тутъ же уналь и разбился. Особенно этого хотѣлось чловѣку во френчѣ, въ высокихъ желтыхъ сапогахъ. «Гуть, гуть», — сказалъ онъ и Федосьевъ отвѣтилъ «Ja wohl». Изъ аэроплана вышелъ Бергеръ, онъ же мосье Берже, управляющій гостиницы «Паласъ», и сообщилъ: «Одинъ персонъ желайтъ»... Рядомъ съ нимъ

былъ невысокій, толстый, желтозубый человѣкъ. Дарья Петрова выбѣжала навстрѣчу, подала ключъ и сказала съ почтительной улыбкой, что дѣвушки были, да ничего, придуть опять. Слѣдователь Яценко сердился, а Федосьевъ, напротивъ, былъ очень доволенъ. Огонекъ рѣзалъ глазъ все непріятнѣе. Толстый человѣкъ говорилъ входящимъ дѣвушкамъ «будемъ знакомы», весело смѣялся и объяснялъ, что терпѣть не можетъ музыки — «непріятный шумъ», — однако, если дѣвушки любятъ, то пусть механическое піанино играетъ, но веселенькое, — а это дрянъ, и только русскіе купцы любятъ за шампанскимъ душещипательную музыку, — но впрочемъ ему все равно, а вотъ средствице пора принять. Всѣ тоже очень смѣялись, и толстый человѣкъ сказалъ, что старость не радость, за веселую жизнь надо платить... Платить же надо по очень простой формулѣ... Шопенъ послѣ взятія Варшавы называлъ Бога москалемъ. Федосьевъ же въ своей пещерѣ разсердился и написалъ злое письмо, на которое надо такъ же отвѣтить... Въ формулѣ этой одна молекула кислоты приходится на двѣ ...на двѣ молекулы Кали. Какой же атомный вѣсъ калия? Но сначала надо отправить «Ключъ»... Онъ брошенъ въ Зимнюю Канавку... Тамъ страница о богинѣ Кали, покровительницѣ кладбищъ, и Муся Клервилль будетъ читать. Она хочетъ сыграть эту самую сонату, гдѣ все: и та грязь, и кладбища, и калий... Атомный вѣсъ его 39,04... Огонь нестерпимо разросся, сталъ жечь... — И вдругъ случилось непостижимое: одинъ міръ, за секунду до того ясный, логическій, связанный, сталъ совершенной нелѣпостью, появился другой, мучительный и тоскливый, — тотъ, изъ котораго нужно уходить...

Надъ изголовьемъ постели горѣла лампа, Браунъ, засыпая, забылъ потушить ее. Онъ весь трясся мелкой дрожью, стараясь вспомнить, что ему снилось. Сѣлъ, надѣлъ туфли, вышелъ въ лабораторію, — въ вытяжномъ шкапу были приготовлены и банка съ ціанистымъ кали-

емь, и колба, и дважды пробуровленная пробка съ воронкой, съ хорошо оплавленной отводной трубкой. Вернувшись въ спальную, онъ снова легъ, хотъ зная, что больше не заснетъ, — принятая наканунѣ огромная доза снотворнаго дала все, что могла дать: нѣсколько часовъ безпокойныхъ глупыхъ видѣній. «Кажется, это Гамлетъ боится, что тамъ будутъ сны. Надо бы сказать обратно: оттого и страшно, что тамъ ничего не будетъ, даже идиотскихъ сновъ... Во всякомъ случаѣ, въ послѣдній разъ спалъ въ этой жизни»...

За окномъ было темно. Съ кровати, за садомъ, надъ крышей выходящаго на улицу дома, была видна одинокая звѣзда. Трудно было сказать, какое время: вечеръ, глубокая ночь, предразсвѣтныя часы? И долго еще Браунъ лежалъ въ постели, вздрагивая подъ теплымъ одѣяломъ, въ тысячный разъ думая все о томъ же. Разсужденіе было неопровержимое. Случился ударъ, настоящий ударъ, — нѣсколько раньше, чѣмъ бываетъ обычно, — но вѣдь и жилъ на своемъ вѣку больше, чѣмъ живетъ большинство людей. «Да, за это надо платить, — но и за умственную работу также: одна плата и за то, и за другое! Былъ первый ударъ: тотъ врачъ — менѣ невѣжественный, чѣмъ другіе, — такъ, не стѣснясь, и сказалъ: первый ударъ. Потомъ будетъ второй ударъ, — все какъ полагается: полудиотизмъ, идиотизмъ, смерть...

Съ этимъ спорить не приходилось, но разсужденіе все натыкалось на одно и то же: «Правильно, однако отчего именно сегодня?» — «И завтра будетъ то же самое». — «Да, но можно еще подождать». — «Ждалъ, ждалъ, пора и перестать. До вчерашняго дня было оправданіе: «Ключъ». Теперь книга кончена, рукопись сегодня будетъ отослана». — «Можно бы подождать выхода». — «А потомъ можно будетъ подождать откликовъ... А вотъ, онъ, второй, не ждетъ... Да и не это одно, и не въ этомъ, быть можетъ, главное. Да, совпаденіе во времени, своего

рода предустановленная гармонія: душа износилась одновременно съ тѣломъ: износилось дряхлое тѣло, — человекъ умираетъ; износилась дряхлая душа, — человекъ кончается съ собой. Достойнѣе было бы, если-бъ было только послѣднее, — а то выходитъ: *faire de nécessité vertu*... Другіе убиваютъ себя изъ-за любви, изъ-за разоренія, отъ угрызений совѣсти, отъ позора или «въ состояніи аффекта». У меня ничего этого нѣтъ: если-бъ не ударъ, было бы самоубійство въ чистомъ видѣ, можно было бы взять идейный патентъ»... Онъ сердито усмѣхнулся и взглянулъ на часы. Къ удивленію своему увидѣлъ, что уже половина девятаго. На дворѣ стоялъ холодный туманъ. «И отлично: въ такую погоду и уходитъ всего лучше... Да, да, вольноотпущенникъ смерти»...

Радуюсь собственному равнодушію, онъ брился, купался, одѣвался: не было никакой причины не дѣлать того, что полагалось дѣлать утромъ. Затѣмъ позвонилъ. Хорошенькая горничная — не та, которую видѣлъ Витя, а новая — принесла чай: не было никакой причины не пить чаю. Горничная сообщила, что съ утра очень холодно: она, пожалуй, предпочла бы, ужъ если мосье такъ любезенъ, поѣхать въ Медонъ, къ своимъ, въ другой разъ. — «Нѣтъ, въ другой разъ мнѣ будетъ трудно отпустить васъ», — отвѣтилъ Браунъ, — «вѣдь я сказалъ вамъ, что самъ уѣзжаю»... — «Прошу мосье меня извинить: мосье мнѣ не говорилъ, что уѣзжаетъ». — «Я не сказалъ? Значить, я забылъ. Да, я уѣзжаю до четверга». — «Тогда я, конечно, поѣду сегодня. Но, значить, надо уложить вещи мосье?» — «Нѣтъ, не надо, я самъ все сдѣлаю. Вы только оставьте у консьержки вашъ адресъ, на всякій случай». — «Разумѣется. И если мосье будетъ что нужно спѣшно, то можно позвонить по телефону къ бистро, рядомъ съ домомъ моей матери, насъ всегда оттуда вызываютъ, это стоитъ только пять су»... — «Отлично, отлично, благодарю васъ»... — «Я оставлю мосье номеръ телефона бистро»... — «Лучше и номеръ оставьте у консьерж-

ки». — «Пусть только она позвонитъ, и я черезъ два часа буду здѣсь, если не раньше... Мосье хотѣлъ дать мнѣ денегъ». — «Да, денегъ, я хотѣлъ вамъ заплатить за два мѣсяца впередъ». — «Мнѣ столько не нужно: у мосье деньги будутъ вѣрнѣе, чѣмъ у меня», — сказала съ улыбкой горничная, поглядывая на него изподлобья. — «Но я уже приготовилъ для васъ, не надо ничего мѣнять». Горничная поблагодарила и взяла деньги, соображая, что по дорогѣ зайдетъ въ сберегательную кассу: все-таки за два мѣсяца это можетъ составить тридцать или даже сорокъ су. — «Не надо ничего мѣнять», — повторилъ Браунъ. Она взглянула на него съ легкимъ удивленіемъ (позднѣе всѣмъ рассказывала, что сразу замѣтила неладное: мосье въ это утро былъ совсѣмъ не такой, какъ всегда).

Когда выходная дверь за горничной захлопнулась, Браунъ перешелъ въ кабинетъ, сѣлъ въ кресло и выдвинулъ изъ письменнаго стола ящикъ. Еще съ вечера назначилъ: сжечь бумаги, — хотъ въ этомъ собственно надобности не было. Въ среднемъ ящикѣ, кромѣ бумагъ, оказались револьверъ, коробка съ патронами, кусочекъ сургуча, посеребренная ручка для пера съ концомъ въ видѣ разръзнаго ножа. И долго онъ смотрѣлъ на перо и все не могъ вспомнить, гдѣ приобрѣлъ эту дешевенькую вещьцу и почему хранилъ ее въ ящикѣ. На неровно оплавившемся концѣ сургуча повисла бородка. Браунъ зажегъ спичку, поднесъ къ ней сургучъ. Бородка растопилась, чернѣя зажглась и, съ дымомъ, горящей каплей упала на кожу стола. Спичка обожгла пальцы. Браунъ вздрогнулъ, потушилъ огонь, и что-то далекое, радостное, оставшееся отъ дѣтскихъ лѣтъ, напомнилъ ему запахъ сургуча. «Жаль уходить... Душа изнасилась, все такъ, но еще пожилъ бы... Ахъ, какъ жаль!»

Затѣмъ онъ пододвинулъ кресло къ камину и принялся бросать въ огонь одну связку бумагъ за другой. Подумавъ со слабой улыбкой, что въ дѣйствии этомъ есть что-то старомодное, Тургеневское: «передъ смертью онъ

сжегъ письма женщинъ». Въ ящикъ дѣйствительно были и письма женщинъ, и счета, и квитанціи, и рукописи научныхъ работъ. Онъ все сжегъ съ одинаковымъ равнодушіемъ.

До отхода поѣзда оставалось еще почти два часа. Но дѣлать больше было нечего: вся программа на утро была выполнена. «Да, адресъ монастыря», — вспомнилъ онъ и разыскалъ письмо Федосьева. Оно лежало не въ ящикѣ, а въ деревянной коробкѣ на столѣ. Съ досадой замѣтилъ, что забылъ объ этихъ, послѣднихъ по времени, письмахъ. Браунъ записалъ: *vue d'Auge*. Раздраженіе поднялось въ немъ снова. «Вотъ ужъ именно, *l'habit ne fait pas le moine*: не вытравилъ въ себѣ ни политическаго дѣятеля, ни даже сыщика. И какъ все глупо! Пожалуй, не стоитъ и ѣхать. Ну, да какъ было рѣшено, все равно, не надо ничего мѣнять»... Онъ бросилъ въ каминъ и письма изъ деревянной коробки.

Быстро пробѣжалъ послѣднюю главу новеллы. Положилъ одинъ экземпляръ въ карманъ, другой добавилъ къ папкѣ, на которой было написано «Ключъ». Аккуратно запечаталъ папку въ огромный толстый конвертъ, надписалъ адресъ, заполнилъ желтую квитанцію заказного письма и нѣсколько минутъ внимательно, съ удовольствіемъ, слѣдилъ за тѣмъ, какъ высыхаютъ на конвертѣ чернила. «Теперь, кажется, все? Развѣ «Федона» почитать?..»

У книжныхъ полокъ онъ стоялъ долго, позабывъ, что ему было нужно. «Съ книгами связано много радости, много гордости за свою породу, благодарю, благодарю отъ всей души... Вотъ скоро присоединится и «Ключъ». Сколько будетъ жить? Двадцать, тридцать лѣтъ? Здѣсь многія проживутъ меньше. Тѣ, что выдержали столѣтье, наперечеть. Наберется и десятокъ тысячелѣтнихъ. Но и имъ скоро конецъ, темпъ все ускоряется, надвигается такое наводненіе книгъ, такая лавина печатной бумаги, что самая громкая литературная слава станетъ чистой фикціей: дай Богъ запомнить одни имена, гдѣ ужъ тутъ бу-

деть читать! Это, вѣрно, не помѣшаетъ умнымъ людямъ будущихъ вѣковъ такъ же тратить всю жизнь на писанье, какъ дѣлали многіе изъ насъ»... Вспомнилъ, что ему нуженъ былъ Платонъ, разыскалъ томики, но «Федона» среди нихъ не оказалось. «Досадно. Такъ и не буду до вечера знать, есть ли безсмертіе», — подумалъ онъ, самъ удивляясь странному тону своихъ чувствъ: точно все онъ спорилъ съ какими-то воображаемыми обманщиками, — изъ тона этого больше не могъ выйти. Взглянулъ опять на часы: рано. «Да, такъ какъ же безсмертіе? Развѣ въ энциклопедическомъ словарѣ спѣшно навести справку»... Браунъ въ самомъ дѣлѣ взялъ томъ словаря и вернулся къ столу. Дрожь опять у него усилилась. «Безпомѣстные дворяне»... «Безсиліе половое — см. Анафродизія»... «Безсмертіе» — вотъ, вотъ, оно самое. «Безсмертіе, т. е. существованіе человѣческой личности, въ какой бы то ни было формѣ, и за гробомъ — представленіе весьма распространенное и встрѣчающееся на всѣхъ ступеняхъ человѣческой культуры, хотя»... Нѣтъ, я тебя спрашиваю не объ этомъ». Онъ заглянулъ въ конецъ статьи. «При современномъ состояніи науки слѣдуетъ признать, что если до сихъ поръ и нѣтъ прямого философски-обоснованнаго доказательства въ пользу идеи безсмертія, то съ другой стороны нельзя также подыскать такого доказательства противъ нея»... Да, это очень цѣнный выводъ!» Вдругъ у него подступили къ горлу рыданья. «Позоръ, позоръ», — сказала онъ вслухъ, стараясь сохранить тонъ бесѣды съ обманщиками. Браунъ поставилъ на мѣсто томъ словаря, заглянулъ въ лабораторію, вынулъ изъ шкапа банку съ бѣлыми кристаллами, посмотрѣлъ на нее у окна. «Богиня Кали, богиня Кали, какъ глупо», — пробормоталъ онъ. Затѣмъ онъ надѣлъ пальто и вышелъ.

XXXV.

Носильщикъ подбѣжалъ къ автомобилю и отошелъ разочарованно, увидѣвъ, что никакого багажа нѣтъ. Бра-

унь разыскалъ кассу. У окошка онъ не сразу вспомнилъ, куда именно ѣдетъ. Кассиръ смотрѣлъ на него съ нетерпениемъ. — «Какого класса?» — спросилъ онъ, услышавъ, наконецъ, название города. — «Перваго», — сказалъ разсѣянно Браунъ. — «Прямой или обратный?» — «Обратный, пожалуйста»... Браунъ остановился у кіоска, купилъ газету, направился къ перрону, все точно вспоминая, какъ путешествуютъ люди.

На указанномъ ему пути уже стоялъ роскошный коротенькій поѣздъ. Слышалась англійская рѣчь. У перваго вагона провожали какое-то важное лицо. Группа людей столпилась вокругъ высокаго господина въ необыкновенной дорожной шапочкѣ и въ превосходномъ новенькомъ пальто. Господинъ что-то говорилъ двумъ журналистамъ, почтительно записывавшимъ его слова въ книжечку. «Жэ не рэвьендрэ па? Пуркуа жэ не рэвьендрэ па? Жэ рэвьендрэ», — сказалъ господинъ. Браунъ прошелъ дальше. Вдругъ сзади его окликнулъ голосъ.

— Профессоръ! Александръ Михайловичъ, мое почтение.

Браунъ оглянулся. Къ нему подходилъ Нещеретовъ. Они поздоровались.

— Куда изволите ѣхать? Тоже въ Америку.

— Нѣтъ. Вы въ Америку?

— Не я. Мой хозяинъ.

Господинъ въ необыкновенной шапочкѣ перевелъ съ журналистовъ глаза на Брауна, приятно улыбнулся и отдѣлился отъ провожавшихъ его людей. «Я сейчасъ вернусь», — бросилъ онъ журналистамъ внушительнымъ тономъ, какъ бы запрещаая имъ уходить до его возвращения. — «Oui, maître», — сказалъ журналистъ, пряча книжечку и дую на руки отъ холода.

— Вы знакомы? — спросилъ Нещеретовъ.

— Какъ же, мы встрѣчались въ Питерѣ, — небрежно отвѣтилъ Альфредъ Исаевичъ. — Вы въ Америку, профессоръ?

— Нѣтъ.

— Жаль. Надѣялся на пріятнаго попутчика. А я на «Атлантикъ» и прямо въ Нью-Йоркъ.

Разговоръ продолжался двѣ минуты, но донъ-Педро успѣлъ сказать, что его вызвали въ Соединенные Штаты по телеграфу, что онъ едва получилъ порядочную каюту на «Атлантикъ», да, пожалуй, и не получилъ бы, если-бъ американскій посолъ не былъ такъ любезенъ и не позволилъ лично въ контору общества.

— Вы его не знаете? Это мой большой другъ, милѣйшій и любезнѣйшій человекъ. Если вамъ къ нему что нужно, распорядитесь мной, профессоръ, — съ чувствомъ сказалъ донъ-Педро.

— Благодарю васъ.

— Вы понимаете, что я могъ бы обойтись и безъ кабинъ-де-люксъ на «Атлантикъ», но американскимъ репортерамъ показаться иначе, — сейчасъ же потеряютъ уваженіе. Вы, быть можетъ, спросите, зачѣмъ намъ съ вами уваженіе американскихъ репортеровъ, — смѣясь, добавилъ Альфредъ Исаевичъ, — мнѣ изъ него дѣйствительно не шубу шить. Но надо было считаться съ интересами дѣла, вѣдь дѣло многомилліонное... Вы, вѣрно, уже слышали? Я свожу Францію съ Соединенными Штатами.

— Альфредъ Исаевичъ затѣялъ суперъ-фильмъ, — пояснилъ Нещеретовъ.

— Дѣ... — Донъ-Педро теперь какъ-то особенно произносилъ слово «да». — Суперъ не суперъ, а фильмъ будетъ не изъ послѣднихъ. Я, видите ли, профессоръ, рѣшилъ всецѣло посвятить себя этому дѣлу. Надо, надо очистить кинематографъ отъ пошлятины, теперь надо больше, чѣмъ когда бы то ни было: имно онъ и создастъ то взаимное пониманіе между народами, о которомъ мечтаетъ Америка. Онъ же и пріобщитъ къ культурѣ сотни милліоновъ людей, — произнесъ съ силой Альфредъ Исаевичъ и подумалъ, что это надо сказать журналистамъ. Носильщикъ, странно вывернувъ назадъ руки,

подкатилъ тельжку съ великолѣпными чемоданами. За нимъ бѣжалъ, съ видомъ необычайно озабоченнымъ и значительнымъ, молодой человѣкъ тоже въ повенкомъ и удивительномъ пальто. — Сдашь большой багажъ? — спросилъ донъ-Педро. — Это мой секретарь, дальній мой родственникъ, юноша выдающихся способностей, хочу сдѣлать изъ него человѣка въ нашей бригадѣ, — сообщилъ онъ Брауну и простился. — Очень буду радъ поболтать съ вами въ поѣздѣ, профессоръ. Можетъ, вмѣстѣ позавтракаемъ въ вагонъ-ресторанъ? А теперь покоя нѣтъ отъ журналистовъ, даже на вокзалѣ меня преслѣдуютъ! Дѣ... Месье, кеске ву вуле анкоръ савуаръ? Дэмандэ, дэмандэ.

— Vos projets, maître, — сказала журналистъ, снова вынимая книжечку.

— Вуаля. Жэ вэ ву раконтэ...

— Переѣздъ-то каковъ будетъ при этой милой погодкѣ, — сказалъ Пещеретовъ. — Вдругъ потонетъ, и ни тебѣ гения, ни тебѣ суперфильма?

— А вы не ѣдете? — повторилъ свой вопросъ Браунъ.

— Нѣтъ, мнѣ куда ужъ! Провожая хозяина, — отвѣтилъ Аркадій Николаевичъ, подчеркивая послѣднее слово съ явнымъ самобичеваніемъ. — Подучаетъ тридцать тысячъ долларовъ и танъему, — добавилъ онъ вполголоса съ насмѣшливой улыбкой, относившейся не то къ малому, не то къ большому размѣру платы: тридцать тысячъ долларовъ составляли для Пещеретова прежде совершенно ничтожную цифру, а теперь чуть ли не богатство. — Главное, впрочемъ, танъема. Порядочную можетъ заработать деньгу. — Ну, прощайте, профессоръ, хозяинъ ждать не долженъ.

Онъ послѣшно отошелъ, подавляя вдругъ поднявшуюся въ немъ злобу: ему хотѣлось на прощанье сказать хозяину, что онъ, Альредъ Исаевичъ, никакой не гений, а мелкій невѣжественный, влюбленный въ себя репортеръ, что его суперфильмъ дрянъ и что американскій по-

соль не знает даже его фамилии. Но сказать это было невозможно. «Не то, не то», — говорилъ себѣ Нещеретовъ, стараясь успокоиться: онъ зналъ, что въ такихъ чувствахъ къ людямъ ничего, кромѣ муки, не было; относительное спокойствіе было въ чувствахъ прямо противоположныхъ, хоть и они успокаивали не всегда и ненадолго.

XXXVI.

Несмотря на ранній часъ, уже горѣли фонари. Длинная скучная улица шла съ легкимъ уклономъ вверхъ. По сторонамъ одинаковые ветхіе трехэтажные дома съ кудыми, бѣдными, тускло освѣщенными лавками. Браунъ разсѣянно вглядывался въ вывѣски. «Comité d'action artisanale de Salvados»... Это, вѣроятно, товарищи... Вотъ и маленькое утѣшеніе: о товарищахъ больше ничего никогда не буду слышать. «Joubert, cordonnier»... «Épicerie Savagu»... Та ли еще улица? Да, rue d'Auge»... Ему сначала показалось страннымъ, что монастырь выстроенъ въ столь сѣромъ, не-поэтическомъ, безотрадномъ мѣстѣ. «А впрочемъ, такъ и должно быть: если въ душѣ ничего нѣтъ, то не поможетъ и «берегъ живописнаго озера»... А кто въ самомъ дѣлѣ ищетъ уединенія, благочестія, «созерцательной жизни», тому внѣшняя поэзія не нужна. Чѣмъ будничнѣе, тѣмъ, должно быть, и лучше: ты здѣсь по-созерцай, по-сосѣдству съ кальвадосскими товарищами»... И такъ странно, неестественно ему показалось, что Сергій Федосьевъ оказался въ монастырѣ, въ маленькомъ нормандскомъ городѣ, что, быть можетъ, здѣсь пройдутъ его послѣдніе годы... Впереди, высоко, горѣлъ огонекъ. Браунъ долго шелъ, разсѣянно на него глядя. Вдругъ онъ остановился пораженный, вспомнивъ свой сонъ. «Это огонь монастыря? Нѣтъ, просто фонарь»... Огонекъ горѣлъ какъ будто посрединѣ мостовой, вспыхивая дрожащей звѣздочкой. «Все вздоръ», — сказалъ себѣ Браунъ, — «самый обыкновенный фонарь»... Пошелъ дальше, стараясь туда

не смотрѣть; но изрѣдка, вопреки своей волѣ, все-же бросаль взглядъ вверхъ: огонекъ, приближаясь, становился ярче. «Все вздоръ... Да, жалкая, убогая улица... Очень холодно», — вздрагивая, думаль онъ — «Да, не стоило прѣзжать... Послѣ разговора я зайду въ кофейню, надо выпить грога: тоже въ послѣдній разъ... Съ нимъ мы пили коньякъ въ Паласѣ»... Тогда онъ серьезно вѣрилъ, что я партійный революціонеръ: деньги Фишера пошли бы Каровой, она отдала бы большевикамъ. По своему, эта ерунда была тогда недурно задумана. Федосьевъ былъ слишкомъ поэтической человѣкъ для своей должности, художественная натура въ полици. Что-жъ, и это возможно, въ видѣ исключенія изъ правила несомѣстности: вотъ какъ женщина, какая-нибудь принцесса, можетъ быть шефомъ полка и носить военный мундиръ... Мой изомеръ? И я для своей среды не «характеренъ», онъ же просто нелѣпъ. Такихъ другихъ въ ихъ кругу не было... Не было въ наше время, были прежде, когда-то. Въ самомъ его уходѣ есть нѣчто лѣтописное — или хоть бессознательная поддѣлка подъ это, какъ въ «Князь Серебряномъ»? Но почему Нормандія, rue d'Azule, католичество? Онъ говорилъ, что мать его была полька... Что же онъ тутъ дѣлаетъ? Какъ проходитъ его день? Не круглая же сутки созерцательная жизнь? Что дѣлаетъ по вечерамъ? Или вотъ такъ, какъ я, тоскливо бредеть по этой скучной улицѣ, смотреть на этотъ фонарь?.. Огонь теперь горѣлъ близкимъ, неприятнымъ, почти ослѣпительнымъ свѣтомъ.

По правой сторонѣ показался длинный, идущій уступами заборъ. Браунъ догадался, что это началась монастырская усадьба. За заборомъ уютно мигали огоньки. Тотъ огонь не имѣлъ къ монастырю отношенія. «Самый обыкновенный фонарь... Казался посрединѣ потому, что загибается улица... Сейчасъ увижу Федосьева. Какъ спросить? О чемъ разговаривать съ нимъ? Онъ и не ждетъ меня, — писалъ: «прѣзжайте весной»... Не объяснять же,

что мнѣ откладывать неудобно. Онъ предложилъ бы мнѣ съвою пещеру, для этого главнымъ образомъ и писалъ... У тѣхъ, «при современномъ состояннн науки», есть и съ одной стороны, и съ другой стороны, — у него официально никакихъ сомнѣннй быть не можетъ. Его пещера со всѣми удобствами, хоть на видъ казалась жестче, еще тоскливѣй моей. Но при нашемъ съ нимъ сходствѣ, при изомернн, — какъ могутъ быть разныя пещеры? Вотъ сейчасъ и выяснимъ», — равнодушно думалъ Браунъ, подходя къ огромной коричневой двери съ глазкомъ, съ почтовымъ ящичкомъ. Онъ позвонилъ. Огонь исчезъ за уступомъ стѣны.

Ничего не было слышно. Браунъ позвонилъ опять. На стѣнѣ была надпись: «Eau de la ville». «Да, обыкновенно, просто, безъ условной поэзн, такъ и должно быть»... За дверью послышались неторопливые шаги. Что-то мелькнуло у глазка. Дверь отворилась. На порогѣ показался старый монахъ, въ коричневой, дважды перевязанной веревкою рясѣ, съ умнымъ, спокойнымъ, добродушнымъ лицомъ. Браунъ поклонился. Въ ту же секунду онъ услышалъ издали звуки пѣнья.

— Что вамъ угодно? — ласково спросилъ монахъ.

— Нельзя ли увидѣть ...Федосьева? — сказалъ Браунъ, неясно вставивъ что-то передъ фамиліей. Монахъ попросилъ его войти. Обстановка передней была тоже самая простая, будничная, не поэтическая. Звуки пѣнья стали слышнѣе: вѣроятно, гдѣ-то въ сосѣднемъ помѣщенн происходила спѣвка хора. Браунъ прислушался. Мелодія показалась ему знакомой. Слышны были и слова, — не латинскія, а французскія: «Ayez pitié de l'angoisse de tant de sœurs affligés»... — разобралъ Браунъ. Онъ только теперь съ неовкимъ чувствомъ замѣтилъ, что по дорогѣ усиленно настраивалъ себя на ироническнй тонъ. «Пѣть, все это очень просто, хорошо, даже величественно. Никакой поэзн и не надо»...

— Его сейчас нѣтъ, — отвѣтилъ монахъ. — Вы могли бы повидать его завтра утромъ, въ пріемные часы.

— Мнѣ необходимо сегодня. Никакъ нельзя?

Монахъ помолчалъ, внимательно въ него вглядываясь.

— Сейчасъ его нѣтъ. Въроятно, скоро вернется. Если вамъ необходимо, вы могли бы, пожалуй, навѣдаться опять, черезъ полчаса. Но лучше завтра...

— Если можно, я хотѣлъ бы сегодня, — повторилъ Браунъ, стараясь вспомнить мелодію, которую нѣлъ хоръ. Ему показалось, что это изъ Баха.

— Вы нашего прихода?

— Нѣтъ... Я живу въ Парижѣ и сегодня долженъ вернуться обратно.

— Тогда, конечно, приходите опять. Черезъ полчаса или черезъ часъ. Лучше черезъ полчаса.

— Очень благодарю.

Монахъ проводилъ его. Слова тяжело отворилась дверь. Браунъ поклонился и вышелъ, еще разъ поблагодаривъ монаха.

Было очень холодно. Браунъ пошелъ вверхъ по той же длинной угрюмой улицѣ. Людей встрѣчалось все меньше. «Да, это прекрасно. Но каждому свое: это не для меня. Я такъ не прожилъ бы и трехъ дней... Покой? Впереди и у него то же безпокойство, — большое безпокойство... Въ сущности, все, что онъ могъ сказать мнѣ, я тамъ услышалъ, ничего не добавишь. Вернуться черезъ полчаса? Зачѣмъ?.. Онъ вступилъ въ мілосу свѣта и взглянулъ на часы: до отхода поѣзда въ Парижъ оставалось еще много времени. Браунъ увидѣлъ, что незамѣтно для себя подошелъ къ тому самому фонарю. Навстрѣчу по улицѣ спускался старый сторбленный человекъ. «Да, зайти еще разъ можно, времени хватитъ. Но о чемъ же мы будемъ говорить? Ничего, кромѣ муки, изъ этого не выйдетъ... Развѣ написать ему? Тамъ быть почтовый ящикъ... Да, конечно, разговаривать не надо и зачѣмъ...» Старый че-

ховѣкъ вошелъ въ полосу, освѣщенную фонаремъ. Въ ту же секунду Браунъ узналъ Федосьева.

У стойки убогой кофейни двое мастеровыхъ въ шерстяныхъ жилетахъ, весело болтали съ толстой, на рѣдкость безобразной хозяйкой. За столомъ три человѣка играли въ карты. Всѣ оглянулись на Брауна. Черная труба стоячей печки сначала шла вверхъ, затѣмъ горизонтально вдоль стѣны, и снова поворачивала подъ прямымъ угломъ. «Всѣ три измѣренія, — подумалъ, садясь, Браунъ, — тамъ, говорятъ, будетъ четвертое... Но вотъ, надѣюсь, такой физиономіи тамъ, въ четвертомъ измѣреніи, не будетъ, и это тоже утѣшеніе»... — «Дайте мнѣ», — сказалъ онъ хозянкѣ и остановился. — «Дайте мнѣ Перно и бумаги для письма»...

За дверью теперь было совершенно темно. По стеклу навискошь шла надпись бѣлыми буквами. «Отлично, отлично сдѣлалъ, что не окликнулъ его. Едва удержался, но отлично сдѣлалъ... Онъ состарился лѣтъ на двадцать... Если-бъ онъ увидѣлъ меня, онъ, вѣрно, сказалъ бы обо мнѣ то же самое. Что тамъ написано, на той сторонѣ?» — соображалъ Браунъ, глядя на черное стекло. «Двѣ... пять... девять буквъ. Такъ и мы отсюда стараемся разобрать, что тамъ, по ту сторону... Если разберу, то сегодня, а не разберу, такъ отложить на три мѣсяца? Увижу въ печати «Ключъ», послушаю, что скажутъ люди»... Онъ не столько прочелъ, сколько догадался: написано было «téléphone»... «Ну, вотъ, и тутъ выходитъ, что нельзя откладывать. Очень хорошо, слушаю-сь, очень хорошо»... Браунъ дрожалъ все сильнѣе. Отъ печки шелъ жаръ. «Этакъ можно и простудиться»... — «Eh bien, mon cher, rien que pour le plaisir d'assister à ton enterrement»... — говорилъ мастеровой. Хозяйка захохотала. «De la bière, vous autres, là-bas!» — закричалъ одинъ изъ игроковъ. «Вотъ для нихъ Бахъ написалъ Magnificat»... А я себя убѣждалъ много лѣтъ, что люблю народъ... Но это

не идетъ къ дѣлу... Я думалъ не объ этомъ»... — Хозяйка принесла стаканъ съ желтой жидкостью, графинъ, истертый до дыръ бюваръ. Браунъ взглянулъ на нее съ отвращеніемъ, вынулъ карманное перо и принялся писать.

XXXVII.

«Простите, что не повидался съ Вами. Я для этого, собственно, пріѣхалъ изъ Парижа. Только что издали Васъ видѣлъ и не остановилъ: едругъ почувствовалъ (именно почувствовалъ), что разговаривать намъ было бы очень тяжело. Вы, вѣроятно, восхваляли бы мнѣ преимущества Вашей пещеры передъ моею. Я не могъ бы отвѣтить Вамъ тѣмъ-же: своей не очень удовлетворенъ и не засижусь въ ней. Но Ваша мнѣ не годится. Искренно отдаю ей должное: ея достоинству, красотѣ и величію. Церковь давно уже (почти незамѣтно для насъ) стала одной изъ добрыхъ силъ, все болѣе рѣдкихъ въ мірѣ (какъ все напоминающее людямъ, что они все-таки не совсѣмъ звѣри). Мнѣ неясно, зачѣмъ Вы перемѣнили вѣру. Если-бъ отъ православія осталась одна его несказанно-прекрасная панихида, то и этого было бы достаточно для его «оправданія» — и, конечно, не только эстетическаго. Но это Ваше дѣло. Знаю только, что мнѣ съ Вами не по пути и теперь.

Разрѣшите послать Вамъ написанную мною новеллу, изъ той книги «Ключъ», о которой я когда-то Вамъ рассказывалъ. Скоро книга эта выйдетъ (сегодня отослалъ въ типографію); надѣюсь, Вы ее прочтете. А до того прочтите новеллу. Она называется «Деверу». Я хотѣлъ было назвать ее «Магдебургская кошка», да ужъ очень было бы литературно, т. е. гадко.

Быть можетъ, Вы истолкуете мою повеллу, какъ капитуляцію передъ Вашимъ кругомъ мыслей, — и старымъ, и новымъ. Это будетъ невѣрно. Нѣтъ, въ ней третій выходъ: не Вашъ и не мой. Общаго, годнаго для всѣхъ

рѣшенія задачи — основной задачи существованія — нѣтъ и, по моему, быть не можетъ. Думаю, что третій выходъ самый лучший и достойный, — для него нужно быть Декартомъ! Я не Декартъ, хоть въ мѣру силъ, въ лучшіе свои часы, старался жить какъ надо: на высотахъ. Лучшихъ часовъ было не такъ много. «Начать новую жизнь»? Какую-нибудь новую жизнь можно было бы придумать. Но поздно мнѣ искать 1002-ую ночь.

Изъ пещеры человекъ вышелъ, въ пещеру и возвращается, только въ другую. Въ сущности, такъ же смотрите на дѣло и Вы, — Вамъ угодно выражать это иными словами. Не могу сказать, чтобы слова Ваши обо мнѣ были очень добры. Есть люди, притворяющіеся праведниками, — этотъ видъ притворства тоже можетъ войти въ привычку: результатъ превосходный. Вы, Сергѣй Васильевичъ, къ числу такихъ людей не принадлежите. Въ кротости надо упражняться долго и ежедневно, — вотъ какъ Бахъ каждое утро, чтобы набить себѣ руку, писалъ по безсмертному хоралу. Не скрою, многое раздражило меня въ письмѣ Вашемъ. Приписываю это впрочемъ тому, что Вы всегда были спорщикомъ (большой недостатокъ для политическаго дѣятеля). Не знаю, зачѣмъ Вы заговорили о нашемъ прошломъ. Политика больше ни Васъ, ни меня не интересуетъ. Думаю, многое можно бы забыть послѣ всего того, что случилось, послѣ нашей совмѣстной работы. Во всякомъ случаѣ не могу доставить Вамъ удовольствіе: не могу признать, что Вы во всемъ были правы, а я во всемъ ошибался.

Охоты къ такому спору у меня нѣтъ никакой. Если Вы ограничитесь утвержденіемъ, что для тѣхъ, кто такъ смотритъ на міръ, на жизнь и особенно на людей, какъ смотрю я, какъ смотрѣли прежде Вы, что для нихъ больше подходитъ реакціонная политическая «вѣтра», чѣмъ либеральная, — мои возраженія сохранять силу, хоть горячности въ нихъ еще убавится. Но Вы хотите быть правымъ до конца, полностью, на всѣ сто процентовъ. Нѣтъ, я дол-

жень очень съ Вами поторговаться: каяться, Сергѣй Васильевичъ, такъ ужъ вмѣстѣ. Мнѣ лежалъ и лежитъ во злѣ, попытка же коренной его починки почти неизбѣжно влечетъ за собой зло, въ тысячу разъ худшее. «Мы» это упустили изъ виду, — «нашъ» грѣхъ. Но Вы, сторожившіе свой мнѣ съ его долей зла, отчего вы такъ легко все отдали, почему ничего не уберегли? Подумайте, какой принципъ былъ у Васъ, какая давность для историческихъ грѣховъ, какая мощная инерція столѣтій! Подумайте: за всю исторію Россіи лучшимъ умнѣйшимъ царемъ нашимъ былъ Лжедмитрій, первый русскій либераль, демократъ и западникъ, — погибъ же онъ оттого, что былъ самозванцемъ: иными словами, нельзя было доказать, что онъ въ самомъ дѣлѣ родной сынъ такого хорошаго человѣка, такого прекраснаго царя, какъ Иванъ Васильевичъ! Вотъ какой капиталъ у васъ былъ въ рукахъ, и вы его отдали почти безъ сопротивленія. Только этимъ доводомъ и пользуюсь: въ спорѣ съ Вами онъ долженъ замѣнить сотню другихъ. Я плохо вѣрю въ медицину, но не думаю, что надо лечиться у знахарей. И если «Бюхнеромъ и Молешотомъ» корили «насъ» почти полвѣка, то, быть можетъ, было бы справедливо и въ философіи, и въ политикѣ не совать теперь «Бюхнера и Молешотта»-наизнанку. Мосье Омѣ дѣйствительно глупъ, однако не всѣ надъ нимъ издѣвающіеся много умнѣе его.

«Демократіей» же Вы меня попрекаете, право, напрасно. Дарю Вамъ своихъ тяжеловѣсовъ глупости, они стоятъ Вашихъ. Исторія государственной власти — смѣна однихъ видовъ саранчи другими. И мы съ Вами не для того разошлись по пещерамъ, чтобы обсуждать, какая саранча лучше. Но ужъ если обсуждать, то, по моему, гораздо лучше и безвреднѣе наша. Мнѣ въ демократіи дорога свобода мысли (этого подарка я Вамъ, простите, не сдѣлаю). Даль бы ее царь, привялъ бы его съ благодарностью: такъ же, если-бъ далъ ее диктаторъ, — хоть мнѣ диктаторъ, въ отличіе отъ царей, въ большинствѣ

очень противны просто какъ люди. Что-жъ дѣлать, у царей и диктаторовъ ея не получишь.

Мнѣ совѣстно писать Вамъ все это — сплеча, кратко, плоско. И у меня вѣдь есть или еще недавно была своя *beata solitudo*. Не такая *beata*, какъ Ваша, но на улицу выходить не хочется. Не сталъ бы и сейчасъ думать объ улицѣ, если-бъ не странныя замѣчанія Вашего письма. Актеръ, игравшій десятилѣтними королей, и по уходѣ изъ театра ласково-величественно киваетъ головой знакомымъ. Не вытравили и Вы въ себѣ стараго человѣка.

Съ гораздо большей силой это впрочемъ сказалось въ другомъ Вашемъ замѣчаніи, — объ «убійствѣ» Фишера. Признаюсь, съ немалымъ удивленіемъ убѣдился я, что ночной нашъ разговоръ въ Петербургѣ, наканунѣ нашего бѣгства, какъ будто не вполне разсвѣялъ Вашу давнюю *idée-fixe*. Очень объ этомъ сожалью, помочь Вамъ никакъ не могу: я не специалистъ по борьбѣ съ навязчивыми идеями. Я Вамъ тогда сказала чистую правду. Отлично понимаю, что въ романтическомъ и иныхъ смыслахъ было бы превосходно, если-бъ я убилъ Фишера и меня по этому случаю замучила совѣсть. Но я его не убивала; его и вообще не убивала никто, онъ умеръ естественной смертью, именно такъ, какъ я Вамъ рассказывала. Магдебургская кошка повела Васъ по ложному слѣду (все забываю, что Вы еще не читали моей новеллы). Васъ это поразило какъ развѣдчика; поэта или философа могло бы поразить символичкой, о которой я распространяться не стану. Но катастрофой мнѣ эта исторія не грозила. — грозила только неприятностями: ужъ очень грязны были и Фишеръ, и его квартира, и его женщины, и его смерть. «Огласка чрезвычайно неприятна», какъ Вы же мнѣ когда-то говорили. Мнѣ и самому странно, что, мало боясь въ жизни подлинныхъ опасностей, не слишкомъ боясь смерти, я неприятностей всегда боялся чрезвычайно, боялся даже «общественнаго мнѣнія», — вотъ какъ слоны панически боятся крысъ.

Помните ли Вы нашъ разговоръ о мірахъ А и В? Вы тогда его отнесли ко мнѣ не только ядовито, но и вѣрно. Мой міръ В былъ не хуже и не лучше, чѣмъ у другихъ людей. Но показывать его сыщикамъ и газетчикамъ у меня охоты не было. Поздиѣе, передъ нашимъ бѣгствомъ, Вы мнѣ говорили, что «уваженіе къ самому себѣ» выдумали англійскіе сквайры. У меня это выдуманное чувство было, и мой міръ В самъ по себѣ на него не очень посягала, — посягнула бы на него именно улица. Вотъ и все. Воспоминаніе объ этомъ дѣлѣ и сейчасъ одно изъ самыхъ гадкихъ въ моей жизни: ужъ очень близко отъ меня проскользнула тогда поганая кошка! Но не менѣе постыдныя воспоминанія есть у cadaго изъ насъ. У кого, Сергѣй Васильевичъ нѣтъ міра В? (у всѣхъ онъ, въ сущности, сходный). Во всякомъ случаѣ, не было въ этомъ дѣлѣ, т. е. въ моей въ немъ роли, ни трагедіи, ни фарса, и никакого прямого отношенія къ дальнѣйшей моей судьбѣ оно не имѣло, — развѣ только, что жизнь стала мнѣ еще противнѣе, а она была мнѣ достаточно противна и до тѣхъ поръ. Разумѣется, я нисколько не исключаю возможности, что Вы и слѣдователь Яценко, при иномъ стеченіи обстоятельствъ, могли признать меня убійцей Фишера или тайнымъ большевистскимъ агентомъ. Отчего бы и нѣтъ? Въ жизни нѣтъ ничего кромѣ случая,—обычно сквернаго. Остается удивляться, что находятся умные люди, серьезно убѣжденные въ существованіи направляющей силы въ мірѣ, и даже силы разумной, и даже силы доброй! Въ тотъ мигъ, когда земля столкнется съ другой планетой и разлетится вдребезги, люди эту скажутъ, что новая разумная жизнь начинается на Сатурнѣ.

Обо всемъ этомъ, т. е. о дѣлѣ Фишера, мнѣ и смѣшно, и неловко писать Вамъ. Не въ моей, а въ Вашей біографіи это страница знаменательная: пересмотрите, съ этой точки зрѣнія, всю свою прежнюю жизнь. Забавиѣе всего будетъ, если Вы и сейчасъ мнѣ не повѣрите. Ужъ очень видно сильна въ Васъ эта навязчивая идея, если Вы т е п е р ь,

не съ Фонтанки, а съ гие d'Auge, сочли возможнымъ написать мнѣ объ этой исторіи, символической во многихъ отношеніяхъ. Понимаю конечно, что у Васъ (кроме рецидива Фонтанки) могутъ быть соображенія отъ гие d'Auge: на случай, если-бъ Ваше толкованіе оказалосъ вѣрнымъ, Вы, такъ сказать, протягиваете мнѣ ключъ къ Вашей пещерѣ. Искренно благодарю, но воспользоваться не могу: и толкованіе Ваше выдуманно отъ перваго слова до послѣдняго, и, повторяю, дѣлать мнѣ въ Вашей пещерѣ нечего. Даже въ томъ случаѣ, если тамъ безсмертный духъ кошки не издѣвается надъ безсмертнымъ духомъ мыши.

Боюсь, что письмо мое сумбурно, — я нездоровъ или, вѣрнѣе, тяжело боленъ, — физически во всякомъ случаѣ, быть можетъ и душевно. Чувствую, что впадаю, въ послѣднее время все чаще, въ плоскій и грубый тонъ. Не сочтите этого неуваженіемъ къ Вамъ и къ Вашему новому кругу мыслей: повторяю, отношусь къ Вашей пещерѣ съ величайшимъ уваженіемъ и съ завистью. Оба мы считались съ міромъ, — Вашъ счетъ много счастливѣе чѣмъ мой. Вы упрекаете меня въ элементарномъ подходѣ къ жизни, — «суета суеть, это старо, надо бы придумать что-либо другое». Ничего не подѣлаешь, жизнь элементарна и въ самой сложности своей. Отъ всей души надѣюсь, что для Васъ не придетъ часъ паломничества къ Соломону.

Вы пишете о надвигающейся на міръ катастрофѣ. Не спорю. Все то, что привилегированные люди могли отдать безъ кровопролитія, они уже отдали. Въ остальное они вцѣпляются зубами — и будутъ правы, ибо на смѣну имъ идутъ дикари подъ руководствомъ прохвостовъ. Вишнему хаосу соотвѣтствуетъ хаосъ внутренній: распадъ душъ, *j'en sais quelque chose*. Распалась и моя душа, — что-жъ мнѣ жалѣть о жизни! Большое, очень большое явленіе медленно выпадаетъ изъ міра, замѣнить его нечѣмъ, и пустоту скорѣе всего заполнить дрянью, которую, послѣ

нѣкоторой давности, назовуть гораздо вѣжливѣе, — какъ вѣковую грязь называютъ патиной времени. Появятся, уже появились новые идеалисты. Идеализмъ ихъ наглый и глупый, зато у нихъ твердая вѣра въ себя, у нихъ душевная цѣлостность, въ своей мерзости еще невиданная въ исторіи, — будущее принадлежитъ идеалистамъ хамства. Но мнѣ все это теперь довольно безразлично:

Sois ce que tu voudras, nuit noire, rouge aurore...

Желаю Вамъ — безъ увѣренности — счастья, всякаго, какого хотите, — В а ш е г о.

Глубоко уважающій Васъ Александръ Браунъ.

XXXVIII.

Черный кранъ вцѣпился въ тельжку, медленно поднимая ее и потащилъ куда-то вдаль. Сбоку дрогнула и передвинулась на одно дѣленье красная огненная стрѣлка огромныхъ часовъ. Браунъ, поднявъ воротникъ пальто, медленно ходилъ взадъ и впередъ по перрону. За стекломъ, въ уютно-освѣщенной небольшой комнатѣ пожилой краснолицый человѣкъ съ видимымъ удовольствіемъ ставилъ печать на листкахъ. Слышался однообразный, неизвѣстно откуда идущій свистъ. Слегка нахло гарью, и запахъ этотъ рождалъ неясныя, старыя, пріятно-волнующія воспоминанія. Впереди свѣтились разноцвѣтные, точно игрушечные, огни. За рѣшеткой клѣтки тяжело опускалась въ подземелье, какъ въ преисподнюю, грузовая подъемная машина.

Далеко на полотнѣ низко надъ землей передвигалась красная свѣтящаяся точка, — кто-то шель съ фонаремъ вдоль стоявшаго на запасномъ пути нескончасмо-длиннаго товарнаго поѣзда. Черная старушка спала въ креслѣ, въ ярко освѣщенной комнатѣ съ стеклянной дверью. Краснолицый человѣкъ все продолжалъ ставить печати, — и было въ немъ, въ его листкахъ, въ освѣщеніи комнатки, въ стоявшемъ у стѣны большомъ кожаномъ диванѣ что-

то уютное, ласковое. «Вотъ такъ и надо было прожить свой вѣкъ... Но это отъ меня не зависѣло... Она вотъ какъ тотъ кранъ, — подхватит, перенесетъ, куда-то выбросить... А если бороться нельзя, то маленькая — очень маленькая — доля утѣшенія въ томъ, что самъ помогаешь крану, по крайней мѣрѣ въ выборѣ времени... Я — какъ престарѣлый Людовикъ XIV: *je ne suis plus amusable*»...

На перронъ стали выходить люди. Одурающе-протяжно просвистѣлъ свистокъ. Краснолицый человѣкъ съ сожалѣнiемъ отложилъ листки и вышелъ изъ своей комнаты. Черная старушка проснулась, ахнула и бросилась къ носильщику. «Нѣтъ, нѣтъ, это скорый поѣздъ въ Парижъ. До вашего еще больше часа», — сказалъ носильщикъ, видимо очень этимъ успокоивъ старушку. Она вопросительно взглянула на Брауна: вѣрно ли, что поѣздъ въ Парижъ? — и тотчасъ испуганно отвернулась. Два красныхъ огонька сбоку надъ полотномъ погасли, вспыхнули желтые, опять страшно загудѣлъ свистокъ и вдали показался огненный глазокъ паровоза. Дѣвочка, провожавшая отца, съ ужасомъ, какъ къ пропасти, приблизилась къ рельсамъ и, скосивъ голову, заглянувъ въ сторону, понялась назадъ. «*Elise, mais tu es folle!*» — послышался отчаянный крикъ. Съ тяжелымъ грохотомъ, сдерживая ходъ, подкатилъ скорый поѣздъ. Отецъ семейства, наскоро всѣхъ перецѣловалъ, подхватилъ лѣвой рукой чемоданъ и съ рѣшительнымъ видомъ принялся отпирать дверцы вагона.

Матр-д'отель съ легкимъ неудовольствiемъ сказала, что обѣдъ начнется только въ 7 часовъ 30. Браунъ, не отвѣчая, сѣлъ у окна. Другой лакей помоложе, пробѣгавшій по вагону съ непостижимо-громадной грудой сѣро-голубыхъ тарелокъ на одной рукѣ, остановился передъ нимъ съ вопросительнымъ видомъ. «*Un porto sec*», — сказалъ Браунъ, глядя на него мутнымъ взглядомъ. «*Où, Monsieur... Un porto rouge, un*», — съ удовольствiемъ

прокричалъ, уносясь куда-то, лакей. За окномъ сверкнули красные огни. «Вотъ и вокзала больше не увижу... Тогда и объ этой будкѣ пожалѣй, старый дуракъ!..»

Поездъ все ускорялъ ходъ. Уютно-печально сталъ накрапывать дождь. Капли неровно стекали по черному стеклу. Сверкали огни, металась вверхъ и падала телеграфная проволока. Лакей принесъ портвейнъ. «Посѣтите Шотландію», — приглашало объявленіе на красномъ деревѣ стѣны. «Монте-Карло, спортъ и солнце», — заманивало другое объявленіе. Когда-то все это составляло одну изъ лучшихъ радостей жизни. Въ этихъ нехитрыхъ объявленіяхъ тоже было что-то непостижимо-сладостное, какъ въ старыхъ, заигранныхъ, именно въ заигранности прелестныхъ мелодіяхъ, вродѣ пѣсенки «Санта Лючія» или интермеццо «Сельской Чести», которыя подтягиваетъ каждый кто ихъ слышитъ. Браунъ вспомнилъ, что купилъ въ Парижѣ газету. Въ обзорѣ печати ему бросилось въ глаза имя Серизье. Приводились наиболѣе замѣчательные отрывки изъ его очередной статьи: «Notre foi de sempre». Браунъ заглянулъ на третью страницу и убѣдился, что читать не можетъ.

Суровый мэтръ-д'отель подошелъ къ нему и сказалъ, что сейчасъ начнется обѣдъ. — «Это мѣсто занято, но если мосье угодно остаться, то еще есть свободные столы». — «Да, да», — отвѣтилъ Браунъ съ внезапнымъ оживленіемъ, — «что у васъ сегодня? Вѣдь à la carte нельзя?» — «Къ сожалѣнію, во время обѣда невозможно», — мягче отвѣтилъ мэтръ-д'отель, — «но если мосье угодно заказать какое-либо экстра, то я скажу повару»... — «Вотъ, вотъ», — торопливо сказалъ Браунъ, — «и вина получше. Какого бы вина?..» Онъ долго изучалъ карту, — «всѣхъ въ послѣдній разъ не попробуешь», — и просилъ шампанскаго. — «Полбутылки прикажете?» — «Цѣлую бутылку... Или нѣтъ, полбутылки шампанскаго и полбутылки вотъ этого Шато-Латуръ. А до того дайте мнѣ еще портвейна... Или лучше, чего-нибудь другого».

У васъ есть хересь?» — «Превосходный, изъ нашего запаса, мосье можетъ быть увѣренъ, что это»... — «Вотъ, вотъ, дайте мнѣ хереса». Смягчившійся и изумленный метръ-д'отель объявилъ, что мосье можетъ оставаться на этомъ мѣстѣ, если оно ему нравится: «Номеръ я переѣмлю». — «Ахъ, да, ради Бога!»

Въ вагонъ-ресторанъ входили хорошо одѣтые, по дорожному-празднично настроенные люди, и, весело переговариваясь, занимали мѣста. Браунъ жадно ѣлъ, пилъ и, вздрагивая, что-то бормоталъ, къ недоумѣнію сидѣвшаго противъ него старичка въ сѣромъ костюмѣ. — «Vous dites, Monsieur?» — спросилъ, наконецъ, вѣжливо старичекъ. «Папиросы Честерфильдъ», — сказалъ Браунъ, глядя поверхъ головы старичка на объявленіе. Старичекъ вытаращилъ глаза и поспѣшно налилъ себѣ минеральной воды. Дождь шелъ все сильнѣе, на створкахъ стекла обозначились мутныя пятна, какъ отъ крошечныхъ пальцевъ. Браунъ пилъ кофе, ликеры. «Непріятная дрожь... Значить, простудился тамъ, у печки, это очень печально»... — «Очень печально», — повторилъ онъ вслухъ. Вѣжливый старичекъ расплатился, не допив липовой настойки, и ушелъ съ легкимъ, ни къ кому въ частности не относившимся поклономъ. Вагонъ сталъ пустѣть.

«Но, можетъ быть, рано, какъ ни безупречно разсужденіе? Можетъ быть, и второй ударъ будетъ нескоро? Развѣ нельзя покончить съ собой и послѣ того?» — «Нѣтъ, тогда будетъ поздно, тогда параличъ сознанія и воли»... — «Но развѣ параличъ наступаетъ мгновенно? Проблески сознанія остаются, и не такъ ужъ хитро произвести послѣдній опытъ... Вотъ, Монте-Карло, sport and sin. Отчего не съѣздить еще на югъ? Развѣ можно умереть, не простившись съ Италіей? Не увидѣвъ въ послѣдній разъ Венеціи, Рима, не услышавъ аромата апельсиновыхъ садовъ?.. Да и безъ Италіи живутъ вѣдь люди, находятъ чѣмъ жить, есть вѣдь простая жизнь: «какая хорошенькая!» «малый шлемъ безъ козырей!» «вы-

дьямъ-ка водочки... Вѣдь туда не оповдаешь... Всякій разъ, когда ему приходило въ голову эти мысли, тысячу разъ передуманныя, онъ испытывалъ невообразимое облегченіе, — такъ безпрестанно спасался и снова погибалъ уже же одну недѣлю. Даже убрали скатерти, на столахъ появился войлокъ, убавили свѣта въ другой части вагона. Изъ кухни выглянулъ поварь, съ распареннымъ багровымъ лицомъ.

— Мосье, черезъ десять минутъ мы будемъ въ Парижѣ, — сказала мэтръ-д'отель.

— Да, я очень радъ, — отвѣтилъ Браунъ. Онъ всталъ и пошелъ, пошатываясь, къ двери. Мэтръ-д'отель смотрѣла ему вслѣдъ съ такимъ же недоумѣніемъ и испугомъ, съ какими смотрѣли на Брауна всѣ люди, встрѣчавшіе его въ тотъ вечеръ.

XXXIX

Свистки стали учащаться. Поездъ остановился. Браунъ вышелъ изъ вагона и направился къ выходу. У рѣшетки его остановилъ контролеръ. Разстегнувъ пальто, онъ досталъ билетъ изъ жилетнаго кармана, почувствовалъ холодъ и страшную усталость. Отдѣлившись отъ толпы пассажировъ, Браунъ отошелъ къ боковымъ дверямъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, простоялъ тамъ нѣсколько минутъ, бессмысленно вчитываясь въ иностранную надпись надъ дверями. «Liverado»... Что такое Liverado? Отъ чего Liverado? Да, все это было вздоръ: и Венеція, и запахъ аделисинныхъ садовъ, и Римъ... Изъ за шампанскаго ибнѣя рѣшеніе невозможно. Все лучше, чѣмъ то... Трусомъ никогда не былъ, не былъ и неврастеникомъ... «Liverado de pakajoi»... Это не освобожденіе, это багажъ, а я пьянъ или совѣтъ сложу съ ума, и некстати: кончать съ собой, такъ просто, спокойно, не работать на психіатровъ, — «въ состояніи невмѣняемости». Хороша невмѣняемость!.. Вдругъ наверху загремѣлъ голосъ: «Ано!

Алло!.. Браунъ съ ужасомъ поднялъ голову. Громкоговоритель извѣщалъ о предстоящемъ отходѣ поѣзда. «Да, «повѣстка», «голосъ свыше», пора»... Онъ сорвался съ мѣста и пошелъ къ выходу. Надъ лѣстницей, на зеленомъ барабанѣ, вспыхнула бѣлыми огнями надпись: «N'avez-vous rien oublié?..»

Накрапывалъ мелкій холодный дождь. Бульваръ, по-немногу оправлявшійся отъ войны, горѣлъ огнями, отсвѣчивавшимися въ окнахъ магазиновъ, въ засыпанныхъ листьями лужахъ у бортовъ тротуара. Всѣ эти огни — золотые, красные, зеленые, синіе, постоянные, вспыхивающіе, горизонтальные, вертикальные, косые, размѣщенные всюду, гдѣ только можно было ихъ устроить, говорили одно и тоже: купи, возьми, продается. И то же говорили женщины, въ одиночку и попарно гулявшія по пустому бульвару. Браунъ шелъ, все ускоряя шаги, не зная, куда и зачѣмъ онъ идетъ. Проститутки оглядывали его бѣлыми взоромъ, и не одной изъ нихъ казалось, что съ этимъ иностранцемъ дѣло было бы не безнадежно. «Tu ne viens pas, chéri?» — сказала одна изъ нихъ. «Liverado de pakajo!», — произнесъ онъ и засмѣялся. Женщина огшатнулась. «Il est un rien dingo, le pauvre type!», — сказала она подругѣ. «Вотъ до того дома еще дойду», — объяснилъ себѣ онъ, съ трудомъ справляясь съ дыханіемъ. Далеко впереди, сверху внизъ, во всю высоту пятиэтажнаго дома, огромными красными буквами, по одной, зажигалась и гасла какая-то вертикальная надпись. «Кинематографъ? Притонъ? Да, да, старайтесь! Это для васъ старались Фарадек, Эдиссоны... Для васъ — для насъ... Благодарить, такъ и за это»... Дрожащій отъ холода чело-вѣкъ въ легкомъ пальто, въ продырявленномъ котелкѣ, нерѣшительно протянулъ ему рекламу лечебницы венерическихъ болѣзней. «Вотъ, вотъ — и васъ благодарю», — по русски вслухъ сказалъ Браунъ. На углу боковой улицы висѣла огромная, многоцвѣтная, съ желто-красными

фигурами, чудовищная афиша кинематографа, залитая синимъ свѣтомъ, страшная неестественнымъ безобразіемъ. «На донь-Педро работали, товарищъ Фарадей... Это судьба хочетъ облегчить мои послѣднія минуты: въ самомъ прекрасномъ изъ городовъ показывается все уродливое... Да, такъ уходить легче... Знаю, знаю, что есть другое, мнѣ ли не знать? Прощай, Парижъ, благодарю за все, за все»... Онъ почти бѣжалъ. Проѣзжавшій шофферъ замедлилъ хѳдъ, вопросительно на него глядя. Браунъ, задыхаясь, сказалъ свой адресъ. «Только скорѣе, прошу васъ, возможно скорѣе, я спѣшу»... Сердце у него билось все сильнѣе. «Можетъ не выдержать, это было бы еще проще. Хоть и такъ все просто, все очень, очень просто»...

Поднялъ стекло вытяжного шкафа и вставилъ въ колбу заранее приготовленную пробку съ двумя отверстиями: въ одномъ была воронка съ краномъ, въ другомъ отводная трубка. Кранъ воронки вращался въ отверстіи туго. Браунъ старательно смазалъ его, вставилъ опять, насыпалъ въ колбу ціанистаго калія изъ банки, въ воронку налилъ кислоты. И тотчасъ, отъ привычныхъ лабораторныхъ дѣйствій, къ нему вернулось спокойствіе. «Послѣдній опытъ, но такой же, какъ всѣ другіе... Первый былъ большой радостью, можетъ, лучшей въ жизни. Ну, и отлично. Всего понемножку... Хватить и науки, хватить и открытій. Обезпечено мѣсто въ двухъ ближайшихъ изданіяхъ Бейльштейна, а то и въ трехъ», — съ улыбкой подумалъ онъ уже совершенно спокойно.

Онъ сѣлъ въ кресло у письменнаго стола, съ удовольствіемъ прислушиваясь къ себѣ. «Вотъ такъ, такъ отлично, произведу послѣдній опытъ такъ же, какъ всѣ другіе: не спѣша, не волнуясь, прилично, какъ подобаетъ настоящему человѣку. Что, страшно, настоящий человѣкъ? Страшно, да не очень. Что же обдумать еще? «Припомнить всю свою жизнь»? Нѣтъ, надобности никакой

нѣтъ. Но умираешь только разъ, надо же почувствовать, что сейчас умрешь... Вотъ какъ тамъ на вокзалѣ: «Вы ничего не забыли?» Нѣтъ, кажется, не забылъ ничего. «Прошу никого не винить?».. Разберутъ и такъ»... Мысль его перебѣгала по самымъ разнымъ предметамъ, останавливаясь ни на чемъ не было ни силы, ни охоты. «Да, можно приступить»... Почему-то на цыпочкахъ (хоть въ квартирѣ никого не было) онъ обошелъ всѣ комнаты, вернулся, затѣмъ еще постоялъ передъ книжными полками. «Жаль, «Федона» нѣтъ, очень жаль»... Вышелъ въ лабораторію, широко, настежь, отворилъ окно, стало холодно. «Простужень, совсѣмъ простужень», — подумалъ онъ съ той же слабой улыбкой. Лицо его было смертельно блѣдно. Туманъ заволокъ садъ съ голыми деревьями. Дождь прекратился. Въ беззвѣздномъ небѣ не было видно ничего. Со вздохомъ Браунъ оторвался отъ окна, подошелъ къ вытяжному шкапу, сѣлъ на высокій табуретъ. Сердце опять застучало. Расширенными глазами онъ взглянулъ въ послѣдній разъ по сторонамъ, наклонилъ голову и взялъ въ ротъ старательно оплавленный конецъ отводной трубки. Кранъ повернулся легко, гладко, безъ скрипа.

XL.

«UN CHIMISTE RUSSE SE SUICIDE A PARIS.

«Un savant chimiste russe, M. Alexandre Braun, s'est suicidé hier soir à Paris, dans son domicile, rue..., en respirant une forte dose d'acide cyanhydrique qu'il a fait dégager dans un curieux appareil de sa construction. Le docteur Braun, grand ami de la France, habitait notre pays depuis de longues années. On lui doit des recherches très appréciées pour lesquelles il a reçu, il y a quelques années, le fameux prix Ravvy. Il s'occupait aussi de philosophie. Sa disparition prématurée sera très vivement ressentie dans les milieux scienti-

fiques français et étrangers, ainsi que dans la colonie russe où il ne comptait que des amis.

L'enquête confiée à M. Duruy, commissaire de l'arrondissement, put établir que M. Graun avait des ressources largement suffisantes pour subvenir à ses modestes besoins de savant. On attribue son acte désespéré aux chagrins d'amour doublés d'une crise de nostalgie aiguë.

M. Duruy a pu recueillir des renseignements utiles à son enquête chez une dame de la plus haute société britannique, très liée avec le défunt. Cette dame que nous avons pu approcher un instant et dont l'élémentaire discrétion nous retient de dévoiler le nom, parle français sans le moindre accent. Paraissant très affectée, elle a librement laissé éclater sa douleur.

Après les formalités d'usage, le corps a été transporté à l'Institut médico-légal».

М. Аддановъ.

К о н е ц ъ.

ДРУГОЙ.

Т. С. В—ръ.

Неожиданность — душа другого,
Удивляющая вновь и вновь.
Неожиданность — всякое слово,
Всякая ненависть и любовь.

Неожиданностей ожидая,
Будь-же готовымъ имъ стать слугой.
Неожиданность еще двойная,
Если женщина — твой «другой».

УСЛОВІЯ.

Былъ тихій вечеръ и весна.
Намъ звѣзды свѣтили любовно.
Вы мнѣ сказали: я вѣрна,
Но — вѣрностью не безусловной!

Услышавъ это въ первый разъ,
(Я зналъ лишь вѣрность безъ условій)
Съ улыбкой я взглянулъ на васъ
И отошелъ — не прекослова.

ОТЪВЗДЪ.

До самой смерти... Кто бы могъ думать?
(Санки у подъезда. Вечеръ. Снѣгъ.)
Никто не зналъ. Но какъ было думать,
Что это — совсѣмъ? Навсегда? Навѣкъ?

Молчи! Не надо твоей надежды!
(Улица. Вечеръ. Вѣтеръ. Дома.)
Но какъ было знать, что нѣтъ надежды?
(Вечеръ. Метелица. Вѣтеръ. Тьма.)

3. Гиппиусъ.

СТИХИ.

I.

Выходить на минуту человекъ,
А покидаетъ этотъ міръ навѣкъ,
Не возвращается онъ больше въ домъ,
Почивъ на улицѣ подъ колесомъ.
А вѣдь, асчитывалъ онъ долго жить,
Надѣялся на счастье, можетъ быть,
Хотѣлъ устроить всѣ свои дѣла
Въ непрочномъ нашемъ мірѣ изъ стекла.
Пропалъ божественный расчетъ и взвѣсъ,
Не оправдалъ онъ замысла небесъ:
Конечно, онъ дышалъ по мѣрѣ силъ
И даже надъ прекраснымъ слезы лилъ,
Но главнаго онъ сдѣлать не успѣлъ
Средь всякихъ маленькихъ ничтожныхъ дѣлъ.

II.

Не камень, а карточный домикъ,
Жилище для бабочекъ, тѣнь,
Но болѣе прочнаго дома
Намъ строить не хочется, лѣнь.
А буря дохнетъ на строенье,
На птичій нашъ переполохъ,
И даже не буря, — дыханье
Любви или женщины вздохъ,

И карточный домикъ-постройка,
 Висящая на волоскѣ —
 Вдругъ рухнетъ, за картою карта,
 Какъ все, что стоитъ на пескѣ.

Захлопаютъ дѣти въ ладоши,
 И тихо изъ міра преградъ
 Какъ черныя бабочки, души
 На небо совсѣмъ улетятъ.

III.

Изъ атласной своей колыбели
 Ты порхнула, какъ бабочка, въ свѣтъ,
 Въ домъ, построенный зябкимъ Растрелли,
 Въ черный воздухъ придворныхъ каретъ.

Ты росла, хорошѣла, дышала
 Анфиладою призрачныхъ залъ,
 И хрустальная люстра дрожала,
 Отраженная въ мѣрѣ зеркалъ.

А надъ дѣтскимъ моимъ вдохновеньемъ
 Днемъ и ночью шумѣли дубы,
 Осѣняя, какъ благословеньемъ
 Кровлю бѣдныхъ, превратность судьбы.

Но, быть можетъ, въ той сельской дубравѣ
 Настъ дубы научили впотьмахъ
 О прекрасномъ вздыхать и о славѣ,
 О стихіяхъ и о небесахъ.

Ант. Ладинскій.

Прощанье на вокзалѣ,
Прощальные цвѣты.
На вы или на ты?

Зачѣмъ вы не сказали?
Вѣдь я не помню зла,
Вѣдь я простить могла.

Не надо разставаться —
Двѣнадцать, шѣсть, тринадцать
Минуть еще осталось
И можно все рѣшить.

Мнѣ больно. Я устала...
Какая грусть и жадность,
Какъ трудно говорить.

Лиловая перчатка
И волосы такъ гладко,
Широкое пальто.
Ахъ, все не то, не то.

Осталось восемь, семь,
И нѣтъ минутъ совсѣмъ,
И все же надо жить.

Свистокъ. И говоръ шведскій.
Навѣкъ твой профиль дѣтскій,
Навѣкъ твой нѣжный ротъ...

А поездъ ужъ идетъ.

Ирина Одоевцева.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ.

I.

Не знаю имени этой птички,
 Но сердце сразу узнаетъ,
 Что это голосъ твоей сестрички
 И не напрасно она поетъ.

Твои, твои у нея привычки
 Къ такому «ла» и такому «соль»,
 И страшно слышать у милой птички
 Такое горе, такую боль.

Недаромъ «птички-невелички»,
 Поется, «жалобно поютъ»...
 Я узнаю отъ твоей сестрички,
 Что больше нищимъ не подаютъ.

Какъ нищій — хлѣба, я жду странички
 Письма обѣщаннаго, — не шлешь, —
 И только голосомъ грустной птички
 О сердце раненомъ мнѣ поешь.

II.

Иду, и слѣва яблоки свисаютъ
 Къ землѣ на фонѣ тучи грозовой...
 Твои слова и мучатъ и спасаютъ...
 Иду, и справа сельское — съ кривой
 Оградой — кладбище: цвѣты, могила
 И солнце, слѣва — близится гроза...
 Какъ ты права, что не совсѣмъ простила,

Какъ совѣсть издали твои глаза...
И ранащее для меня значенье
Твоя пріобрѣтаетъ красота.
Иду, и... длинныхъ пальцевъ продолженье
На грубой перекладинѣ креста.

Ш.

Мелкій ходъ часовъ моихъ земныхъ
Нѣжными руками передвинуть.
Безъ тебя въ пространствахъ ледяныхъ
На кого же былъ бы я покинуть.

Если ты умрешь, пока я живъ
Или отъ меня уйдешь къ другому,
Это будетъ только перерывъ,
Быть уже не можетъ по иному.

Нѣмъ бы здѣсь ни кончилось, но тамъ
(Ты вездѣ собою остаешься)
Если голосъ я тебѣ подамъ,
Неужели ты не отзовешься?

Николай Оцунъ.

I.

Лидіи Червнискій.

Мой другъ, мы смертельно устали,
Мой другъ, мы смертельно больны,
Отъ уже нестерпимой печали,
Одиночества и тишины.

Ты плачешь, мой другъ, умирая...
 А мимо, глуха и слѣпа,
 Какъ будто на насъ наступаая,
 Идетъ равнодушно толпа

И мечутся автомобили,
 Горитъ электрической свѣтъ...
 Мой другъ, какъ мы страшно любили,
 Какъ насъ не любили въ отвѣтъ.

II.

Земная жизнь — короткихъ лѣтъ
 Неторопливое теченье,
 Здѣсь даже звукъ, здѣсь даже свѣтъ
 Пропитанъ холодомъ и тлѣньемъ.

День вспыхиваетъ, гаснетъ вновь...
 — Не вѣрьте, ничему не вѣрьте,
 Здѣсь нѣтъ надежды, здѣсь любовь
 Напоминаніе о смерти.

Здѣсь Бога нѣтъ, онъ гдѣ-то тамъ,
 Онъ гдѣ-то — или нигдѣ — надъ нами,
 Не поднимайте-жъ къ небесамъ
 Глаза сожженные слезами.

Примите тлѣнь и нищету
 Земли и вмѣстѣ съ ней сгорая,
 Все разлюбивъ, все понимая,
 Клонитесь молча въ темноту.

Влад. Смоленскій.

Тоска по родинѣ! Давно
Разоблаченная морока.
Мнѣ совершенно все равно
Гдѣ — совершенно одинокой.

Быть, по какимъ камнямъ домой
Брести съ кошёлкою базарной
Въ домъ, и не знающій, что — мой,
Какъ госпиталь или казарма.

Мнѣ все равно, какихъ среди
Лицъ оцетиниваться плѣннымъ
Львомъ, изъ какой людской среды
Быть вытѣсненной — испремѣнно —

Въ себя, въ единоличье чувствъ.
Камчатскимъ медвѣдѣмъ безъ льдины
Гдѣ не ужиться (и не тшусь!)
Гдѣ унижаться — мнѣ едино.

Не обольщусь и языкомъ
Роднымъ, его призывомъ млечнымъ.
Мнѣ безразлично на какомъ
Непонимаемой быть встрѣчнымъ!

(Читателемъ, газетныхъ тоннѣ
Глотателемъ, доильцемъ сплетень...)
Двадцатаго столѣтья — онъ,
А я — до всякаго столѣтья!

Остолбенѣвши какъ бревно
Оставшееся отъ аллеи
Мнѣ всё — равны, мнѣ всё — равно,
И, можетъ-быть, всего равнѣе

Роднѣ бывшее всего.
Всѣ признаки съ меня, всѣ мѣты,
Всѣ даты — какъ рукой сняло!
Душа, родившаяся — гдѣ-то.

Такъ край меня не уберегъ
Мой, что и самый зоркій сыщикъ
Вдоль всей души, всей — поперекъ!
Родимаго пятна не сыщеть.

Всякъ домъ мнѣ чуждъ, всякъ храмъ мнѣ пустъ,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дорогѣ кустъ
Встаетъ, особенно: рябина...

Марина Цвѣтаева.

Мать и музыка

Когда вмѣсто желаннаго, предрѣшеннаго, почти приказаннаго сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотивъ вздохъ, сказала: — «По крайней мѣрѣ будетъ музыкантша». Когда же моимъ первымъ, явно-безсмысленнымъ и вполнѣ-отчетливымъ договоровымъ словомъ оказалась «гамма», мать только подтвердила: — «Я такъ и знала», и «тутъ же принялась учить меня музыкѣ, безъ конца напѣвая мнѣ эту самую гамму: — «До, Муся, до, а это — ре, до — ре...» Это до — ре вскорѣ обернулось у меня огромной, въ половину всей меня, книгой — «киной», какъ я говорила, пока-что только ея, «кинки», крышкой, но съ такой силы и жути прорѣзающимся изъ этой лизовизны золотомъ, что у меня до сихъ поръ въ какомъ-то опредѣленномъ уединенномъ у н д и н н о м ѣ мѣстѣ сердца — жаръ и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осѣло на самое сердечное дно и оттуда, при малѣйшемъ прикосновеніи, встаетъ и меня всю заливаетъ по краѣ глазъ, выжигая — слезы. Это до — ре (Дорэ), а ре — ми — Реми, мальчикъ Реми изъ Sans Famille, счастливый мальчикъ, котораго злой мужъ кормилицы (estropié, съ точно спиленной ногой: pied), калѣка Père Barberin сразу превращаетъ въ несчастнаго, сначала не давъ блинамъ стать блинами, а на другой день продавъ самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его тремъ собакамъ: Капи, Зербино и Дольче, и единственной его обезьянѣ — Жоли-Кёръ, ужасной пьяницѣ, потомъ умирающей у Реми за-пазухой отъ чихотки. Это ре — ми. Взятая же отдѣльно: до — явно бѣлое, пустое, д о всего, ре — голубое, ми — желтое (можетъ-быть — midi?), фа — коричневое (можетъ-быть фаевое выходное платье матери, а ре — голубое —

рѣка?) — и такъ далѣе, и всѣ эти «далѣе» — есть, я только не хочу загромождать читателя, у котораго свои цвѣта и свои, на нихъ, резоны.

Слуху моему мать радовалась и невольнo за него хвалила, тутъ же, послѣ каждаго сорвавашагося «молодецъ!» холодно прибавляя: — «Впрочемъ, ты не при чемъ. Слухъ — отъ Бога». Такъ это у меня навсегда и осталось, что я — не при чемъ, что слухъ — отъ Бога. Это меня охранило и отъ самомиѣннiя и отъ само-сомнѣннiя, отъ всякаго, въ искусствѣ, самолюбія — разъ слухъ отъ Бога. — Твое — только стараніе, потому-что каждый Божій даръ можно загубить, говорила мать поверхъ моей четырехлѣтней головы, явно не понимающей и уже изъ-за этого запоминающей такъ, что потомъ уже ничѣмъ не выбьешь. И если я этого своего слуха не загубила, не только сама не загубила, но и жизни не дала загубить и забить (а какъ старалась!), я этимъ опять-таки обязана матери. Если бы матери почаще говорила своимъ дѣтямъ непонятныя вещи, эти дѣти, выросши, не только бы больше понимали, но и тверже поступали. Разъяснять ребенку ничего не нужно, ребенка нужно — заклясть. И чѣмъ темнѣе слова заклитiя — тѣмъ глубже они въ ребенка врастаютъ, тѣмъ непреложнѣе въ немъ дѣйствуютъ. «Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ...»

Съ роялемъ — до-ре-ми — клавишнымъ — я тоже сошлась сразу. У меня оказалось на удивительность растяжимая рука. — Пять лѣтъ, а уже почти беретъ октаву, чу — уточку дотянуться! говорила мать, голосомъ вытягивая недостающее разстояніе, и, чтобы я не возомнила: — Впрочемъ, у лая и ноги такія! вызывая у меня этими «ногами» смутный и острый соблазнъ когда-нибудь и ногой попытаться взять октаву (тѣмъ болѣе, что я одна изъ всѣхъ дѣтей умѣю разставлять на ней пальцы вѣромъ!), чего, однако, никогда не посмѣла не только сдѣлать, но даже додумать, ибо «рояль — святыня», и на него ничего нельзя класть, не только ногъ, но и книгъ. Газеты же мать, съ какимъ-то высокомернымъ упорствомъ мученика, ежеутренне, ни слова не говоря отцу, неизмѣнно и невинно туда ихъ клавишему, съ рояля снимала — сметала — и, кто знаетъ, не изъ этого ли сопоставленiя рояльной зеркальной предѣльной чистоты и черноты съ безпорядочнымъ и безцвѣтнымъ газетнымъ ворохомъ, и не изъ этого ли одновременно широкаго и педантическаго материнскаго жеста распра-

вы и выросла моя ничѣмъ не вытравимая, аксіомная во мнѣ убѣжденность: газеты — нечисть, и вся моя къ нимъ ненависть, и вся мнѣ газетнаго міра — месть. И если я когда-нибудь умру подъ заборомъ, я по крайней мѣрѣ буду знать отъ чего.

Кромѣ большой руки, у меня оказался еще «подный, сильный ударъ» и «для такой маленькой дѣвочки удивительно-одушевленное тушэ». Одушевленное тушэ звучало какъ бархатъ, и было коричневое, а такъ какъ *toucher* — трогать, выходило, что я рояль трогаю какъ бархатъ: бархатомъ: коричневымъ бархатомъ: кошкой: *patte de velours*.

Но о ногахъ я не кончила. Когда, два года спустя послѣ Александра — меня, родилась завѣдомый Кириллъ — Ася, мать, за одинъ разъ — приученная, сказала: — «Ну, что жъ, будетъ вторая музыкантша». Но когда первымъ, уже вполне осмысленнымъ словомъ этой Аси, запутавшейся въ голубой сѣткѣ кровати, оказалось «рангі» (нога), мать не только огорчилась, но всъежогодовалась: — Нога? Значить — балерина? У меня — дочь балерина? У дѣдушки — внучка балерина? У насъ, слава Богу, въ семьѣ никто не танцовалъ! (Въ чемъ ошиблась: былъ одинъ роковой, въ жизни ея матери, балъ и танецъ, съ котораго все и пошло: и ея музыка, и мои стихи, вся наша общая лирическая неизбывная бѣда. Но о на этого не узнала — никогда. Узнала — я, безъ малаго сорокъ лѣтъ спустя этого ся горделиваго утвержденія, въ Русскомъ Домѣ Св. Женевьевы -- какъ, расскажу въ свой срокъ).

Годы шли. «Нога», какъ будто, сбывалась. Во всякомъ случаѣ, Ася, очень легкая на ногу, на роялѣ играла ужасно — совершенно фальшиво, но къ счастью такъ слабо, что уже изъ смежной гостиной ничего не было слышно. Боюсь теперь ошибиться, но наврядъ ли она, добросовѣстно, до предѣла растянувъ руку, брала больше чѣмъ отъ до до ф а. Рука (какъ и нога) была крохотная, ударъ — мимовой, а тушэ — мушиное. Все же амѣстѣ, когда доходило до уха, рѣзало его какъ бритвой (мочку). — Значить, въ Ивана Владиміровича, — сокрушенно, но уже смирившись говорила мать: — у него на рѣдкость никакого слуха. Впрочемъ, у Асеньки какъ будто слухъ — есть, и если бы можно было разслышать, что она поетъ — можетъ-быть и было бы вѣрно? Но почему она на роялѣ такъ фальшивитъ?

Мать не понимала, что Ася за роялемъ, по малолѣтству,

просто невыносимо скучаетъ и только отъ собственного засыпанія беретъ мимо (нотъ!), какъ слѣпой щенокъ — мимо блюда. А можетъ-быть сразу брала по двѣ ноты, думая, что такъ скорѣе возьметъ — всѣ положенныя? А можетъ-быть (по двѣ), какъ муха, по недостатку вѣса не могущая нацѣлиться на именно эту клавишу? Такъ или иначе, игра была не только плачевная, но — слѣзная, съ ручьями мелкихъ грязныхъ слезъ и нуднымъ комаринымъ: и — и, и — и, и — и, отъ котораго всѣ въ домѣ, даже дворникъ, хватались за голову съ безнадежнымъ возгласомъ: — Ну, завела! И именно потому-что Ася играть продолжала, мать внутри себя отъ ея музыкальной карьеры съ каждымъ днемъ все безнадежнѣе отказывалась, всю свою надежду вымещая на большерукой и безслезной мнѣ.

— «Нога, нога, говорила она задумчиво, идя съ нами, уже подросшими и тоже стриженными, по стриженому осеннему калужскому лугу, — ву что-жь, въ концѣ концовъ, балерина тоже можетъ быть порядочной женщиной. Я знала одну, въ Сокольникахъ, — у нея даже было шесть человѣкъ дѣтей, и она была отличная мать, настолько образцовая, что даже дѣдушка однажды отпустилъ меня къ ней на крестины...» И уже явно шутя (и мы это понимали): — «Муса — знаменитой пианисткой, Ася (какъ-то проглатывая)... знаменитой балериной, а у меня отъ гордости вырастетъ второй подбородокъ». И, вовсе уже не шутя, а съ глубокой сердечной радостью и горестью: — Вотъ мои дочери и будутъ «свободные художники», то, чѣмъ я такъ хотѣла быть. (Ея отецъ стоялъ за домашнее воспитаніе и пребываніе, и на эстрадѣ она стояла только разъ, вмѣстѣ со старикомъ Поссартомъ, за-годъ до его и своей кончины.)

...Но съ нотами, сначала, совсѣмъ не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиша есть, здѣсь, вотъ она, черная или бѣлая, а ноты нѣтъ, нота на линейкѣ (на какой?). Кромѣ того, клавишу — слышно, а ноту — нѣтъ. Клавиша — есть, а ноты — нѣтъ. И зачѣмъ нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды, на заголовкѣ поздравительнаго листа, даннаго мнѣ Августой Ивановой для Glückwünsch'a матери, не увидѣла сидящихъ на нотной строкѣ вмѣсто нотъ — воробушковъ! Тогда я поняла, что ноты живутъ на вѣткахъ, каждая на своей, и оттуда на клавиши прыгиваютъ, каждая на свою. Тогда она — звучитъ. Нѣкоторыя же, запоздавшія (какъ дѣвоч-

ка Катя изъ «Вечернихъ досуговъ»: поѣздъ, машѣ, уходитъ, а опоздавшія Катя съ няней — плачутъ...) — запоздавшія, говорю, живутъ надъ вѣтками, на какихъ-то воздушныхъ вѣткахъ, но всё-таки тоже спрыгиваютъ (и не всегда влопадь, тогда — фальшь). Когда же я перестаю играть, ноты на вѣтки возвращаются и такъ, какъ птицы, спятъ и тоже, какъ птицы, никогда не падаютъ. Лѣтъ двадцать пять спустя онѣ у меня все-же упали и даже -- ринулись:

Всѣ ноты ринулись съ листа,
Всѣ откровенья съ усть...

Но нотъ я, хотя вскорѣ и стала отлично читать съ листа, (лучше чѣмъ съ лица, гдѣ долго, долго читала — только лучше!) — никогда не полюбила. Ноты мнѣ — мѣшали: мѣшали глядѣть, вѣрнѣй не-глядѣть на клавиши, сбивали съ напѣва, сбивали съ знанья, сбивали съ тайны, какъ съ ногъ сбиваютъ, такъ — сбивали съ рукъ, мѣшали рукамъ знать самимъ, влѣзали третьимъ, тѣмъ «вѣчнымъ третьимъ въ любви» изъ моей поэмы, (которой, по простотѣ — ей, или сложности — моей, никто не понялъ) — и я никогда такъ надежно не играла, какъ наизусть.

Но помимо всего сказаннаго, вѣрнаго не только для меня, но для каждого начинающаго, теперь вижу, что мнѣ для нотъ было просто слишкомъ рано. О, какъ мать торопилась, съ нотами, съ буквами, съ Ундинами, съ Джэнь Эйр'ами, съ Антонами Горемыками, съ презрѣніемъ къ физической боли, со Св. Еленой, съ однимъ противъ всѣхъ, съ однимъ — безъ всѣхъ, точно знала, что не успѣетъ, все равно не успѣетъ всего, все равно ничего не успѣетъ, такъ вотъ — хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще... Чтобы было чѣмъ помянуть! Чтобы сразу накормить — на всю жизнь! Какъ съ первой до послѣдней минуты давала — и даже давила! — не давая улечься, умяться (намъ — успокоиться), заливала и забивала съ верхомъ — впечатлѣніе на впечатлѣніе и воспоминаніе на воспоминаніе — какъ въ уже невмѣщающей сундукъ (кстати, оказавшейся бездоннымъ), нечаянно или нарочно? забывая вглубь — самое цѣнное — для дѣльшей сохранности отъ глазъ, про запасъ, на тотъ крайній случай, когда уже «всѣ продано», и за послѣднимъ — нырокъ въ сундукъ, гдѣ, оказывается, еще — в сѣ. Чтобы дно, въ по-

слѣднюю минуту, само подало. (О, неистощимость материнскаго дна, непрестанность подачи! Мать точно заживо похоронила себя внутри насъ — на вѣчную жизнь.) Какъ уплотняла насъ невидимостями и невѣсомостями, этимъ навсегда вытѣсняя изъ насъ всю вѣсомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика, — то, чего всегда мало, дважды — мало: какъ мало голодному всего въ мѣрѣ хлѣба, и въ мѣрѣ мало — какъ радѣя, то, что само есть — недохватъ всего, самъ недохватъ, только потому и хватающий звѣзды! — то, чего не можетъ быть слишкомъ, потому что оно — само слишкомъ, весь излишекъ тоски и силы, излишекъ силы, идущій въ тоску, горами двигающую.

Мать не, испытывала — испытывала: силу сопротивленія: подастся ли грудная клѣтка? Нѣтъ, не подалась, а такъ раздалась, что потомъ — теперь — уже ничѣмъ не накормишь, не наполнишь. Мать поила насъ изъ вскрытой жилы Лирики, какъ и мы потомъ, безпощадно вскрывъ свою, пытались понть своихъ дѣтей кровью собственной тоски. Ихъ счастье — что не удалось, а ш е — что удалось!

Послѣ такой матери мнѣ оставалось только одно: стать поэтомъ. Чтобы избыть ея даръ — мнѣ, который бы задушилъ или превратилъ меня въ преступителя всѣхъ человѣческихъ законовъ.

Знала ли мать (обо мнѣ — поэтѣ)? Нѣтъ, она шла ва панцие, ставила на неизвѣстное, на себя — тайную, на себя — дальше, на несбывшагося сына Александра; который не могъ всего не мочь.

Но всё-таки для нотъ было слишкомъ рано. Если неполные пять лѣтъ вовсе не рано для буквъ — я свободно читала четырехъ, и много такихъ дѣтей знаю — то для нотъ то же неполное пятилѣтѣе беспорно и зловорно — рано. Нотно-клавишный процессъ настолько сложнѣе буквенно-голосового, насколько сложнѣе самъ клавишъ — собственнаго голоса. Образно говоря: можно не попасть съ ноты на клавишу, нельзя не попасть съ буквы — на голосъ. И, совѣмъ просто говоря: если между мной и клавиатурой вставали — ноты, то между нотой и мной — вставала клавиатура, постоянно теряемая — изъ-за нотнаго листа. Не говоря уже о простомъ очевидномъ смыслѣ читаемаго слова и вполне-гадательномъ смыслѣ играемаго такта. Читая, перевожу на смыслъ, играя, перевожу

на звукъ, который въ свою очередь долженъ быть на что-то переведенъ, иначе — звукъ пустъ. Но когда же мѣ, пятилѣтней, чувствовать и это чувство выражать, когда я уже опять ищу: сначала глазами, на линейкѣ, знака, потомъ, въ умѣ, соответствующей этому знаку — ноты гаммы, потомъ — пальцемъ — соответствующей этой нотѣ клавиши? Выходила игра съ тремя неизвѣстными, а для пятилѣтняго достаточно — одного, за которымъ, еще, всегда, другое, которое есть только ввѣдъ въ большее неизвѣстное, которое за всякимъ смысломъ и звукомъ, въ огромное неизвѣстное — души. Или ужъ — надо быть Моцартомъ!

Но клавиши я — любила: за черноту и бѣлизну (чуть желтизну!), за черноту, такую явно, — за бѣлизну (чуть желтизну!), такую тайно — грустную, за то, что однѣ широкія, а другія узкія (обиженные!), за то, что по нимъ, не сдвигаясь съ мѣста, можно какъ по лѣстницѣ, что эта лѣстница — изъ-подъ рукъ! — и что отъ этой лѣстницы сразу ледяныя ручки — ледяныя лѣстницы ручьевъ вдоль спины — и жаръ въ глазахъ — тотъ самый жаръ въ долині Дажестана изъ Андриюшиной хрестоматіи.

И за то, что бѣлыя, при нажимѣ, явно веселыя, а черныя — сразу грустныя, вѣрно — грустныя, настолько вѣрно, что, если нажму — точно себѣ на глаза нажму, сразу выжму изъ глазъ — слезы.

И за самый нажимъ: за возможность, только нажавъ, сразу начать тонуть, и, пока не отпустишь, тонуть безъ конца, безъ дна, — и даже когда отпустишь!

За то, что съ съ виду гладь, а подъ гладью — глубь, какъ въ водѣ, какъ въ Окѣ, но глаже и глубже Оки, за то, что подъ рукой — пропасть, за то, что эта пропасть — изъ подъ рукъ, за то, что съ мѣста не сходя — падаешь вѣчно.

За вѣроломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первомъ прикосновеніи — и поглотить.

За страсть — нажать, за страхъ — нажать: нажавъ разбудить — всё. (То же самое чувствовалъ, въ 1918 г., каждаый солдатъ въ усадьбѣ.)

И за то, что это — трауръ: материнская, въ полоску, блузка того конца лѣта, когда слѣдомъ за телеграммой: «Дѣдушка тихо скончался» явилась и она сама, заплаканная и все-же улыбающаяся, съ первымъ словомъ ко мнѣ: — Муся, тебя дѣдушка очень любилъ.

За прохладное «ivoire», мерцающее «Elfenbein», баснословное «слоновая кость». (Какъ слона и эльфа—совмѣстить?).

(И — дѣтское открытіе: вѣдь если неожиданно забыть, что это — рояль, это просто — зубы, огромныя зубы въ огромномъ холодномъ рту — до ушей. И это рояль — зубоскаль, а вовсе не Андрюшинъ репетиторъ Александръ Павловичъ Гуляевъ, котораго такъ зоветъ мать за вѣчное хохотанье. И зубоскаль совсѣмъ не веселая, а страшная вещь.)

За «клавиатуру» — слово такое мощное, что нынѣ могу его сравнить только съ вполне раскрытымъ крыломъ орла, а тогда не сравнивала ни съ чѣмъ.

За «хроматическую гамму» — слово звучавшее водопадомъ горнаго хрустала, за хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, чѣмъ грамматическое — что бы ни было, котораго и сейчасъ не понимаю, съ котораго-то и перестаяю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла простой: тулой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За хроматическую, которая тутъ же, никуда не уходя ни вправо ни влѣво, а только вверхъ, настолько длиннѣе и волшебнѣе простой, насколько длиннѣе и волшебнѣе наша тарусская «большая дорога», гдѣ можно пропасть за каждымъ деревомъ — Тверскаго бульвара отъ памятника Пушкина — до памятника Пушкина.

За то, что — это я сейчасъ говорю — Хроматика есть цѣлый душевный строй, и этотъ строй — мой. За то, что Хроматика — самое обратное, что есть грамматикѣ — Романтика. И Драматика.

Эта Хроматика такъ и осталась у меня въ спинѣ.

Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребетъ, живая лѣстница, по которой все имѣющее во мнѣ разыгрывается — разыгрывается. И когда играютъ — по моимъ позвонкамъ играютъ.

... За слово — клавишъ.

За тѣло — клавишъ.

За дѣло — клавишъ.

И слово любила «бемоль», такое лиловое и прохладное и немножко граненое, какъ Валеріины флаконы, и рюмковавшее во мнѣ съ желтофіоль, никогда не видѣннымъ материнскимъ могильнымъ цвѣткомъ съ первой страницы «Исторіи маленькой дѣвочки». И «диззъ», такое прия-

мое и рѣзкое, какъ мой собственный носъ въ зеркалѣ. La-bemol же было для меня предѣломъ лиловизны: лиловѣ тарусскихъ ирисовъ, лиловѣ страховской тучи, лиловѣ сегуровской «Forêt des Lilas».

Бемоль же, начертанный, мнѣ всегда казался тайный знакъ: точно мать, при гостяхъ, подыметъ бровь и тутъ же опуститъ, этимъ загоняя что-то мое въ самую глубину. Спускомъ брови надъ знакомъ глаза.

Бэкаръ же былъ просто — пустъ: знакъ, что не въ счетъ, олицетворенное какъ не бывало, и онъ самъ былъ не въ счетъ, и его самого не было, и я къ нему относилась снисходительно, какъ къ пустому дураку. Кромѣ того, онъ былъ женатъ на Бэккерѣ.

Вначалѣ еще смущали верхъ и низъ, верхъ, который я неизмѣнно ощущала басами, лѣвымъ, — а низъ — дискантомъ, тонизной, правымъ концомъ клавиатуры, беззвучнымъ уже дребезгомъ, концомъ звука и началомъ лака. (Наверху — горы и громъ, внизу — букашки, мухи, напимѣръ, бубенчики, одуванчики, комары, пискари, — такое...) Теперь вижу, что была права, ибо читаемъ мы слѣва направо, то-есть съ начала къ концу, а начало никакъ не можетъ быть низомъ, который самъ по себѣ есть схождение на-нѣтъ. (Тонкій звукъ сходитъ на-нѣтъ, а глухой, басовый — ins All. Въ рояльный лакъ. Въ гулы.) Клавишно-вокальное опредѣленіе верха и низа соответствовало бы — еврейскому письму.

Но больше всего, изъ всего ранне-рояльного, я любила — скрипичный ключъ. Слово — такое чудное и протяжное и именно непонятностью своей (почему скрипичный, когда — рояль?) вѣдрявшееся, какъ ключемъ отмыкавшее весь запретный скрипичный міръ, въ которомъ, изъ полной его темноты, уже занывало имя Паганини и горнымъ хрусталемъ сверкало и грохотало имя Сарразаты, міръ — я это уже знала! — гдѣ за игру продають чорту — душу! — слово, сразу дѣлавшее меня почти скрипачемъ. И еще другой ключъ: Vorn, ключъ Oheim Kühleborn: Дядя Струй, изъ жемчужной струи разрастающийся въ смертоносный потокъ... И еще ключъ — другой:

... холодный ключъ забвенья
Онъ лучше всѣхъ жаръ сердца утолить!

— изъ Андрюшиной хрестоматіи, съ двумя неизвѣстными: «забвень» и «утолить», и двумя извѣстными: «жаръ» и «сердце», которые есть — одно.

Слово и видъ — лебединый, видъ, который и такъ любовно воспроизводила на нотной бумагѣ, съ чувствомъ, что сажаю лебедя на телеграфные провода.

Басовый же мнѣ ничего не говорилъ: ни видъ ни звукъ и я его втайнѣ презирала. Во-первыхъ, — ухо, простое грубое ухо съ двумя дырками, но проткнутыми, о глупостѣ! не въ пемъ, а рядомъ — и двумя вмѣсто одной, точно можно въ одномъ ухѣ носить двѣ серьги и точно, вообще, бываетъ одно ухо. (Ушной вопросъ меня очень интересовалъ, ибо мать, у которой уши были проткнуты и серьги — висѣли, называла это варварствомъ, а ея падчерица, институтка Валерія, которая считала это красотой, никакъ не могла этого проткнутія добиться: то запухали, то заростали, — такъ и ходила злая, съ шелковинкой.) Слово же «басовой» — просто барабанъ, басъ: Шалыпинъ. А одна полоумная поклонница (у нея полъ-ума и она все время кланяется!) ставить въ 12 ч. ночи своего трехлѣтняго Сашу на столъ и заставляетъ его пѣть «какъ Шалыпинъ». И отъ этого у него круги подъ глазами и онъ совершенно не растетъ. Нѣтъ, Богъ съ басовыми! И уже для собственного удовольствія, долбя колъными стулъ, локтями — столъ, рядъ чудеснымъ скрипичныхъ, одинъ другого выше — полнѣе, вверху — стройнѣе, — цѣлая вереница скрипичныхъ лебедей!

Но это было нисѣменное, писецкое, писательское рвеніе. Музыкальнаго рвенія — и пора объ этомъ сказать — у меня не было. Виною, вѣрнѣй причиной было излишнее усердіе моей матери, требовавшей съ меня не въ мѣру моихъ силъ и способностей, а всей сверхмѣрности и безвозрастности настоящаго рожденнаго призванія. Съ меня требовавшей — себя! Съ меня, уже писателя — меня, никогда не музыканта. — «Отсидишь свои два часа — и рада! Меня, когда мнѣ было четыре года, отъ рояля не могли оттащить! «Noch ein wenig!» Хотя бы ты разъ, разъ у меня этого попросила!» Не попросила — никогда. Была честна, и никакая ея завѣдомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось съ губъ. (Мать меня музыкой — замучила.) Но и въ игрѣ была честна, играла безъ обману два своихъ положенныхъ утреннихъ часа, два вечернихъ (до музыкаль-

ной школы, то-есть до шести лѣтъ!) и даже не часто оглядываясь на спасательный кругъ часовъ (которыхъ я, впрочемъ, лѣтъ до десяти совершенно не понимала, — съ тѣмъ же успѣхомъ могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» надъ нотной этажеркой), но какъ ихъ глубокому зову — радуясь! Играла безъ матери такъ же, какъ при матери, играла несмотря на соблазны враждовавшей съ матерью няньки и сердобольной няньки («совсѣмъ дитя замучили!») и даже двѣрника, топившаго печку въ залѣ: — «Пойди-ка, Мусенька, пробѣгись!» и даже, иногда, самого отца, появлявшагося изъ кабинета, и, не безъ робости: — «А какъ будто два часа уже прошли? Я тебя точно ужъ полныхъ три слышу...» Бѣдный папа! Въ томъ-то и дѣло, что не слышалъ, ни пастъ, ни нашихъ гаммъ, ганоновъ и галоповъ, ни материнскихъ ручьевъ, ни Валеріинныхъ (пѣла) руладъ. До того не слышалъ, что даже дверь изъ кабинета не закрывалъ! Рѣдь когда не играла я — играла Ася, когда не играла Ася — подбирала Валерія, и покрывая и заливая всѣхъ насъ — мать — цѣлый день и почти-что цѣлую ночь! А зналъ онъ только всего одинъ мотивъ — изъ Анды — наслѣдіе первой жены, пѣвчей и рано умолкнувшей птицы. — «Даже Боже Царя храни не умѣешь спѣть!» мать ему, съ шутилой укоризной. — «Какъ не могу? Могу! (и, съ полной готовностью) Бо—о—же!» Но до «Царя» не доходило никогда, ибо мать, съ вовсе уже не шутилой, — а истинно-страдальчески-искаженнымъ лицомъ тутъ же прижимала къ ушамъ руки, и отецъ переставалъ. Голосъ у него былъ сильный.

Позже, послѣ ея смерти, онъ часто — Асѣ: «Что ты, Асенька, какъ будто фальшивишь?» для очистки совѣсти, — замѣняя мать.

Нѣтъ, несмотря ни на какіе соблазны, соболѣзнованія и зовы — играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушкетерская музыка и мука. Рояль у самого окна, точно безнадежно пытаюсь въ него всѣмъ своимъ слоновымъ неповоротомъ — выйти, и въ самое окно, уже наполовину въ него войдя, какъ живой человекъ — жасминъ. Потъ льетъ, пальцы красные — играю всѣмъ тѣломъ, всей своей немалой силой, всѣмъ вѣсомъ, всѣмъ нажимомъ, и, главное, всѣмъ своимъ отвращеніемъ къ игрѣ. Смотрю на кисть, которую въ дѣтствѣ матери нужно было держать на одной линіи (напряженія!) съ локтемъ и первымъ пальцевымъ суставомъ и такъ неподвиж-

но, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцѣните коварство!) сѣврской чашки съ кипящимъ кофе, или не скатить серебрянаго рубля, а нынѣ, въ моемъ — держать въ непрерывномъ движеніи свободы, въ чередованіи поклона и заброса, чтобы играющая рука, въ совокупности локтя, кисти и концевъ пальцевъ, давала пьющаго лебедя, и на оборотъ которой (кисти) голубья жилы, у меня, если нажать, даютъ явную букву Н — того Николая, за котораго, по толкованію нѣмки, я черезъ двѣнадцать лѣтъ выйду замужъ — по французенкѣ же: Henri. Всѣ на волю: Андрюша съ папой пошли купаться, мама съ Асей «на пеньки», Валерія въ Тарусу на почту, только кухарка одна стучитъ котлетнымъ ножомъ — и я — по клавишамъ. Или, осенью: Андрюша строгааетъ палку, Ася, высунувъ языкъ, рисуетъ дома, мама читаетъ «Eckehardt», Валерія пишетъ письмо Вѣрѣ Муромцевой, я одна — «играю». (За — чѣмъ??)

— Нѣтъ, ты не любишь музыку! сердилась мать (именно сердцемъ — сердилась!) въ отвѣтъ на мой безстыдно-откровенный блаженный, послѣ двухчасового сидѣнія, прыжокъ съ табурета. — Нѣтъ, ты музыку — не любишь!

Нѣтъ — любила. Музыку — любила. Я только не любила — свою. Для ребенка будущаго нѣтъ, есть только — сейчасъ (которое для него — всегда). А сейчасъ были гаммы, и ганоны, и ничтожныя, оскорблявшія меня своей малюточностью «пъески». И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тѣмъ мужемъ Николаемъ или Henri. Хорошо ей было, ей, которая на роялѣ могла всё, ей, на клавиатуру сходявшей какъ лебедь на воду, ей, на моей памяти въ три урока научившейся на гитарѣ и игравшей на ней концертныя вещи, ей, съ нотнаго листа читавшей, какъ я съ книжнаго, хорошо ей было «любить музыку». Въ ней двѣ музыкальныхъ крови, отцовская и материнская, слились въ одну, эти двѣ-то ея всю и дали! и она не учитывала, что собственной, пѣвучей, лирической, одно-стихійной, она сама же противопоставила во мнѣ бракомъ — другую, филологическую и явно-континентальную, съ ея кровью — неслившуюся.

Мать — залила насъ музыкой. (Изъ этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли — на свѣтъ дня!) Мать затопила насъ какъ наводненіе. Ея дѣ-

ти, какъ тѣ бараки нищихъ на берегу всѣхъ великихъ рѣкъ, отродясь были обречены. Мать залила насъ всей горечью своего несбывшагося призванія, своей несбывшейся жизни, музыкой залила насъ какъ кровью, кровью второго рожденія. Могу сказать, что я родилась не *ins Leben*, а *in die Musik hinein*. Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (будущее включая!) Каково же мнѣ было, послѣ невыносимаго волшебства тѣхъ ежевечернихъ ручьевъ (тѣхъ самыхъ уединенныхъ, лѣсно-царѣвыхъ «жемчужны струи») слышать свое честное, унылое, изъ кожи вонъ лѣзущее, подъ собственный счетъ и шелкъ метронома «игранье»? И какъ я могла не чувствовать къ нему отвращенія? Рожденный музыкантъ бы переборолъ. Но я не родилась музыкантомъ. (Помню, кстати, что одна изъ ея самыхъ любимыхъ русскихъ книгъ была «Слѣпой музыкантъ», которымъ она меня постоянно попрекала, какъ и трехлѣтнимъ Моцартомъ, и четырехлѣтней собой, а позже — Мусей Потаповой, которая меня обскакивала, и къмъ еще не, и къмъ только не!..)

Шелкъ метронома. Есть въ моей жизни нѣсколько незыблемыхъ радостей: не идти въ гимназію, проснуться не въ Москвѣ 19-го года, и — не слышать метронома. Шелкъ метронома. Какъ это музыкальныя уши его переносятъ? (Или музыкальныя уши другое, чѣмъ музыкальныя души?) Метрономъ я, до четырехъ лѣтъ, даже любила, почти такъ же, какъ часы съ кукушкой, и за то же: за то, что въ немъ тоже кто-то живетъ, при чемъ кто — неизвѣстно, потому что это я его, въ домѣ, обновила. Это былъ домъ, въ которомъ я сама хотѣла жить. (Дѣти всегда хотятъ въ чемъ-нибудь невыносимомъ жить, — такъ мой сынъ, шести лѣтъ, мечталъ жить въ уличномъ фонарѣ: свѣтло, тепло, высоко, все видно. — А если въ твой домъ бросятъ камень? — Тогда я въ нихъ буду бросаться огнемъ!) Но какъ только я подъ его методическій шелкъ подпала, я его стала ненавидѣть и бояться до сердцебіенія, до обмиранія, до похолоданія, какъ и сейчасъ боюсь по ночамъ будильника, всякаго равномернаго, въ ночи, звука. Точно по мою душу идетъ этотъ звукъ! Кто-то стоитъ надъ твоей душой, и тебя торопить, и тебя удерживаетъ, не даетъ тебѣ нидохнуть ни глотнуть, и такъ же будетъ тебя торопить и удерживать, когда ты уйдешь, — одинъ въ пустой залѣ, надъ пустымъ табуретомъ, надъ закрытой рояльной крышкой, — потому что его забыли закрыть — и доколѣ не

выйдетъ заводъ. Неживой — живого, тотъ котораго нѣтъ — того который есть. А вдругъ заводъ — никогда не выйдетъ, а вдругъ я съ табурета — никогда не встану, никогда не выйду изъ-подъ тикъ — такъ, тикъ — такъ... Это была именно Смерть, стоящая надъ душою, живой душою, которая можетъ умереть — безсмертная (уже мертвая) Смерть. Метрономъ былъ — гробъ, и жила въ немъ — смерть. За ужасомъ звука я даже забывала ужасъ вида: стальная палка вылъзающая, какъ палецъ, и съ маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной. Это была моя первая встрѣча съ техникой и предрѣшившая всѣ остальные, техника во всей ея свѣжести, ея стальной букетъ, ея первый, мнѣ, стальной бутонъ. О, я никогда не отставала отъ метронома! Онъ меня держалъ — не только въ тактъ, но физически приковывалъ къ табурету. Открытый метрономъ былъ лучшей гарантiей, что я не оглянусь на часы. Но мать, къ счастью, иногда забывала, и никакая моя — ея! — протестантская честность не могла заставить меня напоминанiемъ обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотѣла убить — такъ метрономъ. И не перестала еще идти изъ глазъ моихъ тотъ взглядъ сладострастной мести, которымъ я, отыгравъ и съ самымъ непринужденнымъ видомъ проходи мимо этажерки, его, черезъ все высокомерiе плеча, дарила: — Я — иду, а ты — стоишь!

Но мимо этажерки я не только проходила, я у нея подолгу стояла. Этажерка была та же библиотека, но — нѣмая, — точно я вдругъ ослѣпла или одурѣла. Или та же стѣна отцовскихъ латинскихъ, материнскихъ англійскихъ книгъ, именно стѣна — непроницаемая: читаю буквы и не понимаю. Настолько ума у меня было, чтобы сознавать, что здѣсь, въ этихъ коричневыхъ, вождельно-толстенныхъ и громадныхъ тетрадныхъ томахъ — всѣ «жемчужны струи» и моря материнской игры. Но не слышу — глухо! Видитъ око — да зубъ нейметъ! Тогда, отказавшись, начинаю читать слова: Opus — Moll — Rubinstein — Нувеллисть...

Нотная этажерка дѣлилась на «мамино» и «Лёрино». Мамино: Бетховень, Шуманъ, опусы, Dur'ы, Moll'и, Сонаты, Симфонiи, Allegro non troppo, и Лёрино — Нувеллисть. Нувеллисть + Романсы (черезъ французское an). И я, конечно, предпочитала «ансы». Во-первыхъ, въ нихъ вдвое больше словъ, чѣмъ нотъ (на одну нотную строч-

ку — двѣ буквенныя), во-вторыхъ, я всю Лёриву библиотечку могу прочесть подстрочно, минуя ноты. (Когда я потомъ, вынужденная необходимостями своей ритмики, стала разбивать, разрывать слова на слога путемъ непривычнаго въ стихахъ тирэ, и всё меня за это, годами, ругали, а рѣдкіе — хвалили (и тѣ и другіе за «современность») и я ничего не умѣла сказать, кромѣ: «такъ нужно», — я вдругъ однажды глазами увидѣла тѣ, младенчества своего, романсныя тексты въ сплошныхъ законныхъ тирэ — и почувствовала себя омытой: всей Музыкой отъ всякой «современности»: омытой, поддержанной, подтвержденной и узаконенной — какъ ребенокъ по тайному знаку рода оказавшійся — роднымъ, въ правѣ на жизнь, наконецъ! Но можетъ-быть правъ и Бальмонтъ, укоризненно-восхищенно говоря мнѣ: «Ты требуешь отъ стиховъ того, что можетъ дать — только музыка!») Романсы были тѣ же книги, только съ нотами. Подъ видомъ нотъ — книги. Только жаль, что такія короткія. Растахнешь — и конецъ.

Вотъ Дивный Теремъ, съ нарисованной зеленой вродѣ-дачей на ходуляхъ и таинственной, колышками, вкось, надписью: «Посвящается Ея Высочеству Великой Княжнѣ (не помню какой) ко дню возвращенія (а можетъ-быть и отбытія) Ея Августѣйшаго Жениха, Принца (забыла — какого). «Дивный теремъ стоитъ -- И хоромъ много въ немъ...» Помню ожигавшій и заливавшій меня ликованіемъ возгласъ: «Онъ вернется, женихъ!» — точно все спасеніе міра было въ томъ, чтобы женихъ вернулся, обѣщаніе, отъ музыки становившееся обѣтованіемъ, звучащее совсѣмъ какъ: «Благословенъ грядый во имя Господне!» и, одновременно заливавшее меня тоскою -- такъ, точно не вернется женихъ. Этотъ магическій ударъ по мнѣ Дивнаго Терема — тѣ же острые верхи тоски! — я потомъ узнала въ Нибелунгахъ и, цѣлую жизнь спустя, въ безсмертномъ эпосѣ Зигридь Ундсетъ. Это была моя первая встрѣча съ Скандинавскимъ Сѣверомъ. «Женихъ» же мнѣ почему-то представлялся летящимъ на коврѣ-самолетѣ или просто Змѣемъ-Горынычемъ, во всякомъ случаѣ чѣмъ-то воздушнымъ, съ неба падающимъ на ту самую гору. И — какъ продолженіе этой горы -- въ другомъ уже романсѣ: «Милыя го -- оры, мы возврати — имся.» Что это значило? И кто сочинилъ эти странныя слова, кромѣ которыхъ ничего не помню да, кажется, ничего и

не было. Кто (да еще мы, во множественномъ!) утѣшаетъ горы, что — возвратится? Можетъ-быть, тѣ самые Ея Высочество съ Змѣемъ-Горынычемъ, улетающіе со своей горы — царствовать? Во всякомъ случаѣ, для романса — слова странныя, и какъ Святополкъ-Мирскій говорилъ «теряюсь въ догадкахъ». Достоверно — одно: страсть моя къ горамъ и тоска на ровномъ мѣстѣ, дикія для средне-россіянки, — оттуда. Горы во мнѣ начались съ тоски по нимъ и даже съ тоски — ихъ — по мнѣ: вѣдь и же имъ въ утѣшеніе пѣла, что — «возвратимся!»

А вотъ еще, и тоже съ картинкой, которую Валерія по многу разъ перерисовывала акварелью въ альбомы своимъ институтскимъ подругамъ: темно-коричневая старуха съ одной серьгой, въ большомъ клѣтчатомъ, какъ у нашей матери, платкѣ, а носъ и подбородокъ сходятся такъ, что какъ разъ еще успеешь просунуть ножъ — Ворожея.

Погодай-ка мнѣ, старушка,
Я давно тебя ждала.
И косматая, въ лохмотьяхъ,
Къ ней цыганка подошла.

— Лохматая, въ космотьяхъ! какъ во все горло пѣлъ Андрюша, только и ждавший, чтобы пѣвица попала на эту строку. Пѣніе кончалось погоней, а пѣсня — что любить. «Да, сказалъ цвѣтокъ ей темнымъ, сердцу внятнымъ языкомъ. На устахъ ея — улыбка, въ сердцѣ — радость и гроза...»

Всю эту Лѣрину полку я съ полнымъ упоеніемъ и совершенно въ сухую цѣлый день повторяла наизусть, даже иногда, забывшись, при матери. — Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори! — Въ сердцѣ радость и гроза. — Что это значитъ? Я, уже тихо: — Что въ сердцѣ радость и гроза. — Что? Что? мать, наступаая. Я, уже совсѣмъ тихо, (но твердо): — Гроза ... и радость. — Какая гроза? Что значитъ — гроза? — Потому-что ей страшно. — Кому ей? — Которая подошла къ старушкѣ, потому-что старушка — страшная. Нѣтъ, это старушка — подошла. -- Какая старушка? Ты съ ума сошла! -- Изъ Лѣриной пѣсни. Одна барышня обдирала маргаритку и вдругъ видитъ: старушка — съ палкой... Это называется «Ворожея» (ударяю на предпоследнемъ слогѣ. Мать, такъ жс) — А что значитъ «Ворожея»? — Я не знаю. Мать,

торжествующе: — А, вот видишь, не знаешь, а говоришь! Я тебѣ тысячу разъ говорила, чтобы ты не смѣла читать Лёриныхъ нотъ. Не могу же я, наконецъ, отъ нея и этажерку заперать на ключъ! — мать, торопливо проходящему съ портфелемъ въ переднюю, внимательно-непонимающему отцу. Пользуясь отводомъ, скрываюсь въ недосыгаемость лѣстницы, но уже съ половины ея: — «На устахъ ея улыбка, въ сердцѣ радость и гроза... Тà-та, тà-та, тà-та, тà-та... Онъ глядитъ въ ся глаза...» Такъ, изъ-подъ самага метронома, изъ-подъ самага его, полированного, носа лились на меня потоки самой безтактной лирики. А иногда я, застигнутая, просто — врала. (До четырехъ лѣтъ я, по свидѣтельству матери, говорила только правду, потомъ, очевидно, спохватилась...) — Что ты опять тутъ дѣлаешь? — Я смотрю на метрономъ. — Что значить «смотрю на метрономъ»? — Я, съ противоестественнымъ восторгомъ: — Онъ такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя) Желтый! Мать, уже смягченная: — На метрономъ нужно не смотрѣть, а слушать. — Я, уже наверху спасательной лѣстницы, разрываясь между желаніемъ и ужасомъ быть услышанной, громкимъ, но шепотомъ: — Мама, а я въ Лёриныхъ нотахъ рылась! А метрономъ — уродъ!

Къ Лёриному репертуару относились еще всѣ ноты ея матери, всѣ эти оперы и аріи и арранжировки, тоже со словами, но непонятными (лѣнію училась въ Неаполѣ) съ подавлявшимъ меня количествомъ ненавистныхъ мнѣ надлинейныхъ трижды и четырежды перечеркнутыхъ нотъ. «Нувелистъ» же я, за дѣтскую простоту нотнаго начертанія, полную его доступность моей дѣтской несостоятельности — презирала: — столько бѣлыхъ и никакихъ перечерковъ, — точно взяли одинъ материнскій нотный листъ и разсыпали (какъ куръ кормятъ!) на цѣлый годъ «Нувелиста», — такъ, чтобы на каждую страницу хоть немножко попало, — почти-что мой «Лебертъ и Штаркъ», — только съ педалью. Педаль мнѣ, кстати, была строго воспрещена. — «Отъ земли не видать, а уже педаль! Чѣмъ ты хочешь быть: музыкантомъ или (проглатывая «Лёру»)... барышней, которая кромѣ педали да закаченныхъ глазъ... Нѣтъ, ты сумѣй рукой дать педаль!» Давала — ногой, но только въ отсутствіе матери, но зато такъ подолгу, что уже не понимала: уже я (гужу) или — еще педаль? (представлявшаяся мнѣ, кстати, золотой туфель-

кой — Plattfus — Золушки!) Но у педали была еще одна — словесная родня: педель, педель студенческихъ сходокъ, педель, забравшій на сходкѣ нашего съ Асей до собачьяго вою любимаго Аркадія Александровича (Аркаэксаныча), Андрюшинаго репетитора. Педелемъ вызванъ второе въ моей жизни стихотвореніе:

Всѣ бѣгутъ на сходку:
Сходка гдѣ? Сходка — гдѣ?
Сходка будетъ на дворѣ.

Педель, мнившійся мнѣ огромнымъ, выше всего этого двора, и забирающій студентовъ (Аркаэксанычей) свыше, огромной раскаряченной лапой, какъ Людоѣдъ — мальчикъ-съ-пальчиковъ. Людоѣдъ — но такъ какъ это всѣтаки университетскій служитель — то весь въ медаляхъ. И, конечно, такой же одинъ, какъ педали — двѣ. Но назвавъ педеля, не могу не упомянуть его словесной родни: пуделя, бѣлаго ученаго Капи изъ Sans Famille, который рветъ педеля за панталоны — тогда педель Аркаэксаныча выпускаетъ, — и ихъ общей, педеля и педали, словесной родни, двоюродной сестры падали, той падали, которой пахнетъ — одну секунду — и каждый разъ — и безумно сильно — въ бузинѣ, у самаго подступа къ нашей тарусской дачѣ, падали, отъ дѣтства и Тарусы такой родной и мной-самой, что каждый разъ, какъ это слово слышу — оборачиваюсь.

Но возвратимся на мой мученическій табуретъ. Табуретъ былъ, какъ всѣ, должно-быть, но я-то тогда не знала, что всѣ такіе, я даже не знала, что есть еще такіе, это былъ табуретъ, вещь въ домѣ безъ себѣ подобныхъ, магическая, ибо изъ всѣхъ вещей именно она требовала, чтобы я сидѣла смирно, а сама — вертѣлась! На своей рубчатой шеѣ, такъ напоминавшей опципанную индюшачью. Вывернешь ее до прѣдѣла и ждешь не безъ волненія, что, вотъ «голова», ослабнувъ, качнется и совсѣмъ отвалится. Но помню и отвалъ другой головы — собственной, когда, вжавшись руками въ сидѣніе и ногами помогая, обмирая отъ близящейся сладкой тошноты, не разъ, не два, а весь винтъ ввысь и затѣмъ внизъ — до отрыва головы, рвущейся съ шеи, какъ шаръ съ крутимой палки. — А-а-а! опять за вертѣлась! тихо вошедшій и безмолвно наблюдавшій Андрюша, съ злорадствомъ глядя на

мое зеленое лицо. — Давай перочинный ножъ, а то мамѣ скажу, какъ ты тутъ безъ нея своихъ Лебертовъ и Штарковъ играешь. (Пауза) — Дашь ножъ? — Нѣтъ. — Такъ вотъ тебѣ Лебертъ! — Такъ вотъ тебѣ Штаркъ! — и, увѣряю, ударъ былъ вовсе не staccat'ный.

Андрюша на роялѣ не учился, потому-что былъ отъ другой матери, которая пѣла, и вышло бы вродѣ измѣны: домъ былъ начисто подѣленъ на пѣнье (первый бракъ отца) и рояль (второй), которые иногда тарусскими поздними вечерами и полями въ двуголосомъ пѣніи Валеріи и нашей матери — сливались. Но какъ сейчасъ слышу материнское сдавленно-изступленное «охъ» въ отвѣтъ на Валеріино, часами, «подбиранье» и «напѣванье», какъ сейчасъ вижу искаженіе всего ея лица и рукъ на какомъ-нибудь особенно-выразительномъ, при помощи педали, аккордѣ, или на особенно-высокой, при помощи полузакрытыхъ глазъ и вертикальнаго подбородка, нотѣ, за которой вотъ-вотъ начнется тотъ ужасный безголосый сухогорловой крикъ, сравнимый по нестерпимости только съ внезапно ожившимъ и заигравшимъ подъ языкомъ зубнымъ нервомъ, — крикъ за который можно убить.

Но, возвращаясь къ совершенно неприемному, непѣвшему и неигравшему Андрюшѣ: Андрюшину роялю воспротивился самъ его дѣдъ Иловайскій, заявившій, что «Ивану Владиміровичу въ домѣ и такъ довольно музыки». Бѣдный Андрюша, затертый между двумя браками, двумя роками: пѣть мальчиковъ не учать, а рояль — м е й н о в с к о е (второ-женино). Бѣдный Андрюша, на которого не хватило: — ушей? свободной клавиатуры? получаса времени? простого здраваго смысла? чего? — всего и больше всего — слуха. Но вышло какъ по писаному: ни изъ Валеріиныхъ горловыхъ полосканій, ни изъ моего душевнаго туше, ни изъ Асинныхъ, «тили-тили» — ничего не вышло, изъ всѣхъ нашихъ дарованій, мученій, ученій — ничего. Вышло изъ Андрюши, отродясь незятаго на нашъ горделивый музыкальный корабль, полавшаго въ нашемъ домѣ въ нѣкое междумузыкальное пространство, чтобы было гостямъ и слугамъ, а можетъ-быть и городовому за окномъ — на чемъ отдохнуть: на его пѣмотѣ. Но по особому вышло, и двойной запретъ сбился: ни пѣть, ни играть на роялѣ онъ не сталъ, но изъ Андрюши ставъ Андреемъ, самъ, самоучкой, саморучно и самоушно, научился играть сначала на гармоникѣ, потомъ на балалай-

кѣ, потомъ на мандолинѣ, потомъ на гитарѣ, подбирая по слуху — всё, и не только самъ научился, а еще и Асю научилъ на балалайкѣ, и съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ мать на рояль: играла громко и вѣрно. И послѣдней радостью матери была радость этому большому красивому смущенно улыбающемуся неаполитанцу-пасынку (оставленному ею гимназическимъ бобрикомъ), съ ея гитарой въ рукахъ, на которой онъ, присѣвъ на край ея смертной постели, смущенно и увѣренно игралъ ей всѣ пѣсни, которыя зналъ, а зналъ — всѣ. Гитару свою она ему завѣщала, передала изъ рукъ въ руки: — «Ты такъ хорошо играешь и тебѣ такъ идетъ»... И, кто знаетъ, не пожалѣла ли она тогда, что тогда послушалась стараго дѣда Иловойскаго и своего молодого второ-женинаго такта, а не своего умнаго, безумнаго сердца, т. е. забывши всѣхъ дѣдовъ и женъ: ту, первую, себя, вторую, нашего съ Асей музыкальнаго дѣда и Андрюшинаго историческаго, не усадила: меня — за письменный столъ, Асю — за геркулесъ, а Андрюшу — за рояль: — «До, Андрюша, до, а это ре, до — ре...» (изъ котораго у меня никогда ничего не вышло, кромѣ *Doré, Gustav'a...*)

Но замѣчаю, что я еще ничего не сказала о главномъ дѣйствующемъ лицѣ моего дѣтства — самомъ роялѣ. (Золотыми буквами «Бэккеръ», — *Royale à queue.*) Но рояль не одинъ. Въ каждомъ играющемъ дѣтствѣ: разъ, два, три, — четыре рояля. Во-первыхъ, — тотъ, за которымъ сидишь (томишься и такъ рѣдко гордишься!). Во-вторыхъ, — тотъ, за которымъ сидятъ — мать сидитъ — значить: гордишься и наслаждаешься. Не «какъ сейчасъ вижу» — такъ сейчасъ уже не вижу! — какъ тогда вижу ея коротковолосую чуть волнистую никогда не склоненную, даже въ письмѣ и въ игрѣ отброшенную голову на высокомъ стержнѣ шеи между двухъ такихъ же непреклонныхъ свѣчъ на выдвигныхъ боковыхъ досочкахъ. И еще разъ ту же голову — въ одномъ изъ парныхъ стоячихъ зальныхъ зеркалъ, въ зеркальной его вертикали надъ рояльной горизонталью, ту же голову, но съ невидимой намъ стороны, (тайна зеркала, усугубленная тайной профиля!) — въ отвѣсномъ зеркальномъ пролетѣ, отдаляющемъ ее отъ насъ на всю непостижимость и недостижимость зеркала, голову матери между свѣчъ отъ зеркала дѣлающуюся — почти ёлкой!

Третій и можетъ-быть самый долгій — тотъ, подъ ко-

торымъ сидишь: рояль изнизу, весь подводный, подрояльный міръ. Подводный не только изъ-за музыки, лившей на голову: за нашимъ, между нимъ и окнами, заставленные его черной глыбой, отдѣленные и отраженные имъ какъ чернымъ озеромъ, стояли цвѣты, пальмы и филодендроны, подрояльный паркетъ превращавшіе въ настоящее водное дно, съ зеленымъ, на лицахъ и на пальцахъ, свѣтомъ, и настоящими корнями, которые можно было руками трогать, гдѣ какъ огромныя чуда беззвучно двигались материнскія ноги и педали.

Трезвый вопросъ: почему цвѣты стояли за роялемъ? Чтобы неудобнѣе поливать? (Съ матери, при ея нравѣ, бы случилось!) Но отъ этого соединенія: рояльной воды и воды леечной, рукъ матери, играющихъ, и рукъ, поливающихъ, попеременно льющихъ то воду, то музыку, рояль для меня навсегда отождествленъ съ водою, съ водою и зеленью: листовымъ и воднымъ шумомъ.

Это — материнскія руки, а вотъ -- материнскія ноги. Ноги матери были отдѣльныя живыя существа, внѣ всякой связи съ краемъ ея длинной черной юбки. Вижу ихъ, вѣрнѣ одну, ту, что на педали, узкую, но большую, въ черномъ безкаблучномъ башмакѣ на пуговкахъ, которая мы зовемъ глазами молса. Потому они и прюнелевые (*prunelle des yeux* — молса). Нога черная, а педаль золотая, и почему это для матери она правая, а для меня — лѣвая? Какъ это она сразу — правая и лѣвая? Вѣдь если бы нажать отсюда, т. е. изъ-подъ рояля, лицомъ къ колѣнамъ матери, она бы оказалась лѣвой, т. е. короткой (по звуку). Почему же у матери она выходитъ правая, т. е. звукъ — тянетъ? А что, если я одновременно съ материнской ногой нажму ее — рукой? Можетъ-быть получится длинно-короткая? Но длинно-короткая значитъ никакая, значитъ — ничего не получится? Но тронуть ногу матери я не смѣю, это мнѣ, собственно, и въ голову не могло придти.

— Еще доказательство твоей немзыкальности! восклицала мать, послѣ цѣлаго часа игры (изъ которой выходила потерянная какъ пловецъ изъ слишкомъ долгой и бурной воды, никого и ничего не узнавая), послѣ часовой игры, наконецъ, обнаружившая, что мы весь часъ сидѣли подъ роялемъ: Ася—вырѣзая изъ картоннаго листа тѣлесныхъ дѣвочекъ и ихъ поштучное приданое, я—думая про правую и лѣвую, а чаще ничего не думая, какъ въ Окѣ.

Авдюша подъ роялемъ скоро пересталъ сидѣть; у него вдругъ такъ выросли ноги, что онъ непременно попадалъ ими въ ноги матери, которая тогда вставала и усаживала его за книгу, которая онъ ненавидѣлъ, потому-что ему только ихъ и дарили — именно потому-что ненавидѣлъ, — для того чтобы любить. И еще потому, что у него отъ чтенія сразу шла кровь носомъ. Такъ-что, изъ инстинкта самосохраненія, подъ рояль не лѣзъ, а неподвижно сидѣлъ на своемъ штекенпфердѣ въ аркѣ залы, показывая намъ съ Асей кулаки и языки. — Музыкальное ухо не можетъ вынести такого грома! уже гремѣла мать, совершенно меня оглушая. Вѣдь оглохнуть можно! (Молча: — Это то мнѣ и нравится! Вслухъ же:) — Такъ лучше слышно! — Лучше слышно! Барабанная перепонка треснуть можетъ! — А я, мама, ничего не слышала, честное слово! торопливо и хвастливо, Ася. Я все думала про этотъ, маленький, маленький, ма- аленькій зубчикъ! въ полномъ чистосердечіи суя матери подъ носъ безукоризненной рѣзки кукольные панталонные фестоны. — Какъ, ты влобавокъ еще острыми ножницами рѣзала! мать, совсѣмъ сраженная. — Fräulein, гдѣ вы? Одной лучше слышно, а другая ничего не слышала, и это дѣдушкины внуки, мои дочери... О, Господи!.. — и, замѣчая уже дрожаніа губъ своей любимицы: — Асенькѣ — еще простительно... Асенька еще маленькая.. Но ты, ты, которой на Юанна Богослова шесть лѣтъ стукнуло!

Бѣдная мать, какъ я ее огорчала, и какъ она никогда не узнала, что вся моя «немузыкальность» была — всего только лишь другое призваніе!

Четвертый рояль: тотъ, надъ которымъ стоишь: глядишь и, глядя, входяишь, и который, въ постепенности годовъ, обратно вхожденію въ рѣку и всякому закону глупины, тебѣ сначала выше головы, потомъ по горло (и какъ начисто срѣзая голову своимъ чернымъ краемъ холоднѣй ножа!) потомъ по грудь, а потомъ уже и по поясъ. Глядишь, и глядя, глядишься, постепенно сводя сначала кончикъ носа, потомъ ротъ, потомъ лобъ съ его чернымъ и твердымъ холодомъ. (Почему онъ такой глубокой и такой твердой? Такой вода и такой ледъ? Такой ледъ и такой нѣтъ?) Но кромѣ попытки войти въ рояль лицомъ, была еще простая дѣтская шалость: надыхать, какъ на оконное стекло, и на матовомъ, уже сбѣгающемъ серебряномъ овалѣ дыханія успѣть отпечатать носъ и ротъ,

которые: носъ — выходить пятачкомъ, а ротъ — совершенно распухшимъ, точно пчела всюду укусила! — въ глубокихъ продольныхъ полоскахъ, какъ цвѣтокъ, и вдвое короче чѣмъ въ жизни, и вдвое шире и который сразу исчезаетъ, сливаясь съ чернотой рояля, точно рояль мой ротъ — проглотилъ. А иногда я, за недостаткомъ времени, съ оглядкой на всѣ выходы залы: въ переднюю — разъ, въ столовую — два, въ гостиную — три, въ мезонизъ — четыре, откуда, изъ всѣхъ сразу, могла выйти мать, просто рояль цѣловала — для холода губъ. Нѣтъ, можно войти дважды въ ту же рѣку. И вотъ, съ самаго темнаго дна идетъ на меня круглое пятилѣтнее пытлиное лицо, безъ всякой улыбки, розовое даже сквозь черноту — вродѣ негра окунутаго въ зарю или розы — въ чернильный прудъ. Рояль былъ моимъ первымъ зеркаломъ, и первое мое, своего лица, осознаніе было сквозь черноту, переведеніемъ его на черноту, какъ на языкъ темный, но внятныи. Такъ мнѣ всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, пужно окунуть ее въ стихи, отътуда увидѣть.

И, наконецъ, послѣдній рояль — тотъ, въ который заглядываешь: рояль нутра, нутро рояля. Струнное его нутро, какъ всякое нутро — тайное, рояль Пандоринаго: «А что тамъ внутри?», — тотъ, о которомъ Фетъ, во внятной только поэту и музыканту, потрясающей своей зрительностью строкъ:

Рояль былъ весь раскрытъ и струны въ немъ
дрожали...

Не тѣ аллегорическія «струны души», а настоящія, рукой мастера протянутыя и которыя рукой можно тронуть, прослѣдить отъ серебряныхъ закрѣпокъ до обутихъ въ красный бархатъ молоточковъ, *Hämmerlein im Kämpferlein*, чѣмъ-то — гриммовскихъ, чѣмъ-то гномовскихъ. Рояль торжественныхъ дней, каретъ, ретондъ, Великаго Созвѣздія Люстры, рояль большихъ четырехручныхъ соствязаній, римской квадриги — рояль! — рѣдкостный его ликъ, когда онъ поставленной дыбомъ крышкой сразу обращался въ арфу, а озерная его несомутимая гладь въ струнную, бурей или богатыремъ низложенную изгородь Жарь-Птицы — только задѣнь и что пойдетъ! Рояль, отъ котораго утромъ, какъ отъ всякаго ночного чуда, не оставалось ни слѣду!

Но чтобы ничего не обидѣть въ моемъ старомъ другѣ-недругѣ: Notenpult, нотный пюпитръ, та изгородь изъ неживыхъ цвѣтовъ — между волей и мной, — черные деревянные лакированные цвѣты, въ шмелыные, змѣйные, малинные дни замѣнявшіе мнѣ, увы, цвѣты полевые! Нотный пюпитръ, который можно класть такъ, чтобы нотная тетрадь лежала, какъ въ обморокъ — и ставить такъ, чтобы висѣла надъ тобой, какъ утѣсь, ежесекундно грозя разразиться ужасающей клавишной кашей. Рояльный пюпитръ съ освободительнымъ трескомъ его окончательнаго закрытія.

И еще — сама фигура рояля, въ дѣтствѣ мнившаяся мнѣ окаменѣлымъ звѣринымъ чудовищемъ, гиппопотамомъ, помнится, не изъ-за вида — я ихъ никогда не видала! — а изъ-за звука: гиппопо (само тулово) а хвостъ — тамъ. А потомъ, съ переводомъ вещей на человѣческое — пожилой мужской фигурой 30-ыхъ годовъ: тучный, но *bien pris dans la taille*, несмотря на громоздкость — грація, тотъ опытный, немолодой, непремѣнно — фрачный танцоръ, котораго дѣвушки, только взглянувъ, предпочитаютъ самому воздушному и военному. А еще лучше — дирижеръ! ярко-черный, плавный, безъ лица, потому-что всегда спиной — и полный чаръ. Поставь рояль дыбомъ, и будетъ дирижеръ! И, оставивъ и танцора и дирижера: вѣдь рояль только вблизи неповоротливъ, на вѣсъ — непомѣренъ. Но отойди въ глубину, положи между нимъ и собой все необходимое для звучанія пространство, дай ему, какъ всякой большой вещи, *мѣсто стать собою*, и рояль выйдетъ не менѣе изящнымъ, чѣмъ стрелкоза въ полетѣ. Горы только на тебѣ давятъ, и единственная возможность ихъ съ себя снять — либо отойти, либо взойти. Взойди на рояль. Руками взойди. Какъ мать всходила.

Чтобы дать, хоть немножко, ея игру — три случая. Когда мы съ ней, въ самый разгаръ ея перваго туберкулезнаго приступа, пріѣхали въ Нерви, была уже ночь и играть нельзя было. Такъ мы и заснули, мы съ Асей не увидѣвъ моря, она — не испробовавъ рояля. Зато съ утра она, совсѣмъ больная, всю дорогу лежавшая, сразу встала — и съѣла. Черезъ нѣсколько минутъ — стукъ въ дверь. На порогѣ черный сладкій брюнетъ въ котелкѣ. — Позвольте представиться: Д-ръ Манжини. А Вы, если не ошибаюсь, — синьора такая-то, моя будущая пациентка? (рѣчь

шла на затрудненномъ французскомъ). Я проходилъ мимо и слышалъ Вашу игру. И долженъ предупредить Васъ, что если Вы будете такъ продолжать, Вы не только сами сторите, но весь нашъ Pension Russe — сожжете». И, съ неизъяснимой усладой, уже по-итальянски: «Geniale... Geniale...» Играть онъ ей, конечно, надолго запретить.

Второй случай — уже на возвратномъ пути въ Россію — умирать. Гдѣ-то, кажется въ Мюнхенѣ, она — все то же, куда бы мы ни прибывали, — только умывшись съ дороги и даже не переодѣвшись, сразу прошла къ роялю. И вотъ, видимъ съ Асей, какъ какой-то мальчикъ, старше насъ, должно-быть лѣтъ четырнадцати, ярко-розовый и весь отливающий волоснянымъ золотомъ, все подѣзжаетъ къ ней на стулъ, къ ней: къ ея рукамъ и кипящимъ изъ-подъ нихъ звукамъ, пока наконецъ, неловкимъ движеніемъ, какъ совершенно сонный, не свалился ей подъ ноги вмѣстѣ со стуломъ, то-есть попросту — подъ рояль. Мать, ничего не замѣчавшая, тутъ сразу все поняла: безъ всякой улыбки помогла ему выбраться и опустивъ ему на голову руку, тутъ же, не отводя ея, чуть подняла ему лобъ, точно бчитываясь. (Сынъ Александръ.) Нужно сказать, что изъ всѣхъ присутствующихъ, а присутствовали — все то же, куда бы мы ни прибывали — въ сѣ, никто не засмѣялся. (Ибо мальчикъ такъ же просто — съ тѣмъ же полукрытымъ ртомъ — и съ тѣмъ же стуломъ — могъ бы свалиться въ горящую печь — или въ львиный ровъ.) Мы же съ Асей отродясь знали, что глупо смѣяться, когда другой падаетъ: вѣдь Наполеонъ — тоже упалъ! (Я даже, въ своемъ максимализмѣ, шла дальше: глупо, когда не падаетъ. Идетъ и не падаетъ, — вотъ дуракъ!) Никогда не забуду своей матери съ чужимъ мальчикомъ. Это былъ самый глубокий, за всю мою жизнь, поклонъ.

— Мама (это было ея послѣднее лѣто, послѣдній мѣсяцъ послѣдняго лѣта) — почему у тебя Warum выходитъ совсѣмъ по другому? — Warum — Warum? пошутила съ подушекъ мать. И, смывая съ лица улыбку: — Вотъ когда вырастешь и оглянешься и спросишь себя, warum все такъ вышло — какъ вышло, warum ничего не вышло, не только у тебя, но у всѣхъ, кого ты любила, кого ты играла, — ничего ни у кого — тогда и сумѣешь играть Warum. А пока — старайся.

Послѣднее — смертное. Июнь 1906 г. До Москвы не до-

ѣхали, остановились на станціи «Тарусская». Всю дорогу изъ Ялты въ Тарусу мать переносили. («Сѣла пассажирскимъ, а доѣду товарнымъ», шутила она.) На рукахъ же посадили въ тарантасъ. Но въ домъ она себя внести не дала. Встала, и отклонивъ поддержку, сама прошла мимо замершихъ насъ эти нѣсколько шаговъ съ крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ горизонтали, въ бѣжесвой дорожной пелеринѣ, которую пелериной заказала, чтобы не мѣрять рукавовъ. — Ну посмотримъ, куда я еще гожусь? усмѣхаясь и явно-себѣ сказала она. Она сѣла. Всѣ стояли. И вотъ, изъ подъ обычныхъ уже рукъ — но мнѣ еще не хочется называть вещи, это еще моя тайна съ нею...

Это была ея послѣдняя игра. Послѣднія ея слова, въ той, свѣжаго соснового тесу, затемненной тѣмъ самымъ жасминомъ пристройкѣ, были: — Мнѣ жалко только музыки и солида.

Послѣ смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на-нѣтъ. Приходили еще учительницы. Но тѣ вещи, которыя я при ней играла, остались послѣдними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней изъ страху и для ея радости. Радовать своей игрой мнѣ уже было некого — всѣмъ было все равно, вѣрнѣй: только ей одной мое нестараніе было бы страданіемъ — а страхъ, страхъ исчезъ отъ сознанія, что ей оттуда (меня всю) виднѣй... что она мнѣ меня — такую, какъ я есть — простить?

Учительницы моихъ многочисленныхъ школъ, сначала ахавшія, вскорѣ ахать переставали, а потомъ ужъ и по другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на-нѣтъ. Такъ море, уходя, оставляетъ ямы, сначала глубокія, потомъ мелѣющія, потомъ чуть-влажныя. Эти музыкальныя ямы — слѣды материнскихъ морей — во мнѣ навсегда остались.

Жила бы мать дальше — я бы навѣрное кончила Консерваторію и вышла бы неплохимъ піанистомъ — ибо данныя были. Но было другое: заданное, съ музыкой несравненное и возвращавшее ее на ея настоящее во мнѣ мѣсто: общей музыкальности и «недюжинныхъ» (какъ мало!) способностей.

Есть силы, которыхъ не можетъ даже въ такомъ ребенкѣ осилить даже такая мать.

Марина Цвѣтаева.

Отрывки воспоминаний *)

ТЮРЬМА.

Въ концѣ марта 1920 года я возвращалась въ Москву изъ Ясной Поляны въ скотскомъ вагонѣ. Я простояла около сутокъ въ страшной давкѣ. Ноги болѣли, плечи рѣзало отъ тяжелаго мѣшка съ мукой, бѣлье липло къ грязному тѣлу, по мнѣ ползали вши, горѣли глаза и хотѣлось спать. Я предвкушала ванну, сонъ и, казалось, силъ хватить ровно настолько, чтобы втащить вещи во второй этажъ.

Теперь часто приходилось испытывать это чувство. Думаешь: вотъ-вотъ упадешь, силы изсякли, но напрягаешь волю, еще немного, и оказывалось, что силы есть. Нѣтъ предѣла терпѣнію — все можно вынести, ко всему привыкнуть!

На дверяхъ квартиры была печать ВЧК.

Что это могло значить?

Я свалила вещи и пошла къ сосѣдямъ звонить по телефону: «Кремль! Секретаря ВЦИК! Говоритъ комиссаръ Ясной Поляны!»

Я знала секретаря ВЦИК'а Енукидзе лично и начала съ возмущеніемъ говорить ему, что я только что пріѣхала изъ Ясной Поляны, устала и прошу его распорядиться, чтобы ВЧК немедленно сдѣлало у меня обыскъ и распечатало бы квартиру.

Политикой я не занималась, ничего запрещеннаго у меня не было и я была увѣрена, что это ошибка.

«Подождите, сейчасъ наведу справку и позвоню!»

Онъ вызвалъ меня минутъ черезъ пятнадцать: «Сотрудники ВЧК сейчасъ у васъ будутъ».

«Да? Но почему же все-таки запечатана квартира? Въ чемъ дѣло?»

*) См. «Совр. Зап. кн. 56.

«Не знаю. Говорят, что имѣсть на это серьезныя основанія».

Меня поразила сухость въ тонѣ любезнаго грузина. Я съѣла на чемоданъ у дверей квартиры и стала ждать.

Чекисты прѣѣхали минутъ черезъ двадцать: двое въ военной формѣ, а третій, тшедушный молодой человекъ, въ бархатной курткѣ, съ блѣднымъ лицомъ, томными глазами и каштановыми, выющимися по плечамъ длинными волосами. Было что-то нездоровое, ненормальное въ обликѣ этого человека...

«Вы...»

«Съ ними», кивнулъ онъ головой на военныхъ. «Художникъ-футуристъ».

«И... чекистъ?»

«Да, и сотрудникъ Ч. К».

«Пожалуйста, дѣлайте поскорѣе обыскъ», сказала я, отпирая всѣ шифоньерки, письменный столъ, комоды, шкафы: «Ищите!»

Они искали долго, ничего не нашли.

«Собирайте вещи!»

«Зачѣмъ?»

«Вы арестованы.»

«Арестована? За что? Въдь вы же ничего не нашли!»

«Есть ордеръ на вашу арестъ».

«Не можетъ быть!» воскликнула я. «За что меня арестовывать! Я комиссаръ Ясной Поляны! Я не принимала участія въ политикѣ! Это недоразумѣнiе!»

«Потрудитесь собирать вещи!»

«Ни за что! Это нелѣпость какая-то. Никуда я не поѣду. Справьтесь! Это ошибка!»

Чекисты заколебались и, оставивъ меня подъ присмотромъ художника-футуриста, пошли говорить съ начальствомъ по телефону.

«Васъ приказано немедленно арестовать», сказали они, вернувшись.

«Но у меня на рукахъ казенныя деньги, отчеты, документы. Я должна ихъ сдать, привести все въ порядокъ. Дайте мнѣ три часа, раньше я не поѣду.»

Снова чекисты ушли разговаривать съ начальствомъ.

«Дѣлайте, что вамъ нужно, только скорѣй!»

Мои друзья и племянница, пришедшіе меня встрѣтить, развели самоваръ. Художникъ-футуристъ съ наслажденіемъ уплегалъ мои яснополянскіе припасы: медъ, бѣлый хлѣбъ, масло, варенье.

Прошло около двухъ часовъ. Я приняла ванну, надѣла чистое бѣлье, собрала вещи, сдала бумаги и деньги племянницѣ, напилась чаю.

Было уже девять, когда меня привезли на Лубянку 2 и ввели въ комендатуру. Мелькала передо мной громадная фигура рыжаго коменданта Попова, я сидѣла на стулѣ и клевала носомъ. Въ первомъ часу ночи допросили и я узнала, за что арестована.

Больше года тому назадъ друзья просили меня предоставить имъ квартиру Толстовскаго Товарищества для совѣщаній, что я охотно сдѣлала. Я знала, что совѣщанія эти были политическаго характера, но не знала, что у меня въ квартирѣ собиралась головка «Тактического Центра».

Я не принимала участія въ совѣщаніяхъ. Раза два ставила самоваръ и поила ихъ чаемъ. Иногда меня вызывали по телефону и когда я входила въ комнату, всѣ замолкали. Объ этихъ собраніяхъ я давно забыла, но теперь, узнавъ, за что арестована, поняла, что дѣло мое серьезно.

Меня привели въ камеру около 2-хъ часовъ ночи. Мучила жажда.

«Товарищъ, дайте воды, пожалуйста», попросила я надзирателя.

«Не полагается».

Дверь захлопнулась, шелкнулъ замокъ. Камера маленькая, узкая. Я едва успѣла постелить постель, какъ электричество погасло.

Когда я была моложе, у меня было счастливое свойство. Послѣ несчастій, сильныхъ волненій, наступала реакція и я могла заснуть немедленно, лежа, сидя, а когда была на войнѣ, ухитрялась спать даже верхомъ на лошади. Наканунѣ я совѣмъ не спала, глаза слипались. Я легла на койку, закрыла глаза, но тотчасъ же вскочила: въ батареяхъ что-то зашуршало. Я замерла. Шорохъ повторился, зашуршало по стѣнѣ и мягко шлепнулось на полъ, одинъ разъ, другой... «Крысы!» Я постучала о край койки. Шумъ прекратился, но черезъ нѣсколько секундъ возобновился, послышался топотъ. Животныя пищали, догоняли другъ друга, казалось вся камера была полна крысами.

«Только бы на койку не влѣзли», подумала я, и въ ту же минуту почувствовала, какъ крыса карабкается по пледу. Я въ ужасѣ дернула конецъ, животное оборвалось и шлепнулось на полъ. Я подоткнула пледъ такъ, чтобы онъ не висѣлъ, но крысы

карабкались по стѣнѣ, по ножкамъ табуретки, бѣгали по подоконнику. Я нагнула табуретку, схватила ее и внѣ себя отъ ужаса махала ею въ темнотѣ.

«Что за шумъ, гражданка? Въ карцеръ захотѣли?» крикнулъ въ волчокъ надзиратель.

«Зажгите огонь, пожалуйста! Камера полна крысъ!»

«Не полагается!» Онъ захлопнулъ волчокъ и я слышала, какъ шаги его удалялись по корридору.

Опять на секунду все затихло. Мучительно хотелось спать. Но не успѣла я сомкнуть глаза, какъ снова ожила камера. Крысы лѣзли со всѣхъ сторонъ, не стѣсняясь моимъ присутствіемъ, наглѣя все больше и больше. Онѣ были здѣсь хозяевами.

Въ ужасѣ, не помня себя, я бросилась къ двери, сотрясала ее въ припадкѣ безумія и вдругъ ясно представила себѣ, что я заперта, заперта одна, въ темнотѣ съ этими чудовищами. Волосы зашевелились на головѣ. Я вскочила на койку, встала на колѣни и стала биться головой объ стѣну.

Удары были безшумные, глухіе. Но въ самомъ движеніи было что то успокоительное, и крысы не лѣзли на койку. И вдругъ, можетъ быть потому, что я стояла на колѣняхъ, на кровати, какъ въ далекомъ, далекомъ дѣтствѣ, помимо воли стали выговариваться знакомыя, чудесныя слова. «Отче нашъ», и я стучалась головой объ стѣну, «ниже еси на небесѣхъ», опять ударъ, «да святится...» и когда кончила, начала снова.

Крысы дрались, безчинствовали, нахальничали... Я не обращала на нихъ вниманія: «И остави намъ долги наши...»

Просыпаясь, я съ силой отшвырнула съ груди что-то мягкое. Крыса ударилась объ полъ и побѣжала. Сквозь рѣшетки матоваго окна чуть пробивался голубовато-сѣрый свѣтъ наступающаго утра.

Утромъ повели въ уборную. Только начала мыться — стучать.

«Гражданка! Кончайте! Уступайте мѣсто другимъ!»

Дѣлать нечего. У меня былъ съ собой эмалированный тазикъ. Наполнила его водой и рѣшила докончить умываніе въ камерѣ.

Полутьма, ни книгъ, ни бумаги, ни карандаша нѣтъ. Отняжи. Дѣлать нечего. За стѣной скребутся крысы. Днемъ я ихъ не боюсь, но съ ужасомъ думаю о ночи.

Часа въ два дня пришелъ надзиратель.

«Собирайте вещи». И на мой вопросительный взгляд: «Переводитесь въ общую».

Въ одной рукѣ понесла вещи, въ другой тазъ съ водой, боясь расплескать.

Отперъ угловую камеру въ концѣ корридора. За столомъ сидитъ компанія женщинъ. Увидѣли меня съ тазомъ — смѣются. Разсмѣялась и я.

«Вы — Толстая?» спросила меня одна изъ нихъ, постарше, съ маленькими острыми глазами и нервнымъ, чуть дергающимся лицомъ.

«Да». Странно, почему она знаетъ?

«А мы вотъ карты дѣлаемъ изъ папиросныхъ коробокъ», сказала она мнѣ. «Вотъ тутъ устраивайтесь», указала она мнѣ пустую койку у дверей. Комната была длинная и неправильная, суживающаяся въ концѣ. Съ двухъ сторонъ по окну съ рѣшетками и матовыми стеклами. Койки стояли почти вплотную по стѣнамъ. Слѣва у окна тяжелый ломберный столъ, два стула, вотъ и все.

«Я докторъ медицины Петровская», сказала мнѣ пожилая женщина.

«По Петербургскому дѣлу», сейчасъ же добавила она, «Юдсичка ждали...»

«Madame parle français, n'est ce pas?» обратилась ко мнѣ сосѣдка по койкѣ. И по великолѣпному произношенію, по тонкому гриму на лицѣ и особому шикъ въ одеждѣ, свойственному только парижанкамъ и не утерянному даже здѣсь, я сразу опредѣлила ея національность.

«Oh! Mademoiselle la princesse parle aussi!» кивнула она на высокую дѣвушку лѣтъ 18-ти съ тонкимъ аристократическимъ лицомъ.

«Ее арестовали въ связи съ дѣдомъ брата», кивнула на княжну бѣлокурая, красивая женщина лѣтъ подлѣ тридцать.

«А зачѣмъ у васъ тазъ съ водой?» спросила дѣвица съ большими томными глазами. «Очень это смѣшно!»

«Мыться. А крысы у васъ есть?»

«Есть, но немного».

Мнѣ хотѣлось спать. И я стала стелить постель. Койка — три сбитыя неотесанныя тесины. Между каждой тесной три, четыре пальца. Жидко набитый стружками тюфякъ провалился въ щели и тесины краями вѣзлись въ тѣло. Я подложила подъ бокъ думочку, подъ голову пальто, закрылась пледомъ и заснула какъ убитая.

Проснулась я только на слѣдующее утро.

«Будеть вамъ курить, докторъ! Всю камеру прокурили, дышать нечѣмъ!» ворчала бѣлокурая, флегматичная дѣвица, по профессіи машинистка, дѣлливо ворочаясь на кровати. «И что вы ходите все взадъ и впередъ, какъ маятникъ!»

«Не сердитесь, голубушка! Силь нѣтъ! Мѣста себѣ не найду».

«Господи! И чего волноваться. Этимъ не поможешь. Вѣдь вотъ не волнуешь же я».

«Вамъ то чего волноваться? Вѣдь вы же въ дѣлѣ не участвовали?»

Машинистка промолчала.

«Ахъ, да развѣ я за себя! У меня сынъ, дочь, мужъ! Моя жизнь кончена. Вы представьте себѣ только, можно ли быть спокойной, когда ихъ всѣхъ могутъ разстрѣлять изъ-за меня, всѣхъ, всѣхъ!»

«Да вѣдь вы говорите, что сына вашего помиловали...»

«Боже мой! Да развѣ можно кому-нибудь вѣрить! Сегодня помиловали, а завтра разстрѣляютъ». И докторша хваталась дрожащими руками за книжечку, отрывала листочекъ папирусной бумаги, крутила папиросу и снова нервно закуривала.

«Знайте», вступила француженка. «Вы, когда слѣдователь говоритъ, немножко съ нимъ coquette, немножко ружъ, немножко blanc, я смѣюсь, онъ смѣюсь...»

«А вы смѣялись, помните, когда васъ ночью съ вещами потребовали?»

«Oh! Mon Dieu! Нѣтъ, не смѣяль, я плакайть, плакайть. Я думалъ, меня стрѣлять!»

«Да, жуткое было время», начала Петровская, «то и дѣло на разстрѣлъ выводили. Пришли за ней ночью, велеть собирать вещи. Съ ней истерика — плачетъ, хохочетъ. Вдругъ упала на колѣни: «Докторъ», кричитъ, «смолитесь на моя грѣшная душа». Я съ ней съ ума было сошла. А утромъ привели».

«Куда же водили?»

«На допросъ».

«Нарочно пугаютъ», сказала дѣвица съ томными глазами. «Своего рода пытка. Запугиваютъ, думаютъ, что человекъ больше расскажетъ».

«Oh! Ma pauvre mère, mon pauvre Henri! Ils ne sauront jamais ce que j'ai souffert!»

«Женихъ у нея во Франціи», продолжала докторша, «а обвиняютъ ее въ шпионствѣ. Сошлась она съ какимъ-то негодяемъ...»

«Mais non, docteur! Меня принимайть за шпионъ, се мон-

sieur меня спасайтъ. Я его не любила, ce monsieur, oh, non! Henri comprendra ça! Я пошелъ съ нимъ только по благодарству. J'étais son amante plusieurs jours seulement».

«Не поймешь ихъ. Слушаю ихъ разговоры цѣлый мѣсяцъ. А кто за что арестованъ, ничего не могу понять», и машинистка поправила на своей кровати подушки, укладываясь поудобнѣе.

«Ахъ, я вамъ все расскажу», нервно подергиваясь и покашливая, таинственно зашептала докторша, нагибаясь и обдавая меня табачнымъ перегаромъ. «Подходилъ Юденичъ. Въ Петербургѣ во главѣ организаціи стоялъ англичанинъ, красавецъ собой, смѣлый... Я была готова пожертвовать жизнью...»

Докторша говорила быстро, почти не останавливаясь, говорила, какъ заученный урокъ, какъ будто она много разъ повторила свою исторію.

Хотѣлось, чтобы она замолчала, было чувство брезгливости, почти физическаго отвращенія къ женщинѣ, къ ея любви къ англичанину. «Пасынка приговорили къ расстрѣлу, сына можетъ быть помиловать. Дочь въ тюрьмѣ».

«И они участвовали въ заговорѣ?»

«Да, да, и я, я одна виновата... Боже мой, Боже мой...» Докторша истерически рыдала...

Я не находила словъ утѣшенія и мнѣ было съ ней неловко. А она все говорила, говорила...

Одинъ разъ кто-то обратилъ вниманіе на отопительныя трубы, проходящія въ сосѣднюю камеру. Я съѣла на полъ и стала расковыривать известку желѣзной шпилькой. Щель была замазана плохо и известка легко ссыпалась.

«Станьте у двери, караульте надзирателя», шепнула я товаркамъ.

Докторъ Петровская быстро вскочила и заняла наблюдательный постъ. «Щепочкой, щепочкой», шептала она, «отъ корочки отломайте». И вдругъ я услышала съ той стороны шорохъ, точно мыши скреблись. Я попробовала пропихнуть щепочку, почувствовала, что ее вытягиваютъ. Она вся ушла и черезъ минуту снова показалась съ привязанной къ ней записочкой. «Кто у васъ въ камерѣ? У насъ сидятъ такіе-то и такіе-то». Записка была подписана пятью, одинъ изъ нихъ былъ знакомый, засѣдавшій у меня въ квартирѣ.

Мы отвѣтили. Завязалась переписка. Мнѣ было важно узнать, какъ вести себя на допросахъ. «Скрывать что-либо бесполезно, ВЧК все извѣстно», былъ отвѣтъ.

Наивно просовывая щепочку въ сосѣднюю камеру, мы и

не подозревали, что вся эта переписка была спровоцирована. что доктор Петровская — насадка, передающая из камеры следователям ЧК всё наши разговоры. Недаром её так часто вызывали на допросы. Говорили, что своей шпионской деятельностью она купила жизнь своего сына. В соседней же камере сидел другой предатель — Виноградский, предавший друзей детства. Я также была арестована благодаря Виноградскому, из разговора моих друзей он узнал, что заседания Тактического Центра происходили у меня на квартире и тотчас же донес об этом следователю.

Надзирательница-латышка сказала, что нас поведут в баню на Цветной бульвар. Я сообщила об этом на волю, друзьям.

Нас повели четверо вооруженных красноармейцев и надзиратель. Важные преступники! Гнали по мостовой вниз по Кузнецкому, извозчики давали дорогу. Прохожие из интеллигентов смотрели с сочувствием, иные, попроще, со злобой.

«Спекулянты, сволочь!» Некоторые, взглянув на раскрашенное лицо франуженки и приняв нас за проституток, произносили еще более скверные слова.

Я не чувствовала стыда, унижения. Наоборот — нечто похожее на гордость. Разве сейчас тюрьма удель преступников?

Несмотря на городскую пыль — хорошо дышалось. Мы не подозревали, что такая ранняя весна. На Цветном бульваре трава высокая и густая, листья на деревьях большие и темные, как бывает в начале лета. Жарко, но в тени хорошо и приятно идти по земле.

«Стойте, стойте!» вдруг услышали мы бодрый голос: «Политические?» Низенький, преземистый человек на ходу соскочил с извозчика и бросился через улицу к нам. «Я сам только что из тюрьмы, тоже политический. Не унывайте, товарищи! Вот огурчиков вам съезженных!» Он протягивал нам пакет.

«Отойдите, товарищ! Нельзя разговаривать с арестантами».

«А огурчики, огурчики передать можно?»

«Нельзя, проходите».

«А все-таки не унывайте, товарищи», еще раз с силой крикнул маленький человек, «я сам только что из тюрьмы, знаю все...»

«Спасибо, на добромъ словѣ, спасибо!» кричали мы ему вслѣдъ.

Стало совсѣмъ весело, когда я вдругъ увидѣла своихъ друзей; онѣ сидѣли въ самыхъ естественныхъ позахъ подъ деревомъ на травѣ и шили, точно онѣ вышли подышать воздухомъ изъ одного изъ домовъ на бульварѣ. Увидѣвъ насъ, встали и пошли по боковой дорожкѣ. Можетъ быть я не сумѣла скрыть радость и волнение, а можетъ быть Петровская передала слѣдователю объ этомъ свиданіи, но только надзиратель сейчасъ же ихъ замѣтилъ и сталъ отгонять.

«Отходите дальше, гражданки», кричалъ онъ, «а то арестую...»

Одна изъ этихъ женщинъ была Прасковья Евгеньевна Мельгунова, она надѣялась увидеть своего мужа.

Баня была похожа на военный лагерь. Кругомъ все оцѣплено красноармейцами. Сновали взадъ и впередъ мотоциклетки. Около входа распоряжался прямой и высокій какъ жердь нашъ рыжій комендантъ.

Въ банѣ было невыносимо душно, густой пеленой стоялъ паръ, но горячей воды было вволю. Красныя, распаренныя, мы бодро шагали по бульвару обратно въ тюрьму. По боковой дорожкѣ сопровождали насъ двѣ женщины и привѣтливо миѣ улыбались.

Принесли хлѣбъ, а кипятка не было.

«Что же кипятокъ?» спросила докторша.

«Водопроводъ испорченъ».

Въ камерахъ заволновались, застучали въ двери, заговорили болѣе громкими, чѣмъ обыкновенно, голосами. Но протестовать не смѣли.

Въ уборную свели, а умыться не дали.

«Ну, какъ это хлѣбъ въ сухоматку жевать», волновалась машинистка, тыкая пальцемъ въ сложенный двумя небольшими столбиками шесть порцій сѣрватаго съ мякиной и овсомъ хлѣба.

«Дадутъ еще, водопроводъ починять и кипятокъ принесутъ», успокоительно замѣтила докторша. Она почему то всегда все знала.

Но воды не дали, и въ обѣдъ не было супа, а вмѣсто него принесли шесть порцій селедки.

«Вы бы хоть ведрами немного воды разнесли заключеннымъ», сказала я надзирателю.

Надзиратель фыркнулъ: «натаскаешься тутъ на вась...»

«Ну и дьяволы», возмущалась машинистка, «что дѣлають. Все время не давали сеledокъ, а сегодня какъ нарочно, воды нѣтъ, такъ нате же вась...»

«Я такъ любить сеledка», сказала француженка, «что буду кушайтъ».

Соблазнъ быть великъ и мы всѣ въ ожиданіи кипятка на-ѣлись сеledки. А воды все не было. Невыносимо мучила жажда, во рту пересохло.

Часа въ три, въ обычное время пришелъ надзиратель: «Въ уборную!»

Кто не знаетъ тюремной жизни, и представить себѣ не можетъ, какое громадное значеніе имѣють эти слова для заключенныхъ.

Надзиратели водили въ уборную три раза въ день и это надо было сдѣлать такъ, чтобы заключенные изъ разныхъ камеръ не встрѣтились. Уборныхъ было мало, а камеры переполнены, поэтому водили рѣдко и на очень короткое время. Утромъ на насъ шестерыхъ полагалось пять минутъ. Уборная была маленькая, съ одной ванной, душемъ и краномъ. Днемъ же водили въ уборную, гдѣ не было ни крапа, ни ванны и нельзя было даже помыть рукъ. Поэтому я всегда утромъ наполняла свой тазъ съ водой и въ этой водѣ мыла руки, а на другое утро выносила тазъ въ уборную. У насъ выработалась особая система, при которой можно было использовать каждую минуту нашего пребыванія въ ванной. Въ пять минутъ мы ухитрялись не только вымыться, но иногда даже и кое-что выстирать. Я дѣлала такъ: намыливалась и тотчасъ же пускала на себя душъ, пока душъ поливалъ меня, я стирала. Все это занимало около двухъ минутъ времени. Трое мылись подъ душемъ, трое подъ краномъ. Вода была ледяная.

Въ уборную водили въ семь или восемь часовъ утра. Пили чай въ девять. Къ сожалѣнію, желудокъ не подчинился тюремнымъ правиламъ. Начиная стукъ въ дверь.

«Товарищъ, пустите въ уборную».

«Нельзя. У вась есть параша».

«Неудобно, параша безъ крышки, пустите, пожалуйста».

«А въ карьеръ хотите? Говорять, нельзя».

И надзиратель уходилъ въ другой конецъ корридора. Бывали случаи, что люди корчилисъ по три-четыре часа, оставались безъ обѣда. Но я не помню, чтобы кто-либо изъ нашей камеры хоть разъ воспользовался парашей.

Сушили бѣлье въ камерѣ на веревочкѣ, а разглаживали ру-

ками. Я никогда не думала, что можно такъ хорошо расправлять бѣлье. Хитрость состояла въ томъ, чтобы расправить его передъ самымъ моментомъ высыханія.

Когда въ этотъ день раздался крикъ надзирателя: «въ уборную!», мы обрадовались, мелькнула надежда, что достанемъ гдѣ-нибудь воды.

«Чайникъ надо захватить», сказала докторша.

Надзиратель выпустилъ насъ изъ камеры. У дверей стояли два красноармейца съ ружьями.

«Кто это? Куда вы насъ ведете?»

Но надзиратель молча шелъ впереди, красноармейцы по обѣимъ сторонамъ и никто не отвѣтилъ.

«На допросъ? На разстрѣлъ? Почему со стражей?» мелькали въ головѣ нелѣпныя мысли.

Спустились до второй площадки. Тихо, едва передвигая ноги, по лѣстницѣ навстрѣчу намъ поднимался бѣлый какъ лунь священникъ въ сѣрой поношенной рясѣ, подпоясанной ремнемъ. Впереди и сзади шли два красноармейца съ винтовками. Мы столкнулись на тѣсной площадкѣ и поневолѣ остановились, давая другъ другу дорогу.

Страданіе, смиреніе, глубокое пониманіе было въ голубыхъ старческихъ устремленныхъ на насъ глазахъ. Онъ хотѣлъ сказать что-то, губы зашевелились, но слова замерли на устахъ и онъ низко намъ поклонился. И мы всѣ шестеро низко въ поясъ поклонились ему. Сгорбившись, охраняемый винтовками, старецъ побрелъ наверхъ.

Насъ привели на грязный дворъ внутренней тюрьмы Лубянки 2. Я ждала очереди около досчатой уборной и, поднявъ голову, смотрѣла на небо, его не видно было изъ нашей камеры.

«Аээхъ!» вздохнулъ охранявшій насъ молоденькій красноармеецъ. «Живо жалко!»

«Кого?»

«Старый попъ-то, чего онъ имъ сдѣлалъ?»

Часа въ четыре меня позвали на допросъ. Мучила жажда.

Въ мягкомъ ..жаномъ креслѣ сидѣлъ самодовольный, упитанный слѣдователь Аграновъ.

Это былъ уже мой второй допросъ.

Въ первый разъ Аграновъ досталъ папку бумагъ и, укаывая мнѣ на нее, сказалъ:

«Я долженъ васъ предупредить, гражданка Толстая, что ваши товарищи по процессу гораздо разумнѣе васъ, они давно уже сообщили мнѣ о вашемъ участіи въ дѣлѣ. Видите, это показаніе

Мельгунова, онъ подробно описываетъ все дѣло, не щадя разумеется и васъ...»

«А вѣдь это старые приемы, перебила я его, «эти самые приемы употреблялись охраннымъ отдѣленіемъ при допросѣ революціонеровъ...»

Аграновъ передернулся. «Ваше дѣло, я хотѣлъ облегчить участь вашу и вашихъ друзей.»

«Вы давно въ партіи, товарищъ Аграновъ?» спросила я.

«Это не относится къ дѣлу, а что?»

«Васъ преслѣдовало царское правительство?»

«Разумѣется, но я не понимаю...»

«А вы тогда выдавали своихъ близкихъ для облегченія своей участи?»

Онъ позвонилъ. «Отвести гражданку въ камеру. Увидимъ, что вы скажете черезъ полгода...»

Въ этотъ разъ я также отказалась ему отвѣчать. Нахмурилась и молчала.

«Что это, гражданка Толстая, вы какъ будто утерали свою прежнюю бодрость?»

Меня взорвало.

«А вамъ извѣстно, что въ тюрьмѣ пѣтъ ни капли воды, и что заключенныхъ кормили селедкой?»

«Вотъ какъ? Неужели?»

Но я поняла, что онъ объ этомъ знаетъ.

«Вѣдь это же пытка, вѣдь это...»

«Стаканъ чаю», крикнулъ Аграновъ. «Не угодно ли курить?» любезно придвинулъ онъ ко мнѣ прекрасныя египетскія папіросы.

«Я не стану отвѣчать. Неужели нельзя послать воды хоть въ ведрахъ заключеннымъ?» Стоявшій передо мной стаканъ чая еще болѣе разжигалъ безсильную злобу.

«Не хотите отвѣчать?» Любезная улыбка превратилась въ насмѣшливую злую гримасу. «Я думаю, что если вы посидите у насъ еще немного, то слѣдуетесь стоворчнѣе. Отвести гражданку въ камеру!» — крикнулъ онъ надзирателю.

Намъ принесли кипятокъ только къ вечеру.

Я просидѣла два мѣсяца на Лубянкѣ 2. Послѣ угрозы Агранова я не ждала скорого освобожденія, и удивилась, когда надзиратель пришелъ за мной. «Гражданка Толстая! На свободу!»

Передъ тѣмъ какъ выйти изъ камеры я по всей стѣнѣ громадными буквами написала: «Духъ человѣческой свободенъ. Его нельзя ограничить ничѣмъ: ни стѣнами, ни рѣшетками!»

СУДЪ.

Меня выпустили до суда вмѣстѣ съ другими второстепенными преступниками.

Странное было ощущеніе. Точно я долго плавала на кораблѣ и вотъ наконецъ попала на сушу: поступь нетвердая, по всемъ существѣ нерѣшительность, трудно попасть въ прежнюю колею повседневной жизни.

Предстоялъ судъ и на немъ сосредоточилось все вниманіе. Все остальное: работа надъ рукописями, Ясная Поляна — отошло на задній планъ.

Далеко отъ центра, въ Георгіевскомъ переулкѣ помѣщалась канцелярія Верховнаго Трибунала. Должно быть она была здѣсь именно потому, что напротивъ былъ особнякъ Крыленки.

Здѣсь подсудимымъ разрѣшалось ознакомиться съ дѣломъ, и мы узнали о доносахъ изъ камеры жалкой, изолгавшейся истерички Петровской, Виноградскаго, предавашаго друзей дѣтства, узнали о пространнѣхъ, въ подробности излагавшихъ все дѣло «съ исторической точки зрѣнія» профессора Котляревскаго и другихъ.

У меня не было желанія разбираться во всей этой литературѣ. Быть можетъ придетъ время, когда русскіе историки разработаютъ событія того времени не для ЧК, какъ это сдѣлалъ проф. Котляревскій, а для широкой русской общественности.

Въ центрѣ вниманія были четверо наиболѣе серьезно замѣшанныхъ въ дѣлѣ. Имъ грозилъ разстрѣлъ. И это было то, чѣмъ интересовалось теперь ушлѣвшее Московское общество: разстрѣляютъ или нѣтъ? Ужасъ заключался не только въ томъ, что убивались друзья, знакомые, уважаемые, любимые мноими, молодые, полные жизни и энергіи люди, ужасъ былъ еще и въ сознаніи, что постепенно уничтожался цѣлый классъ, уничтожалась передовая русская интеллигенція. И эта угроза разстрѣла была угрозой по отношенію ко всемъ намъ.

Невольно вставалъ образъ всеѣми любимаго Николая Николаевича Шепкина, незадолго передъ этимъ разстрѣляннаго. Я знала его по Земскому Союзу, и относилась къ нему съ глубокимъ уваженіемъ и симпатіей. Когда распространилось извѣстіе, что его разстрѣляютъ, оно не дошло до сознанія, я не поняла, и долго не могла понять, повѣрить. И когда наконецъ дошло до сознанія, померкло все вокругъ, показалось, что нѣтъ больше радости на землѣ и духа Божія въ человѣчествѣ, и что жить дальше невозможно. Но острота перваго впечатлѣнія про-

шла и я стала думать о томъ, какъ спасти Николая Николаевича. Хлопотать было бесполезно. Выкрасть? Это было безуміемъ, но и время было безумное.

Было неприятно и немного жутко, когда пришелъ ко мнѣ на квартиру подозрительный человекъ въ ярко синей поддѣвкѣ и картузѣ, съ лихо закрученными сверху свѣтлыми усами, умными, хитрыми глазами, тяжелымъ золотымъ перстнемъ на указательномъ пальцѣ лѣвой руки и серьгой въ лѣвомъ ухѣ. Сначала осторожно, затѣмъ смѣлѣе, увлекаясь своимъ планомъ, я заговариваю съ нимъ о возможности похищенія Николая Николаевича изъ тюрьмы.

Человекъ въ синей поддѣвкѣ обнадеживаетъ, у него большія «связи». Надо много денегъ для подкупа. Я не возражаю. Развѣ мы не найдемъ денегъ въ Москвѣ для спасенія Николая Николаевича?

Но черезъ нѣсколько дней подозрительный типъ пришелъ сказать, что онъ отказывается, по наведеннымъ справкамъ ничего сдѣлать нельзя.

Николая Николаевича казнили. Первые дни я ждала ареста. Думала, что меня выдастъ синяя поддѣвка, но онъ оказался честнѣе, чѣмъ я предполагала.

И вотъ теперь опять угроза смерти повисла надъ всѣмъ извѣстными и уважаемыми людьми. Встрѣчаясь, мы говорили только объ этомъ. Было страшно глядѣть въ вопрошающіе глаза близкихъ: «Ну что? Какъ вы думаете? Помилуютъ или...»

Подъ усиленной охраной ихъ приводили знакомиться съ дѣломъ въ Георгіевскомъ переулкѣ. Никого не подпускали къ нимъ близко и когда уводили, жены долго смотрѣли имъ вслѣдъ.

А черезъ улицу, въ большемъ, великолѣпномъ барскомъ особнякѣ, жилъ прокуроръ республики Крыленко. Мы видѣли, какъ небольшой, коренастый человекъ съ хищной челюстью похаживалъ по двору, хлопая себя хлыстикомъ по сапогамъ. Слышно было, какъ властнымъ, рѣзкимъ голосомъ онъ отдавалъ приказанія служащимъ и съывалъ многочисленныхъ охотничьихъ собакъ.

Прокуроръ республики Крыленко былъ страстнымъ охотникомъ.

Среди публики много знакомыхъ лицъ. На переднихъ скамьяхъ полсудимые. Ихъ много, человекъ тридцать. Они всѣмъ извѣстны: профессора, ученые, врачи, литераторы.

Кроваво-красное сукно на столѣ, за которымъ засѣдаютъ

судьи. Съ лѣвой стороны защитники, казенные и частные. Частные — адвокаты съ крупными общественными именами, нѣкоторые бывшіе революціонеры, теперь враги народа. Они производятъ жалкое впечатлѣніе. Особенно одинъ изъ нихъ. Когда говоритъ, жестикулируетъ, подноситъ руки къ лицу, точно умоляетъ. Судьи грубо его обрываютъ. Ораторскія способности, знаніе, логика — здѣсь не нужны.

Казенные защитники — мелкіе, бездарные людишки, въ силѣ сейчасъ. Они знаютъ необходимые приемы, держатся за панібратъ съ судьями, играютъ первенствующую роль.

За отдѣльнымъ столикомъ справа прокуроръ Крыленко съ большимъ, почти голымъ черепомъ и съ сильно развитой и хищной нижней челюстью. Онъ напоминаетъ злобную собаку, изъ тѣхъ, что по улицамъ водятъ въ намордникахъ. Чувствуется, что жажду крови въ этомъ человѣкѣ утолить невозможно, онъ жаждетъ еще и еще, требуетъ новыхъ жертвъ, новыхъ разстрѣловъ. Стекланный голосъ его проникаетъ въ самые отдаленные уголки залы, и отъ этого рѣзкаго, крикливаго голоса морозъ деретъ по кожѣ.

Этотъ судъ не просто судъ, это испытаніе. И люди держали его въ то время, какъ смерть витала надъ ихъ головами. Подожженіе было жуткое. Не было смысла отрицать виновность. Кое-кто изъ участниковъ, профессора Сергіевскій, Котляревскій, Устиновъ, подробно рассказали обо всемъ въ своихъ показаніяхъ. Прямое отрицаніе виновности было бы глупо, но и страшно было попасть въ другую крайность: начать каяться и просить прощенія.

Временами даже Крыленко не могъ скрыть своего презрѣнія, когда заискивающе-робко, съ явнымъ подлаживаніемъ, нѣкоторые отвѣчали на вопросы или предавалъ своихъ друзей Виноградскій.

Было очевидно, что этихъ не только оправдаютъ, но, пожалуй, еще и повысятъ по службѣ.

Вниманіе мое было до такой степени сосредоточено на группѣ людей, которымъ грозилъ разстрѣлъ, что я совершенно забыла о томъ, что въ числѣ другихъ судили и меня. Я все еще была на свободѣ. Приходила на судъ изъ дома, рассказывала среди публики, обмѣнивалась впечатлѣніями со своими друзьями. Меня удивило, когда вдругъ одинъ изъ чекистовъ подошелъ ко мнѣ и потребовалъ, чтобы я сѣла на одну изъ первыхъ скамей, вмѣстѣ съ подсудимыми, охраняемыми стражей. А вечеромъ послѣ засѣданія суда всѣхъ насъ, преступниковъ второго разряда, отправили въ тюрьму на Лубянку 2.

Так как мы не знали, в какой именно день насъ заключать подъ старжу, вещей ни у кого не было, только у Николая Михайловича Кишкина оказался за спиной мѣшокъ.

Насъ помѣстили въ большую грязную камеру съ множествомъ деревянныхъ, безъ матрасовъ наръ. Всѣ были взволнованы, возбуждены, и разбившись на небольшія группы оживленно разговаривали.

Николай Михайловичъ, раскрывъ свой мѣшокъ, досталъ чай, сахаръ, черные сухари, заварилъ чай и сталъ всѣхъ угощать.

«Что это значитъ, Николай Михайловичъ?» спросила я его: «почему вы знали, что насъ сегодня арестуютъ?»

«Эхъ, Александра Львовна, ну что-жъ тутъ удивительнаго? Вы сколько разъ были арестованы?»

«Три».

«Ну вотъ видите. А я и счетъ потерялъ. Я ужъ который день этотъ мѣшокъ въ судъ за собой таскаю».

Стали пить чай. Принесли хлѣба. Въ углу обрисовывалась скрючившаяся фигура представителя Виноградскаго. Никто не позвалъ его пить чай, никто не говорилъ съ нимъ.

«Неудобно вѣдь это», сказалъ Котляревскій, «надо все-таки чаю предложить...»

Всѣ промолчали.

«Я предложу ему чаю».

Опять всѣ промолчали. Профессоръ всталъ и пошелъ къ Виноградскому.

Свѣтъ потухъ. Я вытянулась на голыхъ доскахъ, подложила подъ голову кулакъ и не успѣла закрыть глаза, какъ почувствовала жгучіе укусы въ тѣлѣ. Доски кишѣли клопами. Справа и слева ворочались профессора.

«Чортъ знаетъ что такое! И думать нечего спать», кричали ученые, ворочаясь съ боку на бокъ, скрипя плохо сколоченными нарами.

Одинъ только Николай Михайловичъ, постеливъ простыню, подушку съ бѣлоснѣжной наволочкой, посыпавшись персидскимъ порошкомъ, заснулъ какъ ни въ чемъ не бывало. Въ концѣ концовъ заснула и я, подъ оханіе и аханіе профессоровъ.

Проснулись утромъ помятые, измученные съ зелеными лицами. Я съ ужасомъ осматрѣла свое бѣлое бѣлье, оно превратилось въ грязную тряпку. Помывшись кое-какъ безъ мыла и причесавшись пятерней, мы снова, окруженные стражей, отправились въ Политехническую музей.

Теперь уже мы были арестантами, ходить по залу свободно нельзя было и я только издали переглядывалась съ своими друзьями.

Помилованіе или смерть? Вокруг этой мысли сосредоточилось все вниманіе, вытѣснивъ всѣ остальные интересы. Судъ казался нелѣпнымъ представленіемъ, вопросы защиты безмысленной, отжившей формальностью. Предсѣдатель суда грубо обрываетъ бывшихъ знаменитостей, а они, чувствуя свою непригодность, теряются, робѣютъ. Къ чему это все? Рѣшеніе несомнѣнно продиктовано сверху.

Вдругъ всѣ заволновались въ залу, засуетились, задвигались, даже среди судей произошло какое-то едва замѣтное движеніе. Незамѣтно по залу разсыпалась толпа подозрительныхъ штатскихъ, въ дверяхъ и проходахъ показались остроконечными шапки чекистовъ. И не спѣша, увѣренной, спокойной походкой вошелъ человекъ въ пенснэ съ взлохмаченными черными волосами, острой бородкой, оттопыренными, мясистыми ушами. Онъ сталъ спокойно и красиво говорить, какъ привычный ораторъ. Говорилъ онъ о молодомъ ученомъ, о томъ, что такіе люди, какъ этотъ ученый, нужны Республикѣ, что онъ столкнулся съ его работой и былъ пораженъ ея цѣнностью. Говорилъ недолго и когда смолкъ, такъ же спокойно вышелъ, а въ залу, какъ послѣ всякаго выдающагося изъ обычныхъ рамокъ событія — на секунду все смолкло. Стала постепенно удаляться ворвавшаяся въ залу охрана, разсѣялись подозрительнаго вида штатскіе и судъ пошелъ своимъ чередомъ.

Мнѣ было непонятно, какъ непонятно сейчасъ, почему этому временно выброшенному на поверхность, обладавшему неограниченной властью человеку, подъ руководствомъ котораго были разстрѣляны тысячи, почему ему пришла фантазія заступиться за молодого ученаго? Но послѣ выступленія Военкома Льва Троцкого стало ясно, что надежда на спасеніе четырехъ увеличилась.

Мнѣ суждено было вызвать смѣхъ въ публикѣ и разозлить прокурора.

«Гражданка Толстая, каково было ваше участіе въ дѣлѣ Тактического Центра?»

«Мое участіе», отвѣтила я умышленно громко, «заключалось въ томъ, что я ставила участникамъ Тактического Центра самоваръ...»

«...и понли ихъ чаемъ?» закончилъ Крыленко.

«Да, понла ихъ чаемъ».

«Только въ этомъ и выразалось ваше участіе?»

«Да, только въ этомъ».

Этотъ діалогъ послужилъ поводомъ для упоминанія меня въ сочиненной Хирьяковымъ шутиливой поэмѣ о Тактическомъ Центръ:

«Смиряйте свой гражданскій жаръ
Въ странѣ, гдѣ смѣлую дѣвицу
Сажаютъ въ тѣсную темницу
За то, что ставитъ самоваръ».

Приговорили четверыхъ *) къ высшей мѣрѣ наказанія. Остальныхъ приговорили на разные сроки, Виноградскаго и краснорѣчивыхъ профессоровъ скоро выпустили. Мнѣ дали три года заключенія въ концентраціонномъ лагерѣ. Я не думала о наказаніи и была счастлива, что не попала въ компанію людей, получившихъ свободу.

Александра Толстая.

*) ВЦИК, однако, въ виду «побѣды надъ поляками» замѣнялъ смертную казнь десятью годами тюремнаго заключенія.

Либерализмъ, Радикализмъ и Революція

(По поводу критики В. А. Маклакова).

Четыре года тому назадъ въ «Современныхъ Запискахъ» началось печатаніе статей В. А. Маклакова «Изъ прошлаго». На первую изъ нихъ, составляющую роль предисловія и формулировавшую основныя точки зрѣнія автора на роль его партіи («Народной свободы») въ прошломъ, я далъ тогда-же, по предложенію редакціи, свой критическій отзывъ. Съ тѣхъ поръ В. А. Маклаковъ напечаталъ въ томъ-же журналѣ рядъ дальнѣйшихъ статей на ту же тему, составляющихъ въ общемъ цѣлую книгу около 400 страницъ. При этомъ, до того момента, когда образовалась осуждаемая имъ партія и когда она начала свою открытую политическую дѣятельность, авторъ дошелъ только въ самыхъ послѣднихъ статьяхъ. Возвращаясь, по новому приглашенію редакціи «С. З.», къ этой темѣ, я прежде всего и долженъ указать на эту основную трудность полемики съ В. А. Однако же, специальную тему — критики партіи к.-д. — нелегко отдѣлить у В. А. Маклакова отъ болѣе общей: отъ его критики «либерализма» вообще. Основное обвиненіе Маклакова противъ собственной партіи вѣдь и заключается въ томъ, что кадеты, такъ сказать, облыжно называли себя либералами и неправильно захватили себѣ мѣсто и роль настоящихъ либераловъ. Либералы должны были, по своему призванію, не бороться съ властью, а, напротивъ, ее поддерживать, тогда какъ кадеты вели съ ней войну даже и послѣ ея искреннихъ уступокъ. Они, собственно, превратились въ радикаловъ, сошлись съ «революціей», а власть всели въ заблужденіе своимъ «либеральнымъ» обличеніемъ. Идя этимъ путемъ, к.-д. лишили власть поддержки «общественности» и предали ее, а вмѣстѣ съ ней и русскую государственность, революціонному разрушенію.

На эту точку зрѣнія я, собственно, и отвѣчалъ въ своей

первой статьѣ. Но теперь положеніе мѣняется. В. А. Маклаковъ призналъ свою главную тему достаточно центральной, чтобы развить ее на пространствѣ 400 страницъ, должствующихъ подтвердить его взгляды детальнымъ разборомъ историческихъ фактовъ. Критики Маклакова, — и я вмѣстѣ съ ними, — правда, сомнѣвались, можно-ли вообще ставить пересмотръ всей новейшей исторіи въ зависимость отъ второстепенной, чисто партійной темы. Повидимому, эти сомнѣнія не убѣдили Маклакова. Судь надъ партіей по прежнему остается центральнымъ стержнемъ всѣхъ его политическихъ разсужденій. Предпосылкой остается при этомъ, по прежнему, то положеніе, что весь ходъ событій громадной важности, приведшій Россію къ ея теперешнему состоянію, зависѣлъ главнымъ образомъ, если не исключительно, отъ той линіи поведенія, которую могли или должны были выбрать русскіе «либералы». На очевидную парадоксальность такого мнѣнія, указанную ему неоднократно, В. А. Маклаковъ не обратилъ вниманія — или, если обратилъ, то ограничился оговорками и допущеніями, по существу уничтожающими его основное положеніе, но не измѣнившими хода аргументаціи.

Конечно, о научномъ значеніи историческихъ справокъ В. А. Маклакова въ области недавняго прошлаго не можетъ быть и рѣчи. Но авторъ и не претендуетъ на роль историка. Это вполне естественно и правильно, ибо изъ самаго изложенія видно, что В. А. Маклаковъ, прежде всего, не обладаетъ достаточнымъ знаніемъ историческихъ матеріаловъ, чтобы «писать исторію». Онъ, однако, не хочетъ ограничиться и простыми «воспоминаніями». Свои личныя переживанія онъ вплетаеъ въ разсужденіе попутно, разрывая тѣмъ хронологическую ткань разсказа. При этомъ онъ часто оговариваетъ, что приводитъ ихъ только въ качествѣ иллюстрацій. Но не только эти «иллюстраціи» прерываютъ историческое изложеніе. Неотвязная мысль о кадетскихъ ошибкахъ ни на минуту не покидаетъ автора; онъ возвращается къ ней на каждой страницѣ, въ тысячѣ вариантовъ; она составляетъ единственную связующую нить расплывающагося въ подробностяхъ разсказа. Такъ, выросши въ размѣрѣ, работа Маклакова сохранила въ сущности характеръ безконечной публицистической статьи, крѣпко уснащенной партійной полемикой. Чуть не въ каждой статьѣ авторъ сразу говоритъ о всемъ, оперируя матеріаломъ отъ шестидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія до большевиковъ. Его историческія аналогіи, приводимыя въ связи съ ихъ историческимъ контек-

стомъ, именно поэтому рѣдко удаются, увеличивая неясность изложенія.

Естественно, что при такомъ характерѣ изложенія послѣдовательная критика крайне затруднительна. Что касается идеологии В. А. Маклакова, то она до такой степени однообразна, что мнѣ почти нечего прибавить къ тому, что уже сказано мною и другими критиками Маклакова. Трудно слѣдить и за применением этой однообразной идеологии къ многочисленнымъ фактамъ, приводимымъ Маклаковымъ. Пришлось бы перебрать весь его рассказъ, чтобы выпрямить искаженные контуры событий. Разумѣется, этой задачей въ полномъ размѣрѣ невозможно и задаваться въ предѣлахъ настоящей статьи. Придется остановиться лишь на основныхъ линіяхъ не столько историческаго рассказа, сколько полемической аргументаціи автора воспоминаній.

Однако, прежде чѣмъ этимъ заняться, полезно будетъ остановиться на рядѣ автобіографическихъ свѣдѣній, сообщаемыхъ о себѣ В. А. Маклаковымъ. Хотя онъ и общается не говорить о себѣ, но весь его уголъ зрѣнія настолько личный, что устранить себя и тѣмъ придать рассказу объективность для него совершенно невозможно. И В. А. Маклаковъ очень хорошо дѣлаетъ, что отъ времени до времени возвращается къ личнымъ впечатлѣніямъ пережитаго. Въ сущности, это — самая цѣнная и интересная часть его работы. Для насъ она цѣнна тѣмъ, что помогаетъ намъ выяснить источники и происхожденіе личной точки зрѣнія автора на событія. Именно при такомъ сопоставленіи съ автобіографическими чертами эта точка зрѣнія оказывается не совѣмъ личной.

Съ университетской скамьи В. А. Маклаковъ попалъ въ адвокатское сословіе. Это было въ моментъ, когда кончалось политическое затишье 1881-1901 гг. По сообщенію Маклакова въ адвокатурѣ «новыя вѣянія» «стали замѣчаться во второй половинѣ 90-хъ годовъ», т. е. уже по воцареніи Николая II. Несомнѣнно, именно съ этого времени кривая общественной самостоятельности пошла быстро вверхъ, — и Маклаковъ на себѣ испыталъ переходъ общества отъ инерціи къ политической активности. Началось съ организаціи юридической помощи населенію въ мелкихъ дѣлахъ. Кончилось внесеніемъ политики въ адвокатуру. Кое-кто изъ стариковъ не успѣлъ угнаться за этой быстрой метаморфозой, и Маклакову пришлось впервые присутствовать при столкновеніи «двухъ міровоззрѣній». Это былъ тотъ-же споръ, который тогда-же старые и новые земцы вели на страницахъ заграничнаго органа к.-д. «Освобожденія». Борь-

ба шла между «профессиональной» культурной работой и непосредственнымъ участіемъ въ «освободительномъ движеніи». В. А. Маклаковъ не говоритъ прямо, на чью сторону склонялся его выборъ; но по неодобрительному тону, въ которомъ онъ говоритъ о «новой тактикѣ» въ ковычкахъ, видно, что его симпатіи клонились не въ сторону новизны. Однако, «адвокатская масса переходила на сторону новыхъ руководителей и шла за руководителями съ пыломъ и энергіей неопитовъ». И Маклаковъ вмѣстѣ съ «массой» оказался въ рядахъ «политической адвокатуры», — конечно, не вмѣстѣ съ «болѣе крайними нетерпѣливыми, социалистически настроенными элементами», куда ушло немало его коллегъ. Онъ не могъ остаться внѣ политики, но остановился на болѣе умѣренномъ изъ тогдашнихъ прогрессивныхъ политическихъ теченій.

Чтобы найти объясненіе этой сдержанности, мы должны перейти въ другую сферу автобіографическихъ воспоминаній В. А. Маклакова. Авторъ переноситъ насъ въ Звенигородскій уѣздъ Московской губерніи, гдѣ у него было имѣніе. «Я не былъ настоящимъ сельскимъ хозяиномъ», предупреждаетъ онъ насъ; «доходовъ съ имѣнія не получалъ и получать не стремился. Мое хозяйство было баловствомъ, тратой денегъ». Темъ же менѣе, вмѣстѣ съ другими такими же «ненастоящими» хозяевами, В. А. Маклаковъ принадлежалъ къ определенной группѣ, признававшей его за своего. Въ этомъ качествѣ онъ былъ приглашенъ принять участіе въ Звенигородскомъ комитетѣ совѣщанія о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, созданномъ Витте. Значеніе этого предпріятія Витте, по моему мнѣнію, очень преувеличено у автора. Свою долю участія въ немъ онъ изображаетъ въ нѣсколько комическомъ видѣ. Чтобы не остаться въ сторонѣ, онъ написалъ одну изъ записокъ, въ которой говорилъ «о беззащитности обывателя противъ власти, о безсиліи законовъ въ Россіи, о неогражденности личности передъ государствомъ и о прочихъ «интеллигентскихъ» сюжетахъ. Впослѣдствіи ему стало нѣсколько совѣстно за этотъ сюжетъ». Впослѣдствіи ему стало нѣсколько совѣстно за этотъ ли «наши записки и прославленные кадетами ихъ законопроекты въ первой Гос. думѣ». Все же, Маклаковъ и тутъ проявилъ осторожность: «ни конституціи, ни земскаго собора, ни привлеченія выборныхъ представителей для обсужденія законодательныхъ вопросовъ я не касался». Повидимому, авторъ записки былъ очень удивленъ, когда на протестъ земскаго начальника противъ затронутыхъ имъ темъ, «неотносящихся къ сельскому хозяйству», одинъ крестьянскій земскій гласный «неожи-

данно всталъ и, обращаясь къ предсѣдателю гр. Ш., заявилъ: «Ваше Сіятельство, это — самое главное». Разумѣется, именно «это» было «самое главное» въ затѣѣ Витге. Но Маклакову пришлось еще болѣе удивляться судьбѣ своего «элементарнаго» доклада, когда губернаторъ запретилъ его печатать, а печать обратила на него «большее вниманія, нежели онъ при всякихъ другихъ условіяхъ стоилъ». Все дѣло было, очевидно, въ этихъ «условіяхъ». «Неожиданно для себя», пишетъ нашъ авторъ, «я попалъ въ «общественные дѣятели». «Можетъ быть этому дѣтскому докладу», прибавляетъ Маклаковъ, «я обязанъ былъ тѣмъ, что меня пригласили въ «Бесѣду», — гдѣ, однако, сидѣли вовсе не «дѣти». Такъ незаслуженно и въ особенности нечаянно Маклаковъ, по его разсказу, пожалъ свои первые политическіе лавры.

«Бесѣдѣ» Маклаковъ посвящаетъ нѣсколько наиболѣе интересныхъ страницъ своихъ воспоминаній. Значеніе этого перваго организованнаго политическаго Кружка состояло въ томъ, что «раньше, чѣмъ въ Россіи образовались легальныя партіи, передовая общественность уже получила въ «Бесѣдѣ» свой объединяющій и направляющій центръ». Особеннымъ достоинствомъ «Бесѣды» Маклаковъ признаетъ то, что «въ ней не было стремленія другъ отъ друга отмежеваться». «Конституціоналисты, будущіе столпы кадетской партіи, Головины, Кокошкины, Долгоруковы, Шаховскіе — и послѣдніе рыцари Самодержавія — Хомяковъ, Стаховичъ, Шиповъ мирно уживались въ «Бесѣдѣ». Конечно, это мирное сожительство очень облегчалось общей принадлежностью тѣхъ и другихъ къ определенной средѣ. «Бесѣда» «не пускала къ себѣ ни исключительныхъ теоретиковъ — «интеллигентовъ» въ чистомъ видѣ, ни даже третій элементъ земства». Въ ея составъ входили только «преводители, предсѣдатели, члены земскихъ управъ или просто видные земцы». «Она была составлена изъ лицъ сравнительно обеспеченныхъ». Самъ Маклаковъ былъ допущенъ въ «Бесѣду» только въ видѣ «исключенія», въ качествѣ ея секретаря. Онъ, впрочемъ, правильно объясняетъ это тѣмъ, что «былъ лично близокъ и друженъ съ большинствомъ тогдашнихъ участниковъ». Надо думать, что не «только интеллигента» видѣла въ своемъ секретарѣ эта дружная семья, но и человѣка, подходящаго къ ней по социальному положенію и по умѣренности своего политическаго темперамента.

Эту объединяющую его съ «Бесѣдой» черту ея новый секретарь подчеркнетъ особенно настойчиво. «Бесѣда» еще идеализировала и нашу власть, и особенно наше общество». Отъ

послѣдняго, однако, она отгораживала себя сознательно: «она представляла собой узкій слой привилегированныхъ лицъ, была замкнута и замкнутостью своей дорожила, не стремилась, по модному выраженію, демократизироваться. Отъ настроеній широкихъ общественныхъ и народныхъ слоевъ она была отгорожена и ими руководить не претендовала». «Члены «Бесѣды» были все-же связаны съ правящимъ классомъ и свои помыслы естественно направляли не на сверженіе, а на оздоровленіе власти».

Несомнѣнно, авторъ воспоминаній чувствовалъ себя тутъ въ своей сферѣ. Отсюда онъ и вынесъ тотъ критерій общественной дѣятельности, который онъ прилагаетъ къ русскому либерализму. Сюда, правда, ему приходится причислить и тѣхъ членовъ «Бесѣды», которые потомъ стали «столпами» к.-д. партіи и которые въ своей дальнѣйшей дѣятельности рѣшительно отрицали все то, что составляло, по характеристикѣ Маклакова, духъ «Бесѣды». Случалось и самому Маклакову попадать въ неудобное положеніе между своей ролью секретаря «Бесѣды» — и передового «политическаго адвоката». Одинъ изъ такихъ эпизодовъ онъ юмористически описываетъ въ воспоминаніяхъ. Случилось и ему согрѣшить, защищая кадетскую «четырехвостку». Московская адвокатура поручила ему защитить «бнальную» резолюцію, въ которой фигурировало всеобщее избирательное право со всѣми четырьмя «хвостами». Маклакову предстояло убѣдить адвокатское собраніе въ томъ, въ чемъ онъ вовсе не былъ убѣжденъ самъ. Это, однако, оказалось «очень легко», потому что «адвокатура была интеллигентскимъ собраніемъ», которое можно было поймать на общихъ формулахъ. Если вы признаете такой-то и такой-то принципъ, аргументировалъ Маклаковъ, то выводъ вытекаетъ самъ собою. «Для интеллигентскаго мышленія эти доводы были неотразимы». Значить-ли это, что Маклаковъ просто дурачилъ сидѣвшихъ передъ нимъ умныхъ людей? Нашъ мемуаристъ считаетъ нужнымъ дать поясненіе. Но это поясненіе выходитъ, по моему, хуже самаго факта. «Почему я защищалъ четырехвостку, хотя ей не сочувствовалъ», формулируетъ нашъ невольный вопросъ къ нему Маклаковъ. Дѣло въ томъ, отвѣчаетъ онъ, что вся исторія была несерьезна, ибо дѣло шло не о существѣ дѣла, а только о «тактикѣ». «Конечно, были искренніе (читай: наивные или просто глупые) поклонники и четырехвостки, и учредительнаго собранія. Ихъ было даже больше, чѣмъ полагалось-бы по здравому смыслу. Но было еще гораздо больше людей, болѣе скептическихъ и осторожныхъ», которые, оче-

видно, поняли Маклакова, какъ слѣдовало. Эти «скептики» прекрасно понимали, что рѣчь шла только объ «идеалѣ», о «системѣ запроса». А затѣмъ, принятіе такихъ лозунговъ обезоруживало «революціонныя партіи». И такъ, хорошо понимая друга друга и дурача только наивныхъ, собраніе шло «общимъ фронтомъ»: вѣдь надобно было только «найти лучшую тактику для борьбы съ Самодержавіемъ». «Вотъ почему и я могъ тогда «этотъ фронтъ защищать», резюмируетъ Маклаковъ защиту своего поведенія.

Съ тѣмъ же самымъ критеріемъ, какъ онъ прямо говоритъ, Маклаковъ «и переходитъ къ тактикѣ освободительнаго движенія». Если въ самомъ дѣлѣ «освободительное движеніе» было одной только тактикой, то процессъ Маклакова противъ этихъ нарушителей покоя «Бесѣды» уже на половину выигранъ.

Три четверти воспоминаній Маклакова посвящены уничтоженію этого главнаго противника, «освободительнаго движенія». Определеніе этого термина у Маклакова остается такимъ же расплывчатымъ, какъ и самый терминъ. Всего проще было бы формулировать взглядъ Маклакова такимъ образомъ: освободительное движеніе есть все то, что не «Бесѣда». Это есть антитеза «Бесѣды». Если тамъ рѣчь шла объ «оздоровленіи власти», то здѣсь цѣлью ставится ея уничтоженіе. Если тамъ хотѣли «сотрудничать» съ властью, то здѣсь хотя бы съ ней бороться. Если тамъ стремились къ миру или по крайней мѣрѣ къ перемирію съ временнымъ противникомъ, то здѣсь лозунгомъ становится: долой Самодержавіе (прописныя буквы вездѣ принадлежатъ автору). Если тогда мирно обновлять власть была призвана земская «элита», то теперь рѣшителемъ судебъ Россіи является «Ахеронтъ» *).

Соотвѣственно этой переměнѣ задачъ должны были переměниться и ихъ исполнители. Мѣсто «практиковъ» земства, людей опыта, заняли «теоретики» политической дѣятельности, «профессиональные политики». Такъ Маклаковъ характеризуетъ Кокошкина, пишушаго эти строки и др. Автору не приходитъ въ голову, что земская и политическая дѣятельность суть не двѣ ступени процесса, а двѣ совершенно различныя сферы. Въ каждой изъ нихъ есть своя «практика» и своя «теорія». Пре-

*) Стихъ латинскаго поэта, у котораго взять этотъ образъ, очень картинно рисуетъ переměну тактики, о которой говоритъ Маклаковъ: *flechere si nequeo superos, cheronta movebo*, т. е. «если не смогу склонить вышнюю власть, то подниму Ахеронтъ» (адскую рѣку).

красный практикъ въ земствѣ можетъ оказаться очень плохимъ практикомъ въ политикѣ. Тоже и относительно теоріи. Что въ Россіи готовыхъ политическихъ дѣятелей не было, это совершенно вѣрно; но ихъ не было не только въ «обществѣ», а и на вершинахъ власти. Даже Витте, напр., оказался безпомощнымъ самоучкой, когда ему пришлось дѣлать большую политику, какъ это слово понимается вездѣ, гдѣ есть свободная политическая жизнь. Напротивъ, я никакъ не могу согласиться съ Маклаковымъ, что, напр., Кокошкинъ былъ только теоретикомъ и публицистомъ. Этотъ человѣкъ и столько другихъ — въ томъ числѣ и бывшихъ членовъ «Бесѣды» — обладали несомнѣнными качествами государственныхъ дѣятелей. Кто виноватъ, что они такими не сдѣлались?

В. А. Маклаковъ прекрасно знаетъ, что, если фактически «политика» перешла отъ благовоспитанной группы «Бесѣды» къ неблаговоспитаннымъ представителямъ «освободительнаго движенія», то значительная, если не главная доля вины въ этомъ падаетъ на самодержавіе. «Какъ всѣ переломы, справедливо замѣчаетъ онъ, «переломъ» 1905 г. былъ вызванъ тѣмъ, что жизнь требовала неотложныхъ преобразованій Россіи, а Самодержавіе ихъ осуществить не могло... Режимъ, который не понимаетъ этихъ симптомовъ и отвѣчаетъ на нихъ фразой: сначала успокоеніе, а реформы потомъ, — который борется съ недовольствомъ только репрессіей, показываетъ свою непригодность и рано или поздно падаетъ»... «Самодержавіе охраняло, какъ драгоценность, то, что только мѣшало развитію жизни; оно ставило ставку на отжившіе элементы страны, жило дореформенной идеологіей». Такъ думаетъ Маклаковъ. Можетъ быть, эти истины, лежащія въ основѣ «освободительнаго движенія», кажутся ему тоже «банальными»; но это не мѣшаетъ имъ быть глубоко-справедливыми. Но изъ неизбежности паденія стараго режима Маклаковъ дѣлаетъ неожиданный выводъ. По его мнѣнію, «всѣ силы направились тогда на сверженіе Самодержавія» и «извѣстная русская поговорка — «долой самодержавіе» — сдѣлалась единственнымъ лозунгомъ «освободительнаго движенія». «Тактика» сверженія самодержавія потопила все политическое содержаніе движенія. Въ этомъ онъ, конечно, глубоко ошибается. А это, между тѣмъ, составляетъ главный доводъ его противъ «освободительнаго движенія» (включая сюда и партію к.-д.). Былъ миръ, началась «война», разсуждаетъ онъ; а въ войнѣ все позволено: улица, демагогія, обманъ программами и обѣщаніями и т. д. Мы тутъ снова встречаемся съ тѣмъ взглядомъ Маклакова на

«тактику», который позволилъ ему защищать хотя бы и четырехвостку. Онъ видимо не хочет или не можетъ допустить, что его коллеги по партіи глубоко вѣрили въ ту программу, которую хотѣли осуществлять посредствомъ своей тактики. Онъ не понимаетъ, что именно программа, основная задача русской жизни, вызвали вмѣшательство народныхъ массъ въ борьбу, и именно тогда вопросы программы, интересовавшія массы, приобрѣли трагическую серьезность. Слово демократизація, которое онъ употребляетъ въ ковычкахъ по отношенію къ «Бесѣдѣ», разумѣется не было «тактикой» у такихъ ея членовъ, какъ тотъ-же Косошкинъ, Шаховской, братья Долгоруковы, не говоря уже о «патріархѣ» конституціоннаго движенія, И. И. Петрункевичѣ. Для Маклакова законопроекты о политическихъ свободахъ, подготовленные его партіей для первой думы, были дѣтскимъ «депетомъ». То же онъ относитъ, очевидно, къ моимъ предложеніямъ Витте (къ этому воспоминанія возвращаются дословно въ двухъ мѣстахъ) — составить русскую конституцію по бельгійскому или болгарскому образцу (вмѣсто нѣмецкаго и японскаго). Земцы конституціоналисты, собравшіеся на ноябрьскій съѣздъ 1905 года, были менѣе взыскательны, чѣмъ нашъ авторъ. Д. И. Шаховской вспоминаетъ, что именно этой ссылкой на четырехвостку въ Болгаріи я убѣдилъ земцевъ, что Россія, во всякомъ случаѣ, не менѣе освобожденной ею Болгаріи подготовлена къ всеобщему избирательному праву. Есть, очевидно, какая-то азбука государственнаго конституціоннаго права, которая одна и та же вездѣ, гдѣ политическія «свободы» и «конституція» вводятся всерьезъ, а не для обмана.

Въ своемъ увлеченіи полемикой В. А. Маклаковъ забываетъ выдѣлить оттѣнки освободительнаго движенія и оперируетъ, такъ же какъ и относительно термина «либерализмъ» нерасчлененнымъ общимъ понятіемъ. Е. Д. Кускова уже замѣтила ему на это въ своей статьѣ «Кренъ налѣво» («С.З.»), что вѣдь освободительное движеніе было «двухъэтажное», и что въ разныхъ этажахъ его «кренъ» былъ различный. Какъ извѣстно, лѣвая часть «Союза Освобожденія» не вошла въ составъ образовавшейся въ октябрѣ 1905 года партіи «народной свободы». Между тѣмъ, окрашивая освободительное движеніе въ одну краску, В. А. Маклаковъ тѣмъ самымъ извращаетъ специальный оттѣнокъ своихъ будущихъ товарищей, уже опредѣлившійся вполне явственно и въ этой подготовительной фазѣ. Центральная и правая часть освободительнаго движенія преслѣдовала задачу найти мирный исходъ изъ революціон-

и о й конъюнктуры. Тѣ, кто стояли вправо отъ нея — уже выходя за предѣлы освободительнаго движенія въ собственномъ смыслѣ — или отрицали самое существованіе революціонной конъюнктуры, или же рассчитывали расправиться съ революціей средствами насилія. Стоявшіе влѣво отъ центра — по большей части непартійные социалисты, напротивъ, мало вѣрили въ возможность мирнаго исхода завязавшейся борьбы и мѣрили степень ея успѣха степенью успѣха массовой народной революціи. Опять-таки, самъ Маклаковъ неоднократно признаетъ, что образъ дѣйствій самодержавія именно оправдалъ позицію лѣвыхъ и привелъ къ революціонному исходу. Но въ полномъ противорѣчій съ этими признаніями, срывающимися какъ-бы невольно съ пера автора, онъ продолжаетъ сохранять увѣренность, что только излишняя уступчивость его товарищей революціонному движенію помѣшала власти уступить либерализму въ той мѣрѣ, какъ это было нужно для мирнаго исхода. Конечно, вопросъ о точномъ опредѣленіи мѣры и предѣловъ уступокъ остается дѣломъ его политическаго вкуса. На какой точкѣ должна была остановиться борьба? Какъ будто выходитъ, по Маклакову, что этой точкой былъ моментъ объявленія манифеста 17 октября. Но, помимо того, что сужденіе о значеніи этого манифеста можетъ быть различное и что исторія доказала правоту тѣхъ, кто считалъ его недостаточнымъ для укрѣпленія въ Россіи конституціоннаго строя, — вѣдь и самая эта уступка была достигнута фактической или формальной связью «либерализма» (Маклаковъ предпочитаетъ говорить здѣсь: «радикализма») съ революціей.

Таковъ колеблющійся, постоянно мѣняющійся общій фонъ, на которомъ Маклаковъ расцѣпываетъ поведеніе членовъ будущей партіи к.-д. въ каждый отдѣльный моментъ борьбы и въ каждомъ отдѣльномъ вопросѣ, съ нею связанномъ. Его общій критерій остается прежнимъ: к.-д. думаютъ не о программѣ, а о тактикѣ, и потому или осуждаютъ себя отъ уточненія программы или, поскольку все-же опредѣляютъ тотъ или другой пунктъ программы, уступаютъ — изъ тактики — крену нѣлѣво и занимаютъ демагогіей.

Первымъ по очереди ставится тутъ вопросъ объ отношеніи радикализовавшихся либераловъ къ народнымъ массамъ. Это вполне естественно, такъ какъ именно обращеніе къ массамъ и отличаетъ фазу «освободительнаго движенія» отъ фазы «Бесѣды». Все еще исходя изъ точки зрѣнія тактики, а не существа дѣла, Маклаковъ какъ-то смѣшиваетъ отношеніе к.-д. къ массамъ съ ихъ отношеніемъ къ революціоннымъ партіямъ, кото-

рыя раньше к.-д. обратились къ содѣйствию массъ. Рѣчь идетъ о партіи с.-д., связавшей себя съ рабочимъ движеніемъ, и о партіи с.-р., выступившей въ роли защитниковъ интересовъ крестьянства. По отношенію къ рабочему классу Маклаковъ обвиняетъ своихъ будущихъ единомышленниковъ въ томъ, что они добровольно отдали городской пролетаріатъ въ монопольное обслуживаніе социаль-демократовъ. Если-бы Маклаковъ судилъ объ этомъ не только по статьямъ «Освобожденія», но и по дальнѣйшей дѣятельности партіи со времени ея образованія, то убѣдился бы, что онъ совершенно неправъ. Правда, охрана рабочаго труда была настолько удовлетворительно разработана въ программѣ минимумъ с.-д., что партіи к.-д. оставалось только, — конечно, не въ интересахъ только конкуренціи, но и по существу вопроса, — ввести эту часть, съ небольшими измѣненіями, въ свою собственную программу. Правда также и то, что рабочій классъ самъ настолько связалъ себя съ партіей с.-д., что доступъ въ его ряды партіи к.-д. былъ почти совершенно прегражденъ. Тѣмъ не менѣе, к.-д. продолжали проводить по отношенію къ рабочимъ свою программу, отнюдь не желая прибѣгать къ политическому аукціону. Нужно при этомъ помнить, что были цѣлыя группы городского населенія, какъ, напр., торговые служащіе, которые всегда считали себя ближе всего къ партіи народной свободы. Изъ голосами и проходили кандидаты этой партіи въ главныхъ городахъ Россіи, гдѣ избирательное право было недалеко отъ всеобщаго. Связь съ городскими массами, такимъ образомъ, существовала — и даже сдѣлала настоящею монополіей к.-д. въ этихъ шести большихъ городахъ.

Далѣе слѣдуетъ нѣчто болѣе серьезное. В. А. Маклаковъ принимаетъ свое представленіе о «тактикѣ» и о политическомъ аукціонѣ къ главнѣйшему изъ вопросовъ, привлекавшихъ вниманіе к.-д. въ области социальнаго законодательства: къ области крестьянскаго вопроса. Совершенно вѣрно, что жизнь сдѣлала разрѣшеніе этого труднаго и сложнаго вопроса неотложнымъ и что партія народной свободы, какъ партія демократическая, не могла остаться въ сторонѣ отъ возбужденія этого вопроса въ первой-же Государственной думѣ, гдѣ у ней были шансы имѣть большинство. Но если тутъ и было что-нибудь «тактическаго», то развѣ только то, что партія пріобрѣтала тутъ право на «органическую» работу въ думѣ, возможность которой тогда отрицалась «лѣвымъ креномъ». Что же касается существа дѣла, достаточно напомнить, что выработанный партіей — при полномъ знаніи дѣла — проектъ принудитель-

наго отчужденія «части» помѣщичьихъ земель за «справедливое вознагражденіе» далеко не удовлетворялъ крестьянскихъ аппетитовъ и грозилъ отходомъ крестьянъ отъ партіи на политическомъ «аукціонѣ». Я долженъ, впрочемъ, прибавить, что нашлось большое количество крестьянъ — особенно на всемъ сѣверѣ Россіи и въ Сибири, которые поняли необходимость идти съ партіей въ этомъ вопросѣ. Но что противопоставляетъ самъ Маклаковъ предположеніямъ своей партіи? Здѣсь онъ расходится съ ней по всей линіи и предпочитаетъ поддерживать тотъ взглядъ на крестьянскій вопросъ, который въ то время упорно проводился правымъ дворянскимъ лагеремъ — отъ Гурко до Столыпина. Соціальной и экономической сторонѣ вопросъ здѣсь противопоставлялась правовая. Выходило очень прилично — вмѣсто вопроса о малоземельѣ и о высокихъ цѣнахъ аренды обсуждать вопросъ о завершеніи крестьянскаго раскрѣпощенія освобожденіемъ крестьянъ отъ всякихъ узъ, связывавшихъ ихъ съ сельскимъ обществомъ, да кстаги и съ земельнымъ надѣломъ. Это выходило даже либерально: вѣдь это консерваторы-славянофилы хотѣли закрѣпить мужика крестьянской общинѣ. Послѣдствіемъ «раскрѣпощенія», конечно, должна была явиться мобилизація земельной собственности и скопленіе надѣловъ въ однихъ рукахъ. Такъ и случилось, вопреки даже распоряженіямъ закона, въ результатѣ ставки Столыпина на «сильнаго» мужичка. Вотъ этотъ дворянскій и анти-соціальный характеръ агитаціи противъ прирѣзки надѣловъ, которую реакціонеры «теоретически» предлагали замѣнить повышеніемъ производительности сельскаго хозяйства, какъ-то совершенно ускользаетъ отъ вниманія Маклакова. По его настоячивому утвержденію «аграрную программу сочинили политики, поглощенные войною съ самодержавіемъ, думая этой программой завоевать у крестьянъ сочувствіе къ конституціи». Нельзя болѣе извращать истину, чѣмъ это сдѣлано въ такомъ утвержденіи. По существу, проведеніе аграрной реформы чрезвычайно мѣшало борьбѣ за конституцію, которая иначе прошла бы гораздо легче. Вѣдь именно из-за аграрнаго вопроса въ правительственныхъ сферахъ было рѣшено распустить думу — рѣшено еще раньше, чѣмъ она собралась. И именно это рѣшеніе, предложенное Горемыкинымъ, окончательно заставило Витте подать въ отставку. Нужно совершенно не знать кадетскихъ документовъ, нужно совершенно забыть всю нашу борьбу въ третьей думѣ противъ столыпинскихъ законовъ, чтобы рѣшиться утверждать то, что такъ авторитетно утверждаетъ Маклаковъ. Онъ долженъ-бы былъ знать, что аграрная програм-

ма к.-д. вырабатывалась какъ разъ не «политиками», а людьми, стоявшими близко къ крестьянству, изъ «Бесѣды» ли или изъ состава «третьяго элемента». «Политики» могли смотрѣть на нее только какъ на неизбѣжное, конечно, усложненіе своихъ «конституціонныхъ» заданий. Я не могу, конечно, останавливаться здѣсь на всѣхъ памятникахъ нашей борьбы за крестьянскіе интересы. Приведу только часть вступительной рѣчи И. И. Петрункевича на третьемъ съѣздѣ к.-д. передъ обсужденіемъ аграрной программы. «Приступая къ разрѣшенію аграрнаго вопроса», говорю нашъ вождь, «я позволю себѣ напомнить вамъ, что передъ нами не только одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ, но и одинъ изъ самыхъ трудныхъ. Если въ вопросахъ политическихъ мы имѣли возможность пользоваться указаніями опыта Западной Европы, которыя расчищали дорогу для всѣхъ нашихъ работъ, то въ аграрномъ вопросѣ мы сами должны расчищать себѣ путь и бороться съ трудностями, какихъ намъ не встрѣчалось раньше. Изъ нихъ наибольшей является то обстоятельство, что въ аграрномъ вопросѣ мы можемъ встрѣтить противодѣйствіе въ тѣхъ классахъ, интересы которыхъ связаны съ разрѣшеніемъ аграрнаго вопроса. Тѣмъ не менѣе, какія-бы трудности ни лежали на нашемъ пути, отказать отъ разрѣшенія этого вопроса мы не можемъ... Не аграрные эксцессы, не желаніе заняться благотворительностью заставили насъ подумать объ этомъ вопросѣ, но прежде всего убѣжденіе, что строй Россіи отжилъ, что необходимо полное его обновленіе, полное искорененіе стараго зла и что никакія политическія улучшенія невозможны безъ реформъ социальныхъ и экономическихъ». Все это для Маклакова есть не болѣе, какъ «лицемеріе» и «демагогія». Главный «грѣхъ» программы к.-д. онъ усматриваетъ въ томъ, что «вмѣсто того, чтобы Ахеронтъ успокаивать, она его поощряла». Какъ будто не пришлось к.-д. какъ разъ по этому вопросу бороться съ совсѣмъ другими прощрителями «Ахеронта», причѣмъ они рисковали проиграть «тактическую» игру, если бы въ ней было дѣло. И какъ будто, съ другой стороны, кто-то другой или что-то другое могло «успокоить» крестьянскій Ахеронтъ!

Въ своемъ стремленіи доказать, что «русскій либерализмъ (читай: радикализмъ) жертвовалъ всѣмъ» для достиженія своей исключительной цѣли сверженія самодержавія, Маклаковъ обращается далѣе къ вопросу объ отношеніи этого либерализма къ европейскому общественному мнѣнію и къ отдѣльнымъ національностямъ, входившимъ въ составъ Россійской имперіи. Суть его общаго обвиненія сводится здѣсь къ тому, что

въ своемъ преклоненіи передъ Европой русскій либерализмъ не умѣлъ сохранить своего національнаго достоинства. Обвиненіе дѣйствительно слишкомъ общее и давнее. Едва ли, если оно правильно, относить его только къ одному либерализму — и тѣмъ болѣе, конечно, къ одной политической партіи. Какъ-бы то ни было, бываютъ времена, когда — какъ теперь — этотъ порокъ самоуничиженія смѣняется другою крайностью — излишняго націоналистическаго самоутвержденія. В. А. Маклаковъ, повидимому, самъ перешелъ отъ одного настроенія къ другому раньше другихъ своихъ современниковъ. Какъ сейчасъ увидимъ, онъ проявилъ свой национализмъ уже въ националистической третьей Государственной думѣ. «Для иллюстраціи» Маклаковъ останавливается на «двухъ примѣрахъ; финляндскомъ и польскомъ вопросахъ. Послѣдуемъ за нимъ въ эту новую область нашихъ преступленій.

Виновато, конечно, и тутъ «освободительное движеніе». Это оно заставило к.-д. забыть про русскіе интересы. Это оно побудило самодержавіе, одновременно съ объявленіемъ конституціи, «капитулировать передъ Финляндіей», — т. е. ликвидировать неудачную попытку Бобрикова навязать Финляндіи русскія требованія силой. Для Россіи, по мнѣнію Маклакова, было «унизительно возстановлять законный порядокъ въ Финляндіи», нарушенный царскимъ режимомъ. И нашъ авторъ долго разошелся съ к.-д.» (точнѣе говоря, именно со мной) приступилъ къ «возстановленію» прежняго насилія. Правда, онъ признаетъ этотъ экспериментъ «однимъ изъ самыхъ неудачныхъ и плохо продуманныхъ націоналистическихъ начинаній Столыпина». Но... въ то же время Маклаковъ «принципіально разошелся съ к.-д.» (точнѣе говоря, именно со мной) при обсужденіи финляндскаго вопроса въ думѣ. Свое разногласіе онъ формулируетъ теперь нѣсколько странно. «Я находилъ, что въ вопросѣ (націоналистовъ) есть одна сторона, съ которой не согласиться нельзя; что должно признать существованіе общенперскихъ вопросовъ, для разсмотрѣнія которыхъ необходимъ особый порядокъ». И будто бы на этомъ основаніи фракція к.-д., по предложенію пишущаго эти строки, не допустила выступленія Маклакова въ думѣ по этому вопросу.

Я, признаться, непомню. Если бы Маклаковъ перечиталъ мою рѣчь 12 мая 1908 г., онъ увидалъ бы, что я не отрицаю ни первой, ни второй части его формулы. И сами финляндцы нисколько не отрицали необходимости пополнить пробѣлы своей конституціи, касающіяся общенперскихъ законовъ. Этимъ явнымъ уже занимался цѣлый рядъ смѣшанныхъ комиссій. И

«особый» порядокъ не отрицался. Но вопросъ былъ въ томъ, чтобы, введя этотъ порядокъ, не нарушать финляндскихъ правъ. Въ дальнѣйшемъ изложеніи Маклакова идетъ то же смѣшеніе. При обсужденіи законопроекта объ общенперскомъ законодательствѣ фракція разрѣшила Маклакову выступить вмѣстѣ со мной. Куда-же дѣлось наше «принципіальное разногласіе»? «Заполнить пробѣлъ надо было п а р а л л е л ь н ы м ъ русскимъ и финляндскимъ законодательствомъ», говоритъ Маклаковъ. «Вмѣстѣ съ оппозиціей я отрицалъ право Россіи односторонне нарушать тѣ права, которыя конституція Финляндіи за ними обезпечила». А я говорилъ въ рѣчи 17 марта 1910 г.: «по существу вносимый законопроектъ для насъ неприемлемъ, ибо онъ опредѣляетъ одностороннимъ актомъ сферу вліянія русскихъ учреждений — и опредѣляетъ такъ широко, что правовая сфера Финляндіи совершенно уничтожается». Кажется, разницы нѣтъ? Но разница была, и Маклаковъ самъ на нее указываетъ. «Вмѣстѣ съ большинствомъ (третьей думы) я признавалъ необходимость той конституціонной реформы, которую оппозиція отрицала». Какъ видно изъ приведенныхъ моихъ словъ, мы отрицали не «необходимость реформы (повторяю: ее не отрицали и финляндцы), а методъ односторонняго рѣшенія вопроса націоналистическимъ большинствомъ думы. На той же страницѣ, уже поворачиваясь лицомъ къ націоналистамъ, Маклаковъ говоритъ: «Финляндія только защищала свое законное право». И все же, «наши позиціи (съ Милюковымъ) оказались (уже на трибунѣ думы) различными. Милюковъ доказывалъ незаконность проекта и въ этомъ былъ правъ. Но онъ не признавалъ необходимости реформы (это было невѣрно. П. М.), допускалъ возможность остаться при старомъ порядкѣ (если новый порядокъ долженъ былъ быть введенъ насильемъ. П. М.). А такъ какъ задачей Маклакова было «выиграть дѣло въ данномъ составѣ думы» (все равно, это было невозможно), то онъ и «сталъ на другую позицію, притомъ «не изъ-за тактики, а по убѣжденію». Убѣжденіе это далѣе характеризуется его защитой права государственнаго переворота. Тутъ, конечно, убѣжденія Маклакова расходились съ убѣжденіями фракціи. И понятно почему, послѣ этой, чисто юридической защиты, фракція не напечатала въ приложеніи къ своему отчету рѣчи своего — не столько единомышленника, сколько юридическаго консультанта. Но Маклаковъ неправъ, когда говоритъ, что его имя было опущено въ партійномъ отчетѣ. Тамъ говорится (3-я сессія, стр. 75): «В. А. Маклаковъ обратилъ свою рѣчь къ октябристамъ, стараясь сдѣлать

для нихъ яснымъ, что разрушеніе финляндской конституціи можетъ роковымъ образомъ отразиться на судьбѣ своей собственной. Нѣтъ ни одного аргумента, приводимаго противъ финляндской конституціи, остріе котораго, при желаніи, не могло быть обращено противъ манифеста 17 октября». Это изложеніе вполнѣ соотвѣтствуетъ сказанному Маклаковымъ; не упомянута здѣсь только его защита государственнаго переворота.

«Чтобы довести до конца» свое сепаратное разсужденіе о финляндскомъ вопросѣ, Маклаковъ указываетъ на противорѣчіе кадетской теоріи раздѣльности, какъ онъ ее понимаетъ, съ попыткой Коккошкина, уже при революціи, доказать, что права великаго князя Финляндскаго съ отреченіемъ государя перешли къ временному правительству. Маклаковъ игнорируетъ при этомъ, что кадеты, не опредѣляя характера соединенія Финляндіи съ Россіей, какъ личной или реальной уніи, все же никогда не отрицали правъ великаго князя по финляндской конституціи. Аргументація Коккошкина все же была сильнѣе, чѣмъ утвержденіе, что власть великаго князя перешла послѣ революціи къ финляндскому сейму. Не нахожу также правильнымъ, что нашъ юристъ, когда ему, какъ представителю Россіи въ Парижѣ понадобилось — уже вполнѣ платонически-санкціонировать независимость Финляндіи, счелъ нужнымъ оформить юридически эту санкцію — ссылкой на (неверно понятую) кадетскую теорію, теперь ему пригодившуюся. Это свидѣтельствуеетъ, конечно, о гибкости его таланта, давшей ему возможность при помощи новаго аргумента «остаться на своемъ посту». Но кадетскій взглядъ тутъ совершенно не при чемъ. Независимость и Финляндіи пріобрѣтена въ революціонномъ и международномъ, но отнюдь не въ русско-финляндскомъ государственно-правовомъ порядкѣ.

Въ польскомъ вопросѣ В. А. Маклаковъ гораздо снисходительнѣе къ намъ. Тутъ онъ признаетъ за либерализмомъ не только «заслугу» правильнаго отношенія къ польскому вопросу, но (за лѣвымъ радикальнымъ крыломъ) заслугу «реальнаго разрѣшенія» вопроса (автономія въ составѣ Россіи). Но и тутъ вмѣшалось «роковое вліяніе освободенческой психологій» и «тактики, видѣвшей главный фронтъ въ борьбѣ съ Самодержавіемъ». А именно, освободенцы замалчивали будто бы «тѣ стороны проблемы, гдѣ правда была на сторонѣ національной Россіи», и тѣмъ допустили «защиту національныхъ интересовъ Россіи слѣлаться монополіей праваго лагеря (читай: націоналистовъ третьей думы). Обвиненіе, какъ видимъ, весьма тяжкое. Но заслуженное-ли? Рѣчь идетъ объ игнориро-

ваніи (будто бы) партией народной свободы польскаго «гнета надъ непольскими національностями». Но вѣдь к-д. защищали автономію Польши въ «этнографическихъ границахъ»? Я помню, съ какой тщательностью мы обсуждали съ поляками вопросъ объ обмѣнѣ территорій въ Сувалкской губерніи и въ уѣздахъ Холмщины. Какимъ образомъ уже «послѣ 1917 г.» мы могли «столкнуться съ послѣдствіями тактическихъ либеральныхъ ошибокъ», для меня непонятно. Въ международномъ порядкѣ русская делегация съ участіемъ Маклакова была выслушана Версальскимъ конгрессомъ (14 мая 1919 г.). На этотъ разъ уже безъ ошибки она могла сослаться на составленную мною вмѣстѣ съ покойнымъ Ледницкимъ декларацію Временнаго правительства о независимости Польши. Линія Керзона почти совпадала съ уговоренной к-д. вмѣстѣ съ поляками этнографической границей. Все дальнѣйшее протекло внѣ всякой зависимости отъ насъ. И все-же Маклаковъ отмѣчаетъ «вредные отголоски» нашего поведения въ націоналистической думѣ. Ему пришлось передъ международнымъ трибуналомъ раскрывать политическую подкладку преній въ Гос. думѣ, тенденціозность сторону, относительную цѣнность тогдашнихъ этнографическихъ аргументовъ». И Холмщину мы «проиграли» въ Версаль будто бы потому, что когда-то «*l'opinion libérale en Russie a condamné le projet*» о выдѣленіи Холмщины (по проекту думскихъ націоналистовъ и Столыпина). Проиграли, будто бы, лишь потому, что сами обвиняли русскую реакцію, что она «*poursuivait dans le pays une politique de russification*».

Что же, однако, было дѣлать, если это было вѣрно? Къ тому-же, вѣдь аргументация оппозиціи въ третьей Думѣ дѣйствительно не предназначалась для Версальскаго конгресса. Что не она рѣшила дѣло, признаетъ во всякомъ случаѣ и Маклаковъ. И все-таки — «вредные отголоски» либеральныхъ мнѣній! Чьихъ именно? Для незнакомыхъ съ этимъ недавнимъ прошлымъ будетъ вѣроятно неожиданно узнать, что это были отголоски рѣчи самого Маклакова! 20 января 1912 года онъ произнесъ очень рѣзкую рѣчь противъ законопроекта объ отдѣленіи Холмщины. Правда, это было уже въ концѣ сессіи третьей думы, не при Столыпинѣ, а при Коковцовѣ. Воинствующій націонализмъ третьей думы уже сильно слинялъ къ этому времени. Не было недостатка и въ этой рѣчи въ обычныхъ авансахъ Маклакова въ сторону противниковъ. Но все же ораторъ доказалъ безсодержательность и искусственность проекта, его безсиліе содѣйствовать руссификаціи и помѣшать поло-

низацин края, его злостную тенденциозность и даже его преступность съ той славянской точки зрѣнія, которой тогда увлекался Маклаковъ. Теперь уже справа его честили «демагогомъ». Но это не мѣшало ему призывать противниковъ «не оскорблять зря, безъ надобности, не лишать поляковъ самаго названія своего бывшаго государства, не обращать его въ какія-то Привислинскія губерніи». Это очень хорошо сказано, но въ своихъ теперешнихъ воспоминаніяхъ Маклаковъ судить опять иначе объ этомъ нашемъ, общемъ съ нимъ поведеніи. Онъ теперь подводитъ собственное выступленіе подъ понятіе «дискредитированія попытокъ нашей прежней власти защищать наши національные интересы». Хороша «защита»! Маклаковъ, очевидно, не приходитъ въ голову, что именно эти «оскорбленія зря», какъ польской, такъ и финляндской и другихъ національностей подготавливали почву для отпаденія ихъ отъ Россіи.

Свою атаку на недостаточность національнаго чувства у русскаго либерализма Маклаковъ заканчиваетъ нападеніемъ на его... пораженчество. Рѣчь идетъ объ отношеніи «перерожденнаго въ радикализмъ либерализма» къ русско-японской войнѣ. Приведя заявленіе передовика «Послѣднихъ Новостей» отъ 21 іюня 1928 г., что «не мы были пораженцами въ дальневосточной войнѣ Россіи», Маклаковъ возражаетъ, что это «самообманъ». Его личныя воспоминанія идутъ въ полный разрѣзъ съ такимъ утвержденіемъ. Отсюда слѣдуетъ, конечно, лишь то, что настроенія были различны даже въ нашей, болѣе тѣсной средѣ. Это, между прочимъ, проявилось въ томъ общеизвѣстномъ фактѣ, что весной 1906 г. Маклаковъ пытался помѣшать въ Парижѣ заключенію русскаго займа, тогда какъ его единомышленники въ Петербургѣ печатно осудили этотъ несомнѣнно пораженческій поступокъ*). Позволю себѣ въ дополненіе привести тоже справку изъ собственныхъ воспоминаній. Въ дни объявленія войны я былъ въ Лондонѣ, и вечеромъ этого дня мы съ И. В. Шкловскимъ поѣхали навѣстить П. А. Кропоткина въ его уединеніи въ Брайтонѣ. Не могу забыть нашего удивленія, когда старый анархистъ съ большимъ волненіемъ высказался по поводу этой войны безусловно на сторонѣ Россіи. Я знаю, конечно, и факты противоположнаго рода, но не рѣшился-бы взваливать огульнаго обвиненія въ пораженствѣ на какое-либо политическое теченіе, а тѣмъ болѣе на либерализмъ. Помню я и несомнѣнно сильное патріотическое возбужденіе, овладѣвшее

*) Исторіи парижскихъ переговоровъ 1906 г. будетъ въ «С. З.» посвящена В. А. Маклаковымъ особая глава, излагающая событія въ иномъ освѣщеніи. Ред.

немалой частью русскаго общества по поводу Цусимы. Думаю, что не перемена психологн либерализма послѣ мировой войны, какъ думаетъ Маклаковъ, а несомнѣнная вѣличность и пространенность оборонческаго настроенія уже въ 1905 г. лежитъ въ основѣ нашего разногласія съ Маклаковымъ въ спорѣ о «пораженчествѣ» среди русскаго общества.

Покончивъ на этомъ со спеціальными темами, возбуждавшими особое раздраженіе Маклакова противъ освободительнаго движенія въ цѣломъ и радикализированной имъ части русскаго либерализма въ частности, переходимъ вмѣстѣ съ авторомъ воспоминаній къ слѣдующей части его обвинительнаго акта. Этотъ отдѣлъ изложенъ въ нѣсколько болѣе систематическомъ — хронологическомъ порядкѣ. Спеціальныи поводъ для привлеченія къ отвѣтственности именно меня Маклаковъ находитъ здѣсь, въ рядѣ моихъ статей, напечатанныхъ въ «Освобожденіи» (я ничего не имѣю противъ раскрытія моего псевдонима —сс—). Пестарюсь удержаться на менѣ личной точкѣ зрѣнія.

Свою общую точку зрѣнія Маклаковъ иллюстрируетъ во введеніи къ этой части воспоминаній маленькимъ эпизодомъ. Будучи «новичкомъ въ политикѣ въ 1905 г.», онъ на учредительномъ съѣздѣ партіи к.-д. въ Москвѣ заговорилъ о правѣ к.-д., какъ будущей власти, на... перлюстрацію писемъ! Естественно, что внесеніе этого «права» въ серію другихъ политическихъ «свободъ», которыхъ добивалось «освободительное движеніе», «произвело впечатлѣніе неблагопріистойности». И Маклаковъ не можетъ забыть, какъ одинъ «почтенный и умный общественный дѣятель, будущій министръ» послѣ 1917 г., журилъ его, неопытнаго новичка, стараясь объяснить ему смыслъ его «непріистойности». Теперь тогдашняя «непріистойность» становится общей точкой зрѣнія Маклакова. Пусть такъ, соглашается, «скѣпя сердце», Маклаковъ. Пусть до 17 октября 1905 г. шла война и, логически, впереди шли и руководили общественнымъ мнѣніемъ люди, такъ сказать, «военные». Но 17 октября «война съ Самодержавіемъ должна была окончиться», диктуетъ онъ, — и мѣсто «военныхъ» должны были занять «государственно-мыслящіе люди». Къ его прискорбію, господа изъ «освободительнаго движенія» «дискредитировали и отодвинули мирные и умѣренные элементы», и война съ самодержавіемъ продолжалась. Сами-же господа «военные» «органически не сумѣли заложить основанія для примиренія съ исторической властью». Это и будетъ той тезой, которую авторъ воспоминаній постарается доказать на протяженіи своего, далеко незаконченнаго хронологическаго разсказа.

Началось съ того, что гг. радикалы совершенно не поняли Витте. Маклаковъ узналъ его лучше ихъ, ибо имѣлъ для того специальный случай. Нашъ авторъ принадлежитъ къ средѣ, изъ которой выходили губернаторы и министры, и, естественно, Витте могъ съ нимъ на покоѣ, въ Виши, вести, какъ было увѣренъ Маклаковъ, откровенныя и искреннія бесѣды, познакомилъ его съ своимъ коллегой П. Н. Дурново и т. д. Конечно, мы недавно читали воспоминанія другого премьера, гр. Кокочова, который рисовалъ Витте совсѣмъ въ другихъ краскахъ, чѣмъ Маклаковъ. По своимъ личнымъ впечатлѣнiямъ я скорѣе склоненъ согласиться съ характеристикой Маклакова. Но можетъ быть, истина лежитъ гдѣ-то въ серединѣ. Витте несомнѣнно былъ большимъ человѣкомъ. Но это не мѣшало ему быть плохимъ политикомъ и великимъ карьеристомъ. Его восхваленія Александра III никакъ не могли быть искренни, и его восторги передъ принципомъ самодержавія тоже не очень убѣдительны. Маклаковъ, напротивъ, получилъ впечатлѣнiе, что Витте «совсѣмъ не хитрилъ», — особенно передъ нимъ, Маклаковымъ. И съ этимъ очень трудно согласиться. А на этой характеристикѣ основано мнѣнiе Маклакова о Витте, какъ спасителя самодержавія и суровое обвиненiе тѣхъ, кто не питалъ къ нему такого же довѣрiя. По Маклакову выходитъ, что исключительно «освободительное движенiе» виновно въ томъ, что послѣ паденiя Витте всѣ его покинули и никто о немъ не жалѣлъ. Это, конечно, тоже невѣрно. Витте все время ставилъ ставку на обѣ карты сразу, но палъ жертвой не конституционализма, а самодержавiя, — и тѣмъ обнаружилъ всю фальшь избранной имъ позицiи. Это былъ не первый случай. Вспомнимъ о Лорисъ-Меликовѣ. Въ обоихъ случаяхъ это была болѣе чѣмъ личная трагедiя, а трагедiя режима. Въ этомъ и оправданiе, и значительность фигуры Витте.

Въ борьбѣ Витте съ Горемыкинымъ и съ Плеве Маклакова подкупаетъ то обстоятельство, что Витте поднималъ крестьянскiй вопросъ какъ разъ съ той правовой стороны, которую, какъ мы видѣли, предпочитаетъ выдвигать впередъ и самъ Маклаковъ. Но именно поэтому я не могу приписать этой борьбѣ такого значенiя, которое, черезчуръ преувеличено, придаетъ ей Маклаковъ. Онъ какъ то забываетъ при этомъ, что тотъ же Витте въ зенитѣ своего фавора поручилъ Кутлеру написать проектъ о принудительномъ отчужденiи помѣщичьихъ земель, а потомъ такъ же послѣшно выдалъ его дворянской оппозицiи, чтобы сохранить свое положенiе.

Характеристика Сипягина — типъ болѣе простой, — лучше

удается Маклакову. Но безъ идеализаціи и тутъ не обошлось. Сипягинъ «принадлежалъ къ тѣмъ отжившимъ типамъ дворянства, которые въ привилегіяхъ видѣли... почетное средство обслуживать интересы страны. Мое поколѣніе еще застало носителей этой старомодной идеологіи»... Маклаковъ «выдалъ въ дворянскихъ собраніяхъ» этихъ «благодушныхъ баловней жизни». Имѣть такого министра внутреннихъ дѣлъ «было для Витте гораздо полезнѣе, чѣмъ приобрести лишняго сотрудника изъ либеральнаго лагеря». При «политической наивности» такихъ людей Витте могъ разсчитывать получить отъ Сипягина поддержку для постановки крестьянскаго вопроса, какъ онъ принималъ его до октябрскаго манифеста. Конечно, подъ крестьянскимъ вопросомъ Маклаковъ и тутъ разумѣетъ «крестьянское равноправіе», считая именно его «основой программы либерализма». Правда, тутъ же Маклаковъ выражаетъ сомнѣніе въ «серьезности» такой помощи. «Воспитанный въ школахъ Самодержавія, Витте преувеличивалъ значеніе маневрированія около трона». Въ свѣтъ такого «маневрированія» онъ изображаетъ и борьбу Витте съ Плеве. Своеобразная борьба, въ которой оба «защищали Самодержавіе» и которая уже поэтому не могла имѣть того «политическаго интереса», который хочетъ приписать ей авторъ. Характеризовать Плеве Маклаковъ не беретъ, но все же характеризуетъ его, какъ трагическую фигуру, «не лишнюю героизма». Плеве «защищалъ Самодержавіе, какъ защищаютъ обреченную на гибель крѣпость». Сравненіе было бы удачно, если-бы не кончалось мотивировкой: «изъ вѣрности знамени». Дальше этой мотивировки видна изъ сравненія Плеве съ другимъ умнымъ бюрократомъ, П. Н. Дурново, въ которомъ уже было-бы совсѣмъ трудно усмотрѣть нѣчто «героическое». Фатализмъ вытекалъ у обоихъ не изъ убѣжденія, а изъ безразличія служилаго человѣка къ заданной сверху безнадежной задачѣ. Они лучше Витте понимали личную опасность «маневрированія около трона». Но у Витте былъ «планъ спасенія Россіи» отъ революціи, которую онъ предвидѣлъ не хуже ихъ. Далѣе, въ «трагическомъ» положеніи оказывается и самъ Маклаковъ. «Въ нашей общественной жизни еще были тогда элементы здороваго либерализма» («Бесѣда»); но «Самодержавіе, которое стало за Плеве, доказало свою неспособность къ оздоровленію (разрядка автора), — и... либерализмъ уступилъ мѣсто радикализму, который воплотился въ «освободительномъ движеніи». Трагизмъ нашего историка-публициста состоитъ въ томъ, что, понимая правильно роковой смыслъ развертывавшихся событій, онъ пытается уцѣпиться за соломин-

ку «Бесѣды», чтобы (заднимъ числомъ) доказывать возможность предотвращенія этихъ событій и сваливать вину за пропущенную возможность на своихъ единомышленниковъ.

Конечно, это можно сдѣлать, лишь ограничивъ искусственно свой кругозоръ полемикой между «здоровымъ либерализмомъ» и нездоровымъ «радикализмомъ». Каждый шагъ дальше показывается, какъ трудно было тогда политическому дѣятелю проводить границу между тѣмъ и другимъ видомъ либерализма-радикализма. А теперь, конечно, еще труднѣе построить на этомъ разграниченіи историческій разсказъ. Во всякомъ случаѣ, единственной политической группой, которая, при болѣе благоприятныхъ условіяхъ, могла еще провести здѣсь границу, была какъ разъ та, противъ которой съ такимъ усердіемъ и настойчивостью полемизируетъ Маклаковъ. Она и пыталась дѣлать это, но только не путемъ «маневрированія около трона», какъ продолжаетъ рекомендовать Маклаковъ, только что признавшій эту задачу безнадежной.

«Конституціонная монархія», по правильному замѣчанію Маклакова, была тогда «единственнымъ способомъ мирнаго преобразованія государства». А либерализмъ «сталъ на сторону революціи» и тѣмъ «отрекся отъ своей роли». Въ этомъ разсужденіи забыто одно: сама самодержавная власть не оставила другого пути къ конституціонной монархіи, кромѣ революціоннаго. Маклаковъ старается уйти отъ этого вывода, пытается доказать, что 17 октября Россія уже получила конституціонную монархію и что «либерализмъ» могъ покончить войну и заключить миръ съ монархомъ при помощи его посредника Витте. Въ этомъ заключается коренное и, повидимому, добровольное непониманіе всего смысла происходившей борьбы. И вся дальнѣйшая полемика нашего «мирнаго обновленца» съ партией народной свободы окрашена этимъ непониманіемъ.

До манифеста 17 октября 1905 г., во всякомъ случаѣ, и Маклаковъ считаетъ «войну» не законченной. По его справедливому мнѣнію, Святополкъ-Мирскій, замѣнившій Плеве, «не былъ человѣкомъ исключительной силы, способнымъ спасти Самодержавіе». Святополкъ-Мирскій, по характеристикѣ Маклакова, лично его знавшаго, «былъ близокъ къ типу людей, которыхъ объединяла «Бесѣда», многіе въ ней были лично съ нимъ дружны». Но тутъ-же Маклаковъ признаетъ, что шансъ «Бесѣды» уже прошелъ: «либерализмъ переродился въ радикализмъ». И Маклаковъ обвиняетъ «радикала» изъ «Освобожденія», въ томъ, что тотъ сразу призналъ недостаточной уступку, вырвавшуюся въ назначеніи Святополка-Мирскаго. И опять

туть-же прибавляетъ, что «даже «Бесѣда» не была вполнѣ удовлетворена первымъ выступленіемъ Мирскаго къ чинамъ министерства». Не удовлетворило земцевъ и намѣреніе новаго министра придать ихъ съѣзду официальный характеръ и соотвѣтственно измѣнить составъ съѣздовъ. Земцы (не радикалы) на этотъ разъ тоже «оказались непреклонны» и «не хотѣли сдѣлать ни единой уступки» министру. По терминологіи Маклакова, собственно, это должно было значить, что и земцы уже перешли въ «революцію». Но виноватымъ во всемъ оказывается тотъ радикалъ изъ «Освобожденія», который давалъ земцамъ директивы отъ освободительнаго движенія. Правда, «сами земцы этими настроеніями, къ счастью, проникнуты не были». «Большая половина съѣзда принадлежала къ «Бесѣдѣ». «Государственный либерализмъ» знаменитаго ноябрьскаго съѣзда 1904 г. выразился въ томъ, что, хотя онъ и провозгласилъ своимъ большинствомъ впервые слово «конституція», но хотѣлъ, чтобы конституція была «октройрована верховной властью». Министръ «естественно, остановился на меньшемъ», т. е. на совѣщательномъ представительствѣ, дальше котораго не шло меньшинство съѣзда, и такъ представилъ государю (тоже «естественно») программу съѣзда. Это и была та «двусмысленная роль», отъ которой предостерегалъ радикалъ изъ «Освобожденія». Маклаковъ признаетъ, что и такую сокращенную программу «было нелегко провести», ибо «въ окружавшей государя средѣ (почему-то не упоминается о его собственномъ мнѣніи) мысль о какомъ-бы то ни было представительствѣ встрѣчалась, какъ отступленіе отъ завѣтовъ (т. е., говоря яснѣе, безусловно отвергалась). При такомъ положеніи, жалуются Маклаковъ, освобожденцы подставили ножку земцамъ, проведя кампанію извѣстныхъ банкетовъ, провозглашавшихъ учредительное собраніе и четырехвостку. Именно это, будто бы, «сорвало» соглашеніе «общества съ Самодержавіемъ». Соглашеніе на чемъ? На программѣ большинства съѣздовъ, на программѣ министра или на чемъ-нибудь еще менѣе опредѣленномъ, — о чемъ продолжали говорить царскія заявленія и побѣдоносцевскіе манифесты? Естественно, что «продешевить» такимъ образомъ не только «Союзъ Освобожденія», но и большинство ноябрьскаго съѣзда, всѣ эти «непримиримые Петрункевичи, Родичевы, Кокошкины» не хотѣли. Они не изъ словъ только, а по существу понимали, что «оздоровить самодержавіе» невозможно. Отсюда и тотъ — не «союзъ съ революціонными партіями», а только констатированіе общей имъ ближайшей задачи (при сохраненіи разнообразныхъ тактикъ),

къ которому пришло парижское совѣщаніе при участіи нѣкоторыхъ весьма «государственныхъ» либераловъ и даже членовъ «Бесѣды».

Что противопоставляетъ этому Маклаковъ? Указъ 12 декабря, будто бы бывшій «капитуляціей стараго Самодержавія»? Маклаковъ твердо вѣритъ въ «существенныя нововведенія» этого указа и признаетъ его программю — «давнишней программой русскаго либерализма». Конечно, безъ народнаго представительства. Самъ Маклаковъ согласенъ, однако, что «Самодержавія безъ представительства уже никто изъ земцевъ не хотѣлъ»; что поэтому съ такою программой было опоздано, и указъ 12 декабря не имѣлъ почти никакого значенія. Но Маклаковъ все еще продолжаетъ думать, что «едининый фронтъ освободительнаго движенія могъ бы быть разбитъ», е сли бы Святополку-Мирскому удалось провести совѣщательное представительство. Однако же пунктъ о представительствѣ вообще былъ вычеркнутъ по совѣту... Витте. Публика — такъ же, какъ Святополкъ-Мирскій — увидала въ этомъ новое доказательство двуличности и неискренности Витте. Маклаковъ, который «слышалъ этотъ разсказъ отъ обонхъ», находитъ возможнымъ утверждать, что Витте проявилъ здѣсь не коварство, а «твердость убѣжденій»!. Онъ предпочиталъ «лучше прямо перейти къ конституціи». Если такъ, то и Витте, значитъ, соглашался съ радикаломъ изъ «Освобожденія»? Къ сожалѣнію, Витте высказывалъ эти соображенія Маклакову только *post factum*, а на совѣщаніи о программѣ Святополка у государя онъ только «вилялъ», «какъ вилялъ и въ вопросѣ о Земствѣ». Въ результатъ, не только не прошло какое-бы то ни было представительство, но одновременно съ указомъ 12 декабря появилось «правительственное сообщеніе», запрещавшее вообще разсуждать о представительствѣ, — все равно, въ собраніяхъ «нѣкоторыхъ гласныхъ», на «шумныхъ сборищахъ» или путемъ «демонстрацій цѣлыми скопищами». Все это одинаково подводилось подъ понятіе «смуты». Такимъ образомъ, борьба съ общественностью во всѣхъ ея видахъ объявлялась сверху. Любопытно, что первымъ послушаніемъ приказа и проявленіемъ дальнѣйшей борьбы былъ адресъ о представительствѣ московскаго земскаго собранія, за которымъ, при весьма активномъ участіи Маклакова, пыталось пойти и дворянское. Маклакову приходится признать «сдвигъ, который происходилъ даже въ консервативной части русскаго общества», а также и то обстоятельство, что «послѣ крушенія попытки, которую сдѣлалъ Святополкъ-Мирскій въ единеніи съ земствомъ, новыя ставки на благоразуміе

власти, на инициативу съ его стороны казались навсегда исключенными»... «Такъ къ 1905 году образовался одинъ общій фронтъ отъ революціонеровъ до консервативныхъ слоевъ нашего общества». Видимо, Маклаковъ очень огорченъ этимъ. «Если бы противъ Самодержавія шла одна революція, Самодержавіе могло бы не уступать».

Но въѣд и для уступки «либерализму» понадобились не «консервативныя» уговариванія сверху и не деклараціи земцевъ, а какъ разъ революціонный актъ, общая забастовка буквально всей Россіи. Безъ этого вмѣшательства «Ахеронта» уступка 17 октября не могла быть получена. Носила-ли по крайней мѣрѣ эта уступка окончательный характеръ?

Маклаковъ, который только что готовъ былъ удовлетвориться совѣшательнымъ представительствомъ, на этомъ хотѣть остановиться, — и очень недоволенъ, что другіе думаютъ иначе. По его мнѣнію, манифестъ 17 октября «давалъ все, что было нужно, былъ не подумѣрой, а полной уступкой». Если и онъ все-таки не могъ предупредить революцію, то это, по мнѣнію Маклакова, только потому, что «уступка во время борьбы не останавливаетъ, а поощряетъ побѣждающую сторону». «Революціонныя партіи» стремились дальше: къ установленію «новаго соціального порядка». И потому, правительству одновременно съ уступками, слѣдовало бороться съ революціей, что оно благоразумно и слѣлало, когда либерализмъ и «освобожденцы» оказались безсильными взять власть въ свои руки. Въ этихъ утвержденіяхъ — все спорно, начиная съ самаго основнаго: степени удовлетворительности данныхъ уступокъ. Вопреки Маклакову, обѣщанія Манифеста 17 октября вовсе не были выполнены основными законами 23 апрѣля 1906 года; а степень ихъ искренности была провѣрена въ ближайшіе же дни открытымъ покровительствомъ властей черной сотнѣ. Противорѣчіе, въ которомъ эта уступка стояла съ собственными убѣжденіями Николая II, было хорошо извѣстно публикѣ и провѣрено безконечными колебаніями царя, въ которыхъ верхъ всегда одерживалъ Побѣдоносцевъ. Искренность самого Витте была также заподозрѣна въ глазахъ общества. Слѣдовательно не было никакихъ данныхъ, чтобы судить о прочности уступки. Что касается «революціонныхъ партій», предположеніе Маклакова о ихъ намѣреніи немедленно ввести «новый соціальный порядокъ» едва-ли основательно. Что касается намѣреній к.-д., самъ Маклаковъ признаетъ «эволюціонный» характеръ этой партіи. Онъ обвиняетъ ее въ нежеланіи «перейти въ наступленіе» противъ революціи. Но послѣ уступки 17

октября, вырванной именно революционными методами, «наступление» было бы довольно странной тактикой. Партия, однако, предостерегала лѣвыхъ отъ печальныхъ послѣдствій ихъ игры въ «вооруженное возстаніе». Она понимала, что ихъ провалъ будетъ и проваломъ перваго русскаго представительства: это и показала судьба первой Думы. Но я снова приглашаю Маклакова ознакомиться съ «конфликтами въ первой Думѣ» по книжкѣ Винавера, чтобы понять, какъ много сдѣлано партией для укрощенія лѣвыхъ. Конечно, усмиреніе «революціи» тѣми способами, къ которымъ прибѣгъ Дурново и карательныя экспедиціи, было для партіи к.-д. совершенной невозможностью. Но то же обстоятельство помѣшало вступить въ правительство Витте и тѣмъ умѣренно либеральнымъ дѣятелямъ, которыхъ онъ приглашалъ раздѣлить власть съ Дурново. У к.-д. былъ также и другой мотивъ невступленія. Они понимали, что при создавшемся положеніи ихъ вступленіе не переломитъ недовѣрія общества въ серьезность правительственныхъ уступокъ и ждали осуществленія обѣщаній. Именно этотъ смыслъ имѣлъ мой совѣтъ Витте предварительно создать обстановку довѣрія мѣрами, какія можно предпринять въ составѣ «дѣловаго кабинета». Въ сущности, Маклаковъ согласенъ, если не съ моими мотивами, то съ существомъ моего предложенія. «Нельзя было въ то время ждать и даже желать кабинета общественныхъ дѣятелей», говоритъ онъ. Здѣсь разумѣется невѣроятный случай приглашенія императоромъ цѣлаго кабинета изъ «общественныхъ дѣятелей». Но назначеніе Витте премьеромъ все мѣняетъ въ глазахъ Маклакова. По его словамъ, лучше ничего и придумать было нельзя. И общественные дѣятели должны были пойти на его зовъ и тѣмъ дать ему «опору» въ предстоявшей борьбѣ противъ «силъ стараго строя» и противъ грозившей «революціи» — конечно, не въ прежнихъ формахъ, ибо «отъ либеральнаго общества нельзя было требовать, чтобы оно одобрило борьбу съ революционными настроеніями, мѣрами устарѣлыхъ законовъ и произволомъ властей».

Почему же, однако, общественные дѣятели самыхъ разнообразныхъ партій не пошли въ министерство Витте? Почему всѣ безъ исключенія приглашенные отказались отъ лестныхъ предложеній Витте? Да прежде всего потому, что и условія Маклакова не были выполнены. Присутствіе Дурново въ кабинетѣ предсказывало именно борьбу съ «революціей» — да и не съ нею одной — «мѣрами устарѣлыхъ законовъ». Нужно прочесть въ «Воспоминаніяхъ» Д. Н. Шипова о томъ впечатлѣніи, которое произвело на него и на А. И. Гучкова сообщеніе Вит-

те, что министромъ внутреннихъ дѣлъ въ ихъ кабинетѣ будетъ П. Н. Дурново. Послѣдствія показали, по утверженію того же Шипова, что дѣйствительно, «министерство Дурного не оказалось способнымъ удержаться въ границахъ соответствующихъ новымъ условіямъ, и оказалось не въ состояніи отступить отъ старыхъ пріемовъ». Это было то, на что «нельзя было требовать отъ либеральнаго общества» согласія. Такимъ образомъ самъ Маклаковъ принужденъ понять причину отказа дѣятелей союза 17 октября и согласиться съ нею. Нѣсколько страннымъ является послѣ этого его суровость къ сочленамъ партіи народной свободы, которой, къ тому же, и не было дано самой указать своихъ кандидатовъ. Кн. Е. Н. Трубецкой самимъ Витте былъ признанъ, въ концѣ концовъ, неподходящимъ на роль министра («Гамлетъ»). Ко мнѣ, на котораго падаетъ главный укоръ Маклакова, Витте обратился только за совѣтомъ. Маклаковъ вторично останавливается очень детально на совѣтѣ, который я далъ Витте. Для него мой совѣтъ представляетъ одинъ «ужасъ», и чуть не на меня одного онъ готовъ возложить отвѣтственность за то, что Витте съ русской общественностью не сговорился. Въ чемъ же было дѣло?

Въ виду уже выяснивагося нежеланія «общественности» раздѣлить отвѣтственность съ Витте при тогдашнихъ условіяхъ, я прежде всего хотѣлъ объяснить Витте, почему къ нему не идутъ. Я объяснилъ это недовѣріемъ къ нему лично и неопредѣленностью положенія. И я совѣтовалъ ему бросить на время мысль о приглашеніи общественныхъ дѣятелей, а доказать серьезность намѣреній власти путемъ принятія ряда мѣръ въ составъ переходнаго кабинета изъ приличныхъ бюрократовъ, безпартійныхъ товарищей министра и т. п. Я вовсе не отрицалъ, что, увѣрившись въ устойчивости уступокъ, общественность къ нему можетъ пойти. Оказалось, что Витте и безъ меня рѣшилъ поступить именно такимъ образомъ. Онъ призналъ мой совѣтъ «первымъ здравымъ словомъ», имъ услышаннымъ отъ «общественности». Что рядомъ съ «приличными» бюрократами въ его кабинетѣ оказались и «неприличные», это было уже его дѣло. «Совѣтъ Милюкова былъ, конечно, разумнымъ», признаетъ и Маклаковъ.

Одобрять Маклаковъ и мой второй совѣтъ, неполнѣ понимая, однако, его значеніе. Я понималъ вынужденность царской уступки и считалъ, что надо ковать желѣзо, пока горячо. Было ясно, что при этихъ условіяхъ тратить время на выработку избирательнаго закона въ учредительное собраніе, на выборы въ это собраніе, на неизвѣстный срокъ его занятій, за-

тѣмъ на вторичный созывъ, по выработанному имъ избирательному закону, въ законодательное собраніе и т. д. значило бы поставить подъ вопросъ вообще исполненіе обѣщаній манифеста 17 октября. И потому я сказалъ ему: «для ускоренія и упрощенія дѣла составьте какъ можно скорѣе (сейчасъ) конституцію по одному изъ классическихъ образцовъ (я указывалъ на бельгійскую — въ этомъ смыслѣ — и на болгарскую — въ виду большей убѣдительности ссылки для русскаго министра). Поднесите ее завтра царю для подписи, а послѣзавтра опубликуйте». Маклаковъ прежде всего одобряетъ меня за предложеніе дать «октроированную конституцію». Это, дѣйствительно, была точка зрѣнія уже ноябрьскаго сѣзда земцевъ. Но онъ уязвляетъ меня тѣмъ, что я не предложилъ ни «земскаго», ни «освобожденскаго» образца конституціи, и объясняетъ это тѣмъ, что оба эти проекта «представляли печальный образецъ нашей практической неумѣлости». Съ этимъ объясненіемъ я никакъ не могу согласиться. Признаетъ же Маклаковъ въ другомъ мѣстѣ, что у партіи народной свободы, единственной, были прекрасные знатоки государственнаго права. Они, конечно, не могли оказаться «неумѣлыми» въ этомъ ограниченномъ заданіи, облегченномъ существованіемъ европейскихъ образцовъ. Именно въ этой области заимствованіе было вполне умѣстно. Конечно, я не могъ сослаться на неизвѣстные тексты — и сослался на всѣмъ извѣстные образцы, указавъ такіе, которые включали въ себѣ выполненіе главныхъ заданій партіи. Само собой разумѣется, что я не думалъ, что въ самомъ дѣлѣ задачу эту можно исполнить въ три дня. Я только хотѣлъ, чтобы въ кратчайшее время Россія получила настоящую конституцію. И тутъ Маклаковъ несогласенъ со мной уже по существу. Я сказалъ Витте: «произнесите слово конституція». Маклаковъ изъ этого выводитъ, что споръ шельъ только о «словѣ», и утверждаетъ, что объ этомъ не стоило спорить, послѣ того какъ сущность конституціи была уже дана и потомъ подтверждена основными законами 23 апрѣля 1906 г. И онъ не принимаетъ моего утвержденія, что въ дѣйствительности именно здѣсь — не въ словѣ, а въ понятіи конституціи — проходила грань между обществомъ и властью. Витте лучше Маклакова понялъ смыслъ моего требованія и потому отвѣтилъ мнѣ такъ же категорически, какъ я и ожидалъ: «царь этого не хочетъ». Это значило — сразу и опредѣленно подтвердить, что по существу уступки русскому обществу не сдѣлано и что рѣчь опять идетъ о томъ или другомъ способѣ ускользнуть отъ данныхъ обѣщаній. Маклаковъ насъ убѣждаетъ, что надобно было повѣрить

власти. Это возвращаетъ насъ къ его взгляду на общій ходъ движенія, который я считаю совершенно не передающемъ дѣйствительнаго положенія вещей.

Въ другомъ мѣстѣ я напомнилъ Маклакову, что этотъ самый вопросъ о конституціи оставался спорнымъ втеченіе всего десятилѣтія практики лжеконституціонализма — и что на этомъ разошлись съ правительствомъ не только к.-д., но и октябристы, и самъ Столыпинъ; на этомъ же потерпѣли пораженіе усилія четвертой Думы спасти Россію отъ революціи путемъ созданія «прогрессивнаго блока». Не понять всего этого — значитъ не понять всего хода исторіи въ это десятилѣтіе. Естественно, что, услышавъ отвѣтъ Витте, я ему отвѣтилъ въ самомъ началѣ этого десятилѣтія: «тогда намъ не о чемъ говорить и я не могу подать никакого дѣльнаго совѣта». Я считаю, что исторія оправдала меня, а не Маклакова съ его туманнымъ представленіемъ о возможности сотрудничества съ царскою властью. Маклаковский путь, впрочемъ, былъ неоднократно испробованъ — безъ успѣха. Онъ и привелъ Россію къ революціи 1917 года.

Особый пунктъ обвиненія состоитъ въ томъ, что я говорилъ Витте не то, что говорила ему делегація земства, отвѣчавшая на его предложеніе строгими партійными формулами («Учредительное Собраніе и четыреххвостка»). Правда, четыреххвостка заключалась и въ рекомендованныхъ мною конституціяхъ, и учредительное собраніе не могло бы создать ничего лучшаго, нежели эти образцы. Но я все-таки долженъ повиниться: тутъ Маклаковъ правъ; я отступилъ отъ требований партіи. Но вѣдь я диктовалъ программу для Витте, а не для партіи. Затѣмъ и Маклаковъ обличаетъ меня въ томъ, что я все же требовалъ слишкомъ многого и моя программа была одинаково утопична. Нѣкоторымъ моимъ извиненіемъ можетъ служить, что въ то время четыреххвостки требовали и Шиповъ, и Гучковъ, — и возможность ея осуществленія была даже признана апрѣльскими основными законами, которые для Маклакова представляются верхомъ государственной мудрости. Прибавлю, что я наблюдалъ функціонированіе всеобщаго избирательнаго права въ Болгаріи, о конституціонной практикѣ которой написалъ специальное изслѣдованіе, и непосредственно познакомился съ практикой государственныхъ учреждений въ Соединенныхъ Штатахъ, Англіи и Франціи. Въ этихъ странахъ я пробылъ почти все время конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Требования русскаго радикализма вовсе не были для меня поэтому

жупелами и не казались непримѣнными даже въ такой странѣ, какъ Россія. Вообще, если Маклаковъ дѣйствительно хотѣлъ бы отдать себѣ отчетъ о тѣхъ выводахъ, которые я дѣлалъ тогда же изъ роста напряженія борьбы русскихъ либераловъ и социалистовъ съ самодержавіемъ, онъ могъ бы обратиться не къ тѣмъ или другимъ моимъ отдѣльнымъ заявленіямъ, которыя онъ старается раскритиковать, а къ связанному изложенію, напечатанному въ вышедшей тогда же (1905 г.) книгѣ: *Russia and its Crisis (Chicago)*. Признаюсь, я тамъ не предвидѣлъ быстрого возрожденія социалистическихъ иллюзій, сопровождавшаго подъемъ общественнаго движенія. Но наблюденія 1905 г. вполне опредѣлили этотъ пробѣлъ, — и уже съ осени 1905 г. вполне опредѣлилась моя собственная линия, связанная съ линіей партіи. Этотъ переходъ отразился смягченіемъ принятыхъ ранѣе формулъ (сюда относятся и «учредительныя права Думы», замѣнившія «учредительное собраніе» — въ цитатахъ Маклакова).

Извиняюсь передъ читателемъ за эти личныя справки, вызванныя необходимостью отвѣтить на упреки Маклакова. Но нашъ споръ имѣетъ и общее значеніе. Довести эти споры до конца мѣшаетъ незаконченность работы Маклакова. Полемика съ нимъ по партійнымъ вопросамъ затрудняется еще и тѣмъ, что его изложеніе обрывается пока какъ разъ на томъ мѣстѣ, когда начинается серьезная политическая дѣятельность партіи. Я хотѣлъ бы, чтобы въ дальнѣйшемъ авторъ обнаружилъ больше знакомства съ подлинными документами партіи, чѣмъ это видно до сихъ поръ изъ его изложенія. Я не ожидаю, конечно, чтобы въ этомъ случаѣ его общіе взгляды измѣнились. Для этого ихъ основа заложена слишкомъ давно, и самыя взгляды слишкомъ органически выросли изъ среды, къ которой принадлежалъ нашъ мемуаристъ. Его формальная принадлежность къ партіи никогда насъ не вводила въ заблужденіе; его воспоминанія лишь подтверждаютъ наши тогдашнія впечатлѣнія его отчужденности. Во всякомъ случаѣ мы желали бы болѣе обстоятельнаго и полнаго изученія самыхъ фактовъ, подлежащихъ толкованію или перетолкованію автора.

В заключеніе, я извиняюсь, если нѣкоторыя мои сужденія о воспоминаніяхъ В. А. Маклакова покажутся слишкомъ рѣзкими. Эта рѣзкость — невольная, вызванная соответственными утвержденіями В. А. Маклакова. Я не желалъ бы, во всякомъ случаѣ, чтобы читатель заподозрѣлъ въ тонѣ моего разбора что-либо личное. Я слишкомъ хорошо знаю положительныя качества

В. А. Маклакова, чтобы желать какимъ бы то ни было образомъ умалить ихъ въ своемъ анализѣ. Рѣчь идетъ здѣсь исключительно о выбранной имъ политической позиціи. Эту позицію я считаю въ корнѣ ошибочной. Но политика вообще не составляетъ сильной стороны этого выдающагося дѣятеля. И я увѣренъ, что какъ бы мы ни судили о политическихъ взглядахъ Маклакова, партія останется ему благодарна за ту большую долю успѣха, которую онъ внесъ своими выступленіями въ общій итогъ ея парламентской дѣятельности.

П. Милюковъ.

Міровоззрѣніе и идеологія

...Любоначалія, зміѣи сокрытой сей...

Одною изъ самыхъ характерныхъ чертъ послѣвоеннаго времени является безспорно его идеологизмъ. До войны міровоззрѣніе все болѣе и болѣе вытѣснялось изъ отдѣльныхъ областей культурной жизни, которая тѣмъ самымъ какъ бы лаицировалась, становясь все болѣе «нейтральной» не только по отношенію къ религіи, но и къ вѣрѣ вообще. Нейтральность государства въ отношеніи къ міровоззрѣнію была самоочевидной аксіомой, признававшейся всѣми разновидностями демократическихъ партій, въ томъ числѣ и социаль-демократической. Сохраняя внѣшне свой традиціонный марксизмъ, социал-демократическая партія на самомъ дѣлѣ сама внутри себя все болѣе и болѣе лаицировалась, проникалась характернымъ безразличіемъ къ міровоззрѣнію своихъ членовъ, требуя отъ послѣднихъ лишь признанія общей платформы, какъ совокупности опредѣленныхъ политическихъ, правовыхъ и хозяйственныхъ требованій практическаго характера. Лаицировалась и духовная жизнь: не только наука и искусство, но и философія, стремившаяся стать «научной», т. е. отдѣльной, автономной областью знанія, и это даже тогда, когда она рѣзко отмежевывала себя отъ «спеціальныхъ наукъ». Самоочевиднымъ почиталось и требованіе нейтральной школы, т. е. школы, безразличной къ міровоззрѣнію родителей, учащихся и учащихся и ограничивающейся объективными, независимыми отъ міровоззрѣнія истинами и правилами поведенія. Даже сама религія лаицировалась постольку, поскольку, укрывшись въ церкви, почиталась за особую, автономную область, а тамъ, гдѣ церковь оставалась еще связанной съ государствомъ, за особое вѣдомство. Это вытѣсненіе міровоззрѣнія было завершеніемъ длительного процесса лаицизації, который на самомъ дѣлѣ проникъ гораздо глубже въ духовную и общественную жизнь европейскихъ странъ, чѣмъ того требовалъ лозунгъ простого от-

дѣленія государства отъ церкви. Въ извѣстной мѣрѣ онъ продолжилъ собой процессъ демократическаго поравненія жизни, распространивъ начало равенства и на духовную жизнь, т. е. провозгласивъ всѣ убѣжденія и всѣ вѣры равными. Извѣстно, что именно этотъ духовный «релятивизмъ» Г. Кельзенъ объявилъ самымъ существомъ демократіи. Онъ сдѣлалъ это въ 1920 г., но формула эта была лишь осознаніемъ предвоенной эпохи, такъ же, какъ и составленная имъ австрійская конституція, вмѣстѣ съ другими новыми конституціями 1918-1920 гг. (за исключеніемъ только совѣтской), была лишь послѣднимъ, завершающимъ словомъ того, чѣмъ была и къ чему стремилась эта эпоха.

Послѣ войны положеніе въ корнѣ измѣнилось. Революціи, вызванныя войной, оказались вмѣстѣ съ тѣмъ началомъ новой эпохи, началомъ кризиса предвоенной культуры, нѣкоей болѣе глубокой революціей, совершавшейся въ умахъ и все углублявшейся по мѣрѣ роста новаго поколѣнія. Однимъ изъ главныхъ симптомовъ этого пореволюціоннаго сознанія и явился выходъ «міровоззрѣнія» изъ того своего угла, въ который оно было загнано «нейтральностью», наступленіе его въ видѣ «идеологіи» по всему культурному и политическому фронту. Начавшись въ Россіи, гдѣ коммунизмъ рѣшительно покончилъ съ демократической нейтральностью и установилъ господство единого міровоззрѣнія во всѣхъ рѣшительно областяхъ культуры, это идеологизированіе духовной жизни распространилось и въ Европѣ. Отдѣльными проявленіями этого процесса оказались столь же разнообразными, сколь и повсемѣстными. Въ Германіи оно захватило все такъ наз. «движеніе молодежи», сказалось въ философіи, которая мѣняетъ свою объективную форму науки на субъективную форму міровоззрѣнія, такъ что даже самый релятивизмъ предвоенной эпохи обернулся здѣсь «наукой о міровоззрѣніи», перебрисилось отчасти на школу, въ которой съ новой силой вспыхнула вопросъ объ ея вѣроисповѣдности. Разрѣшеніе этого вопроса въ Голландіи въ видѣ такъ наз. вѣроисповѣдной автономіи школы было любопытнымъ примѣненіемъ послѣдняго слова демократіи, принципа такъ наз. персональной автономіи, на этотъ разъ уже не на службѣ національности, а на службѣ «міровоззрѣнія». Аналогичныя явленія встрѣчаемъ мы въ другихъ странахъ (напр., неудержимый ростъ католической школы во Франціи) и среди русской эмиграціи («евразійство» съ его «идеократіей»). Отрицаніе нейтральности въ фашизмѣ : «національ-смізмъ», провозглашающихъ господство единой идеологіи, является только крайнимъ на-

пряженіемъ все той же общей послѣвоенной тенденціи отказа отъ духовнаго релятивизма и жадныхъ поисковъ міровоззрѣнія, какъ предмета новой вѣры. Въ этомъ именно проявляется тотъ духовный кризисъ, который въ послѣднемъ счетѣ лежитъ и въ основѣ кризиса демократіи. Самая демократія въ свою очередь стремится сейчасъ перестроиться и вмѣстѣ съ тѣмъ преодолѣть свой недавній релятивизмъ, обрѣсти новую вѣру. Не значитъ ли это, что и она должна будетъ подвести подъ себя фундаментъ особаго обязательнаго міровоззрѣнія, которое она могла бы притивопоставить міровоззрѣніямъ своихъ противниковъ, т. е. должна будетъ «идеологизироваться»?

Что безъ обновленія вѣры и, значитъ, безъ своего міровоззрѣнія демократія не сможетъ преодолѣть своего кризиса — это безспорно. Скептическое отношеніе къ поискамъ такого новаго міровоззрѣнія свидѣтельствуетъ лишь о глубинѣ кризиса, о неспособности преодолѣть духовную «нейтральность» и о силѣ инерціи довоеннаго релятивизма, приведшаго побѣдоносную демократію такъ скоро на край гибели. Но столь же безспорно, что идеологизированіе демократіи означало бы ея самоубійство. Демократія, требующая отъ всѣхъ не только подчиненія своимъ учрежденіямъ, но и безраздѣльной вѣры въ идеологию, ихъ оправдывающую, — это то же самое противорѣчіе, что и извѣстный лозунгъ санкулотовъ: *La liberté ou la mort!* Опасенія скептиковъ безспорно имѣютъ свое оправданіе. Какъ выйти изъ этого противорѣчія? Очевидно, демократы, ищущіе міровоззрѣнія и его боящіеся, по разному понимаютъ міровоззрѣніе или, точнѣе, разное въ немъ видятъ: одни — вѣру и преодолѣніе духовнаго безразличія, безъ чего невозможно преодолѣніе и политическаго безволія, другіе — твердую идеологию, за которой кроется утвержденіе нетерпимости и воля къ власти. Попробуемъ же установить ту не всегда легкую уловимую грань, которая отдѣляетъ міровоззрѣніе отъ идеологии и укажетъ тѣмъ самымъ міровоззрѣнію его предѣлы. Намъ думается, что въ той самой мѣрѣ, въ какой опасенія противъ идеологии вполнѣ законны, борьба противъ міровоззрѣнія неосновательна, да, въ сущности, и безнадежна.

Защитники «нейтральности» выдвигаютъ противъ міровоззрѣнія его ненаучность, или его завѣдомую субъективность. Міровоззрѣніе, говорятъ они, не есть простое созерцаніе міра, какимъ оно притязаетъ быть по своему названію. Уже потому, что оно хотѣтъ быть воззрѣніемъ міра какъ цѣлаго, недоступнаго опыту, оно никогда не есть только знаніе, но одновременно оцѣнка міра, утвержденіе нѣкоей іерархіи цѣнностей и

вмѣстѣ съ тѣмъ выраженіе жизненнаго идеала. Къ знанію при мѣшиваются въ немъ оцѣнки, чаянія, ирраціональныя убѣжденія, а все это, какъ недоказуемое, только разъединяетъ людей вмѣсто того, чтобы ихъ объединять. Поэтому міровоззрѣніе и должно оставаться «частнымъ дѣломъ» и не вправѣ вмѣшиваться въ общественную жизнь, которая, стремясь утвердить согласие между людьми, должна довольствоваться объективнымъ и «нейтральнымъ» по отношенію къ міровоззрѣнію минимумомъ. Міровоззрѣніе коренится въ характерѣ человѣка, оно есть предметъ его ирраціональнаго рѣшенія, между нимъ и человѣкомъ имѣется своего рода избирательное средство, почему и существуютъ постоянныя типы міровоззрѣній, неизмѣнно повторяющіяся въ исторіи и въ каждый историческій періодъ имѣющіе своихъ представителей. Мѣняется только проблематика, съ которой міровоззрѣніе имѣетъ дѣло, но основныя мотивы міровоззрѣній не подвержены измѣненію и тѣмъ менѣе прогрессу. Каждая историческая эпоха имѣетъ своихъ «нату ралистовъ», для которыхъ весь міръ лежитъ на одной плоскости посюсторонняго бытія, «критицистовъ», остро чувствующихъ разладъ между должнымъ и сущимъ, своихъ «объективныхъ идеалистовъ», воспринимающихъ міръ какъ гармоническій порядокъ, воплощающій въ себѣ потустороннія идеальныя сущности, и эта различная установка къ міру какъ цѣлому проявляется въ неизмѣнно повторяющихся типахъ религіи, философіи, искусства, политическихъ идеаловъ.

Этому какъ бы психологическому (вѣрнѣе антропологическому и статическому) пониманію міровоззрѣнія противостоитъ часто историческое и динамическое его пониманіе, выдвигаемое преимущественно не противниками міровоззрѣнія, а его защитниками. Міровоззрѣніе, говорятъ эти послѣдніе, коренится въ исторической ситуациі эпохи. Каждая эпоха имѣетъ свой особый характеръ, свой стиль, одинаково проявляющійся во всѣхъ областяхъ культурнаго творчества. Міровоззрѣніе, лежащее въ основѣ этого совокупнаго стиля эпохи, объективно въ томъ смыслѣ, что оно надиндивидуально, и отдѣльному лицу не остается ничего другого какъ принять его, подчиниться ему. Ни объективность эта ничего общаго не имѣетъ съ безкорыстной и отрѣщенной нейтральностью научной истины. Напротивъ, въ міровоззрѣніи эпохи выражается максимальный интересъ эпохи, жизнь ея во всей ея полнотѣ, неповторимость ея оцѣнокъ, чаяній и ирраціональныхъ убѣждений. Новое міровоззрѣніе истиннѣе ему предшествующаго не само по себѣ, но лишь для своего времени, и оно побиваетъ противника не отвлеченными

аргументами, а своей жизненной силой. Критеріемъ его истинности является не художочная общезначимость, а интенсивность, почвенность, плодотворность и величіе.

Оба развитые выше взгляда, изъ которыхъ одинъ подчеркиваетъ укорененность міровоззрѣнія въ ирраціональныхъ глубинахъ личнаго бытія, другой укорененность его въ ирраціональномъ бытіи исторической эпохи, по своему праву. Между міровоззрѣніемъ и личностью имѣется, дѣйствительно, нѣкое избирательное сродство, въ силу котораго человѣкъ «выбираетъ» себѣ міровоззрѣніе, наиболее соответствующее его «характеру», какъ говорилъ Фichte. Міровоззрѣніе есть выраженіе личности человѣка, въ немъ личность человѣка осознаетъ не только міръ, въ которомъ она живетъ, но и собственное свое глубинное бытіе. Эта сопряженность міровоззрѣнія и личности, т. е. осознаніе міра и самоосознанія, чрезвычайно существенна. Не будетъ преувеличеніемъ сказать, что міровоззрѣніе есть та реальная нить, коей отдѣльная личность связуется въ своемъ личномъ бытіи съ бытіемъ міра, въ который она погружена. Дѣтское представленіе о мірѣ потому не столь еще міровоззрѣніе, что ребенокъ живетъ еще по сю сторону прогивоположности «міра» и «я». Окружающая среда представляется ребенку нѣкимъ непрерывнымъ цѣлымъ, которое существуетъ, однако, не само по себѣ, какъ предметъ или объектъ, но лишь какъ поле его активности, какъ своего рода раковина, которую ребенокъ носитъ, подобно улиткѣ, все время съ собой. Сознаніе «міра» и сознаніе своего «я» развиваются параллельно. По мѣрѣ того, какъ міръ, перспективно упорядочиваясь, отходитъ отъ человѣка на дистанцію, становится «бытіемъ въ себѣ», человѣкъ начинаетъ сознать и собственное «я», какъ особое персональное бытіе, «бытіе для себя», и вступаетъ въ личное отношеніе къ міру, развивается какъ личность. Прагматическая «раковина», въ которой ребенокъ прячется отъ міра и которая, не будучи «міромъ», не есть также еще предметъ настоящаго «воззрѣнія», смѣняется тогда міровоззрѣніемъ, какъ формой бытія человѣка какъ личности. Безъ міровоззрѣнія, какъ жизненнаго отношенія субъекта къ міровому цѣлому, отношенія, включающаго въ себя наряду съ перспективно упорядоченнымъ представленіемъ о мірѣ и осмысленіе его съ точки зрѣнія пѣнностей, а значитъ и нѣкій жизненный идеаль, нѣтъ самосознанія, а, стало быть, нѣтъ и бытія человѣка какъ личности. С а м о сознаніе вырабатывается лишь въ постоянномъ взаимонапряженіи къ сознанію міра, такъ что вы-

работка человѣкомъ своего міровоззрѣнія и развитіе его, какъ личности, суть двѣ стороны одного и того же процесса.

При этомъ недостаточно и односторонне понимать это взаимоотношеніе только индивидуально, какъ процессъ, происходящій внутри отдѣльной человѣческой души. Напротивъ, процессъ этотъ происходитъ и внутри всего міра какъ цѣлаго. Духовное бытіе, или «культура» не есть только «точка зрѣнія» человѣка, но есть высшій слой мірового бытія, такъ же возвышающійся надъ органическимъ бытіемъ, какъ это послѣднее возвышается надъ бытіемъ физико-химическаго порядка. Наука, искусство, языкъ, общественныя учрежденія, религія и всѣ другія формы жизни объективнаго духа существуютъ не менѣе реально, чѣмъ виды органической жизни или химическіе элементы и физическіе электроны и атомы. Для этого высшаго слоя своего бытія міръ, какъ цѣлое, пріобрѣтаетъ характеръ объективнаго бытія, существующаго «въ себѣ», и вмѣстѣ съ тѣмъ большее значеніе внутри міра, какъ цѣлаго, пріобрѣтаетъ слой духовнаго бытія, въ которомъ міръ становится бытіемъ, существующимъ «для себя». Бытіе для себя не есть вторая стадія процесса развитія бытія, слѣдующая за первой стадіей бытія въ себѣ, какъ это полагалъ Гегель, но развитіе міра въ «бытіе въ себѣ» и въ «бытіе для себя» суть два полюса одного и того же процесса развитія міра, обуславливающіе другъ друга и находящіеся между собою въ отношеніи взаимнаго напряженія. А это значить, что міровоззрѣніе не есть только достояніе отдѣльнаго человѣка, въ которомъ выражается процессъ объективации для него міра и одновременно ростъ его какъ личности, но есть вмѣстѣ съ тѣмъ явленіе объективнаго духа, въ которомъ выражается процессъ объективации міра какъ цѣлаго, и одновременно самосознаніе объективнаго духа какъ высшаго слоя мірового бытія. Поэтому міровоззрѣніе есть всегда также достояніе исторической эпохи, оно не только индивидуально и характеризуетъ личность отдѣльнаго человѣка, но и сверхиндивидуально и характеризуетъ цѣлые историческіе періоды въ жизни человѣчества, въ которую отдѣльный человѣкъ погруженъ. Если и вѣрно, что отдѣльный человѣкъ выбираетъ себѣ міровоззрѣніе въ соотвѣтствіи со своимъ характеромъ, т. е. въ соотвѣтствіи со своей личной установкой («подходомъ») къ міровому цѣлому, то, съ другой стороны, столь же безспорно, что онъ ограниченъ въ этомъ своемъ выборѣ своей исторической эпохой, т. е. той формой самосознанія, которой достигъ въ данный историческій періодъ въ данномъ историческомъ мѣстѣ объективный духъ, какъ высшій

слой мирового бытія. «Натурализмъ», «объективный идеализмъ» и «идеализмъ свободы» эпохи Перикла, эпохи эллинизма, періода Просвѣщенія и нашего времени существенно различаются между собой. Если даже они и выражаютъ собой одни и тѣ же «психологическіе типы», то вмѣстѣ съ тѣмъ они выражаютъ собой разныя историческія ситуаціи». Въ этомъ безспорная пражота второго разсмотрѣннаго нами выше взгляда.

Отсюда бесплодность и невозможность всѣхъ попытокъ исключить мировоззрѣніе изъ духовной жизни, основать философію ли или политику на одной только «объективной научной истинѣ». Мировоззрѣніе есть проявленіе не только личности отдѣльнаго человѣка, но и его судьбы, результатъ встрѣчи персональнаго и объективнаго духа, свободы человѣка и исторической необходимости. Оно есть какъ бы внутренняя форма всякой духовной жизни. Всѣ тѣ, кто хотятъ обойтись безъ мировоззрѣнія, на самомъ дѣлѣ или имѣютъ свое, часто очень воистинное мировоззрѣніе натуралистическаго типа, или вмѣстѣ съ мировоззрѣніемъ утратили себя какъ личности и исключили себя изъ исторической судьбы. Если раньше нейтральность и релятивизмъ были ничѣмъ инымъ какъ псевдоморфозой натуралистическаго мировоззрѣнія, то сейчасъ они являются все яснѣе выступающей маской смерти. Подобно тому, какъ отдѣльный человѣкъ въ мѣру своего духовнаго роста, какъ личность, «выбираетъ» себѣ мировоззрѣніе, точно такъ же и всѣ творенія объективнаго духа носятъ на себѣ печать мировоззрѣнія. Мировоззрѣніе проявляется не только въ философіи и религіи, но также и въ искусствѣ, въ наукѣ, политикѣ и хозяйствѣ. Оно есть корень, изъ котораго они пристокаютъ или которымъ по крайней мѣрѣ питаются. Оно есть нить, которой всякое духовное бытіе онтологически прикрѣплено, какъ духовное бытіе, къ мировому цѣлому, одинаково, идетъ ли рѣчь о субъективномъ духѣ, т. е. о личности отдѣльнаго человѣка, или о твореніяхъ искусства, науки и другихъ областей объективнаго духа. Черезъ мировоззрѣніе они являются укорененными въ жизни и въ исторіи, оно сообщаетъ имъ ихъ «экзистенціальный» характеръ. Только мировоззрѣніе даетъ человѣку сознаніе своего мѣста въ мірѣ и тѣмъ самымъ «почву» въ жизни, возможность выйти изъ себя самого, оставаясь вмѣстѣ съ тѣмъ самимъ собой. Выражая какъ личностное, такъ и эпохальное бытіе духа, т. е. будучи укоренено какъ въ характерѣ отдѣльнаго человѣка (субъективный духъ), такъ и въ характерѣ исторической ситуаціи (объективный духъ), мировоззрѣніе уже поэтому есть менѣе всего отвлеченная «автономная»

истина. Оно атеоретично или, точиѣе, подтеоретично, ирраціонально, есть плодъ рѣшенія и судьбы, оно переживается, «зарабатывается» въ жизненной борьбѣ, а не просто доказывается. Не удивительно, что нѣтъ мировоззрѣнія, которое не содержало бы въ себѣ внутреннихъ противорѣчій, и что обстоятельство это не помѣшало еще ни одному мировоззрѣнію быть силой, опредѣляющей собой историческій процессъ. Даже самое вразумительное раскрытіе противорѣчій внутри какого либо мировоззрѣнія не въ состояніи само по себѣ лишить его убѣдительности. Впрочемъ, самая вѣская критика появляется обыкновенно тогда, когда мировоззрѣніе уже утратило свою притягательную силу. Она есть скорѣе симптомъ, нежели причина его ушерба.

Изъ того, что мировоззрѣніе есть внутренняя форма жизни духовнаго бытія, отнюдь не слѣдуютъ однако тѣ выводы, которые большинство нынѣшнихъ приверженцевъ мировоззрѣческой философіи и педагогики, въ особенности же мировоззрѣческой политики, дѣлаютъ. Выражая личность человѣка, мировоззрѣніе субъективно. Выражая «историческую ситуацию», въ которую человѣкъ погруженъ, оно «эпохально». Но, связуя личность человѣка и историческую ситуацию съ ирраціональнымъ всеединствомъ мирового цѣлаго, оно вмѣстѣ съ тѣмъ есть творческой порывъ къ преодолѣнію этой двойной частичности. Вѣрно, что критерій правды мировоззрѣнія есть не общезначимость отвлеченной истины, а почвенность, интензивность и плодотворность. Но это именно и значитъ, что мировоззрѣніе стремится выйти изъ простой своей «экзистенціальности», стремится раскрыть себя въ актахъ творчества. Укорененное въ личности и исторической ситуациі, оно стремится выйти изъ этихъ границъ своего почвеннаго бытія, оправдать себя, какъ теоретическая истина, красота, справедливость, святость или какая-нибудь другая форма объективности и общезначимости, въ которой погашается его первоначальная частичность. Выходя изъ самого себя и подчиняясь внутреннимъ законамъ этихъ формъ объективнаго духа, мировоззрѣніе преодолеваетъ свою субъективность и частичность, оно умираетъ какъ мировоззрѣніе для того, чтобы ожить какъ философія, религія, искусство, государственный строй. И только будущій историкъ открываетъ его снова въ порожденныхъ имъ твореніяхъ культуры какъ тотъ послѣдній ихъ корень, изъ котораго пристохла ихъ жизненность и ихъ подлинность. Это постоянное напряженіе между субъективностью личнаго корня и объективностью творческаго порыва, между частичностью бытія-

ственной почвы и всеобщностью произрастающихъ на ней плодовъ относится къ самой сущности мировоззрѣнія, составляя то, что можно было бы назвать внутренней его диалектикой. Мировоззрѣние есть корень, изъ котораго вырастаютъ творенія культуры, и потому ему суждено оставаться какъ бы вѣчно схороненнымъ въ почвѣ. Диалектика мировоззрѣнія не позволяеть ему оставаться самимъ собой: какъ только оно выходитъ изъ той почвенной глубины, въ которой человекъ, какъ цѣлое, встрѣчается съ міромъ, какъ цѣлымъ, неустойчивое равновѣсіе мировоззрѣнія нарушается. Мировоззрѣние или преодолевается въ творческомъ актѣ личности, и тогда оно перерождается въ философію, религію, науку, искусство или какую-нибудь иную форму объективнаго духа. Или, упорствуя въ своей субъективности и частичности, оно замыкается въ самомъ себѣ, но и тогда оно перестанетъ быть мировоззрѣніемъ въ подлинномъ смыслѣ слова, вырождаясь въ то, что вѣрнѣе всего было бы уже назвать «идеологіей».

Подробная феноменологія мировоззрѣнія должна была бы показать, какъ эта присущая мировоззрѣнію диалектика проявляется въ каждой отдѣльной области объективнаго духа. Философія освобождаетъ мировоззрѣніе отъ его социальной связанности, возвращаетъ его къ его истоку — личности и, персонализируя его, взрываетъ его замкнутость, раскрываетъ его и динамизируетъ. Въ эпоху обостренія борьбы за власть напротивъ обостряются и всѣ черты замкнутого мировоззрѣнія. Если традиціонное мировоззрѣние социальной группы носить охранительный характеръ, и застывшая замкнутость его есть результатъ какъ бы окаменѣнія, то воинствующее мировоззрѣние, еще только спавшающее социальную группу въ ея борьбѣ за власть, завѣдомо и умышленно противопоставляетъ себя всякой полнотѣ и всеединству. Тогда именно оно вырождается въ идеологию въ собственномъ смыслѣ этого слова. Частичность становится въ идеологии партійностью, односторонность точки зрѣнія усугубляется до тенденціозности. вмѣсто того, чтобы, какъ это происходитъ въ философіи, раскрыться и динамизироваться, мировоззрѣние въ идеологии еще болѣе замыкается въ себѣ, отмежевывается отъ всѣхъ чужихъ точекъ зрѣнія, игнорируя также и выдвигаемую ими проблематику. Оно утрачиваетъ свой личный и конкретный характеръ, стабилизируется въ догму, въ то, что Достоевскій называлъ однажды «чугунной идеей», массивность которой должна обезпечить ударную силу дѣйствію. Вѣдь тотъ, кто борется, не можетъ позволить себѣ ро-

скоши сомнѣнія, всякая проблематика только смущаетъ дѣйствующаго, который долженъ тутъ же на мѣстѣ принять рѣшеніе, а всякое рѣшеніе есть уже выборъ, т. е. завѣдомая односторонность. Для этого онъ и нуждается въ идеологіи, которая оградитъ бы его отъ всякихъ сомнѣній, ясно указала бы ему выборъ и, упростивъ для него задачу рѣшенія, придавала бы увѣренность его дѣйствию. Идеологія есть мечъ борьбы, и въ ней міровоззрѣніе застываетъ въ своего рода металлическую массу, перестаетъ быть связью частнаго съ цѣлымъ, затвердѣваетъ въ умысленной своей частичности. Оно перестаетъ быть интуиціей, покрывается панцыремъ застывшихъ понятій и вмѣстѣ съ тѣмъ подчиняетъ себя всецѣло волевому началу. Живая интуиція цѣлаго, лежащая въ основѣ всякой истинной философіи и открытая здѣсь для все расширяющейся проблематики, вырождается въ идеологію въ своего рода отмычку, безъ ключа открывающую двери ко всѣмъ проблемамъ. Хорошая діалектика, которая въ философіи раскрывается какъ взаимное напряженіе между изначальной укорененностью въ жизни и стремленіемъ вознестись къ объективности истины, въ идеологіи разрушается. Ея мѣсто занимаетъ здѣсь дурная діалектика противорѣчій, въ которыхъ необходимо запутывается всякая идеологія. «Укорененность въ жизни», «почвенность», которой столь кичится такъ наз. міровоззрѣнческая философія, перекидывается въ беззастѣнчивую «послѣдовательность», которая, казалось бы, есть скорѣе признакъ механическаго орудія, нежели подлинной жизни. Высокая оцѣнка живой индивидуальности въ ея неповторимой и незамѣнимой единичности (чѣмъ лично и эпохально обусловленное «міровоззрѣніе» притязаетъ именно отличать отъ нейтральной научной философіи) обращивается на дѣлѣ въ возвеличиваніе успѣха и такъ наз. «объективнаго прогресса», какъ критеріевъ истинности міровоззрѣнія. Причемъ забывается, что и «объектъ» и «прогрессъ» стоятъ въ прямомъ противорѣчьи къ жизни и индивидуальности, ими безустанно попираемыми.

Однако, и самое дѣйствие подъ влияніемъ идеологіи искажается. Въ области нравственной высшая жизненность и духовность точно такъ же достигаются лишь черезъ преодоленіе міровоззрѣнія. Только «замкнутая мораль» (по А. Бергсону) въ дѣйствительности связана міровоззрѣніемъ. Это есть нравственность, функция которой имѣетъ въ виду сохраненіе социальной группы. Простекая изъ социального бытія, мораль эта гетерономна. Отвлеченность, законченность, нетерпимость являются отличительными признаками этой статической морали.

Напротивъ, подлинная нравственность, имѣющая своимъ источникомъ любовь, динамична и открыта. Она не можетъ быть формулирована въ неподвижныхъ нормахъ и общихъ законахъ, ибо, будучи конкретной, она прилѣпляется къ неповторимой индивидуальной ситуаціи. Освобождаясь отъ всякой зависимости отъ всегда частичнаго соціальнаго бытія, она возносится въ совершенно иную сферу, въ сферу чистой человѣчности, которая отнюдь не есть простое максимальное обобщеніе соціальнаго, а представляетъ собою совершенно новое и первичное начало, не выводимое изъ начала общественнаго. Въ этой нравственности, началомъ которой является любовь въ смыслѣ христіанской любви къ ближнему, преодолевается уже всякая «точка зрѣнія» и всякая укорененность дѣйствія въ частичномъ бытіи, а тѣмъ самымъ и всякое мировоззрѣніе. Проявленіемъ этого преодоленія служитъ сознаніе своей вины за дѣла и грѣхи ближняго, сознаніе своего соучастія въ ихъ винѣ. Въ своемъ анализѣ динамической нравственности Бергсонъ просматриваетъ этотъ существенный ея моментъ, въ свѣдѣннѣ съ такой силой убѣдительности показанный Достоевскимъ. «Всѣ за всѣхъ и за все виноваты». Въ этомъ изреченіи старца Зосимы Достоевскій справедливо видитъ самое существо подлинной высшей нравственности. Безспорно, всякое дѣйствіе предполагаетъ рѣшеніе, выборъ и, значитъ, односторонность. Но чѣмъ болѣе оно одухотворено и чѣмъ болѣе приблизилось къ жизни въ ея цѣлостной индивидуальности, тѣмъ болѣе просвѣчиваетъ въ немъ сознаніе всеобщей связанности въ грѣхъ и сознаніе собственной вины за грѣхъ ближняго. И менѣе всего дѣйствіе терпитъ отъ этого въ своей силѣ, напряженности и даже успѣшности. Непоколебимая увѣренность отмѣчаетъ дѣйствія святыхъ и праведниковъ. Глубокое чутье художественной правды руководило Достоевскимъ, когда онъ именно этой чертой непоколебимаго, не раздѣлаемаго никакими сомнѣніями дѣйствованія характеризовалъ образъ своего любимаго героя Алеси Карамазова, противопоставляя ему колеблющійся и неувѣренный въ себя образъ дѣйствія его брата Ивана и показывая, какъ тѣсно связана эта неувѣренность съ «любовью къ дальнему», которая своей отвлеченностью лишаетъ поведеніе Ивана всякой почвы и корней въ жизни.

Все это въ такой же мѣрѣ относится и къ политическому дѣйствію. Невѣрно, что для того, чтобы быть великимъ и плодотворнымъ, политическое дѣйствіе должно быть ограничено опредѣленной «точкой зрѣнія». Политика извращается тогда, когда существо ея понимается чисто отрицательно, какъ «унич

тоженіе врага», какъ простая борьба за власть или за расширение мощи, когда она понимается какъ область исключительнаго господства любоначалія. Какъ во всякой другой области духа, такъ и въ политикѣ есть своя внутренняя объективность, своя правда, которая, аналогично истинѣ философіи, пребываетъ въ постоянномъ напряженіи съ первоначальной ея онтологической укорененностью въ частичномъ бытіи. Также и въ политикѣ необходимо снова и снова уметь преодолевать эту частичность, уметь выходить изъ почвенной своей укоренности на просторъ объективнаго, т. е. преодолевать свое «мировозрѣніе». Когда послѣднее отвердѣваетъ въ чугуиную доктрину, то и политика изъ расширенія мощи, стоящей на службѣ духа, вырождается въ своего рода организованное любоначаліе, въ то, что правильнѣе было бы назвать уже политизированіемъ, ибо политика въ данномъ случаѣ абсолютируется въ нѣкую самоцѣль, утрачивая сознание своихъ собственныхъ границъ.

Какъ это прекрасно показалъ Ф. Степунъ (см. его послѣднія статьи въ «Совр. Зап.»), и политикъ долженъ сознательно брать на себя вину, содержащуюся въ неизбѣжной односторонности принимаемыхъ имъ рѣшеній. Только благодаря этому сознанію вины, дѣйствіе его приобретаетъ характеръ объективности. Чужая точка зрѣнія должна не просто отвергаться, но вмѣстѣ съ тѣмъ признаваться также въ своей проблематикѣ и тѣмъ самымъ включаться въ полноту собственного дѣйствія. Отягощенное сознаніемъ вины, политическое дѣйствіе переживаетъ тогда какъ трагическая необходимость, что не только не ослабляетъ его но, напротивъ, придаетъ ему полновѣдность и сообщаетъ ему какъ бы измѣреніе глубины, еще болѣе укореняя его въ личности дѣйствующаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очищая его отъ всего только субъективнаго, вознося его въ сферу объективности, именуемой здѣсь справедливостью. Это діалектическое отношеніе взаимнаго напряженія напротивъ разрушается, когда мировоззрѣніе, не очищенное сознаніемъ вины и имъ не преодоленное, затвердѣваетъ въ «точку зрѣнія» или въ «идеологию». Въ практической области функція идеологіи заключается какъ разъ въ томъ, чтобы снять съ дѣйствующаго тяжесть сознанія вины за грѣхи другого и оправдать дѣйствіе въ его односторонности. Лишенное своего нравственнаго груза, дѣйствіе легко всплываетъ на поверхность, но и лишается тогда своей внутренней силы. Этотъ недостатокъ нравственной силы идеологія дытается возмѣстить квази-теоретическимъ доказательствомъ. Она хочетъ заставить умолкнуть сознаніе

вины тѣмъ, что устраняетъ всяческія сомнѣнія, забывая, что сознаніе вины не есть то же самое, что теоретическое сомнѣніе, и что оно такъ же очищаетъ и закаляетъ дѣйствіе, какъ теоретическое сомнѣніе очищаетъ и проклинаетъ знаніе. Но идеологія подражаетъ теоретической увѣренности, ибо для нея важна не нравственность и справедливость дѣйствія, но его внѣшній успѣхъ. Въ идеологіи міровоззрѣніе хочетъ стать такимъ же внѣшнимъ орудіемъ господства надъ людьми, какимъ естественныя науки являются для господства человѣка надъ природой. Но тѣмъ самымъ міровоззрѣніе предаетъ себя самого, ибо господство надъ природой достигается наукой какъ разъ въ той самой мѣрѣ, въ какой наукѣ удалось оторваться отъ изначальной. Идеологія напротивъ хочетъ добиться господства безъ объективности. Поэтому она съ такимъ злорадствомъ разоблачаетъ своихъ противниковъ, въ томъ числѣ и философію, какъ простая «міровоззрѣнія», и вмѣстѣ съ тѣмъ сама прикрывается мантией науки, чтобы усилить свою собственную позицію. Любоначаліе, воля къ власти есть коренной мотивъ, опредѣляющій все ея поведеніе. Гордыня (*hybris*) есть подлинное ея онтологическое основаніе, и идеократія есть ея затаенная цѣль. Идеократія есть послѣднее слово міровоззрѣнія, отказывающагося отъ долга своего самопреодоленія. «Живая жизнь» (Ф. Достоевскій) должна безусловно подчиниться идеѣ, но не отвергнута идеѣ, идеѣ «чугунной», умышленно отказавшейся отъ полноты всеединства и желающей утвердиться не посредствомъ любви (любви къ мудрости или любви къ ближнему), а посредствомъ внѣшняго принужденія. Живой идеѣ чуждо, напротивъ, всякое любоначаліе, и если она все же приходитъ къ господству, то это господство ея есть плодъ ея внутренней силы, плодъ теоретической или нравственной полноты, а не голой воли къ власти.

Любоначаліе есть такимъ образомъ та искомая нами грань, которой идеологія отличается отъ міровоззрѣнія. Опасно не міровоззрѣніе, а абсолютированіе того только человѣческаго, которое составляетъ экзистенціальную основу міровоззрѣнія, и отрывъ отъ Абсолютнаго, къ которому, какъ къ полнотѣ и всеединству своего собственнаго бытія, устремляется въ міровоззрѣніи всякая частная духовная жизнь. Абсолютированіе человѣческаго есть послѣдняя основа и той нетерпимости, которая характерна для всякой идеологіи, пренебрегающей живой человѣческой личностью ради торжества отвлеченной идеи. Наоборотъ, только осознаніе человѣкомъ его собственныхъ границъ и, значить, смиреніе передъ Абсолютнымъ можетъ стать основой новаго подлиннаго гуманизма, какъ умонастрое-

нія любви, и притомъ не любви къ дальнему, слишкомъ часто оборачивающейся брезгливостью и ненавистью къ ближнему, а любви къ конкретному, къ живому, къ индивидуальному. Простая «нейтральность» менѣе всего можетъ быть сейчасъ основой такого гуманизма. Она уже потому безсилна противостоятъ идеологіи, что исторически представляетъ собою продуктъ такой же воинствующей идеологіи, а именно идеологіи науки, не сознававшей своихъ собственныхъ границъ, идеологіи абсолютировавшаго себя человѣческаго разума, возомнивашаго о себѣ, что онъ можетъ быть достаточной основой духовной и соціальной жизни человѣка. Исчерпавшая себя самое и разувѣрившаяся въ своихъ собственныхъ притязаніяхъ, нейтральность выродилась сейчасъ въ душевное безразличіе, въ практику «малыхъ дѣлъ» и «короткихъ истинъ», въ усталость духа, всегда готовую замѣнить истину, въ которую она уже не вѣритъ, простымъ соглашеніемъ. Она уже не противникъ сейчасъ идеократіи, а ея пособникъ. Борьба съ идеократіей предполагаетъ сейчасъ преодоленіе нейтральности. И въ этомъ оправданіе тѣхъ, кто ищетъ сейчасъ мировоззрѣнія, — не какъ новой догмы, а какъ живой вѣры, не для того, чтобы на немъ остановиться, а для того, чтобы его преодолѣть, т. е. слѣдять его источникомъ духовнаго, въ частности и государственно-правового творчества.

С. І. Гессель.

Штыки и „Мистика“

Извѣстный государствовѣдъ, Жозефъ-Бартеlemi, недавно разсказалъ, какъ поставщикъ Маріи Антуанеты на просьбу послѣдней добыть ей нѣчто дѣйствительно новое, замѣтилъ: — Сударыня, ново только то, что основательно забыто...

Жозефъ-Бартеlemi прибавляетъ: вѣрное примѣнительно къ дамскому гардеробу, вѣрно и въ отношеніи къ государственнѣмъ учрежденіямъ. Можно сказать — вѣрно въ отношеніи ко всему вообще, въ отношеніи и къ нашимъ былымъ спорамъ и разногласіямъ.

Старый, казалось, прочно забытый, десятилѣтніи раздражавшій русскую интеллигенцію споръ о народничествѣ и марксизмѣ, воскресаетъ сейчасъ вновь, — въ иныхъ, правда, формахъ и терминнахъ и въ обще-европейскомъ, даже міровомъ масштабѣ.

Народники имѣютъ какъ будто основаніе торжествовать. Волонтаризмъ наступаетъ по всей линіи и одерживаетъ побѣды надъ квази-объективнѣмъ автоматизмомъ смѣняющихся экономическихъ процессовъ. Народническія утвержденія о «роли личности въ исторіи»; о «субъективномъ методѣ въ социологій»; о «плюралистическомъ» подходѣ къ явленіямъ (взаимнѣ экономическаго детерминизма); о распространительномъ толкованіи категорій «трудящихся»; о значеніи «распределенія» не только въ экономической политикѣ, но и для экономики страны, и т. д., и т. д., получаютъ все большее признаніе и въ наукѣ, и въ практической политикѣ. Даже тѣ, кто продолжаютъ проповѣдовать и процѣживать марксистскую или либеральную водичу, и тѣ усердно прикладываются къ живительному вину народничества, не вѣдая его марки и давности.

При всей неоспоримости идейныхъ побѣдъ, народничеству все же очень далеко до торжества. Не потому только, что ни одинъ изъ героевъ нынѣшняго дня — ни русскій генсекъ, ни итальянскій дуче, ни германскій фюреръ — ни въ какой мѣрѣ и никакъ не народники. Народничество не можетъ считать

себя побѣдителемъ потому, что, одержавъ побѣду по отдѣльнымъ идеологическимъ и частнымъ пунктамъ, оно потерпѣло поражение на главномъ и рѣшающемъ фронтѣ: основоположный для народничества принципъ личности, идея человѣка и чело-вѣчности оказались въ рядѣ странъ не только не ко двору, но и подвергнутыми осмѣянію и надругательству.

Диктатура не только упразднила свободу. Она и осуществила то, что раньше казалось немислимымъ и утопичнымъ. На мѣсто самодѣтельности она поставила приказъ и насилие и то, что считалось законами экономики, замѣнила личнымъ усмотрѣніемъ и вдохновеніемъ, длящимся въ теченіе годовъ и десятилѣтій. Если раньше и общественное мнѣніе, и наука считали самоочевиднымъ, что свободный трудъ въ условіяхъ 20-го вѣка производительнѣе труда рабскаго, то сейчасъ въ опытѣ дано, что свобода сама по себѣ не всегда даетъ и обезпечиваетъ благіе результаты, а рабское состояніе — «рабсила», «шкрабъ» и прочіе производные отъ раба — не всегда обречены на бесплодіе и провалъ. Если не считать издержекъ производства, и цѣнность человѣческой жизни и свободы съ точки зрѣнія конечной цѣли полагать приближающейся къ нулю, можно утверждать, что нынѣшняя диктатура доказала, что и въ 20-омъ вѣкѣ принудительный трудъ можетъ быть производителемъ, какъ и во времена фараоновъ и иныхъ деспотовъ древняго міра. И въ 20-омъ вѣкѣ страхъ и голодъ способны породить чудеса техники и искусства.

То, что продолжаетъ считать себя исторической наукой, обнаружило полное безсиліе предвидѣть «неизбѣжный» ходъ событій. Всѣ прогнозы оказывались несостоятельными, когда они шли дальше предсказанія того, что уже было подъ окномъ или стучалось въ дверь. Несостоятельными оказались не только прогнозы будущаго, но и объясненія, обращенныя къ прошлому. Не выдержали испытанія повоеннаго времени цѣлыя дисциплины, на которыхъ зиждилось историческое знаніе. Событія, въ рядѣ случаевъ и въ теченіе очень длительнаго времени, протекали совсѣмъ не такъ, какъ имъ полагалось на основаніи всѣхъ точныхъ данныхъ, и даже въ рѣзкое противорѣчіе съ этими данными.

Конечно, и сейчасъ не перевелись ученые, утверждающіе, что, если не въ жизни, то въ наукѣ все обстоитъ благополучно: если вопреки всѣмъ діагнозамъ и прогнозамъ, больной все-таки умираетъ, — то и это лишь къ вящему триумфу медицины. И сейчасъ имѣются экономисты, стояшіе на прежнему, —

ни одна страна въ 20-мъ вѣкѣ не можетъ позволить себѣ автаркіи, существовать и жить обособленно отъ другихъ, для себя и по своему, отгородившись отъ міра таможенными и культурно-политическими барьерами. И сейчасъ находятся не только финансисты, но и знатоки публичныхъ финансовъ, которые утверждаютъ, что изъ нынѣшняго финансоваго хаоса есть только одинъ выходъ: поголовное и скорѣйшее возвращеніе къ золоту странъ, отошедшихъ отъ него, далеко не всегда по доброй волѣ. Наконецъ, и среди политиковъ можно встрѣтить сторонниковъ прежняго, хорошо иллюстрированнаго испанскимъ писателемъ Камбо, взгляда, — для 1930 года вполне соответствовавшаго дѣйствительности.

Бѣдныя, аграрныя, непробѣжія, малограмотныя страны, не слишкомъ придерживающіяся гигиены, съ большой смертностью и неразвитой торговлей и почтово-телеграфной сѣтью, съ конской и гужевою тягой внутри страны, словомъ, всячески отсталыя — отстали и политически: онѣ естественно и неизбежно подвержены режиму откровенной или замаскированной диктатуры. Наоборотъ, страны промышленныя и культурно передовыя, электрофицируемыя, знающія химическое удобрение и раскинутую сѣть высшихъ учебныхъ заведеній, такія страны естественно и неизбежно оказываются очагами демократіи. Достаточно было провести по политической картѣ Европы не совсѣмъ прямую линію, отдѣлявшую Россію, Литву, Польшу, Румынію, Югославію, Болгарію, Грецію, Турцію, Италію, Испанію, Португалію отъ оставшихся по лѣвую сторону, странъ демократіи, чтобы удостовѣриться въ правильности сдѣланнаго Камбо обобщенія для 30-го года — и его несостоятельности для 35-го.

За послѣдніе годы дѣйствительность очень рѣзко — и во многихъ направленіяхъ — разошлась съ былыми схемами и законами. Вопреки теоріи — и очевидности — оказалось иногда выгоднымъ умышленно ронять собственную денежную единицу. Не пониженіе цѣнъ и тѣмъ самымъ дороговизны жизни, а, наоборотъ, повышеніе цѣнъ и тѣмъ самымъ оживленіе торговли и промышленности стало методомъ оздоровленія народнаго хозяйства въ интересахъ не однихъ только посредниковъ и производителей, но и всего государства-націи въ цѣломъ. Страны, отошедшія отъ золота, вопреки всѣмъ прогнозамъ, оказались въ положеніи экономически лучшемъ, нежели страны, оставшіяся ему вѣрными. Возможными оказались и «соціализмъ» въ одной странѣ, и капитализмъ, — правда, не въ классическихъ своихъ формахъ, а въ болѣе чѣмъ потрепанныхъ и близкихъ къ лже-соціализму и не-свободному капитализму со связанной эко-

номикой и финансами, управляющими цѣнами и на внутреннемъ, и на вѣншнемъ рынкахъ. Самый «хозрасчетъ» даже въ ведущей капиталистической странѣ — въ Соединенныхъ Штатахъ очень далеко отошелъ отъ былого типа и меньше считается съ дефицитностью производства, чѣмъ отмѣнившій собственность и прочіе буржуазные пережитки совѣтскій Союзъ.

Та же неувязка и въ политической области.

Пусть низкій уровень исторической науки и обществовѣдѣнія не позволилъ прѣвидѣть, что въ утренніе варвары побѣдятъ не только во всячески отсталой Россіи и въ бѣдной, грязной и лѣнливой Италіи, но и въ индустриальнѣйшей, методической, чистой, образованнѣйшей, всячески культурной Германіи. Но какъ все-таки не объяснить, хотя бы заднимъ числомъ, этотъ приходъ? Какъ не объяснить, почему торжество варваровъ затянулось на годы, а конца ему и не видать, — по крайней мѣрѣ на ближайшіе сроки предсказывать его мало кто беретъся.

Когда-то мудрившіе русскіе исторіософы еще могли думать, что «мѣсторазвитіе» Россіи, особенности русскаго народа, безпачвенность русской интеллигенціи и т. д. дають достаточное объясненіе и новой фазѣ русской исторіи. Но послѣ того, какъ аналогичныя — не говоримъ: идентичныя — событія произошли и въ другихъ странахъ, съ совсѣмъ другой исторіей и географіей, не настолько привычныхъ къ «корсету насилія», какъ скифско-евразійская, византійско-татарская Русь, — однимъ «мѣсторазвитіемъ» уже ничего не истолкуешь. Россія, Италія, Германія — не говоря о другихъ, меньшаго калибра странахъ, — совершенно разные міры, и тѣмъ не менѣе въ нихъ утвердился въ основномъ и главномъ схожій порядокъ. И почему въ той же Германіи долженъ былъ обязательно одержать верхъ «динамическій», дѣйственный и энтузіастическій національ-соціализмъ, а не столь же «динамическій», дѣйственный и энтузіастическій коммунизмъ?

Послѣ того, что произошло и въ странахъ старой культуры, еще съ меньшимъ правомъ можно ссылаться на историческую или социальную-политическую закономѣрность. Менѣе убѣдительно звучать и новогоднія завѣренія нынѣшняго французскаго премьера Фландена о томъ, что «французы слишкомъ унылы, чтобы признать диктатуру, которая населяетъ тюрьмы, парализуетъ языки, осуждаетъ все населеніе на жизнь въ волненіи и страхѣ»...

Если главнѣйшую надежду на устойчивость французской демократіи надлежало бы, въ самомъ дѣлѣ, возлагать на умъ французскихъ гражданъ, — шансы диктатуры во Франціи мож-

но было бы считать не слишкомъ незначительными. И не потому, чтобы мы отрицали природный и политическій умъ французовъ, а потому, что, если какой-нибудь выводъ можно сдѣлать изъ событій нашего времени, то прежде всего тотъ, что, увы, не умомъ движутся и опредѣляются политическія событія, во всякомъ случаѣ — не имъ однимъ и не имъ по преимуществу.

Если изжитой опытъ что-либо изобличилъ, такъ это, конечно, гегелевскій мифъ объ адекватности дѣйствительнаго разумному. Несознательное — безсознательное и подсознательное — сказалось надѣленнымъ гораздо большими возможностями, чѣмъ это предполагалось и слѣдовало изъ панлогическаго представленія объ исторіи, какъ процессѣ самораскрытія становящагося духа. Невнятица полубезумнаго Ничше оказалась, въ концѣ концовъ, болѣе близкой къ дѣйствительности, чѣмъ критическая аналитика и синтетическія сужденія а priori изслѣдователя чистаго и практическаго разума. Конструктивно идеи общественнаго договора и общей воли Руссо или автономія воли Канта врядъ ли могутъ быть превзойдены. Это не мѣшаетъ, однако, тому, что въ реальности людскія страсти, о которыхъ писалъ и которая направлялъ Макиавели, играли и играютъ несравненно большую роль, нежели регулятивныя идеи Руссо и Канта. Особенно съ того момента, какъ на историческую сцену выступили массы не только въ качествѣ статистовъ, но и въ качествѣ отвѣтственныхъ исполнителей. Соотвѣтственно съ идеями и интересами значеніе эмоцій и страстей не падаетъ, а возрастаетъ.

Не путемъ одного разума движется исторія, — разумъ былъ бы въ такомъ случаѣ лишь псевдонимомъ всеблагаго Провидѣнія, а исторія псевдонимомъ предустановленной отъ вѣка гаммоніи. И вообще не прямымъ путемъ идетъ она, не по одной колесѣ и далеко не тѣмъ темпомъ, на какой рассчитываютъ и какимъ хотѣлось бы нетерпѣливымъ современникамъ и политикамъ. Автоматизмъ обусловленности тормозится, отклоняется и парализуется такъ называемой гримасой или шуткою, капризомъ или случайностью исторіи, за которыми не всегда стоитъ человѣкъ съ его разумомъ и волею, даже съ его прихотью и страстью. Во всякомъ случаѣ, когда за ними и стоитъ человѣкъ, въ самомъ человѣкѣ отъ страсти до непосредственной реакціи разстояніе гораздо меньшее, чѣмъ отъ ощущенія до дѣйствія чрезъ осознаніе хотя бы самаго элементарнаго и жгучаго.

Отсюда и успѣхъ расплодившихся повсемѣстно «волютаристовъ» разныхъ мастей, — красныхъ, черныхъ, коричневыхъ,

одинаково начинающихся съ наполеоновскаго правила: *On s'engage et après on voit*. Характерно, что даже такой, казалось, далекий отъ культа Бонапарта волюнтаристъ, какъ Ленинъ, вдохновлялся и вдохновлялъ другихъ тѣмъ же правиломъ, которое онъ переводилъ такъ: — Сначала вяжемся въ драку, а тамъ будетъ видно...

Драка, въ началѣ, инерція драки, какъ продолженіе, и окончательное торжество штыка, подкрѣпленнаго танками, газами и аэропланами, какъ заключеніе, — такова единообразная практика утвердившихся послѣ войны личныхъ режимовъ. Люди безъ прошлаго показали на дѣлѣ всю условность не только традицій и идей, но вообще всякой культуры. Они опытнымъ путемъ опровергли многое изъ того, что 19-ый и даже 20-ый вѣка считали уже прочнымъ достояніемъ человѣчества, — въ частности, тезисъ будто на штыкахъ никакая власть длительно уснаждать въ состояніи.

Они показали и другое.



Извѣстенъ парадоксъ великаго инквизитора у Достоевскаго: «никогда и ничего не было для человѣка и для человѣческаго общества невыносимѣе свободы». Эта «идея» давно уже превзойдена дѣйствительностью. Уже не ставится вопросъ о внутренней цѣнности свободы, — «какая же свобода, если послушаніе куплено хлѣбами». Отпала самая дилемма: «лучше поработите насъ, но накормите»; свобода или — «хлѣба земного вдоволь для всякаго». Ни свободы, ни хлѣба земного. Даже когда послѣдняго — пшеницы, винограда, кофе, чая, злата, — вдоволь, его нехватаетъ для всякаго. Самый избытокъ его становится источникомъ лишенія и страданія для тѣхъ, кто имъ обладаетъ.

Значительные отряды человѣчества живутъ — развѣ это не означаетъ, что они и могутъ жить, — и безъ свободы, и безъ хлѣба, и безъ того и другого вмѣстѣ. И поклонники Константина Леонтьева съ удовлетвореніемъ цитируютъ его вѣщія слова: «Хлѣба и зрѣлищ!» — кричали римскія толпы. «Хлѣба и вѣры!», хотя бы цѣною новыхъ видовъ рабства, — будутъ скоро кричать всѣ народы Европы».

Народы, правда, кричатъ, — поскольку кричатъ, — не съѣмъ то, что слышалось Леонтьеву. О вѣрѣ, старой и новой, кричатъ все больше не толпы, а вожди и вожаки. Толпамъ же все энергичнѣе воспрещаютъ даже и причитать о хлѣбѣ, — ве-

дять смотрѣть веселѣй и ѣсть глазами начальство. Толпы кормятъ чѣмъ придется: и зрѣлищемъ, и хлѣбомъ, и вѣрой, и надеждой.

Рѣдко когда можно было съ такой наглядностью ощущать роль мифовъ въ общественной жизни, влияние фикцій и внушенія въ системѣ властвованія и подчиненія. Явленіе вождя массамъ и общеніе его съ добрымъ народомъ входятъ необходимымъ элементомъ въ официальную символику и магію властвованія Сталина, Муссолини, Гитлера. Выработался определенный ритуаль почттанія вождя и, обратно, воздѣйствія вождя на толпы. Фраза и поза, усиленный свѣтъ и звукъ, громъ и молнія входятъ обязательнымъ реквизитомъ въ постановки, разыгрывающіяся по одинаковой программѣ на красной площади въ Москвѣ у мавзолея Ленина, на венеціанской площади въ Римѣ у безвкуснаго памятника Виктору Эммануэлю или въ манежахъ и циркахъ Берлина.

Одну изъ такихъ постановокъ мнѣ пришлось наблюдать въ Римѣ минувшей весной, въ день праздника труда. Я видѣлъ Муссолини и его наигранный жестъ, традиціонное награжденіе пощлудемъ случайно случившагося очаровательнаго ребенка и собственноручную раздачу милостей-пенсій наиболѣе заслуженнымъ героямъ-ветеранамъ труда. Я слышала отчетливо скандируемую рѣчь съ подмостковъ и знаю примитивные, почти убогіе приемы, которыми воздѣйствуетъ дуче уже не на отличныя толпы, а на избранныхъ, удостоенныхъ личной аудіенціи. А Муссолини еще наиболѣе культурный изъ диктаторовъ, — по сравненію со Сталинымъ и Гитлеромъ особенно!

Можно скорбѣть и возмущаться низкимъ уровнемъ и вкусомъ и диктаторовъ, и покорныхъ массъ, утратившихъ вѣру въ себя и готовыхъ увѣровать въ любого мага и чародѣя. Справедливо скорбя и возмущаясь тѣмъ, что, претерпѣвая лишенія сами, люди ищутъ выхода своему недовольству въ причиненіи страданій другимъ, нельзя, однако, не признать, что движетъ ими и воодушевленіе, та самая вѣра и надежда, съ которыми, можетъ быть, уже давно разстались вожди, но которую они сумѣли привить и ею заразить своихъ приверженцевъ.

Вѣра безотчетная, немотивированная, безпредметная, мнимая, часто обманная, вмѣстѣ съ экстазомъ вызывающая жертвенность, — для обозначенія чего скептической французскій умъ и языкъ употребляетъ нѣсколько уничижительный терминъ мистика, — оказалась и въ 20-омъ вѣкѣ болѣе дѣйственной, нежели та сознательность, влеченіе къ свободѣ и прямыя интересы, на которые ставила свою ставку наука и практика.

Глубоко ошибочнымъ оказалось утверждение, что обмануть можно только отдѣльныхъ людей, но не цѣлые классы. Классы и даже рядъ классовъ, приближающийся въ своей совокупности къ націи, оказались не менѣе отдѣльныхъ индивидовъ подвержены обману. Превратясь въ самообманъ, онъ заряжался лишь еше большей силы душевнымъ потенциаломъ.

Вспомните «мистику» немедленного мира, обусловившаго въ значительной мѣрѣ успѣхъ Ленина, а фактически только затянувшую переходъ Россіи на мирное положеніе. Или «мистику» Муссолини и Гитлера, откровенно спекулировавшихъ на чувствахъ оскорбленного національного достоинства и «мистикѣ» націонализма *).

Безразличная къ предмету своего служенія, «мистика» одинаково хорошо уживается и съ классовымъ интернационализмомъ, и съ гордыней національного самоутвержденія, и съ расовымъ избранничествомъ. Для нея не существенны ни идеи, ни стили. Она приложима и къ большевистскому футуризму, беспорядочно-нелѣпому вовнѣ и себѣ на умѣ изнутри; и къ классическому стилю фашизма, воскресающаго римскую традицію съ обожествленіемъ Муссолини, вмѣсто Августа, и итальянской государственности — *italianità* — вмѣсто связаннаго съ Римомъ

*) Въ напечатанной ниже статьѣ Г. П. Федотова, какъ всегда блестящей по формѣ, авторъ трактуетъ націонализмъ, какъ «новый идолъ». Во многомъ правильная — а во многомъ никакъ не совпадающая лично съ нашими взглядами, — статья эта уже несомнѣнно грѣшитъ однимъ фактическимъ преувеличеніемъ, чтобы не говорить о прямомъ искаженіи. Мы имѣемъ въ виду, конечно, изображеніе нынѣшней дѣйствительности въ ключѣ, очень близкомъ къ Устрялову и «смѣновѣдкамъ», т. е. утверженіе побѣды въ СССР національно-патриотическаго начала надъ окончательно испарившимся интернациональнымъ коммунизмомъ: настоящее имя для строя СССР — національ-соціализмъ».

Конечно, то обстоятельство, что Устряловъ и др. склонны почти обожествлять націонализмъ, тогда какъ Федотовъ относится къ нему, какъ къ «идолу», — весьма существенно для личной биографіи обоихъ авторовъ и для ихъ различія другъ отъ друга. Но объективно именно потому, что Г. П. Федотовъ относится къ якобы утверждаемому совѣтской властью націонализму отрицательно, его сходное съ Устряловымъ и др. пониманіе и изображеніе совѣтской дѣйствительности, можетъ пріобрѣсти сугубую убѣдительность и соблазнъ для тѣхъ, кто въ націонализмъ вовсе не видитъ идола или способны его увидѣть лишь съ той космической точки зрѣнія, которая связываетъ земную исторію съ исторіей небесной и является исходной въ разсужденіяхъ Г. П. Федотова.

міра; и къ романтическимъ грезамъ, унаслѣдованнымъ отъ былыхъ ученій о специальномъ назначеніи, духъ и душѣ германскаго народа. Новѣйшая иллюстрація — автопризнаніе Гитлера по случаю саарскаго плебисцита: «когда Провидѣніе избрало тебя представителемъ націи, испытываешь чувство гордости»..

Когда обозначилась роль «мистики» въ успѣхъ диктатуры, стали пробовать использовать тотъ же комплексъ и въ противоположномъ направленіи, въ интересахъ демократіи.

Свою не до конца продуманную реформу Рузвельтъ съ самаго же начала сталъ проводить съ высокими учетомъ «мистики», — ей отведена была одна изъ отвѣтственныхъ ролей, и, на самомъ дѣлѣ, вѣра и воодушевленіе, которыя удалось вызвать Рузвельту, явились однимъ изъ существенныхъ факторовъ его успѣха, — въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ успѣхъ неоспоримъ: сокращеніе безработицы, торгово-промышленное оживленіе и т. д.

То же можно сказать о Планѣ труда де-Мана (о которомъ подробнѣе пишетъ въ этой же книжкѣ журнала Вл. Войтинскій). Въ теченіе года, что онъ существуетъ, планъ успѣлъ стать всеобщимъ, почти безъ всякихъ исключеній, символомъ вѣры бельгійскихъ социалистовъ и значительныхъ кадровъ либеральной и католической молодежи. Де-Манъ и не скрываетъ того, что онъ стремится создать «мистику» вокругъ своего плана, очень эмпирическаго, специальнаго и, что грѣхъ таить, довольно скучнаго. На докладѣ де-Мана въ Сорбоннѣ мы услышали изъ устъ Марселя Деа еще болѣе сенсационное признаніе: «Мистика планированія существеннѣе самаго плана!..»

Политики и экономисты борются съ инфляціей пессимизма и пассивной безнадѣжности, охватившей широкіе круги. Въ перемѣнѣ психологической установки они усматриваютъ едва ли не главнѣйшее средство для ликвидаціи экономическаго кризиса.

Всѣмъ извѣстно, какъ одинъ и тотъ же фактъ люди воспринимаютъ и расцѣниваютъ предвзято. Тогда, когда оптимистъ говоритъ, заль наполовину полною, пессимистъ замѣтитъ, что заль наполовину пустъ. Но вотъ, воистину, очаровательный анекдотъ, воспроизведенный во французскомъ журналѣ и особенно ярко иллюстрирующей всю условность психологической установки, расходящейся съ реальностью.

Жили-были два мальчика, пессимистъ и оптимистъ. Когда пришелъ Нозль, онъ оставилъ въ башмакахъ перваго: трубу, барабанъ и ножичекъ — предѣлъ мечтаній ребенка мужескаго пола; другого же онъ наградилъ всего на всего... конскимъ

навозомъ. Встрѣтившись, ребята стали обмѣниваться впечатлѣніями. Пессимистъ ворчливо бубнилъ: труба не трубить, барабанъ не бьетъ, ножикъ не рѣжетъ... Ну, а ты что получилъ? — Я?... Я получилъ живую лошадь — только она убѣжала, — показалъ восторженный оптимистъ на доставшійся ему навозъ...

Даръ воображенія дисквалифицируетъ реальныя блага и превозноситъ мнимыя не въ одномъ только дѣтскомъ возрастѣ. И «навозъ» способенъ вызвать не только образъ «живой лошади», но и весь душевный комплексъ, связанный съ ея мнимымъ обладаніемъ. И реальное обладаніе безспорными цѣнностями можетъ никакъ не ощущаться. Вытѣсняя реальное, мнимое можетъ явиться опредѣляющимъ не только личныя отношенія, но и соціальныя.

Если «мистику» пробуютъ использовать въ практическихъ интересахъ, ея фактической успѣхъ и популярность пробуютъ использовать и идейно: изъ сущаго выводятъ должное и въ эмпирическомъ ищутъ лишній доводъ въ пользу спиритуализма.

Присутствовавшіе на анти-евразійскомъ диспутѣ, устроенномъ въ свое время РДО въ Парижѣ, можетъ быть, не забыли, какъ талантливый ораторъ и философъ Б. П. Вышеславцевъ опровергалъ рационализмъ и силу разума ссылкой на опытъ жизни, принесшій торжество не умѣренной и благоразумной, по всѣмъ лучшимъ образцамъ составленной к.-д.-ской программѣ, а утопической, безразсудной и полуграмотной программѣ большевиковъ. Не свидѣтельствуемъ ли это о рѣшающемъ значеніи, которое имѣетъ ирраціональное и безсознательное?

Не споря съ проф. Вышеславцевымъ по существу, нетрудно было, однако, указать ему не только на логическую необратимость нѣкоторыхъ сужденій: не всѣ равныя углы вертикальны, хотя всѣ вертикальные и равны, — но и на то, что и съ близкой ему ирраціонально-богословской точки зрѣнія врядъ ли было бы правильно, напримѣръ, изъ словъ ап. Павла: мудрость человѣка безуміе передъ Господомъ, сдѣлать и обратное заключеніе: безуміе человѣка мудрость передъ Господомъ!..

Не будучи сторонниками «мистики» ни въ какомъ ея аспектѣ и пониманіи, мы тѣмъ острѣе воспринимаемъ зло и вредъ, которымъ рискуютъ всевозможные любители энтузіазма, какъ такового, невзирая на то, какому дѣлу онъ служить или чьей «аурой» является. Для насъ одинаково неприемлемъ и «паталогическій энтузіазмъ», повергающій цѣлыя народы и на долгій срокъ въ состояніе маниакальной одержимости, и искусственное насажденіе энтузіазма, которое и Н. А. Бердяеву напомни-

ло скорѣе «вспрыскиваніе камфоры, чѣмъ весну народнои жизни» (см. только что вышедшую и во многихъ отношеніяхъ справедливую книжку «Судьба человѣка въ современномъ мірѣ», стр. 10, 38 и др.). Но именно поэтому мы и менѣе другихъ въ правѣ игнорировать значеніе «мистики» или преуменьшать значеніе и количество заложенныхъ въ ней энергій и возможностей.

Что человѣкъ и человѣчество заслуживаютъ лучшей доли, чѣмъ ее имѣютъ,—для насъ непререкаемо. Но что человѣкъ весьма смутно представляетъ себѣ и сейчасъ, въ 20-омъ вѣкѣ, что хорошо и что худо, не вообще и не для другихъ, а для него самого, — это тоже безспорно. Значитъ ли отсюда, что тѣ, кто считаютъ себя обладателями истины, въ правѣ прибѣгать къ мистикѣ, какъ могучему средству приобщенія къ истинѣ и ея реализаціи, хотя бы вопреки и помимо сознанія тѣхъ, для кого и во имя кого истину провозглашаютъ и осуществляютъ?

Намъ представляется такая тактика не многимъ отличной отъ употребленія штыковъ съ самыми благими конечными цѣлями. Использование интимнѣйшихъ истоковъ человѣческаго духа, его вѣры и воодушевленія, для духовнаго соблазна неопытныхъ и неискусенныхъ, пожалуй, даже хуже открытаго примѣненія физическаго принужденія. Штыки, подпирאותіе «мистику», какъ и «мистика», освящающая штыки, избобличаютъ другъ друга. Штыки, срывая покровъ духовности, а «мистика», обнажая голое насиліе, вскрываютъ недостаточность однихъ штыковъ и одной «мистики».

Конечно, полноты совершенства въ эмпирическомъ мірѣ не приходится искать, и практическое осуществленіе требуетъ отступленія отъ чистой идеи. Но то, что защитники мистики (безъ кавычекъ) любятъ называть стояніемъ передъ истиной, меньше всего терпять привода къ истинѣ путемъ ли открытаго насилія или искусственнаго «вспрыскиванія камфоры».

Если, какъ правило, идея, не облеченная «мистикой», мало дѣятельна, то «мистика», не облекающая идеи, идейно «непредрѣшенческая», для которой идея только ось вращенія «мистики», — пуста и безсодержательна, невзирая на всѣ внѣшніе успѣхи, ею одержанные. Только свободная встрѣча истины съ здоровымъ и естественнымъ воодушевленіемъ можетъ дать результатъ, пріемлемый и для индивидуальнаго сознанія, и для общественной совѣсти.

М. В. Вишнякъ.

Эдуардъ Бенешъ

II.*)

Борьба за чехословацкую независимость.

Дѣятельность Бенеша во время міровой войны настолько обширна, что на нѣсколькихъ страницахъ, которыя намъ отведены, трудно остановиться даже на болѣе крупныхъ фактахъ. Читателей, интересующихся этимъ періодомъ въ жизни Бенеша, отсылаю къ его собственной книгѣ «Міровая война и революція», вышедшей помимо чешскаго также на французскомъ и англійскомъ языкахъ. Бѣглый обзоръ работы Бенеша во время войны показываетъ какъ ея огромный размѣръ, такъ и необычайно успѣшные ея результаты.

Проницательность въ оцѣнкѣ политической обстановки, приобретенная Бенешемъ еще до войны, помогла ему въ первый же моментъ осознать значеніе міровой катастрофы для чешскаго народа. Уже въ первыхъ числахъ августа мѣсяца 1914 года Бенешъ выправилъ себѣ въ полиціи паспортъ для возможнаго путешествія за границу. Въ то же время онъ принялся за изученіе военной нѣмецкой литературы, обращая особое вниманіе на идеологическія основы нѣмецкаго милитаризма и *тѣ политическія цѣли, которыя Германія ставила себѣ въ войнѣ. Приобрѣтенныя такимъ образомъ свѣдѣнія онъ публиковалъ въ рядѣ статей въ газетѣ «Чась». Въ то же время Бенешъ старался сблизиться съ людьми, у которыхъ онъ предполагалъ найти тѣ же идеи и стремленія, что и у него самого. Прежде всего онъ обратился къ представителямъ младшаго поколѣнія реалистическо - передовой партіи, съ которой былъ въ хорошихъ отношеніяхъ и сотрудничалъ еще до войны, — она успѣла уже въ это время послать за границу своего представителя, доктора Сихраву. Въ началѣ осени, при встрѣчѣ съ профессоромъ Масарикомъ, Бенешъ изложилъ ему

*) См. «Совр. Зап.» кн. 56.

свои взгляды и высказалъ убѣжденіе, что настала моментъ для энергичныхъ и рѣшительныхъ дѣйствій. Этотъ разговоръ кончился соглашеніемъ между ними и Бенешъ становится сотрудникомъ Масарика въ той работѣ, которую тотъ уже началъ своей поѣздкой въ Голландію. Бенешъ съ своей стороны предоставилъ для поддержанія этой работы первыя необходимыя финансовыя средства.

Въ этотъ періодъ работа сводилась прежде всего къ получению информации о положеніи вещей въ Германіи и о настроеніяхъ заграницей вообще. Въ ноябрѣ Бенешъ съ этой цѣлью съѣздилъ нѣсколько разъ въ Вѣну за матеріалами, которые добывалъ Кованда, а позднѣе въ Дрезденъ, откуда привозилъ иностранныя газеты, пропускавшія еще имперской цензурой и служившія неоцѣненнымъ пособіемъ для политической ориентации и работы. Въ то же время Бенешъ, съ согласія Масарика, поддерживалъ сношенія съ различными чешскими дѣятелями, особенно съ социалистами, стараясь приучить эти круги къ мысли о необходимости чешской революціи. Въ декабрѣ, въ виду отъѣзда Масарика за границу, онъ взялъ на себя также редактированіе журнала «Наша эпоха» (Náš doba). Передъ своимъ отъѣздомъ Масарикъ подробно ознакомилъ Бенеша со всеми своими политическими переговорами и программой дальнѣйшихъ дѣйствій, сообщилъ ему адреса лицъ, съ которыми онъ былъ связанъ за границей, установилъ шифръ для телеграммъ, посоветовалъ работать совместно съ Шейнеромъ и уполномочилъ его нести службу связи между нимъ и остальными политическими дѣятелями.

Уже въ началѣ 1915 года Бенешу представился случай доказать свое мужество, энергію и преданность дѣлу. Выяснилась возможность, что Масарикъ при своемъ возвращеніи въ Чехію будетъ арестованъ. Эти опасенія побудили Бенеша предпринять рискованное путешествіе за границу, гдѣ ему удалось убѣдить Масарика отказаться отъ задуманной поѣздки. Въ первыхъ числахъ февраля они встрѣтились въ Цюрихѣ, снова обсудили всѣ вопросы, касавшіеся дальнѣйшей политической дѣятельности и организациі сношеній съ заграницей. Особенно много въ этотъ разъ Бенешъ встрѣчался за границей съ русскимъ журналистомъ Сватковскимъ.

По возвращеніи изъ Швейцаріи, откуда онъ привезъ множество политической литературы, необходимой для политическаго освѣдомленія, Бенешъ принялся за организацию подпольнаго кружка, который бы могъ руководить всей политической работой. Онъ информировалъ о содержаніи своихъ бесѣдъ съ

Масарикомъ и Сватковскимъ Крамаржа, Шейнера, Шамала, Рашина и образовалъ вмѣстѣ съ ними тайный комитетъ и болѣе широкую организацію изъ лицъ, рѣшившихся работать въ томъ же направленіи. Бенешъ, служившій связью съ Масарикомъ, былъ естественнымъ секретаремъ комитета организаціи, которая позднѣе была названа Мафіей.

Работа въ теченіе 1915 года была нелегкой. Она сводилась къ освѣдомленію заграницы и Масарика при помощи курьеровъ, писемъ, посылаемыхъ на адреса вѣрныхъ чеховъ, живущихъ въ Швейцаріи, и при помощи условныхъ телеграммъ, предназначавшихся Сватковскому. Вся тяжесть этой отвѣтственной работы лежала на Бенешѣ, осуществлявшемъ ее при помощи Я. Гайка, д-ра Верштадта, своей жены и еще нѣсколькихъ лицъ. При этомъ Бенешъ не бросалъ и другихъ своихъ занятій. Онъ и теперь слѣдилъ за нѣмецкой военной литературой и результаты изученія ея резюмировалъ въ большой статьѣ «Война и культура», напечатанной въ журналѣ «Лумиръ»; въ ней онъ подробно анализировалъ философію войны, при чемъ довольно ясно просвѣчивала его цѣль — дать моральное обоснованіе чешской революціи противъ Австріи.

Несмотря на всю опасность, связанную со встрѣчами съ Масарикомъ, Бенешъ, будучи имъ вызванъ, вновь поѣхалъ въ Швейцарію на Пасху 1915 г. Онъ пробылъ тамъ около недѣли и снова привезъ домой подробныя свѣдѣнія не только о жизни заграницей, но и о работѣ, предпринимаемой Масарикомъ, и его политическихъ планахъ, подлежащихъ одобренію мѣстныхъ политическихъ круговъ. Несмотря на большія затрудненія и опасности, связанныя съ обратнымъ путешествіемъ, Бенешу удалось и въ этотъ разъ привезти массу иностранной литературы, которую было невозможно достать въ Прагѣ. При дальнѣйшей дѣятельности, состоявшей по отъѣздѣ депутата Дюриха въ отправкѣ заграницу политическихъ и газетныхъ сотрудниковъ, осложненія и трудности все увеличивались. Политическія преслѣдованія, особенно послѣ ареста Крамаржа (въ маѣ) и Рашина (въ іюнѣ), все болѣе тормозили дѣятельность Бенеша. Когда ему тоже началъ угрожать арестъ, Бенешъ рѣшилъ, спрятавъ предварительно всѣ вещи Масарика, бѣжать заграницу подъ чужой фамиліей и съ чужимъ паспортомъ, т. е. при условіяхъ для военного времени весьма сложныхъ и опасныхъ. Рискуя своей жизнью и будущимъ, равно какъ участію своей семьи, руководимый лишь мыслью о благѣ народа, Бенешъ успѣшно осуществилъ это путешествіе.

3-го сентября 1915 г. онъ вступилъ на швейцарскую территорию; въ этотъ же день онъ встрѣтился съ Масарикомъ и сообщилъ ему рядъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ въ Чехии. Онъ привезъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ и согласіе тайнаго комитета на открытое выступленіе противъ Австріи. Масарикъ выработалъ съ нимъ ту же программу дальнѣйшихъ дѣйствій. Соображаясь съ ней, Бенешъ долженъ былъ работать въ Парижѣ. Послѣ бесѣды съ рядомъ лицъ, въ томъ числѣ съ русскимъ посломъ Бибиковымъ, Бенешъ выѣхалъ 16 сентября въ Парижъ. Онъ поселился въ маленькой комнаткѣ и началъ свою работу. Онъ возобновилъ прежнія свои знакомства, завязанныя имъ еще до войны, особенно съ Альберомъ Тома, бывшимъ въ это время министромъ военнаго снабженія, и съ Лагарделемъ, а также съ нѣкоторыми университетскими профессорами, которыхъ раньше слушалъ. Онъ расширилъ кругъ своихъ знакомствъ и началъ сотрудничать особенно тѣсно съ профессоромъ Э. Дени, профессоромъ Эйзенманомъ, Пьеромъ Кириелемъ и Августомъ Говеномъ, которые оказали потомъ неоцѣнимыя услуги чешскому движенію. Проф. Эйзенманъ открылъ Бенешу доступъ во французское военное министерство, а социалистъ Поль Луи познакомилъ его съ вліятельными чиновниками изъ министерства иностранныхъ дѣлъ.

Прежде всего Бенешъ сосредоточилъ свои усилія на освѣдомленіи заграницы о положеніи дѣлъ въ Чехии и на пропагандѣ въ пользу чехословацкаго движенія. Съ самаго начала онъ также принялъ участіе въ организаціи движенія, имѣвшаго цѣлью созданіе центрального чехословацкаго политическаго органа. Въ связи съ этимъ онъ ѣздилъ въ послѣднихъ числахъ сентября въ Швейцарію, гдѣ велъ переговоры объ организаціи пересылки информации въ Россію, а также договорился по ряду вопросовъ съ депутатомъ Люрихомъ. Послѣ опубликованія 14 ноября сообщенія о возникновеніи чехословацкаго зарубежнаго комитета, Бенешъ 21-го ноября отправился въ Лондонъ, гдѣ оставался до 6-го декабря и условился съ Масарикомъ по нѣкоторымъ организаціоннымъ вопросамъ. Въ этотъ же разъ ему удалось завязать связь съ нѣсколькими английскими дѣятелями, особенно со Стидомъ и Сетонъ-Ватсономъ. Изъ Лондона онъ снова поѣхалъ въ Швейцарію — въ Женеву и Бернъ, гдѣ реорганизовалъ связь съ Прагой. Возвратившись въ Парижъ, онъ встрѣтился здѣсь со Штефанникомъ. Въ результатѣ ихъ бесѣды Штефанникъ предложилъ свое сотрудничество и внесъ рядъ предложеній, о которыхъ Бенешъ освѣдомилъ Масарика при своемъ путешествіи въ Голландію.

Въ Голландіи онъ былъ у художника Филлы, жена котораго поѣхала послѣ этого курьеромъ въ Прагу.

1916 годъ былъ заполненъ подобнаго же рода освѣдომительной и пропагандистской работой. Съ этой цѣлью Бенешъ издалъ подъ псевдонимомъ Эдуардъ Бельскій этудь о Масарикѣ. Въ самомъ началѣ года, тотчасъ же по возвращеніи изъ Голландіи, откуда ему удалось выбраться съ большимъ трудомъ и безъ визы пріѣхать сначала въ Лондонъ, а потомъ въ Парижъ, онъ, по совѣту Дени, организовалъ въ Сорбонѣ циклъ лекцій о славянскихъ дѣлахъ. Кромѣ того онъ писалъ для журналовъ «Nation Tchèque» и «Чехословацкая независимость», гдѣ напечаталъ рядъ большихъ статей, касающихся условий будущаго мира, политическаго и экономическаго положенія чешскихъ земель и т. д. Писалъ онъ въ нѣсколькихъ французскихъ ежедневныхъ газетахъ, особенно въ «Journal de Débats», «Temps», «Matin», «Paris-Midi», «Victoire», и для чешскихъ газетъ въ Америкѣ. Онъ освѣдомлялъ о положеніи въ Австріи французское военное министерство и рядъ видныхъ журналистовъ, давая имъ матеріалъ для статей объ Австро-Венгріи. Онъ помогалъ также Штефанику, обладавшему широкимъ кругомъ знакомствъ, изготовляя для него меморандумы, которые послѣдній распространялъ. Тогда же Бенешъ написалъ и издалъ свою лекцію: «Détruisez l'Autriche-Hongrie», которую передъ этимъ прочелъ въ Сорбонѣ.

Кромѣ того онъ выступалъ въ различныхъ официальныхъ и закрытыхъ обществахъ; это были: кружокъ друзей проф. Дени, политическій салонъ Мадамъ Менаръ Доріанъ, Лига защиты правъ человѣка, организациіи социалистическихъ партій, масоновъ и т. д. Онъ сотрудничалъ также въ сенатскомъ комитетѣ по иностранной политикѣ, въ социологическомъ обществѣ и въ весьма серьезномъ научномъ центрѣ — «Comité National d'études», гдѣ при участіи выдающихся французскихъ ученыхъ и общественныхъ дѣятелей разбирались вопросы, касающіеся войны, будущаго мира и особенно Австро-Венгріи. Въ этомъ же году онъ завязываетъ сношенія съ работниками югославянскаго и польскаго комитетовъ, съ которыми потомъ сотрудничаетъ въ теченіе всей войны. Познакомился онъ также и съ нѣкоторыми итальянскими официальными лицами и журналистами, которые въ 1916 г. посѣтили Парижъ; итальянской военной миссіи и представителямъ итальянскаго министерства пропаганды онъ давалъ различныя свѣдѣнія объ Австріи. Въ этомъ же году онъ встрѣтился и съ профессо-

ромъ П. Н. Милюковымъ, который виѣстъ съ делегацией Государственной Думы поѣхалъ тогда Англию и Францію.

Кромѣ этой весьма важной и утомительной информацион-ной и пропагандной работы, которую онъ велъ съ помощью д-ра Сихравы, а начиная съ дѣла и д-ра Осускаго, на рукахъ у Бенеша оказалась еще работа по созданию объединенной центральной организациі, предназначенной для объединенія чехословаковъ, живущихъ постоянно въ союзныхъ государствахъ или попавшихъ туда въ качествѣ плѣнныхъ. Въ началѣ роль такой организациі исполнялъ чехословацкій заграничный комитетъ, переименованный позднѣе въ Conseil National des Pays Tchêques; предсѣдателемъ его былъ Масарикъ, товарищемъ предсѣдателя депутатъ Дюринъ, а Бенешъ секретаремъ. Въ этой должности Бенешъ въ теченіе 1916 года велъ рядъ организационныхъ и политическихъ дѣлъ съ чехословацкой колоніей во Франціи и съ чешскими организаціями, возникшими ранѣе въ Россіи и въ Америкѣ. Кромѣ письменныхъ сношеній съ національнымъ чешскимъ объединеніемъ въ Америкѣ и организаціями въ Швейцаріи и Россіи, Бенешъ встрѣчался и лично, главнымъ образомъ съ представителями чешскихъ организацій въ Россіи, которые по временамъ пріѣзжали въ Парижъ. Это былъ прежде всего главный редакторъ газеты «Чехословакъ» Богданъ Павлу, а немного позднѣе делегаты кievскаго союза — Рейманъ и Южинъ-Ванекъ, съ которыми Бенешъ договорился о единой программѣ и планѣ какъ политическихъ такъ и военныхъ дѣйствій.

Другимъ важнымъ вопросомъ, серьезно занимавшимъ Бенеша, было улучшеніе тяжелаго положенія чешскихъ плѣнныхъ, перевезенныхъ во Францію изъ Сербіи. По этому вопросу онъ въ сентябрѣ того же года подалъ меморандумъ въ министерство національной обороны, премьеръ-министру и министру иностранныхъ дѣлъ.

Начиная съ февраля мѣсяца 1916 года, послѣ благопріятной аудіенціи профессора Масарика у премьеръ-министра Бриана, во время которой Бенешъ завѣрилъ Масарика, что «Франція никогда не будетъ относиться безразлично къ судьбамъ чешскаго народа», Бенешъ наряду съ перечисленными выше проблемами начинаетъ заниматься и организаціей чехословацкаго войска во Франціи. Моментъ для этого былъ весьма благопріятный, такъ какъ переговоры между Россіей и Франціей о перевозкѣ значительнаго количества русскихъ войскъ на французскій фронтъ прямо подсказывали мысль о

перевозѣ чехословацкихъ добровольцевъ изъ Россіи во Францію, гдѣ иначе не было достаточно матеріала для формировація арміи. За эту идею ухватился чешскій національный совѣтъ; послѣ того какъ онъ получилъ завѣреніе французскаго правительства, что оно согласно на создание чехословацкой арміи, Бенешъ и Штефаникъ, въ полномъ согласіи съ Дюрикомъ, начали организовывать эту акцію. Въ Россіи долженъ былъ вести объ этомъ переговоры Дюрихъ. Когда же у французскаго министерства и русскіихъ дѣятелей, находившихся въ Парижѣ, возникли опасенія, что едва ли это Дюриху удастся, было рѣшено, что въ Россію поѣдетъ и Штефаникъ. Обязанностью Бенеша было теперь подготовить официальное отправленіе Штефаника въ Россію. Онъ велъ объ этомъ переговоры съ одной стороны съ русскимъ посломъ, а съ другой стороны съ тѣми французскими официальными учреждениями, съ которыми самъ Штефаникъ не могъ говорить. При этомъ Бенешъ, какъ секретарь Национальнаго совета, впервые встрѣтился официально съ ответственными чиновниками министерства иностранныхъ дѣлъ Де Маргери и Филиппомъ Бертело, съ которыми впоследствии ему пришлось много лѣтъ успѣшно совмѣстно работать. Поѣздку Штефаника удалось осуществить. Реализація же всего плана, и то лишь частичная, удалась лишь послѣ русской революціи 1917 года.

Послѣ отъѣзда Штефаника въ Россію Бенешъ поѣхалъ на короткій срокъ, отъ 30-го іюля до 17-го августа, въ Англію, гдѣ онъ долженъ былъ обсудить съ Масарикомъ текущіе вопросы, въ томъ числѣ о сотрудничествѣ съ чехословацкими организаціями въ Россіи, о чемъ, какъ мы уже упоминали выше, онъ велъ переговоры съ делегатами Кіевскаго союза. Свою поѣздку въ Англію Бенешъ использовалъ и для установленія связей съ тѣми лицами, которыхъ уже зналъ Масарикъ.

По возвращеніи въ Парижъ Бенешъ принялся за дальнѣйшую работу по военнымъ вопросамъ. Онъ считалъ весьма важнымъ добиться согласія югославянскаго правительства на то, чтобы чехословацкіе плѣнные, находившіеся еще на Балканахъ, были перевезены во Францію, гдѣ среди нихъ можно бы было вести агитацію за образованіе своей арміи. По этому дѣлу онъ велъ переговоры съ сербскимъ посланникомъ Весничемъ и сербскимъ представителемъ при французскомъ генеральномъ штабѣ — генераломъ Рашичемъ. 31-го октября 1917 г. этотъ вопросъ былъ разрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ.

Благодаря усиленной информаціи и пропагандѣ удалось добиться того, что можно было начать политическую работу, ко-

торая носила бы характеръ уже дипломатическихъ переговоровъ. Это стало неотложнымъ особенно послѣ того, какъ центральныя державы сдѣлали черезъ Америку предложеніе о заключеніи мира. Когда стало ясно, что союзники хотятъ воспользоваться этимъ случаемъ для формулировки своихъ военныхъ цѣлей, Бенешъ приложилъ всѣ усилія, чтобы и чешскій вопросъ былъ включенъ въ рамки военныхъ цѣлей и требованій союзниковъ. Онъ нѣсколько разъ говорилъ по этому поводу въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, подавъ объ этомъ меморандумъ. Онъ использовалъ свои личныя связи для организации соответствующей кампаніи въ печати; дѣло это удало ему въ значительной степени, — о чехословацкомъ вопросѣ писали Зауервейнъ въ «*Matin*», А. Тардье въ «*Temps*», А. Говенъ въ «*Journal des Débats*» и др. Переговоры съ А. Каммереромъ, сотрудникомъ Бертело, а потомъ и съ самимъ Бертело, привели къ желанной цѣли; послѣ кампаніи, длившейся нѣсколько дней; Бенешу было сообщено, что въ отвѣтъ союзниковъ будетъ дополнительно вставленъ пунктъ объ освобожденіи чехословаковъ. И дѣйствительно, союзники въ своей достопамятной нотѣ отъ 10-го января выставили требованіе «освобожденія итальянцевъ, славянъ, румынъ и чехословаковъ».

1917 годъ принесъ, такимъ образомъ, благодаря своевременному вмѣшательству Бенеша, осуществленіе той помощи, которую около года тому назадъ обѣщала чехословацкому движенію Брианъ отъ имени Франціи. Упомянутіе объ освобожденіи Чехословакии въ нотѣ союзниковъ было большимъ успѣхомъ. Однако это еще не означало полной побѣды и Бенешъ, послѣ того какъ 7-го января узналъ навѣрняка, что вопросъ разрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ, тотчасъ же выѣхалъ въ Италію, чтобы и тамъ организовать все для побѣды чешскаго движенія.

Въ Римѣ онъ пріѣхалъ 12-го января и работалъ въ Италію до 4-го февраля, т. е. почти цѣлый мѣсяцъ. Онъ вступилъ въ сношенія съ рядомъ итальянскихъ журналистовъ, съ группой профессора Сальвемини, а также и съ итальянскими націоналистами. Онъ познакомился съ рядомъ дѣятелей, съ которыми позднѣе, главнымъ образомъ послѣ войны, часто сотрудничалъ; это были Э. Пильцъ, впоследствии польскій посолъ въ Прагѣ, князь Гика, впоследствии французскій посолъ въ Прагѣ, Шарль Ру и др. Нѣсколько разъ онъ встрѣчался и говорилъ съ французскимъ посломъ Варреромъ и русскимъ посломъ Гирсомъ. Бенешъ вступилъ въ сношенія и велъ переговоры съ

итальянскимъ министромъ пропаганды Коммандини и съ ответственными чиновниками итальянскаго министерства иностранныхъ дѣлъ, особенно же съ генеральнымъ секретаремъ Декартини и съ секретаремъ Соннио де Морриеромъ. Онъ воспользовался этой поѣздкой также для освѣдомленія ватиканскихъ круговъ.

Будучи вызванъ въ началѣ февраля Масарикомъ и уѣзжая въ Лондонъ, онъ могъ быть вполне доволенъ результатами своей поѣздки — ему удалось возбудить въ Италіи большой интересъ къ чехословацкому движенію. Успѣхъ заключался также въ томъ, что итальянскія официальные учрежденія начали признавать секретариатъ національнаго совѣта въ роли подлиннаго представительства чехословацкаго движенія. Въ Лондонѣ, гдѣ Бенешъ пробылъ отъ 5-го по 12-ое февраля, онъ договорился съ Масарикомъ о дальнѣйшихъ перспективахъ чехословацкаго политическаго движенія, которымъ теперь, въ виду отъѣзда Масарика въ Россію, на западъ долженъ былъ руководить Бенешъ.

По возвращеніи Бенеша въ Парижъ, его ждала здѣсь нелегкая задача, особенно послѣ того, какъ стали распространяться слухи о тайныхъ переговорахъ Австро-Венгрии съ союзниками. Въ связи съ этимъ было необходимо усилить информанцію и пропаганду, расширить и использовать всевозможныя знакомства и связи. Эта интенсивная работа, къ которой Бенешъ былъ вынужденъ привлечь рядъ своихъ сотрудниковъ, велась теперь еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ въ 1916 году. Она носила тотъ же характеръ, что и раньше, но была еще усилена сотрудничествомъ съ «Объединеніемъ для изученія и пропаганды славянскихъ вопросовъ», основаннымъ Франкленъ-Буйономъ и Э. Фурнолемъ и съ «Комитетомъ для охраны поработенныхъ національностей», основаннымъ во второй половинѣ года А. Тома. Въ связи съ дѣйствіями социалистическаго интернаціонала, особенно же въ связи съ выступленіемъ въ Стокгольмѣ, Бенешъ работалъ главнымъ образомъ въ социалистическихъ кругахъ и былъ особенно близокъ съ депутатомъ Лонге. Съ другой стороны, въ виду мирныхъ попытокъ Ватикана, онъ поддерживалъ знакомства и въ католическихъ кругахъ.

Точно такъ же, какъ и въ предшествовавшемъ году, Бенешъ продолжалъ работать въ газетѣ «Nation Tchèque», главнымъ редакторомъ которой онъ сталъ съ іюня 1917 г. и въ «Чехословацкой Независимости», равно какъ и въ рядѣ газетъ, съ которыми былъ связанъ съ 1915 года. Свою книжку «Унич-

тожте Австро-Венгрію» онъ издалъ по-итальянски въ Римѣ съ предисловіемъ депутата Андреа Торре и по-англійски въ Лондонѣ съ предисловіемъ В. Стида. Весной онъ составилъ меморандумъ противъ федерализаціи Австро-Венгрии, который и роздалъ ряду дѣятелей. 1-го ноября онъ опубликовалъ его въ «Nation Tchèque».

Въ 1917 г. Бенешу уже не нужно было заниматься въ такой мѣрѣ какъ раньше организаціонными вопросами; это облегченіе пришло особенно послѣ русской революціи, которая всѣ эти вопросы въ значительной мѣрѣ упростила, а по пріѣздѣ проф. Масарика въ Россію и вообще устранила. Кампанія, поднятая въ Америкѣ памфлетомъ К. Горкого «Народъ Дюриха и публика Бенеша», въ общемъ чехословацкому дѣлу не повредила. Поэтому Бенешъ могъ съ тѣмъ большей энергіей посвятить себя вопросу созданія чехословацкой арміи во Франціи.

Теперь вся дѣятельность развивалась въ трехъ направле- нійхъ: необходимо было перевезти добровольцевъ изъ Соединенныхъ Штатовъ, Россіи и Италіи. Первую задачу взялъ на себя по собственному желанію Штефаникъ. О двухъ остальныхъ, изъ которыхъ вывозъ добровольцевъ изъ Россіи сталъ весьма актуальнымъ сейчасъ же по пріѣздѣ Масарика въ Петроградъ, гдѣ онъ возобновилъ переговоры съ русскими официальными учреждениями, долженъ былъ заботиться Бенешъ. Какъ только Масарикъ удалось добиться согласія русскаго правительства на перевозъ плѣнныхъ во Францію и когда онъ подписалъ объ этомъ 13-го іюня договоръ съ министерствомъ Тома, Бенешъ сейчасъ же началъ переговоры о формальномъ созданіи чехословацкой арміи во Франціи. 4-го августа переговоры Бенеша съ министерствомъ народной обороны и иностранныхъ дѣлъ по этому вопросу были закончены и въ силу заключеннаго соглашенія во Франціи въ скоромъ времени должна была быть создана чехословацкая автономная армія, подчиненная въ военномъ отношеніи французскому верховному командованію, а политически національному совѣту.

Вскорѣ послѣ окончанія переговоровъ въ Парижѣ Бенешъ снова поѣхалъ въ Италію, теперь уже по непосредственному приглашенію министра иностранныхъ дѣлъ Сонино. Въ Римѣ онъ задержался отъ 26-го августа по 19-ое сентября. На этотъ разъ онъ познакомился съ министромъ внутреннихъ дѣлъ Орландо, ставшимъ позднѣе премьеръ-министромъ, а также съ сэромъ Самуэлемъ Горомъ, который въ скоромъ времени помогъ ему завязать личныя отношенія въ британскомъ Foreign Office. Тутъ же онъ въ первый разъ встрѣтился и съ серб-

скимъ министромъ председателемъ Пашичемъ. Присутствіе Бенеша въ Римѣ послужило на этотъ разъ поводомъ къ организаціи первой публичной манифестаціи въ пользу освобожденія Чехословакии, въ формѣ приѣма въ честь Бенеша, на которомъ присутствовали правительственные круги, а о чешскомъ вопросѣ говорили выдающіеся итальянскіе дѣятели.

Центръ тяжести дѣятельности Бенеша въ Италіи заключался на этотъ разъ въ переговорахъ, которые онъ велъ съ министромъ иностранныхъ дѣлъ Сонино. Онъ подалъ имъ нѣсколько меморандумовъ о чехословацкомъ движеніи и объ организаціи арміи. Бенешъ добился того, что были признаны всѣ права Національнаго Совѣта, какъ въ политическихъ, такъ и военныхъ вопросахъ, а организація чехословацкой арміи стала предметомъ серьезныхъ размышленій итальянскихъ политическихъ дѣятелей.

Скорѣ послѣ возвращенія изъ Италіи Бенешъ отправился въ Лондонъ (отъ 20-го до 28-го октября) съ цѣлью лично освѣдомить англійскихъ дѣятелей, а главнымъ образомъ Foreign Office о чехословацкихъ требованіяхъ, что до сихъ поръ онъ дѣлалъ черезъ посредство британскаго посла. Самуэль Горъ познакомилъ его прежде всего съ министромъ блокады Робертомъ Сесилемъ, которому Бенешъ передалъ меморандумъ о чехословацкихъ дѣлахъ. О конкретныхъ вопросахъ Бенешу тогда еще въ Англии не пришлось вести переговоры. Цѣлью поѣздки была скорѣ предварительная подготовка почвы для дѣловыхъ разговоровъ.

По возвращеніи изъ Лондона Бенешъ посвятилъ большую часть времени переговорамъ по военнымъ вопросамъ, основываясь на договорѣ отъ 4-го августа. Результатомъ былъ докладъ французскаго премьеръ-министра Клемансо и министра иностранныхъ дѣлъ Пишона, сдѣланный 16-го декабря президенту республики Пуанкарэ, въ которомъ они поддерживали національныя требованія чеховъ и словаковъ и предлагали издать декретъ объ организаціи чехословацкой арміи. Такой декретъ былъ подписанъ въ тотъ же день, а 19-го декабря онъ былъ опубликованъ. Значеніе декрета, который, какъ казалось въ первый моментъ, не давалъ непосредственныхъ практическихъ результатовъ, заключалось скорѣ въ его демонстративно-политическомъ характерѣ, такъ какъ общее количество чехословаковъ во Франціи, даже считая вмѣстѣ съ прибывшими изъ Россіи плѣнными и съ добровольцами изъ Америки, было слишкомъ незначительно для образованія серьезной военной силы. Однако для развитія всего чехословацкаго военнаго

движенія декретъ имѣлъ подлинно рѣшающее значеніе, такъ какъ на слѣдующій годъ, въ критическій моментъ русской революціи, онъ далъ возможность объявить чехословацкое войско частью французской арміи, благодаря чему оно получило тотъ международный характеръ, безъ котораго послѣ заключенія Брестъ-Литовскаго мира оно не смогло бы выѣхать изъ Россіи во Францію.

1918 годъ принесъ Бенешу цѣлый рядъ заботъ, на этотъ разъ главнымъ образомъ дипломатическаго характера. Ихъ цѣлью было достигнуть, на основѣ предыдущей подготовки и успѣховъ, политическаго признанія Национальнаго Совѣта, въ качествѣ представителя чехословацкаго государства. Даже въ это время, когда непрерывно велись упомянутые переговоры, Бенешъ не забылъ о всей важности информации и пропаганды, которая было нужно развить какъ можно шире, дабы дипломатическіе переговоры могли быть подкрѣплены симпатіей и согласіемъ общественнаго мнѣнія союзниковъ. Число различныхъ лицъ — журналистовъ, политиковъ, государственныхъ дѣятелей, съ которыми въ этомъ году встрѣчается Бенешъ, настолько велико, что нужно бы было много страницъ, чтобы ихъ лишь перечислить. Теперь у него завязаны связи съ югославянами, румынами, поляками, установлены сношенія съ союзническими посланниками и послами, находящимися въ Парижѣ, Римѣ и Лондонѣ, контактъ съ журналистами и официальными дѣятелями всѣхъ союзныхъ народовъ. На ряду съ этой ежедневной неотложной работой Бенешъ главнымъ образомъ добивался скорѣйшаго изданія постановленія французскаго правительства въ дополненіе къ декрету о созданіи чехословацкой арміи. Оно было издано 7-го февраля, его значеніе, кромѣ формулировки весьма важныхъ принциповъ политическаго характера, заключалось въ томъ, что на немъ были одновременно подписи Бенеша и премьеръ-министра Клемансо.

На ряду съ работой надъ созданіемъ арміи, которую Штефаникъ совмѣстно съ Бенешемъ велъ въ Италіи, въ это время велись еще весьма важные переговоры о «созывѣ въ Римѣ «конгресса угнетенныхъ народностей». Бенешъ посвятилъ ему много усилій и успѣхъ конгресса былъ обезпеченъ тѣснымъ сотрудничествомъ представителей всѣхъ народовъ, надъ осуществленіемъ котораго усиленно поработалъ Бенешъ. Тотъ фактъ, что хорошо подготовленный конгрессъ былъ встрѣченъ руководящими итальянскими кругами съ глубокимъ сочувствіемъ, которое можно было понять, какъ согласіе Италіи съ программой и дѣйствіемъ комитета этихъ народовъ, сильно

подѣйствовалъ и въ другихъ государствахъ, особенно въ Соединенныхъ Штатахъ, начавшихъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ конгресса мѣнять свою точку зрѣнія на австро-венгерскую проблему. Конгрессъ также облегчилъ Штефаннику заключеніе окончательнаго договора съ Италіей о чехословацкомъ войскѣ, подписаннаго 21-го апрѣля. Свое пребываніе въ Римѣ во время конгресса (онъ былъ тамъ отъ 8-го по 15-ое апрѣля) Бенешъ использовалъ, конечно, для завязыванія новыхъ знакомствъ, среди которыхъ особенно важна была встрѣча съ американскимъ посломъ Нельсономъ Пажемъ.

По возвращеніи въ Парижъ Бенешъ посвящаетъ больше всего вниманія вопросу перевозки легионовъ изъ Россіи, которая, начиная съ марта мѣсяца, стала весьма своевременной, а въ началѣ апрѣля сдѣлалась предметомъ серьезныхъ переговоровъ Франціи и Англии; Бенешъ старался вліять на ходъ переговоровъ черезъ посредство начальника французскаго генеральнаго штаба Альби и командующаго чехословацкой арміей генерала Жанена. Онъ говорилъ по данному вопросу и вообще о чехословацкихъ дѣлахъ 20-го апрѣля съ премьеръ-министромъ Клемансо, который уже при предшествующей аудіенціи, полученной у него Бенешемъ совмѣстно съ представителями притѣсняемыхъ національностей на римскомъ конгрессѣ, обѣщалъ, что Франція признаетъ въ ближайшемъ времени чехословацкую независимость и Национальный Совѣтъ за правительство. Косвенно черезъ посредство генераловъ Альби и Жанена Бенешъ вліялъ на ходъ международныхъ конференцій, поскольку онѣ занимались вопросомъ о перевозкѣ чехословацкаго войска.

Съ самаго начала Бенешъ соединялъ вопросъ о перевозкѣ легионовъ изъ Россіи съ политическими переговорами, стараясь использовать заинтересованность въ этомъ вопросѣ прежде всего Франціи. Когда благодаря переговорамъ съ Клемансо успѣхъ былъ, по существу, обезпеченъ, Бенешъ отправился въ Англию, гдѣ хотѣлъ добиться подобнаго же разрѣшенія вопроса.

Свое пребываніе въ Англии (отъ 7-го по 20-ое мая) Бенешъ использовалъ для переговоровъ съ министромъ иностранныхъ дѣлъ Бальфуромъ, которому онъ былъ представленъ В. Стюдомъ, съ замѣстителемъ Бальфура министромъ блокады Робертомъ Сесилемъ и военнымъ министромъ лордомъ Мильнеромъ. Въ то же время онъ былъ въ сношеніяхъ съ итальянскимъ посломъ Имперіале и французскимъ посломъ Полемъ Комбаномъ. Бальфуръ онъ вручилъ два меморандума.

Результаты переговоровъ были положительны. Кромѣ общаго, что чехословацкіе солдаты изъ англійской и канадской арій будутъ переведены въ чехословацкую арію во Францію, Бенешъ добился также и того, что министерство иностранныхъ дѣлъ общало сообщить Національному Совѣту бумагу о своемъ согласіи признать Національный Совѣтъ верховнымъ органомъ чехословацкаго движенія, чехословацкую арію за самостоятельную единицу, воюющую въ тѣхъ же дѣляхъ, что и союзники, наконецъ, признать за Національнымъ Совѣтомъ политическія права, касающіяся гражданскихъ интересовъ чехословаковъ. Бумага такого содержанія была послана британскимъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ 3-го іюня.

Тотчасъ же по возвращеніи изъ Лондона Бенешъ переговорилъ по всѣмъ этимъ дѣламъ съ министромъ иностранныхъ дѣлъ Пишономъ и Бертело, а на слѣдующій день съ премьеръ-министромъ Клемансо. Послѣдній подтвердилъ при этомъ свиданія, что Франція признаетъ Національный Совѣтъ и чехословацкое государство и предложилъ Бенешу разработать подробности совмѣстно съ Пишономъ. Несмотря на всѣ усилія Бенеша, ему не удалось добиться того, чтобы это признаніе было сформулировано уже въ томъ актѣ союзниковъ, который былъ связанъ съ заявленіемъ Соединенныхъ Штатовъ отъ 29-го мая, гдѣ говорилось, что «національныя стремленія чехословаковъ и югославянъ къ освобожденію пользуются искренними симпатіями правительства Соедин. Штатовъ». Не удалось ему это потому, что Італія, которая не имѣла ясно установленнаго взгляда на будущее югославянское государство, не могла сформулировать въ официальномъ актѣ свою положительную точку зрѣнія отдѣльно лишь по чехословацкому вопросу. Тѣмъ не менѣе и заявленіе союзнической конференціи въ Версалѣ 1-го іюня, въ которомъ правительства союзныхъ державъ высказали «свои самыя живыя симпатіи къ національнымъ стремленіямъ чехословацкаго и югославянскаго народовъ», было значительнымъ успѣхомъ, въ связи съ заявленіемъ Соединенныхъ Штатовъ и особенно съ уже упомянутымъ письмомъ Бальфура.

Исходя изъ уже достигнутаго, Бенешъ продолжалъ дальнейшую работу. 4-го іюня ему представилась возможность переговорить по всѣмъ чехословацкимъ дѣламъ съ итальянскимъ премьеръ-министромъ Орландо, пригласившимъ его для разговора въ присутствіи министра иностранныхъ дѣлъ Сонино, при чемъ оба эти государственные дѣятеля проявили глубокой интересъ къ освобожденію чехословацкаго народа.

Въ то же самое время онъ началъ переговоры съ французскимъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ о формѣ признанія Национальнаго Совѣта и чехословацкаго государства въ томъ смыслѣ, какъ это было выражено въ общаніи, данномъ Клемансо. Переговоры о текстѣ признанія велись Бенешомъ въ теченіе большей части іюня мѣсяца. Договорились на томъ, что актъ объ этомъ будетъ изданъ при передачѣ знамени чехословацкому 21-му стрѣлковому полку въ Дарней. Наканунѣ этого торжества, 29-го іюня, министръ Пишонъ сообщилъ Бенешу, какъ секретарю Национальнаго Совѣта, содержаніе ноты, въ которой говорилось, что Франція «считаетъ справедливымъ и находитъ необходимымъ за-~~щит~~ить о правахъ Вашего народа на независимость и признать публично и официально чехословацкій Национальный Совѣтъ высшимъ органомъ, представляющимъ интересы чехословацкаго народа и являющимся основой будущаго чехословацкаго правительства»; въ нотѣ было также сказано, что «Франція приложитъ всѣ возможныя для нея усилія, дабы осуществить въ данное время всѣ ваши стремленія къ независимости въ предѣлахъ историческихъ границъ вашей земли».

Содержательная и сердечная рѣчь президента республики Пуанкаре, произнесенная 30-го іюня при торжествѣ въ Дорней въ присутствіи ряда министровъ и военныхъ представителей союзныхъ державъ, на которую отвѣчалъ Бенешъ, еще больше подчеркнула всю важность рѣшенія Франціи. Легко понять, что когда 29-го іюня въ часъ дня Бенешъ получилъ ноту Пишона, какъ онъ объ этомъ пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, онъ снова и снова «перечитывалъ съ волненіемъ слова, въ которыхъ признавались чехословацкія права, высказывались пожеланія и общанія французскаго правительства, поощрялись чехословацкая дѣятельность, стремленія и борьба». Трудно даже теперь, спустя столько лѣтъ, читать безъ волненія текстъ ноты Пишона, дающей уже больше, чѣмъ только надежду на побѣду.

Но значеніе данного документа было подчеркнута не однимъ лишь заявленіемъ президента Р. Пуанкаре. Оно отмѣчено также въ отвѣтѣ британскаго министра иностранныхъ дѣлъ Бальфура на телеграмму министра Пишона, сообщавшаго, что Франція «признаетъ Национальный Совѣтъ и что она будетъ несклонно и лояльно поддерживать права на свободу, за которую чехословацкіе солдаты сражались въ рядахъ союзныхъ армій». Бальфуръ въ своемъ отвѣтѣ отъ имени британскаго

правительства «присоединился вплоть къ чувствамъ, такъ прекрасно высказаннымъ въ рѣчи президента» и подчеркнул особенно, «что передача знамени является не только знаменательнымъ военнымъ эпизодомъ, но имѣетъ гораздо большее политическое значеніе, такъ какъ представляетъ собой этапъ въ великой борьбѣ за свободу и независимость малыхъ народовъ».

Увѣренность Бенеша, что побѣда благодаря признанію Франціи значительно приблизилась, еще больше укрѣпилась постѣ неожиданнаго извѣстія, дошедшаго изъ Соединенныхъ Штатовъ въ день обмена телеграммами Пишона съ Бальфуromъ. Благодаря стараніямъ и работѣ Масарика правительство Соединенныхъ Штатовъ рѣшило дополнить свое предыдущее заявленіе отъ 28 іюня. Сославшись на стремленіе австрійскихъ и нѣмецкихъ официальныхъ сферъ лишить декларацію 29-го мая ея подлиннаго смысла, государственный секретарь С. А. Штатовъ разъяснилъ во всеобщее свѣдѣніе, что согласно этой деклараціи «всѣ народы славянской расы должны быть освобождены изъ-подъ австрійскаго ига».

Всѣ эти успѣхи (со дня опубликованія ноты Пишона при всѣхъ официальныхъ французскихъ торжествахъ Бенешу отводило мѣсто, принадлежавшее по дипломатическому церемониалу независимому чехословацкому правительству) побуждали Бенеша къ еще болѣе энергичной дѣятельности. Кромѣ переговоровъ о чешскихъ легіонахъ, положенію которыхъ въ Россіи и перевозу во Францію онъ удѣлялъ съ марта мѣсяца постоянное вниманіе, онъ работалъ надъ тѣмъ, чтобы и остальные союзническія государства признали въ формѣ, не оставляющей никакихъ сомнѣній, Національный Совѣтъ въ качествѣ чехословацкаго правительства. Для него было чрезвычайно важно добиться такого правового положенія, которое бы дало Чехословакии возможность принять участіе въ мирныхъ конференціяхъ наряду съ остальными союзниками. Переломъ въ военныхъ дѣлахъ союзниковъ и неуспѣхъ Германіи облегчилъ ему эту работу.

Теперь Бенешъ обратилъ вниманіе главнымъ образомъ на Англію. Во второй половинѣ іюля мѣсяца онъ уѣхалъ въ Лондонъ и три недѣли (до 10-го августа), проведенныя тамъ, посвятилъ переговорамъ съ ответственными англійскими дѣятелями, особенно съ министромъ иностранныхъ дѣлъ Бальфуromъ, его замѣстителемъ Р. Сесилемъ, министромъ обороны Мильнеромъ и съ секретаремъ Бальфура, будущимъ секретаремъ Лиги Націй сэромъ Э. Друмондомъ. Какъ и во время

предыдущей своей поездки, онъ былъ, конечно, въ сношеніяхъ съ французскимъ и итальянскимъ послами. Тогда же онъ познакомился и съ будущимъ итальянскимъ премьеръ-министромъ Нитти. Бенешъ снова передалъ Бальфуру и Сесилю меморандумъ съ чешскими требованіями и послѣ двухъ разговоровъ съ Бальфуромъ и многократнаго разбора меморандума съ Сесилемъ ему удалось добиться того, чего онъ хотѣлъ 9-го августа была издана декларация, въ которой британское правительство заявляетъ, что «считаетъ чехословаковъ союзнымъ народомъ, признаетъ три чехословацкія арміи за объединенную союзную армію, ведущую войну и находящуюся въ регулярныхъ военныхъ отношеніяхъ съ Австро-Венгріей и Германией», одновременно «признаетъ право чехословацкаго Национальнаго Совѣта на верховное руководство этой союзной арміей въ качествѣ высшаго органа, защищающаго чехословацкіе національные интересы въ данное время и представляющаго будущее чехословацкое правительство».

Опубликованіе декларации вызвало въ официальныхъ австро-венгерскихъ кругахъ подлинную панику, ибо она, какъ сказалъ Бальфуръ итальянскому послу, — «означала дѣйствительное уничтоженіе Австро-Венгрии». Въ то же время Бенешъ успѣшно договорился съ Сесилемъ о текстѣ договора, который долженъ былъ еще яснѣе и рѣшительнѣе развить содержаніе декларации. Свое пребываніе въ Лондонѣ Бенешъ использовалъ, наконецъ, и для переговоровъ съ японскимъ посломъ виконтомъ Шинда. Съ передалъ ему меморандумъ, а потомъ просилъ устно и въ особой нотѣ о томъ, чтобы японское правительство поступило такъ же, какъ англійское.

Сейчасъ же по возвращеніи въ Парижъ 12-го августа, Бенешъ информировалъ Клемансо, Пишона и Бертело о результатахъ лондонскихъ переговоровъ. Въ Парижѣ его ожидала новая работа, связанная съ сибирскими чехословацкими легіонами, отъѣздомъ генерала Жанена и Штефаника въ Россію, и съ планомъ союзниковъ, которые хотѣли временно использовать легіоны для поддержанія возможныхъ военныхъ дѣйствій союзниковъ въ Россіи. Бенешъ лишь частично соглашался съ этимъ планомъ, такъ какъ не переставалъ придерживаться своего первоначальнаго взгляда, что присутствіе легіоновъ во Франціи было «... весьма важно для поддержанія нашихъ политическихъ требованій».

Послѣ отъѣзда Штефаника въ Россію Бенешъ снова выѣхалъ въ началѣ сентября на нѣсколько дней въ Лондонъ, гдѣ долженъ былъ подписать договоръ, заключенный во время его

предшествующаго пребыванія тамъ. Договоръ былъ подписанъ 3-го сентября. Онъ въ значительной степени дополняетъ английскую декларацию отъ августа мѣсяца. Нѣкоторыя частности его показывали, что британское правительство сносится съ Национальнымъ Совѣтомъ, какъ съ чехословацкимъ правительствомъ *de facto*. Въ договорѣ говорилось, что англійское правительство признаетъ паспорта, выданные Национальнымъ Совѣтомъ, что Национальный Совѣтъ можетъ назначить своего представителя для сношеній съ британскимъ правительствомъ, что, наконецъ, британское правительство готово принять участіе въ займѣ для Национальнаго Совѣта. Но самый важный пунктъ этого договора заключался въ параграфѣ шестомъ, гласившемъ: «Правительство Его Величества признаетъ право чехословацкаго Национальнаго Совѣта быть представленнымъ на всѣхъ союзническихъ конференціяхъ, на которыхъ будутъ разбираться вопросы, касающіеся интересовъ Чехословакіи».

Какъ разъ въ то время, когда Бенешъ былъ въ Лондонѣ въ связи съ подписаніемъ вышеприведеннаго договора 2-го сентября, былъ опубликованъ новый актъ, осуществленный вновь благодаря трудамъ Масарика и говорящій еще болѣе категорически о скоромъ уничтоженіи Австро-Венгрии. Это была декларация правительства Соединенныхъ Штатовъ, въ которой оно «признаетъ, что чехословаки находятся въ состояніи войны съ Австро-Венгерской и Германской имперіями. Оно признаетъ Национальный Совѣтъ за чехословацкое правительство *de facto* и готово вступить въ сношенія съ нимъ». Черезъ нѣсколько дней Бенешъ получилъ отвѣтъ и отъ Японіи, которая декларацией отъ 11-го сентября установила окончательныя отношенія къ чехословацкому движенію, опираясь на англійскую декларацию.

По возвращеніи изъ Лондона 4-го сентября Бенешъ сейчасъ же началъ новые переговоры съ французскими дѣятелями о франко-чехословацкомъ договорѣ, который долженъ былъ, еще въ болѣе точныхъ выраженіяхъ, чѣмъ англо-чехословацкій, формулировать пожеланія Бенеша.

Въ связи съ этимъ Бенешъ обратился 13-го сентября по телеграфу къ Масарику съ предложеніемъ, чтобы въ виду создавшагося положенія Национальный Совѣтъ былъ переименованъ въ регулярное правительство. Въ отвѣтъ, полученномъ 26-го сентября, Масарикъ давалъ свое согласіе.

Черезъ два дня послѣ этой телеграммы, 28-го сентября,

Бенешъ подписалъ уже упомянутый франко-чехословацкій договоръ. Въ немъ было два чрезвычайно важныхъ пункта, именно второй и третій. Во второмъ параграфѣ между прочимъ говорилось, что «французская республика, признавая чехословацкій народъ, воля котораго представлена чехословацкимъ Национальнымъ Совѣтомъ, какъ правительствомъ de facto, находящимся въ данное время во Франціи, обѣщаетъ, что и впредь будетъ его поддерживать, дабы онъ могъ добиться свободы и восстановления Чехословацкаго государства въ предѣлахъ его прежнихъ историческихъ земель». Въ третьемъ пунктѣ правительство Французской республики «признаетъ за чехословацкимъ народомъ право быть представленнымъ на тѣхъ международныхъ конференціяхъ, на которыхъ будутъ обсуждаться вопросы, затрагивающіе чехословацкіе интересы».

Прежде чѣмъ однако переименовать Национальный Совѣтъ въ регулярное правительство, что Бенешъ предполагалъ осуществить въ памятный день битвы у Бѣлой Горы, онъ хотѣлъ еще выяснить отношеніе къ этому со стороны итальянскаго правительства. Онъ вручилъ итальянскому послу для передачи премьеръ-министру Орландо обширный меморандумъ, а 1-го ноября самъ выѣхалъ въ Италію, гдѣ прежде всего побѣдилъ легионы, бывшіе на фронтѣ. Между тѣмъ уже 3-го октября Орландо сдѣлалъ заявленіе, которое повидимому было отвѣтомъ на упомянутый меморандумъ. Въ немъ онъ заявилъ между прочимъ, что уже конвенція отъ 21-го апрѣля 1918 года равнялась признанію чехословацкаго Национальнаго Совѣта за правительство de facto. Въ виду того, что Бенешъ уже не засталъ ни Орландо ни Сонино, которые какъ разъ въ это время уѣхали въ Парижъ, онъ переговорилъ по крайней мѣрѣ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ по всѣмъ вопросамъ, связаннымъ съ заключеніемъ союза съ Италіей.

10-го октября Бенешъ былъ спѣшно вызванъ д-ромъ Сихравой въ Парижъ; событія начинали идти такимъ ускореннымъ темпомъ, что его присутствіе здѣсь было необходимо. 13-го октября онъ вернулся въ Парижъ. Въ виду того, что у его сотрудниковъ возникло опасеніе, что слишкомъ скорый ходъ событий можетъ принести неприятыя сюрпризы, Бенешъ сейчасъ же принялся за продолженіе начатыхъ имъ передъ отъѣздомъ въ Италію переговоровъ съ французскимъ министерствомъ о переименованіи Национальнаго Совѣта въ регулярное правительство. По соглашенію съ французскимъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ Бенешъ составилъ ноту, которую и разослалъ всѣмъ союзнымъ государствамъ; въ ней говори-

лось, что «чехословацкое временное правительство, выбравшее мѣстомъ своего временнаго пребыванія Парижъ, было образовано постановленіемъ отъ 26 сентября 1918 года (день, когда пришла телеграмма Масарика) въ слѣдующемъ составѣ: профессоръ Масарикъ — президентъ, а также министр - предсѣдатель временнаго правительства и министръ финансовъ, д-ръ Э. Бенешъ — министръ иностранныхъ и внутреннихъ дѣлъ, д-ръ Штефаникъ — военный министръ».

15-го октября французское правительство приняло къ свѣдѣнію этотъ составъ правительства; въ ближайшіе дни то же сдѣлали и остальные союзныя правительства. Такимъ образомъ 14-го октября Бенешъ оставилъ свою должность генеральнаго секретаря Національнаго Совѣта, съ тѣмъ чтобы начать работу въ качествѣ министра иностранныхъ дѣлъ независимаго чехословацкаго государства, признаннаго 24-го октября безоговорочно всѣми главными союзными государствами. Въ этотъ моментъ Бенешъ могъ съ законнымъ удовлетвореніемъ оглянуться на всю свою предыдущую дѣятельность.

Я. Папоушекъ.

(Окончаніе слѣдуетъ)

Плановое хозяйство и современное рабочее движение

I.

Нынѣшній кризисъ смѣнилъ собой періодъ бурнаго хозяйственнаго подъема. Чтобы дать представленіе о темпѣ развитія производительныхъ силъ капиталистическаго міра накануне кризиса, приведемъ нѣсколько цифръ.

Мировая выплавка стали (не считая СССР) поднялась за время отъ 1926 до 1929 г. на 27%. Объемъ промышленнаго производства увеличился за тѣ же 3 года на 18%.

Что касается до мировой торговли, то ростъ ея оборотовъ замедлялся слегка паденіемъ цѣнъ на главные виды сырья. Но все же сумма ввоза и вывоза всѣхъ странъ міра, кромѣ СССР, по вычисленіямъ германскаго статистическаго управленія, возросла за 3 года на 10%.

Казалось, капитализмъ успѣшно преодолѣлъ военную разруху, справился съ ея наслѣдіемъ — инфляціоннымъ хаосомъ, возстановилъ пришедшія въ упадокъ производительныя силы, какъ равнымъ образомъ и развалившійся въ прахъ аппаратъ кредита и денежнаго обращенія, наладилъ вновь международный товарообмѣнъ... Въ Америкѣ на этой почвѣ пышно расцвѣлъ хозяйственный оптимизмъ, вѣра въ несокрушимую прочность достигнутаго благополучія («prosperity»). Въ Европѣ память о войнѣ была слишкомъ остра, чтобы дать мѣсто подобнымъ настроеніямъ. Но и здѣсь капитализмъ былъ въ описываемое время полонъ вѣры въ себя и въ свои силы: безъ всякихъ «плановъ», въ рамкахъ частной инициативы, онъ какъ будто неплохо справлялся со своими задачами! Въ порядкѣ дня было устраненіе пережитковъ военнаго времени, сказывавшихся въ различныхъ формахъ государственнаго контроля, расширеніе хозяйственныхъ функций государства и т. п.

Направленные вверхъ кривыя выплавки стали, промышлен-

наго производства, судоходства, товарообмѣна, биржевыхъ курсовъ отражались въ области политики усиленіемъ вліянія капиталистическихъ партій, а въ плоскости идеологической — возрожденіемъ хозяйственного либерализма. И потому въ это время идея х о з я й с т в е н н а г о п л а н а была не ко двору въ капиталистическихъ странахъ.

Вспомнимъ, что и въ первые годы кризиса капиталистическихъ круги во всѣхъ странахъ міра пытались использовать положеніе для укрѣпленія своихъ позицій: отвѣтственность за кризисъ пытались свалить на государственное вмѣшательство, спасенія ждали отъ возврата къ безпримѣсному манчестерству. Банки торжествовали побѣду, когда имъ удавалось поставить на колѣни попавшій въ затруднительное положеніе муниципалитетъ и добиться передачи въ частныя руки какой-нибудь электрической станціи или трамвайной линіи.

Съ этой точки зрѣнія многіе публицисты склонны были если не привѣтствовать, то во всякомъ случаѣ «оправдывать» кризисъ.

Какъ измѣнилось съ тѣхъ поръ положеніе! Въ настоящее время мы присутствуемъ при небываломъ развитіи государственнаго вмѣшательства въ хозяйственные процессы и отношенія.

Не останавливаясь на Америкѣ, гдѣ опытъ Рузвельта вывальной къ жизни цѣлый потокъ «плановъ», которые своимъ размахомъ затмили всѣ московскія пятилѣтки, бросимъ взглядъ на то, что происходитъ въ Европѣ.

Вотъ Великобританія, въ нѣсколько лѣтъ реорганизовавшая на основѣ выработаннаго правительствомъ п л а н а свою текстильную промышленность, перестраивающая свое угольное хозяйство, создающая стройную организацию своего сельского хозяйства и шагъ за шагомъ осуществляющая п л а н ъ взаимнаго хозяйственнаго сближенія метрополи и колоній. Та же Великобританія — колыбель хозяйственнаго либерализма, вѣковая поборница свободной торговли и частной инициативы, хранительница капиталистическихъ традицій, первая показала міру, какъ «манипулировать» валютой согласно хозяйственному плану.

Вотъ Италия. Въ области государственнаго строительства ей не удалось создать ничего новаго: ея «корпоративное государство» остается пустой формой безъ содержанія, словесной мѣшаниной надерганныхъ изъ различныхъ источниковъ идей. Но воплоти реально въ странѣ Муссолини развитіе госу-

дарственной инициативы во всѣхъ областяхъ хозяйства (осушение болотъ, дорожное строительство, общественныя работы).

Въ Германіи та же тенденція къ государственной инициативѣ въ хозяйствѣ нашла свое выраженіе въ возвратѣ къ экономикѣ военного времени: производительныя силы сжимаются здѣсь въ бронированный кулакъ, хозяйство подчиняется требованіямъ усиленія военной мощи страны. Ходъ развитія здѣсь иной, чѣмъ въ Великобританіи, иной, чѣмъ въ Италіи, и ужь конечно иной, чѣмъ въ Америкѣ. Но здѣсь всего явственнѣе торжествуетъ принципъ перевѣса государственной воли надъ частной инициативой.

Ту же тенденцію наблюдаемъ мы и во Франціи. Никогда, со времени войны, воздѣйствіе государственной власти на хозяйственную жизнь не сказывалось здѣсь такъ отчетливо, какъ со времени прихода къ власти кабинета Фландэна. Официально новое правительство выступаетъ поборникомъ хозяйственнаго чиванья по отношенію къ хозяйству ролью ночного сторожа. И надо признать, что въ такихъ вопросахъ, какъ вопросъ о хлѣбномъ рынкѣ, о желѣзнодорожныхъ тарифахъ и т. п. оно проявило не только инициативу, но и достаточный запасъ воли.

Врядъ ли необходимо продолжать этотъ обзоръ. Для внимательнаго наблюдателя не подлежитъ сомнѣнію, что послѣдняя фаза мирового хозяйственнаго кризиса характеризуется небывалымъ развитіемъ государственнаго вмѣшательства въ хозяйственную жизнь, — точно такъ же, какъ для періода, предшествовавшаго кризису, характерно было постепенное вытѣсненіе государства съ тѣхъ командныхъ высотъ экономики, которыя оно удерживало въ своихъ рукахъ со времени войны.

Причины описываемаго явленія очевидны. Частная инициатива оказалась безсильна передъ лицомъ кризиса, борьба съ разрухой сдѣлала объективно необходимыми такія мѣропріятія, которыя были не по плечу ни частнымъ промышленникамъ, ни ихъ объединеніямъ, ни банкамъ.

Правда, кое-гдѣ, — особенно во Франціи, — до сихъ поръ раздаются голоса, утверждающіе, что во время кризиса всѣ попытки государственнаго вмѣшательства либо оставались безплодными, либо еще болѣе ухудшали положеніе. Но это утвержденіе просто невѣрно. Если на картѣ обонхъ полушарій отмѣтить знакомъ + страны улучшающейся конъюнктуры и знакомъ — страны, гдѣ кризисъ обостряется, то плюсы будутъ рѣшительно преобладать надъ минусами, но при этомъ не окажется ни о д н о й страны, гдѣ положеніе улучшилось бы само собой, въ силу хозяйственнаго автоматизма или благодарн

частной инициативѣ. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ связь между улучшеніемъ конъюнктуры и мѣропріятіями государственной власти не подлежитъ сомнѣнію...

Поскольку вмѣшательство государства, сохраняя за капиталистами ихъ господствующее положеніе, въ то же время устраняетъ непосредственную опасность революціоннаго взрыва, къ которому могло бы привести дальнѣйшее обостреніе кризиса, переходъ капитализма на новые рельсы является актомъ самосохраненія. Это относится не только къ опыту Рузвельта, но и къ политикѣ общественныхъ работъ и въ частности къ пріобрѣтшимъ исключительное значеніе мѣропріятіямъ денежной политики.

Остановимся на послѣднихъ мѣропріятіяхъ. Задача ихъ заключается въ частичной экспропріаціи кредиторовъ въ пользу должниковъ, которые попали вслѣдствіе паденія цѣнъ и вздорожанія денегъ въ тиски невыносимой кабалы. Путемъ измѣненія курса своихъ денегъ государство выравниваетъ цѣны, освобождаетъ должника отъ чрезмерно возросшаго долга, понижаетъ послѣдній до уровня обязательствъ, которыя должникъ некогда принялъ на себя, и такимъ образомъ восстанавливаетъ условія для расширенія хозяйственной дѣятельности. По сегодняшній день такая операція была проведена — по подсчету французскаго экономиста Делэзи — въ 39-ти государствахъ, и во всѣхъ 39 случаяхъ она дала благоприятные результаты. Поскольку безграничное обостреніе кризиса, сопровождаемое обнищаніемъ населенія, ростомъ безработицы и развитіемъ всеобщаго недовольства, было чревато революціонными взрывами (хотя бы въ гитлеровскомъ вариантѣ), мѣры, предотвратившія такой взрывъ, несомнѣнно могутъ быть подведены подъ формулу защиты существующаго строя. Онѣ консервативны по сравненію съ революціоннымъ прыжкомъ въ неизвѣстность. Но каково ихъ значеніе въ длительномъ историческомъ процессѣ постепеннаго развитія человѣческаго общества?

Старая дилемма—прірѣзать помѣщичьей земельки крестьянамъ, чтобы крестьяне не прірѣзали помѣщиковъ—снова и снова встаетъ передъ господствующими классами. Не въ ихъ силахъ повернуть вспять колесо исторіи, но отъ нихъ зависитъ выбрать тотъ или другой вариантъ развитія. И нерѣдко консервативный путь ведетъ быстрее впередъ общество, нежели путь революціонный. Поэтому признаніе консервативнаго характера — въ изложенномъ выше смыслѣ — за опредѣленными мѣропріятіями въ хозяйственной политикѣ не предѣлываетъ отвѣ-

га на вопросъ, насколько прогрессивны эти мѣры, насколько служатъ онѣ преобразованію нашего общества, переходу его на высшую ступень, въ большей мѣрѣ отвѣчающуя требованіямъ разума и справедливости.

Я ввелъ въ формулировку вопроса такія субъективныя понятія, какъ «разумъ» и «справедливость», такъ какъ безъ нихъ невозможно ориентировать въ пространствѣ линію прогресса и опредѣлить различіе между высшей и низшей ступенью общественнаго развитія. Наша оцѣнка новыхъ явленій въ области хозяйственной политики опредѣляется, въ конечномъ счетѣ, нашимъ представленіемъ о томъ, какой должна быть хозяйственная и политическая жизнь народовъ. Кто считаетъ частно-капиталистическое хозяйство идеаломъ человѣческаго общества, тотъ долженъ осуждать усиленіе хозяйственныхъ функций государства и желать поспешнаго возвращенія къ хозяйственному индивидуализму. Напротивъ, для того, кто считаетъ частно-капиталистическій строй лишь временнымъ эпизодомъ на пути развитія человѣческаго общества, кто видитъ въ нынѣшнемъ кризисѣ доказательство несостоятельности хозяйственныхъ формъ, унаслѣдованныхъ нами отъ 19 в., кто считаетъ необходимымъ преобразование существующаго строя въ направленіе освобожденія человѣческой личности изъ-подъ гнета имущественныхъ отношеній, для того отмѣченныя выше явленія имѣютъ положительную историческую цѣнность. Чтобы не погибнуть, капитализмъ перестраивается. Но эта перестройка, измѣняя соотношеніе общественныхъ силъ, открываетъ возможность болѣе быстро и безболѣзненнаго перехода общества на высшую ступень развитія.

Осуществится ли эта возможность въ дѣйствительности?

Многое зависитъ въ этомъ случаѣ отъ взглядовъ, господствующихъ въ различныхъ общественныхъ слояхъ, отъ тактики политическихъ партій. Въ этой исторической обстановкѣ особое значеніе приобретаетъ распространеніе въ рабочемъ движеніи идеи плановаго хозяйства.

II.

Собственно говоря, идея плановѣрнаго вмѣшательства государственной власти въ хозяйственную жизнь не представляетъ для рабочаго движенія ничего новаго: это основа какъ максимальной, такъ и минимальной программъ всѣхъ социалистическихъ партій. Программа-максимумъ социализма сводится къ передачѣ всѣхъ средствъ производства въ руки обновленнаго

государства. Что же касается до требований программы-минимумъ, то всё они сводятся къ тому или иному вмѣшательству существующаго (еще не обновленнаго) государства въ область социально-хозяйственныхъ отношеній. Но не слѣдуетъ забывать той роли, которую играетъ въ дѣятельности каждой социалистической партіи ея программа. Стремясь къ преобразованію общества, борясь за власть, партія прежде всего борется за душу тѣхъ слоевъ населенія, къ которымъ она обращается. Программа — ея оружіе въ этой борьбѣ. Иными словами — это въ большей мѣрѣ основа пропаганды, нежели планъ практической работы.

Программа партіи — ея арсеналъ, гдѣ хранятся запасы лозунговъ на всѣ случаи жизни. Но при обращеніи къ кладовымъ арсенала легко можетъ оказаться, что собранные въ нихъ лозунги вышавѣли отъ времени, что заготовленные для предстоящихъ боевъ снаряды проржавѣли и не соответствуютъ большо калибру современныхъ дальнобойныхъ орудій. Какъ быть въ этомъ случаѣ? Можно попытаться подновить старыя лозунги, очистить ржавчину съ залежавшихся снарядовъ. Но можно предпочесть и иной путь: опредѣлить свою отношеніе къ новымъ требованіямъ жизни, исходя изъ нихъ самихъ и изъ своего пониманія хода общественнаго развитія, не заботясь о старыхъ формулахъ и текстахъ. Второй методъ не всегда заслуживаетъ предпочтенія.

Но въ періоды острыхъ общественныхъ потрясеній партія, стремящаяся къ коренному обновленію общества, должна обладать полной свободой маневрированія, — не только политическаго, но и идейнаго, въ смыслѣ выбора новыхъ, и по существу и по формѣ, лозунговъ.

Уже въ началѣ кризиса въ европейскомъ рабочемъ движеніи чувствовалась потребность въ новыхъ путяхъ экономической политики. Рядъ совѣщаній социалистическаго и профессиональнаго Интернаціоналовъ занимался этимъ вопросомъ. Были выработаны резолюціи и платформы, въ которыхъ подчеркивалась мысль о необходимости государственнаго контроля надъ основными отраслями хозяйства и, въ частности, надъ банками. Но когда нѣсколько позже въ различныхъ странахъ начались поиски основъ для новой экономической политики, оказалось, что предшествовавшая работа обоихъ Интернаціоналовъ не давала никакихъ точекъ опоры для построенія такой политики. Причина неудачи коренилась въ томъ, что у европейскаго рабочаго движенія не было единства во взглядахъ на происхожденіе кризиса и методы борьбы съ нимъ. Анг-

личане настойчиво возвращались къ идеямъ денежной политики, къ вопросамъ о золотѣ и т. п., а для континентально - европейскаго рабочаго движенія эти вопросы были совершенно новы — самая мысль бороться съ кризисомъ со стороны денегъ и цѣнь казалась теоретикамъ движенія вредной ересью. Соглашеніе оказалось невозможно. Когда же англичане перестали интересоваться тѣмъ, что думаютъ о кризисѣ по ту сторону Ламанша, въ средѣ континентально-европейскаго рабочаго движенія руководство въ выработкѣ экономическихъ платформъ и декларацийъ перешло къ нѣмцамъ. Но что могли они посоветовать другимъ, когда и у себя дома они были безпомощны передъ лицомъ поднятыхъ кризисомъ вопросовъ и именно на этомъ поворотѣ нѣмецкому движенію суждено было свернуть себѣ шею!

Дѣло свелось къ общимъ разсужденіямъ, къ повторенію привычныхъ формулъ, исходящихъ изъ старой и далеко не безспорной концепции.

Въ Германіи, наканунѣ прихода къ власти Гитлера, въ рабочемъ движеніи намѣтились двѣ тенденціи: профессиональные союзы склонялись къ активной борьбѣ съ кризисомъ путемъ организациі общественныхъ работъ на основѣ широкихъ государственныхъ кредитовъ; социаль-демократическая партія отрицала возможность такой борьбы и противопоставляла ей пропагандистскій «планъ социалистическаго переустройства хозяйства».

Разгромъ нѣмецкаго рабочаго движенія разбудилъ дремавшую мысль въ социалистическихъ партіяхъ другихъ странъ. Было очевидно, что главная непосредственная причина гибели Германской республики заключалась въ проявленной ею неспособности бороться съ безработицей и кризисомъ. Грозный урокъ всѣмъ имѣющимъ глаза и уши! Правда, ни въ одной странѣ Европы кризисъ не достигъ такой остроты, какъ въ Германіи. Правда и то, что въ другихъ странахъ политической костякъ демократіи обладаетъ большей упругостью и стойкостью. Правда, наконецъ, и то, что почти повсюду въ мірѣ кризисъ идетъ въ настоящее время на убыль... Было бы поэтому ошибкой видѣть повсюду призракъ грядущаго къ власти Гитлера. Но въ историческомъ и социологическомъ разрѣзѣ трагедія Германіи является, не только для рабочаго движенія, но и вообще для всѣхъ демократическихъ партій мира, краснорѣчивымъ доказательствомъ необходимости искать новыхъ путей хозяйственной и общей политики. И де-Манъ, которому принадлежитъ заслуга разработки руководящихъ идей новой политики рабоча-

го движенія, не скрываетъ, что эти идеи зародились у него подъ вліяніемъ наблюденій надъ «нѣмецкимъ опытомъ».

Осенью 1933 г. де-Манъ предложилъ бельгійской рабочей партіи свой планъ борьбы съ кризисомъ и одновременнаго переустройства хозяйства. Выдвинутыя имъ идеи встрѣтили общее сочувствіе въ руководящихъ кругахъ партіи и вскорѣ получили законченную форму въ видѣ бельгійскаго «Плана Труда». Рождественскій конгрессъ партіи огромнымъ большинствомъ принялъ этотъ планъ. Умѣлая пропаганда привлекла къ нему вниманіе общественнаго мнѣнія и рабочихъ организацій и за предѣлами Бельгіи, и не безъ вліянія бельгійскаго примѣра началась разработка аналогичныхъ плановъ во Франціи, въ Швейцаріи и Голландіи.

Въ Швейцаріи инициативу принялъ на себя федеральный «Союзъ служащихъ въ общественныхъ предприятияхъ». Выработанный имъ «планъ» и по названію и по всему построению тѣсно примыкаетъ къ бельгійскому образцу.

Въ Голландіи выработка «плана» еще не закончена, но руководящія принципы его тѣ же, что въ Бельгіи.

Во Франціи идея «плана» зародилась во Всеобщей Конфедераціи Труда (CGT), какъ мѣра отпора фашистской опасности, которая росла параллельно съ обостреніемъ кризиса. Въ январь 1934 г. CGT созвала въ Парижѣ конгрессъ представителей различныхъ демократическихъ организацій, которому было присвоено нѣсколько пышное названіе «Etats généraux du Travail». Здѣсь была оглашена и принята (единогласно и почти безъ преній) торжественная резолюція съ требованіемъ экономического и политическаго обновленія страны.

Эта манифестація имѣла успѣхъ, и вслѣдъ за ней CGT созвала комиссію для выработки окончательнаго «плана». Комиссія включала помимо руководителей синдикатовъ значительное число ученыхъ экономистовъ, юристовъ, инженеровъ, специалистовъ банковскаго дѣла, и плодомъ ея работъ явился «Plan de la rénovation économique et politique», который въ прессѣ именуется кратко «Plan de la CGT». Отмѣчу интересную особенность подготовки этого плана: въ выработкѣ его вмѣстѣ съ марксистами (въ частности, очень ортодоксальной группы «Combat Marxiste») участвовали прудонисты и анархо-синдикалисты (группа «Révolution Constructive»). Значительныхъ разногласій между этими теченіями не обнаружилось.

Въ развитіи идеи «плана» въ рабочемъ движеніи должна быть отмѣчена еще одна дата.

Въ сентябрѣ 1934 г. въ старинномъ французскомъ аббатствѣ Pontigny, традиционномъ мѣстѣ международныхъ встрѣчъ, состоялась конференція сторонниковъ плановаго хозяйства. Кромѣ бельгийцевъ, швейцарцевъ, французовъ, голландцевъ и чеховъ, въ собесѣдованіи приняли участіе гости изъ Англіи, Италіи, Австріи. Пренія носили непринужденный и нѣсколько беспорядочный характеръ, но дали ясную картину состоянія вопроса о хозяйственномъ планѣ въ рабочемъ движеніи различныхъ странъ. Въ дальнѣйшемъ я буду пользоваться матерьялами собесѣдованія въ Pontigny.

III.

Бельгійскій Планъ Труда начинается краткимъ введеніемъ, за которымъ слѣдуютъ пять главъ или отдѣловъ.

Первый отдѣлъ посвященъ націонализациі кредита.

Второй отдѣлъ выдвигаетъ — въ довольно общей формѣ — требованіе огосударствленія (organisation en services publics) главныхъ отраслей промышленности, вырабатывающей сырьевые продукты или двигательную энергію, поскольку онѣ и теперь уже объединены на монопольныхъ началахъ.

Третій отдѣлъ посвященъ государственной организаціи транспорта.

Четвертый отдѣлъ содержитъ своего рода хартію вольностей частно-хозяйственнаго сектора.

Пятый отдѣлъ предусматриваетъ созданіе Экономическаго Совѣта.

Въ шестомъ отдѣлѣ перечисляются всевозможныя хозяйственно-политическія мѣропріятія, которыя должны содѣйствовать оживленію конъюнктуры въ Бельгіи. Часть требованій формулирована съ развальной четкостью, иная, наоборотъ, выражена весьма туманно*). Заканчивается отдѣлъ многозначи-

*) Последнее замѣчаніе относится, между прочимъ, къ пункту 5-му: «Une politique monétaire qui, tout en sauvegardant les avantages que procurent à la Belgique l'importance de ses réserves d'or et la stabilité de son change, permette d'acroître le poivoir d'achat des différentes catégories de revenu du travail».

Очевидно эта формула родилась, какъ компромиссъ между двумя одинаково упорными противниками: каждый пытался путемъ оговорокъ обезпечить мысль противника, и оба мудрили до тѣхъ поръ, пока у нихъ не получалась фраза, лишенная всякаго смысла.

тельнымъ общаніемъ: Бюро Соціальныхъ Изслѣдованій изучить вопросъ объ объединеніи перечисленныхъ мѣропріятій въ пятилѣтній планъ, который предусматриваетъ повышение потребительной силы внутренняго рынка на 50% въ теченіе ближайшихъ трехъ лѣтъ и на 100% къ исходу пятого года.

Послѣдній, седьмой, отдѣлъ намѣчаетъ политическую реформу въ духѣ послѣдовательной парламентарной демократіи.

Наибольшія сомнѣнія можетъ вызвать заключеніе 6-го отдѣла. Нѣтъ ли демагогіи въ общаніи въ 3 года поднять на 50% потребленіе страны и въ 5 лѣтъ удвоить его?

Въ періодъ хозяйственнаго подъема такое общаніе было бы шарлатанствомъ. Но въ концѣ 1933 г., когда бельгійская рабочая партія обсуждала планъ де-Мана, индексъ промышленнаго производства въ странѣ былъ 70 (по отношенію къ 1928 году, который принять за основу сравненія, т. е. за 100). Съ тѣхъ поръ этотъ индексъ упалъ до 68. Въ трехлѣтній срокъ потребление и производство должны вернуться къ уровню 1929 года или превысить этотъ уровень на 2-3%. Примѣрно къ исходу 1940 г. долженъ быть достигнутъ уровень 132 или 135. При сравненіи съ высшей точкой предыдущаго подъема (1929 годъ) въ этомъ случаѣ получилась бы приростъ въ 30%, что лежитъ очевидно въ предѣлахъ возможнаго. Коэффициенты рассчитаны правильно и въ весьма удачной, яркой формѣ выражаютъ вѣру авторовъ плана въ возможность побѣдить кризисъ предлагаемыми ими методами.

Какъ я отмѣтилъ уже, всѣ отдѣльныя мысли этого плана можно найти и въ старыхъ социалистическихъ программахъ. Но оригинальнымъ и новымъ представляется комбинированіе ихъ въ стройную систему мѣропріятій, связанныхъ между собой и осуществимыхъ при нынѣшнихъ условіяхъ, въ теченіе одной парламентской сессіи. Весьма удачной представляется также мысль разработать во всѣхъ техническихъ подробностяхъ законопроекты, которыхъ требуетъ осуществленіе плана.

Другой существенной особенностью плана (но отнюдь не оригинальной чертой его) является попытка на почвѣ идеи самъшаннаго хозяйства добиться соглашенія между рабочимъ движеніемъ и определенными слоями буржуазныхъ или промежуточныхъ классовъ.

Но, пожалуй, читателю легче будетъ войти въ кругъ руководящихъ идей бельгійскаго «плана», если я передамъ ихъ собственными словами де-Мана, — въ видѣ тѣхъ 13 тезисовъ, ко-

торые онъ представилъ конференціи въ Pontigny и позже повторилъ въ Парижѣ, въ аудиторіи Сорбонны.

Основные идеи бельгійскаго плана:

«1. Нынѣшній экономическій кризисъ является кризисомъ существующаго строя. Онъ возникъ въ результатъ того, что развитіе капитализма, бывшее до сихъ поръ прогрессивнымъ, вступило въ полосу упадка.

Три черты этого развитія:

а) на смѣну промышленнаго капитализма приходитъ господство финансоваго капитала;

б) свободная конкуренція смѣняется въ главныхъ областяхъ хозяйственной жизни режимомъ монополій;

в) космополитическое развитіе мирового рынка смѣняется хозяйственнымъ націонализмомъ.

2. При такомъ положеніи реформизмъ, практически господствовавшій до сихъ поръ въ рабочемъ движеніи, сталъ невозможенъ. Реформы распределенія стали неосуществимы безъ преобразованій существующаго строя, преобразованій достаточно глубокихъ, чтобы оказать вліяніе на отмѣченный въ п. 1-омъ ходъ развитія.

3. Рабочее движеніе должно отказаться по отношенію къ кризису отъ своей пассивной тактики. Оно должно замѣнить ученіе объ автоматизмъ кризисовъ (заимствованное, въ сущности, у капиталистовъ) волевой политикой, которая непосредственной цѣлью ставитъ предоставленіе работы безработнымъ и преодоленіе кризиса.

4. Эта политика должна быть осуществима въ національныхъ рамкахъ, путемъ преобразованія внутренняго рынка.

5. Чтобы установить задачи такой политики, надо найти двѣ границы:

а) низшую границу, которая опредѣляется вопросомъ: каковы условія, которыя должны быть непременно осуществлены, для того чтобы стала возможна успешная борьба съ кризисомъ въ національныхъ рамкахъ?

б) высшую границу, которая опредѣляется вопросомъ: что можетъ быть сдѣлано, при наличномъ соотношеніи социальныхъ силъ, чтобы обезпечить объединеніе интересовъ достаточнаго большинства населенія, могущаго превратиться въ политическое большинство?

Вопросъ о низшей границѣ относится къ экономикѣ, вопросъ высшей границѣ принадлежитъ къ области социологіи и политики.

6. Рѣшеніе, отвѣчающее этому двойному условию, — режимъ смѣшаннаго хозяйства (включающаго национализированный и частный секторы), который можетъ считаться переходной ступенью между капиталистическимъ и социалистическимъ строемъ.

7. Единство и силу развитія такому смѣшанному хозяйству можетъ дать принципъ плановою хозяйства, т. е. использование государственной власти для приспособленія способности потребленія къ способности производства.

8. Эта цѣль требуетъ двоякаго пересмотра ученія о социализации:

а) осуществленіе социализации въ национальныхъ границахъ не должно больше подчиняться осуществленію этой мѣры въ международномъ масштабѣ, первое предшествуетъ второму;

б) сущность национализации заключается не столько въ переходѣ въ другія руки собственности, сколько въ переходѣ власти, или, точнѣе, проблема управленія стоитъ впереди проблемы собственности.

9. Для того, чтобы расширеніе и усиленіе государственной власти, вытекающія изъ ея новой хозяйственной функціи, не привели къ государственному бюрократизму во внутренней и къ империализму во внѣшней политикѣ, необходимо, чтобы новое экономическое государство усвоило инныя формы, нежели тѣ, въ которыхъ жило старое политическое государство: корпоративно-свободная организація национализированныхъ или управляемыхъ государствомъ предприятий, отдѣленіе контроля отъ парламентскихъ учреждений, пересмотръ доктрины о раздѣленіи властей и т. п...

10. Въ борьбѣ за указанныя цѣли социалистическое движеніе должно отказаться отъ представленія, будто социализмъ является исключительно рабочимъ дѣломъ (*prejugés ouvriéristes*), представленія, которое стало несостоятельнымъ съ тѣхъ поръ, какъ развитіе капитализма не сопровождается больше непрерывнымъ ростомъ пролетаріата. Ближайшая политическая цѣль заключается въ образованіи большинства, которое, кромѣ пролетаріата, включаетъ также возможно большую часть такъ наз. среднихъ классовъ...

11. Созданіе такого фронта требуетъ, чтобы онъ былъ обращенъ не противъ капитализма въ цѣломъ, но противъ того, что внутри капиталистическаго строя является общимъ противникомъ трудящихся классовъ, пролетаризованныхъ или не пролетаризованныхъ: монополистическаго и прежде всего финансового капитализма.

12. Въ странахъ политической демократіи борьба должна вестись исключительно легальными, конституціонными средствами, большинство должно быть завоевано путемъ убѣжденія...

13. Программы должны быть замѣнены планомъ. Успѣхъ всякой попытки плановаго хозяйства предполагаетъ совокупность взаимно зависящихъ другъ отъ друга мѣропріятій, которыя могутъ быть осуществлены постепенно лишь при условіи послѣдовательнаго и согласованнаго распределенія во времени. Помимо этого, планъ, въ отличіе отъ программы, представляетъ по отношенію къ тѣмъ, кого хотятъ привлечь путемъ убѣжденія, прямое обязательство использовать власть для определенной цѣли, осуществленіе которой должно быть начато немедленно и завершено въ теченіе ограниченнаго промежутка времени».

Въ смыслѣ чисто литературномъ эти 13 тезисовъ далеко не удовлетворяютъ меня. Въ частности, первые два тезиса представляются ненужнымъ привѣскомъ къ документу. Дѣйствительное обоснованіе плана начинается съ 3-го тезиса. Какъ этотъ, такъ и слѣдующіе четыре тезиса сформулированы настолько ясно и убѣдительно, что не нуждаются ни въ какихъ комментаріяхъ.

Начиная съ 8-го тезиса де-Манъ вводитъ насъ въ область проблематики современнаго рабочаго движенія и вмѣстѣ съ тѣмъ проблематики общественнаго развитія. Наиболее оригинальными и цѣнными представляются мнѣ мысли, выраженные въ 8-омъ тезисѣ (преобразование общества въ національныхъ границахъ и противопоставленіе реформы управленія реформамъ собственности). Въ 9-омъ тезисѣ намѣчены вопросы, но не видно яснаго отвѣта на нихъ. Тезисы 10-й, 11-й и 12-й, посвященные вопросу о блокѣ между пролетаріатомъ и непролетарскими элементами, лишены оригинальности. Напротивъ того 13-й тезисъ интересенъ именно свѣжестью мысли.

Въ общемъ, ни въ бельгійскомъ «Планѣ», ни въ тезисахъ де-Мана нѣтъ ничего такого, что открывало бы новую главу въ исторіи общественно-политической мысли или хотя бы въ исторіи рабочаго движенія одной только Бельгіи. Это не геніальныя мечты Оуэна, не пророческія видѣнія Фурье, не стальной скальпель Маркса.

Какъ ни старается де-Манъ вызвать къ жизни «Мистику плана», въ рассмотрѣнныхъ документахъ мы не находимъ ни мистики, ни пафоса. Но мы находимъ въ нихъ другія безспор-

ция достоинства: правильный учет исторической обстановки, удачное комбинированье уже не новых идей въ стройную и потому новую систему, рядъ превосходныхъ формулировокъ.

На фонѣ убогости политической мысли нашего времени бельгійскій планъ представляется поэтому крупнымъ явлениемъ.

IV.

Остановившись сравнительно подробно на «бельгійскомъ планѣ», я могу ограничиться бѣглыми замѣчаніями о планахъ, разработанныхъ швейцарскими и французскими синдикатами.

Швейцарскій «Планъ Труда», какъ и бельгійскій, ставитъ во главу угла націонализацию кредита (при сохраненіи самостоятельности мелкихъ банковъ). Швейцарскому Национальному Банку вмѣняется въ обязанность вести свою денежную политику такъ, чтобы содѣйствовать развитію покупательной силы швейцарскаго народа. Въ чемъ должна заключаться такая политика — въ кредитованіи потребленія, въ приспособленіи курса франка къ уровню цѣтъ, или въ выравниваніи конъюнктурныхъ колебаній путемъ расширенія и суженія объема кредитовъ? — мы не знаемъ, какъ, повидимому, не знаютъ этого и авторы плана.

За отдѣломъ объ организаціи кредита слѣдуетъ глава объ организаціи промышленности. Предусмотрѣно, какъ и у бельгійцевъ, сосуществованіе двухъ секторовъ хозяйства. Но частный секторъ предположено синдицировать и подчинить общему государственному контролю.

Оригинальной стороной швейцарскаго плана представляется тщательная разработка мѣропріятій въ защиту крестьянъ, мелкихъ торговцевъ и ремесленниковъ.

Вторая половина документа заполнена перечисленіемъ разнообразныхъ мѣропріятій по защитѣ труда, реорганизаціи налоговой системы и т. п. Въ этой своей части планъ сильно сбивается на типъ обычной политической программы.

Французскій планъ несравненно оригинальнѣе. Во главѣ его, въ видѣ эпиграфа, стоятъ лозунги:

«Противъ кризиса! За плановое хозяйство!»

Самому плану предпосланы два введенія, — одно болѣе общаго характера, другое, посвященное божьему вопросу объ общей оріентаціи французской хозяйственной политики подъ заголовкомъ: «Дефляція, — экономическая бессмыслица и причина ухудшенія социальныхъ условий».

Дальнейший текст раздѣленъ на три части:

Въ первой части развивается мысль о необходимости закрѣпить и дополнить политическую демократію демократіей экономической.

Вторая часть даетъ характеристику нынѣшняго положенія Франціи (въ частности, въ области финансовъ и кредита) и развиваетъ планъ необходимыхъ реформъ. Во главу угла опять-таки кладется націонализациа кредита. Далѣе слѣдуетъ націонализациа главныхъ отраслей промышленности, созданіе Верховнаго Хозяйственнаго Совѣта, развитіе системы коллективныхъ договоровъ. Въ этой части документа рѣчь идетъ не столько о борьбѣ съ кризисомъ или о дѣйствительномъ управленіи хозяйствомъ, сколько о созданіи системы учреждений, которыя могли бы осуществить эту задачу.

Въ заключеніе, въ третьей части плана, излагаются непосредственныя задачи хозяйственной политики: а) преодоленіе безработицы путемъ сокращенія рабочаго дня и развитія общественныхъ работъ, б) оздоровленіе сельскаго хозяйства.

Вопросъ объ общественныхъ работахъ освѣщенъ въ духѣ идей, которыя въ свое время были усвоены германскими профессиональными союзами: эта мѣра разсматривается не подъ угломъ зрѣнія помощи безработнымъ, а какъ средство воздѣйствія на хозяйственную конъюнктуру. Не упущена изъ вниманія и связь этой мѣры съ условіями кредита въ странѣ.

Не входя въ подробности, отмѣчу, что движеніе въ пользу плана въ Швейцаріи и во Франціи находится пока въ зачаточномъ состояніи. Въ Швейцаріи кампанія затрудняется организационными треніями. Во Франціи движеніе только нащупываетъ почву, -- пропаганда не вышла изъ рамокъ синдикатовъ, принакалошихъ къ CGT. Но здѣсь имѣются предпосылки для развитія движенія: необходимость обновленія государственнаго строя чувствуется во Франціи всѣми, общественное мнѣніе настойчиво требуетъ «плана», проекты множатся съ каждымъ мѣсяцемъ и среди нихъ планъ CGT имѣетъ безспорныя преимущества трезваго радикализма, продуманности подробностей, убѣдительной аргументаціи, удачной формулировки отдѣльныхъ требованій. Помимо этого CGT имѣетъ во Франціи значительный политическій вѣсъ.

Налицо такимъ образомъ начало движенія, которое можетъ развиваться. Но возможно также, что оно заглохнетъ и кончится ничѣмъ, какъ заканчивалось ничѣмъ множество другихъ движеній, имѣвшихъ не меньшіе шансы на успѣхъ.

Такая же двойная возможность существует и для движения, поднятого въ Бельгии де-Маномъ.

Обратимся къ условіямъ, отъ которыхъ зависитъ успѣшное развитіе или проваль начатой кампаніи. Чтобы уяснить этотъ вопросъ, мы должны остановиться на болѣе общемъ вопросѣ о ходѣ развитія социалистическаго рабочаго движенія.

V.

Представленіе о цѣляхъ социалистическаго движенія развивается діалектически и на нашихъ глазахъ вступаетъ въ заключительную стадію тріады.

Первую стадію представляла система великихъ утопистовъ: они выводили будущій общественный строй изъ требованій разума и совѣсти. Существующій строй представлялся имъ міромъ безумія (*le monde au rebours* у Фурье) и именно потому ему предстояло погибнуть. Новый строй, учили утописты, долженъ восторжествовать, такъ какъ люди не могутъ не убѣдиться въ его преимуществахъ.

Вторую стадію тріады представляетъ ученіе марксизма: одинъ строй уступаетъ мѣсто другому независимо отъ того, что думаютъ о нихъ люди, независимо отъ требованій разума и совѣсти, которые къ тому же по разному звучатъ для различныхъ общественныхъ классовъ. Соціализмъ идетъ на смѣну капитализму въ силу объективныхъ законовъ развитія. Соціалисты играютъ лишь роль акушеровъ исторіи, служа неизбежному.

Съ этой точки зрѣнія представлялось безсмыслицей пытаться изобразить въ подробностяхъ будущій социальный строй. Пропаганда велась не путемъ восхваленія социализма, а путемъ разоблаченія противорѣчій существующаго строя. Правда, уже Бебель, а позже Атлантикусъ (Баллодъ) отступили отъ этого суроваго канона и пытались заглянуть въ общество будущего. Но это были компромиссы научнаго социализма съ утопизмомъ.

Теперь движеніе вступаетъ въ третью стадію: выдвигается планъ преобразований, представляющихъ шагъ впередъ по направленію къ социализму и на почвѣ этого плана ведется пропаганда. Сила движенія должна исходить отъ плана, отъ его преимушествъ по сравненію съ существующимъ строемъ. Отъ участниковъ борьбы требуется лишь вѣра въ планъ, лишь желаніе обезпечить его торжество. Но при этомъ всѣ черты плана берутся не изъ глубины духа, а изъ данной ступени развитія нашего хозяйственнаго и общественнаго строя.

Эти черты «планизма» и заставляют меня видеть в нем синтез более ранних ступеней социалистического движения — преодоление утопизма и марксизма путем совмещения, в совершенно новой комбинации, положительных элементов того и другого. Быть может на этих путях будет найден выход из тупика, в который попало социалистическое движение.

Марксистское учение о социализме покоится на идее захвата пролетариатом государственной власти: овладев властью, пролетариат экспроприирует экспроприаторов, отменяет частную собственность на орудия производства и осуществляет социализм. Так как много пути к социализму не существует, то борьба за власть рабочего класса и есть борьба за социализм.

В рамках этой концепции уместаются два противоположных варианта: власть может достаться рабочему классу в результате победоносного восстания (революционный вариант) или же в результате избирательных успехов (реформистский вариант). Эти оба варианта не раз сменяли друг друга в марксизме и хотя внешне они представляются противоположными полюсами движения, но в действительности они имеют единую общую основу, исходящую из тождественных предпосылок и потому им суждено либо вечно бороться друг с другом, либо одновременно сойти с общественной арены.

Концентрация производства пошла иным путем, нежели представлялось это основателям научного социализма 90 лет тому назад. Иным оказался путь развития рабочего класса. Иную силу сопротивления обнаружили промежуточные слои и крестьянство. Фабрично-заводской пролетариат не стал большинством, силы дифференциации в его рядах взяли верх над нивелирующими силами, национальные отряды рабочего движения не слились в единую всемирную армию труда.

Но еще более тяжелый удар был нанесен традиционной марксистской концепции пути к социализму, когда обнаружился разрыв между обладанием политической властью и возможностью ее использования для социальных преобразований. В 1919 г., в результате революции, германской с.-д. досталась вся полнота власти. То же самое произошло и в Австрии. И здесь и там, при полном различии субъективных условий, результат оказался один и тот же. Обладая властью, социалисты не могли все же использовать ее для осуществления социалистической программы. Позже та же ситуация повторялась не раз в Англии, Чехословакии, Швеции, Дании: каждый раз, как

соціалисты, одни или въ коалиціи съ другими партіями, приходили къ власти, оказывалось, что этой власти не достаточно, чтобы сломить существующій хозяйственный строй.

И любопытно, что такой результат получался одинаково при революціонномъ и реформистскомъ вариантѣ прихода къ власти.

Правда, налицо имѣется еще третій вариантъ: глубочайшее переустройство социальнo - хозяйственныхъ отношеній въ результатѣ захвата власти партіей, которая наканунѣ своей побѣды не задавалась столь далекo идущими цѣлями! Но въ «русскомъ опытѣ» не только полигическій переворотъ привелъ къ социальному перевороту, но и обратно, особый характеръ хозяйственныхъ преобразованій, проводимыхъ властью, наложилъ свою печать на весь государственный строй, сообщивъ ему черты суровой военной диктатуры.

Поскольку европейское рабочее движеніе пріемлетъ совѣтскій вариантъ развитія, идеологически все должно быть для него ясно. Весь вопросъ сводится тогда къ тому, возможно ли повтореніе въ Европѣ россійской обстановки 1917 г. со всѣми вытекающими отсюда послѣдствіями.

Тотъ, кого этотъ вариантъ не удовлетворяетъ и кто не склоненъ дожидаться повторенія совершенно исключительнаго сочетанія субъективныхъ и объективныхъ условий, долженъ искать иныхъ путей общественнаго развитія.

Такіе новые пути и намѣчаются идеей «плана». Здѣсь найдена почва для идѣйной работы, для пропаганды, для лучшаго познанія хозяйственныхъ отношеній, для сближенія общественныхъ группъ съ созвучными настроеніями и стремленіями, для восстановленія союза между рабочимъ движеніемъ и наукой.

Но это не значить, что разобранные здѣсь документы могутъ стать новыми скрижалями Заветъ мирового рабочаго движенія. Во-первыхъ, движеніе не нуждается въ скрижаляхъ Заветъ,—его задачамъ лучше служить огненный столбъ, прорѣзающій тьму перель нимъ, вѣчно влекущій и вѣчно убѣгающій вдалѣ. А, во-вторыхъ, въ разобранныхъ здѣсь документахъ многое остается нелодѣланнымъ и неяснымъ.

На одинъ изъ недостатковъ бельгійскаго плана обратилъ вниманіе собравшейся въ Pontigny конференціи проф. Г. Д. Гурвичъ. Онъ указалъ, что идея плановаго, регулируемаго государственной властью хозяйства обща соціализму и фашизму. Различіе между обѣими системами заключается въ характерѣ государства и въ томъ, какое мѣсто отводится въ немъ чело-вѣческой личности. Поэтому необходимымъ и чрезвычайно

важнымъ элементомъ социалистическаго хозяйственнаго плана является реформа государства въ духѣ рабочей демократіи.

Во французскомъ планѣ, благодаря прудонистской традиціи, эти идеи получили болѣе ясное отраженіе, нежели у де-Мана. Но и здѣсь они еще не слились органически съ намѣчаемой системой переходнаго смѣшаннаго хозяйства.

Другая слабая сторона всѣхъ извѣстныхъ мнѣ «плановъ» та, что изъ нихъ не видно, какъ будетъ дѣйствовать проектируемая хозяйственно-государственная организація, въ частности, какъ используетъ она свою власть надъ кредитомъ. Послѣдній вопросъ представляется тѣмъ болѣе серьезнымъ, что всѣ планы начинають съ націонализаціи кредита и на этомъ фундаментѣ строятъ возможность управленія хозяйствомъ.

Вообще теорія управленія хозяйственными силами общества въ переходный періодъ, между капитализмомъ и интегральнымъ социализмомъ, еще не разработана и по этому вопросу между сторонниками «смѣшаннаго хозяйства» нѣтъ согласія. Здѣсь предстоитъ большая изслѣдовательская работа: принципы новой хозяйственной политики должны быть выведены изъ уроковъ нынѣшняго кризиса.

Это возвращаетъ насъ къ той исторической обстановкѣ, въ которой получила развитіе идея «плана». Исходной точкой движенія является хозяйственный кризисъ съ его спутниками — массовой безработицей, нуждой и обилиемъ недовольствомъ. Отбросьте кризисъ, предположите, что кризисъ изжитъ, что въ міръ вернулась конъюнктура 1928-29 гг., — и движеніе лишится той почвы, на которой оно выросло. Особенно ярые сторонники «плана» возражать на это: «Ваше предположеніе невозможно, ибо безъ коренныхъ преобразованій капитализмъ не выберется изъ кризиса!» такое возраженіе, — я слышалъ его не разъ, — основано на недоразумѣніи. Техническая задача (а возобновленіе равновѣсія экономическихъ факторовъ есть въ значительной мѣрѣ вопросъ хозяйственной техники) могутъ быть разрѣшены какъ социализмомъ, такъ и государственнымъ капитализмомъ или фашизмомъ. Возможна, наконецъ, игра съ распределенными ролями между капиталистическимъ государствомъ и частными капиталистическими группами: когда приходится плохо, на сцену выступаетъ государство, когда опасность миуетъ, подымають голову банки.

Усиленіе роли государства въ хозяйственной жизни можетъ привести къ глубокимъ измѣненіямъ нашего строя, но это от-

нюдь не неизбежно. Да и изменения могут быть различного рода.

Въ виду этого идея «плана», какъ переходной ступени отъ капитализма къ социализму, можетъ побѣдить лишь въ томъ случаѣ, если ей удастся закрѣпить за собой прочныя позиціи въ самое ближайшее время, въ періодъ рѣшительной борьбы съ кризисомъ. Неслучайно же «планизмъ» имѣетъ всего больше сторонниковъ въ странахъ, гдѣ кризисъ свирѣпствуетъ съ возрастающей силой, гдѣ переломъ еще не произошелъ, гдѣ вся борьба съ кризисомъ еще впереди, — во Франціи, въ Бельгіи, въ Голландіи и въ Швейцаріи, въ четырехъ странахъ такъ называемаго «золотого блока».

Судьба бельгійскаго, французскаго и иныхъ «плановъ» зависить отъ того, насколько удастся ихъ сторонникамъ связать движеніе съ непосредственной борьбой противъ кризиса, т. е. отъ того, сумѣетъ ли рабочее движеніе, претендующее на управленіе хозяйствомъ, принять на себя въ рѣшительный часъ отвѣтственность за мѣры, которыя связаны съ нѣкоторымъ рискомъ и могутъ вызвать рѣзкую оппозицію съ различныхъ сторонъ.

Удобнѣе было бы, конечно, избѣжать этого опыта и предоставить другимъ нести и рискъ и отвѣтственность. Но нетрудно предвидѣть, что рѣшительный переломъ конъюнктуры при правительствѣ, отрицающемъ «планъ» синдикатовъ или социалистической партіи, поставитъ крестъ надъ движеніемъ и надолго лишитъ «планистовъ» надеждъ на успѣхъ.

Положеніе рисуется мнѣ въ видѣ историческаго экзамена рабочаго движенія на аттестатъ зрѣлости. Выработка «плана» — это былъ предварительный письменный экзаменъ (безъ строгихъ мѣръ противъ списыванія съ тетрадки сосѣда, а то и съ книжки). Но суть въ устномъ экзаменѣ, и вопросы поставлены такъ, что уйти отъ прямого отвѣта нельзя. Приходится отвѣчать либо «да», либо «нѣтъ». Если «планисты» выдержатъ экзаменъ, предстоящій хозяйственный подъемъ откроетъ передъ ними широкія возможности. А въ случаѣ провала... придется готовиться къ переэкзаменовкѣ.

Вл. Войтинскій.

Большая Волга

Среди больших гидротехнических работ, проводимых в настоящее время в России, осуществление проекта так наз. «Большой Волги» занимает особое место. Транспортныя, энергетическія и ирригаціонныя мѣропріятія, связанныя съ нимъ, способны, въ случаѣ ихъ полного осуществленія, произвести радикальныя перемены въ народномъ хозяйствѣ Средней и Восточной Россіи.

Въ транспортномъ отношеніи проектъ Большой Волги преслѣдуетъ: 1) созданіе искусственныхъ глубоководныхъ соединеній Волжскаго бассейна со свободными морями Россіи (Балтійскимъ, Бѣлымъ и Чернымъ морями), а также съ прилегающими бассейнами другихъ крупныхъ русскихъ рѣкъ и 2) максимальное увеличеніе судоходныхъ глубинъ Волги (отъ Твери до Каспійскаго моря) и Камы (отъ устья Вишеры до впаденія въ Волгу), а также важнѣйшихъ притоковъ этихъ рѣкъ.

Первая задача представляетъ собой продолженіе начатыхъ еще въ 16-омъ вѣкѣ попытокъ компенсировать важнѣйшій транспортный недостатокъ Волги — ея впаденіе въ замкнутое Каспійское море — созданіемъ искусственныхъ соединеній съ другими морями Россіи. Начало этимъ попыткамъ было положено еще въ 1596-1598 гг. турецкимъ султаномъ Сулейманомъ II-ымъ, предпринявшимъ постройку канала между Дономъ и Волгой во время своего похода противъ Астрахани. Эту постройку 100 лѣтъ спустя возобновилъ Петръ Великій, прекратившій ее, однако, въ 1701 г. въ связи съ сооруженіемъ другого соединенія — такъ наз. Ивановскаго канала — между Окой и Верхнимъ Дономъ, начатаго въ 1700 г. по проекту, одобренному Парижской Академіей Наукъ и законченнаго въ 1707 г. Въ связи съ переходомъ Донскаго устья въ руки турокъ (по Прутскому мирному договору); этотъ каналъ былъ заброшенъ, а вмѣсто него былъ расширенъ построенный въ 1703-1709 гг. Вышне-Волоцкій каналъ, соединившій Верхнюю Волгу черезъ Ильменское озеро и Волховъ съ Ладожскимъ озеромъ. Даль-

нѣйшее развитіе искусственныхъ соединеній Волжскаго бассейна послѣдовало въ концѣ 18-го и въ первой половинѣ 19-го столѣтія, когда были сооружены Сѣверный Екатерининскій каналъ между Верхней Камой и притокомъ Сѣв. Двины — Вычегдой (1785-1822 гг.), Тихвинское соединеніе между притокомъ Верхней Волги — Мологой и Ладожскимъ озеромъ (1802-1811 гг.), Маринская система между Шексной и Вытегрой (1811-1813 гг.) и каналъ герцога Вюртембергскаго между Шексной и притокомъ Сѣв. Двины — Сухоной (1825-1828 гг.).

Отчасти въ виду ихъ недостаточной пропускной способности, а отчасти въ связи съ развитіемъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ, во второй половинѣ прошлаго столѣтія почти всѣ эти соединенія, за исключеніемъ послѣднихъ двухъ, пришли въ полное запустѣніе, а нѣкоторыя изъ нихъ (Сѣверный Екатерининскій каналъ и Ивановскій каналъ) были вообще ликвидированы. Непосредственно передъ началомъ міровой войны быстрый ростъ Волжскаго судоходства заставилъ заинтересованныя организациі снова поднять вопросъ о реконструкціи и улучшеніи Волжскаго бассейна, въ связи съ чѣмъ Министерство Путей Сообщенія начало соответствующія изысканія и подготовительныя работы, прерванныя однако міровой войной и послѣдующими событіями.

Какъ видно изъ этой краткой исторической справки, созданіе искусственныхъ соединеній Волжскаго бассейна является до нѣкоторой степени традиціонной задачей русскаго воднаго транспорта. Существенная разница между довоенными проектами реконструкціи Волжскаго бассейна и современнымъ проектомъ Большой Волги заключается какъ въ расширеніи масштаба работъ, такъ и въ ускореніи ихъ темпа.

Эти новыя тенденціи объясняются, главнымъ образомъ, стремленіемъ, путемъ ускоренной и расширенной реконструкціи Волжскаго бассейна, усилить работоспособность крупнѣйшаго въ Россіи Волжскаго судоходства, чтобы при его помощи разгрузить желѣзныя дороги Восточной Россіи, давно уже достигшія предѣловъ своей пропускной способности. Такая разгрузка можетъ быть однако осуществлена только въ томъ случаѣ, если въ прелѣлахъ Волжскаго бассейна будетъ создана сѣтъ глубоководныхъ путей, допускающихъ сквозное безперегрузочное сообщеніе между пунктами отправленія и назначенія и обладающихъ пропускной способностью, достаточной для безотказнаго пропуска грузопотоковъ даже при многократномъ ихъ увеличеніи противъ современнаго объема.

Для исполненія этихъ требованій какъ Волга, такъ и глав-

ные ее притоки (въ особенности Кама и Ока), а равно и всѣ основныя искусственныя соединенія ея съ морями, должны имѣть глубину, допускающую свободный проходъ наиболѣе крупныхъ, примѣнявшихся до сихъ поръ на Волгѣ судовъ. Поскольку, однако, эти суда своей шириной (до 30 м.) и длиной (150-200 м.) превосходятъ соответствующіе размѣры небольшихъ морскихъ судовъ и уступаютъ этимъ послѣднимъ только въ отношеніи глубины, въ руководящихъ кругахъ русскаго воднаго транспорта возникла мысль о приданіи основнымъ путямъ и соединеніямъ реконструируемаго Волжскаго бассейна глубины, допускающей свободный и безперегрузочный проходъ не только рѣчныхъ, но и морскихъ судовъ съ осадкой до 5,0 м.

Детальныя техническія изысканія показали возможность осуществленія этой мысли и позволили сформулировать излагаемую ниже транспортную часть проекта Большой Волги именно въ смыслъ созданія сѣти глубоководныхъ путей, доступныхъ для морскихъ судовъ средняго размѣра. Въ такой формѣ Большая Волга соответствуетъ Единой Сѣти Русскихъ Водныхъ Путей, предложенной еще извѣстнымъ германскимъ ученымъ и адъюнктомъ Россійской Академіи Наукъ — П. С. Палла съ въ концѣ 18-го столѣтія и дающей возможность, при помощи глубоководныхъ соединеній со всѣми морями Европейской Россіи, включить всѣ основныя промышленныя и сельско-хозяйственныя районы послѣдней въ сѣть международныхъ торговыхъ путей.

Поскольку осуществленіе этой задачи не можетъ быть проведено сразу и во всемъ ея объемѣ, работы по проекту Большой Волги предполагается закончить въ теченіе трехъ послѣдовательныхъ періодовъ:

Въ первую очередь (окончаніе прибл. въ 1940 г.) глубина Волги, а также ея важнѣйшихъ притоковъ должна быть доведена до размѣровъ, допускающихъ свободный проходъ крупнѣйшихъ Волжскихъ судовъ съ осадкой до 3,5 м. въ теченіе всего навигаціоннаго періода. Кромѣ того должны быть созданы глубоководныя, доступныя для тѣхъ-же судовъ соединенія Волги съ Балтійскимъ, Бѣлымъ и Чернымъ морями, а также съ городомъ Москвой.

Во вторую очередь (окончаніе прибл. въ 1950 г.) глубина Волги и ея важнѣйшихъ соединеній должна быть увеличена до размѣровъ, допускающихъ свободный проходъ большинства судовъ Каспійскаго моря съ осадкой до 4,25 м. Кромѣ того должны быть начаты подготовительныя работы по созданію искусственныхъ глубоководныхъ соединеній Волжскаго бассей-

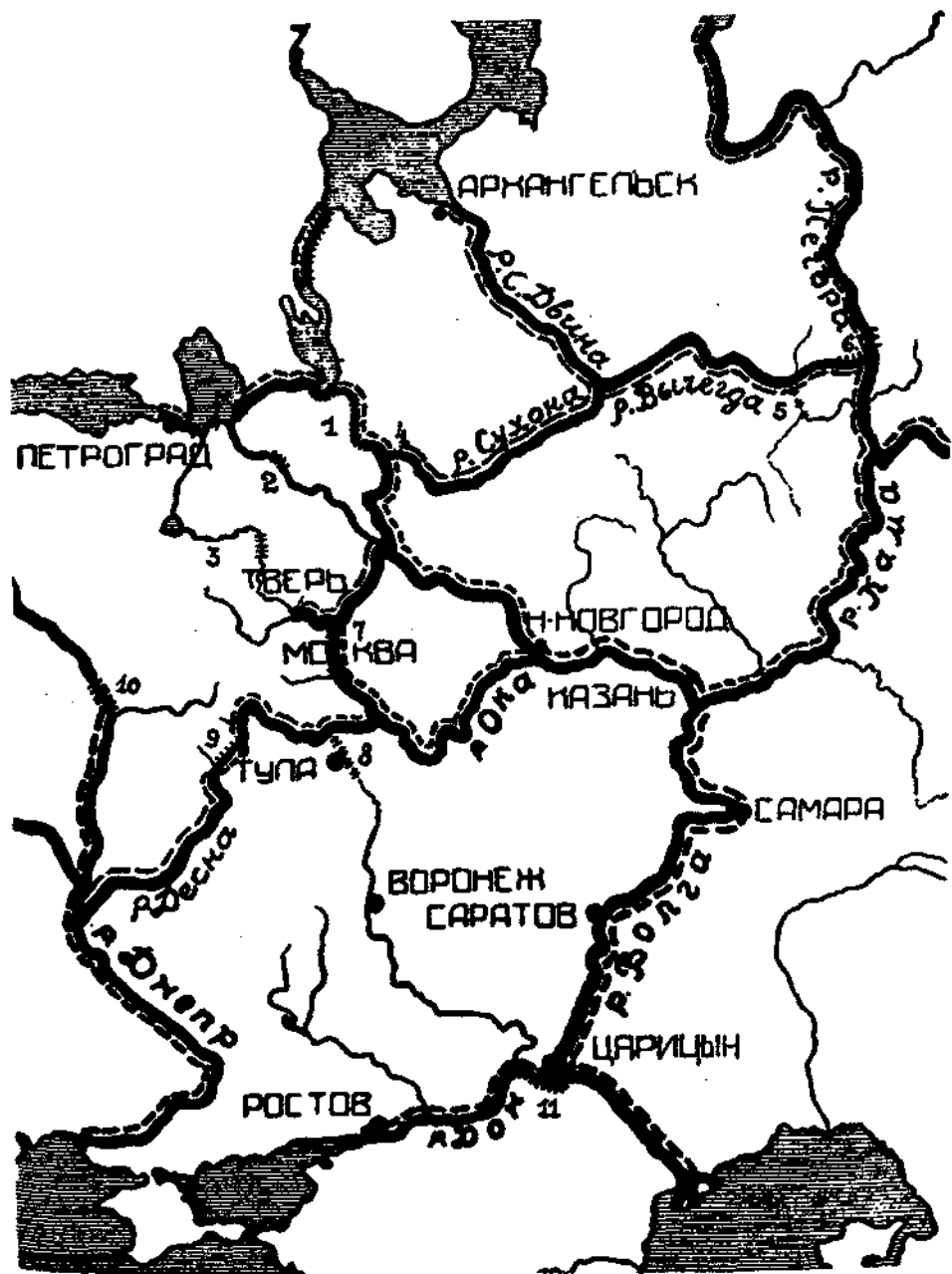
на съ прилегающими бассейнами Днѣпра, Печоры, Сѣв. Двинны и Оби.

Въ третью очередь (окончаніе къ 1960 г.) глубина Волги (а по возможности и Камы) и всѣхъ важнѣйшихъ соединеній ея бассейна должна быть доведена до размѣровъ, обеспечивающихъ свободный проходъ морскихъ судовъ съ осадкой до 5,0 метровъ. Кромѣ того должно быть закончено начатое въ составѣ второочередныхъ работъ строительство искусственныхъ соединеній между Волгой и прилегающими рѣчными бассейнами (См. рис. на слѣд. страницѣ)




Въ соотвѣтствіи съ этой программой работъ, осуществленіе проекта Большой Волги должно быть начато созданиемъ искусственныхъ соединеній Волжскаго бассейна съ Балтійскимъ, Бѣлымъ и Чернымъ морями, а также съ городомъ Москвой.

Соединеніе съ Балтійскимъ и Бѣлымъ морями должно быть проведено путемъ перестройки Марининской системы, связанной уже съ Бѣлымъ моремъ (черезъ каналъ герцога Вюртембергскаго) и проходящей, какъ извѣстно, черезъ Онежское озеро, соединенное съ Бѣлымъ моремъ Онежско-Бѣломорскимъ каналомъ (сданнымъ въ эксплуатацію осенью 1933 г.). Перестройка Марининской системы должна охватить расширеніе и выпрямленіе входящихъ въ ея составъ рѣкъ и каналовъ, шлюзованіе рѣки Шексны, а также замѣну 26 мелкихъ деревянныхъ шлюзовъ на рѣкахъ Ковжѣ и Вытегрѣ, двѣнадцатую большемѣрными шлюзами. Одновременно съ перестройкой Марининской системы должно быть закончено шлюзованіе рѣки Свири, послѣ чего въ Онежское озеро смогутъ свободно проходить изъ Финскаго залива морскія суда съ осадкой до 6,0 м.

Соединеніе съ Москвой, являющееся особенно срочнымъ въ связи съ перегруженностью Московскаго ж. д. узла, должно быть осуществлено при помощи канала длиной въ 130 км. между Верхней Волгой и Москвой, сооружаемаго параллельно трасѣ построеннаго въ 1826-1850 гг. Сестринско-Истрискаго канала, т. е. примѣрно по линіи Савелово-Дмитровъ-Химки (бл. Москвы). Проведеніе этого канала не только создаетъ сокращенный глубоководный путь между Москвой и Балтійскимъ или Бѣлымъ моремъ, но и позволяетъ радикально разрѣшить проблему дальняго водоснабженія города Москвы. Поскольку каналъ Москва-Волга приспособленъ главнымъ образомъ для грузопотоковъ, направляющихся на сѣверъ отъ Москвы, помимо этого канала должно быть создано еще второе соединеніе Волги съ Москвой путемъ шлюзованія рѣки Оки между Коломной и Ниж-



Условия обозначения:

-  судосходная рѣки.
-  судох. рѣки съ увеличенной глубиной, намѣченныя къ включенію въ систему «Б. Волги».
-  существующіе каналы.

нимъ. Новгородомъ (въ настоящее время на этомъ участкѣ находятся только двѣ, построенныя незадолго до войны, плотинъ, съ небольшими сравнительно шлюзами) и перестройка шлюзованнаго въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія участка Москварѣки между Москвой и Коломною (существующія здѣсь въ настоящее время шесть плотинъ съ небольшими шлюзами, должны быть замѣнены тремя плотинами съ большемѣрными шлюзами, допускающими проходъ морскихъ судовъ съ осадкой до 5,0 м.).

Соединеніе Волги съ Чернымъ моремъ должно быть осуществлено путемъ постройки канала между с. Калачъ (на Дону) и с. Сарептой (на Волгѣ), т. е. въ мѣстѣ наибольшаго сближенія рѣкъ Волги и Дона. Соответствующій раздѣлъ проекта Большой Волги, разработанный проф. Г. К. Ризенкампфъ, предусматриваетъ преодоленіе Волжско-Донского водораздѣла открытымъ каналомъ, создаваемымъ при помощи подпора рѣки Дона у Калача на 35-40 м. Получаемая при этомъ разности уровня (Донъ у Калача протекаетъ на 44 м. выше Волги у Сарепты) даютъ возможность сочетать устройство Волго-Донского соединенія съ постройкой трехъ крупныхъ гидроэлектрическихъ станцій, къ которымъ впослѣдствіи должны присоединиться гидроэлектрическія установки на Нижнемъ Дону, губина котораго увеличивается до максимальныхъ, предусмотрѣннымъ проектомъ Большой Волги, размѣровъ, путемъ сооруженія шести плотинъ съ большемѣрными при нихъ шлюзами.

Одновременно съ сооруженіемъ вышеперечисленныхъ искусственныхъ соединеній должны быть увеличены судоходныя глубины самой Волги и Камы. Поскольку соединенія Верхней Волги съ Москвой, а также съ Балтійскимъ и Бѣлымъ морями, будутъ строиться сразу на глубину, допускающую проходъ судовъ съ осадкой до 5,0 м., представляется целесообразнымъ довести судоходную глубину участка Волги между этими двумя соединеніями до тѣхъ-же размѣровъ, съ тѣмъ, чтобы пропускать глубоководныя суда изъ Москвы въ Петроградъ или въ Бѣлое море. Въ условіяхъ Верхней Волги цѣль эта можетъ быть достигнута только шлюзованіемъ ея при помощи четырехъ плотинъ съ большемѣрными шлюзами (290×30×5,5 м.) близъ с. Ивановко (ниже устья канала Волга-Москва), близъ гор. Углича, у с. Норскаго (въ 14 км. выше гор. Ярославля) и у с. Василева (въ 75 км. выше Нижняго Новгорода), послѣ чего вся Волга между Тверью и Василевымъ будетъ имѣть глубину, допускающую проходъ судовъ на осадкѣ до 5,0 м.

Спуская во время мелководья часть воды, задерживаемой

въ водохранилищахъ этихъ четырехъ Верхневолжскихъ плотинъ, можно повысить судоходныя глубины въ нижнемъ теченіи Волги на 20-30 см. Дальнѣйшее увеличеніе судоходныхъ глубинъ на Нижней Волгѣ и на Камѣ можетъ быть достигнуто регулированиемъ стока всего Волжскаго бассейна, а также, поскольку таковое является недостаточнымъ, шлюзованіемъ Камы и Средней Волги (землечерпаніе въ размѣрахъ, требуемыхъ для достиженія предусмотрѣнныхъ проектомъ Большой Волги глубинъ, является экономически невыгоднымъ).

Ежегодный стокъ Волжскаго бассейна составляетъ 250-300 куб. км., изъ которыхъ 65-70% стекаетъ во время половодья, затопляя колоссальныя пространства главнымъ образомъ вѣдѣваго берега Волги и поднимая уровень Волжскихъ водъ на 10-14 м. Регулированіе стока, т. е. задержка части стекающихъ во время весеняго половодья водъ въ водохранилищахъ сооружаемыхъ на Волгѣ и ея притокахъ плотинъ и постепенный равномерный спускъ этихъ водъ во время мелководья, позволяетъ увеличить судоходную глубину Камы, а также Средней и Нижней Волги до 3,0 - 3,25 м. Кромѣ того имѣется возможность направить для дополнительнаго питанія Волги часть весеняго стока сосѣднихъ бассейновъ (главнымъ образомъ Дона, Сухоны, Онеги и Печоры), используя для этого существующія или вновь сооружаемыя соединенія между этими бассейнами и Волгой (Маринская система, каналъ герцога Вюртембергскаго, Волго-Донское соединеніе и предполагаемое къ постройкѣ Камо-Печерское соединеніе). Это дополнительное питаніе даетъ возможность повысить судоходную глубину Нижней Волги до максимальныхъ размѣровъ, предусмотрѣнныхъ для работъ первой очереди, т. е. до 3,5 м. и выше (до 3,75-4,0 м.).

Для регулированія стока въ этихъ размѣрахъ, должны быть сооружены водохранилища на рѣкахъ Сухоны, Шекснѣ, Мологѣ, Сурѣ, Ветлугѣ, Унжѣ, Колвѣ, Вишерѣ и Чусовой, а также на Дону, на Окѣ и на Верхней Камѣ. Сооруженіе водохранилищъ на этихъ послѣднихъ рѣкахъ даетъ возможность, помимо дополнительнаго питанія Волги, повысить судоходную глубину этихъ рѣкъ, входящихъ въ составъ судоходныхъ путей Москва-Ока-Волга, Уралъ-Кама-Волга и Волга-Донъ-Азовское море.

Дальнѣйшее предусмотрѣнное планомъ работъ второй очереди повышеніе судоходныхъ глубинъ Волги до 4,25 м. уже не можетъ быть достигнуто однимъ только регулированиемъ стока и требуетъ сооруженія плотины въ среднемъ теченіи Волги, мѣсто для которой было выбрано близъ гор. Ставрополя, въ

районъ Самарской Луки, гдѣ Волга, прорываясь черезъ Жигулевскую возвышенность, течетъ между высокими берегами, допускающими постройку сравнительно высокой плотины съ водохранилищемъ большой емкости. Въ составъ Ставропольско-Самарскаго узла сооружений, проектъ котораго разработанъ проф. А. В. Чаплыгинымъ, входитъ судоходный каналъ, перерѣзающій Самарскую Луку и сокращающій транзитный путь для Волжскаго судоходства на 125 км., а также гидроэлектрическая станція мощностью въ 1,2-1,5 млн. квт.

Созданіе максимальной предусмотрѣнной проектомъ Большой Волги судоходной глубины по всему руслу Волги (5,0 м.) достигается постройкой еще одного подпорнаго сооружения тамъ, гдѣ кончается подпоръ Самарско-Ставропольской плотины (т. е. припл. у с. Крѣши близъ гор. Чебоксаръ). Подпоръ этого сооружения распространяется до Василевской плотины, такъ что послѣ его постройки сквозная судоходная глубина въ 5,0 м. будетъ обезпечена на участкѣ между Тверью и Ставрополемъ плотинами, а ниже Ставрополя попусками воды изъ водохранилищъ. На Камѣ такая-же глубина можетъ быть достигнута сооруженіемъ двухъ плотинъ близъ Чистополя и Воткинска.

По окончаніи вышеперечисленныхъ работъ, а также предусмотрѣнныхъ во второй и третьей очереди соединеній систему водныхъ путей Большой Волги можно будетъ считать законченной. Она должна дать возможность свободнаго подхода коммерческихъ судовъ (водоизмѣщеніемъ до 4.000 тоннъ) безъ перегрузки или разгрузки почти ко всѣмъ важнѣйшимъ хозяйственнымъ районамъ Россіи и включить эти районы на все время навигаціи (прибл. 200 дней въ году) въ сѣть морскихъ сообщеній; всякій, кто знаетъ, какое колоссальное вліяніе на развитіе прилегающихъ районовъ оказало соединеніе такъ наз. Большихъ Озеръ въ С. А. С. Ш. съ Атлантическимъ океаномъ, легко можетъ себѣ представить народно-хозяйственный эффектъ осуществленія несравненно болѣе обширной водно-транспортной системы Большой Волги.

Само собой разумѣется, что водный транспортъ не въ состояніи принять на себя всѣ расходы по проведенію столь крупныхъ работъ. Въ виду этого представляется необходимымъ дополнить транспортныя сооружения Большой Волги использованиемъ водныхъ силъ ея бассейна, а также ирригаціей прилегающихъ степныхъ районовъ, съ тѣмъ чтобы переложить на соответствующія отрасли народнаго хозяйства часть расходовъ,

связанных съ общей реконструкціей Волжскаго бассейна. Поэтому проект Большой Волги предусматриваетъ сооруженіе гидроэлектрическихъ станцій почти на всѣхъ запроектированныхъ плотинахъ, а также обширныя ирригаціонныя работы на Нижней Волгѣ.

Въ общей сложности проектомъ Большой Волги предусмотрено сооруженіе 30-35 гидроэлектрическихъ станцій, въ томъ числѣ:

В первую очередь (до 1940 г.) 13-17 станцій съ общей мощностью въ 1,8-2,2 милл. квт., на Верхней Волгѣ и ея притокахъ, на Москва-рѣкѣ и на Окѣ, на Верхней Камѣ и ея притокахъ, и на Волго-Донскомъ соединеніи.

Во вторую очередь (до 1950 г.) дальнѣйшія 13-17 станцій съ общей мощностью въ 2,0-2,5 милл. квт., на притокахъ Верхней Волги, на Средней Волгѣ, Верхней Камѣ и Москва-рѣкѣ.

Въ третью очередь (послѣ 1950 г.) дальнѣйшія 1-3 станцій съ общей мощностью въ 0,6-1,2 милл. квт., на Средней Волгѣ и Камѣ.

Всѣ эти гидроэлектрическія установки должны быть связаны между собой и сосѣдними тепловыми станціями въ районныя группы при помощи высоковольтныхъ передачъ. Кроме того, магистральная линія электропередачи напряженіемъ въ 220 квт., проходящая вдоль Волги отъ Царицына черезъ Саратовъ, Самару, Казань до Нижняго Новгорода, должна объединить большинство Волжскихъ станцій и приволжскую электрораспределительную систему.

Большая часть производимой Волжскими станціями электроэнергии (годовая выработка волжскихъ станцій прибл. въ 1940 г., должна, по проекту, достигнуть 8-10 млрд. квтч., а въ 1950 г. вѣроятно 15-20 млрд. квтч.) можетъ быть безъ труда размѣщена въ прилегающихъ промышленныхъ районахъ. Электроэнергія верхневолжскихъ, москворѣцкихъ и окскихъ станцій будетъ размѣщаться въ средне-русскихъ промышленныхъ центрахъ (Москва, Иваново, Тверь, Нижній Новгородъ), въ то время какъ энергія гидроустановокъ, расположенныхъ на Маринской системѣ, будетъ большею частью передаваться въ Петроградъ. Верхнекамскія установки должны будутъ обслуживать Сѣверо-Уральскій промышленный районъ, а станціи Волго-Донскаго соединенія — Царицынскую промышленность и переходящую въ скоромъ времени на электрическую тягу желѣзную дорогу Царицынъ-Лихая.

Исключеніе составляетъ только одна, правда, наиболѣе крупная изъ Волжскихъ установокъ, а именно Самарская гид-

розэлектрическая станція, расположенная вдали от основных русских промышленных районов и нуждающаяся поэтому в других местных потребителях вырабатываемой ею энергии. Таким потребителем может явиться сельское хозяйство прилегающего к Самарѣ Нижневолжскаго степного района, въ случаѣ, если его удастся развить и слѣлать вполне засухоустойчивымъ, что возможно только въ случаѣ осуществленія крупныхъ ирригаціонныхъ работъ, являющихся въ свою очередь крупнымъ потребителемъ электрическаго тока. Въ соответствии съ этими соображеніями проектъ Большой Волги предусматриваетъ орошеніе Нижневолжскихъ степей, причемъ по предложенію одного изъ крупнѣйшихъ русскихъ специалистовъ ирригаціонной техники, проф. Г. К. Ризенкампа, орошеніе это должно производиться путемъ такъ наз. дождеванія. Необходимая для орошенія вода будетъ забираться изъ Волги 17 расположенными вдоль нея насосными станціями, изъ которыхъ она по бетонированнымъ каналамъ будетъ распределяться по отдѣльнымъ дождевальнымъ установкамъ. Последнія представляютъ собой систему переносныхъ трубъ, въ которыхъ вода подается подъ давленіемъ въ нѣсколько атмосферъ. На нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга въ сѣть трубъ включаются автоматически вращающіяся насадки, черезъ которыя вода разбрасывается радиусомъ въ нѣсколько десятковъ метровъ. Энергопотребленіе оросительныхъ системъ такого рода весьма значительно, такъ что при годовомъ расходѣ воды для орошенія Нижневолжскихъ степей, въ размѣрѣ 11-13 млрд. куб. м., для электроприводовъ насосныхъ и дождевальныхъ установокъ потребуется около 5 млрд. квтч.

Общая площадь орошаемаго района должна составить прибл. 4,1 милл. гект., изъ которыхъ 2,8 милл. гект. должны быть орошены до 1950 г., а остальныя 1,3 милл. гект. въ последующіе годы. Происходящее въ процессѣ орошенія обогащеніе грунтовыхъ водъ въ районахъ, прилегающихъ къ орошаемымъ участкамъ, позволяетъ использовать и эти районы какъ выгоны для скота, а также для насажденія защитныхъ зеленыхъ зонъ, ограждающихъ орошаемые участки отъ губительнаго дѣйствія засухи.

По окончаніи оросительныхъ работъ въ Поволжьи долженъ создаться, такимъ образомъ, обширный засухоустойчивый сельскохозяйственный районъ, способный принять на себя дополнительное снабженіе прилегающихъ промышленныхъ областей (Ураль, Царицынъ, Нижній Новгородъ, Москва и др.) сельскохозяйственными продуктами. Это снабженіе, а равно и постав-

ка продукции прилегающих промышленных районов в сельско-хозяйственное Поволжье и товарооборот между промышленными районами Волжского бассейна, облегчаются широко развитой системой дешевых водных путей большой пропускной способности, связующих все эти районы в одно народно-хозяйственное целое, производственные способности которого значительно увеличиваются, благодаря наличию мощной электрораспределительной сети.

Помимо этой реконструкции средне-русского и восточно-русского хозяйства, осуществление проекта Большой Волги должно вызвать, по всей вероятности, значительные сдвиги и в международных торговых отношениях. Эти сдвиги, обусловленные, главным образом, транспортными возможностями Большой Волги, будут вызваны как установлением бесперегрузочного морского сообщения между Европой и Северной Персией, так и облегчением вывоза целого ряда русских промышленных и сельско-хозяйственных продуктов, экспорт которых до сих пор затруднялся высокой стоимостью смешанных водно-железнодорожных перевозок (зерновые продукты Поволжья, Соликамский калий, Верхневолжский и Североуральский лес, Уральская руда, рыбопродукты Каспийского бассейна и пр.).

Таковы перспективы проекта Большой Волги, в изложении его авторов. Возражения его противников (поскольку они опубликованы в советской и заграничной печати) можно подразделить на три группы: «общая сомнения», экономические и технические возражения.

«Общая» сомнения в осуществимости проекта сводятся обычно к указаниям на непосильность проведения в жизнь столь обширных планов, представляющих собой «воздушные замки», которые только «бумага терпит». Однако, большая часть первоочередных работ по проекту Большой Волги либо уже закончена (Онужско-Бѣломорский канал, шлюзование Шексны и Нижней Свири), либо же находится в производстве, (канал Москва-Волга, переустройство шлюзования Москва-рѣки и Северного участка Мариинской системы, шлюзование Верхней Свири, Пермская и Ярославская плотины), в то время как остальные работы находятся в стадии подготовки и будут начаты по всей вероятности весной 1935 г. Учитывая столь крупный объем уже производящихся работ, следует признать, что относить весь проект в разряд

«бумажных» уже невозможно; это название может быть применено только къ работамъ второй и третьей очереди, начала которыхъ самымъ проектомъ отнесено къ 1940 - 1950 гг. Работы же первой очереди будутъ несомнѣнно, быть можетъ съ некоторыми незначительными опозданиями, закончены къ 1940 году, а потому съ ними необходимо считаться, какъ съ реальностью.

Болѣе серьезными, чѣмъ «общія» сомнѣнія, являются возраженія противъ экономической рентабельности проекта. Къ сожалѣнію, изслѣдованіе этихъ возраженій невозможно, поскольку всѣ экономическіе расчеты какъ сторонниковъ, такъ и противниковъ проекта при современномъ состояніи русской денежной системы не поддаются сравненію. Къ тому же слѣдуетъ учесть, что самое понятіе рентабельности въ современныхъ русскихъ условіяхъ приобретаетъ значеніе совершенно отличное отъ принятаго въ Западной Европѣ.

Тѣмъ большаго вниманія заслуживаютъ возраженія технического и эксплуатационнаго порядка. Эти возраженія могутъ быть сформулированы слѣдующимъ образомъ:

1) Въ результатъ постройки плотинъ на Средней Волгѣ (близъ Самары и Чебоксаръ) на совершенно свободномъ участкѣ рѣки съ неограниченной почти пропускной способностью создаются искусственные преграды, могущія при переборахъ въ работѣ шлюзовъ прервать всякое судоходство по Волгѣ. Кроме того, сооруженіе плотинъ въ руслахъ рѣкъ можетъ вызвать увеличеніе наносовъ въ шлюзованныхъ участкахъ, поскольку уменьшается самоочищающее дѣйствіе рѣчного теченія.

2) При сооруженіи плотинъ затопляются обширныя, частію весьма цѣнныя угодья, причѣмъ въ глубокихъ водохранилищахъ, образующихся у плотинъ, можно ожидать усиленія затрудняющаго судоходство волнообразованія.

3) Изъятіе большаго количества воды изъ Волги для орошенія Приволжскихъ степей уменьшаетъ стокъ въ Каспійское море и вызываетъ такимъ образомъ пониженіе его уровня, губительное для рыбнаго хозяйства и въ высшей степени вредное для общихъ климатическихъ условій Каспійскаго бассейна.

4) Самарская плотина, а также Нижнекамскія плотины, въ случаѣ ихъ осуществленія, препятствуютъ передвиженію Волжской рыбы, имѣющей обыквеніе во время нереста подниматься довольно высоко вверхъ по теченію (до Уфы), что можетъ отрицательно отразиться на рыбномъ хозяйствѣ Волги.

Путемъ соответствующихъ измѣненій проекта удалось

учесть большинство вышеуказанных возражений, не нарушая основной схемы Большой Волги. Так, напр., шлюзы на всѣхъ Волжскихъ и Камскихъ плотинахъ строятся въ настоящее время двойными, что сводитъ къ минимуму опасность прекращения движенія въ случаѣ какихъ-либо перерывовъ въ работѣ шлюзовъ. Равнымъ образомъ высота плотинъ почти всѣхъ Волжскихъ и Камскихъ установокъ распределена такимъ образомъ, чтобы подъемъ воды не превышалъ такого во время весеннихъ половодій. Въ результатъ этого мѣропріятія затопленія Приволжскихъ угодій будутъ въ основномъ соответствовать ежегоднымъ весеннимъ затопленіямъ, а слѣдовательно не коснутся цѣнныхъ, незатопляемыхъ земель. Равнымъ образомъ отпадаетъ опасность усиленнаго волнообразования, поскольку при подпорахъ въ предѣлахъ отъ 10-15 м. волнение въ шлюзованныхъ участкахъ рѣки будетъ мало чѣмъ отличаться отъ волненія во время весеннего половодья, къ которому Волжское судоходство вполне приспособлено.

Въ высшей степени серьезную опасность пониженія горизонта Каспійскаго моря предполагается устранить путемъ привлеченія къ дополнительному питанію Волги прилегающихъ бассейновъ другихъ рѣкъ (главнымъ образомъ рѣки Дона). Изъятіемъ соответствующаго количества воды изъ этихъ бассейновъ, главнымъ образомъ, за счетъ весеннего стока, общій размѣръ годового стока въ Каспійское море можетъ быть полностью восстановленъ и опасность пониженія его уровня такимъ образомъ, устранена. Кромѣ того, благодаря тому, что изытіе воды изъ сосѣднихъ рѣкъ должно происходить во время весеннего половодья, смягчается катастрофическій характеръ послѣдняго и уменьшается площадь затопленій (на Дону должно быть возвращено въ сельско-хозяйственное пользованіе около 400.000 гект. пригодной для обработки земли).

Изъ всѣхъ вышеперечисленныхъ возраженій техническо-эксплоатационнаго характера сохраняютъ свою силу только указанія на возможность увеличенія наносовъ въ шлюзованныхъ участкахъ рѣкъ, а также на затрудненія, создаваемые Средне-волжскими и Нижнекамскими плотинами для нерестоваго хода рыбы. Будущее покажетъ, насколько серьезны эти недостатки. Во всякомъ случаѣ можно уже сейчасъ предположить, что отрицательныя послѣдствія ихъ врядъ-ли смогутъ сравниться съ тѣми обширными преимуществами, которыя сулитъ осуществленіе проекта Большой Волги для русскаго народнаго хозяйства.

К. Поль.

ПОСЛѢСЛОВЕ.

Рекомендуя вниманію читателей помѣщенную выше интересную информацию К. Поля о совѣтскомъ проектѣ работъ по переустройству водныхъ путей Россіи, считаемъ со своей стороны необходимымъ сопроводить ее нѣсколькими строками.

Авторъ, специалистъ-инженеръ, сознательно ограничиваетъ свое сужденіе по поводу совѣтскаго проекта исключительно его технической стороной. Беря проблему только въ этой плоскости, К. Полю приходится къ положительной оцѣнкѣ плана «Большой Волги». На этомъ его экспертиза и кончается.

Совершенно очевидно, однако, что такой односторонней оцѣнки еще недостаточно, чтобы установить объективное отношеніе къ новому совѣтскому начинанію. Техническая осуществимость и даже — въ перспективѣ отдаленнаго будущаго — экономическая цѣлесообразность тѣхъ или иныхъ мѣропріятій совѣтской власти не могутъ служить единственнымъ и достаточнымъ основаніемъ для нашего безоговорочнаго имъ сочувствія. Не впадая въ фетишизмъ мертвой техники, можно по заслугамъ цѣнить техническій прогрессъ только тогда, когда онъ построенъ на свободномъ, огражденномъ отъ чрезмерной эксплуатаціи трудъ и приноситъ одновременно съ собою для русскаго народа подъемъ матеріальнаго и культурнаго благосостоянія. Нельзя поэтому забывать о тѣхъ варварскихъ методахъ, пользуясь которыми только и могутъ большевики добиваться осуществленія своихъ грандіозныхъ начинаній: о бессмысленныхъ темпахъ, въ концѣ истощающихъ хозяйственные ресурсы страны и обрекающихъ населеніе на жестокія лишенія, о широчайшемъ примѣненіи принудительнаго, рабскаго труда на всевозможныхъ по каторжному организованыхъ работахъ, труда, который сводится къ свирѣпому истребленію сотенъ тысячъ, если не милліоновъ, человѣческихъ жизней.

Проектъ «Большой Волги», обѣщающій обогатить Россію обширной системой глубоководныхъ путей сообщеній, создать посреди континента морскіе порты, электрифицировать цѣлые промышленные районы, оросить безводныя пустыни и пр., — способенъ поразить воображеніе, увлечь необычайной широтой замысла. Насколько можно судить не будучи специалистомъ, проектъ и практически осуществимъ, по крайней мѣрѣ въ первой его части; въ условіяхъ свободной Россіи онъ могъ бы, повидимому, явиться гигантскимъ шагомъ впередъ въ развитіи ея производительныхъ силъ. Но, при длящемся въ Россіи совѣтскомъ режимѣ, приступъ къ осуществленію «Большой Волги» насъ далеко не радуетъ. Проведеніе одного Бѣломорско-Онежскаго канала обошлось, вѣроятно не менѣе ста тысячъ загубленныхъ съ преступной расточительностью жизней. Не чувство гордости будущими достижениями, а ужасъ охватываетъ насъ передъ новымъ гран-

диознымъ планомъ большевиковъ, при мысли о ничѣмъ не оправданной жертвѣ — миллионахъ людей, обреченныхъ на страшныя мученія и лютую смерть — которой въ современныхъ совѣтскихъ условіяхъ потребуетъ осуществленіе «Большой Волги».

Вотъ что пишетъ намъ по поводу совѣтскаго проекта М. В. Брайкевичъ, давній сотрудникъ журнала, тоже инженеръ по специальности.

«Переустройство внутреннихъ водныхъ путей въ предположенномъ въ проектѣ грандіозномъ масштабѣ есть особый этапъ въ жизни національнаго хозяйства. Онъ наступаетъ, когда этапъ желѣзнодорожнаго развитія почти законченъ и далѣ максимумальный хозяйственный эффектъ. Тогда возникаетъ проблема созданія дешевыхъ гранитныхъ путей дальняго слѣдованія для массовыхъ грузовъ (угля, руды, хлѣба, дерева и пр.). Такими могутъ быть только водныя пути очень высокиихъ, въ смыслѣ осадки судовъ, техническихъ условій и громадной, въ смыслѣ капитальныхъ затратъ, стоимости. Въ самомъ началѣ такого этапа рѣчного транспорта была, напр., Германія передъ войной (Кельнъ — морской портъ) и сейчасъ же послѣ войны (проекты, отчасти осуществляемые теперь, обращенія въ морскіе порты не только рейнскихъ рѣчныхъ портовъ, но и Берлина и связи всей водной системы Германіи, доводимой до осадки каботажныхъ морскихъ судовъ, не только съ Нѣмецкимъ и Балтійскимъ морями, но и со Средиземнымъ черезъ Дунай). Наступленіе такого періода транспортнаго дѣла предполагаетъ напряженность и полнокровіе всей народно-хозяйственной жизни.

И Россія придетъ къ такому періоду — мы потенциально богаче Германіи во многихъ отношеніяхъ. Но Россія придетъ не при теперешней хозяйственной и политической системѣ. Индустриальныя возможности, объемъ торговаго оборота, ростъ національнаго дохода зависягъ въ конечномъ счетѣ отъ наличия у населенія здоровыхъ импульсовъ къ труду, а необходимой предпосылкой самодѣятельности является извѣстная степенъ гражданской свободы, имущественной и духовной. Совѣтская система только задерживаетъ наступленіе блестящаго періода развитія російскаго національнаго хозяйства, въ частности транспорта.

Что касается чисто технической осуществимости проекта «Большой Волги», въ ней нѣтъ сомнѣній. Работы должны стоить громадныхъ суммъ, въ зависимости отъ техническихъ трудностей онѣ могутъ стоить больше или меньше. Но преодолѣть техническія трудности дѣло далеко не главное. Главное — во всей социално-политической обстановкѣ совѣтской. Конечно, у Совѣтовъ есть очень крупный факторъ, котораго нѣтъ ни въ одной свободной странѣ. Это — рабскій трудъ, когда, харкая кровью, голыми, ободранными въ кровь руками дѣлаютъ голодные люди то, что легко и просто въ свободныхъ странахъ дѣлаетъ машина. Бѣломорско-Балтійскій каналъ былъ построенъ положительно на костяхъ, но и въ Бѣломорско-Бал-

гидскій каналъ это — пигмей по сравненію съ колоссомъ «Большая Волга».

И еще послѣднее замѣчаніе. «Большую Волгу» будутъ строить русскіе инженеры, съ подрѣзанными крыльями творчества, со связанными въ повседневной работѣ руками и ногами, но жертвенные, съ витузизмомъ, ибо идея безконечно увлекательна. И будетъ, конечно, неуспѣхъ, много неуспѣховъ. И когда они будутъ, совѣтская власть, конечно, ихъ объяснить не своей экономической и политической системой. Дорога — прогорелая. Будутъ новые процессы объ инженерномъ саботажѣ, вредительствѣ, шпионажѣ. Будутъ людей разстрѣливать, сажать по концентраціоннымъ лагерямъ и тюрьмамъ. Какъ теперь сажаютъ по окончаніи Турксиба. Небольшое и сравнительно незмысловатое предпріятіе, а вотъ знатный иностранецъ, посетившій на дняхъ Россію, сообщаетъ въ «Times»: изъ пятисотъ инженеровъ, соорудившихъ Турксибъ, триста сидятъ сейчасъ въ тюрьмѣ...

Эти правильно обрисованныя въ приведенной характеристикѣ М. В. Брайкевича общія условія совѣтскаго строительства заставляютъ насъ относиться къ людямъ, даже безспорнымъ съ точки зрѣнія народно-хозяйственной планамъ совѣтской власти съ тѣмъ большею сдержанностью, чѣмъ самые планы грандіознѣе. «Большая Волга» — гигантское начинаніе, требующее отъ массъ населенія безмѣрнаго и длительнаго — въ теченіе тридцати лѣтъ! — напряженія силъ и средствъ. Превосходная сама по себѣ идея переоборудованія водной системы Россіи можетъ стать истиннымъ бѣдствіемъ для русскаго народа, поскольку осуществленіе ея остается въ рукахъ власти, не знающей никакихъ иныхъ способовъ мобилизаціи народныхъ силъ, кромѣ безошаднаго террора.

В. Рудневъ.

НОВЫЙ ИДОЛЪ *)

Всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ можно было утверждать, что европейскому культурному міру угрожаютъ два врага — одинаково сильныхъ и страшныхъ: коммунизмъ и национализмъ. Борьба классовъ и борьба народовъ сжигала Европу, какъ свѣчу, съ двухъ концовъ. Вопросъ, казалось, лишь въ томъ, какой огонь добѣжитъ скорѣе до середины: до точки взрыва. Суждено ли намъ погибнуть въ міровой войнѣ или въ міровой революціи? Но было ясно и тогда, что два исхода ведутъ къ одному. Война неизбежно приведетъ къ революціи, а революція — къ войнѣ. Поэтому всѣ разговоры на тему о томъ, какое зло больше — национализмъ или коммунизмъ — являлись, по существу, праздными. На насъ, на русскую эмиграцію, Провидѣніемъ возложена своя миссія: борьба съ коммунизмомъ. Для того мы здѣсь, на чужой землѣ, чтобы выполнить нашъ долгъ. Но только ослѣпшіе въ подпольѣ глаза могли не видѣть двусторонней опасности и считать коммунизмъ единственнымъ врагомъ человѣчества. Такъ старый русскій революціонеръ, закрывая глаза на сложность дѣйствительности, видѣлъ въ самодержавіи главнаго врага міровой свободы и культуры.

Какъ недавно это было — тому назадъ какихъ-нибудь три года, — и что осталось отъ этой привычной политической обстановки? Коммунизмъ разгромленъ во всемъ мірѣ. Онъ мертвъ, какъ можетъ быть мертво политическое движеніе, еще вчера казавшееся мощнымъ и яростнымъ. Въ Германіи и Австріи — вчерашней цитадели марксизма — онъ утопленъ въ крови, вмѣстѣ съ социаль-демократіей. Во Франціи, гдѣ еще недавно коммунизмъ шумѣлъ, разбухая на московскія субсидіи, онъ выдохся, присмирѣлъ, мечтаетъ о возвращеніи въ лоно со-

*) Помѣщая статью Г. П. Федотова, редакція оговариваетъ свое несогласіе съ рядомъ развиваемыхъ авторомъ положеній, въ частности съ его утвержденіемъ о происходящемъ будто бы «националистическомъ» перерожденіи совѣтской политики. Ред.

циалистической партіи, выставляя умѣреннѣйшую парламентарную программу. Троцкистскій расколъ, уведшій отъ него искреннія революціонныя силы, и охлажденіе Москвы обезкровили во Франціи воинствующее крыло рабочаго движенія. Въ англо-саксонскомъ мірѣ оно никогда не было сколько-нибудь вліятельнымъ. Въ половинѣ Европы — къ востоку отъ Альпъ и Рейна, гдѣ развѣвается, въ тѣхъ или иныхъ цвѣтахъ, знамя фашизма, о коммунизмѣ не можетъ быть и рѣчи. Онъ задушенъ безошадно и окончательно.

Навсегда ли? Этого мы сказать не можемъ. Точнѣе, можемъ сказать навѣрное: коммунизмъ воскреснетъ непременно — въ старой или новой идеологической одеждѣ — если міръ не выбьется изъ капиталистическаго хаоса или повторитъ безуміе новой войны. Ибо коммунизмъ есть дитя хаоса и тѣни войны. Смерть стараго міра выдѣляетъ его бактерии, какъ побочный продуктъ разложенія. Но такой коммунизмъ не зависитъ ни отъ Москвы ни отъ идейнаго наслѣдія Ленина. Отвѣтственность за него несутъ тѣ, кто держитъ сейчасъ въ своихъ рукахъ управленіе политическимъ и хозяйственнымъ рулемъ міра.

Гибель коммунизма въ центральной и восточной Европѣ связана съ разгромомъ социаль-демократіи. Враги не разбираютъ оттѣнковъ «марксистской» мысли и тактики. Вчерашніе братья-соперники встрѣтились у эшафота и въ концентраціонныхъ лагеряхъ. И ясно, что не одно внѣшнее насиліе ихъ сломало, но также и исчерпанность, вырожденіе той идеи, которая объединяла оба крыла рабочаго движенія: идеи классово́й борьбы.

Значительныя группы рабочаго «класса» влились въ армію фашистскихъ побѣдителей. Они вѣрятъ теперь, что осуществленіе ихъ социальныхъ чаяній — право на трудъ, на достойное человѣка существованіе — принесетъ не побѣда класса, а торжество національнаго надклассоваго государства. Фашизмъ даетъ это обѣщаніе, и пока встрѣчаетъ довѣріе. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ мы не видимъ, чтобы это довѣріе было имъ оправдано. Еще рано судить о концѣ фашистскаго эксперимента, но пока онъ представляется скорѣе дѣломъ консолидаціи давшаго трещину капитализма, чѣмъ серьезной попыткой его преодоленія. Вотъ почему крушеніе классовой борьбы пролетариата не принадлежитъ къ утѣшительнымъ явленіямъ современности.

Не намъ защищать идеологию классовой борьбы, отравлявшую нѣсколько поколѣній моральное сознаніе рабочаго. Но остается фактомъ, что сама борьба эта была въ тече-

ние послѣдняго столѣтія однимъ изъ мощныхъ факторовъ соціальной реконструкціи. Именно она, вопреки всѣмъ доктринерскимъ теоріямъ экономическаго либерализма, содѣйствовала гуманному соціальному законодательству, смягченію капиталистической эксплуатаціи, культурному подъему народныхъ массъ. Ни одинъ режимъ не склоненъ къ самоограниченію, не вынуждаемый къ этому борьбой враждебныхъ группъ. Въ современныхъ уцѣлѣвшихъ демократіяхъ именно это отсутствіе серьезнаго рабочаго давленія объясняетъ безпечность правящихъ верховъ, ихъ легкомысленную работу штопальщиковъ передъ лицомъ открывшагося хаоса. Виѣсть съ рабочимъ классомъ изъ міра выпала сейчасъ одинъ изъ могучихъ тараповъ прогресса. Эта сила, конечно, являлась до извѣстной степени слѣпой, зачастую разрушительной, но все же оставалась огромнымъ потенциальнымъ источникомъ энергіи въ рукахъ смѣлаго реформатора.

Современные экономисты указали, что численная и моральная слабость рабочаго класса объясняется измѣнившимся характеромъ промышленной техники и организаціи. Въ вѣкъ рационализаціи убываетъ значеніе мускуловъ, и возрастаетъ вліяніе мозга: инженеръ и техническій сотрудникъ вытѣсняють рабочаго. Вѣроятно, это такъ. Но этотъ процессъ, едва начавшійся въ Америкѣ, не казался еще значительными перемѣнами въ хозяйствѣ Европы. Гораздо дѣйственнѣе результаты разложенія классової психологіи психологіей національной. «Сознательный пролетаріатъ» продуктъ не завода, а доктрины. Рабочій, сознавшій себя прежде всего нѣмцемъ, итальянцемъ, французомъ, перестаетъ быть пролетаріемъ. И въ этомъ процессѣ роль войны, вѣроятно, значительнѣе новыхъ хозяйственныхъ формъ.

Самое характерное для нашего времени — это побѣда національной идеи въ Россіи.

Внѣшняя ли опасность, несомнѣнно, угрожающая СССР, дальнѣйшее ли развитіе Сталинскаго «соціализма въ одной странѣ», но политика и идеологія Совѣтовъ, несомнѣнно, вступили въ фазу острой націонализаціи. Уже давно бряканіе оружія в Москвѣ заглушаетъ мотивы интернаціоналистическаго антимилитаризма. Но раньше мы понимали эти танки на Красной площади, какъ подготовку міровой революціи. Война для Сталина и Ворошилова, казалось, была лишь формой развертыванія революціи. Теперь приходится сказать: дальновиднѣе были тѣ европейцы, которые считали, что подъ красной маской СССР продолжаетъ традиціонную русскую экспансію въ

Азіи. Именно ударъ изъ Азіи, на Дальнемъ Востоку, вызвали новую кристаллизацию и въ европейской политикѣ Совѣтовъ. Союзъ съ Франціей и версальской группой державъ, отказъ отъ ревизии договоровъ (главный ферментъ революціи!), прекращеніе поддержки коммунистовъ Европы, показывается, что мечта о міровой революціи погребена окончательно. Сталинъ никогда не былъ интернаціоналистомъ по своей природѣ: всегда презиралъ европейскаго рабочаго и не вѣрилъ въ его революціонныя способности. Добившись единоличной, неограниченной власти въ величайшей странѣ міра, что удивительно-го, если онъ приноситъ въ жертву этой власти (и странѣ, съ нею связанной) остатки своихъ бывшихъ псевдо-религіозныхъ убѣжденій? Интернаціональный коммунизмъ для него, вѣроятно, значитъ не больше, чѣмъ православіе для императорской дипломатіи послѣднихъ столѣтій: необходимый декорумъ для защиты національныхъ интересовъ.

Вещь неслыханная, невозможная вчера: въ СССР родина объявлена священнымъ словомъ. Родина склоняется во всѣхъ падежахъ, комсомольцы учатся патриотизму по классическимъ прописямъ: т. е. прежде всего національной гордости. Первая въ мірѣ страна, самая свободная, самая мощная, самая передовая! На нее покушаются, мы дадимъ отпоръ. И враги — это уже не міровая буржуазія, а конкретно: Японія, Германія. Нельзя думать, что все это пишется и говорится по заказу. Естественное предполагать, что власть только открыла щлюзы, долго сдерживавшіе потокъ бурной національной стихіи.

Вчера можно было предскаазывать грядущій въ Россіи фашизмъ. Сегодня онъ уже пришелъ. Настоящее имя для строя СССР — національ-соціализмъ. Здѣсь это имя болѣе умѣстно, чѣмъ въ Германіи, гдѣ Гитлеръ явно предалъ національ-соціалистическую идею. Сталинъ, измѣняя коммунизму, становится національ-соціалистомъ, Гитлеръ, измѣняя себѣ, превращается въ вульгарнаго націоналиста. Во всякомъ случаѣ кровное родство между фашистской группой державъ, включая Россію, несравненно сильнѣе ихъ національныхъ отличій: послѣднія носятъ порой чисто символическій характеръ.

Итакъ, націонализмъ торжествуетъ во всемъ мірѣ: въ демократіяхъ, въ фашистскихъ государствахъ и въ псевдо-коммунистической псевдо-республикѣ. Въ демократіи націонализмъ консервативенъ, являясь формой коллективной защиты интересовъ; въ фашизмѣ онъ агрессивенъ, борется не столько за интересы, сколько за чистую мощь и принимаетъ форму соціальной религіи, требующей человѣческихъ жертвъ.

Сто лѣтъ тому назадъ націонализмъ совершалъ свое побѣдное шествіе по Европѣ, и тогда его буря была оплодотворяющей и творческой. Онъ освобождалъ угнетенные народы, онъ собиралъ въ единство изъ раздробленія, онъ поднималъ цѣлину національной «земли», — изъ погребенныхъ историческихкихъ кладовъ, изъ этнографическихкихъ сокровищъ зачиная новую «романтическую» культуру, несравненно болѣе глубокую и богатую, чѣмъ рационалистическая сушь универсальнаго 18-го вѣка. За истекшее столѣтіе культурный націонализмъ въ Германіи, во Франціи, въ Италіи, повидимому, себя исчерпалъ. Всѣ національныя темы изслѣдованы, разработаны и стали давно международнымъ товаромъ. Правда національной культуры, какъ правда личной самобытности, не перестала быть правдой. Но она стала ложью въ обстановкѣ капиталистическаго и научно-позитивнаго вѣка, не знающаго духовныхъ національныхъ границъ. И теперь мы присутствуемъ при парадоксальномъ зрѣлищѣ: новыя поколѣнія, отталкиваясь съ судорожной силой отъ этого интернаціональнаго наслѣдія капиталистическаго вѣка, безсилны замѣнить его исчерпаннымъ содержаніемъ національной культуры. Национальное становится пустымъ словомъ, флагомъ-символомъ, подъ которымъ проводится старый интернаціональный товаръ, только другой марки.

Посмотрите на воинствующую молодежь всѣхъ фашистскихихъ (и «коммунистическихихъ») народовъ. За яростью, искажающей человѣческую лица, за жестами вызова, ненависти, борьбы, — какое содержаніе заполняетъ ихъ черепныя коробки? Какова картина ихъ новаго міра? Не одна ли и та же для всѣхъ? Гиганты современной техники, авіація, радіо, интернаціональный кинематографъ, вытѣснившій національный театръ, мораль казарменной дисциплины и вѣрности вождямъ, и маршировка, маршировка безъ конца... Но что можетъ быть интернаціональнѣе техники и психологій войны? Современный солдатъ — это пролетарій военной индустріи.

Хотѣлось бы отдать себѣ отчетъ въ томъ, чѣмъ отличаются другъ отъ друга образы родины, во имя которыхъ народы лютятъ утопить въ крови свое нѣкогда живое христіанское и культурное единство. Германія — это прежде всего коллективная мощь, дисциплина, экспансія въ мірѣ. Но это точь-въ-точь формула Италіи, националистической Франціи, а теперь и молодой Россіи. Ради монолитности этой мощи изъ образа Германіи исключаютъ Гете, Канта, старый идеализмъ — все, чѣмъ Германія свѣтила міру, въ чемъ было ея подлинное національное лицо. Муссолини пожелалъ исключить изъ образа Италіи

ея великое христіанское средневѣковье, ея христіанское барокко, все, что было живописнаго, неповторимо-своеобразнаго въ чарующемъ имени Италіи — для всѣхъ народовъ. Онъ оставилъ призракъ античнаго Рима, абстрактный и бездушный, въ которомъ нѣтъ (никогда не было) ни грама національной индивидуальности, — общее наследіе всѣхъ европейскихъ народовъ.

Чтобы быть справедливымъ, надо признать, что кое-что изъ великаго прошлаго привѣшивается къ безличному товару современнаго націонализма: такъ, иногда на плакатѣ народный костюмъ или даже мифологическій персонажъ служатъ средствомъ рекламы для интернаціональнаго продукта. И какъ ничтоженъ этотъ національный привѣсокъ: въ Германіи берется кое-что отъ романтиковъ, во Франціи нѣчто отъ классицизма 17-го вѣка, съ умерщвленіемъ самаго глубокаго и непосредственнаго въ выраженіяхъ національной души.

Уяснить природу современнаго націонализма легче всего на международныхъ спортивныхъ состязаніяхъ. Всѣ участники подчиняются одинаковымъ правиламъ игры. Они проходятъ одну и ту же культуру мускуловъ. Ихъ психики, какъ двѣ капли воды, походятъ другъ на друга. Они отличаются лишь нѣчтомъ одежды и сознаніемъ принадлежности къ разнымъ коллективамъ. Борьба и спортъ требуютъ, по самой сути дѣла, раздѣленія на коллективы. При достаточной страстности игроковъ, партій цирка, какъ въ Византіи, могутъ вести борьбу въ серьезъ, до крови и убійства, и все-таки за ней не будетъ стоять никакихъ другихъ мотивовъ, кромѣ страсти къ борьбѣ, какъ таковой.

Случайность рожденія бросила современнаго юношу, отвыкшаго отъ мысли, равнодушнаго къ искусству, утратившаго религію, — въ ту или иную «родину». Онъ связалъ примитивный военный идеалъ съ этимъ, а не инымъ коллективомъ. Цвѣтъ знамени — да, можетъ быть, еще языкъ — напоминаютъ ему объ этомъ. Доставить торжество своему коллективу надъ остальными, дѣной униженія — а еще лучше, уничтоженія ихъ — вотъ его дѣлъ. Нерѣдко благо своей страны отступаетъ на задній планъ передъ потребностью нанести вредъ чужой: отомстить, насытить гордость и волю къ мощи, потому что для нашего-то историческаго дня, безспорно, правъ Ничше, одинъ изъ главныхъ его пророковъ: міромъ движетъ не борьба за существованіе, а воля къ власти.

Въ такой настроенности не пугаетъ и перспектива общеніи гибели. Лучше смерть, чѣмъ торжество врага. Пусть погиб-

нетъ этотъ мѣръ, гдѣ моя страна не можетъ занять перваго мѣста. Быть можетъ, на голой землѣ, голые дикари, — мы насытимъ безъ помѣхи свою волю къ власти. Такіе голоса иногда доносятся изъ Германіи. Но наци, съ послѣдней откровенностью безумныхъ, разбалтываютъ то, что дремлетъ въ душѣ современнаго націоналиста. Не нужно обманываться его побѣдными, бодрыми маршами. Въ глубинѣ души онъ не вѣритъ въ счастливый исходъ. Его родина окружена кольцомъ враговъ. Борьба народовъ не имѣетъ ни конца, ни разрѣшенія. Какъ Самсонъ, онъ готовъ обрушить колонны невидимаго ему (слѣпо-му!) храма культуры и похоронить своихъ и чужихъ подъ развалинами.

Нельзя не обратить вниманія на то, что за послѣдніе годы всѣ самыя тяжкія и возмутительныя политическія преступленія совершались фанатиками націонализма. Отъ убійства президента Думера до убійства короля Александра, черезъ кровь Дукъ, Дольфуса, июньскую (1933) бойню въ Германіи, — всѣ политическія злодѣянія совершались «патріотами». Мы привыкли видѣть руку коммунизма за каждымъ актомъ международнаго террора. Но нѣтъ, всякій разъ передъ нами оказывается жертвоприношеніе на алтарѣ отечества. Нѣкоторыя изъ этихъ злодѣяній поражаютъ своей бессмысленностью, другія — совершенной безчеловѣчностью. Конечно, преступленія во имя идеи еще не исключаютъ цѣнности самой идеи. Звѣрства религиозныхъ войнъ и религиозный терроръ въ 16-17-омъ столѣтіяхъ еще не дискредитируютъ религіи. Но во всякомъ случаѣ они дискредитируютъ извѣстныя формы и состоянія сознанія. Они свидѣтельствуютъ о глубокой болѣзни или вырожденіи идеи.

Давно уже было сдѣлано сравненіе нашей эпохи съ Греціей пелопонезской войны. Есть много очарованія въ греческомъ полисѣ, крошечномъ городѣ-государствѣ, который, ревниво охраняя свою самостоятельность, развивалъ внутри городскихъ стѣнъ свои, личные особенности великой обще-греческой культуры. Но пришла пора, и греческій геній сталъ задыхаться въ этомъ партикуляризмѣ. Общеніе давно уже создало общегреческій *κοινων*, а полисы боролись за гегемонію до взаимнаго истребленія. Передъ Греціей всталъ выборъ: единство или смерть. Совершенно такъ же онъ стоитъ и передъ новой Европой, единой въ своей культурѣ и безнадежно разорванной политическими границами.

Еще разъ будемъ справедливы и признаемъ, что современный націонализмъ имѣетъ, по крайней мѣрѣ, одну творческую задачу: это задача социальная. Для расистской молодежи «ра-

бочая», «социалистическая» Германія — не пустая фраза. Лѣвые круги французской и английской идеалистической интеллигентии — «Esprit», «New Britain» и др. — недаромъ связываютъ социальный реформизмъ и даже революціонизмъ съ національной идеей. Во-первыхъ, если переходить отъ словъ, отъ социалистической фразеологии, къ дѣлу, то существующее національное государство является единственной данной территоріей для экономическаго строительства. Въ условіяхъ современной таможенной войны между народами и подготовки къ войнѣ военной, бессмысленно уже мечтать объ организаціи мірового хозяйства. «Соціализмъ въ одной странѣ» — единственное, что остается для практическаго политика, и планъ де-Маяна для Бельгій учитываетъ эту реальную возможность. Въ «New Britain» группа молодыхъ идеалистовъ не устаетъ твердить, что всякіе разговоры о международномъ почиѣ сейчасъ безответственны, что они приведутъ къ пассивности, къ убаживанію перспективами будущаго. Единственное, что у насъ есть — это Англія, и Англія должна начать новый экономическій экспериментъ, «вынести свой домъ», и указать дорогу другимъ.

Вотъ, по истинѣ, благородная форма національной гордости. Быть первымъ въ жертвѣ, въ трудѣ, въ опасности; вести за собой другихъ — не насиліемъ, а примѣромъ: это мечта стараго русскаго славянофильства, оживающая сейчасъ въ религиозномъ мессіаниззмѣ демократическихъ странъ. Съ послѣдней надеждой мы смотримъ на эти юныя дружины (единственный христіанскій активъ въ политическомъ мірѣ), слабыя числомъ, но сильныя духомъ. Удастся ли имъ совладать съ силами хаоса: съ эгоизмомъ собственниковъ, съ нетерпѣніемъ массъ, съ ненавистью народовъ?

Но если мы дѣлаемъ исключеніе для демократическаго мессіанскаго націонализма Запада, то окажемъ снисхожденіе и для молодого совѣтскаго націонализма. Москѣ 15-16 лѣтъ изсушающей школы марксизма, слово «родина» звучитъ, какъ голосъ изъ иного міра. Классовая этика слѣдила ненавистью, какъ песокъ въ пустынѣ. Родина — открытый въ пустынѣ родникъ. Какъ понятно, что люди, забывшіе вкусъ живой воды, пьютъ, и не могутъ напиться. Не устаютъ славить красоту, силу и величіе родины, еще не смѣя назвать ея имени. Въ этомъ возвращеніи образа Россіи ея взбунтовавшимся сынамъ есть медленная постепенность, досадная дозировка. Сперва показалась Россія красная: въ бурѣ революціи, ошестивившаяся штыками противъ всего міра (Франція времяѣ Конвента). Сегодня разрѣшено пос

пѣвать красоту родной земли въ безконечномъ разнообразіи ея пейзажей. Сталинъ, вѣроятно, полагаетъ, что это его земля, и что ея красота увеличиваетъ престижъ республики. Пусть такъ. Но я не думаю, чтобы земля была такой нейтральной, пустою вещью. Есть цѣлыя міросозерцанія, которыя просто несовмѣстимы съ духомъ земли, какъ и съ духомъ красоты вообще. Марксизмъ есть именно одно изъ такихъ міросозерцаній. Онъ не выноситъ пейзажа, какъ ночныя привидѣнія пѣнія пѣгуховъ. Всякое органическое начало жизни ему противно. Возвращаясь къ землѣ, русскій мальчикъ пьетъ изъ софійной чаши міра, и мудрость земли всгупаегъ въ борьбу съ безуміемъ осатанѣвшихъ машинъ.

Не только земля, и русская культура получила амнистию, частичную, конечно. Уже смолкають предостерегающіе голоса противъ русскихъ классиковъ. Дворянскіе писатели, Пушкинъ, Голстой, Тургеневъ должны слѣлаться учителями рабоче-крестьянской Россіи. И мы знаемъ, что новый, вчера зародившійся, пятидесятимлліонный читатель съ жаждою поглощаетъ изслѣдіе прошлаго.

Когда думаешь здѣсь о страшной чашѣ государства въ Россіи, о монополіи его «просвѣщенія», о подлѣмъ тонѣ его печати, становится страшно за душу народа. Какъ не разложиться ей въ этомъ развратѣ, составляющемъ самый воздухъ социальной жизни! Но вотъ — Пушкинъ, Толстой... Положите на одну чашку вѣсовъ страницу «Войны и Мира», одно лирическое стихотвореніе Пушкина, а на другую пуды «Извѣстій», тонны политграмоты... Нельзя сомнѣваться въ результатѣ. Никакая политическая анти-совѣтская литература не могла бы такъ успѣшно разложить основы коммунистическаго міросозерцанія. Старая, разстрѣланная, заплеванная, изгнанная русская интеллигенція можетъ сказать свое: «Нынѣ оглушащи». Побѣдители склоняются передъ ея свиньей. Еще по-прежнему запрещены историческое прошлое Россіи. Ради новыхъ московскихъ проспектовъ сносятся не только церкви, но и Китай-городъ. Но уже въ школахъ учать исторію. Въ какомъ духѣ? — Нѣтъ науки, которую можно было бы изучать съ ненавистью къ самому ея предмету, и живая любовь къ родинѣ найдетъ ее и погребенной подъ мертвыми схемами социологическихъ обобщеній.

Но наша терпимость къ молодому русскому націонализму готова идти и дальше. Быть можетъ, — кромѣ странъ Азіи Россія единственная земля, гдѣ національная идея не исчерпала своего творческаго, культурнаго содержанія. Это зависитъ

отъ уродливаго развитія этой идеи въ теченіе 19-го вѣка. Поставленная русскимъ классицизмомъ (Карамзинъ и Пушкинъ) и романтизмомъ (славянофилы), тема эта была снижена въ 60-ые годы до этнографіи, а потомъ и вовсе отодвинута въ сторону восторжествовавшимъ западничествомъ. Национализму эпохи Александра III уже не имѣлъ въ себѣ ничего культурнаго, превратившись въ апофеозъ грубой силы и коснаго быта. Лишь въ 20-омъ вѣкѣ, и то ко второму десятилѣтію его, культурная элита начинаетъ свое возвращеніе на родину. Впервые поставленъ вопросъ о формахъ и смыслѣ древне-русскаго искусства и заново, со временъ славянофиловъ, — вопросъ о русской религіозности. Война и революція оборвали въ самую началъ это духовное русское возрожденіе. Мы стоимъ опять, какъ сто лѣтъ тому назадъ, передъ загадкой Россіи, властно требующей своего разрѣшенія. То, что для Германіи совершенно поколѣнемъ братьевъ Гриммъ, у насъ осталось недоделаннымъ Кирѣевскими и Далями. Теперь, когда тема Россіи стала актуально (а не потенциально лишь) вселенской, на русскую интеллигенцію ложится сугубый долгъ изученія и осмысленія судьбы Россіи. Этимъ самымъ мы лишь наверстываемъ упущенное и въ новомъ, 20-омъ вѣкѣ, выплачиваемъ старые долги 19-го

Но если національная идея не исчерпала себя въ русской культурѣ, то въ политической жизни настоящей и будущей Россіи национализмъ представляетъ несомнѣнную національную опасность. Россія — государство народовъ. Большинство изъ нихъ впервые пробудились къ національной жизни, и ихъ малодое самолюбіе чрезвычайно шепетильно. Они и сейчасъ съ трудомъ переносятъ свою зависимость отъ Москвы. Не въ большевизмѣ только дѣло. Власть болѣе гуманная и демократическая, но ярко національная, — власть русская встрѣтится съ еще большими препятствіями на «окраинахъ». Побѣда націоналистическихъ теченій въ Велікороссіи рискуетъ просто взорвать Россію, которая не можетъ жить въ состояніи войны съ 45% своего населенія. Этой опасности не видятъ, не хотятъ видѣть національная эмиграція, которая, будучи убѣждена, что интеллигенція развалила Россію, но мѣртъ своихъ силъ работаетъ для ея расчлененія.

Для огромнаго большинства эмиграціи национализмъ до сихъ поръ былъ единственной общей формулой анти-большевистской присяги. Мы здѣсь, чтобы хранить вѣрность національной Россіи. Эти слова имѣли смыслъ, пока Россія была онагомъ интернациональной революціи. Но что теперь можетъ противопоставить эмигрантскій национализмъ советскому?

Либераль знаетъ, за что онъ отрицаетъ совѣтскую власть: за убійство свободы. Демократъ знаетъ тоже: за насиліе надъ народомъ, за поддѣлку народной воли, за подавленіе всѣхъ формъ самоуправленія. Знаетъ и социалистъ: за эксплуатацію трудящихся массъ и профанацію самаго имени социализма, сдѣланнаго вывѣской для государственной каторжной тюрьмы. Знаетъ и просто безпартийный человѣкъ съ честью и совѣстью: за то, что власть воспитываетъ въ Россіи людей безчестныхъ и безсовѣстныхъ. У человѣка религіознаго всѣ основанія противостоятъ власти, сдѣлавшей атеизмъ государственнымъ исповѣданіемъ. Ну, а за что націоналисту ненавидѣть большевиковъ въ серединѣ второй пятилѣтки?

Я утверждаю, что у эмигрантскаго націоналиста риг зацѣпѣтъ никакихъ основаній (кромѣ злопамятства) ненавидѣть большевиковъ. Его оппозиція основана на недоразумѣніи. Когда недоразумѣніе разсѣивается, вчерашній активистъ превращается въ возвращенца. По этому національному мосту прошли въ СССР смѣновѣховцы, часть евразійцевъ, проходятъ одиночки, отбившіяся отъ своихъ «частей». Давно уже красная армія стала кумиромъ зарубежныхъ націоналистовъ. Но почему ограничиваться арміей? Посмотрите на портретъ Сталина 1934 года. Типичный вахмистръ, вполне подъ стать Буденному или Ворошилову. Ни одна черта въ его лицѣ не напоминаетъ бывшаго революціонера. Изъ-за чего же споръ? Офицеры изъ прапорщиковъ военнаго времени — противъ фельдфебелей, которые заняли командныя мѣста въ новой арміи. Изъ-за этого ли борьба?

А какъ обстоитъ дѣло съ русской культурой, которую мы призваны здѣсь «хранить»? Для большинства она исчерпывается пошлымъ романсомъ и патріотическимъ лубкомъ, прошла го столѣтія. Вся пропыленная, засиженная мухами обстановкъ глухой русской провинціи, которая раньше стыдливо пряталась, теперь безстыдно выпираетъ наружу, требуетъ себѣ признація — на нашихъ публичныхъ собраніяхъ, на литературныхъ вечерахъ, на страницахъ журналовъ. Даже самыя отвѣтственные оказательства русской культуры, руководимыя интеллигенціей, свидѣтельствуютъ о страшномъ упадкѣ вкуса, о несомнѣнной деградации. «Дни русской культуры» и другія предпріятія того же рода даютъ образцы второго и даже третьяго сорта. Подлинно-творческая работа немногихъ — не по «храненію», а по движенію русской культуры — протекаетъ среди всеобщаго равнодушія. Спускаясь еще ниже, мы встрѣчаемся съ прямой культурофобіей. Одни ненавидятъ культуру, какъ созда-

ние интеллигенции — политического врага. Другие — масса молодежи — убеждены, что Россия потребует от них экзамена в воинском строе, а не в знании Пушкина.

В России уровень культуры, вѣроятно, еще ниже. Но тамъ какая духовная жажда и голодъ у массъ, впервые дорвавшихся до книги! Изъ-за классового презрѣнія къ интеллигенции, творившей культуру, все сильнѣе пробивается уваженіе къ ней, борющейся за народное освобожденіе. Вотъ и оказывается, что эмигрантская националистическая молодежь равняется не по народнымъ массамъ въ Россіи, а по ея военно-политическимъ командирамъ.

Одно изъ самыхъ тягостныхъ недоразумѣній эмигрантской «культуры» это донинѣ не разорванная связь между военнымъ национализмомъ и Церковью. Если въ старой Россіи Церковь была связана съ государствомъ, то въ русскомъ бѣженствѣ она оказалась связанной съ однимъ изъ элементовъ государства: арміей. Отступившая и перешедшая на мирное положеніе армія продолжаетъ смотрѣть на священниковъ и даже на епископовъ какъ на своихъ «капеллановъ», обслуживающихъ военно-походныя нужды. Этотъ новый социальный заказъ сказался въ тенденціи къ милитаризаціи Церкви. Молодежь энергично настаиваетъ на освященіи Церковью своего боевого активизма. Отсюда конфликты съ духовно-мистическимъ и социально-культурнымъ направленіями въ церковномъ обществѣ, — конфликты особенно драматическіе въ христіанскихъ организаціяхъ молодежи.

Но эта тема пріобрѣтаетъ всю свою остроту и болѣзненность въ свѣтѣ исторической традиціи русской православия. Въ Россіи Церковь нѣкогда строила государство, и въ теченіе нѣкогда жила въ религиозно-національной атмосферѣ «святой Руси», какъ средоточія и хранилища православия. Ослабленность вселенской связи — даже съ восточными Церквями — при крайней связанности съ государствомъ, дѣлала русскую Церковь однимъ изъ самыхъ національныхъ организмовъ въ христіанствѣ. Я даже думаю, что самая формулировка религиозно-національной идеи, чуждая древней и греческой Церкви, совершилась на русской почвѣ. Это нѣкогда великое открытіе «новыхъ» кievскихъ христіанъ — религиозной цѣнности соборныхъ личностей, народовъ, со временемъ легло тяжкимъ бременемъ на выносившую его русскую Церковь: впервые въ Москвѣ 16-17-го столѣтій, приведя къ отрыву отъ вселенской христіанской жизни и окостенѣнію всего стиля жизни; вторично въ 19-омъ вѣкѣ, заглушая самоинѣніемъ и самодоволь-

ствомъ ростки новой жизни, пробивающіеся со времянь перваго славянофильства.

Правда заключается въ томъ, что національная идея, по происхожденію языческая, получила христіанское крещеніе — доволно позднее, — въ свѣтъ ученія о соборной личности. Съ этого момента она входитъ существеннымъ ингредиентомъ въ синтезъ христіанской культуры. Однако необходимымъ условіемъ ея нормальной жизни является ея соподчиненность другимъ великимъ идеямъ, образующимъ полноту Истины. Вселенское принадлежитъ къ болѣе глубокому и первичному слову въ христіанствѣ, нежели національное. Церковь Христова родилась какъ вселенская, и жива лишь тамъ, гдѣ вселенское сознаніе не заглохло.

Въ наше время въ извѣстныхъ кругахъ стало триизмомъ утвержденіе, что христіанство, по природѣ, противно интернаціонализму, но что оно, по природѣ же, освящаетъ національность. Отсюда прямо выводится, что въ борьбѣ интернаціонализма съ націонализмомъ, которая происходитъ въ мірѣ, мѣсто христіанства заранѣе указано въ національномъ станѣ. Это положеніе принадлежитъ къ числу полуистинъ, которыя также можно назвать и полужолю. Справедливо, что интернаціонализмъ, понимаемый какъ механическій сплавъ потерявшихъ свой духовный обликъ народовъ, противенъ персоналистической природѣ христіанства. Но столь же справедливо, что націонализмъ, возставшій противъ вселенскаго единства во имя обособленнаго эгоизма частей, не имѣетъ ничего общаго съ христіанской идеей челоуѣчества. Если отрицать, то надо отрицать оба начала — интернаціонализмъ и націонализмъ одинаково, утверждая одновременно народность и вселенскость. Пусть ужъ русскія с... а останутся за христіанскими понятіями, а иностранныя несуть одіозное клеймо: *marca diaboli*.

Национализмъ сегодня, какъ коммунизмъ вчера, сдѣлался однимъ изъ самыхъ яркихъ выраженій сатанинскихъ силъ, господствующихъ въ мірѣ. Удивляться ли этому, если вспомнить судьбу коммунистической идеи? Коммунизмъ, т. е. общеніе, братство любви, съ нераздѣльнымъ владѣніемъ — «никто ничего не называлъ своимъ» — родился вмѣстѣ съ христіанствомъ: это идеалъ жизни первоначальной христіанской общины (Дѣян. IV, 32). Онъ остается идеаломъ для совершеннаго христіанина — въ монашествѣ. Но что изъ него сдѣлалъ механизмъ безбожнаго вѣка? Национализмъ, гораздо слабѣе укорененный въ христіанствѣ, чѣмъ коммунизмъ, вырождается еще съ большей легкостью. Та же судьба постигаетъ всѣ, самыя вы-

сокія цѣнности, когда онѣ отрываются отъ животворящаго Центра жизни. Наука вырождается въ позитивизмъ, искусство въ эстетизмъ, и, замыкаясь въ себя, становятся прибѣжищемъ демоническихъ силъ. Наша эпоха, поскольку это эпоха распада, порождаетъ жестокий вампиризмъ возставшихъ на Бога идей-ангеловъ.

Впрочемъ, открытый бунтъ не послѣднее зло: хуже предательство изнутри. Атеизмъ все-таки честнѣе корыстной эксплуатаціи имени Божія. Въ порядкѣ адской іерархіи націонализму выпала эта горшая судьба. Князья міра сего пытаются скрѣпить его религіознымъ цементомъ, учитывая практическую полезность тысячелѣтняго матеріала. Такъ въ средневѣковомъ Римѣ пережидали на известъ мраморъ руинъ. Всуе поминаемое имя Божіе не изгоняетъ демоновъ; безбожная суть остается. Возрастаетъ лишь соблазнъ для слабыхъ духомъ, увлекаемыхъ видимостью благочестія и мнимымъ традиционализмомъ на пути и тропинки, запретные для христіанина.

Каково же должно быть наше практическое отношеніе къ націонализму, разливающемуся въ массахъ эмигрантской молодежи? Борьба, которую надо вести съ нимъ, не можетъ быть борьбой на истребленіе. Это борьба-воспитаніе, просвѣтленіе, облагороженіе. Мы были бы преступниками, если бы въ борьбѣ съ коммунизмомъ пытались задушить самую идею общенія, солидарности, безклассоваго общества. Столь же нелѣпо было бы пытаться истребить идею націи, любовь къ Россіи, исканіе національнаго призванія. Отдадимъ должное тѣмъ русскимъ юношамъ и дѣвушкамъ, которые устояли передъ соблазномъ легкаго растворенія въ окружающемъ иноземномъ мірѣ и выбрали трудный путь изгнанничества, нужды и борьбы. Горе ихъ въ томъ, что они не знаютъ Россію. Безсильные представить себѣ ея мучительно-прекрасное, трагическое лицо, они подмѣняютъ ее, какъ это дѣлаютъ иностранцы, дебелией бабой въ ярскомъ костюмѣ. И чтобы найти путь къ ней, къ этой заколдованной красавицѣ, они выбираютъ въ вожди Гитлера и Муссолини, довѣряясь имъ больше, чѣмъ Хомякову и Достоевскому. Ну, что-жъ! Намъ приходится разоблачать обманъ. Неустанно, черта за чертой возстановливать сложный ликъ Россіи изъ множества противорѣчивыхъ ея отраженій. И доказывать, что эта работа возсозданія распавшагося образа Россіи есть единственное, чего Россія ждетъ отъ своихъ изгнанныхъ дѣтей. Мы можемъ спокойно предоставить Красной Арміи заботу объ охранѣ русскихъ рубежей, а комсомольцамъ и пионерамъ игровую солдатки. Понять, что политика здѣсь намъ еще не дана, какъ

непосредственное народное дѣло, но лишь какъ предметъ изученія, подготовки, воспитанія. А главное, главное — что можетъ быть выполнено здѣсь, а не тамъ, это поднять упавшую русскую культуру. Ибо въ этой сферѣ познаніе есть творчество. Национальное самосознаніе Россіи есть въ то же время и воскрешеніе ея къ духовной національной жизни. И вотъ, углубляясь въ этотъ огромный духовный міръ, называемый Россіей, мы поймемъ, какъ нелѣпы и даже кошунственны сусальные краски для описанія его и фашистскіе приемы для овладѣнія имъ. Россія сама насъ научитъ своей мудрости: тому, что родное и вселенское не два, а одно, и что народъ тогда всего вѣрнѣе выполняетъ свое призваніе и достигаетъ подлиннаго величія, когда отвергается себя и отдаетъ себя на служеніе Христу, какъ вѣчной Правдѣ.

Г. Федотовъ.

ОПЕЧАТКИ.

На 413 стр., 3-ья строка снизу и на 414 стр., 14-ая строка сверху, подлежат исправленію вкравшіяся, искажающія смыслъ, опечатки.

Въ обоихъ случаяхъ вмѣсто слова **капитализмъ** должно стоять **коммунизмъ**.

Коммунизмъ и Націонализмъ

(По поводу статьи Г. П. Федотова)

Читатели съ несомнѣннымъ интересомъ прочтутъ помѣщенную выше статью «Новый идолъ», яркую, какъ почти все, что выходитъ изъ-подъ талантливаго пера Г. П. Федотова. «Идолъ», ложность котораго избличаетъ авторъ, это — «націонализмъ», «одна изъ самыхъ страшныхъ, сатанинскихъ силъ, господствующихъ въ мірѣ».

Статья Г. П. Федотова затрагиваетъ — не столь по основной своей темѣ, сколь попутно — весьма острыя и для эмигрантскаго сознанія важныя проблемы. Мы убѣждены, что авторъ не постыуетъ на насъ, если въ неполемической репликѣ мы позволимся здѣсь возбуждаемыми у насъ его статьей сомнѣніями.

Мы согласны съ авторомъ во многомъ изъ того, что онъ говорить о злѣ «націонализма». Правда, самый терминъ этотъ въ его русскомъ словоупотребленіи далеко не односмысленъ, онъ не всегда обозначаетъ дурное извращеніе національнаго сознанія, — неларомъ у насъ еще время отъ времени лишутся статьи на тему «объ истинномъ и ложномъ націонализмѣ». Терминъ «націонализмъ», какъ онъ принятъ въ русской публицистикѣ, недостаточно учитываетъ необходимость этого смыслового различенія: покрывая нерѣдко однимъ именемъ явленія существенно отличныя, онъ способствуетъ смѣшенію понятій, и тѣмъ самымъ вредитъ отчетливости мысли. Этотъ недостатокъ мы готовы видѣть и въ статьѣ Г. П. Федотова. Быть можетъ, ему слѣдовало бы болѣе четко провести различіе между справедливо осуждаемымъ имъ «націонализмомъ» и тѣмъ естественнымъ, здоровымъ и законнымъ національнымъ чувствомъ, положительная цѣнность котораго не подлежитъ спору. Тогда, въ частности, и его жестокое обвиненіе по адресу эмигрантской молодежи, будто бы въ массѣ охваченной націонализмомъ, не носило бы такого огульнаго характера.

Какъ бы то ни было, но въ отрицательномъ отношеніи къ націонализму зоологическому, расовому, воинствующему, одинаково враждебному и праву личности и единству человечества, — у насъ разномыслія съ Г. П. Федотовымъ нѣтъ. И казалось бы, при согласіи съ авторомъ въ самомъ главномъ, неважно, что мы расходимся съ нимъ въ частностяхъ, въ побочныхъ, какъ будто бы не имѣющихъ отношенія къ главной темѣ разсужденій. Но — странная вещь: въ ходѣ размышленій Г. П. Федотова частныя съ нимъ расхожденія, неодинаковое у насъ воспріятіе совѣтской дѣйствительности, приобретають для насъ столь существенное значеніе, что заставляютъ въ концѣ концовъ усумниться, да существуетъ ли между нами дѣйствительное согласіе и въ основномъ.

Врядъ ли это ощущеніе случайно. Мысли Г. П. Федотова, естественно, связаны съ кругомъ идей, проводимыхъ въ редактируемомъ при его участіи «Новомъ Градѣ». Въ комплексѣ же идей «Н. Г.», въ общемъ близкихъ ницшеуму эти строки, имѣется одинъ всегда рѣзко раздѣляющій насъ пунктъ — некритически сочувственное отношеніе журнала къ многому изъ того, что совершается при совѣтскомъ режимѣ въ Россіи. Это — частности, отнюдь не вытекающая органически изъ правильной въ общемъ міросозерцательной установки «Н. Г.», и однако не эта послѣдняя, а какъ разъ наоборотъ, какъ бы случайныя «пореволюціонныя» настроенія опредѣляютъ собою характерный обликъ журнала.

Раньше такія настроенія выражались въ плѣненности необычайными социальными-экономическими достижениями совѣтскаго режима. Съ теченіемъ времени эта тема въ «Новомъ Градѣ» какъ то поблѣкла и отошла на задній планъ, отчего, кстати, журналъ, съ нашей точки зрѣнія, отнюдь не потерялъ въ интересѣ и духовной значительности. Сейчасъ, если судить по напечатанной у насъ въ «С. З.» послѣдней по времени статьѣ Г. П. Федотова, «пореволюціонная» мысль среѣи проблемъ совѣтской Россіи сосредоточилась на темѣ, не менѣе спорной: на происходящемъ будто бы теперь быстромъ перерожденіи совѣтской власти изъ коммунистической въ национальную россійскую.

Статья Г. П. Федотова — передъ глазами читателей «С. З.» и намъ нѣтъ надобности ее излагать. Укажемъ здѣсь лишь тѣ положенія, о роли совѣтской власти въ существованіи мірового капитализма и въ судьбахъ Россіи, которыя представляются намъ наиболее спорными.

Коммунизмъ, еще вчера грозившій гибелью культур-

ному міру, — сегодня повсюду разгромленъ или внутренне выдохся. Въ половинѣ Европы онъ задушенъ безошадно и окончательно, въ другихъ странахъ онъ ослабленъ трошкнстскимъ расколомъ, во Франціи онъ «присмирѣлъ, мечтаетъ о возвращеніи въ лоно социалистической партіи, выставляетъ умѣреннѣйшую парламентскую программу» и т. д. Въ итогѣ, коммунизмъ въ міровомъ масштабѣ больше не существуетъ, онъ — мертвъ. Если бы міровому коммунизму и удалось еще поднять голову, вслѣдствіе ли дрящагося капиталистическаго хаоса или въ результатѣ новой міровой войны, то во всякомъ случаѣ онъ больше не будетъ никогда зависѣть отъ Москвы и идейнаго наслѣдія Ленина.

Отмѣтимъ мимоходомъ, что вѣра Г. П. Федотова въ обреченность мірового капитализма намъ представляется чрезмѣрно оптимистической. Болѣзнь, находящая себѣ въ немъ выраженіе, не излечена и не лечится радикально тамъ, гдѣ она загнана внутрь. Впрочемъ, авторъ самъ уничтожаетъ значеніе своего прогноза, обуславливая его прекращеніемъ «капиталистическаго хаоса». Но хозяйственный хаосъ, въ которомъ лишь отчасти повинна капиталистическая система, а вмѣстѣ съ тѣмъ и социальное броженіе во всемъ мірѣ обезпечены человечеству надолго, не на одно поколѣніе во всякомъ случаѣ. И почему, въ такомъ случаѣ, Москва въ впредь не играть роли если и не руководящаго организационнаго центра, то во всякомъ случаѣ центра идейнаго, красной Мекки, носительницы социальнаго мифа, сосредоточивающей въ себѣ, какъ въ фокусѣ, движенія недовольства во всемъ мірѣ? — Это болѣе невозможно, отвѣчаетъ Г. П. Федотовъ.

Ибо, одновременно съ разложеніемъ коммунизма во всемъ мірѣ, въ Россіи происходитъ процессъ знаменательный: тамъ «побѣждаетъ національная идея». Большевики «похоронили окончательно мечту о міровой революціи», они «прекратили свою поддержку коммунистамъ Европы». И эта перемена у большевиковъ, можно сказать, не за страхъ, а за совѣсть: «политика и идеологія самихъ совѣтовъ вступила въ фазу острейшей национализации». Это и не удивительно — самъ Сталинъ «никогда не былъ интернационалистомъ по своей природѣ», теперь же коммунистическій интернационализмъ для него то же самое, что православіе для императорской дипломатіи, — «необходимый декорумъ для защиты национальныхъ интересовъ»: Сталинъ, измѣняя себѣ, превращается въ вульгарнаго национали-

ста. Настоящее имя для строя СССР это — фашизмъ или, если угодно, националь-соціализмъ.

Таковъ новый аспектъ, въ которомъ представляется теперь «пореволюціонному» сознанію провиденціальная роль совѣтской власти. Вновь, впрочемъ, онъ только въ писаніяхъ даннаго автора, кажется. Полгода тому назадъ эти мысли можно было, почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, найти въ статьѣ «Многобожіе и націонализмъ» — во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ превосходной — у Н. А. Бердяева*). Вообще же мифъ о национально-имперіалистической миссиі совѣтской власти имѣть по крайней мѣрѣ пятнадцатилѣтнюю давность. Напрасно честь его изобрѣтенія Г. П. Федотовъ такъ легко уступаетъ «даляновиднымъ европейцамъ», — авторство легенды, какъ извѣстно, безраздѣльно принадлежитъ нашему соотечественнику, проф. Н. Устрялову. «Интернациональ-ли нечестивыми звуками оскверняетъ Спасскія Ворота, или Спасскія Ворота кремлевскимъ вѣніемъ вкладываютъ новый смыслъ въ интернациональ?» — ставилъ вопросъ, еще въ 1920 г., Устряловъ (въ сборникѣ «Въ борьбѣ за Россію», позже въ «Смѣнѣ Вѣхъ»), и отвѣчалъ, что большевики стали имперіалистами «едва ли не въ большей степени, чѣмъ самъ П. Н. Милюковъ».

Указываемъ на этотъ первоисточникъ отнюдь не въ укоръ Г. П. Федотову, тѣмъ болѣе, что и совпаденіе его съ Устряловымъ — въ признаніи лишь самаго факта происходящей будто бы націонализациі совѣтской политики, но не въ одинаковомъ отношеніи къ нему: въ то время, какъ націоналистъ Устряловъ готовъ отъ души привѣтствовать «имперіализмъ» совѣтской власти, антинационалистъ Г. П. Федотовъ этотъ «имперіализмъ», хотя и съ оговорками, все же осуждаетъ. Къ тому же, почему бы не допустить, что въ писаніяхъ Устрялова, наряду съ заблужденіями, могла быть какая-то доля очень горькой правды. Мы только вправѣ требовать, чтобы при очевидности непрерывно вотъ ужъ столько лѣтъ производимаго большевиками разгрома національной Россіи, вся тяжесть доказательства происходящей будто бы въ правящихъ совѣтскихъ кругахъ «побѣды національной идеи» лежала на тѣхъ, кто этотъ тезисъ утверждаетъ.

*) «Путь», № 43. «Коммунистическій интернационализмъ въ Россіи очень легко обобщается совѣтскимъ имперіализмомъ и это даже уже происходитъ... Сталинизмъ почти уже не отличается отъ фашизма... За призывомъ совершить планетарную социальную революцію скрытъ русский мессіаниззмъ».

Напрасно однако было бы искать у Г. П. Федотова такихъ доказательствъ. Слѣдуя укоренившемуся въ «пореволюціонной» публицистикѣ удобному методу, онъ ограничивается лишь интуитивными прозрѣніями и чистыми «утвержденіями», не обременяя себя заботой подкрѣпить ихъ ссылкой на безспорные факты, достовѣрные свидѣтельства. Дѣйствительная жизнь стилизуется подъ апіорную схему. Не отвѣчаетъ прежде всего дѣйствительности представленіе, будто измѣнилась по существу, а не по внѣшности только, международная политика большевиковъ.

Въ связи съ обозначившейся угрозой на Дальнемъ Востока и съ приходомъ къ власти въ Германіи Гитлера, большевики (и они ли одни?) дѣйствительно радикальнымъ образомъ перемѣнили свою оріентацію и тактику въ международныхъ отношеніяхъ, вошли въ Лигу Націй, сблизились съ Франціей и т. п. Все это, съ точки зрѣнія собственныхъ интересовъ большевиковъ, совершенно понятно, логично, разумно; косвенно, быть можетъ, небезвыгодно и для Россіи въ ея теперешнемъ печальномъ положеніи. Но откуда слѣдуетъ, что большевики при этомъ дѣйствуютъ въ безкрыстной заботѣ о національномъ интересѣ Россіи, что они въ самомъ дѣлѣ окончательно отказались отъ расчета на міровую революцію, всерьезъ прекратили всякую поддержку иностранныхъ коммунистическихъ партій? Гдѣ гарантіи, что въ случаѣ рѣзкой перемѣны международной обстановки совѣтская власть въ 24 часа не измѣнитъ и оріентацію свою и тактику, а при серьезныхъ шансахъ на выгодную для нея революцію въ Европѣ задумается мобилизовать любую изъ сохраняемыхъ ею повсюду про запасъ зависящихъ отъ нея коммунистическихъ партій*).

Не убѣдительно, въ частности, и ссылка Г. П. Федотова на окончательное будто бы разложеніе коммунизма во Франціи. Французская коммунистическая партія, входящая въ москов-

*) Что такое представленіе о совѣтской политикѣ вовсе не есть плодъ эмигрантскаго озлобленнаго воображенія, доказываютъ свидѣтельства лицъ, прѣзжающихъ изъ самой Россіи. Обращаемъ вниманіе Г. П. Федотова на показанія недавно бѣжавшаго изъ Россіи И. Солоневича, печатающаго сейчасъ свои интересные очерки въ «Посл. Новостяхъ»: «Совѣтская власть ставитъ своею цѣлью міровую революцію. Въ виду того, что надежды на близкое достиженіе этой цѣли рухнули, страна должна быть превращена въ моральный, политическій и военный плацдармъ, который сохранилъ бы до удобнаго момента революціонные кадры, революціонный опытъ и революціонную армію».

ский Коминтернъ, дѣйствительно оказалась въ щекогливомъ положеніи въ виду официального соглашенія ея московскихъ хозяевъ съ французскимъ «фашистскимъ» правительствомъ. Она, однако, подъ талантливымъ руководствомъ Москвы, отлично сумѣла использовать съ выгодой для себя даже это свое парадоксальное положеніе. Коммунисты, вовлѣвши французскую социалистическую партію въ самоубійственный для этой послѣдней шивическій «единый фронтъ», морально усилились за счетъ скомпрометированной ими и разложенной соц. партіи. И это Г. П. Федотовъ изображаетъ какъ тягу «выдохшихся» французскихъ коммунистовъ къ возвращенію въ лоно социалистической партіи и къ методамъ умѣренного парламентаризма.

Но въ сферѣ отношеній международныхъ дѣйствія совѣтской власти еще могутъ временами принимать видимость политики національной. По отношенію къ внѣшнему міру интересы собственного самосохраненія, желаніе удержать выгодный «плацдармъ» въ ожиданіи міровой катастрофы могутъ иногда быть связаны для большевиковъ съ необходимостью защищать независимость и территоріальную неприкосновенность Россіи. Совѣтъ иное дѣло политика внутренняго. Уже вовсе въ полномъ противорѣчій съ дѣйствительностью оказываются «пореволюціонеры», когда, вопреки очевидности, усматриваютъ «побѣду національной идеи» и въ области внутреннихъ взаимоотношеній совѣтскаго правительства съ собственнымъ народомъ.

Одно время, въ эпоху Земельнаго Кодекса 1922 г. и Нэпа, примиреніе и сотрудничество народа съ властью казались возможными. Эту возможность, открывавшую перспективы мирнаго возрожденія Россіи отвергли сами большевики. Съ упорчивымъ диктатурой того самаго Сталина, котораго теперь Г. П. Федотовъ изображаетъ добрымъ русскимъ націоналистомъ, съ началомъ гибельной «генеральной» линіи, власть вступила въ открытую войну съ русскимъ народомъ, неуклонно продолжаетъ ее и по сей день.

Иначе и быть не могло, поскольку большевики, какъ мы въ томъ убѣждены, въ основѣ остаются вѣрны своей идеологій. Опасны всякія на этотъ счетъ иллюзіи. Открытіе Г. П. Федотова, что Сталинъ «никогда не былъ интернационалистомъ», цѣликомъ остается на отвѣтственности автора. Безъ одержимости идеей хотя бы и безумной, положительно необъяснима способность большевиковъ идти на величайшія, неслыханныя въ исторіи челоуѣчества преступленія, хладнокровно обрекать въ жертву милліоны жизней, разрушать матеріальныя и духов-

ныя основы бытія Россіи. Только будучи во власти мистики избранныя класса можно сознательно разрушать живое единство русскаго народа, жертвовать исторической Россіей изъ-за миража пролетарской интернаціональной республики. Нельзя большевиковъ представлять себѣ сплошнымъ сборищемъ онихъ только изверговъ и проходимцевъ, — сила коммунистической партіи въ ея какомъ-то все же идейномъ костякѣ. Но тѣмъ болѣе страшную опасность представляютъ собою московскіе коммунисты и для Россіи и для человѣчества: честные изувѣры и безумцы всегда во много разъ опаснѣе вульгарныхъ преступниковъ.

Совершенно очевидно, что, стоя обѣими ногами на почвѣ классовой борьбы и межклассовой ненависти, съ успѣхомъ можно вести только перманентную гражданскую войну въ странѣ, но никакъ не строить національное государство. Такая непрерывная гражданская война въ Сов. Россіи и происходитъ *) и можетъ окончиться она только съ окончательной гибелью одной изъ сторонъ. Результаты — слишкомъ извѣстны, они менѣе всего свидѣтельствуютъ о національномъ созидательномъ геніи у большевиковъ. И дѣло не только въ милліонахъ людей, умеренныхъ голодомъ и замученныхъ на каторжныхъ работахъ, въ уничтоженіи колоссальныхъ матеріальныхъ цѣнностей и безсмысленномъ расточеніи народнаго труда, въ обнищаніи массъ, во всеобщемъ рабствѣ: знаменательно, съ какою особой яростью разрушаютъ большевики все то, въ чемъ прсвлялись въ историческомъ прошломъ подлинно-національныя черты матеріальнаго быта и духовнаго облика русскаго народа, будь то своеобразие крестьянскаго земельного уклада, внутренняя полнота русской литературы или религіозная жизнь православія. Подъ запретомъ самое имя Россіи, уничтожены историческая наука и преподаваніе исторіи и даже художественные историческіе памятники, свидѣтельствующіе о прошломъ, подъ благовиднымъ предлогомъ стираются съ лица земли. Голое поле для бездушнаго марксистскаго эксперимента, на мѣ-

*) Еще одно свидѣтельство И. Солоневича, только что оставившаго совѣтскую Россію. «Два чудовищныя силы сцепились другъ съ другомъ въ объѣмку, въ безпримѣрной по своей напряженности и трагичности борьбѣ... Люди не хотятъ становиться на службу міровой революціи и не хотятъ отдавать этой цѣли своего достоинства и своихъ жизней. Власть сильнѣе «людей», но «людей» больше. Водораздѣлъ между властью и «людьми» проведенъ съ такой рѣзкостью, съ какой это обычно бываетъ въ эпохи иноземнаго завоеванія».

ствѣ вѣками воздвигавшагося культурно-историческаго зданія національной Россіи — таковъ осуществляемый большевиками идеалъ.

Знаемъ, что нарисованная нами мрачная картина внутренняго состоянія Россіи не убѣдитъ Г. П. Федотова, — мы давно съ нимъ расходимся въ оцѣнкѣ происходящихъ въ совѣтской Россіи процессовъ. Но въ одномъ, увѣрены, расхожденія между нами нѣтъ и оно какъ будто невозможно: въ признаніи невыносимо тяжелаго, истинно трагическаго положенія русскаго народа подъ террористическимъ совѣтскимъ режимомъ. При такихъ условіяхъ слова о «національной» ориентаціи политики власти должны быть особенно звѣрены, чтобы не прозвучать невольнымъ издѣвательствомъ надъ ея жертвами. На чемъ же основано утвержденіе о «побѣдѣ національной идеи» во внутренней политикѣ совѣтской власти?

Доказательства Г. П. Федотова, на нашъ взглядъ, не только не подкрѣпляютъ рискованнаго тезиса, но лишь яснѣе обнаруживаютъ его несостоятельность. Нельзя же въ серьезъ видѣть доказательство національнаго перерожденія совѣтской власти въ фактъ, что, очевидно въ связи съ угрозой на Дальнемъ Востокѣ, въ одинъ прекрасный день всѣ совѣтскія газеты вдругъ какъ по командѣ вспомнили о существованіи въ русскомъ языкѣ слова «родина». Усмотрѣть въ этомъ чуть ли не историческое событіе — по меньшей мѣрѣ странно. Газеты, вспоминая о родинѣ, такъ же внезапно, по внушенію сверху, о ней и забудутъ, по минованіи надобности. Такъ было — во время войны съ поляками въ 1920 г., такъ будетъ — всегда, когда большевики попадутъ въ трудное положеніе. Мы не раздѣляемъ подъема, переживаемаго по этому поводу Г. П. Федотовымъ и, признаться, скорѣе съ чувствомъ досады читаемъ его лирическія строки: «вещь неслыханная, невозможная вчера: въ СССР родина объявлена священнымъ словомъ... оно звучитъ, какъ голосъ изъ иного міра... Родина — открытый въ пустынѣ родникъ; какъ понятно, что люди, забывшіе вкусъ живой воды, пьютъ и не могутъ напиться» и т. д., и т. д. *).

*) Въ вышедшемъ на дняхъ національ-бolshevikскомъ журнальчикѣ «Завтра», тоже причисляюшемъ себя къ «революционному сектору эмиграціи» вмѣстѣ съ устряловцами, младороссами, новоградскими и др., — обращаетъ на себя вниманіе совпаденіе во многомъ съ темой и выводами статьи Г. П. Федотова, при крайне низкомъ уровнѣ писаній. Идетъ сплошной словесный трезвонъ по поводу того, что «Влады Революціи, Сталинъ, призываетъ гражданъ къ защитѣ

Не меньшее недоумѣніе вызываетъ у насъ и энтузіазмъ, который, повидимому, испытываетъ Г. П. Федотовъ по поводу самыхъ ничтожныхъ и случайныхъ послабленій совѣтской власти на культурномъ фронтѣ. «Русская культура получила амнистію... Старая, разстрѣлянная, заплеванная, изгнанная русская интеллигенція можетъ сказать свое «Иныѣ отпушаеши»: побѣдители склоняются передъ ея святыней». Право, не зная въ чемъ дѣло, можно подумать, что большевики если еще и не даровали свободу печатнаго слова, то по крайней мѣрѣ возстановили университетскую автономію. На самомъ дѣлѣ — они всего лишь, какъ етъ ся, собираются, быть можетъ временно, нѣсколько либеральнѣе разрѣшить перепечатку русскихъ классиковъ. Да и то ренегатъ Д. Заславскій можетъ публично кричать «слово и дѣло» по поводу того, что разрѣшено переиздание неудобнаго ему романа Достоевскаго.

Воистину, надо быть очень, очень мало требовательнымъ, чтобы на мрачномъ фонѣ продолжающагося разгрома Россіи въ разрѣшеніи склонять во всѣхъ падежахъ слово «родина», да въ возможности легально читать Пушкина увидѣть зорю новаго дня, «побѣду національной идеи» въ сов. Россіи.

Мы не можемъ, лишь мимоходомъ, входить въ разсмотрѣніе по существу очень важной проблемы, поднятой въ статьѣ Г. П. Федотова, о судьбѣ «націонализма» въ Европѣ. Ограничимся только самыми бѣглыми замѣчаніями.

Врядъ ли правъ Г. П. Федотовъ, утверждая, что націонализмъ, являвшійся въ Европѣ творчески оплодотворяющей силой въ прошломъ вѣкѣ, къ настоящему времени духовно себя исчерпалъ (авторъ дѣлаетъ лестное исключеніе лишь для близкихъ ему по духу, незначительныхъ количественно и по своему удѣльному вѣсу, интеллигентскихъ теченій во Франціи и Англіи). Здѣсь мы имѣемъ дѣло, повидимому, съ той досадной неясностью въ употребленіи термина, о которой мы говорили въ началѣ. Надо договориться, въ чемъ дѣло.

Или націонализмъ — это лишь болѣе краткій синонимъ для обозначенія комплекса здоровыхъ національныхъ чувствъ, сознанія, устремленія воли, и тогда онъ никогда не можетъ

отечества... слово родина не сходитъ со столбовъ печати... Н.-большевики не знаютъ мѣры въ восторгѣхъ по случаю этого «событія»: «Россійская Революція стихійно націонализируется... напоръ вѣшнихъ водъ прорвалъ всѣ заградительныя приспособленія... Черезъ шлюзы хлынулъ уже несдерживаемый ничѣмъ патріотическій потокъ» и т. д., и т. д.

утратить своего положительнаго значенія въ жизни человѣчества. Быть можетъ, въ наступившихъ во всемъ мѣрѣ трудныхъ условіяхъ борьбы за существованіе значеніе національной ступочности только возрастаетъ. Или же націонализмъ есть понятіе, исключительно означающее только болѣзненную деформацию національнаго духа, которую, вѣроятно, было бы правильно называть особымъ именемъ, напр., шовинизмомъ. Такой чисто отрицательный націонализмъ — несомнѣнное зло, но быть имъ всегда и, слѣдовательно, не могъ и въ прошломъ играть положительную творческую роль.

Осторожное пользованіе односмысленнымъ терминомъ устранило бы чисто словесныя разногласія въ спорѣ о роли современнаго націонализма. Но еще важнѣе не упускать изъ виду, что въ исторической жизни народовъ не бываетъ воплощенія въ чистомъ видѣ ни идеальнаго добра — абсолютно гармоническаго національнаго сознанія, ни кромѣшнаго зла — «сатанинскаго» его перерожденія. Въ реальной дѣйствительности непремѣнно дано только ихъ сочетаніе въ той или иной мѣрѣ. Любая степень искаженія національнаго духа предполагаетъ все же первоначальную наличность самой національной стихіи. Всѣ, вплоть до самыхъ изувѣрскихъ и отвратительныхъ изъ существующихъ сейчасъ въ Европѣ националистическихъ режимовъ, возможны только потому, что какими-то сложными и загадочными, иногда совершенно непостижимыми для посторонняго наблюдателя путями связаны съ національной стихіей изродныхъ массъ.

И въ этомъ — то ихъ относительное преимущество, та низшая степень въ іерархіи зла по сравненію съ коммунизмомъ, которыхъ, повидимому, не хочетъ видѣть Г. П. Федотовъ. Если «национализмъ» (шовинизмъ), являясь несомнѣнной болѣзненно національнаго духа, все же какимъ-то образомъ связанъ въ послѣднемъ счетѣ съ народамъ, какъ конкретнымъ единствомъ, то интернационализмъ (коммунизмъ) уходитъ своими корнями въ «классъ», искусственно абстрагированную отъ реального единства часть, внѣ этого единства не имѣющую собственного бытія.

Съ этой точки зрѣнія «националистическое» перерожденіе совѣтской власти, какъ бы оно ни чуждо нашему демократическому сознанію, было бы все же меньшимъ зломъ по сравненію со зломъ существующимъ, т. е. могло бы считаться относительно меньшимъ шагомъ впередъ. Возможно ли однако такое перерожденіе?

Теоретически, на протяженіи какого-то болѣе длительна-

го историческаго періода, такую перспективу нельзя считать вовсе исключенной, — почему бы и не быть русскому Термидору? Но наблюдая все то, что происходитъ въ Россіи за послѣдніе годы, довѣряя только фактамъ и дѣйствіямъ, а не словамъ и благимъ пожеланіямъ, — мы со всей категоричностью утверждаемъ: до тѣхъ поръ, пока Россіей будетъ править тотъ большевизмъ, который въ партіи персонифицируется Сталинымъ, пока сущность политики совѣтской власти во всѣхъ областяхъ матеріальной и духовной жизни народа опредѣляется безумной и бездушной «генеральной линіей», — никакимъ надеждамъ на мирную эволюцію совѣтской власти, въ томъ числѣ и въ вариантѣ націоналистическомъ, мѣста быть не можетъ. Историческую тяжбу между русскимъ народомъ и большевиками рѣшить только сила.

Въ заключеніе — лишь два слова объ эмиграціи. По отношенію къ ней Г. П. Федотовъ непоиѣрно суровъ, въ сгущеніи черныхъ красокъ чувствуется недостатокъ справедливости, если не раздраженіе. Эмиграція заражена, разумѣется, непозволительнымъ «націонализмомъ». Она или совершенно равнодушна къ русской культурѣ, или даже страдаетъ культурофобіей. Православная церковь находится въ унижительной зависимости отъ воинскихъ организацій. Въ массѣ молодежи тоже разливается «націонализмъ», она увлекается военной и т. д.

Въ виду недостатка мѣста, вынуждены позаимствовать у революціонеровъ нами же у нихъ критикуемый методъ бездоказательныхъ «утвержденій», обязуясь, если понадобится бы, обосновать ихъ впоследствии. Итакъ, «утверждаемъ»: русская эмиграція вовсе не грѣшитъ избыточностью національнаго самосознанія и спайки, а, наоборотъ, отличается ихъ недостаткомъ, по сравненію, напр., съ былой польской эмиграціей или хотя бы современной армянской. Православная церковь, благодаря мудрому руководству достойнаго ея главы, въ общемъ благополучно выведена изъ плѣна эмигрантской политики, въ которомъ она находилась въ первые годы. «Націонализмъ» молодежи... Вѣримъ свидѣтельству Г. П. Федотова, что извращенія національнаго чувства среди эмигрантской молодежи встрѣчаются (не только среди молодежи правой, но и въ близкомъ Г. П. Федотову «пореволюціонномъ секторѣ эмиграціи»). Но, признаться, гораздо болѣе грозную опасность мы видимъ въ обратномъ процессѣ массовой утраты ею національнаго облика, чѣмъ въ нѣкоторой экзальтаціи національнаго чувства, до нѣкоторой степени извинительной у эмигрантскаго.

В. Рудневъ.

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Два эпохи крушения старого порядка

Въ 1814—15 г. кончилась первая, въ нашей исторіи, война народовъ. Черезъ 100 лѣтъ началась вторая. Обѣ войны велись подъ знакомъ защиты исконныхъ правъ — государей, одна, народовъ, призванныхъ суверенными, вторая, — противъ вѣшняго насилія, грозившаго неспровержимымъ этихъ правъ, всего «старого порядка». Такова была, по крайней мѣрѣ, официальная точка зрѣнія державъ, вступившихъ въ коалицію, которою началась вереница войнъ противъ революціонной Франціи, какъ и державъ, объединившихся въ 1914 - 1919 годахъ противъ Германіи.

Оба послѣдствіи періоды явились періодами борьбы силъ, представлявшихъ «старый порядокъ», съ силами, представлявшими «новый».

Слова *старый* и *новый* въ историческомъ словарѣ двусмысленны. Съ точки зрѣнія философіи исторіи *ново* то, что относится къ новой стадіи прогрессирующаго развитія человѣчества, *новый* моментъ въ развитіи становящагося духа; *старо* — то, что изжито, превзойдено, — независимо отъ

того, на какой хронологическій моментъ это новое и это старое падаютъ. «Идеальная (т. е. умопостижаемая) вѣчная исторія» (слова Вико), въ силу опредѣленія, не имѣетъ хронологіи. Съ точки зрѣнія исторической эмпири, *ново* — все то, чего раньше не было, *старо* — то, что уступило ему мѣсто.

Въ концѣ 18—нач. 19 в., когда Государство и Общество были еще не только *de facto*, но и *de jure* рѣзко разграниченными величинами и понятіями и когда старый государственный порядокъ былъ старымъ въ обоихъ значеніяхъ этого слова, борьба за новыя, т. е. прогрессивныя начала, за участіе Общества въ жизни Государства, была естественно борьбою Общества противъ Государства; въ процессѣ борьбы разнообразныя силы кристаллизовались около этихъ двухъ полюсовъ: борьба, сколько ни расходилась между собою по направленіямъ, убѣжденіямъ, настроеніямъ отдѣльные участники ея, носила характеръ *дуэли*, *Zweikampf*'а.

Историческая мысль 19 в., сложившаяся подъ впечатліемъ со-

блгий начала этой эпохи, привыкла поэтому связывать представление о Государствѣ съ представлениемъ о реакціи и представлениіе объ Обществѣ съ представлениіемъ о прогрессѣ, — отставая отъ творимой исторіи.

Во второй пол. 19 в. Государство и Общество если не *de facto*, то *de jure* слились, совпали. Государство теперь стало однимъ изъ аспектовъ Общества. Борьба различныхъ общественныхъ силъ, прогрессивныхъ и регрессивныхъ, сравнительныхъ и разрушительныхъ, уже не предопредѣляетъ собою неизрѣнно ихъ кристаллизацию около двухъ полюсовъ; скорѣе эти силы группируются по треугольнику: «старый» порядокъ парламентской демократіи, обивается отъ двухъ революцій, «фашистской» и коммунистической, коммунизмъ бьетъ по фашизму и по парламентской демократіи и т. д. Бунтъ Общества, ощутившаго въ нашу эпоху политическаго профессионализма свою отчужденность отъ Государства, противъ Государства, привелъ къ расколу въ нѣдрахъ самого общества, напр., къ бунту массъ противъ социаль-демократіи.

Какъ бы то ни было, оба послѣдвоенныхъ періода имѣютъ между собою то общее, что каждый изъ нихъ является періодомъ непрерывнаго хлокота мятежныхъ силъ, постоянныхъ всплесковъ, перманентной революціи и замѣчательно, что высшаго напряженія этотъ процессъ въ обоихъ случаяхъ достигаетъ черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ ликвидаціи мировой войны и восстановленія и закрѣпленія «нормальнаго» порядка: 1830 — Июльская Революція; 1933 — Гитлеровская, — оба раза

въ тѣхъ странахъ, которыя, каждая въ свое время, были противниками въ мировой трагедіи — лѣшнее доказательство существованія какой-то ритмики исторіи.

Если присмотрѣться внимательно, аналогія окажется еще болѣе полной. Окажется, что «треугольникъ» былъ на лицо и тогда, но только, такъ сказать, въ потенціи. Крупный недостатокъ замѣчательной книги итальянскаго мыслителя Бенедетто Кроче, «Исторія Европы въ 19 вѣкѣ», вышедшей нелавно*), какъ разъ въ томъ, что отъ этого не увидѣлъ. Для него смыслъ этой исторіи сводится исключительно къ тому, что все, что за это время было существеннаго, разумнаго, въ гегелевскомъ смыслѣ, было проявленіемъ одной духовной силы, одной идеи — идеи Свободы. Это была новая религія, опредѣлившая собою всю новую культуру — и Кроче лишь вскользь и пренебрежительно говорить о Сень-Симонѣ и Ог. Контѣ, а тѣмъ болѣе о Жозефѣ де-Мэстрѣ, и даже не называетъ имени Адама Ф. Мюллера. Для Кроче мыслители типа Ж. де-Мэстра — представители стараго, устарѣлаго, отжившаго въ культурѣ. Но Сень-Симонъ, работавшій надъ оозданіемъ «Новаго Христіанства», основоположникъ социализма, открыто признавалъ себя ученикомъ де-Мэстра, а Огюстъ Контъ былъ последователемъ Сень-Симона. И въ Англии чартисны объединялись съ «ультра-торіями» и съ методистами. Религія свободы, какъ ее понимали тѣ, которые съ поняті-

*) В. Croce: Storia d'Europa nel secolo decimonono, terza ed. riveduta, 1932.

емь свободы связали свое собственное наименование, **либералы**, — Кроче только их считает за настоящими исповедниками — была в сущности лишена какой бы то ни было догмы. Ее катехизис сводился къ двумъ отрицательнымъ положениямъ: никакой законъ не можетъ лишить человека права свободно распоряжаться своей собственностью и высказывать свои убѣждения; никто не можетъ воспрепятствовать другому дѣлать все, что ему угодно, въ рамкахъ закона. Этому учению де-Мэстръ, С. Симонъ и Ог. Конгъ противопоставляютъ другое: учение о духовной власти. Человѣкъ долженъ знать не только то, чего нельзя дѣлать, но и что должно дѣлать, — чтобы жить въ согласіи съ Истиной, открываемой въ результатѣ духовнаго опыта или отвѣченнаго умозрѣнія, или-же, наконецъ, научнаго изслѣдованія опытнаго міра. Порядокъ возникаетъ тогда, когда есть направляемая знаніемъ Истины **общая воля**, являющаяся источникомъ духовной власти. Понятіе общественнаго порядка, общественнаго **строю**, предполагаетъ понятіе іерархіи общественныхъ категорій, опредѣляемой степенью значительности, цѣнности выполняемыхъ каждою изъ нихъ функций. «Старый порядокъ» былъ дѣйствительно **порядкомъ** тогда, когда установленная власть была носительницей духовной власти и когда установленная іерархія соответствовала реальному соотношенію общественныхъ съ дѣйствительными внутренняго достоинства выполняемыхъ отдѣльными общественными категоріями функций. Такое пониманіе идеи порядка и идеи власти не

исключало идеи свободы; духовная власть, какъ таковая, предполагаетъ свободу. Этимъ опредѣлялось отличие тогдашняго потенциальнаго треугольника отъ нынѣшняго, эмпирически существующаго. Тогда отдѣльныя направленія группировались по 3-мъ токамъ въ зависимости отъ степени силы ихъ взаимнаго притяженія, а не взаимнаго отталкиванія, какъ сейчасъ. Вотъ почему тогда идеальные конфликты противоборствующихъ силъ носили менѣе острый, менѣе ожесточенный, менѣе разрушительный характеръ; открывали путь различнаго рода компромиссамъ. Возможность тактикомпромиссовъ облегчалась тѣмъ, что Реставрація почти нигдѣ не была интегральной, скорѣе — **счетаемъ**, на практикѣ изъ только въ теоріи, **элементовъ стараго и новаго**, «*le bon plaisir*» в общій волн, божественнаго плава и верховенства народа, самодержавія и конституціонализма. Природа же новыхъ началъ такова, что разъ будучи признаны, пусть и съ величайшими ограничениями, они, вызвавъ къ жизни новую силу, организованное общественное мнѣніе, въ концѣ концовъ достигли полнаго преобладанія — не благодаря революціямъ, а путемъ постепеннаго просачиванія въ сознаніе. Такъ во второй половинѣ 19 вѣка сложился режимъ самый справедливый самый свободный, самый гуманный изъ всѣхъ когда-либо бывшихъ, режимъ, которому, казалось бы, была обезпечена самая долгая жизнь и который, только, оказался самымъ недолговѣчнымъ. Его неблагополучіе ощущалось и его недалогичность предвидѣлась еще до Войны, —

и тогда, а отчасти и послѣ Войны, ходячимъ объясненіемъ было то, что онъ создалъ только формальную свободу, а не дѣйствительную — концепція, отражавшая отношенія, характерныя для времени начатковъ европейскаго капитализма и либерализма, а вовсе не для времени ихъ расцвѣта, ни тѣмъ болѣе для первыхъ дѣтъ послѣвоеннаго періода, когда никакія политическія силы не препятствовали социальдемократамъ взять въ свои руки власть и путемъ парламентскаго вотума осуществить то, что они называли реальной свободой. Можно спорить насчетъ правильности фактическихъ соображеній, заставившихъ социаль-демократію Зап. Европы отказаться отъ этого опыта; въ основѣ ихъ все-же лежала вѣрная мысль: социаль-демократія сознавала, что, если перейти отъ «утвержденія» къ реализаціи Идеала, каковая естественно и необходимо могла быть только частичной, социаль-демократическая Идея перестанетъ уже быть Идеаломъ, т. е. утратить свое значеніе духовной власти. Но въ томъ-то и состоитъ недостаточность идеаловъ, создаваемыхъ науковѣрческимъ путемъ «точного» изслѣдованія эмпирической данности, помѣщаемыхъ въ планъ дѣйствительности: ихъ структура такова, что ничто не препятствуетъ массамъ мыслить ихъ интегрально осуществимыми въ этомъ планѣ, и потому, едва вожди пробуютъ убѣждать массы въ противномъ, они подвергаются подозрѣніямъ въ измѣнѣ дѣла. Такъ социаль-демократы, солидаризовавшись съ парламентаризмомъ и либерализмомъ, которые, въ теоріи, она должна была со-

крушить и которые она, на практикѣ, хотѣла спасти, похоронила ихъ вмѣстѣ съ самой собою и тѣмъ способствовала освобожденію другихъ силъ, съ гораздо большей послѣдовательностью дѣйствующихъ въ направленіи созданія единой духовной власти, общей воли, рѣзко противопоставляемой индивидуальнымъ волямъ, — воли мирового пролетаріата, или воли «интегральной» Націи.

Реакція въ началѣ 19 в., революція въ началѣ 20-го дали начало европейской эмиграціи. Эмиграція перваго періода была силой, работавшей въ европейскомъ масштабѣ на Революцію. Эмиграція второго — сила консервативная. Сближаясь по своей идеологіи (рѣчь идетъ исключительно о зап.-европейской эмиграціи, не о русской) съ эмиграціей перваго послѣвоеннаго періода, эта новая эмиграція, съ точки зрѣнія своей структуры и своего историческаго мѣста, должна быть сопоставляема съ эмиграціей французской эпохи Революціи, эмиграціей «бывшихъ людей», *les ci-devant*.

Подобно этой послѣдней, и новая эмиграція тяготеетъ къ тому, что представляетъ собою, какъ сказать, официальную Европу, разумѣя подъ этимъ известную систему установленныхъ воззрѣній, правовыхъ догматовъ, режимовъ и правительствъ. Тогда эта Европа воплощалась въ рядѣ коалицій европейскихъ государствъ — вѣрнѣе государей, — завершившихся Священнымъ Союзомъ; теперь она воплотилась въ Лигѣ Націй. Здѣсь новая аналогія, проливающая свѣтъ на сходство структуры обонхъ періодовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ на ихъ

глубокое различіе по существу Священный Союзъ, заключенный тогда, когда народы были еще въ большей степени объектами, нежели субъектами политики, когда европейская международная система воспроизводила внутренний строй Государства стараго порядка съ его іерархіей чиновъ и званій, былъ договоромъ не столько о поддержаніи мира въбъшяго, сколько о поддержаніи порядка — международной порядка — онъ былъ обезпеченъ надолго самымъ фактомъ реставраціи, и притомъ съ большими и цѣлесообразными практическими поправками, старой іерархіи государствъ, — сколько о поддержаніи мира внутреннего. Основнымъ принципомъ Священнаго Союза былъ принципъ интервенцій. Строеіе новой Европы, оформившейся въ Лигѣ Націй, воспроизводитъ строеіе Государства «новаго стараго порядка»: правовое равенство, принципъ невмѣшательства, свобода частныхъ сдѣлокъ и т. д. Но въ плоскости международныхъ отношений принципы индивидуализма и либерализма оказались гораздо менѣе жизнеспособными, нежели въ плоскости отношеній отдѣльныхъ лицъ и общественныхъ классовъ. Общество народовъ (société des nations) результатъ взаимной контаминаціи теорій естественнаго права въ ихъ приложеніи къ личности, мыслимой какъ индивидуумъ, и къ государству, мыслимому какъ величина, воплощающая общую волю и обладающая суверенитетомъ, что привело, въ эпоху либерализма, къ переносу представлений о личности на государство и представлений о государствѣ на человеческую личность, — можетъ быть только имитацией человѣч-

скаго общества, построеннаго на началахъ демократизма и либерализма. Тамъ, гдѣ число «сильныхъ» и «слабыхъ» установлено разъ навсегда (никакими пересмотрами мирныхъ договоровъ нельзя малое государство сдѣлать великимъ), и гдѣ «слабыхъ» приблизительно столько-же сколько сильныхъ, — тамъ неприменимы ни бентамовская ни марсовская діалектики, тамъ нелепима никакая эволюція: ни въ сторону гармоніи, возникающей изъ противорѣчій, путемъ взаимнаго уравновѣшенія противоборствующихъ силъ, ни въ сторону гармоніи, рождающейся изъ бунта слабыхъ противъ сильныхъ. Миръ, поддерживаемый Лигою Націй, можетъ быть и очень продолжителенъ: на самомъ дѣлѣ онъ является ничѣмъ инымъ какъ состояніемъ непрекращающейся скрытой войны, питающимъ чувствомъ взаимной ненависти, недоверія, отчужденія.

Объ организаціи, объединяющей Европу, поддерживающей европейскій миръ, вышли изъ военныхъ коалицій. Обѣ коалиціи прибѣгали къ интервенціи, поддерживая или создавая тамъ и тогда, гдѣ и когда это было нужно, тотъ режимъ, во имя котораго онѣ вели войну. Но принципъ интервенціи, соответствовавшій всему стилю политики Священнаго Союза, противорѣчитъ стилю Лиги Націй. Уже въ силу этого одного, — не говоря о соображеніяхъ такъ наз. реальной политики, — она должна была отказаться отъ него и тѣмъ самымъ занять по отношенію къ европейской эмиграціи позицію сходную съ той, какую занимала военная коалиція въ періодъ консульства

и Империи по отношению къ французской. Этимъ Лига Наций столько-же, сколько своей вышней политической, содѣйствовала подрыву моральнаго престижа собственныхъ принциповъ — либерализма и демократизма, сыгравши, такимъ образомъ, роль аналогичную той, что выпала на долю II-го Интернационала, а вмѣстѣ съ тѣмъ обрекла на бездѣйствіе силы, пытавшіяся эти принципы отстаивать, и предоставляла полную свободу развитію и борьбѣ другихъ силъ: интегральнаго социализма и интегральнаго национализма, борьба, закончившейся въ Э. Европѣ конечнымъ торжествомъ второй изъ нихъ.

Крушеніе Старога Порядка — въ общепринятомъ смыслѣ слова — было послѣдствіемъ революціи духа, крушенія старой религіи, уступившей мѣсто новой. Эта новая религія, какъ ее понимали благороднѣйшіе умы того времени, была необходимымъ продолженіемъ старой, — какъ Новый Заветъ продолженіемъ Ветхаго. Эта религія была универсалистической; ея основной идеей была идея открытаго Общества — *société ouverte*, какъ выражается Бергсонъ. Ея апостолы трудились надъ проблемой созданія новой вселенской духовной власти. Крушеніе «Новаго» старога порядка было новой духовной катастрофой, несравненно болѣе грозной: это было крушеніе обѣихъ религій, старой и новой; на ихъ смѣну пришла анти-религія, отрицающая Открытое Общество, признающая только замкнутое, *société close*, «чистую», самодовольщую Нацию — религія, возводящая борьбу до полного ис-

требленія врага на степень вышшаго моральнаго принципа.

Порочность этой новой религіи, анти-религіи, не столько въ ослеплостяхъ, которыми она грозитъ сотнямъ тысячъ человеческихъ жизней — во имя религіи, запрещающей убійство, было тоже пролито немало крови, — сколько въ томъ, что идея замкнутаго общества — горизонтально-ли (пролетаріатъ), или вертикально (Нация) — заводитъ сознание въ тупикъ, обезплодживаетъ мысль, вытравливаетъ въ индивидѣ Личность.

Ея ирригаторная сила въ томъ, что она какъ-никакъ наполняетъ содержаніемъ понятіе Общества, — чего не могла сдѣлать религія 19 в., исходившая, во всѣхъ своихъ направленіяхъ, изъ понятія абстрактнаго индивидуума, понятія безъ содержанія, и потому бывшая въ сущности не-религіей. Содержаніемъ, но не — смысломъ: ибо сообщить чему-либо смыслъ значитъ подчинить это что-то высшему началу. Сень-Симонъ и Огюстъ Контъ по крайней мѣрѣ сознавали это, хотя ихъ науковѣдческой методъ былъ таковъ, что не подводилъ къ усмотрѣнію этого начала, а отводилъ отъ него. Они искали абсолютной духовной власти — и не нашли никакой. Создатели современной анти-религіи, болѣе послѣдовательные въ своемъ науковѣдствіи и идолопоклонствіи передъ эмпирической дѣйствительностью, просто возводятъ относительныя дѣйствія на степень абсолютныхъ и тѣмъ самымъ узакониваютъ рабство, т. е. безсмысленное пусть и добровольное подчиненіе личности Цѣлому.

Такъ замыкается историческій

диктъ. Нынѣшній новый режимъ оказывается ничѣмъ инымъ какъ возвратомъ къ Старому — въ обыкновенъ смислѣ слова, ставшему старымъ съ тѣхъ поръ какъ утратила свое значеніе духовной силы та религія, которая сообщила ему метафизическое обоснованіе и моральное оправданіе, и когда его верховнымъ принципомъ сдѣлался Raison d'Etat. Сказать это — значитъ выразить и то, въ чемъ состоитъ ихъ различіе. Тотъ старый режимъ сдѣлался старымъ обреченнымъ духовной смерти, въ результатъ своего постепеннаго обезсмсленія. Нынѣшній старымъ родился.

Дѣло идетъ не столько о положительныхъ фактахъ, сколько о тенденціяхъ. Въ чистомъ видѣ новый режимъ осуществился только въ двухъ странахъ европейскаго міра — да и то въ Италіи въ несравненно болѣе мягкихъ формахъ, чѣмъ въ т.е. ясліи. Въ другихъ странахъ — комбинаціи элементовъ стараго и новаго режимовъ. Но вездѣ, и тамъ, гдѣ имѣло мѣсто усвоеніе элементовъ новаго режима, и тамъ, гдѣ ст-

рый порядокъ удержался полностью, намѣчается суженіе сознанія, вытѣсненіе изъ поля зрѣнія идеѣ челоѣвка и челоѣчества идеєю Націи.

Нація, классъ, индивидуумъ — въ этомъ треугольникѣ бьется челоѣческая мысль. Выходъ возможенъ только въ другомъ измѣреніи. Никакая новая идея того же порядка не можетъ быть противопоставлена этимъ тремъ. Ибо ея нѣтъ и быть не можетъ. Новымъ и старымъ идеямъ противостоитъ вѣчная идея — идея Царства Божія, какъ общенія въ духѣ — не индивидуумовъ, абстрактныхъ, несуществующихъ величинъ, — но конкретныхъ личностей. Лишь руководясь образомъ этого Царства возможно достигнуть действительнаго, а не кажунагося, разрѣшенія проблемы сочетанія началъ равенства и неравенства, свободы и необходимости. Антиномія индивидуализма и коллективизма преодолима только въ укорененномъ въ идеѣ Царства Божія и приводящемъ къ ней персонализмѣ.

П. Биццли.

Дѣйствующія лица

«Моя Марина славная баба», — писалъ Пушкинъ Вяземскому по поводу «Бориса Годунова»; есть основаніе думать, что и о своей Татьянѣ онъ отзывался съ меньшимъ одобреніемъ. О Балзакѣ существуютъ свидѣтельства, выясняющія, что лицъ «Челоѣческой комедіи» онъ склоненъ былъ принимать за живыхъ людей: оплакивалъ ихъ гибель, радовался ихъ удачамъ, совѣтовалъ знакомымъ позвать къ тя-

желю больному лишь въ его собственномъ твореніи живущаго врача, до того забываясь, что однажды, нособолѣзновавъ другу, только что потерявшему сестру, неожиданно воскликнулъ: «Вернемся къ дѣйствительности!» и заговорилъ о своихъ герояхъ. Свѣдѣнія такого рода можно собрать о многихъ другихъ авторахъ минувшаго вѣка, и если это не такъ легко сдѣлать въ отношеніи писателей другихъ вѣковъ, то лишь

потому, что гораздо меньше интереса было въ тѣ времена къ авторскому лицу и къ аппарату его творчества. Живые люди, созданные романистомъ или драматургомъ, именно потому и живы, что не вполнѣ отъ него зависятъ, не до конца ему подчинены, а значитъ и ему самому естественно представлять ихъ себѣ, какъ людей отъ него отдѣльныхъ, которыхъ можно осуждать и ненавидѣть, жалѣть и любить; такъ что въ этомъ не должно быть большого различія между Сервантесомъ и Толстымъ, Шекспиромъ и Бальзакомъ. Что же касается героевъ «Илиады» или «Пѣсни о Роландѣ», то воображенію страстующаго пѣвца, прославляющаго ихъ подвиги, они уже окончательно предносились реально данными въ историческомъ или мифическомъ опытѣ, подлинно живыми существами. Пусть образы ихъ кажутся намъ, воспитаннымъ на совсѣмъ другомъ ощущеніи личности, упрощенными, собирательными, скучными на индивидуальныя отбѣнки: именно такимъ представлялся древнему поэту человѣческой образъ вообще.

Дѣйствующее лицо эпоса, драмы или романа не есть простое измышленіе, изобрѣтеніе, хитроумная игрушка, изготовленная рукой хорошо обученнаго мастера. Но столь же невѣрно было бы утверждать, что литературный герой заимствуется извнѣ, берется на прокатъ у жизни, — и опять-таки это утвержденіе (при всѣхъ различіяхъ въ частностяхъ) одинаково непримѣнимо къ героямъ Троянской войны и къ Болконскимъ или Карамазовымъ. Франсуа Моріакъ недаромъ одновре-

менно заявилъ, въ послѣдней своей книгѣ о романѣ, что герой романиста тѣмъ живѣе, чѣмъ онъ менѣе ему подчиненъ и что лишь самыя второстепенныя дѣйствующія лица могутъ быть взяты безъ измѣненій изъ дѣйствительности. Важнѣйшее, однако, этимъ еще не сказано: дѣло въ томъ, что и самымъ тщательнымъ, самымъ равномернымъ распредѣленіемъ этихъ элементовъ—тѣхъ, что отъ автора, и тѣхъ, что отъ жизни — живого человѣка создать нельзя. Моріакъ говоритъ, что жизнь дѣлаетъ романисту лишь отправную точку, исходя изъ которой онъ можетъ взять любое направленіе, хотя бы и противоположное тому, какое предудказано въ жизни; но и этого еще недостаточно. Творчество совсѣмъ не состоитъ въ произвольномъ сипленіи вырванныхъ изъ жизни клѣтокъ или атомовъ, а сотвореніе живого человѣка такимъ способомъ и тѣмъ болѣе невозможно. Изъ фактовъ и здраваго смысла жизни не создать, — развѣ лишь сколокъ, отраженіе, подобіе. Истинный художникъ ищетъ не правдоподобія, а правды, подражаетъ не жизни, а силамъ рождающимъ жизнь. Онъ не списыватель природы; онъ, какъ тотъ же Моріакъ сказалъ недавно, — обезьяна самого Творца. И тѣ силы, что въ немъ, черезъ него, въ сотрудничествѣ со всѣмъ его существомъ, творять, это тѣ самыя силы, что искони участвуютъ въ твореніи.

Основныя традиціи эпоса и драмы въ минувшемъ вѣкѣ унаследовалъ романъ, и главнымъ требованіемъ предъявляемымъ ему сдѣлалось требованіе жизненности, т. е. именно созданія живыхъ людей, что совсѣмъ еще не обя-

зывает принимать идеологию «реализма» или «натурализма». Идеология эта нередко становилась вредной для романа, побуждая романиста, ищущаго живую правду, довольствоваться покоем на жизнь обстановкой и житейски правдоподобными людьми. Но девятнадцатый век был все же веком великаго романа. Герои Стендаля и Балзака, Флора и Диккенса, Готфрида Келлера, Гарди и Толстого — цѣлостныя создания, живыя лица, отдѣлившіяся отъ автора, хотя и созданные изъ его плоти и крови, не приклеенные къ страницамъ, на которыхъ онъ помѣстил ихъ имена. Жюльенъ Сорель ни на кого не похожъ, но онъ есть — не менѣе Байрона или Бонапарта. Люди Достоевскаго неправдоподобны, но они живыя живые люди. Характеристики у него (какъ это и вообще свойственно русскому роману) построены не путемъ списыванія съ тѣхъ случайныхъ сочетаній, которымъ насъ учитъ жизнь и которыми считаются фотографирующіе романисты, но и не путемъ логическихъ выводовъ изъ одной или нѣсколькихъ основныхъ чертъ; они построены иррационально, — какъ бы самой жизнью, — рождены въ глубинѣ подсознанія или сверхсознанія. Почему Смердяковъ брезгливъ? Отвѣтить на это путемъ логическаго разсужденія нельзя; но если бы Смердяковъ не былъ брезгливъ, онъ не до конца былъ бы Смердяковымъ.

«Само собой разумѣется, что характеръ героя дѣлается изъ многихъ отдѣльныхъ черточекъ, взятыхъ отъ различныхъ людей его социальной группы, его ряда. Необходимо очень хорошо при-

смотреться къ сотнѣ-другой поповъ, лавочниковъ, рабочихъ для того, чтобы приблизительно вѣрно написать портретъ одного рабочаго, попа, лавочника.» Такъ ли ужъ это «само собой разумѣется», какъ думаетъ Горькій (см. сборникъ «Какъ мы пишемъ») и не характерно ли, что аптекарскій рецептъ или кулинарное предписание это принадлежитъ именно ему? Огчасти онъ конечно правъ: безъ наблюденія или даже нарочитаго выискиванія характерныхъ чертъ изобразить что-бы то ни было довольно трудно, но зато и не все творчество сводится къ изображенію, да и само изображеніе никогда не приводить къ цѣлому путемъ склеиванія вырѣзокъ, сколачиванія осколковъ. Изображенію предшествуетъ воображеніе, а вообразить можно и безъ того, чтобы «присмотрѣться»: Шиллеръ никогда не видѣлъ моря, но умѣлъ о немъ писать; Макбетъ или Донъ-Жуанъ советамъ не слѣданы изъ отдѣльныхъ черточекъ. Правда, Горькій говоритъ не о личности, а о типѣ, да еще «классовомъ», но и въ русская литература до него какъ разъ тѣмъ и была сильна, что изображала прежде всего живыхъ людей, даже пыталась изобразить «попа», «рабочаго» и «лавочника». Вопросы утвержденію плохихъ учебниковъ, русскіе писатели всегда чуждались той проекціи человека въ плоскость общества, того приведенія къ общему знаменателю особей, лишь отчасти схожихъ между собой, безъ котораго невозможно построить никакого «типа». Даже образы общечеловѣчески-условные, воплощенія нездѣсушей страсти, вроде Мольеровскаго Гарпа-

гова или гоголевскаго Плюшкина, въ русской литературѣ рѣдки, хотя при созданиі ихъ отнюдь не обязательно примѣнять механически - собирательные приемы. Тѣмъ болѣе ей чужды типъ въ ботѣ точномъ смыслѣ, какъ нѣкое среднее единство, извлеченное изъ конкретнаго множества путемъ разсудочной операціи, подобной фотографированію на одной пластинкѣ многочисленныхъ членовъ одной семьи. Въ западномъ романѣ и драмѣ давно уже начали появляться герои, напоминающіе коллективный снимокъ, полученный этымъ (галльоповскимъ) способомъ. Въ русской литературѣ, наоборотъ, до самаго послѣдняго времени дѣйствительная подлинная лица, не менѣе иррационально цѣлостныя, чѣмъ личности живыхъ людей. Какой-нибудь Фердыщенко или Ракингинъ у Достоевскаго, любой солдатъ или помѣщикъ у Толстого — совсѣмъ какъ люди Шекспира или Сервантеса -- живутъ своей, ни отъ кого независимой жизнью, а если относятся еще и къ какой-нибудь «средѣ», то на изображеніе ея отлаютъ одни, такъ сказать, излишки своей личной жизни, не поступаясь ничѣмъ, что необходимо для ея цѣльности и полноты.

Въ «Аннѣ Карениной» подъ вѣломъ художника Михайлова, заканчивающаго рисунокъ, изображенъ романтикъ, создающій одно изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ. Михайловъ беретъ запачканную и закапанную стеариномъ бумагу, на которой онъ началъ рисовать набросокъ для фигуры «человѣка, находящагося въ припадкѣ гнѣва», кладетъ ее передъ собой на столъ, всматривается, и

вдругъ съ радостью замѣчаетъ, что пятно стеарина даетъ фигурѣ новую, нужную ему позу. «Онъ рисовалъ эту новую позу, и вдругъ ему вспомнилось съ выдающимся подбородкомъ энергичное лицо кушца, у котораго онъ бралъ сигары, и онъ это самое лицо, этотъ подбородокъ нарисовалъ человѣку. Онъ засмѣялся отъ радости, фигура вдругъ изъ мергвой, выдуманной, стала живая и такая, которой нельзя уже было измѣнить. Фигура эта жила и было ясно и несомнѣнно определѣна. Можно было поправить рисунокъ сообразно съ требованіями этой фигуры, можно и должно было иначе разставить ноги, совсѣмъ переменить положеніе лѣвой руки, откинуть волосы. Но дѣлая эти поправки, онъ не измѣнялъ фигуры, а только откидывалъ то, что скрывало фигуру. Онъ какъ-бы снималъ съ нея тѣ покровы, изъ-за которыхъ она не вся была видна: каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру, во всей ея энергической силѣ. Иною, какою она явилась ему вдругъ отъ произведеннаго стеариномъ пятна».

Картина, нарисованная Толстымъ, едва замѣтно искажена налетомъ «реалистической» эстетики (сюда относится **обязательность** готоваго куска дѣйствительности, безъ котораго фигура якобы остается «выдуманной», «мертвой»); въ цѣломъ она правдива и точна: Толстой глубоко понималъ свое искусство, о чемъ свидѣтельствуютъ даже его безпомощныя разсужденія объ искусствѣ вообще. Умѣялъ онъ въ этихъ нѣсколькихъ строкахъ и случайное, т. е. иррациональное зарожденіе живого образа — изъ

стеаринового пятна; и такое же иррациональное впадение въ него элементовъ, заимствованныхъ «изъ жизни»; и самое главное, то, что образъ съ самаго начала данъ цѣликомъ, такъ что это цѣлое въ немъ предшествуетъ частямъ и остается только «откидывать» то, что его скрываетъ, по способу Микель-Анджело, точно также понимавшаго свое искусство, точно также въ одно мгновение угадавшаго будущаго «Давида» въ огромной, казалась безнадежно испорченной, глыбѣ мрамора. Именно такъ создаются не «типы», не собирательные гомункулы, а воплощенные, живыя лица. Художникъ Михайловъ «слотаегъ висчатыѣи», какъ говорится страницей дальше, прячетъ ихъ про запасъ, но висчатыѣи эти не кубики, изъ которыхъ само собой, при участіи одного лишь разсудка и расчета, строится игрушечное здание. Все различіе между Толстымъ и романистами, работающими по рецепту Горькаго, въ томъ и заключается, что онъ видитъ нѣчто такое, чего они не умѣютъ увидать, сколько ни «присматриваются», ни наблюдаютъ, ни копятъ матеріаловъ. Михайлову даже неприятно, когда говорятъ о «техникѣ», ибо вся его техника въ томъ и состоитъ, чтобы «снимая покровы, не повредить самого произведенія», тогда какъ у тѣхъ самое искусство исчерпывается техникой, прилагаемой къ извлеченнымъ изъ дѣйствительности частицамъ, которыя она въ лучшемъ случаѣ способна прикрѣпить другъ къ другу, но совершенно не въ силахъ переплавить въ одно и оживить.

Въ замѣнѣ лица, рождаемаго чувствомъ цѣлаго, «типомъ», со-

ставляемымъ изъ частей, немалую роль сыграло подражаніе вѣукъ. Современному романисту, вроде американцевъ Льюиса или Дрейзера, нуженъ въ сущности вовсе не романъ, не самодовольное бытіе его героя, а лишь, возможно болѣе яркая иллюстрація его мыслей объ Америкѣ, о разныхъ породахъ американцевъ, и о типичныхъ для той или иной породы жизни, характерѣ, судьбѣ. Онъ постукаетъ не какъ художникъ, созидающій людей, а какъ ученый, отбирающій для опредѣленія данной среды или эпохи особенно характерныхъ для нея человѣческихъ особей. И даже когда онъ не отбираетъ, когда онъ строитъ, онъ дѣлаетъ это какъ историкъ, изучающій французскаго горожанина XII вѣка или англійскаго рабочаго эпохи промышленной революціи, для какой нибудь цѣли и въ самомъ дѣлѣ необходимо присмотрѣться къ «согнѣ-другой» такихъ рабочихъ или горожанъ. Построенія такого рода могутъ быть весьма интересны и полезны, но романъ, въ которомъ они преобладаютъ, превращается все же въ социологическій трактатъ, какъ это уже случилось съ романами Золя, и какъ это снова становится чуть ли не правиломъ въ американской, советской и отчасти нѣмецкой литературѣ. Насадителямъ и любителямъ такой литературы неизмѣнно кажется, что она особенно близка къ жизни, на самомъ же дѣлѣ вѣрно какъ разъ обратное. Какъ разъ неизбѣжная для науки отвлеченность самого метода дѣлаетъ натуралистическій или «производственный» романъ гораздо болѣе отдаленнымъ отъ жизни, чѣмъ самая «условная» и

«неправдоподобная» елизаветинская трагедия. Это Отелло и Яго — живые люди, а не синтетический лавочник (в том же смысле, в какомъ говорятъ о синтетическомъ каучукѣ) социологовъ и статистиковъ, въ котораго такъ по дикарски увѣривалъ Горькій. Наука разлагаетъ и слагаетъ, умерщвляетъ, дабы уразумѣть. Искусство рождаетъ жизнь, — непроницаемую, какъ и всякая жизнь, въ самой глубинѣ, для анализирующаго научнаго познания.



Всякое творчество основано на вѣрѣ въ истинность, въ бытiе творимаго; безъ этой вѣры нѣтъ искусства. Для того, чтобы создать живое дѣйствующее лицо, нужно вѣрить въ цѣлостность человѣческой личности, — именно вѣрить, такъ какъ не во всякомъ опытѣ она дана и нельзя доказать ее доводами разсудка. Воспринимать цѣлостность эта можетъ по разному; но такъ или иначе она должна быть воспринята, пережита, а переживается она всегда, какъ нѣчто самоочевидное, безспорное. Какъ только самоочевидность эта ослабѣваетъ, романисту или драматургу остается изображать человѣка, основываясь на отдѣльныхъ «характерныхъ чертахъ», заимствованныхъ непосредственно изъ жизни (отчего онѣ не становятся еще способными давать жизнь) или выведенныхъ логически изъ какихъ-нибудь общихъ предположковъ. Романистъ XIX вѣка, Бальзакъ или Толстой, видѣлъ человѣка во всей полнотѣ его бытiя — и своей вѣрой въ это бытiе, — такимъ, какимъ его долженъ ви-

дѣть самъ Творецъ; современный романистъ видитъ его, какъ чело-вѣкъ, среднiй опытъ котораго не позволяетъ обнять во всей полнотѣ бытiе другого чело-вѣка. Отсюда нѣкоторый оглявъ жизни въ людяхъ, создаваемыхъ имъ, чего нельзя отрицать и для гениальной книги Пруста, гдѣ чело-вѣкъ показанъ не такимъ, какъ онъ есть, а лишь такимъ, какъ онъ является рассказчику. Отсюда же и то хитроумное склеиванiе распавшихся атомовъ, которымъ авторъ «Улисса» стремится замѣнить иррациональное единство и иррациональную сложность чело-вѣческаго образа. У большинства современныхъ романистовъ, хотя бы во всемъ остальномъ и несхожихъ между собой, люди изображаются, пожалуй, и вѣрнo и точно, но такъ именно, какъ мы чаще всего воспринимаемъ людей въ жизни: односторонне, съ той стороны, какой они повернуты къ намъ, безъ попытки изобразить ихъ сразу со всѣхъ сторонъ. Способъ этотъ позволяетъ многое выразить и многое понять, но правдоподобiемъ подмѣняетъ правду и никогда не приводитъ къ созданию цѣлостнаго живого чело-вѣка, никогда не позволяетъ до конца отдѣлать личность автора отъ личности его героя, т. е. совершить ту чудотѣственную операцию, безъ которой неммыслимы ни театръ Шекспира, ни «Война и Миръ», ни вообще та драма и тотъ романъ, какими славится европейская литература. Не прибѣгая къ этой операции можно написать отличную книгу, собрать множество интересныхъ наблюдений, быть моралистомъ, психологомъ, стилистомъ, но нельзя повторить гордыхъ словъ.

сказанных о себѣ Бальзакомъ, нельзя «faire coexistence à l'état civil».

У Федьки Каторжника въ «Бѣсахъ» глаза были большіе, непрѣмьно черные, съ сильнымъ блескомъ и съ желтымъ отливомъ, какъ у цыганъ». Это «непрѣмьно» какъ бы вырвалось противъ воли у Достоевскаго, и, быть можетъ, попало нечаянно въ текстъ романа изъ записной книжки или черновика. Слово это свидѣлствуетъ о томъ, что авторъ не «сочинялъ» своего героя, но видѣлъ его передъ собой, не придумывалъ цвѣта его глазъ, но переживалъ этотъ черный цвѣтъ, какъ необходимый, непрѣмьный. И точно также, если княжна Марья краснѣетъ пятнами, если у жены князя Андрея короткая верхняя губа, то это не ярлыки, наклеенные на нихъ для легкости распознаванія, а черты врожденныя въ подлинномъ смыслѣ слова, съ которыми искони являлись эти образы Толстому и безъ которыхъ онъ самъ представить ихъ себѣ не могъ. Будь эти черты просто на просто подсмотрѣны у живыхъ людей и люди эти внесены въ романъ «прямо изъ жизни», необходимость оказалась бы подмѣненной болѣе или менѣе приаподобною случайностью, и точно такъ же у произвольно конструированнаго героя, которымъ авторъ распорядается до конца, потому и отсутствуетъ подлинная жизнь, что бѣтъ въ немъ ни одной черты, неотъемлемой и непрѣмьной, — для автора какъ и для читателя, — подобной цыганскимъ глазамъ Федьки, блестящимъ Достоевскому изъ невѣдомыхъ творческихъ потемокъ, дальше чѣмъ

сверкнуть на Ставрогина въ ночномъ ненастьи, на пути въ зарѣчную слободу.

Теорія всего ясной усматривать то, чего начинать нехватать на практикѣ. Созданіе живыхъ людей перестаетъ, на нашихъ глазахъ быть для писателя возможнымъ или даже интереснымъ. Измѣняется самое существо литературнаго героя: онъ теряетъ самостоятельность, изъ трехмѣрнаго становится двухмѣрнымъ, изъ явного конкретнаго подотвлеченнымъ, схематизируются приемы его изображенія и онъ самъ грозитъ превратиться въ схему. Дѣйствующее лицо современной драмы или романа бываетъ либо выужено изъ дѣйствительности, либо механически построено изъ пружинокъ и рычаговъ, либо, наконецъ, сооружено (какъ уже упомянутые «типы») путемъ комбинаціи обоихъ методовъ; и въ томъ и въ другомъ, и въ третьемъ случаѣ, вмѣсто жизни получается иллюзія жизненности, вмѣсто человека заводная кукла. Съ точки зрѣнія русской литературы, гдѣ такъ долго торжествовала самодовлѣющей, живой, переросшей книгу человекъ, это омерзѣніе его кажется особенно непонятнымъ и зловѣщимъ, однако и здѣсь оно сказалось съ полной ясностью. Левъ Толстой изъ глины лепилъ людей; Ал. Н. Толстой съ большимъ умѣньемъ и въ избытокъ количествѣ лепилъ на заказъ человѣкоподобныя глиняныя фигурки. Геронъ Леоновъ (въ «Ворѣ», на примѣръ) больше всего напоминаютъ тѣни, отброшенныя на ходу героями «Подростка» или «Идиота». Совѣтскій обыватель изъ разсказовъ Зошеники долженъ еще выпиться горячей

крови, как вызванные Одиссеем мертвецы, чтобы стать похожим хотя бы на своего предка из рассказов Чехова. Точно такое же различие легко было бы установить между героями западных современных романов и людьми Гарди и Флобера, или Филдингa, или Сервантеса. Не забудем при этом: лучшие современные писатели вообще не те, что силятся продолжать изысканную традицию и наследуют блѣдные свои книги призраками и двойниками литературных героев прошлого; это те, что стремятся нарисовать образ человека таким, каким они его видят — и другим не могут увидеть, — мерцающим, невѣрнымъ, въ безконечномъ сиротствѣ, въ одиночествѣ, ищущимъ опоры и не находящимъ ее ни въ мірѣ, ни въ себѣ. Нѣтъ личности, но есть жадные поиски себя — и другихъ — въ лабиринтѣ Потерянаго Времени. Нѣтъ жизни, но есть вспышки сознанія, трепетанія чувства, зарегистрированные тончайшимъ сейсмографомъ души въ «Волнахъ» Вирджини Вульфъ. Нѣтъ человека, но есть его осколки, страстно стремящиеся срастись въ «Защитѣ Лужина», въ «Подвигѣ», въ прозаическихъ писаніяхъ Пастернака, у многихъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ младшаго (такъ называемаго) поколѣнія. Повсюду нѣтъ нѣтъ да и мелькнетъ озябшая, бѣдная, предсмертная, душа «*capitula vagula, blandula*» императора Адриана, или недовосокъ Боратынскаго, обреченный витать межъ землей и облаковъ, или бѣсовскій двойникъ Ивана Карамазова, продрогшій въ космическомъ сквознякѣ и мечтающій во-

плотиться въ семипудовую купчиху.

Однако возможности тут не безграничны. Въ этомъ все дѣло: художественное творчество не можетъ быть длительно совмещено съ утратой вѣры въ единство человека, съ ущербомъ воспріятія цѣльной личности. О томъ, какъ нужны искусству это воспріятіе, эта вѣра, о томъ, какъ опустошается душа, всерьезъ отказавшаяся отъ нихъ, объ этомъ всего яснѣй говорить творчество Пираделло, писателя прославленнаго быть можетъ и неслучайно, но заслуживающаго все же самаго пристальнаго вниманія. Его сицилійскіе рассказы, не доставившіе ему въ свое время даже простой извѣстности, должно быть пережить славу его пьесъ, но все же именно въ пьесахъ выразилъ онъ съ предѣльной наготой свою тему, единственную свою тему, ту, что составляетъ весь творческій импульсъ его и одновременно парализуетъ — какъ разъ тамъ, гдѣ онъ приближается къ вершинамъ — его творчество. Тему эту подчеркиваетъ уже общее заглавіе, подъ которымъ онъ печатаетъ свои театральныя произведенія: «Голыя маски». Сочетаніе словъ какъ будто противорѣчиво, на самомъ дѣлѣ мѣтко и точно; даже нагота относится лишь къ маскѣ, ибо подъ маской — если тамъ нѣтъ другой, болѣе тайной маски — открывается голое ничто. Всякая личность есть маска (таковъ, какъ извѣстно, первоначальный смыслъ слова *persona*), неподвижная личина, наполненная насильно или добровольно, и горе человеку, вознамѣрившемуся ее съ себя сорвать. Сумасшедшій, возмнив-

ший себя Генрихом IV, выздоравливает, но предпочитает притворяться сумасшедшим и впредь, дабы не утратить маску, вѣдъ которой ему нѣтъ спасенья. Въ одной изъ недавнихъ пьесъ, героиня актриса влюбляется и принимаетъ рѣшеніе зажить собственной жизнью; напрасно: другой роли, кромѣ тѣхъ, что она играть на сценѣ, ей не суждено играть. Въ самой послѣдней, знаменитый поэтъ хотѣлъ бы все начать сначала, отказаться отъ себя, т. е. отъ условнаго облича, явизаннаго ему славой, но сдѣлать этого не въ состояннн и окаменяетъ, превращается въ памятникъ самому себѣ. Но всего характернѣе остаются и самую тайную мысль выражаютъ уже давннн «Шестъ дѣйствующихъ лицъ въ поискахъ автора», гдѣ подлинными лицами оказываются не живыя, а сочиненныя, гдѣ литературнымъ героямъ приписывается какъ бы высшая ступень бытія, сравнительно съ безформенными, различными, мерцающими въ полумракѣ силуэтами живыхъ людей. Тутъ, въ самокъ этомъ замыслѣ, а не въ наивныхъ тирадахъ, питаемыхъ чѣмъ то вродѣ кантннства, перетолкованнаго на болѣе вещественный, предметный, болѣе доступный итальянскому пластическому мышленію ладъ, заключается подлинная глубина, не столько надей, сколько самаго существа Пираделло, какъ художника: онъ утверждаетъ свое творчество и отрицаетъ творчество челоука; вмѣсто космоса видитъ онъ хаосъ, которому онъ одинокъ, художникъ, диктуетъ строй и законъ, даетъ форму, а существуемъ безсмысленно копошнщимся въ

немъ — личность, т. е. маску. Да погибнетъ челоука, да здравствуетъ Dramatis Persona!

Этимъ, конечно, еще ничего творчески не свершено, и театральннй демургъ оказывается на дѣлѣ грубоватымъ виртуозомъ, но по крайней мѣрѣ многое догосорено. Можно найти у Пираделло (какъ, напримѣръ, и у Пруста) справедливую борьбу противъ социальнн обусловленнаго статическаго понятія личности, едва ли не господствующаго въ латинскихъ странахъ, при которомъ остается geprägte Form, но нельзя сказать, что она le bend sich entwickelt; однако отрицаетъ онъ не ту или иную форму пониманія личности, а самую личность. «Дѣйствующее лицо» уже не отвѣчаетъ у него никакой реальности. И даже заглядывая вглубь самого себя, онъ не видитъ тамъ ничего, кромѣ не живущаго, а только мыслящаго «Я», претендующаго на абсолютную власть надъ всякимъ «явленіемъ», насковзь проанализированнаго имъ міра. Получается то, о чемъ было уже сказано съ такою силой въ «Петербургѣ» Андрея Бѣлаго: «Сознаніе отдѣлялось отъ личности, личность же представлялась сенатору, какъ черепная коробка и какъ пустой опорожненный футляръ». Человѣчески отвлеченная, никакимъ конкретнымъ содержаніемъ не наполненная гордыня сквозитъ въ современной литературѣ у всѣхъ наиболее послѣдовательныхъ ея вождей, у Валери, напримѣръ, которому мы обязаны формулой: *Pétroite et bizarre morsure de l'orgueil absolu qui ne veut dépendre que de soiz* или у Жида, съ его культомъ «dispo-

abilité), готовности измѣниться (и измѣнить), съ его нежеланиемъ свершиться, стать собою — отдавъ себя — нежеланіемъ, предсказаннымъ Достоевскимъ въ «Запискахъ изъ Подполья», гдѣ герой заявляетъ, что «умный человекъ и не можетъ серьезно чѣмъ-нибудь сдѣлаться, а дѣл-

ется чѣмъ-нибудь только дуракъ». Въ послѣднемъ основаніи своемъ болѣзнь искусства, не умѣнье создать живое — не только болѣзнь, но и грѣхъ: отказъ отъ творчества, то-есть отъ Творца въ себѣ, отказъ отъ сліянія съ творческой основой міра.

В. Вейдле.

Романъ Чехова

О какой-нибудь большой и серьезной любви, перелитой Чеховымъ въ ранней молодости, нѣтъ упоминанія ни въ е.о перепискѣ, ни въ свидѣтельствахъ о немъ близко знавшихъ его людей. Были увлеченія, были случайныя связи. Тѣмъ неожиданнѣе кажется разыгравшійся на послѣднихъ страницахъ его жизни романъ.

Въ воспоминаніяхъ О. Л. Книпперъ, приложенныхъ къ «Перепискѣ»*), очень краткихъ, сдержанныхъ, она рассказываетъ о себѣ и изъ ея разказа легко понять, чѣмъ для нея, строго и чопорно воспитанной «барышни», которая серьезно занималась музыкой, пѣніемъ, иностранными языками, явилась сына Московскаго Художественнаго театра, куда она поступила сравнитель-

но поздно, лишь послѣ смерти отца, не позволявшаго ей даже и мечтать о томъ, чтобы стать артисткой.

«И вотъ, наконецъ, я — у дѣли, я достигла того, о чемъ мечтала — я актриса, да еще въ какомъ-то необычномъ, новомъ театрѣ», — пишетъ она. «Я вступила на сцену съ твердой убѣжденностью, что ничто меня не оторветъ отъ нея, тѣмъ болѣе, что и въ личной жизни моей прошла трагедія разочарованія перваго юнаго чувства. Театръ, казалось мнѣ, долженъ былъ заполнить одинъ всѣ стороны моей жизни.

Но на самомъ порогѣ этой жизни, какъ только я приступила къ давно грезившей мнѣ дѣятельности, какъ только началась моя артистическая жизнь, я встрѣтилась съ Антономъ Павловичемъ Чеховымъ»...

«Никогда не забуду той третней взволнованности, которая овладѣла мною еще наканунѣ, когда я прочла записку Владиміра Ивановича*) о томъ, что завтра, 9 сентября**), А. П. Чеховъ бу-

*) Письма А. П. Чехова къ О. Л. Книпперъ были изданы въ 1924 году книгоиздательствомъ «Слово» въ Берлинѣ. Отвѣтныя письма О. Л. Книпперъ, отрывки которыхъ приводятся въ статьѣ М. Курдюмова, еще только должны появиться въ ближайшемъ времени въ русскомъ и французскомъ изданіяхъ.

Ред.

*) Немировича-Данченко.

**) 1898 года.

деть у нас на репетиции «Чайки», ни того необычайного состояния, в котором шла я в тот день в Охотничий клуб на Воздвиженкѣ, гдѣ мы репетировали, пока не было готово зданіе нашего театра в Каретномъ ряду, ни того мгновенія, когда я в первый разъ стояла лицомъ къ лицу съ Чеховымъ... И съ этой встрѣчи началъ медленно загниваться тонкій и сложный узелъ моей жизни».

Дальше Книпперъ рассказываетъ объ успѣхахъ «Чайки», о томъ, какъ пришла къ ней во время одного изъ спектаклей въ уборную познакомиться сестра писателя, М. П. Чехова и какъ отсюда началось ея сближеніе съ семьей Чехова, жившаго ту зиму въ Ялтѣ.

Надо учесть, какое значение для Чехова и для всей его семьи имѣлъ успѣхъ именно этой пьесы, которая передъ тѣмъ «спровалилась» въ казенномъ Александринскомъ театрѣ, причинивъ ему, какъ автору, самый большой ударъ, когда либо имъ пережитой за все время его въ обществѣ очень удачливой литературной дѣятельности. Молодая, талантливая артистка, прекрасно воспитанная, очень культурная и обаятельная женщина появляется въ семьѣ Чеховыхъ, вноситъ туда свою атмосферу, непохожую на духъ обычной актерской богемы. По прѣздѣ А. П. изъ Ялты, она на три дня прѣзжаетъ гостить къ Чеховымъ въ Мезигово. Тамъ для нея все такъ же ново, какъ и на сценѣ Художественнаго театра, непохоже на ея прежнюю въ строгой обстановкѣ замкнутую жизнь. Въ этихъ условіяхъ и завязывается начало романт

Обмѣнъ письмами, потомъ встрѣча въ Новороссійскѣ и поѣздка на пароходѣ въ Ялту, гдѣ Книпперъ, живя въ семьѣ близкихъ своихъ друзей, постоянно общается съ Чеховымъ.

Въ августѣ Чеховъ и Книпперъ вмѣстѣ возвращаются въ Москву, загѣмъ въ концѣ августа Чеховъ опять ѣдетъ въ Ялту и по письмамъ ихъ другъ къ другу уже видно, что стѣсненность и натянутость отношеній, которая ощущались въ началѣ ихъ знакомства и переписки, теперь исчезли. Но о любви ни одного слова. Устанавливается то, что французы называютъ *amitie amoureuse* и устанавливается надолго. «Мнѣ было грустно, когда Вы уѣхали, такъ тяжело, что если бы не Вишневецкій, который провожалъ меня, то я бы ревѣла всю дорогу. Пока не заснула, ѣхала съ Вами». Съ радостнымъ чувствомъ довѣрія и близости она рассказываетъ ему о своемъ любимомъ театрѣ, о томъ, какъ была на квартирѣ у Чеховыхъ: — «Въ Вашемъ кабинетѣ стоитъ диванъ, виситъ Вашъ большой портретъ, уютно тамъ, хорошо и я абонировалась на уголь дивана прямо противъ портрета, буду приходить и сидѣть».

Чеховъ въ своихъ отвѣтахъ точно не замѣчаетъ этихъ порывовъ чувства. У него обычныя шуточки, обрывистыя короткія фразы, обращенія «милая актриса» или «великолѣпная актриса», «замѣчательная женщина». Впрочемъ, и онъ говоритъ: «если бы Вы знали, какъ меня обрадовало Ваше письмо... Я привыкъ къ Вамъ и теперь скучаю и никакъ не могу примириться съ мыслью, что не увижу Васъ до весны». Но

далее опять слѣдуютъ шутки, неизбежныя сообщенія о погодѣ, мелочи.

Съ августа 1899 года и до апрѣля 1890 года они не видѣлись. Обмѣнъ письмами, и очень частый, продолжается. Тонъ Чехова все ласковѣе и нѣжнѣе. Онъ уже привыкъ къ тѣсной дружбѣ съ «великолѣпной, необыкновенной актрисой». Впрочемъ, Книперъ пишетъ чаще, нежели Чеховъ и письма ея полнѣе, содержательнѣе. По вечерамъ, вѣрнѣе по ночамъ, вернувшись изъ театра, на долгихъ иногда страницахъ рассказываетъ она ему о своей жизни, цѣликомъ наполненной театромъ. Передъ нами не актриса. «нищущая успѣха» и упоенная этимъ успѣхомъ, когда онъ ея выпадаетъ на долю, а вдумчиво относящаяся къ искусству женщина, не только требовательная, но придирчиво недобѣрчивая къ своей работѣ, къ своему дарованію. О томъ, напр., какъ она прекрасно играла въ «Одинокихъ», она ни словомъ не упоминаетъ Чехову, онъ самъ пишетъ ей объ этомъ по отзывамъ другихъ. Но зато она не щадитъ себя, когда, уступивъ указаніямъ режиссеровъ, на первомъ представленіи «Дяди Вани» измѣняетъ весь ею задуманный рисунокъ главной женской роли и исполненіе получается неудачное. Ея письмо на эту тему полно искренняго отчаянія.

«...Играла я невообразимо скверно — почему?.. На спектакль я адски волновалась, прямо трусила, чего со мной еще не случилось и потому было трудно играть навязанный мнѣ образъ. Домашніе въ ужасѣ отъ моей игры... Боже, какъ мнѣ тяжело. Страшно думать о будущемъ, о слѣду-

ющихъ работахъ... На другой день она приписываетъ къ этому письму: «Не могу Вамъ сказать, какъ меня убиваетъ мысль, что именно въ Вашей пьесѣ я играла неудачно... Что меня будутъ бранить газеты и публика — это очень неприятно, конечно, но это ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что я терплю при мысли, какъ я угостила Елену Андреевну, т. е. Васъ и самое себя. Простите, ради Бога, не ругайте меня, завтра же буду исправляться. Надо мнѣ только окрѣпнуть, а то я ослабѣла и обезсилѣла».

Чеховъ ее успокаиваетъ: «Я принимаю Ваше настроеніе, милая актриса; но все же на Вашемъ мѣстѣ я бы не волновался такъ отчаянно... разъ навсегда надо оставить полененіе объ успѣхахъ и не успѣхахъ. Пусть это Васъ не касается, Ваше дѣло работать исподволь, изо дня въ день, втихомолочку, быть готовой къ ошибкамъ, которыя неизбежны, къ неудачамъ, однимъ словомъ, гнуть свою актрисичью линію, а вызовы пусть считаютъ другіе».

Тихій и уравновѣшенный Чеховъ, при всей своей чуткости, не до конца улавливалъ кипуче-впечатлительную натуру своей будущей жены и не только въ театральной ея работѣ. Это непониманіе особенно остро ощущается въ ихъ отношеніяхъ, когда они вступаютъ въ новую фазу. До тѣхъ же поръ все продолжается дружба, продолжаются письма—длинные, часто нервныя со стороны О. Л. и болѣе короткія, замкнутыя со стороны А. П.

Но вотъ проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ и въ письмахъ Книперъ отъ 5-го февраля мы читаемъ: «Что это значитъ, дорогой

писатель? Вчера я слышала от Марии Павловны, что Вы уѣзжаете за границу на все лѣто? Этого не можетъ быть, слышите! Это Вы такъ только написали, а теперь забыли, правда? Это невѣроятно жестоко писать такія вещи. Сію же секунду отвѣтите мнѣ, что это не такъ, что лѣто мы будемъ вмѣстѣ».

Чеховъ отвѣчаетъ: «Милая актриса, зима очень длинная, мнѣ нездоровилось, никто мнѣ не писалъ чуть ли не цѣлый мѣсяцъ — и я рѣшилъ, что мнѣ ничего болѣе не останется, какъ уѣхать за границу, гдѣ не такъ скучно. Но теперь потеплѣло, стало лучше — и я рѣшилъ, что поѣду за границу только въ концѣ лѣта, на выставку. А Вы то зачѣмъ хандрите?. Вы живете, работаете, падѣтесь, пьете, смѣтаетесь, когда Вамъ читаетъ Вашъ дядя — чего же Вамъ еще? Я — другое дѣло. Я отрываю отъ почвы, не живу полной жизнью, не пью, хотя люблю выпить; я люблю шумъ и не слышу его, однимъ словомъ, я переживаю теперь состояніе пресаженаго дерева, которое находится въ колебаніи: приняться ему, или начать со... ь? Если я иногда позволяю себѣ въ письмѣ жаловаться на скуку, то имѣю на это нѣкоторое основаніе, а Вы?..»

Ранней весной Художественный театръ ѣдетъ въ Крымъ, въ Ялту и въ Севастополь, — главнымъ образомъ для того, чтобы показавъ Чехову свои постановки. Киниллеръ, вмѣстѣ съ сестрой писателя, пріѣзжаетъ раньше и гоститъ у Чеховыхъ до началу спектаклей. Встрѣчи подогрѣваютъ вялое чувство Чехова гораздо больше, чѣмъ переписка. Изъ

Москвы О. Л. пишетъ: «...Ялта промелькнула, какъ сонъ. Мнѣ отраднo вспомнить, какъ хорошо я провела первые дни у Васъ, когда я не была еще актрисой. Только гадко, что Вы прихворнули. Отъ Севастополя у меня осталось скверное воспоминаніе, да и у Васъ тоже, правда?.. Ну а Вы что подѣлываете, писатель? Что у Васъ на душѣ, что у Васъ въ головѣ, что Вы надумываете въ Вашемъ славномъ кабинетѣ? Напишите мнѣ хорошее, искреннее письмо, только не отдѣлывайтесь фразочками, какъ Вы часто любите дѣлать... Въ іюнѣ надѣюсь увидѣться съ Вами, коль Вы меня примете. Поживемъ потихонечку, да Вы вѣдь, впрочемъ, удираете въ Парижъ. Ну, видно будетъ».

Письмъ Чехова, отвѣтныхъ и вообще упоминающихъ о пріѣздѣ Художественнаго театра весной 1900 г. въ Крымъ, нѣтъ. Онъ вскорѣ самъ поѣхалъ въ Москву, но, пробывъ тамъ всего двѣ недѣли, изъ-за дурной погоды возвратился въ Ялту.

Съ начала августа возобновляется переписка, письмомъ О. Л. поѣзда (между Севастополемъ и Харьковомъ), уже на слѣд.

«...Вчера какъ разстались съ тобой, — долго смотрѣла въ тебѣ и много, много было у меня на душѣ. Конечно, всплакнула. Я сейчасъ и писать не могу толкомъ, только думаю обо всемъ безсвязно. Вчера жутко было одной остаться отъ всего, что нахлынуло на меня сразу»..

Всѣмъ за значъ второе письмо изъ Москвы, болѣе успокоенное. Теперь ихъ жизнь связались, но въ тайнѣ отъ другихъ.

И, видимо, ничего не было сказано Чеховымъ женщиной, которая стала его женой, о томъ, чтобы и впредь связать свою судьбу съ ней. Одна пока только фраза въ письмѣ Книпперъ указываетъ на это: «... Встрѣтили меня всѣ (въ театрѣ) хорошо, всѣ спрашивали про тебя, когда ты придешь. Что я могла отвѣтить?»

Вотъ что пишетъ Чеховъ послѣ того, когда неопредѣленная, долго длившаяся дружба перешла въ полноту любви:

«Милая Оля, радость моя, здравствуй! Сегодня я получилъ отъ тебя письмо, первое послѣ моего отъѣзда, прочелъ, потомъ еще разъ прочелъ и вотъ пишу тебѣ, моя актриса. Проводивъ тебя, я поѣхалъ въ гостиницу Киста, тамъ ночевалъ; на другой день отъ скуки и отъ нечего дѣлать поѣхалъ въ Балаклаву. Тамъ все прятался отъ барыни, узнавшихъ меня и желавшихъ устроить мнѣ овацию; тамъ ночевалъ и утромъ выѣхалъ на Тавель*). Начало чертовски. Теперь сижу въ Ялтѣ, скучаю, злосю, томлюсь. Вчера былъ у меня Алексѣевъ**), Говорили о пьесѣ, далъ ему слово, при чемъ обѣщаль кончить пьесу не позже сентября. Видишь, какой я умный. Мнѣ все кажется, что отворится сейчасъ дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь, ты теперь на репетиціяхъ или въ Мерзляковскомъ пер., далеко отъ Ялты и отъ меня. Прощай, да хранять тебя силы небесныя, ангелы хранители. Прощай, дѣвочка хорошая.

Твой Antonio.

*) Название парохода.

**) К. С. Станиславскій.

Теперь О. Л. Книпперъ пишетъ еще чаще. Она живетъ своимъ чувствомъ, сознаниемъ и ощущеніемъ своего счастья: «Сидѣла, разбиралась за письменнымъ столомъ — поглядѣла на твои карточки и глядѣла долго и много думала. И ужасно мнѣ стало хорошо на душѣ отъ сознанія, что ты меня любишь». Если долго нѣтъ отвѣтныхъ писемъ, она тревожится и мучается.

У Чехова то ровное настроеніе, которое бывасть свойственно людямъ, когда яркое счастье уже пережито (или кажется, что оно было пережито) и сложилось нѣчто привычное, крѣпко налаженное въ отношеніяхъ двухъ людей. Это привычное необходимо, оно приросло къ жизни, но не заливаетъ душу вспышками ослѣпительнаго свѣта. А, между тѣмъ, еще ничего не сложилось окончательно, ничего не опредѣлено.

Чеховъ пишетъ о мелочахъ, пишетъ ласково «уютнымъ» тономъ, съ повтореніемъ и умноженіемъ прозвищъ, часто съ той же самой жалобой на скуку, о которой онъ твердилъ, когда не было у него «ничего новаго» въ его жизни. Книпперъ **тоскуетъ** о немъ, но она не знаетъ **скуки**. И ей хочется, чтобы и въ душу Чехова влилась живая радость жизни, разрывающая сѣрую паутину однотонной смѣны дней: «Не злись, не скучай, не томись. Увидимся — все позабудемъ. Мнѣ хочется, чтобы у тебя былъ духъ бодрый теперь, свѣжій. А когда увидимся? Нигдѣ это не написано?»

Въ коротенькихъ въ большинствѣ случаяхъ письмахъ изъ Ялты въ Москву ни слова нѣтъ о будущемъ ихъ обоихъ. Чеховъ какъ будто намѣренно объ этомъ

не думаетъ, молчитъ. Молчаніе, конечно, смущаетъ другую сторону.

И вотъ впервые О. Л. осторожно и деликатно касается вопроса, который не могъ ее не тревожить. Она жила въ семьѣ своей матери; правда, по профессіи она стала «актрисой», но не въ обычномъ тогдашнемъ пониманіи, ибо и театръ былъ совсѣмъ необычный; она выросла въ правилахъ и понятіяхъ опредѣленнаго круга. И у нея прорывается въ письмѣ: «А вотъ сейчасъ долго не писала... и, глядя на твою фотографію, думала, думала и о тебѣ, и о себѣ, и о будущемъ. А ты думаешь? Мы такъ мало съ тобой говорили и такъ все неясно, ты этого не находишь? Ахъ, ты, мой человѣкъ будущаго!»

Чеховъ какъ будто не слышитъ этихъ вопросовъ. Въ встрѣчѣ съ О. Л. Книпперъ онъ въ своемъ обычномъ существованіи, гдѣ и вѣнше и внутренне все осталось попрежнему, все течетъ по старому руслу.

Онъ занятъ пьесой «Три сестры», которая «сидитъ въ головѣ, уже вылилась, выровнялась и просится на бумагу»; правда, гости ему мѣшаютъ работать, но отъ него самого въ значительной степени зависитъ оградить себя отъ нихъ. Однако ни творчество, ни любовь не сообщаютъ ему душевнаго подъема и онъ прибавляетъ свое обычное: «Я скучаю и злюсь. Денегъ выходить чертовски много, я разоряюсь, вылетаю въ трубу. Сегодня жесточайшій вѣтеръ, буря, деревья сохнутъ... Духа моя, скучно!» Это письмо является отвѣтомъ на просьбу Книпперъ, чтобы у него «былъ духъ бодрый теперъ, свѣжій».

Но и на второе ее письмо, въ которомъ звучитъ больной для нея вопросъ о будущемъ, Чеховъ отвѣчаетъ совсѣмъ «не на тему». Онъ мечтаетъ о встрѣчѣ, о дальнѣйшемъ ни слова: «Когда приѣду, пойдемъ опять въ Петровско-Разумовское? Только такъ, чтобы на цѣлый день и чтобы погода была хорошая, осенняя и чтобы ты не хандрила и не повторяла каждую минуту, что тебѣ нужно на репетицію». И заканчиваетъ письмо: «Въ Ялтѣ уже осень. Ну, милосія моя, будь здорова и пиши, пиши, пока не надоѣтъ. Прощай, мамуся, ангель мой, грѣшечка моя прекрасная. Мнѣ безъ тебя очень скучно».

Изъ-за работы надъ пьесой онъ пишетъ теперь очень рѣдко, иногда всего нѣсколько словъ. О. Л. тревожится: «Наконецъ то пришло отъ тебя письмо, дорогой мой Антонъ! Какъ я рада, что ты здоровъ и что ты работаешь. Я хочу, чтобы ты былъ веселъ, чтобы ты не хандрилъ, чтобы ты скорѣе приѣзжалъ. Ахъ, все для меня такъ смутно, смутно...»

Чеховъ ей въ отвѣтъ рассказываетъ сначала о работѣ надъ пьесой, затѣмъ о ялтинскихъ гостяхъ. Въ заключеніе говоритъ: «Пиши мнѣ почаще, твои письма радуютъ меня всякій разъ и поднимаютъ мое настроеніе, которое почти каждый день бываетъ сухимъ и черствымъ какъ крымская земля. Не сердись на меня, моя миленькая. Гости уходятъ, яду провожать ихъ. Твой Антоніо»

Проходитъ около мѣсяца. Мы читаемъ:

«Наконецъ то ты мнѣ человѣческое письмо написалъ, — а то какія-то писульки присылалъ, гочно тебѣ тяжело писать. Знай,

что мое искреннее горячее желаніе — чтобы ты былъ здѣсь, со мной. Если ты не можешь жить здѣсь зиму, я тебя должна видѣть передъ наступленіемъ зимы, а то мнѣ будетъ слишкомъ тяжело, милый мой Антонъ... Люби меня и приѣзжай и опять любви, чтобы было много любви, тепла и, ради Бога, не так ничего въ себя, все говори, чтобы все было ясно, все договорено. Ничего больше не хочу тебѣ писать, пока не получу депешу, что ты ѣдешь. Ты долженъ приѣхать. Милый, голубчикъ, скорѣе, скорѣе будь здѣсь. Намъ надо увидаться. — Пока цѣлую тебя горячо, цѣлую твои хорошіе глаза и жду».

И отвѣтъ:

«Милюся моя Оля, голубчикъ, здравствуй! Какъ поживаешь? Давненько уже я не писалъ тебѣ, давненько. Совѣсть меня мучаетъ за это немножко, хотя я бы такъ ужъ виновать, какъ можетъ это казаться. Писать мнѣ не хочется, да и о чемъ писать?

О моей крымской жизни? Мнѣ хочется не писать, а говорить съ тобой, говорить, даже молчать, но только съ тобой. Завтра въ Москву ѣдетъ мать, быть можетъ и я поѣду скоро, хотя совсѣмъ непонятно, зачѣмъ я поѣду туда? Зачѣмъ? Чтобы повидаться и опять уѣхать? Какъ это интересно. Приѣхать, взглянуть на театральную толчею и опять уѣхать. ... Я уѣду въ Парижъ, потомъ ѣброваю въ Ниццу, а изъ Ниццы въ Африку, если не будетъ тамъ чумы».

Чеховъ, конечно, сознавалъ, что его письмомъ о существованіи обидно и жестоко должно звучать для близкой ему женщины и онъ при-

писываетъ: «Сердишься на меня, дуся? Что дѣлать? Мнѣ темно писать, свѣчи мои плохо горятъ. Милая моя, крѣпко цѣлую, прошай, будь здорова и весела! Вспоминай обо мнѣ почаще. Ты рѣдко пишешь мнѣ, это я объясняю тѣмъ, что я уже надоѣлъ тебѣ, что за тобой стали ухаживать другіе. Что-жъ? Молодецъ, бабуса! Цѣлую ручку. Твой Ant.»

Ревность и раздраженіе сквозь всѣ ласковыя слова звучать въ этомъ письмѣ опредѣленно. Но договоренности опять нѣтъ. И нѣтъ прямыхъ словъ о томъ, чтобы Книпперъ ради него, ради ихъ общаго счастья оставила сцену. Скажутъ: Чеховъ изъ деликатности не хотѣлъ ее, талантливую артистку, оторвать отъ театра. Но настоящая большая любовь не знаетъ умалчиваній, когда вопросъ касается чувства и жизни своихъ людей. Любовь радостно принимаетъ жертву, когда готова сама съ такой же радостью отвѣтить жертвой.

Хотѣлъ-ли, готовъ-ли былъ до конца самъ Чеховъ измѣнить свою жизнь ради любимой женщины?

Давно, впрочемъ, не въ печати, а въ общественномъ мнѣніи, утвердилось представленіе о «бросенномъ въ Ялтѣ больномъ писателѣ». Сложный вопросъ двухъ чужихъ жизней обсуждался у насъ, особенно прежде, весьма упрощенно. Когда нибудь наступитъ время безпристрастнаго и правдиваго его освѣщенія. Но и теперь необходимо отмѣтить, что въ установившейся оцѣнкѣ взаимоотношеній Чехова и его жены немало было досужихъ предположеній. Переписка Чехова въ этомъ вопросѣ является драгоцѣн-

нымъ и убѣдительнымъ документомъ.

Въ очеркѣ воспоминаній О. Л. Книпперъ сама вплотную подходитъ къ этому вопросу:

«... И опять начинаются разлуки и встрѣчи», — говоритъ она о періодѣ, наступившемъ уже послѣ женитьбы на ней Чехова, — «только разставанія становятся еще чувствительнѣе и мучительнѣе, и уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ перваго же изъ нихъ, я стала сильно подумывать — не бросить ли сцену. Но рядомъ вставала вопросъ, — нужна ли Антону Павловичу просто жена, оторванная отъ живого дѣла? Я чуяла въ немъ человѣка-одиночку, который, можетъ быть, тяготился бы лонкой жизни своей и чужой. И онъ такъ дорожилъ связью черезъ меня съ театромъ, возбуждившимъ его живѣйшій интересъ. Я невольно съ необычайной остротой вспомнила всѣ эти переживания, когда много лѣтъ спустя, при изданіи писемъ Антона Павловича, я прочла его слова, обращенныя къ А. С. Суворину еще въ 1895 г.: «Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условія: все должно быть, какъ было до этого, т. е. она должна жить въ Москвѣ; а я въ деревнѣ (онъ жилъ тогда въ Мслиховѣ) и я буду къ ней ѣздить. Счастья же, которое продолжается изо дня въ день, отъ утра до утра, — я не выдержу. Я обѣщаю быть великолѣпнымъ мужемъ, но дайте мнѣ такую жену, которая, какъ луна, являлась бы на моемъ небѣ не каждый день».

«Я не знала тогда этихъ словъ, но чувствовала, что я нужна ему

такая, какая я есть; и все-таки, послѣ моей тяжелой болѣзни въ 1902 году, я опять серьезно говорила съ нашими директорами о своемъ уходѣ изъ театра, но встрѣтила сильный отпоръ. Антонъ Павловичъ тоже возставалъ, хотя и воздерживался отъ окончательнаго рѣшенія. Я понимала причину его сдержанности, но никогда мы не трогали ее словами и не говорили о томъ, что мѣшало намъ до конца соединить жизни и только въ письмахъ появляются и недоговоренность и подозрительность и иногда раздраженіе. Такъ и потекла жизнь — урывками, съ учащенной перепиской въ періоды разлуки».

«Съ этой поры, — рассказываетъ дальше Книпперъ, — жизнь А. П., больше чѣмъ прежде, дѣлится между Москвой и Ялтой... Въ Ялтѣ «надо» было жить, въ Москву «тянуло» все время... Скрасило-ли бы пресбываніе жены вынужденную «ссылку» въ Крымъ? Да, вѣроятно, не было бы, особенно вначалѣ, острѣхъ припадковъ скуки. Но былъ ли бы Чеховъ счастливъ, устроивъ себѣ семью, какъ неизмѣнную форму жизни? Можетъ быть, полушутливое его сообщеніе Суворину объ «условіяхъ» женитьбы и нельзя принимать очень всерьезъ, тѣмъ болѣе, что Чеховъ тогда какъ будто никого не любилъ. Но въ шуткѣ все же звучитъ и нѣчто продуманное: «счастья, которое будетъ продолжаться изо дня въ день, отъ утра до утра, — я не выдержу». О. Л. первый годъ ихъ брака онъ писалъ о театрѣ: «поиграй еще дочковъ пять, а тамъ видно будетъ».

Вернемся, однако, назадъ, къ

последовательному течению переписки. Тогда, осенью (1900 г.), когда онъ писалъ «Три сестры» и Книпперъ со дня на день ждала его обѣщаннаго прїѣзда въ Москву, а онъ высказалъ ей свою досаду на «театральную толчею» и намѣреніе прямо ѣхать за границу, она пишетъ ему проникнутое острой душевной болью письмо. Въ этомъ письмѣ прорывается то, что накопилось въ ея душѣ отъ недоговоренности и уклончивыхъ ускользаній со стороны Чехова.

«Отчего ты не пишешь, Антонъ? Я ничего не понимаю. Не пишу, потому что жду тебя, потому что хочу тебя сильно видѣть. Что тебѣ мѣшаетъ? Что тебя мучаетъ? Я не знаю, что думать, беспокоюсь сильно. — Или у тебя нѣтъ потребности видѣть меня? Миѣ страшно больно, что ты такъ не откровененъ со мной. Всѣ эти дни миѣ хочется плакать. Отъ всѣхъ слышу, что ты убѣждаешь за границу. Неужели ты не понимаешь, какъ тяжело миѣ это слышать и отвѣчать на миллионы вопросовъ такого рода? Я ничего не знаю. Ты пишешь такъ неопредѣленно: прїѣду послѣ. Что это значитъ? Все время здѣсь тепло, хорошо, ты бы отлично жилъ здѣсь, писалъ бы, мы бы могли любить другъ друга, быть близкими. Намъ было бы легче перенести разлуку въ нѣсколько мѣсяцевъ. Я не вынесу этой зимы, если не увижу тебя. Въдѣ у тебя любящее, нѣжное сердце, зачѣмъ ты его дѣлаешь черствымъ?.. Миѣ ужасна мысль, что ты сидишь одинъ и думаешь, думаешь... — Антонъ, милый мой, любимый мой, прїѣзжай. Или ты меня знать не хо-

чешь, или тебѣ тяжела мысль, что ты хочешь соединить свою судьбу съ моей? Такъ напиши миѣ все это откровенно, между нами все должно быть чисто и ясно, мы не дѣти съ тобой. Говори все, что у тебя на душѣ, спросивши у меня все, я на все отвѣчу. Въдѣ ты любишь меня? Такъ надо, чтобы тебѣ было хорошо отъ этого чувства и чтобы и я чувствовала тепло, а не непониманіе какое-то. Я должна съ тобой говорить, говорить о многомъ, говорить просто и ясно. Скажи, ты согласенъ со мной?»

Мягко и опять уклончиво отвѣчаетъ Чеховъ: «Милюся моя Оля, славная моя актрисочка, почему этого тонъ, это жалобное, кисло-мучное настроеніе? Развѣ въ самомъ дѣлѣ я такъ уже виноватъ? Ну, прости, милая, хорошая, яе сердись, я не такъ виноватъ, какъ подсказываетъ тебѣ твоя мнительность. До сихъ поръ я не собрался въ Москву, потому что былъ нездоровъ, другихъ причинъ не было, увѣрюю тебя, милая, честнымъ словомъ. Честное слово! Не вѣришь?»

Дальше опять «хроника», а въ концѣ письма: «По письму твоему, судя въ общемъ, ты хочешь и ждешь какого-то объясненія, какого-то длиннаго разговора съ серьезными лицами и серьезными послѣдствіями, а я не знаю, что сказать тебѣ, кромѣ однаго, что я уже говорилъ тебѣ 10.000 разъ и буду говорить, вѣроятно, еще долго, т. е. что я тебя люблю—и больше ничего. Если мы теперь не вмѣстѣ, то виноваты въ этомъ не я и не ты, а бѣсъ, вложившій въ меня бациллы, а въ тебя любовь къ искусству».

Въ отвѣтъ Чехова характерно

выступает основной тонъ его души, такъ полно проявившейся и въ его произведеніяхъ, сообщившей имъ эту особую, ему одному свойственную покорную, мягкую уступчивость: жизнь приходится принимать такую, какъ она есть. Изъ-за этого приходится принимать и «бациллъ» въ себя и «любовь къ искусству» въ любимой женщинѣ. Бороться не нужно и бесполезно. Чеховъ тихъ и крохотокъ. Эти двѣ черты въ немъ очень трогательны. Но за ними ощущается и другое — какая-то внутренняя инертность, отсутствіе «жара души», а отсюда и отсутствіе всецѣлаго пониманія «жаркихъ душъ», нѣкое отъ нихъ отталкиваніе. Онъ обходитъ ихъ въ своемъ творчествѣ. Въ личной своей жизни онъ тоже сторонится отъ всего того, что можетъ разрушить его покой, хотя бы и далеко не всегда радостный. Лучше безъ излишнихъ волнений, безъ бурь и сильныхъ переживаній.

«Я не вынесу этой зимы, если не увижу тебя», — пишетъ Книпперъ. Чеховъ не очень беретъ на вѣру эти слова. И не потому, что сомнѣвается въ ихъ искренности, но онъ не любитъ гиперболъ. Поэтому, вѣроятно, не хочетъ и «объясненій»... «съ серьезными лицами и серьезными послѣдствіями». Онъ въ высшей степени добросовѣстно во всемъ, жуждъ жи и преувеличеній. И любить онъ именно добросовѣстно — какъ можетъ и умѣетъ, не обманывая ни себя, ни другого. Возможно, что передъ его трезвымъ и именно добросовѣстнымъ сознаниемъ возникалъ вопросъ: а если близкая ему женщина броситъ ради него сцену, сумѣетъ ли онъ за-

полнить пустоту, которая неизбежно образуется въ ея жизни отъ разрыва съ любимымъ искусствомъ? И не внесетъ ли такая перемена еще худшихъ тревогъ въ ихъ жизнь? Будетъ ли тогда полнота лучше теперешней урзанности?

Послѣ отъѣзда Чехова они обмѣниваются письмами, очень характерными для обоихъ. Во время его пребыванія въ Ниццѣ и потомъ путешествія черезъ Италію переписка продолжается. Скупы и коротки письма Чехова. «Мысли у меня теперь не разгонистыя», признается онъ самъ. Слова и образы нужны ему для литературнаго творчества, которое дается уже съ великимъ трудомъ. Въ этотъ періодъ одному изъ своихъ корреспондентовъ онъ признается: «пишу по четыре строчки въ день, да и то съ большими мученьями».

Болѣзнъ ослабила его и, чѣмъ дальше, тѣмъ больше разрушала весь организмъ. Физическія силы незамѣтно уходили, а съ ними падала и душевная энергія, инстинктивно долженъ былъ онъ ее беречь. Чеховъ не сгоралъ, но медленно таялъ.

На закатѣ дней какъ будто впервые пришла по настоящему радость личного счастья, но онъ точно не довѣряетъ ему до конца. До сихъ поръ онъ не рѣшался связывать себя никакъ. Мелкое, ничтожное, пошлое видѣлось ему всегда и въ семейной жизни, да и въ женской натурѣ вообще. Недаромъ, какъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ О. Л. Книпперъ, Чеховъ сочинилъ для себя въ видѣ воображаемой подруги жизни нѣкую несуществующую «Наденьку», ко-

торая одолеваетъ его ненужными и ревнивыми сценами. Въ юмористическомъ его разсказѣ «Изъ записокъ взыскываго человѣка», даюшемъ каррикатуру семейнаго счастья, изображена такая «Наденька» молодымъ еще Чеховымъ. Не ее ли представлялъ онъ себѣ всегда какъ нѣкую угрозу своему независимо-му существованію?

Но когда жизнь свела его съ женщиной, которой онъ искренно любилъ, онъ тоже не сразу отъжился на рѣшительный шагъ. Впрочемъ, самого себя онъ считаетъ способнымъ на прочную привязанность. Въ новогоднемъ поздравленіи О. Л. изъ-за границы онъ говоритъ ей: «...желаю счастья и покоя и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, такъ лѣтъ 15. Какъ ты думаешь, можетъ быть такая любовь? У меня можетъ, а у тебя нѣтъ. Я тебя обнимаю какъ бы то ни было...»

Но когда черезъ нѣсколько мѣсяцевъ опять самъ собою возникаетъ вопросъ объ оформленіи ихъ брака, Чеховъ какъ и прежде упорно отмалчивается. Между тѣмъ, онъ сознаетъ и не можетъ не сознавать, какъ глубоко отъ этого страдаетъ близкая ему женщина. Въ нѣкоторыхъ ея письмахъ звучитъ сердечная боль, женская обида. Онъ хочетъ видѣть ее, быть съ ней, о другомъ не думать. Когда весной 1901 года онъ усиленно зоветъ ее на Пасху къ себѣ въ Ялту, она отвѣчаетъ: «А на Пасху все-таки не приѣду въ Ялту; подумай и поймешь почему. Это невозможно. Ты такая чуткая душа и зовешь меня. Неужели не понимаешь?»

Онъ настаиваетъ: «непремѣнно приѣзжай, милая, добрая, славная, если не приѣдешь, то обидишь глубоко, отравишь существованіе. Я уже началъ ждать тебя, считая дни и часы».

Тогда Книпперъ вынуждена объяснить: «... Зачѣмъ я приѣду? Опять скрываться, опять страданія матери *), мнѣ это, право, тяжело, повѣрь мнѣ. Мнѣ трудно объ этомъ говорить. Ты вѣдь помнишь, какъ тяжело было лѣтомъ. какъ мучительно. До какихъ же поръ мы будемъ скрываться? И къ чему это? Изъ-за людей? Люди скорѣе замолчатъ и оставятъ насъ въ покоѣ, разъ увидятъ, что это совершившійся фактъ. Да и намъ съ тобой легче будетъ. Я не выношу этихъ неясностей, зачѣмъ такъ отягчать жизнь?! Ну, понялъ ты меня, согласенъ?»

Чеховъ дѣлаетъ видъ, какъ будто онъ именно ничего не понялъ и будто весь вопросъ лишь въ томъ, что О. Л. не нравится Ялта какъ мѣсто встрѣчи и онъ соглашается приѣхать въ Москву, хотя ему «ужасно не хочется изъ Ялты», «не хочется вагона, не хочется гостиницы».

О. Л. опять повторяетъ и разъясняетъ: «Меня мучаетъ, что ты хочешь приѣхать въ Москву, кто знаетъ, какая тамъ погода будетъ. А видѣть тебя хочу... Но мы же не можемъ жить теперь просто хорошими знакомыми... Опять видѣть страданія твоей матери, недоумѣвающее лицо Маши — это ужасно! Я вѣдь у Васъ между двухъ огней. Выскажись ты по этому поводу. Ты все мол-

*) Матери Чехова, жившей въ это время съ нимъ въ Ялтѣ.

чишь. А мнѣ нужно пожить спокойно теперь. Я устала сильно».

Чеховъ вмѣсто того, чтобы «высказаться», сообщает телеграммой, что прїѣдетъ послѣ Пасхи. И вотъ, дабы избавить его и отъ дурной погоды и отъ вагона и отъ гостиницы, Книпперъ посылаетъ ему встрѣчную телеграмму: «Выѣзжаю завтра Ялту, Ольга».

Двухнедѣльное ея пребываніе у Чехова не разрѣшило ничего. Чеховъ прошелъ мимо ея душевнаго состоянія. Онъ опять ей пишетъ о скукѣ своей, затѣмъ въ другомъ письмѣ, послѣ сообщенія о постановкѣ и успѣхѣ «Дяди Вани» въ Прагѣ, мы читаемъ: «Дуся моя, въ Ялтѣ каждый день дождь... Что ты дѣлаешь въ Москвѣ? Напиши, дѣточка, не лѣнись. Безъ тебя и безъ твоихъ писемъ мнѣ становится скучно».

Сегодня принималъ О. Р.*).

Скоро, скоро увидимся, пойдемъ въ Петровско - Разумовское, пойдемъ въ трактиръ, однимъ словомъ, будемъ блаженствовать. Твой портретикъ въ «Нивѣ» очень хорошъ, ты тамъ добрая.

Розы еще не цвѣтутъ, но скоро начнутъ цвѣсть. Послѣ дождей растительность моя пошла бурно. И сегодня небо облачно.

До свиданія, собака! Прощай, собака! Я тебя глажу и цѣлую.

Твой влюбленный въ Книппищу дуралея».

Это письмо — образчикъ любовной лирики Чехова, выраженіе его счастливаго настроенія. И «Книппищу», и «собака», и касторовое масло, и розы, которые скоро начнутъ цвѣсти...

И въ тотъ же самый день (17 апрѣля 1901 г.) пишетъ ему О. Л.

Книпперъ. Другое чувство унесла она съ собой изъ Ялты:

«Вотъ я и въ Москвѣ, милый мой Антонъ! Не могу отдѣлаться отъ мысли, что мы зря разстались, разъ я свободна. Это дѣлается для приличія, да? Какъ ты думаешь? Когда я сказала, что уѣзжаю съ Машей, ты ни однимъ словомъ не обмолвился, чтобы я осталась или что тебѣ не хочется разставаться со мной. Ты промолчалъ. Я рѣшила, что тебѣ не хочется, чтобы я была у тебя, разъ Маша уѣхала. Que dira le monde!. Неужели это была причина? Нѣтъ, не думаю. Я себѣ голову изломала, придумывая невозможное. Хотя я ясно чувствую все, что происходитъ въ тебѣ и потому мнѣ, можетъ быть, трудно было съ тобою говорить о томъ, о чемъ я все хотѣла говорить. Ты помнишь, какая я была дикая послѣдній день? Ты все думалъ, что я сержусь на тебя. Я сейчасъ очень волнуюсь и хочется многое написать тебѣ, написать все, что я чувствую, но чтобы ты понялъ, не истолковалъ бы по своему. А по твоему какъ? Лучше молчать о томъ, что хочется высказать или же наоборотъ? Я знаю, — ты врагъ всякихъ «серьезныхъ» объясненій, но мнѣ не объясняться нужно съ тобою, а хочется поговорить, какъ съ близкимъ человѣкомъ. Мнѣ какъ-то ужасно больно думать о моемъ послѣднемъ пребываніи въ Ялтѣ, несмотря на то, что много дурили. У меня остался какой-то осадокъ, впечатлѣніе чего-то недоговореннаго, туманнаго. Тебѣ, можетъ, неприятно, что я пишу объ этомъ? Скажи мнѣ откровенно. Я не хочу раздражать тебя ничѣмъ. Я такъ ждала весны,

*) *Oleum ricini*.

такъ ждала, что мы будемъ гдѣ-то вмѣстѣ, проживемъ хоть нѣсколько мѣсяцевъ другъ для друга, станемъ ближе, и вотъ я опять «погостила» въ Ялтѣ и опять уѣхала. Тебѣ это все не кажется страннымъ, тебѣ самому? Я вотъ написала все это и рассказываюсь, мнѣ кажется, что и ты самъ все это отлично чувствуешь и понимаешь. Отвѣть мнѣ сейчасъ же на это письмо, если тебѣ захочется написать откровенно, напиши все, что ты думаешь, выругай меня, если надо, только не молчи».

Вторая часть письма Книпперъ заполнена сердечно участливыми вопросами о здоровьи и жизни Чехова въ Ялтѣ. Лишь въ post scriptum сказано прямо: «Пріѣзжай въ первыйхъ числахъ и повѣнчаемся и будемъ жить вмѣстѣ. Да, милый Антоша?»

Откровеннаго отвѣта О. Л. и на этотъ разъ отъ Чехова не дождалась.

Между тѣмъ въ ея семьѣ возникъ чисто практическій вопросъ: ея мать мѣняла квартиру и О. Л. должна была сказать, останется ли она и дальше жить съ матерью, которая стѣснялась спросить ее объ этомъ. Чеховъ же въ это самое время предлагаетъ въ коротенькой записочкѣ лѣтомъ поѣхать вмѣстѣ по Волгѣ, такъ какъ «надо провезти это лѣто возможно удобнѣе, т. е. подальше отъ знакомыхъ».

Послѣ повторно настойчивыхъ вопросовъ онъ, между дѣломъ, вслѣдъ за разными новостями, наконецъ, пишетъ: «Если ты дашь слово, что ни одна душа въ Москвѣ не будетъ знать о нашей свадьбѣ до тѣхъ поръ, пока она

не совершится, то я повѣнчаюсь съ тобой хоть въ день пріѣзда. Ужасно почему то боюсь вѣнчанія, и поздравлений и шампанскаго, которое нужно держать въ рукахъ и при этомъ неопредѣленно улыбаться. Изъ церкви укажутъ бы не домой, а прямо въ Звенигородъ. Или повѣнчаться въ Звенигородѣ. Подумай, подумай, дуся».

Свадьба состоялась въ Москвѣ 25 мая (1901 г.). О ней никто не зналъ, даже мать О. Л. Книпперъ. Потомъ оба уѣхали по Волгѣ, Камѣ и Бѣлой въ Уфимскую губернію, гдѣ Чеховъ началъ было лѣчиться кумысомъ, а затѣмъ въ Ялту, откуда въ концѣ августа Книпперъ должна была вернуться въ театръ.

Чехову не суждено было испытать вѣрность своего сердца и длительность своей любви, о которыхъ онъ писалъ. Что-то вспыхнуло у самого конца его жизненной дороги и угасло вмѣстѣ съ нимъ.

Былъ ли онъ счастливъ?

На такой вопросъ отвѣтить за другого трудно. Можно лишь сказать, что въ своемъ романѣ онъ далъ чтó могъ и взялъ чтó могъ — что вмѣшалось — «по мѣркѣ души».

Слово «привыкъ» все чаще и чаще встрѣчается въ письмахъ женатаго Чехова; то, что прежде, можетъ быть, отпугивало, — становилось постепенно необходимымъ. «Я пріѣду въ Москву въ сентябрѣ», — пишетъ онъ черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ его жена уѣхала изъ Ялты, — «когда напишешь. Безъ тебя мнѣ

очень скучно. Я привык къ тебѣ, какъ маленькій, и безъ тебя неуютно и холодно». Въ нѣкоторыхъ письмахъ онъ благодаритъ О. Л. Книпперъ и говоритъ: «я былъ очень счастливъ». Послед-

нюю зиму (1903-1904) они не разставались. Лѣтомъ вмѣстѣ уѣхали за границу. Но оно было очень короткое, это послѣднее лѣто Чехова.

М. Курдюмовъ.

Кризисъ германскаго сельскаго хозяйства и національ-соціализмъ

Официальной цѣлью аграрной политики Германіи передъ войной была защита ея интенсивнаго сельскаго хозяйства отъ конкуренціи дешевой сельскохозяйственной продукціи экстенсивныхъ странъ. Однако, благодаря большому политическому вѣсу прусскаго дворянства, аграрная политика Германіи получила опредѣленный уклонъ въ сторону преимущественной защиты интересовъ крупнаго землевладѣнія.

Ввозъ сѣрыхъ хлѣбовъ, ржи и овса, въ выгодной реализаціи коихъ на рынокъ заинтересованы почти исключительно крупные хозяйства востока, былъ обложенъ сравнительно высокой пошлиной. Системой такъ наз. «ввозныхъ свидѣтельствъ», имѣвшихъ значеніе вывозныхъ премій, обеспечивалась внутри страны высокая цѣна на рожь даже въ тѣ годы, когда ея урожаи превышали потребность въ ней внутренняго рынка. Въ то же время таможенное обложеніе продуктовъ животноводства, продажа коихъ составляетъ въ Германіи главный доходъ крестьянскихъ хозяйствъ, было незначительно. Правда, и пошлины на кормовое зерно были также не высоки, а ввозъ столь важныхъ для интенсивнаго скотоводства кормовъ, какъ отру-

бей, жмыховъ, былъ совершенно свободенъ. Однако, гармоничное развитіе крупнаго и мелкаго хозяйства такой таможенной политикой не достигалось. Для успешнаго развитія крестьянскаго хозяйства было-бы необходимо покровительствовать развитію интенсивнаго скотоводства. Вмѣсто этого аграрная политика Германіи усилено покровительствовала развитію зерноваго хозяйства. Наканунѣ войны 63,4% посѣяной площади Германіи были заняты подъ зерновыми хлѣбами и, въ частности, 27% подъ рожью.

Крупное сельское хозяйство имѣло опору кромѣ зерноваго хозяйства еще и въ нѣкоторыхъ другихъ отрасляхъ. Въ его рамкахъ получила широкое развитіе культура сахарной свеклы. Производство сахара было въ Германіи картеллировано, контингентировано и защищено высокой пошлиной; это обеспечивало высокія цѣны на сахаръ внутри страны и высокую доходность свеклосахарныхъ хозяйствъ. Вывоженіе было контингентировано и стало привилегіей крупныхъ хозяйствъ, которымъ правительство обеспечивало высокую цѣну за спиртъ. Организация земель-

наго обложения была также благоприятна для крупного хозяйства.

Для удержания на высокомъ уровнѣ доходности крупнаго хозяйства, въ особенности свекло-сахарнаго, имѣло рѣшающее значеніе то обстоятельство, что крупные хозяйства могли широко пользоваться сравнительно дешевымъ трудомъ пришлыхъ изъ русской Польши и Галиціи, рабочихъ, по существу, въ Германіи не вполне полноправныхъ. Численность этихъ рабочихъ превысила передъ войной помилліона.

Сознаніе нѣкоторой политической опасности, сопряженной съ одностороннимъ аграрнымъ строемъ на востокѣ, было не чуждо германскому правительству. Оно пыталось содѣйствовать созданію новыхъ крестьянскихъ хозяйствъ въ порядкѣ внутренней колонизаціи, которая была начата по националистическимъ мотивамъ въ польскихъ провинціяхъ, но затѣмъ велась и во всѣхъ другихъ восточныхъ провинціяхъ. Однако, покровительство крупному землевладѣнію искусственно повышало земельныя цѣны и затрудняло полученіе достаточнаго колонизаціоннаго фонда. Внутренняя колонизація поэтому обходилась дорого и не получила въ Германіи значительнаго развитія. Такъ, за періодъ съ 1891 по 1915 г. было переведено въ руки крестьянъ въ порядкѣ внутренней колонизаціи въ Германіи всего 280 тыс. гектаровъ земли и было вновь создано 16,4 тыс. новыхъ хозяйствъ. При такомъ медленномъ темпѣ колонизація не могла имѣть существеннаго значенія для перераспредѣленія земельной собственности. И дѣйствительно, германскія переписи обнаруживаютъ

значительную, стабильность въ распредѣленіи хозяйствъ по ихъ размѣрамъ.

При всемъ томъ, положеніе всего сельскаго населенія Германіи до войны непрерывно улучшалось. Стремительно растущій спросъ на продукты интенсивнаго хозяйства обезпечивалъ высокую доходность крестьянскаго хозяйства. Невозможность сельскохозяйственной экспансіи для массъ крестьянства компенсировалась широкими возможностями для прирастающаго населенія найти заработокъ на сторонѣ. Это благоприятствовало отбѣдѣ реального дѣлежа крестьянскихъ участковъ.

Однако, надежды нѣмецкихъ аграрныхъ политиковъ на нѣкоторую задержку индустриализаціи Германіи не оправдались. Еще въ 1882 г. 42,5% населенія Германіи жила отъ сельскаго хозяйства; черезъ 25 лѣтъ, въ 1907 — доля сельскохозяйственнаго населенія опустилась до 28,6. При громадныхъ успѣхахъ, которые дѣлала германская промышленность, оттокъ прироста сельскаго населенія къ не-сельскохозяйственнымъ профессіямъ былъ явленіемъ совершенно нормальнымъ. Однако, свидѣтельствомъ неудачи нѣмецкой аграрной политики былъ тотъ фактъ, что сельское населеніе Германіи не только относительно, но и абсолютно шло на убыль: съ 19,2 милл. въ 1882 году оно сократилось до 17,7 милл. въ 1917 г.

II.

Революція 1918 г. не привела къ радикальной реформѣ аграрнаго строя Германіи, какъ это

имѣло мѣсто въ большинствѣ странъ восточной Европы. Въ восточной Германіи не было того многочисленнаго слоя бѣдныхъ, малоземельныхъ крестьянъ, который могъ-бы поставить на очередь осуществленіе такой аграрной реформы. Впрочемъ, въ виду высокой продуктивности крупнаго хозяйства восточной Германіи, такая радикальная реформа, неизбежно связанная съ временной деградацией сельскаго хозяйства, угрожала бы глубокими потрясеніями всей хозяйственной жизни этой части страны.

Большое значеніе имѣло въ этотъ моментъ а также и въ дальнѣйшемъ развитіи аграрной политики Германіи то обстоятельство, что германская социаль-демократія, пришедшая благодаря революціи къ власти, не сочувствовала систематической парцеляціи крупныхъ имѣній, ибо она не желала усиленія крестьянства. Какъ извѣстно, попытки, сдѣланныя еще въ концѣ прошлаго столѣтія Давидомъ и Фольмаромъ повернуть германскую социаль-демократію лицомъ къ крестьянству, не увѣнчались успѣхомъ. Давленію весьма могущественнаго крупнаго землевладѣнія, которое сумѣло подчинить своему вліянію не только крупное, но и среднее крестьянство, социаль - демократія не сумѣла противопоставить собственной аграрной программы, приспособленной къ интересамъ мелкаго крестьянства. Указанныя настроенія социаль - демократіи имѣли рѣшающее значеніе въ развитіи аграрной политики Германіи послѣ войны.

Недостатокъ удобренія, рабочаго скота и въ особенности не-

достатокъ рабочихъ рукъ привели во время войны къ значительной деградации нѣмецкаго сельскаго хозяйства. Однако, сейчасъ - же послѣ окончанія войны начался процессъ возстановленія сельскохозяйственнаго производства, и уже во время инфляціи въ немъ были сдѣланы значительныя инвестиции. Сама инфляція предпочла германскому сельскому хозяйству цѣнный подарокъ — аннулированіе его долговъ, опредѣлявшихся въ 17 млд мар. Наибольше задолженнымъ было крупное землевладѣніе, такъ что инфляція пошла больше всего ему на пользу.

Когда въ 1925 г Германія получила возможность свободно опредѣлять свою таможенную политику, система сел.-хозяйствен (одновременно также и промышленныхъ) пошлинъ вскорѣ была возстановлена, въ общемъ, въ прежней довоенной формѣ, но съ тѣмъ лишь различіемъ, что пошлины на продукты животноводства были опредѣлены нѣсколько выше, чѣмъ до войны.

Блестящая конъюнктура, которая создалась въ Германіи послѣ утвержденія плана Дауса въ связи съ громаднымъ приливомъ иностранныхъ капиталовъ, былъ прекрасно использована ея сельскимъ хозяйствомъ. Его довоенная производительность была возстановлена. Но возстановленіе сельскаго хозяйства шло примѣрно въ томъ-же направленіи, какъ до войны; сколько-нибудь замѣтнаго отступленія зерноваго хозяйства передъ интенсивными отраслями сельскаго хозяйства не имѣло мѣста. Въ то-же время развитіе интенсивныхъ отраслей сельскаго хозяйства сильно отставало

отъ быстро растущаго спроса на соответствующіе продукты. Ввозъ такихъ продуктовъ, какъ масло, сыръ, яйца, овощи, значительно превзошелъ довоенные размѣры.

Однако, даже и въ эти годы общаго экономическаго подъема Германіи, жалобы на трудное положеніе сельскаго хозяйства не прекращались. Онѣ раздавались главнымъ образомъ изъ круговъ крупнаго землевладѣнія, положеніе котораго въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ ухудшилось по сравненію съ довоеннымъ временемъ. Коренное значеніе имѣли новыя условія рабочаго рынка. Численность допускаемыхъ въ Германію полевскихъ рабочихъ была сильно сокращена. Въ то же время мѣстные сельскохозяйственные рабочіе объединились въ профессиональные союзы и заключали съ работодателями коллективные договоры. Это не могло не привести къ вздорожанію стоимости производства. Соотношеніе цѣнъ сельско-хозяйств. и промышленныхъ продуктовъ складывалось для сельскаго хозяйства такле менѣе благоприятно, чѣмъ до войны («пожницы»). Въ соответствіи съ этимъ цѣны на землю стали на востокъ падать и внутренняя колонизация пошла значительно ускореннымъ темпомъ. За періодъ съ 1919 г. по 1930 г. было создано 39,8 тыс. новыхъ хозяйствъ, т. е. примѣрно вдвое больше, чѣмъ за весь довоенный періодъ, и мобилизовано 631,6 тыс. гект. земли, что составляетъ примѣрно восьмую часть земли хозяйствъ, располагающихъ болѣе 100 гект. сельскохозяйственной площади.

Въ 1929 г. Германія вступила въ полосу кризиса, который весьма болѣзненно отозвался и въ ея

сельскомъ хозяйствѣ. Цѣны на сельскохозяйственные продукты на мировомъ рынкѣ стремительно падали; еще болѣе опаснымъ для сельскаго хозяйства было паденіе покупательной силы городского населенія: съ начала кризиса до 1932 г. рабочій доходъ сократился съ 43 млд. марокъ до 26-27 млд. марокъ, т. е. примѣрно на 40%. Въ этихъ неимоверно трудныхъ условіяхъ не было другого выхода, какъ попытаться использовать сократившуюся покупательную силу населенія по возможности въ интересахъ собственнаго сельскаго хозяйства.

Лозунгомъ дня стала «сплошная» защита сельскаго хозяйства таможенными пощидинами. Таможенные ставки на продовольственные хлѣба были подняты выше, чѣмъ гдѣ-бы то ни было въ Европѣ. Для поддержанія цѣнъ на рожь, важнѣйшій рыночный продуктъ крупнаго землевладѣнія востока, были осуществлены спеціальныя мѣропріятія, обошедшіяся государству въ десятки милліоновъ марокъ и все-же не давшія сжидавшихся отъ нихъ результатовъ. Сахаръ былъ обложенъ запрѣтельной пошлиной. Въ отличіе отъ прежняго времени были опредѣлены очень высокія пошлины и на всѣ кормовыя средства кромѣ жмыховъ. Существенно, хотя далеко не пропорционально, были подняты таможенные ставки и на продукты животноводства.

Эта таможенная политика имѣла большое положительное значеніе для изживавшаго себя крупнаго землевладѣнія, но она принесла мало пользы среднему крестьянству и вела къ разоренію милліоновъ мелкихъ крестьян-

ских хозяйствъ. При громадномъ паденіи покупательной силы городского населения никакая таможенная охрана не могла предупредить паденія цѣнъ на сельскохозяйственные продукты. Но какъ-бы население ни обдѣлало, своего спроса на продовольственное зерно оно существенно не могло сократить. Иначе обстоитъ съ продуктами животноводства, — спросъ на нихъ гораздо болѣе эластиченъ. Населеніе стало сокращать потребление этихъ продуктовъ, а поскольку сельскіе хозяева стремились ихъ сбыть, они вынуждены были соглашаться на очень низкія цѣны.

Для зернового хозяйства и для животноводства рыночныя условия складывались, такимъ образомъ, въ Германіи различно. Милліоны мелкихъ крестьянскихъ хозяевъ, составляющихъ толщу сельскаго населенія, вынужденны были продавать продукты животноводства по чрезвычайно низкимъ цѣнамъ, покупая корма по сравнительно высокимъ цѣнамъ. Увлечшись идеей сплошной таможенной защиты, правительство какъ бы не замѣчало, что оно гѣмъ массамъ сельскаго населенія, на которыя оно должно было опереться, только вредитъ своей политикой. Львиную долю выгодъ отъ Ost-Hilfe извлекли крупные землевладѣльцы, кое-что выгадали и крупные крестьяне, но на мелкое крестьянство эта акція не была рассчитана.

Ни среди крупныхъ землевладѣльцевъ, ни среди крупныхъ крестьянъ демократическій режимъ друзей себѣ не приобрѣлъ, но зато совершенно растеряныя массы мелкаго крестьянства глубоко возненавидѣли демократію,

«систему», какъ ихъ научили ее называть. Онѣ чутко прислушались къ агитации національ-соціалистовъ, которые обѣщали поставить интересы крестьянства во главу угла и немало содѣйствовали низверженію демократической системы и окончательной побѣдѣ національ-соціализма.

Первоначально національ-соціалисты находились въ правительствѣ въ союзѣ съ нѣмецкими націоналистами и министромъ продовольствія и земледѣлія былъ глава послѣднихъ Хугенбергъ. Для поддержанія рѣшительными мѣрами доходности крестьянскихъ хозяйствъ онъ издалъ законъ объ упорядоченіи жирового хозяйства. Этотъ законъ заставилъ широкие круги населенія перейти отъ пользования дешевымъ маргариномъ къ пользованію болѣе дорогимъ коровьимъ масломъ.

Закономъ отъ 14 февр. 1931 г. была приостановлена продажа съ торговъ не только сельскохозяйственныхъ имѣній, но и движимаго имущества сельскихъ хозяевъ. Закономъ отъ 1 іюня 1933 г. было предписано общее регулирование долговъ сельскихъ хозяевъ, въ результатъ чего ихъ процентные платежи, которые составляли въ 1931-32 г. 1 миллиардъ марокъ, снизились на половину.

Уже мѣропріятія демократическаго правительства, которыя первоначально разсматривались, какъ временныя до преодоленія кризиса, и затѣмъ мѣропріятія Хугенберга постепенно создали въ сельскомъ хозяйствѣ новую ситуацию, которая стояла въ противорѣчій съ принципами капиталистическаго хозяйства. Доходы сельскихъ хозяевъ стали зависть въ гораздо болѣе мѣрѣ отъ

мѣропріятій правительства, чѣмъ отъ нихъ самостоятельности.

Новый порядокъ не могъ быть послѣдовательно осуществленъ, ибо ему не хватало обосновывающей его идеологии. Эту идеологию принесъ съ собою національ-соціализмъ.

Послѣ того, какъ Хугенбергъ былъ замѣненъ на своемъ посту однимъ изъ виднѣйшихъ дѣятелей національ-соціализма, Дарре, который получалъ характерный титулъ имперскаго вождя крестьянства, новые принципы аграрной политики стали быстро и послѣдовательно воплощаться въ жизнь.

III.

Пришедшій къ власти національ-соціализмъ проникнуть въ самыя глубины мѣрѣ аграрными тенденціями. Идея «свободы продовольствія», съ которой считались и предшествующія правительства, для него является аксіомой. «Освобожденіе отъ рабства возможно лишь въ томъ случаѣ, если нѣмекій народъ сможетъ въ существенномъ продовольствоваться изъ собственной нивы», говорится въ прокламаціи нац.-соц. партіи къ сельскому населенію отъ 6 марта 1930 г.

Однако, національ-соціализмъ идетъ въ своихъ аграрныхъ aspirаціяхъ гораздо дальше. Вождь національ-соціализма въ его книгѣ «Моя борьба», ставшей со времени его прихода къ власти новымъ евангеліемъ нѣмецкаго народа, принципиально осуждаетъ всю предшествующую хозяйственную политику Германіи со времени ея объединенія. Попытку рѣшить проблему народонаселе-

нія Германіи путемъ индустриализаціи и болѣе глубокаго ея переплетенія съ мировымъ хозяйствомъ онъ считаетъ совершенно ошибочной и усматриваетъ въ ней причину крушенія Второй Имперіи. Третья Имперія должна быть страной аграрной.

Но въ то время какъ для всѣхъ прежнихъ правительствъ, не включая даже социаль-демократическихъ, представителемъ земли служилъ въ первую очередь прусскій юнкеръ, для національ-соціализма представителемъ земли является прежде всего самостоятельный крестьянинъ. Въ пресѣ, въ литературу, на всѣхъ ступеняхъ многочисленныхъ въ Германіи выставкахъ крестьянина теперь въ большой чести. Дѣлаются попытки переработать всю историографию Германіи съ точки зрѣнія интересовъ крестьянства. Последнее является для національ-соціализма носителемъ германскихъ традицій во всей ихъ чистотѣ. А згѣмъ крестьянство высоко цѣнится національ-соціализмомъ съ популяционистской точки зрѣнія. Новый режимъ объявилъ рѣшительную войну сокращенію рождаемости, принявшему въ послѣдствіи Германіи угрожающій характеръ. Крестьянство же является какъ разъ тѣмъ слоемъ населенія, который заполняетъ недочеты, образующіеся у городского населенія. Поэтому національ-соціалисты именуютъ крестьянство «жизненнымъ источникомъ» (Blutquelle) націи.

Главнаго врага крестьянства національ-соціализмъ усматриваетъ въ «кредитуемомъ интернаціональномъ финансовомъ капталѣ». Одну изъ важнѣйшихъ причинъ «неудовлетворительна-

вознаграждения сельско-хозяйственного труда» националь-социализм находятъ въ конкуренціи работающаго въ болѣе благоприятныхъ условіяхъ заграничнаго сельскаго хозяйства», а также «въ недопустимо высокихъ барышахъ, которые себѣ присваиваетъ вклинивающаяся между производителемъ и потребителемъ оптовая торговля сельско-хозяйственными продуктами, которая лежитъ, главнымъ образомъ въ рукахъ евреевъ».

Въ борьбѣ съ финансовымъ капиталомъ националь-социалистическое государство готово перенять его функции и постольку онъ идетъ на социалистическія мѣропріятія. Но цѣли националь-социализма остаются при этомъ противоположными цѣлямъ марксистскаго социализма. При помощи этихъ мѣропріятій нац.-социализмъ надѣется укрѣпить позицію самостоятельныхъ мелкихъ производителей, въ первую очередь крестьянъ, и спасти опытъ пролетариата.

Капитальное значеніе здѣсь имѣетъ законъ о созданіи имперской продовольственной корпорации. Въ эту корпорацию объединяются на основаніи національ-социалистическаго принципа водительства всѣ сотоварищи по націи, занятые въ сельскохозяйственномъ производствѣ, въ переработкѣ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и въ торговлѣ ими. Въ своей рѣчи отъ 9 сент. 1933 г. передъ представителями прессы по поводу созданія продовольственной корпорации Дарре подчеркивалъ, что «сельскій хозяинъ не является предпринимателемъ въ обычномъ смыслѣ...» «Задача не состоитъ въ томъ», полагалъ

Дарре, «чтобы крестьянинъ выручилъ за свои продукты наивысшую цѣну, и чтобы такимъ образомъ его хозяйство принесло наивысшую ренту, а въ томъ, чтобы крестьянинъ былъ укорененъ въ его нивѣ на основѣ германскаго крестьянскаго права и чтобы онъ получалъ справедливое вознагражденіе». ...«Тотъ, кто жадаетъ поставить крестьянское производство въ условія либералистически-капиталистическаго хозяйства, тотъ совершаетъ грѣхъ передъ духомъ нѣмецкаго крестьянства и тѣмъ самымъ передъ духомъ нѣмецкаго народа». Для осуществленія «системы справедливыхъ твердыхъ цѣнъ» нужна очень сложная организація и новый министръ съ величайшей энергіей принялся за ея созданіе.

Еще до истеченія 1934-го года, созданіе соответствующихъ организацій значительно подвинулось впередъ. Въ то время какъ для урожая хлѣбовъ 1933 г. правительство ограничилось назначеніемъ невысокихъ минимальныхъ цѣнъ, для урожая 1934 года опредѣлены уже твердыя цѣны, которыхъ нельзя ни снижать, ни превышать. Точно опредѣлены накядки мельникамъ и торговцевъ. На хозяевъ возложены извѣстныя обязанности по поставкѣ хлѣба, причемъ цѣны лишь незначительно повышены противъ прошлгоднихъ. Организація молочнаго дѣла, мяснаго дѣла была болѣе или менѣе завершена еще къ началу 1934 г., а весьма сложное дѣло организаціи торговли скотомъ и мясомъ также идетъ къ своему завершенію. Эти организаціи въ однихъ случаяхъ ограничиваются контролемъ за торговлей с.-х. продук-

тами, опредѣленіемъ цѣнъ и торговыхъ наклѣдокъ, въ другія — они непосредственно берутъ на себя торговья функціи. Насколько это серьезно задумано, можно судить по тому, что противодействию правительственнымъ мѣропріятіямъ наказывается неограниченными штрафами и даже каторжными работами.

Если уже прежнее правительство въ своей политикѣ покровительства сельскому хозяйству не могло оставаться при системѣ таможенныхъ пошлинъ и наибольшаго благопріятствования, а должно было переходить къ системѣ контингентирования ввоза, то для новой аграрной политики послѣдовательная система контингентирования ввоза является единственно возможной. Идея автаркіи, которая еще недавно усиленно пропагандировалась въ Германіи, сейчасъ официально отвергнута, и даже аграрные дѣтели національ-соціализма за полную автаркію не стоятъ.

Новая аграрная политика рассчитана на долгіе годы, и по первымъ ея результатамъ судить о ней не приходится. Пока можно стѣснить, что индексы цѣнъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, а также общій денежный доходъ сельскаго населенія по сравненію съ 1932 г. замѣтно повысились. Но едва ли причина этого лежитъ въ новой организаціи рынка. Въ концѣ концовъ никакой организаціей нельзя получить отъ покупателя больше, чѣмъ у него есть въ карманѣ. Большее значеніе могла имѣть энергичная борьба новаго правительства съ безработицей. Не повышая заработной платы, а, наоборотъ, прож-

водя нѣкоторое давленіе въ сторону ея пониженія, новое правительство путемъ широкаго финансированія общественныхъ работъ, путемъ большихъ казенныхъ заказовъ и другихъ мѣропріятій стремилось но что бы то ни стало включить миллионы безработныхъ въ хозяйственный процессъ. Его усилія на этомъ пути увѣнчались несомнѣннымъ успѣхомъ, покупательная сила городского населенія нѣсколько повысилась, произошелъ нѣкоторый общій хозяйственный подъемъ, который благопріятно отразился и на доходахъ сельскаго хозяйства. Однако, сейчасъ же обнаружилось, что судьбы народнаго хозяйства Германіи опредѣляются въ сильнѣйшей мѣрѣ состояніемъ ея международныхъ связей. Какъ извѣстно, подъемъ германскаго хозяйства уперся сейчасъ въ ставшій теперь пассивнымъ торговый балансъ страны, и дальнѣйшая судьба ея хозяйства вообще и ея сельскаго хозяйства въ частности зависитъ отъ преодоленія трудностей въ сферѣ внешней торговли.

Однако и аграрная политика нац.-соціализма лишь незначительно расширила кругъ сельскихъ хозяевъ, интересамъ которыхъ она служить. Высокими пошлинами и ограниченіями ввоза всѣхъ видовъ концентрированныхъ кормовъ она привела къ замѣтному повышенію ихъ цѣнъ, что выгодно только для крупныхъ хозяевъ. Значительное повышение цѣнъ масла (примерно на половину) кромѣ крупныхъ хозяевъ въ лучшемъ случаѣ принесетъ пользу среднему крестьянству, но оно не можетъ быть выгоднымъ крестьянамъ мелкимъ, коихъ молочное

хозяйство построено на массовой покупке кормов, теперь сильно изрододевавших Астаркиа в области зернового хозяйства, к которой стремится нац-социализм, стоит в противоречии с интересами мелкого крестьянства.

Если итѣ и не может быть еще надежных эмпирических данных для суждения о результатах германского опыта стабилизации итѣ сельскохозяйственных продуктовъ, то намъ остается сдѣлать о немъ лишь нѣсколько теоретическихъ замѣчаній. Идея стабилизации итѣ не является только достояниемъ національ - социализма, она пользуется широкой популярностью на свѣтѣ и, хотя съ болѣе узкими итѣями, въ этомъ направленіи уже сдѣланы многочисленные опыты. Изъ этихъ опытовъ непрерываемо вытекаетъ тотъ выводъ, что предпосылкой сколько-нибудь длительной стабилизации итѣ является регулирование производства и въ известной мѣрѣ даже потребления. Германское правительство уже вынуждено было сдѣлать рядъ распоряженій, регулирующихъ ходъ сельскохозяйственного производства, и не подлежитъ никакому сомнѣнію, что такіа распоряженія будутъ становиться все многочисленнѣе и будутъ все рѣшительнѣе, ибо такова логика вещей. Германия въ сферѣ своего сельскаго хозяйства прочно вступила на путь плановаго хозяйства, и это необходимо должно отразиться и на другихъ сторонахъ ея народнаго хозяйства. Конечно, прекрасно дисциплинированная, образованная нѣмецкая бюрократія болѣе призвана къ веденію плановаго хозяйства, чѣмъ большевистская бюро-

кратія. Но существуютъ роковыя проблемы плановаго хозяйства, которыя не рѣшены ни въ практической жизни, ни даже въ теории, и онѣ предстанутъ передъ національ - социалистической бюрократіей, какъ онѣ долге годы стоять, все еще не рѣшенными, передъ бюрократіей большевистской

Если значение законодательства объ организациі сельско-хозяйственного рынка при ограниченныхъ возможностяхъ для свободнаго выраженія общественнаго мнѣнія не было еще достаточно оцѣнено въ Германіи, то какъ разъ законъ о крестьянскихъ наслѣдованныхъ участкахъ произвелъ на него большое впечатлѣніе. Этотъ законъ ставитъ себѣ итѣью обеспечить неприкосновенность и неразрушимость важнѣйшей части крестьянскихъ хозяйствъ. Онъ касается хозяйствъ, расплодагающихъ начиная отъ минимальной площади, необходимой для прокормленія семьи (примерно отъ 7 съ пол. гект., до 125 гект.). Законъ этотъ распространяется также и на соответствующихъ размѣровъ дворянскія имѣнія. По примѣрнымъ расчетамъ эти хозяйства охватываютъ окол 60% сельско-хоз площади Германіи. Соответствующія хозяйства, ихъ земля, постройки, инвентарь и необходимые запасы освобождаются отъ долговъ, не могутъ болѣе служить обезпеченіемъ по займамъ, ихъ нельзя болѣе продавать съ молотка и ихъ нельзя дѣлить въ порядкѣ наслѣдованія. Не только не должны имѣть мѣста реальный дѣлежъ этихъ хозяйствъ (въ болѣе ширинствѣ районовъ Германіи это и безъ того не въ обычаѣ), но

другие члены семьи кроме единственного наследника не могут заявлять никаких претензий, какъ это до сих поръ имѣло мѣсто, и на цѣнность родового хозяйства; отмена реального кредита для этихъ участковъ, впрочемъ, исключаетъ самую возможность удовлетворенія подобныхъ претензий членами семьи. Законъ о крестьянскомъ наследованіи ставитъ себя опредѣленную задачу — создать рѣзко ограниченное сословіе крестьянскихъ хозяевъ, стоящихъ внѣ взаимозависимостей капиталистическаго хозяйства.

Хотя министръ Дарре прямо запретилъ публично обсуждать законъ о крестьянскихъ наследственныхъ участкахъ, тѣмъ не менѣе общественное мнѣніе и, по-видимому, само крестьянство заняло опредѣленно отрицательную позицію по отношенію къ этому закону. Указываютъ, что онъ внесетъ разладъ въ крестьянскія семьи и тѣмъ понизитъ производительность сельскаго хозяйства, что, вопреки популяционистскимъ тенденціямъ національ - социализма, законъ грозитъ пониженіемъ рождаемости въ деревнѣ, что отсутствіе реального кредита можетъ вызвать застой крестьянскаго хозяйства. Дарре и его помощники вынуждены были неоднократно выступать въ защиту этого закона. Однако, посредствомъ цѣлаго ряда новеллъ правительство пытается все-же смягчить острые углы новаго закона.

Задачи національ - социалистическаго правительства не ограничиваются опытами консолидированія крестьянскаго хозяйства в плановой организаціи сельскаго хозяйства, оно имѣетъ цѣлью ре-

аграризацію Германии. Въ этихъ видахъ значительная часть общественныхъ работъ должна служить меліорациі неуродливыхъ земель, которыхъ въ Германіи не такъ уже мало. Однако, внутренняя колонизація пока еще не получила при новомъ режимѣ широкаго размаха. Въ 1933 г. колонизаціонная работа испытала даже сильное сокращеніе; причиной, затормозившей колонизацію, было слабое предложеніе земли со стороны крупнаго землевладѣнія. Это несомнѣнно является слѣдствіемъ организованной еще прежнимъ правительствомъ Ost-Hilfe. Крупное землевладѣніе на востокъ получило такую щедрую поддержку, что оно теперь, несмотря на кризисъ, совсѣмъ не склонно сдавать своихъ позицій.

Впрочемъ, даже независимо отъ этихъ все-же такъ или иначе преодолимыхъ трудностей колонизаціоннаго дѣла, перспективы реорганизаціи Германіи слѣдуетъ признать весьма скромными. Германія экономически настолько высоко развитая страна, что совершенно не можетъ быть рѣчи о расширеніи ея сельскаго хозяйства на натурально - хозяйственной основѣ. Ея сельское хозяйство можетъ расширяться лишь постольку, поскольку имѣется платежеспособный спросъ на сельскохозяйственные продукты внутри страны, ибо объ ихъ вывозѣ на международный рынокъ едва ли можетъ быть рѣчь. Въ нормальные годы Германія на 20% зависитъ въ своемъ продовольствіи отъ иностраннаго ввоза въ формѣ продовольственныхъ или скрмовыхъ продуктовъ; особенно сильно нуждается Германія въ ввозѣ жировъ. Технически зад-

ча соответственного повышения собственной ихъ продукции не неразрѣшима. Но вопросъ состоитъ въ томъ, во что это обошлось-бы и можно-ли себѣ позволить соответственно повысить стоимость жизни народныхъ массъ? И кромѣ того подобныя ангаркистскія тенденціи привели-бы Германію къ конфликту съ многими лучшими покупателями ея индустриальныхъ товаровъ; а между тѣмъ и националь-соціалистическое правительство считаетъ необходимымъ идти навстрѣчу такимъ странамъ.

Помимо того сельскохозяйственная техника такъ быстро прогрессируетъ, что для того скромнаго увеличенія сельскохозяйственной продукции, которое соответствуетъ условіямъ рынка, нѣтъ необходимости въ увеличеніи числа рабочихъ рукъ, заня-

Сказаннымъ мы не хотѣли-бы умалить значенія внутренней колонизации, которой националь-соціалистическое правительство предполагаетъ удѣлить большое вниманіе. Систематическая колонизация восточныхъ латифундій, искусственно съ большими жертвами поддерживавшихся предшесствующими правительствами, съ народнохозяйственной (да и съ нѣмецкой національной) точки зрѣнія является весьма цѣлесообразной; такимъ путемъ можно консолидировать сельское хозяйство Востока и даже его интенсифицировать. Колонизацией сельскохозяйственныхъ батраковъ востока и крестьянскихъ сыновей запада можно было-бы удержатъ ихъ отъ бѣгства въ города. Последняя задача въ связи съ изданіемъ новаго закона о крестьянскомъ наследованіи стала даже

особенно настоятельной. Задерживать въ настоящихъ условіяхъ бѣгство сельскаго населенія въ города путемъ колонизации цѣлесообразно, но отсюда до реэграризации Германіи все-же еще очень далеко.

Въ теченіе полу столѣтія, предшествовавшаго войнѣ, экономическое благосостояніе Германіи и вмѣстѣ съ тѣмъ ея политическая мощь стремительно росла. Этотъ поразительный успѣхъ былъ связанъ съ блестящимъ развитіемъ ея индустріи и съ вовлеченіемъ Германіи въ міровую обмѣнь, въ которомъ она стала играть первенствующую роль. Послѣдовавшія катастрофы естественно эстаблируютъ многое пересмотрѣть въ довоенной политикѣ Германіи. Однако, въ сферѣ экономики никакого принципиально новаго пути развитія для нея намѣтить нельзя. Германія можетъ имѣть будущее только какъ страна индустриальная, не отгораживающаяся отъ международнаго обмѣна, а, наоборотъ, его усиленно развивающая. Реэграризация Германіи могла - бы наступить развѣ въ результатъ ея глубокой экономической деградации. Современное увлеченіе широкими круговъ въ Германіи идеями реэграризации и автаркіи надо въ виду этого считать не обоснованнымъ въ реальной дѣйствительности романтизмомъ, и остается надѣяться, что нѣмецкому народу удастся въ ближайшемъ будущемъ преодолѣть эти небезопасныя для его будущаго тенденціи.

Б. Буртсидъ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Собрание сочинений И. А. Бунина. Т. Т, II, III и VII (Изд. Петропольск).

Когда книга впервые выходит в свет, она существует сама по себе и требует от нас ни от каких сравнений независимой оценки. Когда она переиздается вместе с другими книгами того же автора, ее уже видишь как звено в живой последовательности его произведений, ее непременно хочется сравнить с тем, что ей предшествовало и что последовало за ней: на первом плане уже не ее раздельное бытие, а значение ее в развивающемся единстве творческой личности. Ведь и значительность автора измеряется не количеством удач, не равенством всего, что он когда-либо писал, перед судом безличного и пустого совершенства, а той напряженностью духовных сил, которая сказывается уже в переход от одной книги к другой, в различии замыслов, в борьбу страстей, в неустанном, росте творческих возможностей. Последний и решающий знак величия — непрерывность восхождения, не обрывающегося до конца; всё исключение из этого правила болванены (хотя, конечно, не в упрощенно-медицинском смысле слова) Бунин — не исключение, его творческое здоровье так же несомненно, как и творческая мощь. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить «Жизнь Арсеньева» с первыми рассказами его или хотя бы, в выходящем теперь собрании сочинений, седьмой том, где мы находим «Митину любовь», «Дело корнета Елагина», «Иду», «Солнечный удар», с томами вторым и третьим, содержащими произведения 1909-1912 годов. Различие велико; и тот в бунинском искусстве не Бог знает что поймет, кто отдаст предпочтение ранним его проявлениям перед поздними.

«Озаренный луной, Хрущев стоит над нею (снѣжной кучей) и, засунув руки в карманы куртки, глядит на блестящую крышу. Онъ наклоняетъ къ плечу свое блѣдное лицо съ черной бородой свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить отбѣнокъ блеска. Вотъ бы вернуться въ кабинетъ и просто, просто записать все то, что только что чувствовалъ и видѣлъ.» Это изъ коротенькаго разсказа «Снѣжный быкъ», написаннаго въ 1911 году. А вотъ заключае другое столь же краткаго и еще болѣе мастерски написаннаго прозаическаго отрывка «Книга», помѣщеннаго 1924 годомъ, но отражающаго несомнѣнно воспоминае болѣе раннихъ лѣтъ. Разсказъ

чикъ лежить съ книгой на гумнѣ, въ ометѣ. «Все читаете, все книжки выдумываете?», вспоминаетъ онъ слова проходившаго мимо мужа. «А зачѣмъ выдумывать? Зачѣмъ героини и герои? Зачѣмъ романъ, повѣсть, съ завязкой и развязкой? Вѣчная боязнь показаться недостаточно книжнымъ, недостаточно похожимъ на тѣхъ, что прославлены! И вѣчная мука — вѣчно молчать, не говорить какъ разъ о томъ, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболѣе законно выраженія, то-есть слѣда, воплощенія и сохраненія хотя бы въ словѣ!» То, къ чему Бунинъ тянуло и въ 1911 и въ 1924 году, то воплощеніе, о которомъ онъ тосковалъ, «стараясь уловить и запомнить отгѣнокъ блеска», стремилась къ выраженію «единственно настоящаго и своего», этого онъ полностью достигъ только въ «Жизни Арсеньева», но, конечно, и «Жизни Арсеньева» не могла быть написана безъ той долгой подготовительной работы, какой представляется съ точки зрѣнія его послѣдней и прекраснѣйшей книги все бунинское творчество.

Въ этой незаконченной еще книгѣ онъ нашелъ окончательную форму своего искусства, выразился въ ней полнѣе, чѣмъ когда-либо до нея. Но, разумеется, это нисколько не мѣшаетъ прелесть и совершенству «Иды», «Солнечнаго удара», не противорѣчить сосредоточенной силѣ «Митинной любви». Къ тому же, въ самомъ письмѣ этихъ вещей уже чувствуется та особая заостренность и одухотворенность, которая высшаго напряженія достигаетъ въ «Жизни Арсеньева». Рядомъ съ этой зрѣлой бунинской манерой письма «Деревня», «Суходола», «Хорошей жизни», «Веселаго двора» кажется чересчуръ вещественнымъ и плотнымъ (хотя само по себѣ это качество нужно признать положительнымъ, если сравнить его съ распывчатой, жонно-поэтической, разукрашенной и вялой прозой, господствовавшей въ русской литературѣ въ тѣ годы). Недостатокъ рѣзкихъ бунинскихъ произведеній сравнительно съ тѣми, что написаны во время войны и позже (хотя, конечно, рѣзкую границу здѣсь было бы трудно провести), заключается въ нѣкоторомъ пренебреженіи вещей — превосходя, необыкновенно отчетливо и выпукло описанныхъ вещей — надъ мыслями и чувствами. Въ «Деревнѣ», напримѣръ, куски природы, быта, образы людей даны сплошь и рядомъ съ изумительной силой, но они не сплавлены воедино такимъ побѣждающимъ образомъ, какъ въ «Митинной любви», не погружены все вмѣстѣ въ одинъ могучій потокъ, какъ въ поощемъ и рыдающемъ славословіи «Жизни Арсеньева». Единство намѣчается, однако, уже въ «Суходолѣ» и (по другому) въ «Хорошей жизни», «Веселомъ дворѣ»; оно крѣпнеть и въ смыслѣ стройности композиціи и въ смыслѣ болѣе скрытаго подчиненія всѣхъ частностей замыслу лирическому по существу. Думаю, что этотъ второй путь глубже всего отвѣчаетъ бунинскому дару, какъ о томъ свидѣлательствуютъ цитаты, которыя я привелъ; не даромъ онъ-то и торжествуетъ въ «Жизни Арсеньева». Однако и композиционнымъ, драматическимъ единствомъ, не романа — Бунинъ не-романистъ — по разсказа сумѣлъ въ рѣдкостной мѣрѣ овладѣть авторъ «Господина изъ Санъ-Франциско» и «Дѣла корнета Елагина».

Тѣмъ, кто знаетъ позднѣйшія вещи Бунина, произведенія, собранныя во второмъ и третьемъ томѣ «Сочиненій» могутъ и должны казаться подготовительными, несовершенными. Но наступаетъ минута, когда сравненія забываешь, когда читаешь «Суходоль» или чудесный разсказъ о Захарѣ Воробьевѣ уже не думая ни о чемъ другомъ. Развѣ поэзія «Суходола» не подлинная и не чисто-бунинская поэзія? Развѣ въ «Деревнѣ» и во всѣхъ разсказахъ о мужикахъ не сквозитъ глубочайшее и чисто бунинское ощущеніе Россіи? Какъ плохо все это было писано въ свое время, какіе плоскіе споры вызвало! Какія чувства изъ газетной бумаги обсуждали правдивость того, что было выстраданнымъ знаніемъ и пророческой тревогой! И какъ ухитрились проглядѣть бунинское искусство въ томъ самомъ литературномъ лагерѣ, гдѣ только и была художественная культура, достаточная для его ошибки. Все это прошлое. Если сейчасъ что-нибудь способно ограничить наше восхищеніе «Деревней» или «Суходоломъ», то это лишь «Казиміръ Станиславовичъ», «Пеглясыя уши», «Ида». «Митиня любовь» и не сравнимая ни съ чѣмъ «Жизнь Арсеньева».

В. Вейдле.

Ив. Шмелевъ. Богомолье. Бѣлградъ. 1935. «Русская Библиотека» кн. 41.

Шмелевъ-художникъ всегда обращенъ къ Россіи, и въ его произведеніяхъ, написанныхъ послѣ того, какъ онъ покинулъ родину, звучала особенно сильно одна струна. «Солнце Мертвыхъ», «Про одну старуху», «На пенькахъ» и др. насыщены страданіемъ за судьбу Россіи: въ нихъ преобладаетъ мучительное безпокойство, трагическая напряженность, мистическій ужасъ. Съ исключительной художественной силой Шмелевъ рисуетъ гибель подъ ударами коммунизма и виѣшняго, матеріальнаго благосостоянія Россіи и ея духовныхъ богатствъ. Читатель подъ властью таланта страдаетъ отъ тяжести трагическихъ впечатлѣній, отъ неодолимаго ощущенія безвыходности. Не только Россія, но и весь міръ кажется ему висящими надъ бездною.

Однако въ послѣдніе годы въ творчествѣ Шмелева наблюдается какой-то поворотъ: очевидно, его талантъ продолжаетъ расти и ищетъ новыхъ путей. Взоръ его обратился къ прежней Россіи. Для многихъ этотъ поворотъ былъ неожиданнымъ, но на самомъ дѣлѣ неожиданнаго въ немъ ничего нѣтъ. Стоитъ только вспомнить его чудесныя «Розстани» съ ихъ эпическимъ, ровнымъ, спокойнымъ стилемъ, съ преобладаніемъ радостныхъ тоновъ, мягкихъ красокъ, тонкой, умиротворяющей поэзіи, сердечной простоты, благодущія, любви, духовнаго здоровья. Все это съ новой силой воскресло въ книгѣ «Лѣто Господне» и въ только что вышедшемъ «Богомольѣ». Здѣсь въ широкой картинѣ рисуется подлинная народная жизнь, и виѣшняя и духовная, крестьянская и купеческая среда.

Купеческую среду русскій читатель знаетъ почти исключительно по Островскому. Она представлялась ему «темнымъ царствомъ» съ грубостью нравовъ, жестокимъ произволомъ, лицемернымъ благочестіемъ, отлично ужинавшимъ съ самой преступной грѣховностью.

«Свѣтлыми лучами» въ этомъ царствѣ были люди забытые, жертвы, рабы по своему положенію. Шмелевъ показалъ другую сторону купеческаго быта, который онъ отлично знаетъ: его роль нѣсколькими поколѣніями связана съ торговымъ міромъ. Если этотъ міръ не отличался высокимъ образованіемъ, то былъ внутренне культуренъ, нравственно здоровъ, національно стоекъ. Здѣсь все было пропитано исконными русскими традиціями, вѣковая связь съ народной Русью выражалась въ строгомъ соблюденіи обычаевъ, въ храненіи завѣтовъ церковной старины. Отношенія между хозяевами и служащими были патріархальныя. Поэтому въ изображеніи купеческаго быта и намека нѣтъ на «темное царство», хотя недостатокъ его авторъ не скрываетъ.

«Богомолье» тѣсно связано съ «Лѣтомъ Господнимъ»: та же среда, тотъ же бытъ, тѣ же главные типы. Но въ художественномъ отношеніи «Богомолье» отличается еще большимъ единствомъ, болѣею цѣльностью, чѣмъ «Лѣто Господне». Въ «Лѣтѣ Господнемъ» много темъ, опредѣляемыхъ кругомъ праздниковъ. Въ «Богомольѣ» тема одна — паломничество къ преподобному Сергію. И тамъ и здѣсь все проходитъ преломленнымъ въ воспріятіяхъ ребенка, но въ «Богомольѣ» особенно чувствуется, какъ подъ вліяніемъ разрозненныхъ, будто случайныхъ впечатлѣній начинается міросозерцаніе молодого существа. Образъ Горкина окончательно дорисовывается. Уже въ «Лѣтѣ Господнемъ» онъ является передъ читателемъ, какъ старый, добрый и преданный слуга, мудрецъ, носитель древняго благочестія, знающій и любящій «Божью слова», чувствующій ихъ поэзію и глубокой нравственный смыслъ. Теперь Горкингъ уже кончаетъ свою службу, живетъ «на покоѣ»: пора «отрудиться», подумать о душѣ, помолиться, сходить къ Преподобному. Съ нимъ идетъ цѣлая группа простыхъ людей, берутъ и ребенка.

Прекрасно описаны сборы и раннее утро, когда выходятъ на богомолье. Москва только что начинается пробуждаться. Какъ въ панорамахъ проходятъ замоскворѣцкіе соборы, храмъ Христа Спасителя, Никольскія ворота, Иверская, Сухарева башня. А тамъ Святая дорога, по которой споконь вѣковъ ходили къ Сергію. Идетъ, можно сказать, вся Русь, рязанскіе, смоленскіе, тамбовскіе... Всѣ мало-по-малу преобразуются, становятся ласковѣе, всѣ поминаютъ Господа, всѣ будто близкіе, родные. Разговоры душевные, благочестивые, о святости. Всѣ хотятъ «подышать святостью», душевно отдохнуть, очиститься. И все «Богомолье» такое доброе, спокойно радостное, ласковое, теплое. Съ большимъ юморомъ Шмелевъ рисуетъ нѣкоторыя народныя сценки.

«Богомолье» одно изъ самыхъ совершенныхъ произведеній Шмелева. Въ немъ все гармонія, все у мѣста, нѣтъ ничего лишняго. Поразительное разнообразіе народныхъ типовъ. Пробужденіе духовной жизни ребенка на фонѣ обще-народной жизни изображено съ большой психологической вѣрностью. Все живо, не только люди, но и вещи: даже телѣжка, сопровождающая богомольцевъ, символъ крѣп-

кой русской старины, входитъ въ общую жизнь какимъ-то необходимымъ элементомъ и врѣзывается въ памяти читателя.

Языкъ Шмелева всегда блещетъ образностью, выпуклостью, органической связью со всѣмъ богатымъ разнообразіемъ народной рѣчи. Въ «Богомольѣ» онъ особенно хорошею своею безыскусственной простотой, точностью, ясностью, музыкальностью. Ритмъ всей книги строго выдержанный, величавый, спокойный, вполне гармонирующий съ общимъ содержаніемъ.

Новая книга Шмелева принадлежитъ къ разряду незабываемыхъ. Пожелаемъ ей сдѣлаться настольной книгой каждаго русскаго, особенно молодежи, растущей на чужбинѣ.

Н. Кульманъ.

Пушкинъ. Путешествіе въ Арзрумъ во время похода 1829 года. Изданіе С. Лифаря. Парижъ, 1935.

Пушкинъ былъ страстный любитель и цѣнитель хореографіи. А въ наши дни замѣчательнѣйшій представитель этого искусства, г. С. Лифарь, благоговѣнно преклоняясь передъ геніальнымъ лютымъ, стремится не только самъ изучить его, но и всемерно содѣйствовать изученію и распространенію его произведеній. Недавняя статья г. Лифаря въ «Les Nouvelles Litteraires» (22 декабря 1934 г.) показываетъ, съ какимъ пониманіемъ и любовью авторъ впитываетъ въ себя всѣ стороны пушкинскаго творчества и какъ хотѣлъ бы онъ привлечь вниманіе французскаго читателя къ нашему писателю, недостаточно оцѣненному во Франціи. Роскошное же и изящное изданіе «Путешествія въ Арзрумъ» доставитъ истинную радость каждому русскому.

Любопытна исторія этой книги. Нѣсколько времени тому назадъ г. Лифарь приобрѣлъ случайно у француза-букиниста неизвѣстный автографъ Пушкина — «Предисловіе» къ «Путешествію въ Арзрумъ» съ цензурнымъ разрѣшеніемъ 28 сент. 1835 г. Автографъ сохранился въ прекрасномъ видѣ. Первые двѣ страницы его перечеркнуты. Г. Лифарь, конечно, правъ, предполагая, что зачеркнулъ ихъ самъ Пушкинъ, а не цензоръ: хотя въ царствованіе Николая I и бывали такіе цензоры, какъ пресловутый Красовскій, однако въ данномъ случаѣ не было никакой возможности найти что-либо зловерное. Очевидно, Пушкинъ передъ печатаніемъ рѣшилъ, и не безъ основанія, что въ литературномъ отношеніи будетъ лучше, если онъ укажетъ только одну, главную причину, побудившую его опубликовать свои путевыя замѣтки.

Въ книгѣ г. Лифаря не только дано фототипическое воспроизведеніе «Предисловія», но и напечатанъ весь текстъ «Путешествія». Сдѣлалъ это г. Лифарь потому, что «Путешествіе» мало знакомо широкой публикѣ и недостаточно изслѣдовано специалистами. Между тѣмъ, оно имѣетъ большое значеніе для изученія Пушкина и для освѣщенія общаго вопроса о соотношеніи его жизни и творчества. Наконецъ, оно написано геніальной, предѣльно совершенной, ясной, легкой, прозрачной, сосредоточенно сжатой и выразительной прозой.

Въ интересной вступительной статьѣ г. Лифаря ставитъ «Путеше-

ствіе» въ біографическія рамки, связываетъ его съ другими произведеніями Пушкина, указываетъ отголоски его путевыхъ впечатлѣній въ его поэзіи.

Текстъ «Путешествія» сопровождается прекрасными примѣчаніями г. Мод. Гофмана. Если прибавить къ этому, что въ изданіи г. Лифаря есть еще воспроизведеніе пяти рисунковъ Пушкина, что обложка книги сдѣлана Р. М. Добужинскимъ по образцу одного изданія Пушкина 1835 года, что бумага и печать превосходны, то всякій пойметъ, какъ достойно г. Лифарь отмѣтилъ столѣтіе «Путешествія». Особенно горячо должны привѣтствовать г. Лифаря за эту книгу всѣ пушкинисты. Къ сожалѣнію, она издана въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ и скоро, несомнѣнно, сдѣлается библиографической рѣдкостью.

Н. Кульманъ.

Проф. П. Бицилли. Краткая исторія русской литературы. Часть 2-ая. Отъ Пушкина до нашего времени.

Работа проф. П. Бицилли является первымъ опытомъ сжатого, но полного обзора формъ и направленій русской литературы съ начала 19-го вѣка и до нашихъ дней. Она задумана, какъ руководство для преподавателей и учащихся. И, думается, цѣли своей достигнетъ. П. Бицилли ставитъ себѣ громадную задачу изложить на ста страницахъ сложную и многообразную исторію литературы всего прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Ему приходится, прежде всего, пополнять пробѣлы, допущенные его предшественниками (въ какомъ учебномъ пособіи можно найти характеристику творчества, напр., А. Герцена, Н. Лѣскова и К. Леонтьева?), пересмотрѣть на основаніи новаго матеріала и новыхъ научныхъ данныхъ одностороннія и просто неубѣрныя оцѣнки и, главное, возстановлять правильную перспективу въ области произведеній словесности. Признавая русскую литературу «самой богатой, самой разнообразной по направленіямъ и по идейному содержанію, изъ всѣхъ европейскихъ литературъ того-же времени», авторъ воздерживается отъ празднаго занятія «пересказывать содержаніе», — замѣняя его **объясненіемъ** художественныхъ явленій: онъ изучаетъ обстоятельства ихъ возникновенія, условія ихъ развитія, взаимную связь и обусловленность фактами идейной, общественной, культурной и религіозной жизни России. Глубокія познанія въ литературѣ Запада, строгая дисциплина историческаго метода и тонкое чувство эстетической формы позволяютъ П. Бицилли начертить «литературную панораму», которая при всей своей сокращенности, нигдѣ не сбивается на схему. Главы, посвященныя общимъ обзорамъ разныхъ періодовъ, даютъ возможность ориентироваться въ сложномъ разнообразіи идей, стремленій, формъ и жанровъ; онѣ предшествуютъ краткимъ очеркамъ, посвященнымъ отдѣльнымъ писателямъ. Несмотря на ограниченность мѣста, авторъ не только утверждаетъ свои положенія, но и иллюстрируетъ ихъ сжатыми разборами стиховъ и прозы. Идеянное содержаніе никогда не отрывается отъ худо-

жественной формы, въ которую оно вложено и отъ общаго духовнаго облика эпохи. Можно спорить по поводу частныхъ утверждений и дегаей, но въ такой по существу синтетической работѣ детали не имѣютъ рѣшающаго значенія. А какъ сингезъ, книга П Биццли — единственная въ этомъ родѣ — не можетъ не быть признана авторитетнымъ путеводителемъ по «садамъ русской словесности»

К. Мочульскій.

Jules Legras. «L'âme russe». Ed. Flammarion Paris, 1934

Проф Легра написалъ книгу очень обстоятельную, очень безпристрастную и вдумчивую. Къ «русской душѣ» онъ подошелъ именно съ тѣми свойствами, которыя у нея отрицають съ западно-европейской послѣдовательностью и стремленемъ къ точности. Русские будто-бы все дѣлають приблизительно, «а рси ргеъ». За долгие годы своего пребывания въ Россіи проф Легра этой досадной болѣзнию не заразился. невозможно представить себѣ что-либо болѣе планомѣрное, чѣмъ его послѣдній трудъ. Самъ авторъ чувствуетъ, кажется, нѣкоторое противорѣчье между своимъ методомъ и темой, онъ видитъ порой, что тема какъ бы ускользаетъ отъ него, — и гдѣ страницы, гдѣ онъ пытается ее все-таки ухватить, удержатъ, принадлежага къ самымъ живымъ и запоминающимся въ его работѣ.

Намъ трудно читать такую книгу съ интересомъ холоднымъ и отвлеченнымъ. Конечно, едва раскрывъ ее, мы уже хотимъ узнать что это, апология или обвинительный актъ? какихъ доводовъ больше — «за» или «противъ»? Будемъ откровенны: мы сами въ Россіи не увѣрены и не очень твердо знаемъ, какова ей «объективная» цѣна. Для каждаго русскаго сознания Чаадаевъ то правъ, то не правъ — еще и до сихъ поръ (нѣкоторые увѣрены, что увѣрены, и полагають, что знаютъ, — но, пожалуй, только до перваго настоящаго испытанія). Мы тревожимся за Россію: мы хотѣли бы, чтобы «цѣна» ей была какъ можно больше, — и всякое западно-европейское свидѣтельство о ней воспринимаемъ, будто показаніе на судѣ. Если повести итогъ показаній, даннымъ до сихъ поръ, придется признать, что скорѣй они были въ пользу обвинения. Но во всѣхъ или почти во всѣхъ сквозила возможность такихъ «смягчающихъ обстоятельствъ», которыя примиряють насъ съ упреками ироніей и отрицаніемъ. Проф Легра продолжаетъ эту традицію. Перечисляя вслѣдъ за умнымъ Кюстиномъ и другими наблюдателями или путешественниками датеко не всегда столь же пронизательными, русскія слабости и русскіе пороки, онъ въ самомъ концѣ своей книги коснувшись «гуманности» — для которой не находить французскаго слова, — говоритъ:

— Это чувство братства — одно изъ самыхъ своеобразныхъ и глубокихъ среди всѣхъ, которыя свойственны русскому сердцу. Оно безспорно принадлежитъ къ нравственному богатству населенія. Отъ него на этотъ сѣроватый, невѣжественный, несчастный народъ ложится отблескъ христіанской поэзіи, которую не сотрутъ никакіе боль-

шевники въ мирѣ Оно обособляетъ русскій народъ отъ народовъ нашей западной Европы, оно ставитъ его высоко надъ ними, если держаться одной только моральной точки зрѣнія!»

Ну, что же, если такъ — дѣло наше еще не плохо Приблизительность въ сужденіяхъ и дѣйствіяхъ, заносчивость, вороватость, лживость, вѣтренность, пьянство, грязь, грубость и все другое, что поразило проф Легра въ Россіи, можно принять, можно, — если только дѣйствительно есть эта «словзія» Конечно, что говорить, безъ пьянства и грязи лучше бы! Но на крайность останемся при нихъ, — и не будемъ все-таки слишкомъ отчаяваться въ нашей культурѣ Она очевидно можетъ еще пригодиться миру Кстати, хорошо, что проф Легра вовсе не склоненъ глядѣть на все сквозь розовыя очки и по душевному своему складу отнюдь не сангитименталенъ Будь это не такъ, ему было бы меньше вѣры Можно было бы подуматъ, что онъ «идеализируетъ» или обволакиваетъ свои наблюдения дымкой личнѣхъ воспоминаній, всегда настривающихъ къ лиризму Но передъ нами строгій, даже чуть-чуть суховатый изслѣдователь На лирику онъ скупъ, и она прорывается въ его книгѣ только тогда, когда со всѣми своими параграфами, подраздѣленіями и таблицами, со всей своей логикой и подчеркнутой научностью, изслѣдователь оказывается безоруженъ

Въ «Русской душѣ» собрано множество картинъ и эпизодовъ изъ жизни разныхъ слоевъ нашего общества, по запискамъ стариннымъ и современнымъ, отъ Герберштейна до самого Легра Нѣкогорыя изъ нихъ относятся, правду сказать, скорѣй къ быту, чѣмъ къ «душѣ», — но въ цѣломъ всѣ они помогаютъ автору составить нѣчто въ родѣ обзорнаго русскіхъ внутреннѣхъ чертъ и особенностей Этими чертами и особенностямъ проф Легра ищетъ объясненія Одни по его мнѣнію, сложились подъ влияніемъ географическихъ вѣстоій, другія подъ иностраннѣмъ воздействиемъ, третьи объясняются недостаткомъ просвѣщенія, четвертыя — молодостью русскаго народа Въ послѣднюю категорію проф Легра включаетъ свойства которыми не можетъ найти источника Онъ называетъ ихъ «irreductibles» и считаетъ ихъ повидимому, укорененными въ самой природѣ русскаго сознанія Сюда то и относится та «гуманность», о которой я уже упоминалъ, и вмѣстѣ съ ней душевная широта и щедрость Авторъ не скрываетъ противорѣчій своего изслѣдованія и признается, что русскій народъ его «удручаетъ и очаровываетъ»

Книга возбуждаетъ тысячи вопросовъ, которыхъ осторожились, пожалуй, не касаться въ короткой замѣткѣ Впрочемъ имъ и нѣтъ одного, единственно-вѣрнаго разрѣшенія, испиши мы хоть тысячу страницъ на всѣ эти темы Какъ почти всегда сопоставленіе Россіи и Европы по внутренне-тичной и внѣшне-государственной жизни приводитъ къ мыслямъ объ отношеніи «нормъ любви» къ «нормамъ покая» Издалека встаетъ призракъ Рима — и Россія смущенно отступаетъ передъ нимъ, не теряя все-таки чувства какой-то глубокой, нѣмой своей правоты Но ея ли это, только ли ея правота? Дѣйствительно ли она «irreductible»? Нѣтъ ли въ каждой странѣ, въ ка с-

домъ народѣ душъ, которыя условно хотѣлось бы назвать «русскими»? И если ужъ признать силу географическихъ и бытовыхъ влияній, можно ли быть спокойными, что «никакие ботышевики въ мирѣ» не сотрутъ съ русскаго обиха тѣ отблески «христіанской поэзіи», которыми всё только любовались, но которыхъ никто дѣйствионо не оцѣнить, не укрѣпиль, не удержаль?»

Георгій Адамовичъ.

Hegel bei den Slaven im Auftrage der deutschen Gesellschaft für slavische Forschung im Prag, mit Unterstützung des Slavischen Instituts im Prag herausgegeben von D. Cyzevskij. Reichenberg, 1934. Стр 494

Что философія Гегеля имѣла свою значительную и плодотворную судьбу въ духовной культурѣ славянскихъ народовъ, было извѣстно уже давно. Но, только послѣ появленія этого, въ Прагѣ изданнаго сборника (содержащаго работы семи авторовъ о Гегелѣ въ Польшѣ въ Россіи, у Словаковъ, у Чеховъ, въ Югославіи и въ Болгаріи), можно въ полной мѣрѣ оцѣнить то, по истинѣ исключительное, громадное влияние, которое философія Гегеля имѣла въ ихъ духовномъ развитіи. Впрочемъ — за исключениемъ чеховъ, которые, какъ показываетъ авторъ соотвѣтствующей статьи (Ф. Файфръ), были въ силу национальныхъ особенностей своего мышленія совершенно невосприимчивы къ гегелевской философіи, да и вообще къ философіи нѣмецкаго идеализма. Чѣмъ дальше на востокъ, тѣмъ болѣе однако возрастало влияние гегелевской философіи (статья А. Пражака) оно опредѣлило характеръ ихъ національнаго возрожденія, ихъ «сепаратизмъ» по отношенію къ чехамъ, до сихъ поръ еще не изжитый, у поляковъ — магистральную линію всего ихъ философскаго развитія въ XIX вѣкѣ (статья В. Кюне), характеризующую именами Трентовскаго, Тѣшковскаго, Либельта, Кремера, высшей же своей силой достигло въ Россіи, гдѣ опредѣлило собою не только развитіе философіи и мировоззрѣнія, но и гуманитарныхъ наукъ, университетской традиціи, литературы и даже литературнаго языка. Показать это составляетъ безспорную и большую заслугу Д. Чижевскаго, редакторскимъ трудомъ котораго и обязанъ своимъ появленіемъ въ свѣтѣ настоящий сборникъ, безъ коего въ будущемъ не сможетъ обойтись въ своей работѣ ни одинъ изслѣдователь духовной культуры славянскихъ народовъ. На статьѣ (собственно книгѣ) редактора, посвященной Гегелю въ Россіи и занимающей большую часть сборника (250 стр.), мы тольоко и остановимся здѣсь въ нашей рецензіи.

По мнѣнію Ч. это исключительное по своей силѣ влияние Гегеля на русскую мысль было подготовлено тѣмъ обстоятельствомъ, что философія Гегеля есть не столько «раціонализмъ», сколько философское и постольку «раціональное» выраженіе духовнаго содержания нѣмецкой мистикки, которое она въ себя вобрала и которое было

усвоено также и русской мистической традицией, родственной ей уже в силу общности своего происхождения от новоплатоновского течения святоотеческой мысли. В особом изследовании о Гр. Сквородѣ (изд. Украинскаго Института въ Варшавѣ, 1934) Ч. подробно обосновываетъ этотъ свой интересный и оригинальный тезисъ, проходящій красной нитью черезъ всю его работу о Гегелѣ въ Россіи. Поражаетъ въ этой работѣ громадная начитанность автора, великолѣпное его умѣние выискивать забытое и неизвѣстное, тщательная точность въ цитатахъ и ссылкахъ на использованныя имъ книги, журнальныя статьи и даже рецензи. Въ изложении его чувствуешь ароматъ самого источника — вотъ ужъ нельзя упрекнуть автора въ томъ, что онъ беретъ свои свѣдѣнія изъ вторыхъ рукъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда источникъ оказывался недосуднымъ автору, онъ самъ это педантично указываетъ. Детальность впрочемъ не заключаетъ передъ авторомъ основныхъ линий развития и не препятствуетъ ему давать яркія характеристики, какъ цѣлыхъ периодовъ, такъ и отдельныхъ мыслителей. Особенно удался автору характеристики Н. В. Станкевича, Мих. Бакунина, В. Бѣлинскаго, Т. Грановскаго, Константа Аксакова и Ю. Самарина, Н. Страхова и Павла Бакунина, а также характеристика русскаго «Просвѣщенія» шестидесятыхъ годовъ. После прочтенія книги читатель не можетъ не согласиться съ заключеніемъ автора, что и въ развитіи русской мысли философія Гегеля была и осталась еще и понынѣ однимъ изъ самыхъ мощныхъ факторовъ.

И все же, несмотря на всѣ свои достоинства, книга Чижевскаго вызываетъ у читателя часто сопротивление, переходящее порою въ прямое раздраженіе. Кому, казалось бы, и писать книги о Гегелѣ какъ не гегельянцу? Но въ томъ то и дѣло, что, прочтя книгу, такъ и не знаешь, въ какомъ смыслѣ Ч. гегельянецъ, что признаетъ онъ и что отрицаетъ въ Гегелѣ. Повидимому, онъ вполне согласенъ съ «русскимъ» толкованіемъ Гегеля, какъ мистика и интуитивиста. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ посвящаетъ цѣлый параграфъ опубликованнымъ въ «Ленинскомъ Сборникѣ» замѣткамъ Ленина на поляхъ его экземпляра сочиненій Гегеля, посвященнымъ исключительно диалектикѣ. Вообще любитель курьезовъ и историко-литературныхъ открытій сплошномъ часто отбѣсняетъ въ изложении Ч. на задній планъ историка и философа. Вполнѣ понятно, что, не любящій Чичерина, авторъ ограничивается скуднымъ (10 стр.) и какъ бы по обязанности написаннымъ изложеніемъ «Открытомъ» же авторомъ П. Бакунину посвящено 11 стр., а Н. Страхову даже 18 стр., хотя изъ самого изложения автора не видно философской значительности этихъ дѣйствительно выдающихся и красочныхъ фигуръ русской духовной культуры. Наибольше интересныя мысли которыхъ къ тому же уводятъ ихъ далеко отъ Гегеля. Между тѣмъ В. Соловьеву посвящается всего одна страница. По мнѣнію Ч. Вл. Соловьевъ усвоилъ отъ Гегеля только чисто внѣшнюю схематику. Извѣстный споръ Вл. Соловьева съ Чичеринимъ въ которомъ Соловьевъ защищать именно противъ рационально-диалектически пониманаго Гегеля тезисъ интуитивизма, обходится полнымъ молчаніемъ. И Ильинъ вмѣняется въ заступу его противъ просвѣщен-

ства направленно «оправданіе меча» (при чемъ авторъ даже ссылается на неизданную еще Ильинымъ книгу «Оправданіе права») и ни слова не говорится о томъ, что еще раньше Ильина «оправданіе права» и «оправданіе меча» были даны тѣмъ же Вл. Соловьевымъ («Три разговора» и «Право и нравственность») и при томъ именно съ помощью «интуиціи», а не «діалектики», которая у И. Ильина вырождается въ самую дурную казусишку. П. Чаадаеву посвящается нѣсколько строкъ, меньше, чѣмъ А. Блоку, Б. Пастернаку и В. Маяковскому, въ поэзіи которыхъ авторъ открываетъ слѣды гегелевскаго вліянія, и меньше, чѣмъ полемикѣ съ Б. Яковенко, никакого объективнаго значенія не имѣющей. Въ изложеніи взглядовъ А. Хомякова совершенно не упоминается принципъ «соборности» (позднѣйшее «всеединство» Вл. Соловьева) и безъ всякаго рассмотрѣнія остаются социальна-правовые взгляды славянофиловъ, которые въ неменьшей мѣрѣ, чѣмъ ихъ религіозные взгляды, обуславливали отталкиваніе славянофиловъ отъ гегелевской философіи и позднѣйшей отходъ отъ Гегеля славянофиловъ-гегельянцевъ, К. Аксакова и Ю. Самарина. Правъ Ю. Айхенвальдъ, указавшій, что развитіе В. Бѣлинскаго (отъ философіи нѣмецкаго идеализма къ матеріализму и отрицанію всякой философіи) шло путемъ, противоположнымъ «нормальному». Но, при всей правильности общей оцѣнки авторомъ роли В. Бѣлинскаго, несправедливо видѣть въ этомъ результатъ одной только «несамостоятельности» и «чисто пассивной воспримчивости» Бѣлинскаго. Въдѣ такое же самое развитіе продѣлали и М. Бакунинъ и А. Герценъ. И какъ разъ передъ философомъ-историкомъ стояла бы задача показать, почему «духъ времени» ушелъ отъ Гегеля и ушелъ именно въ направленіи сниженія уровня философской мысли и отрицанія философіи, и не было ли внутри самой философіи Гегеля опасности позднѣйшаго срыва. Мы привели лишь нѣсколько примѣровъ капризности изложенія Ч., значительно портящей его въ общемъ превосходную книгу.

С. Гессень.

В. Станкевичъ. Динамика міровой исторіи. Парижъ, 1934.

Потребность переосмыслить исторію, пересмотрѣть сложившіяся за еще бывшее на нашей памяти и съ такой быстротою отошедшее время историческія концепціи, переоцѣнить завѣщанныя прошлымъ цѣнности, столь же настоятельна и необходима сейчасъ, какъ это глѣтъ тому назадъ, послѣ первой Революціи и первой міровой Войны. Но сейчасъ это невѣроятно трудно: такъ усложнились наши представленія объ историческомъ процессѣ и такъ разросся матеріалъ, который полагается уложить въ рамки синтетическаго обзора. Того, кто отваживается на это, подстерегаютъ всяческія опасности. Примѣромъ можетъ послужить книга В. Станкевича «Динамика міровой исторіи». Судя по заглавію и по подбору матеріала, книга должна представлять собою опытъ философскаго истолкованія общаго смысла нѣсколькихъ кульминаціонныхъ пунктовъ духовнаго развитія человѣчества. По замыслу автора, такъ сдѣланный обзоръ историческаго процесса долженъ послужить обоснованіемъ оптимизма.

«Передь нами зологой вѣкъ!» — такъ называется заключительная глава. Авторъ доказываетъ — и въ этомъ онъ, конечно, правъ — что успѣхи точной науки, техники, машиннаго производства сами по себѣ огнюдь не являются причиной современного кризиса, безработицы, хозяйственнаго, общественнаго и политическаго хаоса; что слѣдуетъ людямъ открыть глаза на то, какъ легко и какъ просто можно было бы сейчасъ все уладить — и все пойдеть по иному. Но онъ даже не ставитъ вопроса: почему-же, все-таки, современный чело-вѣкъ не видитъ самыхъ, казалось бы, очевидныхъ истинъ? И что надо сдѣлать, чтобы заставить его прозрѣть?

Мысль автора движется по линіи наименьшаго сопротивления. И сейчасъ все обстоитъ не такъ ужъ плохо, и будущаго страшится нѣтъ основаній. Мировая война никого не поработила, напротивъ, — освободила цѣлый рядъ народовъ. Новой же войны можетъ быть и не будетъ. Если-же будетъ, то она «задѣнетъ только воюющихъ», Допустимъ, что она разовьется въ мировую войну. И это не бѣда: отъ воздушныхъ и газовыхъ атакъ «погибнуть города, а деревни останутся менѣе всего затронутыми». Такимъ-же способомъ авторъ справляется и съ соображеніями Шпенглера насчетъ опасностей духовнаго порядка, грозящихъ европейской культурѣ: сколько, кромѣ европейскіихъ, есть еще другихъ народовъ, пріобщившихся къ европейской цивилизаціи! Эти разсужденія автора наводятъ на мысль: не мистификація-ли все это? Не сатира-ли на оптимизмъ? Не опытъ-ли новаго Кандида? Въ пользу этого говорить и рѣчь автора, словно пародирующая рѣчь зошенскаго неунывающего чело-вѣка.

Однако, если прочесть книгу В. Станкевича цѣликомъ, подозрѣніе отпадаетъ. Авторъ несомнѣнно серьезенъ и пишетъ съ полной убѣжденностью. Въ чемъ его слабость, это выдаетъ одно — предательское — мѣсто, тамъ, гдѣ онъ говоритъ о новыхъ условіяхъ чело-вѣческаго счастья, однимъ изъ каковыхъ является радио: «Никакая домашняя музыка не давала намъ и малой возможности такъ приспособить ее ко всѣмъ состояніямъ своей (?) души, какъ при помощи современнаго радио съ его обширной и разнообразной программой, при чемъ мы можемъ ...слушать въ любой обстановкѣ, при любомъ занятіи, въ любомъ положеніи...» Эти слова, не требующія поясненій, показываютъ, какъ понимаетъ авторъ проблему культуры и тѣмъ самымъ проливаютъ свѣтъ на основанія и характеръ его оптимизма. Но тогда непонятно, почему авторъ удѣлилъ, въ первыхъ главахъ, такъ много вниманія проблемамъ религіознаго развитія чело-вѣчества — пригомъ грактуя ихъ, казалось-бы, опюдь не по «золотерьянски». Впрочемъ, и здѣсь находимъ одно предательское мѣсто, то именно, гдѣ авторъ говоритъ о возможности прослѣдить путь, служившій сперва лишь «лазейкой», но потомъ превратившійся «въ триумфальную арку, черезъ которую чело-вѣчество изъ-подъ власти сухихъ, безжизненныхъ догматовъ вышло на свободу свѣтлаго и просюрнаго царства природы. Съ полной очевидностью этотъ переходъ изъ-подъ власти мистическихъ потустороннихъ видѣній къ чудесамъ матери-природы мы можемъ прослѣдить по исторіи живописи»

си и скульптуры...» Итакъ, «сухіе догматы» и «мистическія видѣнія» это, для автора — одно и то же. Это даетъ мѣрку его освѣдомленности въ области философіи и религіи и служитъ объясненіемъ, въ чемъ заключается одна изъ опасностей, угрожающихъ работающимъ надъ проблемой историческаго синтеза, о которыхъ шла рѣчь выше.

П. Бицилли.

Alexander Kerensky. The Crucifixion of Liberty. Translated by G. Kerensky. London, Arthur Barker.

Въ заключительной главѣ своего труда А. Ф. Керенскій самъ указываетъ, что трудно опредѣлить, къ какой именно рубричкѣ библиотекъ должно отнести его книгу: «Это не теоретическій трактатъ, не историческое изслѣдованіе, и не мемуары въ тѣсномъ смыслѣ слова».

Во всякомъ случаѣ, книга весьма интересна. Ея авторъ — человѣкъ очень даровитый. Большой ораторскій талантъ А. Ф. Керенскаго сказывается и въ его публицистикѣ, но въ этой книгѣ она и взяла на себя собственно роль защитника. «Кто не защищаетъ свободы вездѣ, не защищаетъ ее нигдѣ», — говоритъ онъ въ концѣ своего труда. Теоретически это совершенно вѣрно. Въ дѣйствительности же мы, къ несчастью, видимъ, что людей, защищающихъ свободу вездѣ, становится въ мѣрѣ все меньше. Я не знаю, послалъ ли А. Ф. Керенскій свою книгу Леону Блюму, — вѣроятно, не послалъ. Но если-бъ глава французскихъ социалистовъ пожелалъ ему отвѣтить искренно, то онъ сослался бы именно на крушеніе 1917 года: защищать свободу «вездѣ» недурно, но для ея защиты (да и для успѣха на выборахъ въ парламентъ) необходимо обрататься на массы, а французскіе, бельгійскіе, англійскіе рабочіе и крестьяне вполне равнодушны къ страданіямъ русскаго народа и къ отсутствію свободы въ Россіи, ничего не подѣлаешь! — Разумѣется, можно быть совершенно спокойнымъ: никогда Леонъ Блюмъ и подобные ему такъ не отиѣтятъ; скорѣе всего они будутъ просто замалчивать книгу, написанную ихъ бывшимъ единомышленникомъ, — это всего удобнѣе.

Я, конечно, не имѣю никакой возможности говорить въ краткой рецензіи о событіяхъ 1917 года. Расхожусь съ А. Ф. Керенскимъ въ нѣкоторыхъ основныхъ положеніяхъ. Думаю, напримѣръ, что революцію сдѣлала война; авторъ книги это отрицаетъ. Только война и дала большевикамъ возможность захватить власть. Чтобы сохранить въ Россіи свободный строй, надо было заключить миръ, а этого, кромѣ большевиковъ, никто у насъ тогда сдѣлать не могъ: политическая необходимость была психологической невозможностью. По сравненію съ этимъ основнымъ фактомъ, отходить на второй, если не на третій, планъ всѣ отдѣльныя ошибки: какъ тѣ, которыя вмѣняются обычно въ вину А. Ф. Керенскому, такъ и тѣ, которыя онъ самъ вмѣняетъ въ вину своимъ русскимъ противникамъ и бывшимъ союзникамъ Россіи.

Роль союзниковъ! У насъ есть достаточно оснований не слишкомъ ими восторгаться, но будемъ справедливы. «Разумно ли было», —

спрашивает авторъ книги, — «говорить измученному русскому солдату: мы отказались отъ матеріальныхъ цѣлей побѣды, отказались отъ всей Польши; поэтому отнынѣ мы будемъ вести войну только для того, чтобы Англія получила германскія колоніи и флотъ, чтобы Франція получила Эльзасъ-Лотарингію, Рейнскую область и большую денежную контрибуцію, чтобы Италия получила славянскую Далмацию и т. д. Такое толкованіе демократической военной политики было бы чистымъ безуміемъ». Что же собственно А. Ф. Керенскій и М. И. Гершенко предлагали союзникамъ или могли имъ предложить? «Рейнская область» здѣсь ни при чемъ: какъ известно, Франція ее не получила и послѣ полной побѣды 1918 года. Думаетъ ли авторъ книги, что французское правительство могло и должно было отказаться въ 1917 году отъ Эльзаса-Лотарингіи, англійское — отъ колоній, и оба они отъ возмѣщенія имъ Германіей хоть части понесенныхъ ими огромныхъ денежныхъ затратъ? Тогда, очевидно, для нихъ единственнымъ результатомъ демократической военной политики было бы установленіе свободнаго строя въ Россіи: во Франціи и въ Англии свободный строй уже, слава Богу, существовалъ (и, вѣроятно, просуществовалъ бы недолго послѣ столь блестящаго съ ихъ точки зрѣнія исхода войны). Что же тутъ ссылаться на 14 пунктовъ Вильсона: и президентъ никогда такъ далеко не шелъ, и 14 пунктовъ Германія въ 1917 году еще, навѣрное, не приняла бы, да и для русскихъ солдатъ 1917 года 14 пунктовъ были ничѣмъ не заманчивѣе «канексій и контрибуцій». Нѣтъ, напрасно отъ себя скрывать: миръ въ пору Временнаго правительства могъ быть заключенъ только сепаратный, — таковъ былъ нашъ рокъ, русскій рокъ 1917 года.

Но сходной причинѣ ни въ какой мѣрѣ не могу согласиться съ той оцѣнкой исторической роли П. Н. Милюкова, которую даетъ авторъ книги. Говорю не о Дарданеллахъ: требованіе Дарданеллъ стало утопій въ самый день возстанія Волынскаго полка. Имѣю въ виду общую позицію, занятую въ началѣ революціи главой партіи Народной Свободы. «Министръ иностранныхъ дѣлъ Милюковъ предлагалъ князю Львову удалить меня, составить правительство только изъ партій прогрессивнаго блока, т. е. изъ партій, которыхъ, за исключеніемъ кадетовъ, уже фактически перестали существовать! Это коалиціонное министерство изъ однихъ либераловъ и консерваторовъ должно было, по плану вождя либеральной партіи, стать «сильнымъ правительствомъ», предназначеннымъ для обузданія совѣтовъ». Не знаю, вполнѣ ли точно годекуетъ намѣренія П. Н. Милюкова А. Ф. Керенскій. Дѣло, вѣроятно, шло не объ удаленіи его «какъ такового» и не о партіяхъ прогрессивнаго блока, а о составленіи правительства изъ людей, которые уже тогда готовы были бы положить «обузданіе совѣтовъ» въ основу своей политики (пожалуй, менѣе всѣхъ другихъ и ужъ во всякомъ случаѣ гораздо менѣе А. Ф. Керенскаго годился для этой программы самъ князь Г. Е. Львовъ). Эту программу авторъ книги считаетъ совершенно не реальной. Онъ былъ бы, быть можетъ, правъ, если-бъ программа противоположная — и испробованная — дала лучшіе результаты...

Планъ П. Н. Милюкова, очевидно, исходилъ изъ его увѣренности въ томъ, что другой выходъ, который, вмѣстѣ съ А. Ф. Керенскимъ, когда отставала вся или почти вся русская интеллигенція, неизбежно повлечетъ за собой гибель Россіи. Истиннѣе, вѣтъ рѣшительно никакихъ оснований называть профессорскимъ планомъ самый смѣлѣйшій замыселъ 1917 года, основанный на предвидѣніи, сбывшемся съ совершенной точностью. Обо всемъ этомъ я писалъ въ свое время въ другомъ мѣстѣ. Достаточно ясно, что если-бъ война и при участіи Россіи затянулась до конца 1918 года (или хотя бы только до конца 1917-го), то программа П. Н. Милюкова стала бы утопической. Но кто могъ это знать? Черезъ два мѣсяца послѣ начала февральской революціи должно было начаться общее наступленіе союзниковъ; самъ Людендорфъ опасался, что оно сломитъ сопротивление Германіи.

Въ остальномъ, съ большинствомъ мыслей автора книги можно спорить лишь исходя изъ другой общей политической системы. Основныя положенія, которыми А. Ф. Керенскій руководился въ ту пору, когда стоялъ во главѣ Временнаго правительства, онъ защищаетъ очень искусно и убѣдительно. «Керенщина!» — немало можно было бы сказать и объ этомъ понятіи, и объ этомъ словѣ. «C'est un procès jugé mais non plaidé». Вспоминаю засѣданіе центрального комитета умѣренной партіи, имѣвшей не одного представителя во Временномъ правительствѣ второго состава: тамъ, большинствомъ встѣхъ голосовъ противъ трехъ, было, во имя свободы слова, выражено порицаніе (правда, очень мягкое) Керенскому за то, что онъ запретилъ распространеніе «Правды» на фронтѣ! А черезъ полгода послѣ этого, голосовавшій съ большинствомъ, нинѣ покойный А. С. Зарудный (не тѣмъ будь помянутъ этотъ прекрасный человекъ) громилъ «Керенщину» и на засѣданіи того же комитета, и даже публично! Есть, повидимому, вѣчная мудрость въ идеѣ козла отпущенія; но, въ отличіе отъ библейскихъ временъ, выбирается онъ теперь не по жребию: довольно естественно, что глава Временнаго правительства отъвѣчаетъ за грѣхи сотенъ тысячъ русскихъ интеллигентовъ. Часто ругаютъ его тѣ люди, которые въ «керенщинѣ» повинны гораздо больше, чѣмъ онъ самъ. Что-жъ, это тоже въ порядкѣ вещей. «Отчего не разстрѣлялъ Ленина?» Солдаты, уже видѣвшіе, какъ свергаютъ власть, до ноября 1918 года все равно не дотянули бы: кмѣсто Ленина ихъ увелъ бы съ фронта любой Ворошиловъ. Малый шансъ на «обузданіе совѣтовъ» (говорю упрощенно-символически) былъ лишь въ самомъ началѣ революціи, да и то при непремѣнномъ условіи близкой побѣды. Съ лѣта же 1917 года обвиненіе могло бы принять иную форму: «Отчего не заключилъ сепаратнаго мира?»

«Говорю откровенно: для меня эта книга политическое дѣйствіе», — пишетъ авторъ. Трудъ его предназначенъ преимущественно для иностранцевъ, въ частности для американцевъ и англичанъ. Для нихъ все будетъ ново въ этой умно и осторожно написанной, убѣдительной книгѣ. Но думаю, что успѣхъ она, по нынѣшнимъ временамъ, можетъ имѣть лишь въ тѣхъ кругахъ, которые большевикамъ все

равно не сочувствуют. Въ этомъ мы всё убѣждаемся постоянно. Ссылки, напр., на совѣтскій терроръ теперь дѣйствуютъ въ Европѣ очень слабо, — «пятнадцать лѣтъ одно и то же, и думать надоѣло». Терроръ въ Германіи подѣйствовалъ нѣсколько сильнѣе: главнымъ образомъ по новизнѣ, — если Гитлеръ десять разъ повторить свой юнкерскій опытъ, то и объ этомъ перестанутъ писать, говорить и думать. Безполезно было бы отрицать и то, что въ кругахъ менѣе серьезныхъ, но весьма вліятельныхъ сейчасъ мода никакъ не на идемъ 1917 года. А. Ф. Керенскій достаточно наглядно выяснилъ существенныя «фактическія неточности» въ трудахъ Троцкаго по исторіи русской революціи. Но на нихъ мода еще есть, — вотъ какъ у эстетовъ принято восхищаться «Микки Маусъ»: остроумно, не успѣло надоѣсть, «последнее слово». Пройдетъ и это, скоро надоѣсть и Троцкій. Допускаю, что станутъ вновь популярны и тѣ идеи, которымъ служитъ А. Ф. Керенскій. Но теперь онѣ, по спортивному выраженію, «гандикапированы». Гдѣ онѣ осуществлены, тамъ ихъ почти не замѣчаютъ. Гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ о нихъ нельзя говорить...

Очень хороши въ книгѣ равнѣя воспоминанія автора. Есть въ ней сцены, которыя неотразимо будутъ дѣйствовать и въ трудахъ Леновровъ 21-го столѣтія. Первая встрѣча съ императоромъ Николаемъ II, въ Пасхальную ночь, задолго до революціи... Гимназическая церковь въ Симбирскѣ: «недалеко отъ моего отца и отъ насъ, въ синемъ мундирѣ съ серебряными пуговицами, примѣрный, религиозный воспитанникъ, первый ученикъ своего класса Владиміръ Ульяновъ»...

М. Алдановъ.

Tsarisme et Terrorisme. Souvenirs du Général Guerassimov, ancien chef de l'Okhrana à Saint-Petersbourg, 1909-1912. Plon. Paris, 1934.

Воспоминанія ген. Герасимова, начальника Петербургской Охранки, очень интересны даже для тѣхъ, кто хорошо знаетъ исторію революціоннаго движенія предвоенныхъ лѣтъ. Никакихъ новыхъ, неизвѣстныхъ фактовъ Герасимовъ не сообщаетъ; новыми могутъ оказаться только нѣкоторыя подробности. Но любопытно то освѣщеніе, которое бывший начальникъ Охраны даетъ событіямъ, еще болѣе любопытны оцѣнки человѣка, стоявшаго «по ту сторону баррикады». Прежде всего нельзя не отмѣтить съ удовлетвореніемъ его полнѣйшаго, хотя и чиновнаго безпристрастія. Это — воспоминанія человѣка, у котораго могли быть и были свои политическія мнѣнія (сказать «убѣжденія» — было бы слишкомъ сильно), но не было своей воли и слѣдовательно, не могло быть нравственной послѣдовательности въ поступкахъ. Желаніе высшей власти, приказъ начальства — достаточная замѣна совѣсти. Своего врага — террористовъ — Герасимовъ явно уважалъ, за вѣрность идеѣ, за безкорыстіе, за необычайную смѣлость и самоотверженность; своихъ союзниковъ, — отъ Рачковскаго до членовъ Союза русскаго народа, онъ рѣшительно презиралъ за корыстіе, лицемеріе и трусость; это не мѣшало ему обречь первыхъ на висѣлицу и добывать вторымъ награды и денежные пособія;

онъ не могъ сомнѣваться въ томъ, что Азефъ — корыстиѣйшій предатель, но не только пользовался его услугами, но и поетъ ему дифирамбы въ своей книгѣ, защищая его память даже въ незащитныхъ случаяхъ. Во всемъ этомъ, конечно, сказывается известная цѣльность и автора и человѣка, которому, въ его преклонныхъ годахъ, нѣтъ смысла выступать кающимся грѣшникомъ, какъ это дѣлали нѣкоторые изъ его сподвижниковъ. Позднѣйшія событія въ Россіи, весь ея новый строй, возведшій полицейскую охрану, политическій доносъ и «секретное сотрудничество» на степень нравственного подвига, — даютъ ген. Герасимову нѣкоторое право считать себя если не лучше, то во всякомъ случаѣ равнымъ съ тѣми, противъ кого онъ велъ борьбу и кто теперь приобрѣлъ всю полноту власти приблизительно тѣми же самыми полицейскими приемами.

Въ книгѣ есть нѣсколько промаховъ, указывающихъ на одностороннюю освѣдомленность бывшаго начальника Охраны; не можетъ, напримѣръ, не вызвать улыбки утверждение, что Азефъ «лишь изъ вторыхъ рукъ» могъ узнать о планѣ покушенія на вел. кн. Н. Н. и на Щегловитова и не былъ освѣдомленъ о подробностяхъ. Подобныхъ учрежденій — по поводу роли Азефа — есть въ книгѣ нѣсколько, хотя они невозможны хотя бы послѣ книги Николаевского, не говоря уже о томъ, что не всѣ участники террористическихъ актовъ были вздернуты усердіемъ генерала и его помощника, и оставшимся въ живыхъ точно известна степень участія Азефа въ рядѣ случаевъ. Кстати, въ книгѣ помѣщена фотографія группы лицъ съ Азефомъ въ центрѣ, съ подписью «группа террористовъ»; насколько намъ известно, ни одного террориста въ этой компаніи нѣтъ, если не считать за такового самого Азефа.

Нѣкоторыя сцены, встрѣчи, бесѣды автора съ разными лицами правыхъ круговъ, отлично написаны. Очень живо изображенъ побѣгъ Карповича по разсказу агента, которому было поручено этому побѣгу всячески способствовать (арестъ Карповича компрометировалъ Азефа). Отлично и съ нескрывымъ презрѣніемъ охарактеризованы вожди и герои Союза русскаго народа, очень интересны страницы о Столыпинѣ. Малоубѣдительно самозащита ген. Герасимова въ известномъ дѣлѣ о подготовкѣ покушенія на взрывъ дворца. Вообще, повторяемъ, книга интересна даже и въ тѣхъ частяхъ, гдѣ автору не удается обосновать свои утвержденія. Такъ, личность Азефа, котораго Герасимовъ хочетъ облить, выступаетъ подъ его перомъ съ изумительной рельефностью именно какъ личность «provocateurа», а не просто «секретнаго сотрудника», и provocateurа очень ловкаго, виднаго за носъ даже своего ближайшаго руководителя.

Авторъ совершенно не касается вопроса о томъ, чего добивались русскіе террористы, — ни ихъ революціонныхъ программъ, ни ихъ тактики. Для французовъ это останется загадкой. Но нѣтъ сомнѣній, что французскій внимательный читатель проникнется большимъ уваженіемъ къ тѣмъ, кто боролся противъ стараго режима, и достаточно презрѣніемъ къ его защитникамъ, — хотя врядъ ли это является цѣлью книги ген. Герасимова.

Мнх. Ос.

ОТЪ РЕДАКЦИИ.

По ошибкѣ, въ соответствующемъ мѣстѣ напечатанной въ этомъ номерѣ «С. З.» статьи К. Поль «Большая Волга», не были помѣщены слѣдующія поясненія цифръ, которыми на картѣ обозначены существующіе и строящіеся каналы:

1. Маринская система; 2. Тихвинская система; 3. Вышневолоцкое соединеніе; 4. Система Герцога Вюртембергскаго; 5. Сѣверный Екатеринбургскій каналъ; 6. Камо-Печерское соединеніе; 7. Каналъ Москва-Волга; 8. Ивановскій каналъ; 9. Каналъ Ока-Жиздра-Десна; 10. Березинскій каналъ; 11. Волго-Донское соединеніе.

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ».

Пушкинъ. Путешествіе въ Арзрумъ во время похода 1829 года. Изд. С. Лифаря. Парижъ, 1935.

И. А. Бунинъ. Собр. сочиненій. Т. г. 2, 3 и 7. Изд. Петропольск., 1934.

Ив. Шмелевъ. Богомолье. Изд. Русская Библиотека. Бѣлградъ, 1935.

М. Л. Гофманъ. Египетскія ночи. Изд. Сергѣя Лифаря. Парижъ, 1935.

С. М. Дубновъ. Книга жизни. Воспоминанія и размышленія. Рига, 1934.

Проф. П. Биццали. Крак. исторія рус. литературы. Ч. II. Отъ Пушкина до нашего времени. Софія, 1934.

Новъ. Сборникъ № 7. Таллинъ, 1934.

Т. А. Бакунина. Знаменитые русскіе масоны. Домъ Книги. Парижъ, 1935.

Путь, кн. 44 и 45. Парижъ, 1934.

Новъ. Сборникъ № 7. Таллинъ, 1934.

Социалистическій Вѣстникъ. № № 20-24, 1934 г. и № 1, 1935 г.

Свобода, № 2. Парижъ, октябрь 1934.

Законъ и Судъ № 9-12, 1934. № 1, 1935.

Архивъ Русской Революціи, т. 23. Воспоминанія И. И. Петрункевича.

Т. Кончановъ. Шофферскія пѣсни. Парижъ, 1935.

С. Бѣлякинъ. У жизниціи правосудія. Очеркъ. Каунасъ, 1935.

Наше Слово. № 3, декабрь 1934 г. Парижъ.

Orient und Occident. 17 Heft. Dec. 1934.

Le Document, N° 1. URSS, puissance d'Asie, par M. Percheron.

Le Monde Slave, N° N° 8-11. 1934. Paris, 1934.

CILLAC, N° N° 9-12, 1934. N° 1 1935. Bruxelles.

P. Milloukov. La Politique Extérieure des Soviets. Ed. M. Giard. Paris, 1934.

M. Moskulne. Ma jeunesse en URSS. Payot. Paris, 1934.

CILLAC, N° N° 9-12, 1934. N° 1, 1935. Bruxelles.

Gén. Guerassimov. Tsarisme et Terrorisme. Ed. Plon. Paris, 1934.

Hegel bei den Slaven. Herausgegeben von Cyzevskij. Reichenberg, 1934.

Общественно-политический и литературный журналъ

15-й годъ
изданія

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ

15-й годъ
изданія

основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,
А. И. Гукоевскимъ (?), В. В. Рудневымъ.

Въ вышедшихъ по настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: М. Алданова, Л. Андреева, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, А. Блага, Ы. Вышеславцева, Г. Газданова, Г. Гребенщикова, Юр. Давидова, Г. Евангулова, Е. Замятина, Л. Зурова, Б. Зайцева, Г. Иванова, А. Куркина, Д. Мережковского, С. Минцлова, П. Муратова, М. Осоргина, Г. Пескова, А. Ремизова, Н. Рошнина, В. Сирина, Д. Скобиова, И. Соколова-Микитова, Ф. Стелуна, И. Суругучева, Б. Темирязева, Гр. А. Толстого, С. Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чирикола, И. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго и др. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Бунина, М. Волошина, А. Герцкы, И. Голенищева-Кутузова, А. Головиной, Вяч. Иванова, Георгия Иванова, Д. Кнута, Г. Кузнецовой, А. Ладинскаго, С. Маковского, Ю. Мандельштама, Н. Ошупа, Б. Павлаускаго, Г. Раевского, В. Сирина, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Allegro), Ф. Соллогуба, Ю. Софиева, Ю. Терапано, Тэффи, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Л. Червинской и др. — Дневники и воспоминанія: И. Билибина, Е. Брешковской, О. Грузенберга, Е. Джанумовой, кн. П. Долгорукова, К. Ельцовой, В. Зензинова, А. Керенскаго, В. Маклакова, кн. В. Оболенскаго, Т. Постнера, И. Рѣпина, Ал. Толстой, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Ф. Шаляпина, Н. Шкляева и др. — Статьи по вопросамъ литературы, искусства, философи, политики, экономическимъ и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, Г. Адамовича, М. Алданова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, А. Бема, Н. Бердяева, П. Биццали, М. Брайкевича, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Водовозова, кн. С. Волковскаго, В. Войтинскаго, М. Гершензона, С. Гессена, В. Гейдингга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуковскаго (А. Стьерова), К. Гулъкевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Діонео, В. Ельшевича, С. Загорскаго, С. Заваскаго, К. Зайцева, В. Зѣнковскаго, Ст. Ивановича (В. Таллина), С. Изанова, Л. Карсавина, А. Карташева, С. Карцевскаго, К. Качаровскаго, А. Керенскаго, А. Кизеветтера, С. Кобыкова, А. Койранскаго, В. Короленко, С. Корфа, А. Крайнина, М. Кроля, К. Крофты, Н. Кузьмана, Е. Кусковой, А. Лезинсона, З. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Лошцаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, А. Мандельштама, С. Маслова, С. Мельгунова, П. Мельниковой-Папоушекъ, С. Метальникова, П. Милокова, Н. Минскаго, Б. Миркина-Гецевича, А. Михельсона, К. Мочульскаго, П. Муратова, Б. Мякотина, С. Николаева, бар. Б. Нольде, А. Орлова, Д. Одицца, М. Осоргина, Я. Папоушекъ, А. Петрищева, П. Пильскаго, С. Подкова-Литовцева, А. Пылконова, Ф. Родичева, В. Рябушинскаго, М. Росточева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святополкъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, П. Сорокина, Ф. Стелуна, Н. Тимашева, Н. Ульянова, Г. Федотова, Г. Фюрорскаго, Д. Чилевскаго, А. Чурова, И. Хераскова, М. Цвѣтаевой, М. Цетлина, Т. Чернавиной, Б. Шацкаго, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шленера, Е. Юрьевскаго и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 25 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6, Rue Daviel, Paris (XIII^e).

Téléphone: Gobelin 48-87

Imp. Union, 13, rue Méchain.

Le gérant Chaillet.

Из-во „Современныя Записки“

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).
И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.
И. А. Бунинъ: Божье древо.
И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).
М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).
М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).
М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.
М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.
Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.
Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы).
Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).
Гал. Кузнецова: Прологъ.
А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).
Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена.
В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. біографія).
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой.
Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Юва.
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.
П. Н. Милуковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.
М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).
Ст. Ивановичъ: Красная армія.
Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.
Н. Лосскій: Типы мировоззрѣній.
Н. А. Бердяевъ: О назначеніи человѣка.
Ф. И. Шаляпинъ: Воспоминанія.
М. В. Вишнякъ: Всероссійское Учредительное Собраніе.
М. О. Цетлинъ: Декабристы.
В. В. Сиринъ: Подвигъ (Романъ).
Л. Ф. Зуровъ: Древній путь.

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:

- Д. М. Одинецъ: Возникновеніе госуд. строя у восточн. славянъ.
П. Н. Милуковъ: Очерки по исторіи русск. культуры т. I.
Заказы принимаются въ конторѣ издательства.